

УДК 821.512.122-811.161.1  
ББК 84(5Каз-Рус)7-44  
М 91

ВЫПУЩЕНА ПО ПРОГРАММЕ  
МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Редакционная коллегия:

Каскабасов С.А. (*председатель*), Кул-Мухаммед М.А.,  
Кирабаев С.С., Елеукенов Ш.Р., Исмагулов Ж.И., Нургалиев Р.Н.,  
Абдрахманов С.А., Исмакова А.С., Бейсенгалиев З.Г.,  
Абдезулы К., Майтанов Б.К., Болтанова Ж.К.

### **Муратбеков Саин**

**М91** Запах полыни. *Повести, рассказы.* /  
*Саин Муратбеков. Перевод с казахского.*  
Астана: Аударма, 2010. – 624 стр.

Список книг серии “Библиотека Казахской Литературы”  
утвержден Ученым советом Института литературы и искусства  
им. М.О. Ауэзова (протокол №9 от 26 июня 2009 г.).

В оформлении суперобложки использованы фрагменты из картин  
художника **И.Д. Остренко**.

ISBN 9965-18-316-3

УДК 821.512.122-811.161.1  
ББК 84(5Каз-Рус)7-44

ISBN 9965-18-316-3

© Издательство “Аударма”, 2010  
© Иллюстр. “Государственный музей  
им. А. Кастеева”

**«Дерево чуткой прозы» Саина Муратбекова  
в «плодоносящем саду» казахской литературы**

*В цветущем и плодоносящем саду нашей  
многонациональной литературы молодому  
дереву чуткой прозы Муратбекова суждено  
уверенно расти и быть видным издалика.*

*Г. Мусрепов*

Прозу замечательного Мастера художественного слова, классика казахской новеллистики, Саина Муратбекова отличает подкупающая искренность, чуткость и жизненная мудрость.

У колыбели его творчества стояли известные казахские писатели Х. Есенжанов и А. Сарсенбаев. В. Шукшин называл С. Муратбекова своим родным казахским братом. Высоко отзывались о его прозе С. Муканов, Г. Мусрепов, А. Нурпеисов, А. Тарази и многие другие.

Первый сборник рассказов С. Муратбекова вышел в 1961 году под ласково-нежным названием «Моя сестренка». В нем рассказывалось о локальном событии семейного масштаба, как в один из приездов на зимние каникулы главный герой был «приятно поражен» младшей и единственной сестренкой Алимой, которая из озорницы-задиры превратилась в девушку-красавицу. Наблюдая за сестрой, герой вспоминает историю своей первой любви, связанной с отъездом из аула, когда он отправился учиться в город. Кусок шоссе, ведущий на станцию, стал для него единственной памятью о девушке по имени Сауле: «Она стояла и махала рукой, и мне казалось, что ее рука не прощается со мной, а зовет: Вернись, вернись...». Теперь на этой дороге стоит его младшая сестренка и провожает своего возлюбленного. Таким образом, герой приходит к мысли о цикличности жизни, ее повторяемости, о том, что время и километры «часто решают за людей. И счастливы те, кого они не различают...». Втайне герой рассказа надеется на то, что первое пробудившееся чувство сестренки Алимы окажется сильным, а судьба счастливой.

Остается в памяти образ старшей сестры Назиры из повести С. Муратбекова «Дикая яблоня». Главный персонаж Канат тенью следует за сестрой, потому что опасается, что красивый светлицыцый

парень по имени Токтар может отнять у него близкого человека и друга, но влюбленным не дано воссоединиться: Токтар погибает на фронте. Как та одинокая яблоня, у которой встречаются герои, остается Назира одна, потеряв на фронте отца, любимого и мать, которую убивают враги в неравной схватке.

Повести «Горький запах полыни» и «Дикая яблоня» объединяет тема военного детства. В «Горьком запахе полыни» автор словно отматывает пленку своей жизни, и погружает зрителя в события 1942 года. Главным героем он делает мальчика Аяна, неординарного ребенка со сложной судьбой, вопреки всем трудностям сочинявшего каждый раз новую сказку для ребят. Горький запах полыни связывается у ребят с памятью об ушедших на фронт отцах и братьях.

В «Дикой яблоне» описывается жизнь казахского аула в военные годы. Судьба собаки Кокинай, нашедшей приют у дикой яблони, странным образом связывается с судьбами жителей аула. До войны у нее, как и у людей «были и дом, и хозяин по имени Басен, а сама она считалась лучшей охотничьей собакой в округе». Собака остается дожидаться возвращения своего хозяина с войны, не поддавшись на уговоры хозяйки Жайдар, но злые люди убивают ее щенят, после чего она пропадает, словно ее и не было. Проклятье собаки падает на жителей аула – Бубитай, ставшую безумной и ее сына Спатая.

Трагические эпизоды повести «Дикая яблоня» перемежаются с комическими. Так, эпизод ареста Нурсулу за колосья пшеницы сменяется комическим эпизодом с тремя «невестами ефрейтора» Ырысбека. Персонажи, населяющие повесть С. Муратбекова, индивидуальны и своеобразны. Это образы героических женщин-матерей – Багилы, Нурсулу и Батики, стариков Байдалы и Шымырбая, группы ребят, во главе с неугомонным Ажибеком, колоритная фигура любвеобильного Ырысбека с неудачливым соперником Колбаем и его женщинами «гарема» – Дурии, Зибаш и Эммы, уполномоченным из района Алтаевым, неразлучными друзьями Манаром и Карлом, девочками Мари и Тоштан.

Чем можно объяснить непреходящую ценность произведений С. Муратбекова? Известный литературовед Владислав Владимиров, друг и соратник писателя, определил его следующим образом: «Его книги не залеживаются на библиотечных полках. Их по-прежнему повсюду читают и стар и млад. Потому как они в простоте и доступности речестроя (тут честь и хвала его лучшим толмачам) всегда привлекают своим искренним оптимизмом, своим волшебным настроем на необратимое одоление местечкового и вселенского зла во всех его ипостасях».

**Жанна НУРМАНОВА,**  
**кандидат педагогических наук**

## ГОРЬКИЙ ЗАПАХ ПОЛЫНИ

### 1

Мое далекое, позабытое детство...

И все-таки я отлично помню этого мальчика в ссохшейся шубейке песочного цвета, худенького и хромого. Иногда закроешь глаза и видишь, точно наяву: по аулу мчится буйная ватага мальчишек, а позади всех бежит он, волоча больную ногу и стараясь не отстать. И все же отстает, и я опять слышу его голос: «Эй вы, да подождите же! Пойдемте со мной, у меня есть сказка. Вот увидите, она интереснее вчерашней!..»

Весной сорок второго года у Аяна умерла мать, и он остался вдвоем с бабушкой, отца его призвали в армию еще в начале войны. И бабушка привезла Аяна в наш аул в надежде на помощь своих дальних родичей.

Мы играли в войну на единственной проезжей улице, – бросали «гранаты» – пыль, завернутую в бумагу, когда он впервые вышел из дома. Прохожие, старики и старухи ворчали: «Вот она, детская глупость: мало им одной войны, они свою затеяли. Будто нет других игр. Ну и пострелята!» День выдался безветренный, и пыль долго висела в воздухе, застилая солнце, а мы с криком «ура!» нападали на своего «противника» и, отдавшись игре, никого и ничего не замечали. И только наш командир Садык неожиданно остановился на границе, где кончалась завеса пыли, и спросил:

– Эй, а ты кто такой? Откуда взялся?

Тут уж бросили игру все ребята – так необычен был этот вопрос для нашего аула, где все знают друг дружку с раннего детства. Мы обернулись и увидели незнакомого мальчика в белой безрукавке и коротких штанишках. Он выглядел не по-здешнему, особенно поразил нас его черный жесткий чуб, спускающийся на лоб.

Новенький мальчик в нашем ауле – слишком выдающееся событие, поэтому мы мигом забыли про игру и окружили Аяна. Каждый норовил протолкнуться поближе и хорошенько разглядеть новичка. Для нас, аульных детей, Аян в этот момент был и театром, и цирком.

– Слышь, кто он, а?

– А откуда он, ты не знаешь?– спрашивали мы друг у дружки, пихаясь локтями и жадно рассматривая Аяна с головы до пят так бесцеремонно, точно он был неодушевленным предметом.

А он в свою очередь глазел на наш растерзанный вид, и во взгляде его сквозило недоумение. Хороши мы были тогда, грязные, точно поросята. Штаны и рубахи под слоем пыли потеряли свой первозданный цвет и висели ключьями, словно только что побывали в зубах у своры собак.

Его одежда не отличалась ни новизной, ни качеством, но чистенький и опрятный облик Аяна поражал, как царская роскошь.

– Гляньте на него, такой сопляк, а уже отпустил чуб,– высказался первым Есикбай, плохо скрывая зависть.

Нам было не смешно, но все же мы рассмеялись, стараясь поддержать своего товарища перед чужаком. Смех получился фальшивый, как будто нас вынуждали, Аян густо покраснел и промолчал.

– А я знаю, кто он!– громко произнес Садык.– Вы приехали вчера вечером, верно?– обратился он к новичку. – И у вас еще была темно-серая корова. Правильно я говорю?

– Правильно,– кивнул серьезно мальчик.– Только она не совсем темная. Ты видел ее вечером, а днем она гораздо светлее, и еще у нас есть теленок.– И мне почудилось, будто по его губам скользнула усмешка.

А Садык продолжал свое:

– Как тебя звать?

– Аян.

Кое-кто из ребят зашевелил губами, стараясь запомнить его имя.

– Пойдем с нами, будем дружить,– предложил Садык и, не дожидаясь согласия, ухватил Аяна за руку и потянул за собой.

Новичок взглянул на его грязные исцарапанные пальцы и осторожно высвободил руку. Ну, подумал я, и начнется сейчас. Вряд ли стерпит Садык такое оскорбление.

– Ребята, где у вас можно купаться? Жарко, так и печет,– сказал Аян, не дав Садыку обидеться.

– Ну, у нас имеется такое местечко, вода – во!– ответил за всех наш простодушный Садык.– Хочешь, сходим сейчас?

– Хочу!– кивнул Аян.

Садык повел приезжего к заводу, всячески расписывая по дороге ее достоинства. А мы повалили следом. Ребята крутились перед Аяном, каждый старался вставить словечко и тем самым возвыситься в глазах диковинного мальчика. Но хозяином положения был Садык.

– Знаешь, сколько могу просидеть под водой? Пока ты сосчитаешь до шестидесяти,– упоенно врал, и в эту минуту верил сам себе наш честнейший Садык.

– А у меня тоже есть белая рубашка, между прочим. Только она лежит в большом сундуке. Не велит надевать мама. Вот, говорит, подрастешь – и носи на здоровье,– сказал Касым-царапка.

Это прозвище он получил за то, что в драке всегда лез ногтями в лицо. Ревел в три ручья и в то же время

так и норовил вцепиться в глаза. Поэтому многие ребята старались не связываться с Касымом-царапкой. И только Есикбай не боялся его длинных и грязных когтей.

Сейчас Есикбай ревниво брел в стороне. Он был самым сильным драчуном, жилистый, и длиннорукий, и поэтому некоторые мальчишки то и дело лебезили перед ним. А теперь его будто и не было – все внимание ребята отдали чистюле-новичку. Вот отчего Есикбай шел в гордом одиночестве и брюзжал презрительно себе под нос.

– А ну-ка иди сюда. Царапка!– рявкнул Есикбай, едва Касым закрыл рот.

Касым приблизился с опаской, на всякий случай его пальцы скрючились, точно когти беркута.

– А может, в твоём сундуке и золота полным-полно? Но-но, спрячь свои когти, кошка. А голову подставь, вот так.– И Есикбай звонко щелкнул Царапку по голове.

Голова Царапки зазвенела, словно спелый арбуз. А Есикбай щелкал еще и еще, вкладывая все свое умение и силу. Касым заплакал от злости и бросился на обидчика. Но Есикбай опередил его и ударил по носу.

Касым зажал нос ладонью и поплелся назад, в аул, ссутулившись и вздрагивая. А Есикбай посмотрел Аяну в глаза многозначительно, как бы говоря, учти на будущее, у меня разговор короткий.

Аян, в свою очередь, обвел нас вопросительным взглядом: мол, что же это у вас творится? Но никто не хотел связываться с Есикбаем, мы отвели глаза. К тому же коварный Касым не пользовался нашим расположением.

– Ты, конечно, сильный, но за что так его?– спросил Аян Есикбая, покачав головой.

Есикбай саркастически фыркнул и опять отошел в сторону. На большее он пока не решался. Сегодня Аян и для него был чем-то необычным.

В тот день мы купались, загорали и снова купались, до вечера играли у заводи и так свыклись с Аяном, будто он жил в нашем ауле со дня рождения.

Словом, в первые же дни Аян завоевал всеобщую симпатию. Особенно нам понравился его мягкий покладистый характер. Каждый, конечно, стал исподволь набиваться в друзья, но Аян относился ко всем одинаково по-доброму, давая понять, что желает ладить со всеми. Кое-кто из забияк пытался расшевелить Аяна, прощупать его, но Аян только хмурил брови и отходил подальше, а самому настойчивому ответил так:

– Я не хочу драться. Потому что это глупо, и потому что я у бабушки один. Если я подерусь, ей будет неприятно.

И провокатор отошел с миром. В том, что Аян был не хилого десятка, он убедился еще в день знакомства. Тогда мы боролись на песке, и новичок клал всех на лопатки. Только Есикбай одержал над ним победу.

Этот неугомонный драчун дня четыре приучал себя к мысли, что Аян такой же, как все, и, значит, его можно бить в общем порядке. Укрепившись в таком мнении, Есикбай начал придирааться к Аяну. Но вызвать на скандал умного и доброго Аяна не так было просто.

– Да хватит тебе! Перестань, – отмахивался Аян добродушно.

Но однажды Есикбай потерял терпение, послонявил палец и мазнул Аяна по лицу.

Аян вытер лицо тыльной стороной ладони и серьезно спросил:

– Значит, ты никак не можешь не драться?

– Что, с тобой, что ли? Видали мы таких! – запетушился Есикбай и попытался щелкнуть Аяна по лбу, но тот уклонился вовремя.

– Пойдем в лог. Посреди улицы драться не буду. Тут уж бабушка узнает наверняка, – спокойно сказал Аян.



– Думаешь, это тебя спасет? Уж так изукрашу – бабушка все прочтет, как по книге!– заверил Есикбай.

Мы отправились следом за ними. Довольный Есикбай спустился в лог первым, приговаривая:

– Ну, иди же сюда, голубчик. Сейчас я тебе покажу.

Аян на ходу снял рубашку, бережно повесил на курай и изготовился к схватке. Бойцы прищлись друг другу в рост. Есикбай выставил руки первым, обхватил Аяна и, притянув к себе, начал валить. Но его противник держался крепко на ногах, и нам, зрителям, стало ясно, что в честной борьбе Есикбаю не осилить. Он понял это сам, изловчился и, схватив Аяна за чуб, запрокинул ему голову. Аян стиснул зубы от боли и медленно повалился на спину, Есикбай взгромоздился на него верхом и начал молотить кулаками. Его спина закрывала лицо Аяна, мы видели только ноги, отчаянно взбивающие пыль. И вдруг Есикбай страшно завопил и сполз набок.

Аян держал его за кисть руки и слегка выворачивал, как только Есикбай обнаруживал намерение побрыкаться. И вот на наших глазах непобедимого Есикбая взяли за шиворот и дважды легонько ткнули в пыль, точно нашкодившего котенка.

– Теперь довольно?– спросил Аян.

– Ай, ой! Конечно, довольно!– закричал Есикбай, опасаясь, что победитель передумает.

Аян шагнул через голову Есикбая и выпрямился: теперь сила врага должна перелиться в его мышцы. Во всяком случае, так утверждают древние казахские легенды. Аян тоже не сомневался в этом, он спокойно надел рубаху, пригладил ладонью чуб и полез наверх, ни разу не оглянувшись.

Потом наступила осень, и мы пошли учиться в первый класс к старику Иманжанову. У нашего педагога тряслись руки и слезились воспаленные глаза. Старик приносил с собой листочки драгоценной в то время бумаги и учил нас азбуке.

Я сидел за одной партой с Аяном и был первым свидетелем его школьных успехов. Его способности проявились с самого начала. Помнится, после надоевших нуликов и палочек учитель написал на доске первую букву, и мы, высунув языки, перерисовывали ее на листочки. Наши пальцы, сильные и крепкие в уличных играх, еле управлялись с карандашом. Мы все еще боролись с непослушными пальцами, а Аян уже нетерпеливо ерзал на скамье и спрашивал у старика Иманжанова, что делать дальше.

– Не спеши, всему свое время, Аян, – успокаивал учитель, радуясь живому, любознательному ученику.

После урока Аян говорил с возмущением:

– Почему он не написал все буквы? Я бы их выучил сразу и написал папе письмо.

Мы понимали его: каждый из нас ждал той минуты, когда можно будет сесть за стол, написать письмо отцу или брату на фронт. Будто почувствовав это, наш престарелый учитель не жалел своих сил и терпения, и вскоре наступил великий день. На одной из перемен мы столпились за спиной Аяна, и он самостоятельно вывел слова: «Мой дорогой папочка...»

Отныне, вернувшись из школы, Аян располагался на полу и писал письмо, слюнявя химический карандаш. Уже после второй строки его губы становились фиолетовыми, точно он перекупался в заводи.

Почти каждый день из аула уходило письмо, адресованное отцу Аяна. Иногда их было два, в том случае, если бабушка усаживалась на постели и диктовала свое письмо.

Мы завидовали Аяну, потому что еще не научились связывать на бумаге слова в осмысленные предложения. Но наш новый приятель ни капельки не заносился перед нами. Бывало, придешь к нему, скажешь:

– Аян, помоги. Уж очень хочется написать брату письмо.

А он отвечает великодушно:

– Возьми мое и перепиши. Только имя моего отца замени именем своего брата. Понятно?

Киваешь: понятно, – и мчишься домой в нетерпении.

Так постепенно все наши одноклассники стали посылать письма на фронт. Письма были точно близнецы, потому что, в сущности, их сочинял один человек.

Наш учитель будто только и ждал того, чтобы его ученики научились писать письма. Скоро, наполовину парализованный, он слег в постель. Другого учителя не было (да разве его найдешь в войну для маленького аула!), и потому у нас вынужденно начались надолго затянувшиеся каникулы.

В тот же период, который связывается в моей памяти в одно целое, случилось еще одно событие. Однажды Аян гнал бычка с пастбища домой и по дороге решил его объездить. Кроткий обычно бычок взъярился, взбрыкнул и сбросил с себя Аяна. Незадачливый джигит вывихнул ступню и около месяца провалялся дома. Этот вывих оказался для Аяна роковым. С тех пор он так и не смог отделаться от его последствий.

Он все меньше и меньше возился с нами, а затем и вовсе стал просто свидетелем наших игр: сидел где-нибудь в сторонке да с завистью заглядывал, как мы носились по аулу, изображая Красную Армию.

А потом пришла зима, выпал первый снег, и наступила пора снежных гор и санок.

Наш аул приютился у подножья горы Ешкиольмес. Его головные избы, пытаясь подобраться повыше к вершине, вползли было на склон и застыли в начале пути. Такое возникает впечатление, когда смотришь на единственную улицу в нашем ауле. Летом она верхним концом упирается в густую гриву полыни, покрывающей гору Ешкиольмес, а зимой мы носимся

сверху вниз на санях по утоптанному снегу, и до позднего вечера над улицей звенят веселые детские голоса. Зима у нас замечательная, снег выпадает глубокий, и в то же время у подножья горы солнечно и тепло. Вот уж благодать, когда несешься навстречу упругому воздуху, а снег слепит глаза и поскрипывает под полозьями, и видишь, как торопятся твои приятели, волокут наверх сани, и щеки их пышут жаром...

Катание в этот день ничем не отличалось от прочих. Время уже подходило к вечеру. Солнце разбухло, отяжелело, налилось красным соком, готовое вот-вот сорваться за гору Ешкиольмес; на снег упали его мягкие розовые отсветы. С солнечной вершины Ешкиольмеса привычной дорожкой спускалась в аул скотина, пасущаяся на проталинах. Все дышало миром, будто исчезли беды и слезы. Хотя бы на эти часы. Поэтому вопль отчаяния поднял на ноги всех людей. Ему ответил такой скорбный плач, что у нас, детей, побежали по спинам мурашки. Минутой позже мы поняли, что горе избрало в жертву дом, где жил Аян.

Ну что ж, от этого никуда не денешься – даже несчастье вызывает у детей прилив любопытства. Мы посыпались с саней и побежали поглядеть на чужое горе. Те, кто уже успел все узнать, шептали осведомленно:

– Слышал, у Аяна-то бабушка умерла.

И передавали новость другим с таким усердием, будто нас ожидало вознаграждение за радость – суюнши, и, конечно, не сводили глаз с Аяна, боясь пропустить самое главное.

Аян стоял у порога, белый как тот самый снег, по которому только что носились наши сани, и моргал часто-часто. Соседские женщины подняли кутерьму: вокруг причитали, кто от души, а кто ради приличия. А он застыл, глух и нем, только хлопал ресницами, да иногда зябко вздрагивал. Мы решились и, подталкивая друг друга, подобрались к Аяну. Он встретил нас

молчанием, только недоуменно взглянул на санки, которые мы притащили за собой.

Солнце спряталось за вершиной Ешкиольмеса. Краски померкли, стал сумеречно-серым воздух. А мы впились глазами в Аяна, ожидая, когда же он заплачет. Кто-то даже произнес вслух, точно подсказывая Аяну:

– Эй, почему он не плачет? У него же умерла бабушка!

Но Аян молча перешагнул порог, прошел мимо окон и завернул за угол. Нетрудно догадаться, что мы бросились за ним, заинтересованные его поведением. И тут он обернулся и сказал:

– Ну, что вы, ребята?.. Хотите послушать сказку?

Он произнес это так, будто умерла не его бабушка, а все наши бабушки сообща покинули белый свет, и потому мы нуждаемся в его утешении.

– Так рассказать вам сказку?– спросил он, печально улыбаясь.

– Расскажи!– брякнул Садык.

– Наверное, лучше смешную,– сказал он самому себе и, задумавшись, потерся щекой о ворот шубы с редким мехом.

А мы крепко держались за свои санки и глазели на него, дружно разинув рты.

Аян вздохнул прерывисто и начал, будто забыв о нашем присутствии и обращаясь только к себе:

– Давно это было... Жил один мальчик... сирота...

Он рассказывал долго и задумчиво, потому что сказку придумывал прямо на наших глазах. Сказка получилась грустной. Но сирота оказался не таким уж жалким нытиком, он не сдавался, а раза два мы даже рассмеялись, забыв о том, что сегодня умерла бабушка Аяна.

На другой день ее хоронили. Следуя обычаем, те немногие мужчины, что были освобождены от военной службы, похоронили бабушку и помчались на конях в аул, оставив Аяна у могилы. Он стоял один-одинешенек, низко опустив голову. И на этот раз глаза

были сухими, будто он до сих пор так и не научился плакать. Потом он взял ком глины вперемешку со снегом с могильного холма и бросил в сторону, как положено:

– Бабушка, пусть земля тебе станет пухом!

Он подул на заочневшие пальцы и поплелся по дороге в аул. В этот же день Аян переехал к старику Бапаю, который находился с бабушкой в далеком родстве. Вначале из ворот выехал дед Бапай, на его санях красовались горы пестрых одеял и подушек. За ним появился Аян, ведя светло-серую корову. Корова сделала шаг, другой и уперлась, чуя, что ее уведут навсегда из привычного стойла. Ну, а нам только дай повод для деятельности. Мы побросали сани и всей ватагой наперли на корову сзади.

– Раз, два – взяли! – вопил Есикбай.

Корова тарасила большущие глаза, полные коровьей тоски, мотала головой, хвостом, точно ее кусали слепни, сделала вид, будто хочет боднуть Аяна, но затем смирилась, промычала жалобно и побрела следом за Аяном, нюхая полу его шубейки.

– Она у нас умница, все понимает, – сказал Аян, зачем-то стараясь оправдать корову в наших глазах.

Мы проводили его до нового жилья и опять взялись за санки.

Аян вышел к нам только на следующий день. Он остановился в сторонке и горящими глазами смотрел, как мальчишки летают с горки на санях.

– У меня тоже были санки. Там, в городе, – сказал он мне, когда я, лихо развернувшись, затормозил у его ног.

Он сказал это так, будто мы его обвинили в чем-то.

– Аян, знаешь что, возьми мои сани. Спустишь разок, – предложил я, не выдержав его взгляда.

– А что, может, и в самом деле попробовать? – сказал он неуверенно, но потом лицо его просветлело. – Ну, кто со мной наперегонки?!

Он втащил, прихрамывая, сани на горку и, плюхнувшись на них животом, мигом скатился вниз.

– Спасибо, – сказал он, вставая. – Ух, как быстро! Не успел и подумать.

– А мои сани еще быстрее, – похвастался Садык. – Аян, попробуй на моих.

– Давай твои сани, – обрадовался Аян.

Потом он уселся на сани Есикбая, и не успел он еще оттолкнуться, как остальные ребята закричали наперебой.

– Аян, Аян! А мои сани?! Возьми мои сани!

– Ух, и накатался! – Аян дышал глубоко, возбужденно, видно, устал с непривычки.

– Ну, а за это расскажешь еще одну сказку, – пошутил Садык.

– Так и быть, расскажу, – улыбнулся Аян. – И, наверное, она будет лучше вчерашней. Ну, веселей, что ли.

Когда наступили сумерки, мы собрались у дома Бапая и подняли такой шум, рассаживаясь на крыльце, что тут же распахнулась дверь, и раздался крик старухи:

– Ой, срамota какая! Я-то думаю, что за топот? Уже не согнали ли колхозное стадо под мои окна? А это, выходит, вы безобразники! А ну, марш отсюда, негодники этакие! Ух, я вас!

Она потрясла сухим кулачком, и этого оказалось достаточно – нас точно ветром сдуло со двора. Мы стояли на улице и переглядывались растерянно. «Плакали наши сказки», – вот что было написано на лицах ребят. И тут нашелся Садык.

– Ребята, айда на конюшню! Залезем на крышу, и там уж слушай сколько влезет, во!

И как мы раньше не подумали об этом? На крыше конюшни навалено сено, оно там лежит с начала осени, мягкое, пахучее. Сиди себе и слушай. Уж большего удобства не найти, как ни ломай себе голову. Ай да молодец, Садык!

Мы заорали «ура» и, точно одержимые, подстегивая себя, помчались на конюшню. Позади всех, припадая на большую негу, бежал Аян. Взобраться по каменной кладке на крышу не стоило большого труда, особенно для тех, у кого руки так и чешутся от желания на что-нибудь залезть. На крыше было просто здорово, и первые минуты мы с хохотом и визгом кувыркались на душистом сене, с головой зарываясь в него, опьяненные запахом лета. Потом ребята притихли как-то разом и начали устраиваться поудобней в кружок. Сам рассказчик сел посреди кружка, собрав под себя большущую охапку сена, и устремил сосредоточенный острый взгляд в сторону чернеющего лога. Он еле угадывался в ночи, да и что можно было разглядеть во тьме-тьмущей? Но глаз Аяна проникал через ночь, ему виделось что-то необычное, непостижимое для остальных ребят. И нам стало жутко.

– Это было давным-давно... в далекие времена. Жил один мальчик... сирота... – начал Аян.

Его приглушенный, бормочущий голос завораживал нас. Мы сидели не шелохнувшись и верили каждому слову, хотя и знали прекрасно, что это всего-навсего сказка, придуманная нашим же товарищем. Внизу, под нами, фыркали и тихонько ржали кони и переступали копытами. Но мы уже не реагировали на обыденные звуки реального мира, а перенеслись в диковинную страну, которая раскинулась во тьме у подножья Ешкиольмеса.

С тех пор так и повелось: едва наступал вечер, мы занимали облюбованные места, а Аян заводил очередную сказку.

Как-то в один из таких вечеров Садык появился на крыше с газетой и горстью табака, утащенного из дома. Усевшись по-солидному, так, по его мнению, сидят настоящие мужчины, он свернул огромную неуклюжую «козью ножку», извлек из кармана коробок с единственной спичкой и неумело прикурил. Мы смотрели на



него во все глаза; он сделал первую затяжку, зашелся долгим кашлем и, смахнув невольные слезы, небрежно заявил:

– Теперь можно начинать. Валяй свою сказку, Аян!

– Э, прежде и я попробую. Дай-ка, затянусь разок, – возразил сидевший по соседству с ним Касым-царапка и нетерпеливо потянулся к сигарке.

Наш Садык был великодушным. Он протянул самокрутку, и Касым набросился на нее с такой жадностью, будто в этой порции дыма заключалось его спасение. Но он начал так чихать и кашлять, что мы подняли его на смех, а кто-то назидательно изрек:

– И поделом тебе! Не будешь жадничать.

Потом в это дело вмешался Есикбай.

– А ну, Садык, я покажу, как надо курить, – потребовал он важно.

– Пожалуйста, – сделал вновь широкий жест Садык. Есикбай, волнуясь, вдохнул, набрал полный рот табачного дыма и потихоньку выпустил через ноздри. После этого он обвел нас взглядом, полным превосходства, как бы говоря: «Вот так-то, слабаки». Тут уж не утерпел и я, за мной последовали другие, и вскоре от «козьей ножки» остался крошечный окурочек, который уж никто не рискнул взять в рот.

На другой день каждый притащил на крышу собственное курево и потом, пыхтя, рассыпая табак и шурша газетой, сворачивал уродливую «козью ножку». Мы чадили в ночное небо и слушали Аяна, и отныне его сказки обрели еще большее очарование. Курение возвысило нас в собственных глазах, мы считали себя повидавшими виды людьми, внушающими мудрость одного из братьев. Потом один из нас попался матери во время кражи табака, и родители забили тревогу. Табак и газеты были убраны в семейные тайники. Но мы уже стали искушенным народом.

– Ребята, а ребята, вы заметили, что курит немой Турдагул? – спросил Есикбай, когда мы устроили совет по столь трагичному поводу.

О да, мы отлично это знали, и отныне горстка сухого конского навоза (да простит читатель!) стала одной из тех необходимых вещей, что мы постоянно таскали в карманах. И опять мы пускали к звездам дым, внимая голосу Аяна.

А сказки его казались нам удивительными. В них было все: и доблесть, и богатырская мощь, и ум, и красота. Но самая притягательная сила этих сказок заключалась в том, что их героями Аян сделал нас. По его словам, мы отважно бросались в атаку на фашистов, один против ста, нет, против тысячи, да что уж там, против миллиона, и под нами храпели фантастические кони, а на наших руках сверкали волшебные сабли из чистого серебра. Перепуганный до смерти враг обращался в паническое бегство передо мной, перед Садыком, и уж, разумеется, в первую очередь перед Есикбаем. Вечно хлюпающий носом Касым-царапка забывал о соплях и о том, что еще не слопал лепешку, стянутую со стола, потому что в этот миг одним махом в одиночку сокрушал фашистские орды.

Мы слушали Аяна, забывая о скудных обедах, о худой одежке. Все это казалось пустяком по сравнению с нашими подвигами. И когда кончалась сказка, замирало последнее слово Аяна, мы принимались горячо обсуждать только что отгремевшие события. Только и слышалось:

– А как я их, а! Здорово?

– А я?!

И неизменно разговор переключался на всамделишную войну. Есикбай или кто-нибудь еще говорил.

– Была бы у меня такая волшебная сабля, поехал бы я на фронт, да как бы задал фашистам трепку, всех бы покосил наповал.

Или что-нибудь еще в этом роде. А Садык или кто-то другой добавлял мечтательно что-нибудь вроде:

– Представляете: папа, а вокруг него фашисты. И тут появляюсь я с волшебной саблей. «Папа,–

говоря, – это я, Садык?» И раз! Раз! По фашистам. И всех до одного! А, как бы было здорово?!

Все остальные соглашались с ним, каждый тоже мечтал помочь отцу или братьям в самый трудный для них момент...

Иногда Аян придумывал страшную сказку. Тогда ночь вокруг нас наполнялась лязгом медных крыльев, на которых парили звероподобные птицы, а закоулки, лог и яры так и кишели одноглазыми чудовищами, чертями и прочей нечистью. Ночь наэлектризовывалась ужасами: нам мерещилось, что ветер, дующий со стороны яра, доносит какие-то воюющие голоса, и стоило самому храброму из нас крикнуть «а!», как остальные с воплем «ой-бай!» зарывались в сено.

Что происходило с Аяном, когда в его голове рождались такие сказки, не представляю и сейчас. Может, его угнетало одиночество, и временами, когда побеждало отчаяние, ему чудилось, что его окружают несчастья, и те принимали сказочные образы в его детском воображении... Об этом остается лишь гадать. Но и в таких случаях его сказки всегда кончались счастливо, потому что он верил в победу добра.

И в то же время никто так не веселил нас, как все тот же Аян. К сожалению, это случалось очень редко. Но уж когда он брался за смешную сказку, чуточку улыбаясь и показывая при этом плохие редкие зубы, мы корчились от смеха, сучили ногами, захлебывались, держась за животы. И будто не шла война на земле, и наши отцы и братья в этот самый час сидели дома в тепле, живые и невредимые...

– Аян, ну еще одну... Ну, что тебе стоит, – умоляли мы, когда он умолкал.

Но сколько ни проси, больше одной сказки он не рассказывал. Он поднимался, отряхивал приставшее к шубейке сено и виновато отвечал:

– Поздно уже, ребята. Спать пора. Дома ругаются, наверное.

Нам казалось, что Аян просто ломается перед нами, набивая цену, что сочинять сказки не так уж и сложно, только нужно знать особый способ, а Аяну известен этот способ, и нам только не хватает смелости, а то и просто лень расспросить его как следует и потом самим выдумывать сказки. Но, видно, это было и не такое уж легкое дело. Аян думал, сидя где-нибудь на солнышке, а мы беззаботно катались с горки на санках и вечером, уставшие, довольные, мокрые от снега, шли на конюшню послушать, что же еще приготовил для нас наш приятель...

В награду за новую сказку кто-нибудь из ребят наутро давал свои санки Аяну – это стало обычаем. Так было вначале, и первое время мы были очень добро-совестны, но потом порыв остыл. Как-то, когда подошла очередь одного из нас, он сказал:

– Знаешь что, Аян. Лучше я дам тебе сани завтра. Ты не обидишься?

– Конечно, нет, – ответил Аян растерянно.

Новый почин был заразителен. Да и кому охота расставаться с санями хотя бы на один день, когда так сверкает снег, и сани так и скользят по снегу, и ветер поет в ушах. Теперь, если Аяну удавалось хотя бы разок съехать на санях, если у кого-нибудь просыпалась совесть, и он скрепя сердце говорил: «Аян, может быть, прокатаешься разок?» – это можно было считать удачей.

Аян тащил сани на горку, но это уже не приносило ему прежней радости, и, скатившись с горы, он возвращал сани владельцу. Казалось, он брал-то их оттого, что понимал все и просто не хотел ставить засовестившегося мальчика в неудобное положение. А потом он подолгу стоял внизу, у самого спуска, пряча посиневший от холода нос в ворот шубейки, постукивая пяткой о пятку, и молча следил за нашими забавами.

Иной раз из ворот высывалась старуха Бапая и покрикивала:

– Эй, Аян, где ты там? Куда он делся, этот непоседа? Ах, вот ты где! Ступай, привяжи корову, загони уток и гусей. Да, совсем забыла: потом напоишь кобылу. И смотри не забудь положить ей сена!

– Я сделаю все, бабушка, – отвечал Аян и уходил во двор, то и дело оборачиваясь, будто опасался пропустить самое интересное, а покончив с делами, почти всегда возвращался.

Зато вечером Аян брал свое. Он, видать, с нетерпением ждал весь день, когда сядет солнце, и когда оно закатывалось за вершину Ешкиольмеса и начинало смеркаться, его лицо оживлялось, он говорил:

– Ну, а теперь на конюшню. Я сегодня придумал такую сказку!.. Куда до нее вчерашней!

Бывало и так, что он не выдерживал и звал послушать сказку днем.

– Неужели вам не надоело кататься? Каждый день одно и то же. Что за интерес лежать на брюхе и портить при этом одежду? – начинал он и выпячивал пренебрежительно нижнюю губу.

Но он не умел притворяться, а мы понимали, в чем дело, и не поддавались на его уловку. Разве что найдется один маленький простак да пискнет:

– А может, и правда поедем? Мои бурки промокли до нитки.

И это придавало Аяну силы.

– Да разве это сани? – фыркал он и морщил нос. – Не сани, а сплошное недоразумение. Вот достать бы сани с рулем и мотором, да с фарами. Такие, чтобы не только вниз, но и вверх забирались. Это я понимаю!

– Э, выдумываешь все! Разве такие сани бывают, чтоб и вниз, и вверх? – удивлялись мы.

– Еще какие бывают! Ну, как летающий конь. Ну, словно конь Тайбурыл!

– Конь Тайбурыл? На котором ездил батыр Кобланды?

– Ну да. Так и эти сани. Им что вниз, что вверх, все одинаково!

Спорить с Аяном никто не решался: если он это утверждает, значит, такие сани существуют на самом деле.

«Вот бы мне такие сани, про которые говорит Аян», – думал каждый из нас.

Странный был характер у Аяна. Выхожу как-то поздно перед сном на улицу – дай, думаю, подышу свежим воздухом – и вижу: кто-то впотьмах несется с горы на санках. Шум такой, будто гора Ешкиольмес поползла со своего места. Что за чудак, думаю, кому взбрело кататься в такое время? А шум все ближе и ближе, и вот прямо на меня выехала черная фигурка. Лунный свет озарил ее, и я узнал Аяна. Его рот растянулся в счастливой улыбке от уха до уха, полы шубенки развевались от спешки, будто бы Аян торопился наверстать упущенное и притом еще покататься впрок.

Я окликнул его.

– Это ты! – произнес он возбужденно. – Вот Садык дал сани до завтра. Идем кататься!

– Ты что, сошел с ума, кататься в такое время? Скоро полночь, а ты – кататься на санках!

– А ты разве не знаешь? – спросил Аян удивленно. – Разве не знаешь, что лучше всего кататься при луне? В такое время у саней появляется особое свойство. Ну, вроде крыльев.

Вот этого я не знал, а потому, опешив, промолчал. Аян между тем побежал на горку и немного погодя опять понесся вниз. Вот он возник в полосе лунного света, и мне почудилось, что он вправду летит. Ну, не так, чтобы высоко, в каком-нибудь сантиметре от земли, но летит, черт возьми.

– Ура! – закричал Аян и победно поднял руку.

«Наверное, и вправду у саней при луне вырастают крылья», – подумал я, побежал домой за своими санями и начал шарить во мраке сеней. Как всегда бывает, под ноги лезли ведра, тазы и гремели проклятые.

– Э, да кто-то ходит в сенях,– сказала за дверью мать,– наверное, опять зашла собака.

Она открыла дверь, когда я нашел наконец-то сани и наострился бежать. Но мать так и припечатала меня полоской света, вырвавшейся из комнаты.

– Ах, это ты расшумелся?! И что тебе понадобилось, здесь, скажи на милость?– спросила мать.

– Мам, я вот хочу покататься на санках.

– Дня тебе мало?– рассердилась мать.– Ишь взбрело в голову, когда люди добрые спят. Разве ты вор, чтобы кататься тайком от всех.

– Аян вон катается, он говорит...

– Аян, Аян... чтоб он провалился в преисподнюю, ваш Аян. Только и слышно: «Аян говорил... Аян то... Аян это!» Оставь сейчас сани и марш в постель.

Она выхватила сани, швырнула их с грохотом в угол, а мне достался увесистый подзатыльник.

Ужасно огорченный, я побрел в комнату, разделся, лег рядом с дедушкой и долго не мог уснуть. В моих ушах все еще стоял шорох полозьев, скользящих по снегу. И когда все-таки сон сморил меня, мне приснился Аян, летящий на крылатых санях вверх, на вершину Ешкиольмеса...

Зима долго баловала нас хорошей погодой. Потом наступил день, когда небо заволокло тучами, и из степей подул колючий холодный ветер. В тот вечер лампы в ауле зажглись раньше обычного. Но мы не изменили своей традиции: как ни в чем не бывало собрались на крыше конюшни и начали скручивать сигарки, готовясь выслушать очередную сказку. Помнится, лицо Аяна светилось тихой радостью.

– Ребята, что со мной было! Скажу – не поверите. Сегодня под утро я увидел папу,– сказал он голосом человека, получившего невиданный подарок.– Правда, правда. Вчера мне постелили папино пальто, а оно пахло папой. Похоже на запах полыни. Бабушка при

жизни говорила: «Я твоего отца, знаешь, где родила? На Полынном холме родила, на самой верхушке. Пошла за скотиной и вот родила». Видно, с тех пор у папы и остался запах полыни, горький, горький и хороший. Я уткнулся носом в пальто, долго лежал, так и уснул. И мне приснился папа, здоровый, веселый. Глядит на меня и смеется все.

– А я укрываюсь папиным пальто. Оно тоже пахнет полынью, – заметил кто-то из ребят.

И тут пошли разговоры об отцах и братьях, словом, чем пахнет оставленная ими одежда. И что интересно, все сошлись на том, что от их отцов и братьев тоже пахло полынью, будто и они родились на Полынном холме, что стоял неподалеку от нашего аула. И тогда все устались на Аяна, предоставив ему решающее слово.

– Ребята, я тоже пахну полынью. Наверное, потому, что очень похож на папу. Так все говорят. Можете сами понюхать, – сказал Аян смущенно.

Мы потянули носом: и точно, от Аяна донесся далекий запах полыни. Он был горьковатый, его ни с чем нельзя было спутать. А может, нам просто показалось, так как мы привыкли верить каждому слову Аяна.

– Да, от него пахнет полынью, – авторитетно заявил Садык, поставив тем самым крест на наших сомнениях.

Как вы догадываетесь, Есикбай не мог стерпеть того, чтобы от кого-то пахло полынью, а от него нет. Он тщательно обнюхал свой рукав, грудь и сообщил:

– Если на то пошло, от меня тоже пахнет полынью!

После этого каждый принялся нюхать свои рукава, и со всех сторон понеслось:

– Я тоже пахну полынью!

– И я!

– И я!

Надо сказать, мы все были очень довольны новым открытием, радости-то было сколько – не передать.



Наконец ребята уgomонились, и Аян приготовился к рассказу, прочистив горло.

– Подожди,– сказал Есикбай,– я хочу спросить у Царапки: почему он не дал тебе санки? Вчера была его очередь.

– Мои санки сломались...– захныкал Касым-царапка.

– Ага, они сломались именно вчера. Не раньше, а именно вчера. Эка их угораздило сломаться так вовремя. Удачное совпадение, не правда ли?– продолжал гнуть свое Есикбай.

– Ну и дай ему свои, если тебе так хочется,– огрызнулся Касым-царапка, поняв, что его разоблачили.

– Я-то не жадничаю,– сказал Есикбай.

– Ребята, хватит вам! Из-за такого пустяка,– вмешался Аян.

– Не мешай, Аян. Надо же проучить,– не унимался Есикбай и, сорвав с головы Касыма лохматую шапку, сбросил ее с крыши на землю.

– Ну зачем ты? Он простудится. Я могу обойтись и без санок,– заступился Аян за Царапку.

– Не простудится. Пусть поскорее убирается отсюда,– и Есикбай угрожающе приподнялся.– Ну, кому говорят?

Касым-царапка неохотно слез с крыши, поднял шапку и, нахлобучив ее на самые глаза, пообещал перед уходом:

– Вот пожалуюсь Туржану. Он вам задаст тогда!– И удалился, ругая всю Есикбая и ни в чем неповинного Аяна.

Брат его Туржан еще до войны славился буйным нравом. Месяц назад он вернулся с фронта без руки и теперь полагал, что ему позволено все.

– Я контуженный,– говорил обычно Туржан.– Я кровь за вас проливал, такие вы сякие!

И особенно доставалось от него мальчишкам. Вот почему Касым-царапка пугал нас расправой брата. Но сейчас мы никого не боялись – мы ждали новую сказку.

В тот вечер Аян вернулся к сказкам о мальчишке-сироте.

– ...Он проехал, наверное, тысячу километров на уродливом жеребенке, и вдруг тот заговорил человеческим голосом: «Видишь высокую гору? Она самая высокая в мире. Но мне она нипочем. У меня есть складные крылья. Надо только дождаться, когда, наступит ночь. А днем даже птица не может перелететь через нее, потому что боится опалить свои крылья под лучами солнца. Гора-то, вон, до самого солнца, видишь? Но когда солнце сядет и станет прохладно, мы полетим. Только, смотри, не упади, держись покрепче и лучше зажмурь глаза. Потом я скажу, когда можно, будет открыть. Так и скажу: «А теперь можно открыть глаза», – понял? В общем перемахнули они ночью на другую сторону самой высокой горы и увидели пещеру. Там кто-то спал у костра. «Тут и живет это одноглазое чудовище», – сказал жеребенок мальчику-сироте.

Аян вытаращил глаза, посмотрел на нас так, словно увидел впервые, и снизил голос до шепота, как будто то самое одноглазое чудовище могло его услышать. Он проделал это настолько ловко, что по нашим спинам пробежали мурашки, и черный остроконечный силуэт Ешкиольмеса показался нам той самой горой, за которой хрипело в своей пещере одноглазое чудовище. И холодный ветер, что дует сейчас, кажется порождением его храпа. Гора потихоньку раскачивается под этим ветром, поднимаясь и опускаясь при вдохе-выдохе, точно тундук юрты. Мы боимся дышать, дышим осторожно-осторожно, и я вижу, что вот уже никто не решается повернуть голову в сторону горы Ешкиольмес...

А ветер дул надсадно, иногда швыряя в лицо бог знает откуда взявшиеся горсти неприятно мокрого снега. Над аулом собрались черные тяжелые тучи, слетелись сюда со всего небосвода, нависли над домами. Залаяла собака, завывала, точно верный сторож

одноглазого страшили. «Сейчас разбудит чудовище, и тогда держись», – подумал я, невольно поеживаясь.

И тут, на самом интересном месте, кто-то из ребят завопил:

– Караул! Пожар!

По краю крыши ползла тонкая змейка огня. Ветер подгонял ее, и она ползла быстро, извиваясь, точно выбирая дорогу поудобней. Видимо кто-то из ребят бросил окурок, и тот угодил на солому, которой покрыли крышу еще в начале осени.

Мы посыпались со стуком с крыши, точно перезревшие плоды с дерева, которое качала ветром, а разбежались кто куда. Последним, оказывается, прыгал Аян, помню только, как вслед нам донесся его болезненный вскрик:

– Ой, нога! Моя нога!

Стыдно признаться, но в этот момент нам было не до него – каждый думал о своей безопасности. Тем более, что по всему аулу хлопали двери, с воплями «Пожар! Пожар!» К конюшне бежали взрослые, а впереди всех маячила фигура Туржана. Его злой хриплый голос выделялся среди общей разногласицы.

– Я им задам! Я за них кровь проливал, за сопляков!

Я нырнул за придорожные кусты и, выглянув затем из надежного укрытия, увидел, как Туржан кинулся туда, где лежал скорчившийся от боли Аян.

Темный силуэт задержался в неистовой пляске. До меня донесся посвист камчи, и почти одновременно я услышал умоляющий голос Аяна:

– За что дяденька!

– Я тебе покажу «за что!», – рычал Туржан.

Потом он напоследок пнул Аяна кирзовым сапогом и бросился в конюшню, где тревожно ржали лошади, почуявшие запах гари.

Огонь с трудом осиливал подмокшую солому, и подоспевшие взрослые покончили с ним в два счета.

После этого кто-то из мужчин заметил Аяна, поднял его на руки и укоризненно произнес:

– Надо же, как избил мальчишку! Дурная голова, ишь кому мстит за свою руку.

Окружившие их люди соболезнующе цокали и осуждали Туржана. Поняв, что гнев взрослых устремился по другому руслу, мы потихоньку вылезали из своих убежищ и осторожности ради собрались в сторонке, не глядя друг дружке в глаза. Нам было совестно оттого, что вот так трусливо бежали, бросив товарища в беде.

– Ребята, – начал кто-то, видимо желая оправдаться.

– Ребята, ребята... Молчи уж, – перебил его грубо Есикбай.

Аяна унесли в дом Бапая, и мы, потоптавшись еще немножко, понурились, потому что разговор не клеился, разошлись по дворам.

Когда я заявился домой, взрослые еще бодрствовали. Дедушка сидел, нахохлившись, на приготовленной постели, а у мамы и бабушки был откровенно расстроенный вид. Они словно только и ждали моего возвращения.

– Вот он явился, храбрец, полюбуйтесь! – сказал сердито дедушка. – Почему только плеть Туржана не досталась этому трусу? Ему-то было бы поделом!

Что я мог сказать в свое оправдание, только стоял у порога да молча водил пальцем по стенке, словно это было такое уж важное занятие. Мой желудок ныл от голода, но у меня не хватило смелости даже заикнуться об ужине. А главное, я казался себе ничтожным человеком, недостойным и того, чтобы его кормили.

– Бедный Аян, совсем одинешенек, и заступиться-то некому. Отец на фронте. А Бапаю со своей старухой самим нужен глаз да глаз, такие дряхлые, – пробормотала мать, затем она повернулась ко мне и сказала: «Садись поешь, лоботряс».

– Да что-то не хочется, – промямлил я самоотрешенно, боком-боком прошел к постели, разделся поскорее и юркнул под одеяло.

Уснул я на удивление быстро, только успел услышать, как прошамкал дед:

– Сбросить бы лет пятьдесят, ну и проучил бы я Туржана. Совсем озверел, сукин сын.

Проснувшись утром, я увидел, как мать отливает молоко из кувшина в пол-литровую банку. Словно почувствовав мой взгляд, она обернулась и сказала:

– Вставай-ка, позавтракай. А молоко я отнесу Аяну. Изголодался, поди. Говорят, до сих пор лежит пластом, несчастный мальчик.

Я второпях поел и побежал к Аяну. Моя мать еще сидела в доме Бапая и о чем-то шепталась со старухой, которая пряла шерсть. Временами они обе поглядывали на больного. Сам Аян лежал на грубой кошме; ему постелили возле печки, но он все равно зябко поживался под ветхим одеялом, сшитым из лоскутов. Лицо Аяна отекло от побоев, на скуле багровел здоровенный синяк.

– Ну как? – спросил я, подсев к нему поближе.

– Да ничего, – ответил Аян, еле ворочая языком.

Мы замолчали, да и о чем тут можно было говорить – только поглядывали друг на друга. И я невольно начал прислушиваться к шепоту взрослых.

– Ну и что с ногой? Выправили ногу-то? – спрашивала мать.

– Куда там! Наш старик со вчерашнего вечера бегает как угорелый. Вот и опять с утра убежал. Да что толку, кто в нашем ауле возьмется за это? – проворчала старуха.

– А как же Асылбек-костоправ? Он, говорят, умеет лечить.

– Э, Асылбек уехал в город, будто нарочно. Уж когда не везет, не везет до конца. Да и этот постреленок хорош, – и тут старуха кивнула в сторону Аяна. –

Шастает где-то до полуночи. Все ему надо лезть впереди остальных. Пропади его игры пропадом. А нам за него отвечай, за сорванца этого. Свалился на нашу шею. Уж скорее бы кончилась война, да вернулся отец. Тогда бы уж мы и померли спокойно. Все одеяла в доме испортил. Во сне-то мочится под себя, как малый ребенок, хоть и умеет сочинять письма, – наклонившись к моей матери, говорила старуха.

Она была глуховата, видать, ей казалось, что ее не слышно совсем, но на самом деле ее бубнящий голос разносился по всей комнате. Аян покраснел, его глаза налились слезами, и, хотя я смотрел на потолок, притворяясь будто все пропустил мимо ушей, он отвернулся к стене и натянул одеяло на голову.

– Ойбой, это все от болезней, – сказала между тем моя мать, поднимаясь, – ничего, придет время, поправится... Пойду, пожалуй, что-то ломит поясницу. В общем, если что нужно, не стесняйтесь. Коли есть, поможем.

Старуха Бапая отложила пряжу и вышла следом за моей матерью, то ли проводить, то ли еще зачем. Главное, что мы остались одни. Меня мучило желание как-то помочь Аяну, и я придумал тонкий, с моей точки зрения план.

– Туржана нам не одолеть. Он взрослый, но, знаешь, что мы сделаем: отлупим Касыма. Вот уж тогда разозлится Туржан. Нас много, всех не переловить, – предложил я, стараясь утешить Аяна.

– При чем тут Царапка? Он-то не виноват, – сказал Аян в стенку.

– Ну и пусть. Зато он брат Туржана, – загорячился я, дивясь, как умница Аян не смог оценить такую месть.

– И Туржан ни при чем, – буркнул Аян, не оборачиваясь по-прежнему.

– А кто же тогда виноват? – спросил я, опешив.

– Война – вот кто! Это все она.

– Ну да! Он и до войны был чумной. Все взрослые говорят. Не веришь, спроси кого угодно.

– Теперь не буду курить до самой смерти, – неожиданно заявил Аян.

– И все равно Туржан – злой человек, прямо псих, – сказал я, продолжая упорствовать.

Аян осторожно повернулся и попросил:

– Поддай мне вон то пальто... Нет, нет, не то, рядом... черное, – и он указал на старенькое пальто, висевшее на почетном месте.

Я придвинул единственный стул и, встав на него, снял пальто с гвоздя.

Аян бережно принял его, приник к нему щекой и потерялся о шершавую ткань. Ноздри его чутко вздрогнули.

– Пахнет полынью. Это папино. Скорей бы он приехал, – сказал он тихо. И, вздохнув, протянул мне пальто:

– Повесь на место, не то увидит бабка и будет ругать. Мол, это вещь, а не игрушка, и пойдет, и пойдет! Не умолкнет до вечера.

Потом он улегся на спину, помолчал, потрогал синяк на скуле и добавил:

– А папа скоро приедет. Я знаю.

Дней через десять он встал с постели и начал ходить понемножку. Когда он впервые вышел на улицу, нам стало ясно, что дела с его ногой совсем плохи.

Как и раньше, Аян приходил к подножью снежной горки на свое излюбленное место и наблюдал со стороны за катающимися ребятами. Он жадно следил за каждым нашим движением и, если случалось что-нибудь забавное, смеялся от души. Точно был таким же здоровым, как и все ребята. Но когда Садык предложил ему свои сани, Аян покачал головой и отказался наотрез.

– Болит нога, – вздохнул он.

Иногда вечером, после ужина, я отправлялся в дом Бапая, шел разомлевший, набегавшись за день. Чаще всего Аян сидел в это время возле железной печурки и подбрасывал в огонь пучки соломы. В дни войны было туго с дровами – край-то наш степной, – и нам приходилось топить соломой. Бывало, хлеб обмолят каменным катком, и потом остается солома, крупная, точно камыш, а в ней иной раз и встретишь колос с остатками зерен. Солома горит легко, бесшумно тает в огне, колос, в отличие от нее, трещит, стреляет искрами, и то, услышав знакомый треск, лезешь палочкой в пламя и выгребаешь к себе колосок с поджаренными зернами. И кажется в этот миг, что нет ничего на свете вкусней, чем каленые зерна. Вот за таким занятием я заставал нередко Аяна.

Если я появлялся в доме Бапая во время ужина, Аян не смел пригласить меня за скромный стол, он молча кивал на кошму, брошенную возле печки, и при этом осторожно косился на Бапая и его старуху. Я забивался в угол и оттуда следил за тем, как проходит ужин в этом странном, по моему мнению, доме. Старики обычно ели пареный талкан<sup>1</sup> с маслом, а мальчику доставались на ужин все те же жареные зерна пшеницы.

– Ты еще молодой, не то что мы, старики. И к тому же у тебя крепкие зубы, – говорила старуха Бапая рассудительно.

Аян кивал, будто соглашаясь, запивал чаем зернышки, а потом, перевернув пиалу дном кверху, перебирался ко мне в угол и спрашивал тихонько:

– Хочешь послушать сказку? Она совсем новая. Только сегодня придумал. Ну как, будешь слушать?

– Спрашиваешь! – отвечал я возмущенно.

---

<sup>1</sup>Талкан – мука грубого домашнего помола из жареного проса, пшеницы, кукурузы.



– Тогда слушай... Жил-был мальчик... Он был совсем один...– начинал Аян, и для меня наступали чудесные минуты.

Слава богу, ни Бапай, ни его старуха не мешали нам. Они ели свой разбухший в масле талкан, пили чай с наслаждением и в невероятном количестве. Затем разморенный чаем старик перебирался на постель, долго мял подушки, с удовольствием рыгая, и порой шутил:

– И что вы шепчетесь, шепчетесь, а? Ишь, заговорщики! Наверное, надумали выкрасть чью-нибудь дочку? Признавайтесь?

А старуха ворчала ему в тон:

– Говорят, плохой пес лает без конца, лает и лает. Так и наш парень: и жужжит, и жужжит без умолку.

Перед тем как лечь, она убавляла и без того слабый огонь в лампе-семилинейке, приговаривая:

– Так и керосина на вас не напасешься, бездельники. Все бы вам болтать.

Наконец они засыпали, а мы еще некоторое время забавлялись сказками под их храп. Аян извлекал из кармана штанов драгоценный запас обгоревших зерен и, сдув шелуху с ладони, делился со мной.

– Очень вкусно, правда?– спрашивал он.

Я соглашался с ним, хотя вкус жженого зерна не вызывал у меня иного желания, как выплюнуть тайком это чересчур «изысканное» блюдо.

Иногда мне удавалось принести ему маленький кусочек жесткого сухого хлеба. Зрачки его расширились, точно у кота, увидевшего мышь, но он старался есть степенно, не роняя достоинства.

Однажды после обильного снегопада кто-то из ребят предложил поиграть в снежки. Мы выбрали двух атаманов, а затем разделились поровну. И тут-то Аян, крепившийся до сих пор, не выдержал и попросил, чтобы его приняли в игру.

– Зачем ты нам нужен, такой хромой? Тебе даже бегать нельзя, какой же интерес играть с тобой, ну, сам посуди,– заявил один из атаманов.

На глазах Аяна выступили слезы, он повернулся и понуро побрел прочь, еще пуще хромая. Мне так жаль было его, что я не выдержал и побежал следом за ним.

– Аян, куда ты?!

– Да тут...– только и сказал Аян, боясь заплакать.

Я пошел рядом с ним, некоторое время мы молчали оба. Так и шли, пока не поравнялись с домом Асылбека-костоправа. Здесь Аян вздохнул тяжело и свернул во двор Асылбека. Я решил не оставлять его до конца и последовал за ним.

Старый Асылбек чистил сарай от навоза. Заметив нас, он оперся на лопату и спросил еще издали:

– Что вам нужно, ребята?

– Дедушка, будьте добры, сделайте что-нибудь с моей ногой. Я тоже хочу бегать,– сказал Аян умоляюще.

Костоправ прислонил лопату к стене, подошел к нам и критически посмотрел на ноги Аяна.

– Бапай мне говорил... Но ты отказался сам. Теперь, пожалуй, поздно: нога так и останется кривой,– пробормотал Асылбек осуждающе.

– Дедушка, сделайте что-нибудь. Мне очень хочется бегать,– повторил Аян.

– Э, думаешь, это просто – поставить сустав на место? А тебе станет больно, ой, как больно! Будь я настоящий доктор, это бы другое дело... А старый Асылбек – деревенский костоправ, и всего-то,– проговорил Асылбек, а сам не сводил с Аяна испытующих глаз.

– Дедушка...– опять затянул мой бедный товарищ.

– Так и быть, детка, так и быть, постараюсь,– засуетился вдруг Асылбек. – Заходите, племяннички в дом, заходите. Эй, старуха, дай-ка племянничкам поесть!– крикнул костоправ, повернувшись к окну.

За темным стеклом возникла его жена и закивала: мол, слышу.

Мы вошли в дом, разделись робко, хозяйка усадила нас, одеревеневших от смущения, на почетное место и угостила баурсаками и айраном. Мне пришлось есть за двоих, потому что Аяну не шел кусок в горло. Чуть погода появился сам Асылбек.

– Ну что, подкрепились, племяннички?– спросил он с порога весело.

Аян кивнул.

– Это хорошо,– продолжал Асылбек, снимая калоши.– Ты, жена, постели нам чистое одеяло... Вот. А ты, орел, ложись. Смелее, смелее! Сам пожелал, тебя никто не неволил. Значит, нужно быть мужчиной до конца!

Он натер курдючным салом больную ногу своего маленького пациента, долго ее массировал. Я чувствовал, как напрягалась каждая клеточка тела Аяна. Он беспокойно следил из-под полуспущенных век за ловкими руками Асылбека, приподнимая голову, чтобы лучше видеть, что тот вытворяет с его ногой, и держал так голову до тех пор, пока не уставала шея. А костоправ массировал ногу и говорил, стараясь отвлечь внимание Аяна, и вдруг сделал незаметное для меня движение. Об этом я догадался только потому, что Аян завопил, как резаный:

– Ой! Больно-о!

– Ну вот и все,– сказал Асылбек, поглаживая больное место. Потом его жена принесла чистую тряпку, а костоправ туго перебинтовал ступню Аяна и даже откинулся назад, любуясь делом рук своих.

– Красиво, а? Теперь тебе позавидуют все мальчишки.– И серьезно добавил:– Будем надеяться на лучшее. И все-таки поосторожней с ногой.

Пришла весна.

Колхозу не хватало рабочих рук, и мы вышли в поле вместе со взрослыми. Обязанности наши поначалу казались несложными: сиди верхом на воле, запряженном в соху, да время от времени погоняй его

прутиком. А позади на плуг налегают женщины, потому что их мужья ушли на фронт и делать эту работу более некому.

Пахать мы начинали спозаранку. Волы медленно брели по мягкой оттаявшей земле, тащили за собой плуг, за плугом шагали женщины, за ними тянулся черный жирный след – пласт перевернутой почвы.

Но вот лемех утопал глубже, чем следовало, и вол останавливался, уже не в состоянии преодолеть добавочную нагрузку. Он отошал за зиму и изнемог, потому что и зимой возил то сено, то зерно. Теперь он стоит, дрожа мелко от напряжения, пуская голодную слюну, и тут-то начинается работа мальчишки, сидящего на его спине.

– Ну, пошел!– орет мальчишка и хлещет вола прутом по спине, по крупу, на которых едва успела запечься кровь от прежних ссадин.

Вол напрягается из последних сил и тащит плуг дальше, до следующей заминки. И так с утра до вечера кричишь до хрипоты, сидя на острой, костлявой спине вола. Горло сохнет от крика, руки висят, налившись тяжестью, в желудке пусто, и от всего этого идет кругом голова. А за спиной слышится тихий усталый упрек:

– Сынок, ну что же ты?

И снова поднимаешь кнут. Вол вздрагивает от удара, но шаг его все так же медлителен и вял. Хочется свалиться на землю, плакать и стучать по земле кулаками.

Женщина, бредущая за плугом, угадывает твое состояние. Она берет кнут из твоих рук и сама нахлестывает, подгоняет скотину, а тебе говорит участливо:

– Держись крепче, сынок. Смотри не упади.

А у самой темные круги под глазами от усталости, шаг неверен и пальцы дрожат. Но едва кто-то из женщин заводит песню, она начинает подпевать:

Ох и высока гора Кокше,  
Как трудно получить весточку от родного,  
Который далеко.

За ней подхватывают у второго плуга, потом у третьего, и песня тихо стелется над полем, как печальный вздох, вырвавшийся из потаенных глубин души. Песня эта грустная-грустная, у нас перехватывает горло, становится жалко и женщин, и себя, и ни в чем не повинную скотину. Но плакать нам не позволяет мужская гордость!

Аян так и сказал после первого рабочего дня, когда мы лежали пластом в землянке:

– Плакать каждый умеет. Если ты настоящий мужчина, держи себя в руках.

Землянка наша темна, черна, точно пещера, Керосиновая лампа дела не меняет, свет ее тускл настолько, что мы даже не видим свой ужин. Просто по вкусу узнаем – варево из талкана. Поев кое-как, мы валимся прямо в одежде на тощий слой соломы, который заменяет нам ложе, и сразу засыпаем. Нам кажется, что сон длится всего минуту. Не успеешь смежить веки, а бригадир Туржан уже кричит, сунув в землянку голову:

– Эй, сорванцы! Подъем!

Голос его осип, потому что в эти дни он скандалит вдвое больше обычного. Вот и сейчас он трясет за плечи едва ли не каждого, орет в ухо, тащит волоком к выходу твое, будто тряпичное, тело.

И все повторяется снова. Ты опять на остром хребте скотины и опять кричишь:

– По-шел! По-шел!– и опять поднимаешь кнут и бьешь вола, пока не онемееет рука.

К обеду начинаешь дремать от усталости и голода и, задремав, летишь на землю, на рыхлые пары. Тогда останавливается вол, довольный передышкой, останавливается женщина, затем она подходит к тебе, на лице ее сострадание. Поругивая войну, женщина

помогает тебе встать на ноги и взобраться на крутую спину скотины.

Не миновал такой участи и Аян. Только для него это кончилось совсем уж плохо. Он вскрикнул и затих, поняв, что, видно, до конца своей жизни обречен на мучения с больной ногой. Лежал, скорчившись, лишь попросил его не трогать, когда кто-то из взрослых вознамерился снять с него чокай – нехитрую обувь из сыромятины.

Аяна подняли, перенесли на бригадный стан. И оставили на попечение поварихи, пока не приедет первая подвода.

Не миновало и часа, как прибежала повариха, сама не своя, отозвала меня в сторону и зашептала:

– Ну и характер у этого мальчишки! Такой маленький, а, представляешь, что наделал? Чуть не задушил себя! Да, да, я сама это видела. Заглянула в землянку одним глазом, а он держит себя за горло и давит. Видит аллах, как я испугалась. «Ты что это, – что с тобой?» Представляешь, тогда он закрыл глаза, прикинулся, будто спит... Бедный мальчик! Я боюсь за него. Ты бы уж как-нибудь поговорил с ним.

На стан я помчался со всех ног, за мной семенила запыхавшаяся повариха, наставляла вслед:

– Скажи ему: у кого сейчас спокойно на душе? У всех горе. У одного одно, у другого другое. Так и скажи: мол, нельзя так!

Аян лежал на спине с закрытыми глазами.

– Аян! Аян! – позвал я шепотом, сел у него в изголовье. Он открыл глаза и, глядя в потолок, сказал:

– Знаешь, я хотел умереть. Ну на что я такой, думаю. А потом вспомнил про папу...

Аян не договорил, ткнулся носом в расстегнутый ворот рубахи и произнес, слабо улыбнувшись:

– Тоже пахнет полынью. Горько-горько... Вот придет папа, уж он-то что-нибудь придумает... Отвезет меня в город. Там врачи в белых халатах... Он скажет им:

«Вылечите моего сына». И они вылечат так, что бегай сколько угодно, прыгай – и ничего. А потом он поведет меня в школу...

Аян раз мечтался, стал рассказывать, как они начнут жить с отцом, когда тот вернется, а я слушал его, позабыв обо всем, потому что это было интересно, как и придуманные им сказки.

– Вот увидишь: скоро закончится война и папа приедет. Только разобьют фашистов, и он приедет, – сказал он твердо.

Я безоговорочно поверил ему, ну, в то, что его отец вернется скоро. Мне очень хотелось, чтобы этот незнакомый мужчина приехал в наш аул и покончил с одиночеством моего товарища.

К вечеру прикатила подвода с семенами для сева и, разгрузившись, увезла Аяна в аул.

Что и говорить, нелегкое выпало детство и мне, и всем моим сверстникам. Бои полыхали где-то в далеких землях (нам трудно было представить эти края, поросшие густым лесом и занятые степью, не похожие на нашу), но война шла везде, и у нас были свои раны, большие и малые. Потом они зарубцевались, но и по сей день рубец нет-нет да и напомнит о себе. В нашем ауле, пожалуй, не найти человека, которого бы в это время минуло несчастье.

Вслед за Туржаном с фронта вернулось еще несколько человек. И каждый принес с собой страшную мету войны. Кто приехал без ноги, кто без глаз, кто, как и Туржан, без руки, – и все равно их появление становилось праздником для всего аула. Потому что вместо иных ушедших на фронт пришли похорожки. Но особенно жестоко жизнь обошлась с мальчиком Аяном...

Я помню тот знойный день в середине лета, когда пришло извещение о смерти его отца. Война подходила к концу, в то время только и были разговоры, что вот-вот вернутся те, кто остался жив, и оттого это событие показалось мне особенно трагичным.

Аян бежал за нами по пыльной улице, припадая на больную ногу. Он придерживал штаны, болтающиеся на его исхудавшем теле, и кричал:

– Эй вы! Да подождите же? У меня есть новая сказка? Даже не представляете, какая интересная. Ну куда же вы, ребята?!

А нам в разгар игры не до него. Неповоротливый, слабый, он был для нас обузой в такие минуты. Он отстал от нашей оравы, что оголтело летела по улице, и добрел в полном одиночестве. Тут-то его и нашел человек из сельсовета. Говорят, посыльный долго мялся, не зная, как вручить извещение, Аян смотрел на него с тревогой и никак не мог понять, что же хочет этот человек. Наконец посыльный сунул в руки Аяна страшный листок и пустился прочь чуть ли не бегом.

Мы видели издали, как Аян прочитал какой-то листочек бумаги, потом прочитал еще раз и еще, словно не верил своим глазам. Потом сложил его вчетверо, спрятал в карман и начал следить за нашей возней как ни в чем не бывало. Мы тогда еще не подозревали, в чем дело, но по тому, как его лицо стало пугающе спокойным, я почувствовал, что случилось неладное.

– Ну, до свиданья. Я пойду, – сказал Аян и потащился к окраине аула.

– Что-то не хочется домой, – сказал я и потянулся за ним, а он будто не услышал, будто отключился от всего, что происходило вокруг.

Он пошел на конюшню. Здесь было душно, пахло созревшим навозом. Нудно жужжали черные жирные мухи. Под потолком за балкой, в воробьином гнезде, пищали птенцы. После яркого уличного света в конюшне показалось темным-темно. Я постоял немного, давая привыкнуть глазам, и двинулся по проходу между стойлами, выставив на всякий случай руки.

Аян сидел в дальнем углу на горке сена, спрятав лицо в ладонях. Потом он вытер глаза и вышел из конюшни.



Я вновь поплелся за ним. Глаза и нос его распухли, стали красными, но он улыбнулся и сказал:

– Жарко как, а?

С тех пор миновала неделя. Как-то утречком я отогнал наших козлят на пастбище и, вернувшись в аул, увидел ребят, толпившихся возле двора Бапая, и подводу, на которой лежал пухлый узел домашнего барахла. Ребята тихо переговаривались, поглядывая на ворота.

– Аян уезжает в детдом, – сообщил стоявший с краю Есикбай.

– Что ты говоришь? Куда он уезжает? – спросил я, ничего не поняв поначалу.

– Говорят, его повезут на станцию. Оттуда – поездом.

Из ворот вышел Аян, одетый по-дорожному. Его сопровождали Бапай со своей старухой и джигит, хозяин подводы, Бапай на ходу наставлял джигита, чтобы тот обязательно довез мальчика до станции.

А старуха обняла Аяна и прослезилась.

– Будь счастлив, родненький, – сказала она, вытирая слезы. – Ты пророс от хороших семян. Твои родители были славными людьми, стань и ты таким же. Будем живы – приезжай.

– Как приедешь, напиши. Ты у нас грамотный, – сказал Бапай. – Жаль, что нет сейчас покупателя. Не то бы продал корову. Теперь уж сведу на базар и потом вышлю тебе деньги.

– Зачем продавать корову? – удивилась старуха. – Аян подрастет, и она пригодится в хозяйстве. Не слушай, детка, дедушку. Он выжил совсем из ума. Когда приедешь, у тебя будет корова с приплодом.

– Зачем мне корова, – сказал Аян и, повернувшись к нам, начал прощаться.

– Я буду писать вам письма, всем! И тебе, и тебе, – говорил он, пожимая руки.

Затем Аян залез на подводу, и возница тронул лошадь.

– Ну, пошла!

К подводе прицепился Есикбай и проводил Аяна до конца улицы. Мы долго стояли так и смотрели, как удаляется телега с Аяном, поднимая за собой серую пыль. Его фигурка постепенно уменьшалась. Аян снял шапку и помахал нам напоследок, а потом и вовсе скрылся за поворотом.

– Ребята, давайте играть!– произнес Касым-царапка, будто ничего не случилось.

– Да что-то болит голова,– сказал Садык и пошел к своим воротам.

– А меня мама зачем-то зовет,– сказал еще один из ребят.

Так в тот день еще задолго до вечера расстроилась компания...

Мы долго помнили Аяна и его сказки. Иногда собирались ненастными зимними вечерами и восстанавливали по слову все, что он когда-то рассказывал нам.

Недавно снова, как и в детстве, я вышел на улицу нашего аула, и мне вдруг почудилось, что под мохнатой шапкой горы Ешкиольмес спит, сотрясая ее своим храпом, одноглазое чудовище, с которым боролся отважный мальчик-сирота. Где-то теперь этот мальчик, счастливо ли сложилась судьба, или он опять с кем-нибудь борется?

Повеял ветерок и принес с Полынного холма знакомый терпкий аромат. И я подумал: если Аян жив, он непременно приедет сюда. Потому что рано или поздно его поманит горький запах полыни.

# ДИКАЯ ЯБЛОНЯ

## Часть первая

Склоны гор в наших местах сплошь заросли дикими яблонями. Они и сейчас стоят от подножия до альпийских лугов, эти не совсем обычные леса. Их плоды кислы и невзрачны, и разве что крайне неосведомленный горожанин вдруг позарится да надкусит дичок, а затем будет долго плевать да проклинать злые шутки природы. Но в годы войны мы, голодная ребятня, целыми днями бродили по этим лесам, подбирали дички, что казались на вид получше. Бывало, вопьешься в яблоко зубами, и оно, белое, твердое, хрустит, точно лед, холодит язык и нёбо. Откусишь от него раз-другой, и рот начинает ныть от оскомины, а зубы нельзя свести, до того становится больно. И все же, переведя дух, мы снова принимались за дички, стараясь обмануть пустые, подтянутые от голода желудки. А набив кое-как животы, валились тут же на траву и постанывали не столько от пресыщенности, сколько от боли. Над нами веял ветерок, благоухали шиповник и смородина. Но сильнее их был аромат диких яблок. Они покачивались, густо облепив ветви, готовые переломиться от их тяжести, радовали нас своим изобилием. И мы, поднявшись, снова принимаемся за яблоки. Они белы, белы наши зубы, и в лесу только и слышно: хруст-хруст...

В аул мы возвращались вечером, когда пастухи пригоняли с пастбищ скотину. За нашими спинами висели коржуны и торбы, полные яблок.

На окраине аула нас встречала одинокая и тоже дикая яблоня. Но ее яблоки были крупнее лесных и не такие кислые. Они дразняще покачивались на ветвях, а самые спелые, упавшие, манили с земли, поблескивая литыми боками, но мы обходили дерево стороной, старались держаться от него подальше. Потому что в

норе, между его корнями, обитало страшное и загадочное существо – бездомная черная сука Караканшык со своими щенятами. Из норы доносилось щенячье повизгивание, а стоило, забывшись, подойти к дереву чуть ближе, из-под корней тотчас раздавалось рычание Караканшык, глухое и страшное, точно подземный гром.

Из рассказов взрослых мы знали, что до войны у Караканшык были и дом, и хозяин по имени Басен, а сама она считалась лучшей охотничьей собакой в округе. Но потом Басен ушел на фронт, а жена его Жайдар, чтобы не оставаться одной, собралась к родителям, жившим в соседнем районе. Жайдар хотела взять с собой и Караканшык, но та, видно, твердо решила дожидаться Басена в его родном ауле, и сбежала со двора. Уж как Жайдар ни уговаривала ее, как ни умоляла, ходила за ней по всему аулу, собака не позволяла ей приблизиться и взять на поводок. «Кокинай-ау, – говорила собаке Жайдар, – почему ты не хочешь ехать со мной? Что я сделала тебе плохого? Когда придет наш Басен с войны, мы сразу вернемся в аул». Но Караканшык так и не поддавалась на уговоры, и Жайдар уехала одна. После ее отъезда не один аульчанин пытался приручить собаку, однако Караканшык оставалась верной своему хозяину.

Она поселилась в норе под деревом, научившись питаться его кисло-сладкими яблоками, и каждое лето с отчаянным постоянством приносила по выводку пестрых породных и вечно скулящих щенков. Когда щенки начинали ходить, мужчины отгоняли суку от норы и, ставив вместо платы миску с бурдой, разбирали потомство по дворам, но через год из норы снова раздавались скулеж и строгое ворчание Караканшык. Так постепенно ее дети заселили почти половину дворов в нашем ауле. Однако старик Байдалы, слывший большим знатоком собак, уверял нас, будто у черной суки еще не явился на свет ее лучший щенок. Он будет,

говорил старик Байдалы, той же редкой породы, что и его мать, и такой же черный как уголь. И если этот щенок попадет в умелые руки, из него выйдет охотник, быстрый как вихрь, от которого не скрыться даже самому ловкому зверю.

И мы верили ему. Черная сука и сама казалась нам сказочным существом. Бывало, валяясь в лесу, на поляне, с туго набитыми животами, мы сочиняли легенды о Караканшык. Будто мать ее рождена от барсука и охотничьей собаки и на передних лапах ее росли настоящие крылья. И каждый старался перещеголять других, сочинял что-то крайне невероятное.

Возвращаясь из леса и обходя одинокую яблоню стороной, мы окликали Караканшык: «Кокинай! Кокинай! Ка! Ка!» И она иногда выходила наружу, задумчиво смотрела на нас, поводя носом, словно обнюхивая издалека, и потом, вильнув хвостом, скрывалась в норе.

Мы и побаивались ее, и привыкли к ней, как привыкают к участнику игр. И потому всполошились, когда она однажды вдруг пропала на целых три дня. Мы топтались под ее яблоней и хором звали: «Кокинай!» И ставшие так вдруг доступными яблоки теперь почему-то нас не привлекали. Мы смотрели на ее нору, а там было тихо.

– Наверное, она подохла, – предположил кто-то из ребят.

Но нам не хотелось верить в исход, свойственный обычным смертным, и тогда кто-то еще сказал:

– А может она убежала на фронт, воевать вместе с Басеном?

Утром четвертого дня мы, как обычно, отправились за яблоками в лес; шедший впереди всех Садык вдруг обернулся и радостно закричал:

– Ребята, смотрите: Караканшык!

Черная сука стояла под своим деревом и жадно грызла опавшие яблоки. Ее брюхо отвисло чуть ли не

до земли, шерсть на боках намокла, торчала клочьями. А лапы подламывались, еле держали большое тело Караканшык. Словом, это была жалкая тень некогда грозной собаки.

– Бедняжка! Что с ней?– сказал Кайрат.– Такая худая!

– Я же говорил, она поддыхает,– ответил Ажибек, самый старший из нас.

Караканшык повернула голову в нашу сторону и, оскалившись, зарычала, как в прежние времена.

– Поддыхает! Как бы не так,– возразил мой сверстник Асет, хотя спорить с Ажибеком было опасно.– Ребята, Караканшык оценилась! Разве вы не видите ее соски?!

– Ура! Кокинай оценилась! Кокинай! Ка! Ка!– закричали мы разом, радуясь за Караканшык.

– Она голодная! Вон как яблоки ест,– сказал Асет.

Но уж кому-кому, а нам-то было известно, что дикие яблоки – не еда, а груз для обмана желудка.

Асет достал из торбы великую ценность – ломоть хлеба, выданного матерью на весь день, и бросил собаке. За ним бросил и я, а за мной и Спатай, и Кайрат, и другие.

– А я свой уже съел,– сказал Ажибек.– Я старше вас на целых три года, и мне надо есть больше, чем вам, – и заранее показал кулак тем, кто мог не поверить.

Караканшык вцепилась в хлеб, утробно заурчала, глаза ее налились кровью. А мы присели на корточки, прислушались. И вскоре из норы донеслось жалобное повизгивание щенят.

Этот день стал для нас особенным, радостным. А в наше военное детство не так-то много было праздничных дней. Собирая дички на склонах гор, мы только и говорили о Караканшык, вспоминали ее историю, все были и небылицы.

– Ребята, а мне кажется, что тот щенок, ну, помните, про которого говорил старик Байдалы, сейчас и родился,– сказал Асет. – Неспроста она не появлялась так долго. Три дня лежала в норе!

– Если так, я возьму его себе,– выпалил Кайрат первым.

– Нет, он будет мой,– возразил Спатай.

– Щенок этот маленький, худенький. За ним смотри и смотри. А ты известный лентяй. Если уж кто и сможет вырастить из него настоящую охотничью собаку – так это я!– вмешался Садык.

– Этот щенок маленький, худенький?– возмутился Асет, заступаясь за воображаемого щенка.

– Так сказал старик Байдалы. Да ты и сам посуди: разве он может бегать быстрее ветра, если будет большим и тяжелым.

Мы заспорили, каждый почему-то считал, что именно он имеет право на черного щенка. И только Ажибек, самый сильный из нас, молчал и многозначительно усмехался, а потом спокойно сказал:

– Ну, чей будет щенок, это мы посмотрим.

И все обескуражено умолкли, всем стало ясно, чьим станет щенок.

Вечер наступил незаметно. Спыхватившись, мы взвалили набитые коржуны и торбы на спины, заспешили вниз и, подходя к одинокой яблоне, услышали рассерженный женский голос и громкий детский плач.

– Да это же мама и Тоштан,– проговорил Спатай, наострив уши.

Мы бегом взобрались на холм, на котором стояла одинокая яблоня. И точно: Бубитай, мать Спатая, с палкой в руке гонялась за своей племянницей Тоштан вокруг дерева, у самой норы Караканшык, а чуть поодаль валялась лопата. Мы сразу подумали о Караканшык, как она отнесется к нарушителям ее покоя. Но собаки не было видно.

– Бездельница! За что я тебя кормлю? Возьми сейчас же лопату и делай, что я говорю!– кричала Бубитай.

– Тетечка, тетя! Я сделаю все, что хотите, только не это. Я не могу сделать это, тетечка, дорогая! Мне жалко их, тетя. Они такие крошечные,– причитала Тоштан.

Тоштан старше нас года на полтора. Когда на фронте погиб ее отец, а мать умерла от неизлечимой болезни, тетка Бубитай взяла ее к себе. И с тех пор, казалось, девочка все свободное после уроков время только и занималась тем, что стирала, носила воду да колола дрова. Бубитай не любила кормить даром.

– Ах, тебе их жалко, негодница ты этакая! А молоко и хлеб, которые эта тварь съела по твоей вине, не жалко?! – совсем разъярилась Бубитай и, изловчившись, стегнула девочку хворостиной. – Ты проглядела, ты и зароешь!

– Все равно не буду! Не стану закапывать, хоть убейте! Ой, тетя! – И Тоштан увернулась от хворостины, побежала туда, откуда мы только что пришли.

– Держите ее! Что ж вы смотрите? – закричала нам Бубитай и погналась за племянницей.

Мы, так ничего и не поняв, побросали наземь свою поклажу и побежали за ними следом. Но разве догонишь легкую, как коза, длинноногую девчонку! Тоштан юркнула в спасительные кусты шиповника, а там ее и след простыл.

Бубитай возвращалась к яблоне вместе с нами, тяжело дыша.

– Мама, а в чем провинилась Тоштан? – осторожно спросил Спатай.

– Эта дуреха оставила открытой дверь, и Караканшык выпила казан молока и съела целую булку хлеба, – пожаловалась Бубитай.

– Казан молока? Булку хлеба? – нахмурился Спатай. – Ну, попадись мне Караканшык! Я ей покажу!

– А ты помолчи! – отрезала Бубитай. – Ты сам ей отдал целый кусок хлеба. Видели добрые люди, как ты кормил Караканшык! Эта собака – воровка! Люди, что же будет, если Караканшык наплодит таких же, как она, воришек? Так мы скоро все от голода перемрем. Ну, если никто не хочет кончать с гнездом разбойницы, то это сделаю я, Бубитай!



Она схватила лопату и, яростно вонзив в землю, бросила первый ком земли в жилище Караканшык. Щенки испуганно заскулили, но это только еще сильнее ожесточило Бубитай.

– Пропади она пропадом, тут самим нечего есть! Все отдаем для фронта. Пропади она пропадом!– твердила она, зарывая нору.

Щенки вскоре затихли. Бубитай была сильной женщиной и умела обращаться с лопатой. Она забросала нору буквально в считанные минуты.

Мы растерялись, точно онемели. Только переглядывались, как бы ища друг у друга ответа. Даже наш предводитель Ажибек, который не боялся ни бога, ни черта, и тот застыл с открытым ртом.

Вот и сейчас, много лет спустя, стоит мне закрыть глаза, и я вижу, как мелькают крепкие загорелые руки Бубитай с темной кожей на локтях, слышу, как глухо звенит лопата, натываясь на камень.

– Ну вот и все. Кончено дело,– сказала Бубитай и, похлопав лопатой по свежему пятну, означавшему, что здесь когда-то был вход в нору, направилась в сторону аула.

Мы поплелись следом за женщиной. Но, поравнявшись с первым домом, не выдержали, оглянулись.

– Почуяла, пришла,– прошептал кто-то из ребят.

Уже наступали сиреневые сумерки, но одинокая яблоня еще ясно виднелась на фоне чистого неба. А под ней, обнюхивая землю, металась Караканшык. Вот она задрала морду к темнеющему небу и дважды пролаяла, словно призывая кого-то. Потом принялась разгребать землю там, где совсем недавно находилась ее нора. Ее движения все ускорялись и ускорялись, будто каждая лишняя секунда что-то значила для щенят. Комья земли так и летели из-под могучих лап собаки.

– Нечего вам глазеть, а ну, все по домам!– прикрикнула на нас Бубитай.

Утром, едва встав с постели, мы, не сговариваясь, сбежались к одинокой яблоне. Поначалу никто из нас не решался, страшась гнева Караканшык, подойти близко к дереву. Мы стояли в некотором отдалении и звали собаку:

– Кокинай! Кокинай! Ка! Ка!

Но Караканшык не показывалась, не было слышно и ее привычного предупредительного рычания. Тогда Ажибек не выдержал, смело двинулся к дереву, а за ним все еще с опаской потянулись и остальные ребята.

Нора была отрыта заново, вокруг нее лежала разбросанная земля. Ажибек подобрал старый сук и поводит им в норе, заставив нас шарахнуться в сторону.

– Пусто! Нет там ничего, – сообщил Ажибек. – Наверное, она их всех унесла. И где-то похоронила.

Мы облазили окрестности аула, искали до самого вечера, но не нашли ни собаки, ни ее мертвых щенков.

С тех пор Караканшык словно провалилась сквозь землю. Никто не видел ее, не слышал о ней.

Мы погоревали о знаменитой собаке, о черном щенке, – теперь мы были твердо уверены, что он родился в этом выводке, – а потом постепенно память о ней померкла. Слишком много событий произошло в то военное время в нашем ауле.

Отныне холм, на котором стояла одинокая яблоня, стал нашим излюбленным местом. Здесь мы с утра до вечера играли в альчики, расширили нору, устроили подобие землянки, застелив ее соломой, воображали, будто она – наш дом. А когда поспели яблоки, налились желтым светом, собирали их и ели без всяких помех. Ах, что это были за яблоки, неровня тем дичкам, что росли на горных склонах, – мягкие, сладкие. Сколько ни съешь, и никакой тебе на зубах оскомины! Наевшись до отвала, мы набирали яблок и сушили, нарезав, нанизав их на нитку. Под деревом в эти дни так и кипело. А потом закончился волшебный пир, – плоды остались только на самой макушке. Они висели там,

дразнили нас, румянясь на солнце. Добираться к ним было опасно – и высоко, и ветки тонки. Бывало, потрясешь за нижние ветви, а яблоки покачают головой и еще крепче сидят, словно над тобой смеются. И мы лишь глотали слюни, глядя на них, и восклицали «ширкин-ай!», выражая сожаление. Как та лиса, которая не могла сорвать кисть винограда.

И все же Спатай решил достать эти уж очень соблазнительные яблоки и, не слушая нас, полез на верхушку дерева. Поначалу ему везло, ветви сгибались под ним, скрипели, но он благополучно взбирался все выше и выше. Вот уже яблоки оказались над самой его головой. Спатай издал победный клич, протянул к яблокам руку, и в этот момент обломился сук под его ногами. Это произошло так неожиданно и стремительно, что Спатай не успел даже крикнуть. Придя в себя, мы подбежали к нему, а он уже не дышал, лежал какой-то сплюснутый и мягкий, словно тряпичная кукла.

Мы испуганно закричали, но Ажибек цыкнул на нас и послал Кайрата в аул, за матерью Спатая. Тот вернулся с рыдающей Бубитай, за ней, причитая, бежали другие женщины. Бубитай подняла тело сына и бережно унесла домой.

На другой день старик Байдалы сказал нам тайком, что дерево отомстило Бубитай за горе Караканшык. Слух об этом прополз по всему аулу, и наши мамы строго-настрого запретили нам даже подходить к одинокой яблоне. Повторяться им не приходилось: мы были сами потрясены смертью Спатая и, как в недавнее время, снова обходили дерево стороной.

А потом наступила зима.

Темными зимними вечерами, сидя у домашнего очага, мы слушали рассказы взрослых о прошлом своего аула. По их словам, когда-то семьи наших предков были разобщены, точно зерна рассыпанного

проса, каждая семья кочевала сама по себе по ущелью Джунгара, и до других ей не было дела. Но в конце двадцатых годов, вняв совету мудрых людей, наши деды собрались воедино – осели на одном месте и создали колхоз.

В рассказах взрослых правда переплеталась с легендами. И нам в свои годы очень трудно было разобраться, где выдумка, а где быль. Мы охотно верили самым невероятным сказкам, но не могли представить, что еще лет за пятнадцать до нашего появления на свет не было колхоза, а скот принадлежал одному человеку. Как он мог в одиночку пасти столько овец, если в ауле еще не было колхозников, говорили мы друг дружке, нет, это взрослые сочиняют. Да если бы так и оказалось на самом деле, самые сильные джигиты уже в первый день пошли бы к этому человеку, забрали скот и поделили между жителями аула. Ведь если верить взрослым, в ту пору многим людям совершенно нечего было есть и не во что было одеться. «Как же эти бедняги сумели дожить до колхоза, – спрашивали мы, – и не умерли сразу от голода?» – «Вам еще трудно понять, вот подрастете и тогда разберетесь, что к чему», – улыбаясь, отвечали взрослые.

Места, где мы живем, издавна славились яблоневыми лесами, и потому-то, что тут видимо-невидимо диких яблонь, наш аул так и называют Яблоневым. А до того, как здесь осели наши прадеды и деды, в лесах пиршествовали медведи, большие любители дичков. Самые древние старики и сейчас называют эти яблони медвежьими. А в ту пору, говорила моя бабушка, тот, кому хотелось полакомиться лесными плодами, приезжал в лес на коне и рвал яблоки, не слезая с седла. И когда появлялся косолапый хозяин, охотник до дичков, не мешкая, трогал коня и уносился с тем, что успевал набрать. Медведь же бросал вслед воришке тяжелые камни, ревел, негодуя. На его крик сбегались

медведи со всей округи и тоже возмущенно кричали: «Это безобразие! Да какое имеют люди право рвать наши яблоки?! Ну, погодите, мы вас накажем!» И склоны гор дрожали от их ужасного топота, пугая людей. У меня тоже уходила в пятки душа, когда бабушка рассказывала эту историю.

Но к нашим временам все медведи исчезли. Одних перебили, другие сами ушли в далекие тихие места. А после них под одинокой яблоней осталась эта большая берлога, в которой, по словам бабушки, жил сам медвежий царь. Старую яблоню, могучую, в два обхвата, еще долго считали заколдованной. Проезжая мимо нее, путник старался задобрить дух царя медведей, привязывал к ветвям красную ленту или вешал монету. И сообразительный дух понимал, что от него хотят, и никого не трогал.

– Вот и вы проходите под яблоней, не поленитесь лишний раз, повесьте на ветку ленточку, – советовала бабушка, когда мы, ребята, уходили гулять.

– Неужели, бабушка, ты веришь в это? Обычное дерево, разве что старое, и вообще на свете нет никакого колдовства, – возражала ей моя старшая сестра Назира.

– А бедный мальчик Спатай? А собака Караканшык? – напоминала бабушка.

– Тоже обычное животное. В истории было немало собак, очень преданных человеку. А что касается Спатая, то он погиб из-за собственной глупости, – возражала сестра Назира.

– Если ты еще будешь кощунствовать, у тебя отсохнет язык! – угрожала бабушка, не зная, что еще сказать.

Она была очень набожным человеком. С утра до вечера только и слышишь: «Аллах, будь милостив, сделай то», «Аллах, будь великодушен, сделай это». Намаз совершает по пять раз в день, но никогда не просит благ от аллаха лично для себя. Так и бормочет

в конце молитвы: «О, создатель, будь опорой и тем, кто там, и тем, кто здесь». То есть просит блага для тех, кто умер, и для тех, кто еще жив. Мне и моим младшим братьям и совсем маленькой сестренке любопытно, мы подглядываем за ней, толкая друг друга локтями. Заметив нас, бабушка говорит: «Ах вы, сорванцы! А ну-ка раскройте ладони да, вместо того чтобы тарашить глаза да потешаться над старухой, просите бога, пусть он побережет вашего отца».

Нам очень хотелось, чтобы скорее закончилась война, и отец вернулся живой и невредимый. И мы, послушно раскрыв перед невидимым и совсем неясным созданием – богом – ладони, повторяли за бабушкой слова: «О, аллах, будь милостив, сохрани живым нашего отца». Наверное, наш вид, преисполненный смирения и усердия, был очень смешон. Назира, хлопотавшая дома по хозяйству, не выдерживала и, звонко расхохотавшись, выскакивала на улицу.

– Ох и безбожница! Накличешь на себя беду! – возмущалась ей вдогонку бабушка.

Такие столкновения между бабушкой и Назирой случались почти каждый день. Старшая сестра подтрунивала над религиозной и суеверной бабушкой, а та сердилась, грозила ей всяческими карами за насмешки над богом.

Назира считалась в нашей семье ученым человеком. Перед войной она училась в районном центре и успела закончить семь классов. Когда же отец уехал на фронт и мама осталась с четырьмя малыми детьми и старой бабушкой на руках, Назира бросила школу, вернулась в аул, чтобы помочь ей прокормить большую семью. Поначалу ей было трудно работать в колхозе наравне со взрослыми. Я помню, как она приходила, еле держась от усталости на ногах, маленькая, худенькая, совсем еще девочка. Но с тех пор минуло четыре года. Назира повзрослела, стала крепкой, сноровистой девушкой.

Соседские старики и старухи говорили, глядя, как она, вернувшись с поля, ловко, не зная устали, хозяйничает дома:

– Ах, ширкин, если бы все девушки были такими, как Назира. С ней, наверное, и не чувствуешь, что в доме нет мужчины. Руки у нее так и летают.

Суеверная бабушка тотчас вмешивалась в разговор:

– Что вы делаете, люди? Так ведь и недолго сглазить человека, накликать на бедную внучку болезнь или еще какие напасти. А ну-ка, сейчас же скажите «тьфу, тьфу», – требовала она от смущенных соседей.

И те послушно плевали через плечо и говорили «тьфу». А бабушка, стараясь понадежнее уберечь Назиру от чужого глаза, заходила в дом и снова появлялась с пальцем, намазанным сажей.

– Назира, а ну-ка иди сюда, – звала она старшую внучку.

– Бабушка, что случилось? – отзывалась сестра, занимаясь стиркой или другой домашней работой.

– Подойди ко мне, моя радость.

Назира шла к бабушке, вытирая о фартук мокрые руки.

– Я слушаю, бабушка.

– А ты нагнись ко мне поближе. Я что-то скажу тебе на ушко.

Сестра Назира наклонялась над бабушкой, и та проводила сажей по ее виску.

– Все, теперь ступай, – говорила, успокоившись, бабушка.

– Ну вот, ты опять за свое, только зря оторвала от дела. Сколько раз можно тебе говорить? Никто, никто не сглазит меня!

– Иди, иди. Не говори лишнего, – снова беспокоилась бабушка.

И вот еще что, наверное, навсегда осталось в моей памяти от той поры: усталость матери и старшей сестры, когда они весной возвращались с работы.

Машин тогда не хватало, и женщины с рассвета до темна ходили за плугом. Весенний холодный ветер сушил и чернил их лица, обдавал пылью с ног до головы. У мамы еще ко всему невыносимо болела поясница. Видимо, потому она приходила домой какой-то неласковой, каменной, с нахмуренными бровями. Мы, соскучившись за день, бросались ей навстречу, а она молча отстраняла нас, проходила в дом и, развязав шерстяной пояс, которым туго перевязывала поясницу, садилась к печке спиной и сидела до тех пор, пока ноющая боль на время не оставляла ее. Мы ловили ее взгляд, надеясь найти в нем привычную нежность, но глаза мамы были печальны, в эти минуты она уносилась куда-то далеко. Наверное, туда, где находился отец. Успокоив боль, мама придвигала к себе шумно кипящий чайник и пила чай – кипяток с солью. На лбу ее мелкими каплями выступал пот.

Постелив постели, мать и сестра Назира брались за ручные жернова и мололи зерно для завтрашнего хлеба. Нам, малышам, почему-то становилось тревожно. Мы, словно цыплята к клушке, жались к бабушке, просили что-нибудь рассказать. Стараясь нас успокоить, бабушка заводила длинную-предлинную сказку.

В комнате было неуютно и сумрачно. Фитиль керосиновой лампы горел тусклым зыбким пламенем. Его свет не доставал во все углы. На стенах, пугая нас, колыхались тени. «Бабушка, ну, бабушка, повернись ко мне», «Нет, ко мне, ко мне!» – дергали мы то и дело бабушку.

Ау мамы и сестры Назиры текла своя, взрослая беседа. Под мерный шорох жерновов они обсуждали колхозные дела, говорили о последних вестях с фронта.

Бабушка краем уха прислушивалась к ним и временами, прервав сказку, как нам казалось, на самом интересном месте, озабоченно спрашивала у матери:



– Ну, как сев? Закончили везде?

– Почти что. Вот завтра спустимся в Малый Акбел и на этом закончим,– отвечала мать, повысив голос.

– Поторопитесь! Как бы не пересохла земля,– предупреждала бабушка.

– Людей не хватает, мама. Где их возьмешь?

– О, аллах, наш единственный создатель, помоги им!– взывала бабушка к потолку комнаты, ушедшему куда-то высоко в темноту.

Темнота нам казалось глубокой, бескрайней. И невидимый, загадочный бог, к которому обращалась она, мог там проживать и в самом деле.

– А что собираетесь сеять на Малом Акбеле?– спрашивала бабушка, переходя на будничные тон.

– Просо.

– Правильно решили,– соглашалась бабушка.– Там просо принимается хорошо. Помню, как-то бедняк Жапиш засеял Малый Акбел одним мешком проса. Да и больше взять ему было негде. А собрал двадцать, а может и все тридцать мешков. То-то радости было.

Удовлетворив на короткий срок свое любопытство, бабушка продолжала сказку. А потом снова начинала сбиваться и, в конце концов, умолкала, слушая, что говорят мать и сестра Назира.

– Бабушка, а что было потом?– хныкали мы, дергая за рукав. – Бабушка, продолжай.

– Да подождите, дайте и мне послушать,– отбивалась она.

Мама и сестра Назира, видя, что бабушке тоже интересен их разговор, беседовали громче.

– Я видела в конторе вчерашнюю газету,– рассказывала сестра.– Наши войска освободили еще два города на Украине. Уничтожили много вражеских солдат и техники. Кровопролитные были бои.

– Какие, ты говоришь?– тревожно переспрашивала бабушка.

– Кровопролитные. Наверное, и наших тоже много полегло.

– Всемогущий, помоги им, защити!.. А твой отец тоже там?

– Отец где-то на Северном фронте.

– Пусть держится подальше, где меньше стреляют. Так и напиши, – это указание относилось к матери.

– Ну что ты, мама, мой муж не трус. Он настоящий джигит. Как же я ему напишу? – растерянно возражала мать.

– Да, мой сын – настоящий мужчина, – с гордостью подтверждала бабушка.

В один из таких поздних вечеров бабушкину сказку прервал донесшийся с улицы душераздирающий женский крик. И тотчас, казалось, поднялся, зашумел весь аул.

– Господи! Назира, милая, а ну-ка узнай, что случилось? Никак, у кого-то беда. Еще в чей-то дом пришла черная бумага, – так бабушка называла печальной памяти похоронки, приходящие с фронта.

Сестра Назира выскочила на улицу, даже не набросив платок.

– Я недавно заходила в сельсовет. Вроде сегодня не было почты, – сказала мать, поспешно собирая в чашку намолотую муку.

Минут через пять в комнату влетела запыхавшаяся сестра. Глаза ее были широко открыты от ужаса. Сестра долго не могла вымолвить ни слова, перевести дух и, наконец, выпалила:

– Сошла с ума Бубитай!

– Ты понимаешь, что говоришь? – накинулись на нее бабушка и мать.

– Но это правда. Соседи говорят, как только вечером пригнал пастух стадо, она подоила корову, вылила в корыто молоко и вынесла на крыльцо. Села рядом и смотрит на молоко. Ее спрашивают: «Что ты делаешь, Бубитай?» А она: «Разве не видите? Молоко кипячу. Для Спатая». А потом в слезы и ну царапать себе лицо.

– Помилуй, аллах!– воскликнула бабушка и, сложив на груди руки, пробормотала молитву. – Бедная женщина,– вздохнула она, закончив молиться.– Потерять мужа на фронте. Потом сына. И теперь вот сама... Видно, никак не успокоится Караканшык. Ох, на кого еще падет ее проклятье?

С тех пор Бубитай целыми днями сидела на пороге своего дома, жалобно пела, плакала и громко звала мужа и сына. Горе высушило ее, цветущая сильная женщина стала похожа на черную страшную старуху.

Этой же весной я начал тайно следить за своей старшей сестрой. Куда бы ни отправилась Назира, я тут же за ней. Она шла по воду к роднику, а я крался чуть поодаль кустами шиповника. Она уже затемно выбегала к соседям попросить молока или какую-нибудь посуду, и я выбирался следом за нею, подсматривал из-за угла, вовсю напрягая глаза. Мои попытки оставаться незаметным вскоре были разоблачены. На третий день она, выйдя на улицу, схитрила, быстренько обогнула наш дом и в тот самый момент, когда я усиленно всматривался из-за угла в темноту, подошла ко мне сзади и неожиданно схватила за ухо.

– Ну, что ты подглядываешь за мной? И ходишь, и ходишь?– спросила сестра, отпустив мое ухо.

Я промолчал, думая только об одном: как бы проскользнуть у нее под рукой и пробраться в дом. Уж там-то она меня не тронет.

– А может тебя подсылают бабушка и мать?– продолжала Назира, и в голосе ее послышалась тревога.

– Никто меня не подсылал!– крикнул я и, проскочив мимо нее, бросился в дом.

А на другое утро я снова упрямо крался за сестрой. И бабушка, и мать и в самом деле были ни при чем. Виновником этих бдений явился молодой джигит Токтар, сын того самого старика Шымырбая, который в своей лощине выращивал самые вкусные на свете

дыни. Я боялся, что этот красивый светлолицый парень заберет у нас Назиру.

Взрослые еще называли Токтара мальчишкой. Но нам-то, ребятам, он уже казался рослым и могучим джигитом. И мы заметили то, что укрылось от взрослых, – тонкий темный пушок над губой Токтара. Для нас это были самые настоящие усы – украшение истинного мужчины. Когда я впервые увидел его и мою сестру вместе, то не придал этому никакого значения. Помнится, на третий, четвертый раз их совместные прогулки меня удивили. Зачем Токтару Назира? Хоть она и моя сестра, но все-таки девчонка всегда остается девчонкой. И если уж такому парню, как Токтар, с кем водить дружбу, так это с настоящими джигитами.

– Видел жениха и невесту?– сказал мне, смеясь, Ажибек. – Скоро уведет Токтар твою сестру. Прощайся!

И с того дня я стал тенью Назиры и Токтара. Встретившись, они начинали кружить, чтобы избавиться от моей слежки, уходили в яблоневый лес. Отделавшись, как им думалось, от меня, стояли под каким-нибудь деревом часами, смеялись без конца и говорили, говорили, жадно глядя друг другу в рот, как будто ожидая чего-то необычайного. А я в это время изнывал от скуки чуть поодаль, в колючих кустах, и гадал: почему они так жадно слушают друг друга? Но о чем еще может рассказывать сестра, как не о домашнем хозяйстве? То есть о том, что совершенно чуждо настоящему джигиту. И что она, в свою очередь, находила в словах Токтара? Как смелый и ловкий парень, он, конечно, рассказывал о горячих, строптивых конях, о метких выстрелах на охоте. Неужели Назиру могли увлечь такие разговоры?

Как-то я решил это проверить и сказал сестре, по-свойски подмигивая:

– Как тебе новый жеребец у председателя? Огонь! Правда?

– Вот уж что никогда меня не интересовало. Поди лучше поговори об этом со своими друзьями-мальчишками,– рассеянно ответила Назира.

«А почему-то со мной о лошадях говорить не желает»,– подумал я с обидой и вспыхнул еще большей неприязнью к Токтару.

Как я потом узнал, они скрывали встречи от нашей семьи. Дома у нас Токтар первое время даже не появлялся. Но однажды он все-таки не выдержал и, проходя мимо нашего дома, заговорил с бабушкой, когда она грелась на солнце.

– Здравствуйте, бабушка! Как ваше здоровье?– почтительно сказал Токтар.

Лучшего нельзя было придумать, чтобы завоевать расположение бабушки. Ей очень нравились молодые люди, почитавшие старших.

– Спасибо аллаху, он милостью меня не оставил. Еще могу быть своим птенчикам полезной. А ты, сынок, чей будешь?– дружелюбно спросила бабушка.

– Я Токтар, бабушка.

– Ты Токтар, сын Шымырбая?

– Да, бабушка.

– Милый мой, дай тебе бог побольше счастья,– сказала бабушка, очень довольная тем, как держится этот молодой человек.

– А как самочувствие вашего сына? Пишет ли он с фронта?– спросил Токтар и тем самым окончательно покориł ее сердце.

– Пишет, милый мой, пишет. Мы получаем письма. Назираш! Деточка, угости молодого человека айраном!– крикнула бабушка, повернувшись к дому.

– Спасибо, бабушка. Зачем беспокоитесь? Я лучше пойду,– смутился Токтар.

– Нет, свет мой, нельзя отказываться от угощения. Я предлагаю его от всей души.

– Спасибо, бабушка. Я с удовольствием выпью,– еще более смутился Токтар.

А сестра, будто только и ждала за дверью, вынесла тостаган, полный прохладного айрана. В этот день она отпросилась пораньше с работы, убиралась дома, стирала белье.

Токтар пил не спеша, маленькими глотками, показывая, как высоко ценит этот замечательный айран, и вел с бабушкой беседу.

Я не сводил глаз с молодого джигита и своей старшей сестры. Мне было интересно, как они поведут себя дальше, выдадут ли себя, проговорятся. У меня даже устали глаза, так я старался не упустить ни одного взгляда, ни одного движения с их стороны. Но хитрецы держались как ни в чем не бывало. Будто встретились впервые. Даже не посмотрели друг на друга. Ну и ну!

– Милый мой, а тебя еще не призывают в армию?– спросила бабушка Токтара.

– Зимой вызывали в военкомат, и я обрадовался: наконец-то пойду воевать. Но оказалось, мой возраст еще не подошел. Ошиблись, видно, спутали с кем-то. Но летом уж точно призовут. Я очень надеюсь,– ответил молодой человек.

– Господи, что же это делается?! Только подросли дети, совсем как молодые деревца, и тут же враг хочет их срубить топором! Проклятая война! У-у, чтобы ты сгинул, пашис!

Так бабушка произносила чуждое слово «фашист».

– А ну, Назираш, принеси еще айрана Токтару!

Джигит протянул сестре опустевший тостаган и шепнул почти беззвучно:

– Спасибо, Назира!

Их руки задержались на чашке. Сестра улыбнулась одними глазами, незаметно кивнула. «Ну и хитрецы, ну и ловкачи!»– подумал я.

А ничего не подозревающая бабушка продолжала ругать «проклятую войну, проклятого пашиса, чтобы он сгинул», вспоминала сына – нашего отца, посе-

товала, «как там ему, бедняжке, на фронте», и даже всплакнула немножко.

Вечером, за чаем, когда мама вернулась с поля, бабушка вдруг ни с того ни с сего сказала:

– Только подумать, у сына Шымырбая уже под носом усы! Совсем взрослый мужчина!

– А что? Недавно его видели?– удивилась мать.

– Да сегодня сижу на пороге, вяжу носки и вдруг слышу: кто-то здоровается со мной. Смотрю, стоит молодой человек. Оказывается, Токтар, сын Шымырбая. Такой воспитанный юноша. «Пишет ли с фронта ваш сын?»– говорит.

– А что ему было нужно? Зачем он приходил?– нахмурилась мать и посмотрела на сестру Назиру.

Моя старшая сестренка покраснела до корней волос, опустила глаза. Я думал, сейчас признается, что дружит с Токтаром. Но куда там, только передернула плечами и бросила небрежно:

– Откуда я знаю. У бабушки спроси: она с ним целый час болтала.

– Да просто парень мимо шел, спросил меня про здоровье. Ну, мы и разговорились,– пояснила бабушка простодушно, не замечая маминого беспокойства.– Вот я и говорю: вырос, как молодой тополек. Высокий, красивый! Да жаль, в армию летом пойдет.

– Да что вы, мама! Далеко ему до армии еще,– возразила мать. – Два года почти. Токтар – ровесник нашей Назиры. Ну, может, старше,– она посчитала на пальцах, – месяца на три. Ну да, Назира осенью родилась, а он в середине лета.

– Это ты говоришь, ждать два года. А сам он сказал, что зимой его уже вызывали. А летом уж точно возьмут. Верно я говорю, Назира? Ведь ты слышала, как он сам сказал,– заупрямилась бабушка.

– Слышала,– кивнула сестра. – Он два года себе прибавил. Хотел пораньше вступить в комсомол.

– Ну если так, конечно, жаль. Хороший мальчик, – согласилась мать.

– А какой большой, – обрадовалась бабушка, – прямо батыр!

Вот так бабушка, по-моему, первой из взрослых, заметила, что у Токтара выросли усы и что он уже не мальчик, а муж. И еще справедливости ради нужно добавить, что у него был добрый и веселый нрав, и в ауле Токтара любили за это. И может быть, я тоже его любил бы вместе со всеми, если бы он не собирался забрать мою сестренку. А сын Шымырбая, казалось, с утра до вечера кружил над ней, как беркут над ягненком.

Вот и на днях Назира пошла по воду к роднику, и я, конечно, за ней по пятам, колючими кустами шиповника, и тут же у родника появился Токтар. Прискакал верхом, будто хотел напоить своего рыжего коня. Да только он сразу себя и выдал. Выпрыгнул из седла и тотчас про коня забыл, принялся болтать с Назирой. И болтали они с такой скоростью, словно бежали наперегонки, так что у них не успевали смыкаться губы. Я даже забыл про колючки шиповника, которые точно иглы впивались в мои голые руки и ноги, пронзали сквозь рубаху и штаны. Мне очень хотелось узнать, о чем же они все-таки говорят, и стал я подбираться к ним поближе.

И оказалось, говорили они о скучных вещах. О том времени, когда вместе учились в школе. За какой партией сидели, и что делали на уроках. И так увлеклись этой ерундой, что забыли, что стоят на виду у всего аула. Мне стало обидно за себя. «И что интересного они в этом нашли? Что смешного?» – подумал я, чуть не плача. Как будто меня обманули.

Я нашел в кустах камень и бросил в своих обидчиков. Камень упал рядом с ними, чуть ли не под ноги. Токтар и Назира вздрогнули, словно очнулись от сна, посмотрели по сторонам, даже на небо взглянули.



Наконец сестра пришла в себя, повернулась к кустам шиповника и сердито крикнула:

– Какая ты заноза, Канат! Если ты не перестанешь ходить за мной, я оборву тебе уши.

А Канат – это я. Я затаился в кустах, зная, что у старшей сестры слова не расходятся с делом.

Токтар что-то пробормотал, поспешно вскочил на коня и поскакал в степь, ударяя рыжего пятками по бокам. Назира вспомнила про ведра с водой, подняла их на коромысле и, сделав шаг, другой, снова повернулась в мою сторону.

– Канат, хватит тебе прятаться. Пойдем лучше домой.

Я промолчал, боясь шелохнуться.

– Ну, погоди у меня, – пригрозила сестра и, поправив на плечах коромысло, зашагала в аул.

«Пусть только попробует тронуть, – успокоил я себя. – Вот скажу маме и бабушке про Токтара, тогда еще посмотрим, кому достанется больше».

Я выбрался из своего укрытия, побежал к ребятам и до вечера гонял с ними мяч. Когда стемнело, так что не было видно не только мяча, но и собственных ног, мы, тихие, уставшие, побрели по домам. Возле коровника, мимо которого лежала дорога к нашему дому, я увидел два черных силуэта – женский и мужской. Вот мужчина протянул руку и положил ее на плечо женщины. До меня долетел приглушенный голос Назиры:

– Не надо, Токтар, если ты меня поцелуешь, я умру от стыда. Я и так твоя на всю жизнь. Поверь мне, Токтар!

Он что-то сказал ей горячим шепотом. Я не слышал, что именно.

– Отпусти меня, Токтар, – взмолилась Назира. – Нас могут увидеть.

– Ну и пусть! – громко ответил Токтар.

– Что я тебе говорил? Уведет он твою сестру, – шепнул Ажибек мне на ухо и торжествующе хихикнул.

Я нагнулся, взял первый же подвернувшийся в темноте камень, бросил в Токтара и припустил во весь дух в сторону дома. За мной послышался топот погони. Сестра поймала меня почти у самого порога и схватила за руку с такой силой, что я с ходу повернулся вокруг своей оси, закружился, как юла.

– Это, конечно, ты! Я так и знала. Ну и заноза, ну и заноза. Видно, пока не задам тебе хорошую трепку, ты не успокоишься, не перестанешь шпионить за мной.

– Только попробуй задай, сразу пожалеешь об этом, – ответил я на угрозу угрозой.

– И ни капли не пожалею, – и она крепко взяла меня за шиворот.

Я было рванулся, да куда там! Ее пальцы держали меня, как железные. Ну и здорова стала Назира!

– Ну? Перестанешь следить?

– Не перестану.

– Тогда получай по заслугам.

Сестра развернула меня к себе спиной и несколько раз шлепнула ладонью по мягкому месту. Она не очень старалась, да и штаны из кожи были дос-таточно толстыми. Словом, ее удары не причиняли боли. И все было бы ничего, если бы они не унижали моего мужского достоинства. Страшно подумать, что скажут Ажибек и другие ребята, когда узнают, что меня по мягкому месту отшлепала совсем еще недавняя девчонка?

– Бабушка! Мама! – тихо закричал я, чтобы напугать сестру.

Она сразу же отпустила мой воротник.

– Будешь следить, получишь еще.

– А я бабушке и маме все расскажу.

– Только попробуй скажи!

– Вот возьму и скажу. Прямо сейчас, – и я сделал шаг к дверям.

– Канат, подожди! Больше тебя не трону. Я пошутила, а ты и вправду обиделся.

– Не подмазывайся, все равно расскажу. И как ты встречалась с Токтаром у родника, и как он хотел тебя поцеловать.

Я сделал вид, будто сейчас открою дверь и перешагну порог.

– Канат, миленький, я сделаю для тебя все, что захочешь. Буду твоей рабой. Только не говори!– взмолилась сестра.

Ее неподдельный испуг доставил мне тогда удовольствие. Я наслаждался своей мезтью.

– Так и быть, промолчу,– важно сказал я,– а ты будешь моей рабой. Сама обещала. Исполнишь, что прикажу.

– Ну, конечно, исполню. Я же сказала,– обрадовалась Назира.

А я чувствовал себя героем сказки, у которого есть свой волшебный раб, ему прикажи – и он все исполнит. Сестра тогда казалась мне такой же могущественной, способной сделать все: построить дворец, перенестись за тысячу земель. И мне захотелось, не откладывая, сейчас же что-нибудь приказать Назире.

– Ну, тогда стань на одну ногу, на левую. А в правую руку возьми кирпич. И стой, а я буду считать до ста!– торжественно приказал я.

– А зачем тебе это нужно?– удивилась сестра.

– Понимаешь, в нашем классе только Асет умеет до ста стоять. А все теряют равновесие.

– Ну где я сейчас найду кирпич? В темноте-то?– пожаловалась Назира. – Может, как-нибудь в другой раз?

– Ладно, перенесем,– великодушно согласился я.

Когда мы вошли в комнату, мама принялась нас отчитывать. Вначале она взялась за меня:

– Где тебя носило до сих пор? На улице уже ночь!

– Мы играли,– ответил я, и сам понимая, что мое объяснение не вполне убедительно.

– Пропади пропадом твои игры! Посмотри на себя: на тебе живого места нет! Ходишь, как оборванец! А ну-ка выйди из комнаты!

На этот раз гроза миновала, во всяком случае для меня. Я выскочил из комнаты, радуясь, что отделался сравнительно легко. А из-за двери донесся голос матери:

– А у тебя что за болезнь появилась? Стоит ее зачем-нибудь послать, потом ждешь целыми часами! Я же яснее ясного сказала: сходи к соседям за ситом. Но пока ты ходила, вода успела выкипеть до дна!

– Сито было занято. Соседи просеивали муку. Ну и я ждала, – с трудом ответила сестра, она была не мастерица обманывать.

– Ты причину всегда найдешь! Ох и дождешься, Назира! Не посмотрю, что ты уже взрослая, оттаскаю тебя за волосы!

Сестренка моя молчала. Видно, душа у нее в пятки ушла. Наша мама шутить не умела. Если уж сказала, что за волосы оттаскает, то уж сделает это точно.

– Что стоишь словно столб? Просей сейчас же муку! – прикрикнула мать, но голос ее уже оттаял.

Обычно после ужина, после того как мы, дети, набьем животы пшеничной похлебкой, а взрослые напьются чая – кипятка с солью и сливками, в нашем доме воцарялось всеобщее благодушие. Разглаживалось, светлело лицо мамы, вечно суровое, озабоченное с тех пор, как отец ушел на фронт. О таких хмурых людях говорят, что «у них с бровей идет снег». Так вот, после чая отпускали заботы взрослых, а дети во главе с Назирой затевали веселую возню. И особенно мы резвились, если мать уходила к соседям. Тут уж дом ходил ходуном. Бабушка смотрела на наши проказы сквозь пальцы.

Так было и на этот раз. Мама повязала платок и отправилась к бригадиру по каким-то делам, а я сразу прицепился к старшей сестре, приглашая ее поиграть.

– Оставь меня, Канат. Побегай с младшими, – попросила сестра.

Я возмутился: как это оставь? Она моя раба. Что хочу, то с ней и делаю! И тут мой взгляд упал на кирпич, лежащий возле печки.

– Назира, а вот и кирпич.

– Но мы же договорились на другой раз,– запротестовала Назира.

– Бабушка, а Назира вчера у ручья...– начал я, чувствуя, что голос мой стал каким-то подлым.

– Канатжан, я сделаю, как ты хочешь,– поспешно перебила старшая сестра.

Она подняла кирпич и выполнила мое пожелание – простояла на одной ноге, пока я считал до ста.

– Назира, ты совсем как маленькая,– говорила бабушка, добродушно покачивая головой.

Потом, уже забравшись в постель, я спохватился, сказал себе: «Эх ты, баранья голова, нашел что приказывать! А про главное и забыл. Надо было просто сказать: «Назира, я запрещаю тебе от нас уходить. Даже если их будет миллион, Токтаров!»

После этого случая Токтар и сестра стали меня бояться как огня. Они прятались в самых потаенных местах, но я находил их и там.

– А-а, вот вы где?– говорил я, возникая, как злой дух, из-за камня или зарослей шиповника.

В их глазах появилось отчаяние. Но я твердо решил бороться за сестру и ходил за ней точно тень. Представляю, с каким бы наслаждением они надавали мне б по шее. Однако вместо этого им приходилось задабривать своего маленького врага, чтобы он, не дай бог, не выдал их тайну своей матери.

Однажды под вечер, когда я играл с ребятами в альчики, ко мне подошел Токтар и отозвал в сторону.

– Канат, хочешь, я кое-что тебе подарю?– спросил он и показал великолепный граненый красный карандаш.

Таким карандашом учитель Мукан-агай ставил в наших тетрадях отметки.

– Ну, конечно, хочу!– ответил я, не задумываясь.

– Тогда возьми. Теперь он твой,– Токтар протянул карандаш.– У меня есть и другие карандаши: синий, зеленый и желтый. Если тебе нужно, я могу принести.

– Любой, какой захочу?

– Какой захочешь. Только позови Назиру. У меня к ней важное дело. Очень важное, честное слово!

Я хотел вернуть карандаш, сказав, что не поменяю сестру даже на все карандаши мира, но тут меня осенила одна хорошая идея.

– Хорошо, позову,– согласился я. – Только ты отдашь сразу все свои карандаши. Идет?

– Идет!– обрадовался Токтар, к моему немалому разочарованию.

Мне-то казалось, что он заартачится, пожалеет свое добро.

«Ничего,– сказал я ему мысленно, направляясь домой,– все равно отважу тебя от сестры. Посмотрим, как ты запоешь, когда я потребую твою красивую камчу с рукоятью из ножки горного козленка».

Мама, к счастью, с работы еще не вернулась, иначе бы нам с Назирой уже не выбраться сегодня из дома. Старшая сестра вязала джемпер, прислушиваясь к очередной сказке, которую рассказывала бабушка притихшим малышам.

– Выйдем на улицу,– шепнул я сестре и многозначительно показал подарок Токтара.

– И ты меня продал за один карандаш?– спросила Назира, смеясь.

– Не бойся, одним карандашом он у нас не отделяется,– твердо пообещал я. – Завтра принесет остальные.

– Глупенький,– вздохнула сестра и, отложив вязанье, начала одеваться.

– Э, вы куда собрались?– спохватилась бабушка.

– Я потерял за дверью альчик. Мы с Назирой поищем,– солгал я, ни капли не растерявшись.

– Что ж, поищите,– позволила бабушка.

Едва мы вышли из дома, от стены сарая отделился Токтар, подбежал к нам, сгорая от нетерпения.

– Только не целоваться, и вообще долго не разговаривайте,– строго предупредил я и добавил: – Впрочем, послежу за вами сам.

И, отойдя на четыре шага, встал как вкопанный. Пусть видят, что я начеку.

– Токтар, что-нибудь случилось?– спросила Назира.

– Да ничего, просто хотелось тебя повидать.

Они замолчали, не сводя друг с друга глаз. Может, их смущало мое присутствие. А может, и вовсе не нуждались в словах. Потом Токтар забылся, взял за руку сестру.

– Эй, опусти руку! Кому говорят? А то мы уйдем!– прикрикнул я на Токтара.

Они повернули головы в мою сторону и мягко мне улыбнулись. Между ними что-то случилось, только непонятно что, и с этой минуты я стал им не страшен.

На улице едва начинало темнеть. Люди, утомившись за день на работе, уже разошлись по домам, в окнах зажегся тусклый желтый свет керосиновых ламп. Собаки и те перестали брехать, словно понимали, как нужен их хозяевам отдых. И только на краю аула, возле большой топкой лужи, нарушая тишину, квакали осмелевшие лягушки.

И вдруг из дома Бубитай вырвался ее пронзительный, тоскливый голос.

Черные глаза,  
Как мне дойти до вас?  
Путь к вам далек,  
А я так одинок, –

пела неутешная женщина.

Я вспомнил разговоры взрослых о безумной Бубитай и, похолодев от ужаса, с надеждой посмотрел на Токтара и Назиру. Уж они-то не дадут меня в обиду.

Но сестра и ее дружок были заняты друг другом и, казалось, ничего не слышали и не видели.

– Токтар, что же ты молчишь? Разве у тебя нет дела к Назире? Говори, я не буду мешать. Правда, правда, – сказал я, напоминая о себе.

– Канат, миленький, ты испугался? – ласково спросила сестра. – Ну, подойди ко мне.

– Не бойся, мы здесь, – сказал Токтар.

Я подошел и стал рядом с ними. Вдруг сестра привлекла меня к себе и поцеловала в щеку.

Мне очень нравилась пора, когда из долины в аул возвращались стада. Похудевшие за зиму, со свалывшейся в сырых сараях шерстью, овцы набрасывались на сочную траву наших горных лугов. Ух, и славное наступало время! Аул переполнялся веселым шумом. Взрослые дружно доили овец, – пей молоко сколько хочешь! А в казанах кипели-бурлили иримшик и курт.

У нас, у мальчишек, тоже немало дел. Мы помогаем отделять ягнят от стада, гоним домой дойных овец и после этого мчимся на окраину аула к сараю, сложенному из камней, в котором стоят лошади, тоже только что пригнанные из степей на горные луга. Около сарая собираются все, кто считает себя настоящим мужчиной. Здесь клеймят лошадей, укрощают необъезженных скакунов, отбирают лучших коней для фронта. Луг дрожит от топота копыт, с веселой злостью дерутся самцы, игриво носятся друг за другом неутомимые стригунки, вздымают к небу передние ноги и бьют неистово задними гордые строптивцы, когда им на шею набрасывают петлю. В воздухе стоит звонкое ржанье. Собравшись вечером, мальчишки обсуждают события дня. И главный герой наших рассказов – Токтар, тот самый сын Шымырбая, который хочет отнять у нас Назиру.

Токтар укрощал молодых коней, отобранных для фронта. Его руки словно заговаривали лошадь. Им подчинялись даже самые непослушные двухлетки, еще



не выдавшие уздечки и курыка, Токтар птицей взлетал на спину такого полудикого красавца, цепкой кошкой припадал к его гриве, обхватив бока ногами. Конь вставал на дыбы, брыкался задом, пытаясь стряхнуть непрошеного седока, но Токтар был не из тех, кого можно было сбросить на землю. Дав коню побеситься, он посылал его ударом пяток и камчи вперед и носился по лугам до тех пор, пока не изгонял из лошадиной души упрямого беса. К сараю укрощенный конь возвращался смирным, покрытым белоснежной пеной. Его оставляли на ночь, на отдых, он уже не брыкался, только тихо ржал да жевал непривычную для себя уздечку, а наутро коня мог оседлать и новичок и направить куда угодно.

Работа Токтара была для нас ни с чем не сравнимым зрелищем. Даже взрослые и те, выбрав свободную минуту, приходили полюбоваться его сноровкой и ловкостью. И качали головами, дивились: когда он успел освоить такое дело, которое и не каждому взрослому джигиту по плечу? И лишь старый бригадир Байдалы недовольно ворчал, заложив за нижнюю губу горсть насыбая:

– О аллах, нашли чем восхищаться! Да разве это кони? У самой кроткой ярочки и то характера больше. А на нынешнего коня набрось веревку для коров, он тут же и спину подставит: седлай и садись! Ну, может, махнет хвостом, чтобы думали, будто не сразу сдался. На таком коне даже сидеть – оскорбление для джигита. И у вашего Токтара только название одно – укротитель. Вот, помнится, в мои молодые годы забросишь петлю на шею коня, да не такую, сплетенную в четыре слоя, и держат другой конец шесть сильнейших джигитов. И все равно он тащит за собой – подошвы у наших сапог отпадали! Ловить такого чертенка – все равно, что дело с тигром иметь. Вот какие водились кони в мои времена, когда я был молод! – заканчивал он, значительно оттопырив нижнюю губу.

Послушать старика Байдалы, так все, кто родился позже его, здорово прогадали. Ныне и люди – слабаки, и скот худой и мелкий, и даже самые породистые собаки хуже никчемных дворняг, что бегали в молодые годы старика Байдалы. А нас, теперешних мальчишек, он и вовсе ни во что не ставил.

– Эти и носа не могут сами утереть, – говорил он, презрительно указывая на нас. – Мы в их возрасте уже заводили свою семью, разбивали себе отау<sup>1</sup>. Им же только бы носиться по улице целый день да рвать свою одежду, – и в знак величайшего неодобрения сплевывал насыбай.

– Дедушка, а в каком возрасте вы женились? – спрашивали мы, присмирев.

– В первый раз, что ли? – И старик Байдалы считал про себя, загибая пальцы. – Шесть лет... ну да, мне было шесть лет, когда отец сосватал для меня одну девчонку... Потом стало десять лет... В одиннадцать я уже украдкой к невесте ходил... Ну, а на следующую осень женился!

– На теперешней вашей жене?

– Ай, какие бестолковые! Я сказал – в первый раз, на этой я женился уже при советской власти, когда женщины получили свое равноправие.

– Ну, а где та, ваша первая жена? – не отставали мы от старика Байдалы.

– Ишь как пристали, сорванцы, – сетовал он, моргая узкими, слезящимися глазами. – Вам бы на уроках такое любопытство, сопляки вы этакие! А ну-ка, прочь от конюшни, пока не распугали коней!

Старик Байдалы беззлобно размахивал камчой, отгоняя нас от ворот конюшни. Мы делали вид, будто боимся камчи, отбегали чуть в сторону, а вскоре снова окружали его.

– Байеке, скажите, а где первая жена, которую сосватал вам отец? – принимались мы за свое.

---

<sup>1</sup>Юрта старшего сына, отделившегося от отца.

Сказать по правде, первая его жена нас нисколько не интересовала. Нам хотелось расшевелить старика. Уж если он разоидется, то обязательно расскажет что-нибудь интересное.

– Да зачем она вам сдалась?– удивлялся старик Байдалы. – Где же ей еще быть? Как ни в чем не бывало живет в колхозе Актасты. Подлая женщина! Тайком от меня встречалась с таким же обманщиком, как и сама. Сыном некоего Танеке. А когда установили советскую власть, в первую же ночь с ним сбежала.

– А вы? Что же сделали вы?– спрашивали мы, загораясь.

– А что я? Мужчины нашего рода еще никогда не умирали из-за женщины. «Ну и пусть,– сказал я. – Пусть уходит!» И сразу женился на теперешней своей старухе. Ну, довольно, поговорили, а сейчас идите отсюда.

– Нет, нет, расскажите, как вы снова женились!– кричали мы, боясь, что старик Байдалы и в самом деле умолкнет.

– Вы послушайте их! Как я женился! Хватит, они мне уже надоели!– жаловался бригадир старикам, пришедшим посмотреть на лошадей, и кричал, повернувшись к конюшне: – Эй, Токтар! Сегодня обуздаешь Жиренкаску. Пока его не заберут на фронт, я поезжу на нем. Конечно, и это кляча. Но вот отец его, Жирен, был конь!– говорил он нам, не удержавшись. – Однажды я скакал на кокпаре. Помню...

– Жирен – известный был скакун,– подтверждал один из стариков.

– Огонь! Так вот, помню, праздник в Узунбулаке. Каждый колхоз выставил свою команду, и мы боролись за тушу козла. Но никому не удавалось унести ее далеко. Ни капчагаем, ни серым. Огромный был козел, тяжелый. Туша не держалась в руках; схватив ее, джигиты тут же роняли наземь. Вы спросите: а как же я? А я зря не тратил силы скакуна Жирена, держался чуть в стороне. Пусть, думал, они увлекутся, а там уж и

мы скажем свое слово с Жиреном. Так бы, наверное, и было. Да не выдержал наш Байрыстан, крикнул: «Эй, тени джигитов! Да разве так тянут кокпар!» Ударил ногами коня, ворвался в самую гущу схватки, схватил тушу козла и поднял над головой.

– Пах! Силач был этот Байрыстан!– подтверждал тот же старик.

– Да что козел! Помню, упал в колодец верблюд, так он вытащил его в два счета,– добавлял другой такой же старый зритель.

Старик Байдалы недовольно покосился на непрошенных помощников,– он не любил, когда его перебывали,– и продолжал:

– Так вот, отобрал Байрыстан козла у чужих джигитов, поднял на свою макушку и вырвался из этой мешанины людей и коней. Да прямо ко мне: «Ну, а теперь, Байеке, твой черед. Скачи с козлом в аул!» Перебросил я тушу поперек седла и отпустил поводья Жирена. А конь как будто только и ждал, когда ему доверят дело. Стоило мне прикоснуться пятками к его бокам, и Жирен полетел как птица! Только ветер завывал в моих ушах: «Где а-а-ул, где а-а-ул!». Я лег вниз лицом на козла, придавив его руками, и не видел, как мы пронеслись через поля шести колхозов, и поднял голову только в нашем ауле. Жирен принес меня прямо к крыльцу сельсовета. Ни разу не качнул, не подбросил. Словно не было под его копытами ни кочек, ни рытвин, а степь стала гладкой, как стол!– победно заканчивал старик Байдалы.

– Да, да, Жирен был рожден не конем, а птицей!– опять встречал неугомонный помощник. – Я тоже раз скакал на Жирене, и тоже был кокпар! Этот жеребец понимал кокпар лучше иного человека!

– Когда в прошлом году Жирена забрали в армию, баенкома<sup>1</sup> сказал: «На таком красавце только главному командиру ездить!»– вспомнил другой старик.

---

<sup>1</sup>Баенком – искаж. «военком».

– Прямо так и сказал?– поразился старик Байдалы.

– Не веришь, спроси Жакыпа. Баенкома при нем говорил. Он слышал.

Мы все: и стар, и млад, повернулись к обычно не разговорчивому Жакыпу.

– Я слышал,– коротко подтвердил старик Жакып.

Пока мы слушали рассказы о скакуне Жирене, Токтар взял узду и подошел к его пока еще безвестному сыну Жиренкаска. Молодой жеребец отпрянул, забил копытом и раздул розовые нежные ноздри, словно стараясь подтвердить славу своей знаменитой горячей крови. А когда все же Токтар накинул узду на его гордую точеную голову, что тут началось, что началось!.. Жиренкаска чуть ли не взмыл в небо. Четыре человека держали аркан, брошенный на его шею, и все же он вырвался, словно они были легче пушинок, и понесся в степь. Один конюх быстро вскочил на своего оседланного коня и бросился в погоню. Да куда там – Жиренкаска и след простыл. Только еще клубилась пыль, поднятая его копытами.

– То-то, хороший конь и должен быть таким, с характером! Видали, как он всех раскидал? Из него выйдет замечательный скакун!– воскликнул старик Байдалы, и притухшая было его кровь снова забегала по жилам.

Казалось, подведи к нему горячего коня, и он, как в той, давней молодости, взлетит в седло и врежется в самую гущу кокпара.

– Ну что, мальчик? Усмирить клячу не трудно: проехал два круга и хоть на ходу спи. Возьмись-ка ты теперь за настоящее мужское дело да обуздай этого Жиренкаска, если ты и вправду силен,– предложил он, усмехаясь, Токтару.

Токтар молча оседлал кобылицу Кокбие, с помощью которой обычно приманивал сбежавших из табунов жеребцов, и поскакал за холмы, туда, где скрылся Жиренкаска. Вскоре мы увидели, что он возвращается

назад, а следом за ним, точно за магнитом, бежит Жиренкаска. Кокбие хорошо знала свое дело, она подпускала зачарованного беглеца поближе и снова устремлялась вперед, увлекая его за собой. Потом Токтар придержал кобылу, позволил Жиренкаске поравняться с Кокбие. За молодым жеребцом волочился аркан, заплетал ему ноги, заставляя идти как-то боком.

– Так он порвет аркан и себя покалечит, – заволновался старик Байдалы и, приложив к губам ладони, громко крикнул: – Эй, Токтар, отвяжи аркан! Аркан сними, говорю!

То, что произошло после этого, было неожиданным и для нас, и для Жиренкаска. Токтар на полном скаку перелетел на спину жеребца. Застигнутый врасплох, не готовый к внезапной атаке, Жиренкаска пронзительно заржал, взвился на дыбы, запрыгал, подбрасывая круп, пытаясь сбросить Токтара. Но тот даже не покачнулся, только еще крепче приник к шее коня. Тогда Жиренкаска, пугая кобыл, резко шарахнулся в сторону и, взбешенный упорством наездника, поскакал в степь. Аркан потянулся за ним, точно змея, готовая к броску.

Старики взволнованно затрясли головами, заговорили наперебой.

– Ну и ну, забраться на такого зверя без уздечки... Наверное, этот сын Шымырбая от страха уже собственное сердце проглотил!

– Да, как бы не случилось беды!

– Если ноги коня запутаются в аркане, оба свернут себе шею!

Вскоре мы снова увидели Токтара на Жиренкаска. Они мчались в нашу сторону. Токтар нахлестывал коня камчой. Жиренкаска со скоростью падающей звезды врезался в середину табуна, расколол его надвое и понесся дальше. Но прыть у коня уже была не та, и чувствовалось, что он теперь прислушивается к воле своего седока.

– Э, а где аркан?– спросил молчаливый старик Жакып.

– Я тоже не вижу аркана,– сказал другой старик.

– Да нет его, нет аркана!– заговорили старики, более возбуждаясь.

А Жиренкаска описал крутую дугу, постепенно сбавляя ход, повернул к табуну и остановился, подчиняясь железной руке наездника. Токтар легко прыгнул на землю, лицо его было бесстрастно, ничем не выдавало торжества, будто такие победы стали для него будничным делом.

Мы, поклонники Токтара, повернулись к старику Байдалы. Ну, что он скажет теперь о молодом джигите?

– А где аркан? Конечно, порвал?– строго спросил старик Байдалы, избегая наших взглядов.

– Не волнуйтесь, цел аркан. Я его у куста волоснеца бросил,– скромно ответил Токтар. – Ажибек!– обратился он к нашему старшему товарищу. – Возьми моего коня и привези бригадиру аркан!

– Радуется сердце! И Жиренкаска достойный скакун, и Токтар – настоящий джигит!– умиленно прошамкал девяностолетний Куатбай, самый старший аксакал в нашем ауле.

Старик Байдалы махнул рукой, сдаваясь, и весело сказал:

– Я думал, Токтар просто мгит, а он заправский джигит.

– Дедушка, а что такое «мгит»?– спросили мы в один голос.

– А я сам не знаю. Просто так придумал: мгит – джигит. Складно звучит, а?

– Складно! Складно!– закричал я вместе с ребятами. Мы гордились Токтаром. Тем самым Токтаром, который чуть ли не каждый вечер мне что-нибудь дарил, говорил с хитрой улыбкой:

– Канат, будь другом, приди сегодня на наше место.

Я понимал, что означает эта просьба, и приходил на условленное место с сестрой Назирой. Стоял

рядышком, пока они говорили. Не сводил с них глаз. Уж кому-кому, как не мне, было знать, насколько ловок, проворен Токтар. Уведет сестру – не успеешь и ахнуть. А они теперь мной не тяготились. Теперь я был как бы их благодетель. Без меня бы строгая мама ни за что не выпустила Назиру одну. А так я что-нибудь придумаю, какой-нибудь хитрый предлог, и мама скажет:

– Назира, погуляйте с Канатом. Только не ходите долго. Возвращайтесь скорей!

Я помнил об этом и не позволял сестре долго стоять с Токтаром.

– Мал ты, а строг, – шутил Токтар с грустной улыбкой.

Весной, когда линяли коровы, ребята собирали коровью шерсть и скатывали в тугий плотный мяч. Потом все лето играли этим мячом в «яйцо», «убегающий мяч», в «мяч-свинью». Помню, однажды в самый разгар игры появился Ажибек верхом на коне, и не на каком-нибудь, а на гнедом жеребце бригадира Байдалы. Заметив, что мы бросили мяч и уставились на него, Ажибек ударил коня пятками, повел его легким галопом и запел, сочиняя на ходу:

Я лег на дно Кособа  
И сбил пулей кого-то.  
Я – батыр, нет жалости у меня,  
Убил Байдалы и взял его коня.

При этом Ажибек любовался своей тенью, она летела рядом с ним по пыли, по стенам домов. Он знал, что мы отчаянно завидуем ему. Проскакав мимо нас, Ажибек развернул жеребца и снова пустил его галопом. Так он гарцевал перед нами, словно Бекежан перед красавицей Кыз-Жибек, после того как убил Тулегена. Да и тот, наверное, не старался, так не заставлял плясать своего коня.

Мы не заметили, как в конце улицы появился хозяин коня – старик Байдалы, и потому вздрогнули, услышав не по летам зычный голос.



– Ажибек, у тебя на плечах голова или дыня?! Я тебе что сказал?– закричал бригадир, сердито ругаясь.– Я тебе сказал: шагом езжай, напои жеребца! А ты что делаешь гусяная шея? Кому говорю: не мучай коня!

– Не мючай кяня,– вполголоса, кривляясь, передразнил Ажибек бригадира и громко ответил, притворяясь овечкой:– Да что такого, немного поездил, и все! Сейчас напою.

Он подмигнул нам и, дернув поводья, направил коня в сторону родника, напевая:

Я лег на дно Кособа  
И сбил пулей кого-то...

Отъехав, он что-то вспомнил, натянул поводья и повернул назад.

– Канат, иди-ка сюда!– услышал я его голос.

Я побежал к нему во всю прыть, надеясь, что он и мне даст поездить на коне бригадира. Ажибек поджидал меня, гнедой горячился, кружил на одном месте.

– Почему ты здесь?– спросил он, нахмутив брови.

– Потому что играю с ребятами,– ответил я, удивляясь его вопросу.

– Дабай беги домой. Черная бумага пришла на твоего отца. Ваш дом полон людей, а ты, панимайш, резвишься тут с ребятами,– сказал Ажибек, искажая русские слова «давай» и «понимаешь».

Все, что последовало затем, запомнилось мне как детали одной печальной живой картины. Вот я бегу по улице и что-то кричу. Вот плачу на груди у матери, которая лежит без чувств. Кто-то из женщин брызжет в мое лицо холодной водой, я вздрагиваю, точно от ударов тока, но не открываю глаз. Вокруг меня плач и причитания. Меня обнимают, гладят по голове и снова брызжут водой... Потом я каким-то образом очутился в своей кровати и уснул.

Проснулся я уже на другое утро, поднял голову и увидел, что дом по-прежнему полон людей. Они пили

чай, а дастархан был завален разной снедью, принесенной со всех концов аула.

На блюдах лежали баурсаки, талкан, замешанный на молоке, в глиняных чашках – иримшик. Но это я увидел потом, а вначале мне в глаза бросилось лицо бабушки, исцарапанное в кровь, отекшее, синее. Бабушка охала и с усилием глотала чай, пить который ее заставляли сидевшие рядом старухи. Матери за дастарханом не было, потом мой взгляд нашел ее совсем рядом. Она лежала на полу, возле моей кровати, с закрытыми глазами, и беззвучно шевелила высохшими, потрескавшимися за эти часы губами.

Возле нее тоже сидели женщины, ее сверстницы. Одна из них упрашивала мать:

– Багилаш, милая, подними голову. Нельзя же так всю ночь, – и пыталась подсунуть подушку.

На этот раз на меня никто не обратил внимания. Я соскользнул с кровати и вышел из дома.

На улице уже стояло позднее утро, было тепло, как и все эти дни. Перед нашим домом кипели три самовара, пылал врытый в землю очаг, на котором в казане варилось мясо. На стене сарая сушилась шкура серого козла, его берегли к возвращению отца, ухаживали за ним отдельно, всей семьей, кормили самой сочной травой с лучших участков горного луга. Но вот пришлось его зарезать совсем по другому, безрадостному поводу.

Возле самовара и очага суетились соседские женщины. Кто-то готовил чай, кто-то снимал с кипящего бульона пену или, сидя перед ручными жерновами, молот остаток нашей пшеницы, выгребая их из мешка.

И все же меня удивил человек, коловший дрова перед дверью сарая. По обычаю, это делал всегда самый близкий родственник пострадавшей семьи. И так было у всех. А у нас колот дрова Токтар – человек, совершенно не связанный с нами кровью. Не сват нам и не брат, как говорят русские.

Я хотел спросить у сестры, что это значит, поискал ее глазами. Она подходила к дому с ведрами воды. На лице ее не было ни кровинки, взгляд суров, губы крепко сжаты. Назира молча вылила воду в пустой самовар, разожгла его.

Я понял, что ей сейчас не до вопросов, сел на землю, привалившись спиной к углу дома, обнял колени. И вдруг улицу и меня вместе с ней потряс плач, вырвавшийся из окон нашего дома. Я узнал голос бабушки. Она причитала, оплакивала своего сына.

Ушел мой жеребеночек за горы.  
Пояс ему был к лицу,  
Но что толку, что пояс к лицу,  
Жеребеночек мой уже не вернется...

Я представил своего отца, подпоясанного красивым военным ремнем. Лицо его было суровое, холодное. Он даже не взглянул, не обернулся на нас, плачущих, причитающих, зашагал в гору, спокойно, размеренно, как ходил за дровами, да только шел на этот раз так, чтобы уже никогда не вернуться. И вот отец, как и пела бабушка, перевалил за гору... Мне хотелось крикнуть: «Отец, куда ты уходишь? Зачем ты оставил нас?»

По моему лицу потекли горячие слезы. Мне и раньше приходилось плакать от обиды, а чаще хитря, чтобы разжалобить бабушку. Но до этого дня я не знал, как горячи настоящие слезы. Они жгли глаза и щеки. Я крепился, стараясь не зареветь в полный голос, стиснул зубы, спрятал в колени лицо. И тут на мое темя легла жесткая мужская ладонь. Я поднял голову и увидел Токтара, склонившегося надо мной:

– Крепись, Канат, ты – мужчина!

Взрослые, когда им нужно, любят говорить: «Как тебе не стыдно, ведь ты мужчина». Но стоит тебе задержаться на улице допоздна, как слышишь: «Ты еще маленький, тебе пора спать». У Токтара это выглядело совсем по-другому. В его глазах было столько искрен-

него желания помочь мне, что я не выдержал, уткнулся лбом в его бок и, не стесняясь, зарыдал.

– Отойди, Назира, – услышал я голос Токтара, – мы с ним по-мужски погорюем. Канат... Канат... – говорил Токтар и гладил меня по голове, по спине.

И я успокоился, поднял голову. Бабушку уже не было слышно, она закончила свой плач по сыну.

– Вымой лицо. Если мама твоя заметит, что ты плакал, ей будет еще больней, – сказал Токтар и полил мне из чайника, а сестра вынесла из дома полотенце.

Когда я растирал полотенцем лицо, уничтожая следы своей слабости, к дому подъехал председатель колхоза Нугман. Токтар, словно хозяин, пошел его встретить и держал за узду коня, пока председатель неловко, не сгибая спины, вылезал из седла. Мне уже говорили, что Нугман всегда выжидает конца жоктау и только после этого приходит выразить свое сочувствие. Когда-то, давным-давно, баи и кулаки зарыли его в землю живым, и врачи с тех пор запретили ему волноваться. Он и с виду больной – тощий, с такими впалыми щеками, словно внутри они касались друг друга. Я как-то не замечал, чтобы председатель смеялся. Если Нугман смотрит на тебя, то кажется, что он тебя не видит, будто он навечно погружен в какую-то очень печальную думу. И до войны Нугман как инвалид не работал, получал пенсию и разводил свой сад, где скрещивал дички с культурными яблонями. Ну, а после того как началась война и все здоровые мужчины ушли на фронт, пришлось ему пойти в председатели.

В доме Нугман пробыл недолго, а выйдя на улицу, подозвал сестру, расспросил о наших делах и что-то написал на листке, вырванном из блокнота.

– По этой записке получите барана и два пуда муки как помощь от колхоза, – пояснил он, вручая сестре листок. – Токтар, сынок, поможешь им привезти.

– Хорошо, ага. Помогу.

Председатель так же неуклюже, с неестественно прямой спиной, взобрался на коня и сказал сестре:

– Назира, солнышко, если что-нибудь будет нужно, не стесняйся, заходи ко мне.

Нугман уехал, а я, глядя ему вслед, дивился его странной походке и тому, как он слезал и забирался на коня.

– А почему он такой прямой, как палка?– спросил я у Токтара.

– Нугман носит корсет,– ответил Токтар.

– А что это такое?

– Ну, вроде панциря, и тоже из железа.

– А зачем он его носит? Чтобы не пробила пуля?

– Ну что ты, Канат-ай? Совсем для другого служит корсет. У председателя больной позвоночник, да еще говорят у него удалены два ребра.

– А почему их удалили?

– Перед тем как зарыть Нугмана в землю, его сильно били. Вот тогда и сломали два ребра, а после уже в больнице их удалили совсем.

По черной бумаге мама высчитала, когда наступит сороковой день после смерти отца. Оказалось, что очень скоро. И наша семья стала готовиться к поминкам. Мать и Назира пригнали обещанного Нугманом барана, бабушка откормила его, урезав еду трем нашим козам. Баран залоснился, потяжелел, и мать, и бабушка успокоились, что теперь на поминках будет вдоволь «божьего» мяса. А пока они послали нас с Назирой за дровами.

Рано утром мы отправились в горы в заросли таволги, нарубили две большие охапки веток с только что распутившимися листочками и, после того, как Назира перевязала охапки веревкой, скатили их к подножию склона. Потом сбежали сами вниз, подобрали вязанки и только навьючили на себя, как из-за пригорка, со стороны аула, появился Токтар.

Он шел, улыбаясь еще издалека, словно человек, спешащий за суюнши – подарком, который получает тот, кто первым приносит хорошую весть.

– А я вас везде ищу. Потом вижу, летят сверху дрова, а потом и вы спускаетесь следом!– сообщил он, приближаясь.

– Токтар-ау, зачем ты пришел? Ведь мы же договорились,– сказала сестра с упреком.

Ну да, и я, как всегда, присутствовал при их договоре. Они условились днем не подходить друг к другу и даже по возможности не появляться в одном и том же месте, чтобы не было повода у сплетниц чесать свои длинные языки.

А произошло это после того, как наша мать остановила Токтара на улице и сказала ему:

– Токтар, дорогой, не подумай, будто я считаю тебя недостойным моей Назиры. Лучшего бы я ей не желала жениха. Разве что ханского сына,– пошутила она со слабой улыбкой.– Но сейчас война, и тебе еще предстоит исполнить свой мужской долг. Вот вернешься с войны – и хоть в тот же день приходи за Назирой, я дам вам свое согласие. А пока не кружи девушке голову! Не опозорь ее!

Токтар, по его словам, растерялся, забормотал:

– Что вы говорите, тетя? Что говорите?.. Я не такой. Я не такой...

Но мать и слушать не стала...

С тех пор они так и делали – избегали друг друга. Ну, а если и сводил их случай, перекинутся словом, да так быстро, что сплетницы и глазом не успевали моргнуть, и расходятся как ни в чем не бывало каждый своей дорогой. И вдруг Токтар подошел к ней посреди бела дня...

– Да, Токтар, что же ты? Мама узнает,– я поддержал сестру.

– Назираш, меня призывают, завтра еду в район,– сказал Токтар, радостно улыбаясь.

– На фронт?– спросила сестра, видно надеясь, что Токтар ответит отрицательно, точно парня, получившего повестку, могут послать куда-то еще.

– На фронт!– подтвердил Токтар, ликуя. – Из нашего аула призывали четверых. И меня в том числе! Сейчас у нас такое! Собралась вся родня! Еле ускользнул, чтобы сказать тебе.

– Токтар-ау, Токтар-ау, но ведь ты еще слишком молод, чтобы идти на фронт. Что же ты делаешь?– в ужасе прошептала Назира.

Она отвернулась, села на вязанку к нам спиной и жалобно повторила:

– Что же ты делаешь? Ведь еще твой возраст не подошел.

– Я же их обманул. Военкомат не знает.

Токтар нам улыбался, сиял, совершенно не замечая, что творится с сестрой. Признаться, я тоже ее не понимал. Что же плохого в том, что джигит идет воевать с фашистами? И завидовал Токтару.

По-прежнему сидя к нам спиной, Назира сняла косынку, провела ею по глазам.

– Ну, ладно. Вечером приходи на наше место. Мы с Канатом будем ждать,– сказала она, поднимаясь.

Сестра хотела взвалить вязанку на спину, но Токтар не позволил, поднял и ее, и мои дрова на свои широкие плечи и донес до аула.

– Отсюда уже недалеко, дотащим сами,– сказала сестра, остановившись в начале улицы.

Токтар опустил вязанки на землю. Он и сестра постояли, не сводя друг с друга глаз. С его губ так и не сходила широкая, счастливая улыбка. А глаза Назиры то и дело наполнялись слезами. Она провела ладонью по его лицу, взяла за руку.

– Вечером приходи. Мы тебя ждем,– напомнила она.

Вечером, когда меня послали на луг за нашими козами, я двух отогнал в сарай, а третью, белую, с

прямыми рогами, привязал в кустах, на окраине аула. И, войдя в дом, сказал маме с самым невинным видом:

– А белая коза куда-то ушла. Один я искать боюсь. Там скоро будет темно.

– Пусть с тобой пойдет Назира, – распорядилась мать, ничего не подозревая.

Мы только этого и ждали, выскочили на улицу и побежали на место встречи, на холм, к одинокой яблоне. Я очень гордился своей хитростью, мне не терпелось поскорее рассказать Токтару, как я ловко провел свою мать. Сестра и та отвлеклась от печальных мыслей, посмеялась вместе со мной.

Токтар еще не пришел. Я уселся на сухую прошлогоднюю траву, прислонившись спиной к стволу одинокой яблони, а сестра занервничала, принялась ходить передо мной, словно маятник.

– Канат-ай, когда он придет, отойди, пожалуйста, к забору, подожди меня там, – попросила сестра.

– Там темно. Мне одному страшно.

Честно говоря, мне хотелось послушать, что скажет на прощание Токтар Назире.

– Не бойся, там никого нет. И вот возьми для храбрости это, – она нагнулась и протянула мне сук.

Я взял его и вспомнил, как здесь Бубитай гонялась с палкой за племянницей Тоштан. Может, именно с этой палкой.

– Ладно. Только не задерживайся, – сказал я, вздохнув.

– Я недолго.

Мы ждали Токтара, однако он почему-то не шел. Сумерки сгустились, стало темно, аул затих, готовясь ко сну. И вдруг на пороге своего дома снова затянула песню свихнувшаяся Бубитай. Я от неожиданности выронил палку.

Но Бубитай пожаловалась на свое горе и умолкла. А Токтар все еще не появлялся.

– Почему его нет? Он должен, должен прийти, – сильнее разволновалась Назира.



Ну а мне-то откуда знать? Я и сам удивлялся. Так это было не похоже на Токтара. Обычно он приходил раньше нас, ждал по целому часу, а может, и того больше.

Наконец в темноте зазвучали шаги. Кто-то быстро шел в нашу сторону.

– Мы здесь! Мы здесь! – закричал я, не удержавшись.

– Я так и поняла, что вы у дерева. Пусть бог покарает вас! – раздался гневный голос матери. – Коза кричит под дверью дома, а вы оба как сквозь землю провалились. Можно подумать, что с вами случилась беда. А вы вот где! Ну-ка, сейчас же домой! – приказала мать, вырастая перед нами.

Мы виновато побежали впереди, как два проказливых жеребенка, пойманных среди посевов, а мама молча шагала следом, но и в молчании ее чувствовалась незатихающая гроза. Потом мне показалось, будто за нами идет еще один человек. Этот четвертый будто бы обогнал нас стороной. Когда мы подошли к порогу, за угол нашего дома и вправду бесшумно метнулась темная тень. Я и сестра узнали Токтара. Назира схватила мою руку, лихорадочно сжала ее. Она взывала о помощи, считала меня единственным, кто может ей помочь.

– Мама, я сейчас приду. У сарая бродит чужая собака. Я прогоню и приду, – сказал я, польщенный этой верой, и отступил в темноту. Все же брат, как ни будь он мал, всегда останется покровителем своей сестры. И я великодушно продолжал покровительствовать Назире.

Моя личность в этот момент меньше всего интересовала маму. На этот раз все ее внимание сосредоточилось на моей сестре. Она вошла в дом следом за Назирой и захлопнула за собой дверь.

Как я и думал, ко мне тотчас бросился Токтар. Он тяжело дышал, словно за ним гнались все аульные собаки, и тоже схватил меня за руку.

– Так и оторвать можно! Мы, между прочим, тебя ждали. Очень долго, – сурово сказал я. – А потом пришла мама и прогнала.

– Прости! – сказал он, отпуская руку. – Я видел, все видел. Канат-ай, я не смог раньше уйти. Мать плачет, отец тоже. Она на одном плече, он на другом. Не шелохнуться. Только теперь успокоились немного, да и то... Слушай, друг, позови Назиру. Пусть выйдет хоть на минуточку.

– Поздно, мать уже ни за что не отпустит. Даже у меня ничего не получится, Токтар, – признался я со вздохом.

– Ну как-нибудь, ну, попробуй... Ты ведь у нас голова!

– Ладно, попробую, но не обещаю.

Я ушел в дом и, когда мать отвернулась, показал старшей сестре глазами на дверь: ступай, мол, на улицу, он там.

Но какой бы повод ни придумывала Назира, мать отвечала: сиди, сделаешь завтра, не горит.

Когда же Назира направилась без спроса к дверям, мать вконец рассердилась, закричала:

– Не смей выходить! Только хоть шагни за порог!

– Ну что ты за ней ходишь, следишь! Назира взрослая девушка, – не выдержала, вмешалась бабушка, жалея старшую внучку.

Ну, тут и бабушке влетело заодно с Назирой.

– А вы-то, свекровь, зачем? – сказала ей мать с упреком. – Хватит того, что я стала вдовой, выплакала все глаза. А еще хуже быть не замужней вдовой. Как Гульсара, дочь Жакыпа. Погиб ее жених, и теперь не поймешь, кто она – девушка или вдова.

– Да, да, бедная Гульсара! Как она плакала, – подтвердила бабушка, вздыхая.

И еще долго после того, как все легли и потушили свет, взрослые не могли заснуть, ворочались в постели, вздыхали, ахали-охали. Бодрствовали и мы с Назирой на нашей кровати. Рядом со мной сладко

сопели младшие братья и сестренка, а я смотрел в темноту, и сна не было в одном глазу.

Комната, ее очертания растворились в бездонной черноте, и только там, где была стена, чуть-чуть светлело окно, словно висело без всякой опоры. И вдруг в этом светлом прямоугольнике мелькнул красный огонек папиросы. Затем он проплыл в обратную сторону.

Я потянулся над спящими малышами и шепотом сообщил сестре о своем наблюдении.

– Это не он. Он не курит, – прошептала Назира.

– А теперь закурил. Он же едет на фронт. А на фронте все курят, – возразил я уверенно, потому что в моем тогдашнем представлении воин был обязательно с папироской в зубах.

– Что-то вы сегодня разговорились? – сказала мать недовольно. – Или вы будете спать, или получите от меня.

Мы сразу притихли. Я лежал на боку и не сводил глаз с окна. Огонек передвигался, замирал на месте, слабел, почти затухая, и снова вспыхивал, когда затягивался курящий.

Утром на проводы Токтара и его товарищей собрался весь аул. Над пятачком перед колхозной конторой, откуда уезжали призывники, стоял женский плач, женщины просили призывников вернуться живыми и невредимыми. Старики, как люди бывалые, давали советы парням, желали скорой победы. Я вместе с ребятами шнырял в толпе, видел и бабушку, и маму, а вместе с ними младших братьев и сестру.

Да, на проводы собрался весь аул, и только не было здесь моей старшей сестры Назиры. Боясь расстроить маму, она кружила вокруг нашего дома, делала вид, будто занята по хозяйству.

Вот уже все призывники, кроме Токтара, забрались на арбу, вот уже возница тронул коней, а Токтар все медлил, посматривая, не идет ли Назира. Отчаявшись,

он вырвался из объятий своей матери, подбежал ко мне и жарко шепнул:

– Передай Назире: пусть меня ждет. Я вернусь!

На глазах у лихого джигита – у нашего кумира – стояли слезы. Заметив мое недоумение, Токтар провел ладонью по глазам и виновато сказал:

– Бывает! Ну, прощай, Канат!

В этот момент мы увидели Назиру. Она не удержалась, подошла поближе. Токтар махнул ей рукой и побежал за арбой.

После гибели Спатая, после того, как нам запретили даже близко подходить к одинокой яблоне, ребята стали играть возле старого клуба. В тот летний день, который мне так ясно запомнился, мы тоже играли в альчики в тени этого уже обветшавшего строения. И так увлеклись своим занятием, что не заметили появления Ажибека.

Обычно в его присутствии мы не рисковали доставать из кармана альчики или бегать за мячом. С тех пор как у Ажибека убили отца, он стал невыносимо вредным, мешал нам играть, отнимал мяч и альчики. Мы плакали, а ему это почему-то доставляло удовольствие, словно было легче от наших слез.

Самые отчаянные из нас бросались на обидчика с кулаками, но куда там, – Ажибек расправлялся с ними шутя. Кое-кто жаловался на него взрослым. Да некому было дать ему хорошего тумака. В ауле остались старики и женщины, а их Ажибек не боялся. Он легок и скор, как порыв осеннего ветра. Попробуй догони такого шалопа! Он пользовался безнаказанностью и делал с нами все, что хотел.

Мы остерегались Ажибека, играя, то и дело поглядывали по сторонам, и все же в тот день прозевали его. А он, словно ястреб на цыплят, выскочил из-за угла, сгрел все наши альчики и, засунув их в карманы штанов, зашагал по улице, безжалостный и сильный.

Мы побежали за ним, цепляясь за подол его рубахи, умоляя вернуть наши альчики. Ажибек улыбался во весь свой большой губастый рот, обнажая крепкие белые зубы, очень довольный собой, и продолжал победное шествие по улице. Когда же мы ему, в конце концов, надоели, он смазал одному-двум по затылку, с поддельным возмущением произнес:

– Вот привязались! Не дают погулять мирному человеку. Вам что от меня нужно? Альчики? Ах, альчики! – В голову ему пришла новая пакостная мысль. Он сунул руку в карман, извлек один альчик. – И вправду есть альчики. Ну, если так, я, конечно, их должен вернуть. Этот альчик чей?

– Мой! Мой! – обрадованно закричал Самат и потянулся за своей игрушкой.

Ажибек плюнул на альчик и протянул его владельцу. Самат, как обжегшись, отдернул руку, на глаза его навернулись слезы.

– Ах, ты не хочешь взять свой альчик? Он уже тебе надоел? А зачем ты тогда морочил мне голову? Ну уж нет, теперь я заставлю тебя забрать, – притворно возмутился Ажибек и, схватив Самата за шиворот, силой засунул альчик в его карман.

Оскорбленный Самат заревел и побрел домой.

– Иди, иди! Можешь жаловаться хоть самому богу! – закричал ему вслед Ажибек. – Ишь, стоило мне подержать его паршивый альчик, и он уже брезгует им! Слышишь, не смей теперь подходить к ребятам! Ты недостоин их! И вы не вздумайте с ним играть. Если увижу, вздую так, что долго будете помнить!.. А этот чей? – спросил он, достав второй альчик.

– Мой, – осторожно сказал мальчик по имени Батен, его голову только выбрили, и она сияла на солнце.

– Ай, какой у тебя хороший лоб! Как зеркало! Ну-ка, подойди ко мне, я на себя посмотрю, – с притворной лаской позвал его Ажибек.

Когда простодушный Батен, решив, что гроза миновала, приблизился к Ажибеку, тот неожиданно щелкнул его по голове. Дын-дын!

Что было, то было. Мы тогда со смеху чуть не попадали, у Батена повлажнели глаза, но он сдержался, не заплакал, только потер лоб и насильно растянул в улыбке губы, делая вид, будто ему тоже смешно.

– Маладес!– похвалил Ажибек по-русски. – Возьми!– и вернул Батену альчик.

Так он роздал остальные альчики, сопровождая это насмешками, пинками и подзатыльниками. А кое-кому пришлось поползть в пыли, отыскивая брошенный альчик.

Потом Ажибек снял застиранную рубаху, лег животом на траву и приказал:

– Эй вы, недотепы! Что-то спина расчесалась сегодня! А ну-ка сделайте мне «жыбыр-жыбыр»!

«Жыбыр-жыбыр» – недавняя придумка Ажибека. После черной бумаги на его отца с Ажибеком что-то случилось, на него напал сильный зуд, он чесался, раздирая кожу ногтями, так что было страшно смотреть. Видавшие виды взрослые говорили, будто виной тому расстроенные нервы, будто так его потрясла проклятая черная бумага. Словом, Ажибек себе места не находил, драл кожу ногтями до крови. Или вырывал пучок травы и тер им свое тело. Но добраться до спины он, естественно, не мог, вот он и приспособил нас, ребятишек. Это и называлось у него «жыбыр-жыбыр».

Так и сейчас мы нарвали траву и стали чесать его спину, плечи и шею. А он блаженно кряхтел, приговаривал:

– Еще... еще... Немного повыше... пониже...

И мы делали ему «жыбыр-жыбыр», стараясь перещеголять друг друга.

– Маладес... маладес...– похвалил он самых ретивых.

А для нас, казалось, не было большего счастья на свете, чем похвала Ажибека! Мы боялись, страдали от

него и вместе с тем обожали за силу и бесстрашие. И кроме того, эта похвала как бы наделяла маленькой властью.

Отмеченный ею, пользуясь покровительством Ажибека, уже сам покрикивал на других. И к месту, и не к месту.

– Ребята, чем вы занимаетесь? – услышали мы будто бы голос с неба и от неожиданности вздрогнули.

Над нами возвышался председатель колхоза Нугман на своем рыжем мерине.

Мы побросали траву, Ажибек не спеша перевернулся и сел, скрестив ноги.

– Чешется все, ну и они сделали мне «жыбыр-жыбыр», – важно пояснил Ажибек.

– «Жыбыр-жыбыр», говоришь? Это интересно, – и я впервые увидел усмешку на губах Нугмана. – А если чесотка у тебя? Ты ведь их заразишь.

– А они что? Святые? Лучше меня? – обиделся Ажибек.

– Нельзя думать только о себе, Ажибек, и жить за счет других. Так все равно свое счастье не построишь. Ты старше этих ребят и потому, наоборот, должен заботиться о них, учить всему хорошему.

– А я и так учу этих недотеп. День и ночь им твержу: уважайте старших! А кто не слушает, того – по шее.

И трудно было понять: всерьез говорит Ажибек или смеется над председателем.

– Не нравятся мне твои рассуждения, парень. «По шее!» Не в ту сторону тянешь. А ну-ка давай поговорим, – предложил Нугман, тяжело слез с коня и сел рядом с Ажибеком.

В этом было что-то необычное, – вечно занятый председатель тратил на нас бесценное время да еще собирался обсуждать наши ребячьи отношения. Ажибек тоже забеспокоился, отсел от Нугмана подальше. На всякий случай.

– Не бойся, я не кусаюсь, – председатель снова улыбнулся, на этот раз по-доброму и как-то грустно, словно ему стало очень жаль Ажибека.

А тот не любил, когда его жалели. Бывало, посочувствуешь, спросишь его: «Ты почему хромаешь? Упал, да? Пойдем к моей маме, она тебе примочку поставит». А он тебе: «Катись отсюда, пока я тебе самому не выдернул ноги!»

Вот и сейчас Ажибек рассердился и дерзко сказал:

– Ха, чтоб я да боялся каждого встречного? У меня не заячье сердце! Нет уж! А чего мне вас пугаться? Чего? Ну, поколотите, намнете бока, а потом я вырасту и поколочу вас раз в десять сильнее. Вы же тогда будете старым и слабым!

Мы похолодели: ну, сейчас Нугман огреет наглеца камчой, но тот рассмеялся, добродушно ответил:

– Дорогой мой, ты ошибаешься дважды. Во-первых, бить тебя я не собираюсь. Человек не лошадь, его камчой не научишь. Да и с лошадью лучше обходиться без камчи. А во-вторых, когда ты подрастешь, станешь думать совсем по-иному. Да и счеты тебе не с кем будет сводить. Вряд ли я дотяну до этого времени. Мне бы дожить до конца войны. А после и помереть не страшно.

– А как по-вашему, когда она закончится, война?– спросил Ажибек, живо придвигаясь к Нугману.

– Этого никто не знает. Но, наверное, скоро. Наши гонят врага. Тот уже ничего не может поделать. Вышибли мы дух из него!

– Ну, тогда вам невыгодно, чтобы она быстро закончилась,– предположил Батен.

– Это почему же?– удивился Нугман.

– Тогда вы скорее умрете. Вы же сами сказали: закончится война – и тогда сразу помрете.

Все засмеялись, а Ажибек пожаловался Нугману:

– Вот видите! Ну, как еще обращаться с такими глупцами?

– Он меня неправильно понял,– заступился Нугман за смущенного Батена. – Да и если бы все было так, я бы все равно желал скорой победы. Ну что ж, что меня



не будет? Главное – знать, что наступит пора, когда вы избавитесь от чесотки и других болезней. Будете сыты, одеты. А что еще человеку надо, если счастливы дети?

– Если бы мне сказали: мы дадим тебе съесть белого хлеба сколько захочешь, но потом ты умрешь, я бы согласился, даже бы не думал, – бесстрашно сказал Ажибек.

– И сколько бы ты смог съесть хлеба за один раз? – спросил Нугман, подмигивая нам.

– Килограмм!.. Два!.. – азартно воскликнул Ажибек.

– И всего-то?! Ну, ради этого не стоит жертвовать жизнью. Потерпи только месяца полтора. Вот соберем хлеб, тогда приходи ко мне домой. Я попрошу своих женщин, чтобы поставили для тебя полную печь белых булок!

– Полную печь?! Ух ты! – возликовал Ажибек.

– Только у меня к вам, ребята, одна просьба.

– Говорите! Мы все сделаем! И пусть только кто-нибудь попробует отказаться, – пригрозил Ажибек, хотя и знать не знал, о чем поведет речь председатель.

– Бегаете вы по улице целый день, и никому от этого никакой пользы. А между тем война-то идет очень тяжелая. И вы бы смогли помочь вашим отцам и старшим братьям.

– Да нас же никто не пустит на фронт. Скажут: маленькие еще, – пожаловался Батен.

– И правильно скажут, – согласился Нугман. – Но вы можете помочь здесь, в колхозе. Не велика работа – поле от сорняка избавить. А хлеба соберем больше. А соберем хлеба больше – воинов лучше накормим. Легче воевать им будет.

– Лично у меня, – вмешался Ажибек, – теперь никого нет на фронте. Мне некому помогать. А вот у них, – он указал на нас, – у кого отец, у кого брат или дядя. У Каната – Токтар, тоже будущая родня. Но они же об этом не думают. Не отбери у них альчики, будут с утра до вечера играть.

– Есть ли свои на фронте, нет ли – не имеет значения. Все, кто там, за нас воюют, наша родня, – возразил Нугман. – Давайте договоримся, ребята, с завтрашнего утра пусть каждый возьмет по серпу и выйдет полоть сорняки. За это колхоз обязуется кормить вас горячим обедом.

– Каждый день? – не поверил Асет.

– Каждый день мясная похлебка, – уточнил Нугман.

– Тогда пойдем! Ура! – закричали мы все в один голос.

– Значит, договорились? – переспросил Нугман, очень довольный нашим согласием.

– Договорились! Договорились!

– Тогда вашим бригадиром назначаю Ажибека, – сказал председатель, поднимаясь.

Ажибек вовсе заважничал, словно делал нам всем одолжение, ступая по одной с нами земле. А Нугман, точно ему и этого было мало, добавил еще:

– Ну, бригадир, а ты должен вылечить свою чесотку. Возьми сегодня же коня, съезди в больницу в Коныр.

Он начеркал записочку бригадиру Байдалы, распорядился выдать коня и вместе с запиской протянул Ажибеку пятьдесят рублей.

– купишь себе лекарства.

– Ну, видели, недотепы, как разговаривал со мной председатель? – победно спросил Ажибек, когда Нугман уехал. – Теперь вы должны почитать меня как старшего брата и выполнять все мои приказы. Ты, Кайрат, и ты, Самат, принесете мне в дорогу курта и иримшика. Возьмете дома или у старой Казимы. Сама она, конечно, не даст. Но я видел, что у нее рядом с дверью сушится курт. Можно незаметно стащить. А ты, Канат, ступай с запиской к старику Байдалы, приведешь коня.

Гордясь таким ответственным поручением, я побежал по аулу, размахивая листком, словно знаменем; нашел бригадира Байдалы возле кузницы и вручил записку Нугмана. Старик Байдалы взял записку, повертел ее и так, и этак и вернул мне.

– Ну-ка, прочти. Хочу посмотреть, чему ты научился в школе.

Старик Байдалы не умел читать, но скрывал свой недостаток, хотя о нем знал весь аул.

– «Байеке,– читал я,– дай Ажибеку на сегодня коня. Пусть съездит в Коныр, в больницу, покажется врачам и возьмет себе лекарство. Нугман».

– А ты тут при чем?– удивился старик Байдалы.– Тут что сказано? Выдать коня Ажибеку. Не тебе – Ажибеку, понял?

– Ажибек меня послал. Он там ждет,– я махнул рукой в сторону клуба.

– А ты что? Не понимаешь слова «сам», голова твоя тыквой!– рассердился старик Байдалы. – Ему нужен слуга! Посмотрите, какой бай нашелся! Иди скажи Ажибеку: хочет получить лошадь, пусть придет сам!

Представьте, человек радуется, в нем все поет, оттого, что ему доверили важное дело, и вдруг его окатывают холодной водой. Так же стало и со мной после отказа Байдалы. Я сник, понуро побрел к Ажибеку.

А он в это время запихивал в необъятный, растянутый карман пиджачка курт и иримшик, добытые Кайратом и Саматом. Заикаясь, стыдясь смотреть в глаза своего бригадира, я передал слова старика Байдалы.

– Эх ты, тряпка!– презрительно сказал Ажибек.– У тебя в руках документ, записка самого председателя, а ты развесил уши перед каким-то Байдалы. Ты показал ему записку или нет?

– Я ему прочитал, а он...

– Так что же тебе еще? Надо было зайти в конюшню и взять самого лучшего коня. Э, видать, из тебя никогда не выйдет настоящий мужчина. Если я ошибусь, отрежешь мне нос. Дай сюда записку!

Он ушел на конюшню и вскоре вернулся на сером коне самого Байдалы. Скакун был без седла. Ажибек

только успел набросить уздечку. За ним с криком гнался хозяин скакуна, размахивал палкой, от ярости готовый разнести на куски и землю, и небо.

– Стой! Я тебе говорю, щенок!– завопил старик Байдалы, запыхавшись. – Остановись, пока цел! Или я за себя не отвечаю... Проклятье! Ему мало на конюшне других коней. Так нет, он взял именно того, на котором я езжу! Остановись, негодник! Кому говорю?

– Баке, то, что тебе не дают, приходится искать на дороге. Разве этого коня вам оставил ваш отец? Это колхозный конь, общий! Вы – бригадир, и я – бригадир, значит, я тоже имею право ездить на этом коне!– возразил Ажибек.

– Он бригадир! Слышите, что говорит этот щенок?

– Меня сам председатель назначил!– И Ажибек, как подтверждая свои права, ударил серого пятками. Жеребец всхрапнул и пошел легким галопом.

– Голова твоя тыквой! Возьми седло! Собьешь жеребцу спину!– горестно закричал старик Байдалы.

– Не собью! Я легкий!– пообещал Ажибек. – Смотрите: отважный батыр отправился за красавицей в Акжайык. За такой, как Кыз-Жибек у Тулегена!

Он повернул серого на дорогу, ведущую в районный центр Коныр, огрел его пятками и скрылся из глаз.

А старик Байдалы начал с новыми силами клясть Ажибека, грозить ему всевозможными карами.

– У, голова твоя тыквой! Будь проклята земля, которая тебя носит! – ругался он и пинал сухие твердые кочки носком сапога. – Ну, погоди, только вернись! Я тебе покажу!.. – И вдруг, как-то разом утихнув, спросил: – Эй, это правда, что записку написал сам председатель?

– Мы видели сами,– подтвердил Самат.

– Он вот там стоял и писал, где Канат,– уточнил Кайрат.

– Да, да, мы это видели,– подтвердили остальные.

Старик Байдалы устался на указанное место, стараясь представить пишущим записку председателя

Нугмана. Удостоверившись в том, что так и было на самом деле, он миролюбиво пояснил:

– Ведь мне обидно. Я сам на серого не садился. Пусть, думаю, отдохнет, наберется сил перед сенокосом. Там-то ему не будет покоя. Мне серого жаль.

Высказавшись, старик Байдалы пошел назад, в кузницу, а мы, собравшись в кружок, принялись обсуждать поступок Ажибека. Нас восхищала ловкость, с которой он похитил коня из-под носа у бригадира Байдалы. Каждый вспомнил какие-то новые детали этого похищения. Нам не терпелось узнать, как съездит Ажибек в Коныр и чем закончатся его похождения. Его поездка казалась нам увлекательной историей, вроде тех, о которых пишут в книгах или рассказывают старики и старухи. Мы забросили игры и смотрели во все глаза на дорогу, идущую из Коныра. Даже обедать никто не пошел, боясь пропустить что-нибудь важное. Мы проглядели все глаза, дежурили до самого захода солнца. Но Ажибек так и не появился. А потом за нас взялись взрослые, разогнали по домам.

Утром меня разбудила бабушка:

– Проснись. Тебя зовут.

В окно в самом деле стучали. Кто-то, а кто именно, я спросонья не узнал, барабанил в стекло и кричал:

– Вставай, Канат! Выходи на работу!

Я разом вспомнил вчерашний разговор с председателем и вылетел из постели. Мать и Назира были уже в поле.

Наскоро проглотив завтрак, приготовленный бабушкой, я набросил куртку, схватил в передней серп и помчался на пятачок. Здесь уже собрались почти все ребята, и у каждого в руке поблескивал серп. И перед ними, как и положено командиру, прохаживался сам Ажибек, руки за спиной, взгляд зоркий, придирчивый. Это он, оказывается, ходил по домам, поднимал членов бригады. Его-то, выходит, я и не узнал со сна.

Пока подходили опоздавшие, мы попросили Ажибека рассказать о поездке в Коныр. Ажибек вначале важничал, говорил, что сейчас не время, но затем не выдержал, ему самому не терпелось поведать о своих похождениях.

– Приехал я в Коныр, – начал Ажибек, – и думаю: а зачем мне к доктору идти? Что я, с ума сошел, что ли? Придешь – сразу в больницу уложат. Им бы только лечить. Пойду-ка лучше в магазин. Зашел в магазин, а там сахарный песок продается. А в кармане у меня пятьдесят рублей на лекарства. Шевельнешься, и слышно, как шелестят. Эх, вместо того чтобы лекарства горькие покупать, думаю, куплю-ка лучше сахара. Достал пятьдесят рублей и на все купил песка. Полные набил карманы. Ну, а после этого что делать в Коныре? Отправился я домой, по дороге заехал в лощину, стреножил серого поводями и начал есть сахар. Иримшик и курт я еще, когда ехал туда, съел. Поел, напился воды и лег на траву. И заснул. А когда проснулся, смотрю, уже темно. Я сел на коня – и в аул. Хороший был сахар! Возьмешь его в рот целую горсть, а он хрустит, словно талкан. По-моему, крупинки в кармане остались. Сейчас посмотрим. Ээ, только подставьте ладони.

Он вывернул карманы пиджака, и на подставленные наши ладони упали сверкающие кристаллики сахара. Мы положили их на язык и убедились в том, что Ажибек рассказал нам чистую правду. Сахар и в самом деле был очень вкусен.

– Ажибек, а если Нугман спросит: купил ты лекарство или нет? – напомнил с тревогой Асет.

– Я это учел, – ухмыльнулся Ажибек. – Покажу ему вот это, – и он достал из-за пазухи пузырек, набитый какой-то бело-желтой смесью. – Мел, смешанный с песком. Скажу, вот лекарство, которое купил в Коныре.

И тут, легок на помине, со стороны конторы появился председатель колхоза.

– Готовы, ребята?– весело спросил Нугман, подъехав на своем неизменном рыжем мерине.

– Готовы!– ответил за всех Ажибек.

– Тогда ступайте в Жарбулак, к озимым посевам.

– Пешком?– испугался Кайрат.

– В Жарбулак далеко,– дружно заныли мы, и только Ажибек помалкивал, будто его это не касалось.

– Да разве для вас это расстояние?– изумился Нугман. – Да вы по улице гоняете больше раза в два! Ничего, ноги у вас крепкие, молодые, не устанете. А в обед вам привезут мясную похлебку. Ажибек, а ты что стоишь? Командуй своей бригадой! Да, кстати, в больницу ездил?

– А как же.

– Лекарство взял?

– Взял. Вот смотрите, – и Ажибек показал пузырек с песком и мелом.

– Вижу. Только делай, как велели врачи. А теперь веди своих орлов.

Мы ждали, что скажет наш непреклонный Ажибек. Уж он-то вряд ли захочет тащиться в Жарбулак. Но к нашему разочарованию, Ажибек строго прикрикнул:

– Ну, что ждете, лентяи? За мной в Жарбулак!– и браво зашагал посреди улицы.

Мы уныло побрели за своим бригадиром. Когда аул скрылся из вида, исчез за холмом, Ажибек остановил свой отряд и посетовал:

– Какая несправедливость! Такому бригадиру и такой попался глупый народ! Где вы видели, чтобы в горячую пору председатель направо-налево раздавал подводы? «Далеко, далеко»!– передразнил он нас. – Конечно, далеко. И я не собираюсь топтать пешком. Но тут нужна умная голова, недотепы: вон видите быков?

Мы увидели четверку быков, как только перевалили через холм. Тут же рядом маячил на коне глухой Колбай. То есть он не был совсем глухим, он только плохо слышал, но по этой причине его не взяли на

фронт, и он оказался единственным здоровым мужчиной на весь колхоз.

– На этих быках мы поедem в Жарбулак, – возвестил Ажибек, обводя нас торжествующим взглядом.

– Колбай умрет, а быков не отдаст, – жалобно возразил Самат.

– Отдаст, если найти к нему верный подход, – уверенно отпарировал Ажибек.

Он снял свою мятую кепку и помахал глухому Колбаю, позвал его.

Скучавший в одиночестве пастух с любопытством следил за нашей оравой. Заметив сигнал, глухой Колбай стегнул коня и прискакал к нам почти в одно мгновение.

– Многих вам лет! – почтительно приветствовал его Ажибек.

– Что ты сказал? – переспросил глухой Колбай и повернул к Ажибеку ухо.

Тот подошел вплотную к коню пастуха и крикнул:

– Я говорю, многих вам лет!

– И тебе тоже, – ответил довольный Колбай. – Что надо?

– Бригадир Байдалы велел передать, чтобы вы приехали к нему в аул!

– А?

– Вас Байдалы зовет! – закричал Ажибек изо всех сил.

– А что же делать с быками? Кто их станет пасти? – удивился глухой Колбай. – Нет, я не пойду.

– Да что их, волки съедят, быков? Сами пастись будут. Такие смирные быки, – сказал Ажибек.

– Смирные. Без меня никуда не уйдут, – подтвердил глухой Колбай, гордясь быками. – Ладно, съезжу к Байдалы.

Пастух окинул свое маленькое стадо оценивающим взглядом и, словно уверившись в том, что быки так и будут пощипывать траву до его возвращения, повернул коня в аул, затрусил по дороге, мешковато сутулясь в седле.



Как только глухой Колбай исчез за холмом, мы взгромоздились по двое, по трое на быков и помчались наперегонки в Жарбулак. В животах наших неуклюжих скакунов что-то громко ухало. Подъехав к полю с озимой пшеницей, мы спешили и, развернув быков, ударами прутьев отогнали их в сторону пастбища. В надежде, что они сами туда вернуться.

Потом Ажибек отмерил шагами участки и, поделив их между нами, предупредил:

– Смотрите у меня, работайте добросовестно. Тех, кто вздумает хитрить, тут же вздую!

После этого он соорудил в сторонке шалаш, связав ветки кустарника, сделал себе подстилку из травы и укрылся от солнца. Временами Ажибек высовывал голову из шалаша и покрикивал:

– Эй, не зевать! Работайте поживей! Помните, что сказал председатель: фронту нужен хлеб!

– Взял бы и сам показал, как надо полоть, – заворчал Асет. – Командовать каждый умеет.

– Ты же слышал сам. У него на фронте никого нет, – возразил Кайрат. – А командовать так, ты разве сумеешь?

– Не сумею, – признался Асет.

Хлеб вырос до пояса, уже колосился. Ветер гонял по полю, точно по воде, длинные мягкие волны. Но сорняки были еще бойчее, поднялись еще выше. Лебеда, бурьян и коровьи метелки торчали повсюду, куда ни кинь взгляд. Всем своим видом они дерзко вызывали нас на бой: «А ну попробуйте справиться!» И мы, размахивая серпами, точно саблями, бросались вперед и секли их, секли. Но на смену им шли новые полки. Мне показалось, будто перед нами фашисты, а где-то рядом со мной дерется Токтар. И я рубил их, помогая Токтару.

Так неистово воюя, мы очистили от врага уже значительную часть поля и были готовы бороться дальше, но наш азарт прервал тревожный голос Ажибека:

– Эй! Бегите! Бросайте работу! Прячьтесь!

Я оглянулся и увидел, как Ажибек выскочил из своего укрытия и нырнул в пшеницу, залег. А по дороге к полю во весь дух, настегивая лошадь, неся глухой Колбай. Мы мгновенно, как перепелки, разбежались по полю, попрятались в высокой пшенице.

Глухой Колбай вихрем подлетел к краю поля, но въехать в пшеницу не решился и минут двадцать ездил вдоль по дороге, ругаясь и угрожающе размахивая камчой. Мы лежали, не откликаясь, ничем не выдавая себя, как будто нас и не было вовсе. Глухой Колбай, видно, так и подумал, разочарованно сплюнул и отправился к своим быкам.

Мы насмеялись до колик и снова ринулись в атаку на сорняки.

К полудню подоспел и обещанный обед. Его привезли на арбе с быком в упряжке. Арбу сопровождал сам бригадир Байдалы. Он придирчиво осмотрел нашу работу и остался доволен.

– Что ж, пока неплохо, – нехотя признал старик Байдалы. – Но поживем, поглядим, что будет дальше. А теперь обедать!

Звать нас лишний раз ему не пришлось, мы быстро расселись возле шалаша, построенного Ажибеком, и старик Байдалы весело приказал поварихе:

– Наливай им досыта! Не жалея похлебки!

– И непременно с мясом, – строго добавил Ажибек.

Старик Байдалы взорвался так, словно его ударили по больному зубу, словно задели его мужскую честь.

– А, голова твоя тыквой, мяса захотел? А камчи не хочешь? – закричал старик Байдалы и замахнулся на Ажибека.

Того как сквозняком сдуло с места. Ажибек проворно отбежал на безопасное расстояние и спокойно ответил:

– Нет, камчи не хочу. Нам обещали похлебку из мяса.

– А ну, подойди, я тебе покажу мясную похлебку! – распалился старик Байдалы. – Твои проделки перешли

все границы! Вчера серого загонял, теперь у него не спина, а кровавая рана. А сегодня? Что ты наделал сегодня? Глухого человека обманул! На быках скачки устроил! Мы дали им отдохнуть. Бедняги устали зимой да весной. А ты что с ними наделал?

– Зато мы раньше приехали и вон сколько успели сделать. И потом, я что? Один на быках ездил?– возразил Ажибек, боясь остаться без похлебки.

– Ты еще смеешься надо мной? Если бы не ты, разве им пришло в голову такое? У, палач, нет уже сил выносить твои издевательства!

Старик Байдалы не удержался, вскочил на ноги, но поймать Ажибека ему так и не удалось. Рассвирепев вконец, он взял чашку с похлебкой, предназначенной Ажибеку, и вылил содержимое в котел.

– Он у меня не только похлебки, но и воды простой не получит! Я его лучше голодом уморю, но он Байдалы навсегда запомнит!

Старик Байдалы свое слово сдержал. Мы съели по две миски горячей пшеничной похлебки, а наш предводитель сидел, пригорюнившись, в стороне и смотрел голодными глазами. Потом старик Байдалы и повариха собрали посуду и поехали кормить косарей.

Мы, сытые, с туго набитыми животами, смущенно приблизились к голодному Ажибеку, виновато опустили головы. Как бы ни валил старик Байдалы всю вину на плечи нашего бригадира, но мы-то тоже джигитовали на быках, а отдуваться пришлось одному Ажибеку.

– Ну вот что: кончай работу!– приказал Ажибек и сквозь зубы добавил:– Я покажу старому черту, чего она стоит, миска похлебки. С мясом!

Мы недоуменно молчали, чувствуя, что наш предводитель все же в чем-то не прав, но еще не зная, в чем именно.

Первым догадался Асет.

– Ажибек,– сказал он осторожно,– но ведь хлеб не Байдалы нужен, а фронту. Ты же сам говорил. И председатель тоже.

– Говорил, говорил,– поддержали все остальные Асета.

– Ну и что? А сейчас совсем другое дело. А-а, вы все равно не поймете. В общем, я запрещаю полоть. Садитесь рядом со мной... Ну, кому говорю?

Мы не работали, боясь послушаться Ажибека, но и не подчинились ему до конца, продолжали стоять.

– Ну и стойте, если не жалко ног,– махнул рукой Ажибек.

В таком положении нас и застал Нугман. Он остановил своего неторопливого мерина и спросил:

– Э, что с вами ребята? Еще издали вижу: стоят. Подъехал – тоже стоят.

– Мы обиделись,– пояснил Ажибек. – До обеда вон сколько сделали. А потом у нас пропало всякое желание трудиться.

– А что случилось? Кто вас обидел?– забеспокоился Нугман.

– Ну, во-первых, в похлебке не было мяса. Сплошная вода. А во-вторых: старик Байдалы не дал мне обеда. Я голоден как волк. И даже сильнее.

– То есть как не было мяса?– нахмурился Нугман. – Я же выделил для вас целую ляжку барана.

– Если не верите мне, честнейшему из честных, спросите у них,– оскорбился Ажибек.

Мы подтвердили, что Ажибек не ел, а в похлебке не было и кусочка мяса.

– Ладно, я разберусь,– пообещал Нугман.– Ажибек, а ну-ка садись позади меня, поедешь со мной. А вы, ребята, беритесь за дело. Я вашего бригадира долго не задержу.

Мы не успели и глазом моргнуть, как наш предводитель очутился на лошади председателя. Лицо его сияло, от недавней злости не осталось и следа.

– Дабай, дабай за прополку! Сколько можно повторять! У-у, лентяи!– закричал он привычным командирским тоном.

Нугман тронул лошадь, и они уехали в ту же сторону, куда отправился с обедом Байдалы, в бригаду косарей.

Вернулся Ажибек действительно скоро, часа через полтора. Мы сбежались к нему со всего поля.

– Очень большую проделал работу. И похлебки наелся. И снял с должности Байдалы,– сообщил Ажибек, важничая. – Это он запретил кормить нас мясом. Не заслужили, говорит. Председатель пристыдил его при всем народе. «Они дети»,– говорит. В общем, разнес старика Байдалы. «Снимем, говорит, тебя с бригады. И за это самоуправство, и за другое. Сегодня у нас общее колхозное собрание, говорит, вот мы тебя и накажем. Мы, говорит, никому не позволим оскорблять Ажибека!»

К вечеру у меня с непривычки болела спина, дрожали от усталости ноги. И у других ребят вид был не лучше. Возвращаясь в аул, мы только и говорили о том, как бы добраться до постели. Но, завидев у колхозного клуба толпящийся народ, тотчас вспомнили о собрании, о котором говорил Ажибек. И усталость нашу как рукой сняло. Чтобы такое важное событие обошлось без нас? Нет, такого еще не бывало! Ведь не каждый день снимают с должности старика Байдалы!

Мы проникли в тесный зрительный зал, расселись на соломе за спиной у взрослых, в дальнем углу, и, пока собирались колхозники, шумели, боролись, срывали кепки с головы друг у друга, в общем, разве что только на руках не ходили.

– Эй, там, в углу! Ребята, это я вам! Если уж вы сюда попали, соблюдайте тишину!– одернул нас председатель Нугман, и собрание началось.

Поначалу колхозники обсудили предстоящий сенокос, а потом перешли к «организационным вопросам».

И тут поднялась страшная перепалка. Люди кричали на старика Байдалы, говорили, что он ни с кем не считается в бригаде, вершит дела один, точно бай. Старый бригадир не сдавал, говорил, что делает это для общего блага и будет так вести и впредь. Тогда собрание рассердилось вконец, и сняло старика Байдалы с бригадирства, а на место его назначило мою маму. Для нее такой поворот оказался полной неожиданностью. Она растерялась, замахала руками.

– Что вы, что вы! Я не справлюсь, – залепетала мама.

– Справишься! Справишься, Багила! – зашумел народ и поднял руки, голоса.

Кто-то сжал мой локоть. Я обернулся. Это был Ажибек.

– Молодес! – шепнул он по-русски.

Я не понял, кого Ажибек назвал молодцом. Маму или меня за то, что я был ее сыном.

Из клуба я вышел вместе с матерью и председателем колхоза.

– Нугман-ай, – сказала мама, – и все-таки напрасно избрали меня. И опыта нет, да и здоровье после смерти мужа подорвалось. То сердце болит, то спина. Ох, не справлюсь, боюсь.

– Женгей-ай, – почтительно сказал председатель, – кто работает от избытка здоровья? Для нас с вами лучшее лекарство такой труд, когда и о болезни подумать-то нет времени. Так что не бойтесь, с людьми ладить вы умеете, а опыт к вам придет.

Вскоре мы втянулись в работу. Мышцы привыкли к тяжести серпа. Не иссяк и наш азарт, – мы с прежним неистовством набрасывались на полчища сорняков, подзадоривали друг дружку, хвастались, кто сколько уничтожил фашистов, пололи зло и весело. Глядя на нас из своего шалаша, Ажибек постепенно пропитался завистью и однажды, когда мы расходились после рабочего дня, сказал Кайрату небрежно:

– Вот что, принесешь завтра два серпа.

И, чтобы никто не подумал, что он сдался, уронил свое бригадирское достоинство, добавил:

– Хочу показать вам, бездельники, на что способен серп в руках умелого человека.

Председатель Нугман частенько навещал нас, хвалил, осмотрев очередной прополотый участок:

– Хорошо!.. Молодцы!.. Вот и вы внесли свою долю в нашу победу над врагом! Милые мои ребята, это тоже называется гражданским долгом! Да, да, вот такая скромная, на первый взгляд, работа тоже!

После его похвал мы трудились с возросшим рвением. Да и Ажибек не давал нам спуска, и стоило кому-нибудь остановиться на долгое, по его мнению, время, как он тут же грозил кулаком.

Через месяц Нугман сказал:

– Ну что ж, дело свое вы сделали, спасибо вам, друзья! Теперь денек отдохните, а послезавтра на сенокос! Помогите еще колхозу!

Придя домой, я решил, что буду отсыпаться весь выходной, но утром проснулся рано и, наскоро перекусив, выбежал на улицу.

– Куда тебя понесло? Друзья твои спят. Ты один такой беспокойный, – заворчала бабушка. – И откуда только у козявки силы берутся?

Но бабушка ошиблась. Истосковавшись по играм, ребята один за одним выходили на пяточок перед клубом. И вскоре бригада оказалась в полном составе. Не хватало только нашего предводителя. Он пришел в середине дня. К его появлению мы уже успели сразиться в альчики, всласть побегали за мячиком и теперь воевали, разбившись на «красных» и «белых».

– А ну-ка, недотепы, все ко мне! – позвал он басовитым со сна голосом.

Со щеки его еще не сошел след подушки, в свалывшихся волосах застряло перо. Он сладко, со стоном зевал.

– Ну, наконец, ваш бригадир отоспался, – возвестил Ажибек, считая, что все, что связано с его личностью, является для нас невероятно важным. – Эй, Кайрат, принеси чайник воды. Я умоюсь!

Умываясь, он брызгал в нас водой и с наслаждением хохотал, когда мы разбегались в разные стороны. Однако настроение Ажибека менялось подобно осенней погоде, резко и вдруг. Вот и сейчас невидимый ветер пригнал на его лицо хмурую тень.

– Что же получается, толстопятые? Стоило мне позволить себе поспать больше обычного, и вы снова взялись за свое. Верно говорят взрослые: вам бы только одежду друг у друга рвать! – грозно произнес Ажибек, утираясь подолом рубахи.

Он обличал, а мы понуро помалкивали, признавая его правоту. Кожа на наших босых пятках и вправду была толстая. И одежда жалобно трещала во время схваток в пыли. Мы уныло внимали, и каждый покорно ждал, что именно ему достанется оплеуха Ажибека. Но, к нашему удивлению, на этот раз он обошелся без затрещин.

– Ну ладно, – закончил Ажибек, уничтожив нас с помощью слова, – после обеда приходите сюда. Пойдем покормимся дынями.

– А дыни еще не спели. Рано еще, – робко напомнил Самат.

– Кто это сказал? Ты, вислогубый? Вот я тебе сровняю нос с лицом, тогда узнаешь, как спорить со старшим. Тоже мне агроном! Видел, хлеба пожелтели? А раз они пожелтели, то и дыням время пришло. Ну, кто со мной пойдет? Насильно не тащу.

– Я пойду, Ажибек, – вызвался первым Кайрат, его верный оруженосец.

– И я! И я! – закричали ребята.

– Я тоже, – смущенно сказал Самат.

После обеда Ажибек повел нас к старику Шымырбаю, жившему в лощине Агишки, в семи километрах



от аула. Отец Токтара сторожил зимние постройки для колхозного скота. Здесь у него был свой домик, в котором он теперь, после отъезда сына на фронт, проживал вдвоем со старухой. Летом старик Шымырбай выращивал арбузы и дыни, из-за этого занятия в ауле его считали человеком странным, убивающим время и силы зря.

– Да, да, этот Шымырбай, никак, от старости поглупел. Каждый истинный казах прежде всего заботится о мясе, а он разводит траву, – так осуждали его за глаза и вместе с тем охотно ходили к нему на бахчу и ели арбузы и дыни. Сладкая прохладная мякоть приятно освежала пересоший от зноя рот. Ну, а мы, ребята, как только поспевали плоды Шымырбая, не вылезали из дома сторожа. Придем, бывало, с утра, и, пока делаем старикам что-нибудь по хозяйству, они выбирают для нас самые спелые, самые сочные арбузы и дыни и угощают так, словно мы их собственные любимые внуки. Это были веселые, шумные дни, славное время года.

И вот впервые в этом году мы отправились в лощину Агишки. Шли, кажется, раньше обычного, во всяком случае еще никто не слышал о том, что плоды Шымырбая созрели. Но Ажибек, наш авторитетный командир, был в этом твердо убежден, а нам на этот раз особенно хотелось ему верить.

Под нашими ногами клубилась мягкая теплая пыль. Возбужденные, подгоняемые разгоревшимся аппетитом, мы то и дело припускали бегом. И вот, когда уже солнце сместилось на запад, перед нами открылись лощина, дом Шымырбая и он сам, сгружающий сено с арбы, в которую был запряжен старый осел. Но наши глаза первым делом отыскивали бахчу с зелеными полосатыми арбузами.

У входа на бахчу лежали два огромных пса – рыжий и белый с черными пятнами. Почувяв чужих, собаки поднялись, угрожающе зарычали.

Старик Шымырбай обернулся и, приложив к глазам ладонь, пристально посмотрел в нашу сторону. Мы стояли над обрывом, маленькие, худенькие и босые. Такими я вспоминаю сейчас и себя, и ребят. Такими нас увидел и отец Токтара.

– Тихо! Лежать!– прикрикнул он на собак, бросил вилы, пошел нам навстречу.

– Ассалаумалейкум, ата!– вразной загалдели мы, сбегая с обрыва.

– Уагалайкум ассалом!– ответил старик Шымырбай, сердобольно оглядывая нас с головы до ног. – Как вы за этот год выросли! Стали джигитами. Эй, жена, дай нашим гостям айран! Проходите, ребята, в дом. Я тоже скоро приду, вот только сброшу сено в сарай. И тогда мы с вами потолкуем.

Но мы не тронулись с места. Нас зачаровал расколотый арбуз, лежавший на земле перед мордой осла.

Старик Шымырбай снова взялся за вилы, махнул ими раз, другой и снял тканый чапан, повесил его на дверь сарая и остался в заношенной батистовой рубахе с прорезами на локтях.

– Давайте мы вам поможем, – предложил Асет.

– Поможем, поможем!– подхватили мы, подлизываясь к хозяину бахчи.

– Ничего, я управлюсь сам,– ответил Шымырбай, закатывая рукава рубахи.

– Как бы ты не простыл. Будь осторожен, не увлекайся,– сказала ему старуха и окинула нас недовольным взглядом. – Дома натопчете. Ступайте-ка лучше под навес.

Мы бросились под навес, развалились на ветхой кошме. Здесь все нам знакомо. На этой кошме мы кувыркались, дремали, объевшись арбузами. На столбах наши имена, вырезанные ножами, написанные химическими карандашами. А то, что ворчит старуха, это нас не смущает. Такое повторяется каждый раз. Поначалу она хмурится, ругает, а потом ухаживает за

нами, не знает, как угодить. Только в первые минуты посиди тихо, спокойно, не торопи события.

Но пока, сохраняя суровость, она вынесла из дома деревянное ведро с айраном. Ведро было полным доверху. Айран колыхался, голубел, словно весеннее небо. Его кислотоватый аромат ударил нам в ноздри. Мы дружно облизнулись.

Старуха не спешила, испытывала наше терпение. Она взяла чашу с облупившейся краской, налила в нее айран и, произнеся «бисмильда», пустила чашу по кругу.

То ли посуда оказалась мала, то ли мы так проголодались, да только чаша опустела мгновенно, а в наших желудках, кроме голода, по-прежнему не было ничего другого. Мы вернули чашу, замерли в ожидании добавки. Но старуха сделала вид, будто накормила нас досыта, и поставила чашу рядом с ведром.

Вскоре, сгрузив сено, пришел и сам Шымырбай. Жадно выпил полчашки айрана и, повеселев, сказал жене:

– Мать, принеси письма Токтара, пусть ребята почитают нам.

Старуха ушла в дом и вернулась с пачкой писем, завернутых в белый батист. Опустившись на кошму, она бережно развязала узелок. Писем было штук восемь, свернутых треугольником. Старуха любовно погладила верхнее, словно оно было живое, теплое. Не умея читать, она заворожено смотрела на буквы. Точно вот-вот произойдет чудо, и они заговорят голосом ее Токтара.

– Сначала пришло это письмо, – пояснила старуха, очнувшись, и протянула нам верхний треугольник.

Мы передали его Самату, слывшему среди нас лучшим чтецом. Он читал без единой запинки и с выражением, как артист. Неграмотные старики и старухи всегда посылали за ним, когда приходила почта с фронта.

В первом письме Токтар сообщал, что ранен и лежит в военном госпитале. Ранение легкое, утешал

он, пуля слегка поцарапала бок. Старуха уже знала письмо наизусть и все же слушала его, будто впервые, будто оно на этот раз могло открыть ей что-то новое.

– Светлячок мой... Сколько же он вытерпел? Только подумать, как больно ему, – пробормотала она, когда Самат дочитал первое письмо, и подбородок ее задрожал.

– Да погоди же, не плачь. Пусть Самат прочитает другое, – остановил ее Шымырбай.

В другом Токтар писал, что тяжелое состояние миновало, он пошел на поправку.

– Вот чертенок, весь в меня, – одобрительно заметил Шымырбай. – Бывало, нечаянно тыпнешь по руке ножом, кровь хлещет струей. А смотришь, через дня два не видно и царапины.

– Все бы тебе хвалиться, ты готов говорить о себе целый день, – сказала старуха, вытирая глаза краешком платка.

Письма напоминали сводки о здоровье Токтара. В третьем он извещал, что уже поправился, но пока еще его держат в госпитале. В четвертом он уже поехал на фронт, набравшись сил, готовый отомстить фашистам. В пятом Токтар уже мстил, ходил в первую атаку на окопы противника. Под градом пуль.

Услышав про это, старуха снова заплакала.

Шестое и седьмое письма тоже пришли с передовой. С тех пор минул целый месяц, но Токтар молчал.словно между ним и родным домом оборвалась связующая нить.

К концу чтения разволновался и старик Шымырбай. Стараясь скрыть свои переживания, он поднялся с кошмы, начал хвататься за вещи, хранившиеся под навесом. Вот снял хомут и, не зная, что с ним делать, повесил на место, потрогал чересседельник, повертел мотыгой и очень удивился, обнаружив ее в своих руках.

А старуха его едва успевала вытирать слезы, горестно шептала:

– Жеребеночек мой... Где он теперь? Что с ним? Ох, недоброе чует мое сердце... ох, недоброе...

А наши думы в это время витали вокруг бахчи. По недомыслию своему мы не понимали, из-за чего так расстраиваются Шымырбай и его жена. Токтар поправился и теперь бьет фашистов. А не пишет он, конечно, потому, что все время ходит из атаки в атаку, и уж когда тут письма писать?

Погоревав, старуха пошла умылась, уже по-настоящему расстелила дастархан, положила лепешки и на этот раз налила каждому по полной чашке айрана.

– Пейте, милые мои, на здоровье. Хотите еще?– приговаривала старуха и подливала в чашки айран.

Мы опустошили ведро, съели все лепешки. И хотя наши животы стали похожими на шары, нам казалось, что это только начало начал. В конце концов мы не айран пить пришли, а есть арбузы и дыни.

– Спасибо, дети, вспомнили о нас, стариках,– растроганно сказал старик Шымырбай. – Ну, а еще какие у вас сегодня дела?

Мы недоуменно переглянулись. Какие еще могли быть дела, кроме арбузов? Неужели он забыл за это время? Обычно после айрана и лепешек он сам вел нас на бахчу, а сейчас старик почему-то не торопился и еще спрашивал про дела. Может, и вправду Шымырбай так состарился, что запамятовал о самом главном? Тогда нам следовало напомнить самим.

Но мы не знали, как это сделать, ерзали на кошме, толкали друг друга в бок, шептали:

– Скажи ты... Нет, скажи ты...

А потом вспомнили, что привел нас сюда Ажибек, и уставились на своего предводителя. Пусть он и скажет.

– Мы бы еще поели арбузов и дынь,– прямо сказал Ажибек, как говорят: «сбросил слова с верблюда».

И мы, как этот верблюд, облегченно вздохнули. А Шымырбай засмеялся:

– Так вот какие у вас дела? Да только вы поторопились, ребята. Дыни еще не поспели. Арбузы пока еще белые.

Боясь поверить ему, мы повернулись к бахче. Там, шагах в ста от нас, на вскопанной земле виднелись огромные, точно казаны, арбузы.

– Сомневаетесь?– снова засмеялся старик Шымырбай. – Ну, конечно, отсюда не видно. Ну, тогда взгляните сюда! – и он подвел нас к арбузу, в бледную сердцевину которого лениво тыкался мордой осел.

– Убедились?– спросил Шымырбай, подтолкнув ногой арбуз к нам поближе. – Бычок вчера сорвал. Ну и пришлось отдать ослу. Да и он, как видите, не очень-то ест. Разбирается!

Мы не сводили глаз с арбуза. Он казался нам достаточно красным и необычайно сладким на вид. Просто этот осел ничего не понимал в арбузах. А наш предводитель так и навис над арбузом – вот-вот упадет на него.

– Давайте условимся так: приходите дней через десять. Тогда уж арбузы будут сладкими, как мед. И я вам скажу: «Ешьте сколько влезет!» Ну как? Договорились?

Но мы словно оглохли. Ажибек обещал нам арбузы и дыни, и мы все еще надеялись...

– Разве не видишь, они не верят,– сказала Шымырбаю его жена. – Сорви еще один, разрежь и покажи. Что ты жалеешь зеленый арбуз?

– Ты думаешь, что ты говоришь?– рассердился Шымырбай. – Кто же рвет незрелые плоды? Для чего же их растят, по-твоему? Они же сами потом этот арбуз спелым съедят, глупая твоя голова. Ну вот что, ребята, будет так, как я сказал. Придете через десять дней, и не раньше.

Мы поняли, что старик заупрямился и теперь его никак не переубедишь, и понуро побрели из лощины. Солнце уже сползло за горизонт. Наши тени смешно

вытянулись к горизонту. Руки болтались у теней, точно плети. Ноги переступают, словно ходули. Головы стали похожи на злосчастные дыни, которых нам так и не удалось поесть. И все же мы невольно хохочем, сравнивая тени друг друга. Одну со ступой, другую с ящерицей, стоящей на задних лапах... Третью с кузнечиком-великаном... Словом, с чем только не сравниваем! Детская фантазия безбрежна!..

Поднявшись по извилистой тропе из лощины, мы разом оглянулись назад. Отсюда дом Шымырбая казался маленьким, приземистым. Дым из трубы вырывался клубами, будто кто-то курил под крышей. Сам старик стоял на крыше сарая, расстилал для просушки сено. Старуха сновала между домом и навесом, что-то уносила, приносила. А старый осел до сих пор в раздумье стоял над арбузом – крошечный, как игрушка.

– Вы слышали, один арбуз он пожалел разрезать, – процедил сквозь зубы Ажибек. – Мы-то тащились в такую даль, но осел ему все равно дороже. Ему дал арбуз, а нам отказал. Нет, я не прощу такой обиды! И не уйду, пока не наемся дынь и арбузов этого Шымырбая!

– Я тоже останусь, – тотчас присоединился Кайрат.

– Я тоже... я тоже! – зашумели все остальные.

– Смотрите, как я клянусь, что не отступлю от своего, – торжественно произнес Ажибек и, приложив к сердцу ладонь, поклонился заходящему солнцу. – Клянусь!

Глаза Ажибека исступленно сверкали, в зрачках отражались алые отблески багрового шара. Его поступок потряс нас своим величием. Так, наверное, клялись сказочные герои, собираясь в поход на врага. И мы, как прилежные ученики, повторили слова Ажибека.

– А теперь переждем в кустах, пока сядет солнце. И обдумаем план нападения, – сказал Ажибек, довольный нашим согласием.

Мы воображали себя доблестными воинами, которым предстоит незаметно пробраться в стан противника. Ажибек так и сказал нам:

– Я буду полководцем, а вы моими сарбазами! И тот, кто хоть одного из нас обидит, будет наш общий враг!

Мы переполнились восторгом! Стать воином самого Ажибека – да об этом каждый только мечтал.

Ажибек послал в разведку Кайрата и Самата. Он приказал им залечь над ложиной и следить за домом Шымырбая. За тем, кто придет из гостей. За тем, что делают он сам и его старуха. А все остальные затаились кустах.

– А пока сделайте мне «жыбыр-жыбыр», – распорядился Ажибек.

Мы нарвали травы, сделали ему «жыбыр-жыбыр» и, рассевшись кружком, стали ждать, когда скроется солнце. Оно уже касалось своим багровым краем линии горизонта, и все вокруг него полыхало красками. Вершины скал торчали над степью, будто расцвеченный гребень. Пышные груды облаков розовели, словно разрезанный арбуз.

– Пусть только стемнеет, и мы, как волки, безжалостно вонзим свои зубы в бока арбузов, – сказал Ажибек, словно продекламировал строчки из сказания о батырах.

Уставшее солнце, наконец, опустилось в свое гнездо. Алая макушка его исчезла за чертой горизонта. На степь, на горы хлынули сумерки, смыли краски, сделав все одинаково мутно-серым. С вершин потянуло прохладой. Мы, поживаясь, встали с остывшей земли.

Еще перед закатом, когда было светло, Ажибек высмотрел позади дома Шымырбая крутой обрыв, утыканный пористым камнем, поросший шиповником, таволгой и карагандой. Отсюда можно было тайком спуститься к бахче и, наевшись всласть, набрав с собой про запас арбузов и дынь, так же незаметно подняться наверх и уйти. И вот наступила минута



действия. Первым Ажибек, а за ним и мы скатились с обрыва в полумрак лощины, царапаясь о камни и кустарник. Наши руки и ноги путались в ботве, кто-то с треском сорвал первый арбуз, ударом расколол его о землю. Мы, сталкиваясь, мешая друг другу, сопя, бросились на сочный треск, на речной запах разбитого арбуза, будто он был единственным на бахче, и в этот момент нас учуяли, хрипло залаяли псы Шымырбая. Мы оставили так и не опробованный арбуз, кинулись вверх по обрыву, оступаясь, соскальзывая назад. Наше воображение рисовало жарко дышащих огромных собак, их клыки возле наших пяток. Кто-то не выдержал, в ужасе завопил.

Позади гулко хлопнула дверь дома, голос Шымырбая позвал кобелей:

– Майлыаяк! Кыттобет! Ко мне!

Мы, как говорят, «взяв себя под руки», мигом взлетели на обрыв, кажется, собрав на себе все колючки шиповника. Оторванный рукав моей и без того ветхой рубашки почти целиком съехал к кисти руки.

– Ну-ка, соберите камней! Да побольше!– распорядился Ажибек дрожащим от возбуждения голосом. – Если кто погонится за нами, забросаем камнями.

Мы зашарили в потемках под ногами, стали собирать камни. Но, видно, никто не думал за нами гнаться. А снизу донесся оклик Шымырбая:

– Эй, ребята? Вы где?.. Слышите меня?.. Милые мои, зачем вы сорвали арбуз? Я же вам говорил: они еще невкусные, зеленые еще! Ну, убедились сами? Эх, только зря арбуз пропал! Такой бы сладкий вырос арбуз! И вы бы сами же его и съели!

Мы стояли наверху, над ним, не шевелясь, боясь выдать себя, и слушали, все еще тяжело дыша. Наше дыхание, наверное, было слышно даже на дне лощины.

– А ну, в сарай! Кому говорю?– прикрикнул Шымырбай на рычащих собак.

К нему подошла старуха. Они о чем-то перего-  
ворили. Потом Шымырбая снова позвал:

– Эй, ребята!

И, наверное, решил, что нас уже нет, пошел в дом. Его фигура появилась возле открытой двери, из которой вырывался свет фонаря. Шымырбай шагнул через порог, захлопнул дверь за собой. И внизу стало черным-черно.

– Подождем, сейчас лягут спать,– сказал Ажибек. – А арбуз точно спелый. Это он говорит, чтобы мы не ели... Я, правда, не пробовал, но арбуз точно сладкий.

– Конечно, сладкий,– поддержал его Кайрат. – Если бы арбуз еще не созрел, он бы дал нам попробовать.

Мы все решили, что он, этот сорванный арбуз, должен быть необычайно сладким, слаще сахарного песка, купленного Ажибеком в Коныре. Мы прямо-таки ощущали на своих губах его нежный, ароматный вкус.

– Ну, пошли! Только теперь осторожней,– шепнул Ажибек и нырнул вниз, в темноту, исчез, только хрустнули камешки и ветки под ногами нашего вожака.

Но мы, оробев, в последний момент даже не двинулись с места, ждали, чем кончится его спуск, заметят ли снова собаки, проснется ли Шымырбай.

– Вы что? Испугались?– послышался из мрака прерывистый голос Ажибека.

Он подхлестнул нас. Мы снова скатились вниз, снова судорожно хватались за ветки, за корни, снова раздирали руки и одежду о колючки шиповника.

Это был страшный по своей бессмысленности погром. Мы рвали арбузы и дыни, раскалывали их ударом о землю и, определив их несъедобность, тут же набрасывались на другие, топтали грядки, раздирали ботву, – ни один подвернувшийся под руки плод не остался целым. Нами овладел азарт разрушения. Мы совершенно забыли про осторожность, громко чавкали, хвастались вслух числом разбитых арбузов.

Но почему-то собаки не слышали нас, а когда они подали голос, мы уже завершили свое разбойничье дело, тяжело, лениво карабкались наверх.

В доме скрипнуло окно, сонно прикрикнул на собак Шымырбай:

– Замолчите, проклятые! Накличете беду!

И лощина затихла, снова погрузилась в тишину...

Рано утром меня разбудили чужие голоса. Решив, что это пришел по мою душу пышущий гневом Шымырбай, я не на шутку перепугался. Теперь, при ясном солнечном свете, наше вчерашнее нашествие уже не казалось мне бесспорно героическим. Поначалу я приготовился отрицать свое участие в набеге, но, прикоснувшись ладонью к щеке, понял, что эта затея меня не спасет от расплаты. Следы участия в преступлении отпечатались на моем лице в самом прямом смысле. Все оно, от корней волос до краешка подбородка, было измазано стянувшим кожу арбузным соком. Я провел языком вокруг рта и обнаружил пупырышки сыпи. А это был наглядный, известный половине аула признак того, что я объелся дыней. От дыни у меня частенько появлялась сыпь.

Я смирился с судьбой, приготовился к справедливому возмездию, но тут до меня дошел смысл разговора, который вели между собой взрослые. Да, все-таки накликали беду собаки старика Шымырбая. Сегодня на рассвете в контору заехал почтальон и передал черную бумагу на Токтара...

После завтрака мы встретились перед конторой колхоза, место сбора назначил сам председатель, когда отпускал нашу бригаду на выходной день. Лучше бы он этого не делал, Нугман, не собирал нас в это утро вместе. Мы почему-то избегали разговоров о вчерашнем походе, не смотрели друг другу в глаза, ждали своего бригадира. Вот придет Ажибек, снимет с нас это необъяснимое чувство неловкости. Да и там, на покосе, мы покажем всем, какая у нас замечательная бригада!

Но время шло, а бригадир не появлялся. Не видно было и самого председателя. Он сидел в своем кабинете, руководил оттуда колхозом, а в дверь конторы то и дело входили и выходили озабоченные люди.

Наконец Нугман выглянул в окно и, молча оглядев наш кружок, произнес как-то сухо, будто мы были чужие, будто он не узнал нас:

– Пришли? Ну-ка, зайдите ко мне.

Мы неохотно, уступая друг другу право войти первым, вползли в кабинет и сгрудились возле дверей. Председатель был не один. Сбоку от стола сидела моя мама и смотрела в окно, словно пришли какие-то неинтересные ей люди.

– Это же мы, – беспокойно сказал Асет, – неужели вы не узнаете?

– Да уж как не узнать? Таких разбойников видно за километр, – сумрачно ответил Нугман. – А где ваш главарь?

– Уехал на станцию к дяде. Сказал, будет там учиться и работать, – доложил Кайрат, пряча от нас глаза.

– Значит, сбежал. Ничего, вернется. А не появится сам, найдем его и под землей, – вконец рассердился Нугман. – А с вами что делать? Запрем-ка мы вас в сарае, как бандитов, врагов трудящегося человека, и будем держать до приезда милиции.

Мы перепугались до смерти, представив себя под замком голодными, холодными. Я в отчаянии взглянул на мать. Неужели она не заступится, отдаст меня на расправу? Но мама смотрела на меня хмуро, в глазах ее не нашлось и капельки жалости.

– Багила, вы не будете против, если мы запрем вашего сына? – спросил Нугман, глядя на меня.

– Не буду, – сурово ответила она, – если его даже милиция заберет в район. Зачем мне сын-преступник? Уж лучше вообще не иметь никакого, – закончила она с горечью.

Я не выдержал, закричал:

– Мама, я больше не буду... Мама, прости меня, прости...

Следом за мной расплакались остальные ребята, стали клясться, что тоже больше не будут, умоляли простить.

– Ладно, поверим. На первый раз простим, – сказал Нугман, подумав, как бы взвесив свои слова. – Но если еще повторится подобное, вам придется ответить и за этот поступок.

– Не повторится!.. Не повторится!.. – закричали мы с жаром. – Вот увидите, мы больше не будем!

– Хорошо, ступайте, – сказал Нугман с облегчением, тоже радуясь, что все закончилось миром. – Через час приходите снова, поедете на сенокос, как мы и договорились. Вас отвезут к роднику Когалы.

Через час, как и было сказано, мы забрались на арбу с парой гнедых в упряжке, и старик Байдалы повез нас к роднику Когалы, где стояли летние домики косарей. Гнедые бежали неторопливой рысью, меланхолично постегивали себя хвостами, отгоняя назойливых мух и оводов. Арба покачивалась, точно колыбель, на мягкой пыльной дороге, вдоль которой стоял тростник, лоснился под начинающим палить солнцем, словно кожа человека. Нас сопровождали, нам пересекали путь большие и малые бабочки всех цветов. Громко стрекотали кузнечики и веселыми брызгами выскакивали из-под лошадиных копыт.

Но все степные шумы перекрывал неумолчно говоривший старик Байдалы. У него была одна тема – его заклятый недруг Ажибек.

– А что ждать от человека с головой, похожей на тыкву? – размышлял старик Байдалы. – Еще когда он на четвереньках ползал, я посмотрел на форму его головы и сказал себе: «Э-э, Байдалы, не жди ничего хорошего от этого человека, уж он-то тебе насолит». И, как видите, старик Байдалы не ошибся... И это еще не все. Только цветочки. Он всю землю спалит,

разрушит. Потом вспомните, что я говорил. Старик Байдалы видит все!

Когда мы приехали к роднику Когалы, нас поставили к волокушам, погонять хворостиной быков. Я сразу вызвался на волокушу моей сестры Назиры и побежал к ней через поле. Она увидела меня еще издали, остановила своих быков и кинулась мне навстречу. Мы не виделись целых десять дней, и я сильно соскучился по сестре, помчался к ней, не чуя от радости ног. Она тоже обнимала меня, целовала в щеки, в лоб. Мы беспричинно смеялись, не сводя счастливых глаз друг с друга.

Сестра загорела на солнце, стала как будто выше ростом и чуточку полнее. Работа разгорячила ее, мне даже стало жарко в объятиях Назиры.

Когда мы немного успокоились, сестра обрушила на меня поток вопросов:

– Как бабушка? Мама? Как ребятишки? Не болеют? Что нового в нашем ауле? Что пишут с фронта?.. А мне... писем не было?– спросила она, неумело притворившись равнодушной.

Только сейчас я осознал, что Токтара уже нет, что он никогда не вернется в наш аул. Но сказать об этом сестре у меня не хватило духу.

– Дома все здоровы. Маму выбрали бригадиром. В общем, все хорошо. А писем... а писем пока еще не было,– сказал я как можно беспечней.

– Ладно, подробнее расскажешь после. А сейчас садись на быка и погоняй, – сказала Назира и помогла мне забраться на бычью спину, говоря: – Это здорово, что вы взялись помочь. А то прямо разрываешься на части. И сено нагружай-разгружай, и быков веди. Устаешь – сил нет!

И мы взялись с Назирой за работу. Я подгонял быков к очередной копне сена, а сестра нагружала волокушу. Движения у нее были точные, уверенные. Временами она поглядывала на меня и ласково улыбалась. Потом

мы везли волокушу с горкой сена к стогу, и Назира подавала его наверх. А там, наверху сено принимал глухой Колбай и раскладывал равномерно по стогу.

В обед вся бригада сошлась к летним домикам. Мы ели вместе с взрослыми, как настоящие работники, расположившись на траве. Когда обед подошел к концу и косари отдохнули, утолили голод, одна из женщин спросила:

– А ну-ка, ребята, расскажите, что нового в ауле?

И тут Кайрат ляпнул:

– Еще одна похоронная бумага пришла. На сына старика Шымырбая. Ну, который в лощине живет.

– Что ты сказал? Повтори, что ты сказал?– заволновались женщины.– Он говорит: убили Токтара!

Сестра Назира удивленно посмотрела на Кайрата. Будто ей не верилось, что он произнес именно эти слова. Я делал Кайрату тайные знаки, подмигивал то правым, то левым глазом, швырнул исподтишка кусочком земли. Но Кайрат уже ничего не замечал, точно токующий тетерев. Он оказался в центре внимания, его так и раздувало от гордости. Не подозревая, что каждое слово ранит мою сестру, Кайрат упоенно рассказывал во всех подробностях, как утром привезли похоронку и как собрались аксакалы и пошли в лощину Агишки, к старику Шымырбаю и его старухе.

Взрослые слушали Кайрата, а глаз не сводили с моей сестры. Она же сидела с опущенной головой, словно окаменев, сжав мою руку так цепко, так больно, что я готов был закричать. Женщины вокруг нас запричитали, жалея Токтара и его мать и отца, вытирали обильные слезы. А глаза Назиры оставались сухи, неподвижны. Когда закончился отдых и люди поднялись, чтобы продолжить работу, сестра встала вместе со всеми и, по-прежнему не отпуская моей руки, повела меня к нашей волокуше. И до самого вечера, до наступления темноты не произнесла ни слова,

молча грузила сено на волокушу и потом бросала его на стог Колбаю. А тот из-за своей глухоты не любил разводить разговоры.

Когда стемнело, косари, едва держась от усталости на ногах, кое-как поели при тусклом колыхающемся свете керосиновой лампы и повалились спать прямо на теплой земле, постелив под бок охапку душистого сена.

Я лег рядом с сестрой, прижался к ее спине. Она лежала не шевелясь; мне подумалось, что она уже спит, я закрыл глаза и тоже уснул. Но вскоре что-то разбудило меня, то ли шорох травы, то ли просто еще неугасшая тревога за сестру. Я проснулся и, ощутив рядом с собой пустоту, приподнялся на локте и на фоне светлого звездного неба увидел удаляющийся силуэт Назиры. Я вскочил на ноги и пошел следом за сестрой. Она уходила от бригадного стана, уводя за собой и меня. Вокруг нас спало все живое, и мы, казалось, брели одни в этой бескрайней степи, под этим глубоким-глубоким, бездонным небом, усыпанным звездами. По словам нашего учителя, где-то там далеко, среди звезд, могут жить такие же, как мы, люди. Ну, не совсем, может, такие. Может, у них три руки и одна нога и четыре глаза. Так вот, даже они, наверное, спали в эти минуты, когда мы шли по степи.

В какой-то момент Назира пропала из виду. То ли она вошла в чью-то тень, то ли от напряжения устали мои глаза, только ее темный силуэт плыл, плыл передо мной и вдруг исчез, точно провалился в недра степи.

Я растерянно огляделся, забегал туда-сюда и, наконец, услышал ее тихий плач. Она шла в тени стога и всхлипывала, приговаривая:

– Почему я такая несчастная? Такая невезучая почему? Может, перед кем-нибудь виновата? Может, родилась в черный день? Был у меня отец, и его не стало. Был любимый, и его тоже убили!.. О Токтар, больше не увижу тебя!..



Я подумал: и я никогда не увижу Токтара, и тоже зарыдал. Уже никогда он не позовет меня, не попросит вызвать мою сестру, и не стоять мне стражем на свидании сестры и Токтара... А сколько бы еще он подарил мне карандашей! Красных, зеленых, желтых...

А Назира уходила все дальше и дальше. Мы вышли к участку еще не скошенной травы, пересекли его и свернули в сторону аула. Потом сидели, обнявшись, под кустом. Над нами появился серп луны, в степи стало светлей, словно где-то зажгли большую керосиновую лампу. Уже теперь не я успокаивал сестру, а она утешала меня, гладила по голове, говорила:

– Ну, не надо, не надо. Не плачь!

Неподалеку от нас зашуршали чьи-то шаги, темным пятном мелькнул человек, потом послышался голос безумной Бубитай:

– Ок! Чтобы ты сдохла, ок! Спатай-ау, гони ее ко мне!..

Я испуганно прижался к сестре.

– Не бойся, – прошептала Назира. – Она каждую ночь приходит сюда за своей коровой, которой уже давно нет. Бедняжка!

Бубитай удалялась, разговаривая со своим покойным сыном Спатаем. Потом издали донеслась ее заунывная песня:

Черные глаза,  
Я не смог до вас дойти,  
Путь так далек,  
А я одинок...

Долго еще слышалась эта песня. Видимо, Бубитай ходила по кругу.

Мы поднялись и пошли к бригадному стану. На траве уже выступила роса. Я промочил ноги, продрог. Меня слегка знобило, по телу пробежали неприятные мурашки.

## Часть вторая

Лето вдруг покатилося к концу. Солнце, только что нещадно палившее степь, теперь присмирело, словно кто-то убавил силу его лучей, как убавляют пламя в топке. Дни установились тихие, теплые. Нугман снова предоставил нам, ребятам, короткий «отпуск», и мы старались наверстать пропущенное время, носясь по аулу из конца в конец, играя в мяч и в неизменные альчики.

Однажды в такой вот ласковый полдень, резвясь на окраине аула, мы увидели человека, бегущего во всю прыть со стороны железнодорожной станции. Дорога увела его в низину, потом он вновь появился у нас на глазах, и тут все узнали его. К нам приближался Ажибек своей собственной персоной.

– Суюнши! Мне причитается суюнши!– вопил наш беглый бригадир, требуя подарка за какую-то очень радостную весть, и хлопал себя по карманам, которые должны наполнить дарами те, кому он нес известие.

С тех пор как он удрал на станцию к дяде, никто не видел его. За это время Ажибек слегка раздобрел и, что мы заметили сразу, принарядился. На голове его красовалась выгоревшая красноармейская пилотка, рубаха была заправлена в настоящие брюки-галифе. Он спешил за суюнши изо всех сил и к нам подбежал уже на подгибающихся ногах, задыхаясь.

– Живо в аул! Требуйте суюнши! Мне половина. Ырысбек с фронта вернулся! Сейчас будет здесь,– выпалил он, тяжело дыша.

Но никто не тронулся с места, мы смотрели на Ажибека во все глаза. Что с ним случилось там, на станции, у дяди? Мы-то помнили хорошо, как в прошлом году пришла похоронка на этого самого Ырысбека. И жена его Дурия, как и положено вдове, устроила по мужу поминки. А совсем недавно она развела глухого Колбая с женой и сама вышла за него

замуж. И вот теперь Ажибек уверяет нас, будто этот погибший Ырысбек вот-вот появится перед нами.

– Вы что? Приросли к земле? Что стоите? А вдруг нас кто-нибудь опередит, тоже увидит Ырысбека? Тогда прощай суюнши! – заволновался Ажибек. – А, вы не верите? Глупцы, недотепы, я же еще на станции встретил его. Посмотрите, вот его одежда. Он мне ее дал, пилотку и галифе, – и Ажибек повернулся, демонстрируя свое приобретение во всем блеске. – Я вчера весь день по станции проходил. Может, думаю, увижу кого из аула. Спрошу, как мама. Как вы. Я по вас, мелкота, тоже соскучился. Да только никого не нашел. А вечером поезд пришел, смотрю: выходит Ырысбек. Живой! И перед всеми нос задирает, как раньше. Я точно родного отца увидел своего, правда, ребята. «Ырысбек-ака!» – кричу и ему на шею. А он: «Ты кто?» – говорит. А я: «Из Яблоневого», – говорю. «Вот это здорово, – говорит. – Ну, как там дела? Как моя Дурия?» Ну, я ему рассказал. «Ладно, говорит, разберемся, пошли». – «Почему пошли?» – говорю. – «Поедем». Поймал я чых-то стреноженных коней. «Молодес, – говорит. – Находчивый ты солдат. Вот тебе за это!» И это дал, – и Ажибек снова завертелся перед нами, гордясь подарком.

– А где же лошади, Ажибек? – спросил Асет, еще сомневаясь.

– Мы их отпустили домой. Сами дорогу найдут. Да что вы ждете? Я же нарочно вперед побежал, чтобы раньше никто не увидел! – напустился на нас Ажибек, забыв, что сам же и задержал своим длинным рассказом.

Мы разбежались по всему аулу, заглядывая в дома, крича:

– Тетя, с вас суюнши! Ырысбек с фронта идет!

– Дядя, нам суюнши! Ырысбек вернулся, живой!

У нас так повелось. Если кто-то возвращался с фронта живым, это становилось праздником для всего

аула. Люди, и старые, и молодые, выходили встречать на дорогу. Так было и сейчас. Те, кто находился в это время в ауле, услышав наши возгласы, побросали дела и выбежали на улицу. Одни нам поверили сразу, другие отнеслись с недоверием, но все же не могли усидеть дома.

– Дети что-то напутали, – говорили они. – Разве мы не читали сами эту бумагу? Ырысбек погиб смертью героя – вот что было написано там.

– И в черных бумагах случаются ошибки, – возражали им другие. – Вон в соседнем колхозе вернулся с фронта мужчина, а через день пришла на него похоронка.

А больше всех переживали старухи:

– Жив, жив, бедняжка. Видно, не время ему помирать. Жить должен. Так хочет аллах!

– Может, придет час, и мой жеребеночек тоже вернется?

– Как же быть теперь Дурие? Бедная женщина!

– Почему бедная? Разве ее выдали замуж силой? Пусть теперь пеняет на себя! Не могла год подождать, дуреха! Не ее – Ырысбека жалеите, женщины! Вот уж кому горе так горе!

– Значит, на то была божья воля. Думаете, от хорошей жизни Дурия пошла за глухого мужчину?

– Куда теперь денется Ырысбек? Кто пригреет его? Ведь, кроме Дурии, у бедняги никого не было!

– Э, а мы разве не люди? В чей бы он дом ни вошел, встретим, согреем.

– А как же! Встретим! Парень вернулся живым...

На этот раз Ажибек говорил чистую правду. Вскоре в начале улицы появился мужчина в военной форме. Вокруг него, точно овод, вился Ажибек. То зайдет с одного бока, то со второго, то убежит вперед и снова вернется. Мы дружно закричали:

– Дядя Ырысбек-ага-а! – и кинулись ему навстречу.

Я помнил его очень плохо, был совсем маленьким, когда он уходил на фронт. Но взрослые рассказывали,

что никто не умел так веселиться в нашем ауле, как Ырысбек. Вот уж был шутник, и музыкант, и певец. Прирожденный артист, говорили взрослые.

Наши ноги словно бы не касались земли. Мы летели как птицы. Каждому хотелось опередить других, первым броситься на грудь Ырысбеку. Ведь поцелуй человека, который пришел с войны, как горячий привет от отца или брата. Ырысбек вернулся оттуда, где были они, и может сражался рядом с ними, плечом к плечу.

Счастливым оказался Кайрат. Он с разгона ринулся на шею Ырысбека. Но тот почему-то отстранился, прошел мимо Кайрата. А тем временем подоспели остальные ребята и, не задумываясь, почему он так поступил с нашим товарищем, окружили Ырысбека, запрыгали вокруг него:

– Дядя! Дядя! Ырыс-еке!

– А ну кыш! Не пылите!– прикрикнул на нас Ырысбек и провел ладонью по темно-синим галифе, стряхивая пыль.

Его глаза воинственно сверкали. А вид был живописен. За плечом Ырысбека рядом с мешком висело дуствольное ружье невиданной красоты, а на яловых сапогах его звенели блестящие шпоры.

– Мелкота, прочь с дороги!– услужливо подхватил Ажибек, в духе своего верного прислужника Кайрата.

Ырысбек расправил под ремнем зеленую гимнастерку и зашагал дальше, четко печатая шаг и размахивая свободной рукой. Шпоры запели: дзинь-дзинь...

– Видели?– спросил Ажибек, хвастаясь перед нами, словно это у него шпоры звенят.

– А почему он носит шпоры?– спросил простодушный Кайрат, самый неуспевающий ученик в нашем классе.

– Эх ты, голова! Ырыс-еке в кавалерии служил, а там все шпоры носят,– снисходительно пояснил Ажибек.

Мы тоже глазели на Ырысбека, открыв от восхищения рта. Такую красивую, решительную походку, такую замечательную одежду и такое необычное ружье мы видели в первый раз. На картинках, конечно, нам кое-что попадалось и раньше. Но чтобы в жизни, наяву...

Придя в себя, мы бросились следом за Ырысбеком, пошли за ним, точно свита.

А впереди его поджидала, волновалась большая толпа взрослых. К Ырысбеку бросились две старухи, чьи сыновья погибли на войне, раскрыли объятия.

– Миленький наш, хоть ты вернулся домой!

– Дай посмотреть на тебя, соколеночек!

Они хотели обнять Ырысбека почти одновременно. Но и старухам не повезло. Ырысбек отвел их руки и строго, будто на собрании, сказал густым баритоном:

– Здравствуйте, матери! Здравствуй, мой родной край! И вы, люди, народ мой, здравствуйте!

Его голос был сильным и ясным, каждое слово звучало будто четкий удар молота. Взрослые заметно растерялись – уж больно суров и неприступен был Ырысбек.

А он закончил свою короткую речь и, продолжая печатать шаг, двинулся прямо на толпу, расколочил ее надвое и дошагал дальше, к своему дому. Ни на кого не взглянул, не сказал никому ни слова.

– Сердит, как сто медведей. Ну, он покажет этой Дурии! – восторженно пообещал Ажибек.

Мы в том возрасте, конечно, не разбирались в тонкостях супружеской жизни и тем не менее чувствовали, что Дурия сделала Ырысбеку что-то нехорошее, переселившись в дом Колбая. А на дверях дома, в котором она, как говорят, жила вместе с Ырысбеком раньше, Дурия повесила огромный ржавый замок.

Вот перед этим домом и остановился Ырысбек. Остановился, стукнул каблуком о каблук, звякнул шпорами.

– Ажибек!– не повернув головы, повелительно позвал Ырысбек.

Ажибек подбежал, будто только и ждал, когда позовут, встал перед ним в струнку и, как настоящий солдат, приставил ладонь к виску, отдал честь.

– Я здесь, Ырыс-еке!

– Иди передай Дурие: пусть придет и откроет дверь нашего дома!– приказал Ырысбек, чеканя каждое слово.– Скажи: хозяин шанырака еще не умер, пришел домой живым и здоровым. И пусть она зажжет домашний очаг, да поскорее. Скажи: некогда хозяину ждать, он утомился с дороги!

Взрослые, с замиранием ждавшие большого скандала, облегченно вздохнули, услышав спокойные, уверенные распоряжения Ырысбека.

– Поумнел человек на войне. Все понял. Простил Дурию,– зашептали, растроганно прослезились старухи. – И такого человека не дождалась глупая женщина! Правда, откуда ей было знать, что он выберется живым из того пекла.

Ырысбек делал вид, будто не к нему относятся вздохи и причитания женщин, и, независимо заложив руку за потертый кожаный ремень, смотрел на небо, на горы, словно пересчитывал их – все ли целы.

– Ну вот и вернулся в родные края. Сколько раз я мечтал об этой минуте. Теперь я дома, а здесь и умереть не страшно!– произнес он нараспев, стихами, словно обращаясь не к нам всем, столпившимся за его спиной, а к небу и горам.

Но старушки снова зашмыгали носами, запричитали:

– Видно, нелегко ему пришлось... Бедненький, бедненький.

Наконец вернулся Ажибек, за ним робко брела Дурия. Женщина не посмела приблизиться к Ырысбеку, остановилась поодаль.

– Дурия, дорогая, открой, пожалуйста, сама!– четко сказал Ырысбек.– Насколько я помню, мы с тобой не

разводились, да и разводиться нам ни к чему, потому что любим друг друга. Однажды ты в нашем доме уже разжигала впервые огонь. Так переступи же порог и зажги его снова.

– Верные слова он сказал. Добрые, – одобрительно зашептали взрослые.

Дурия медленно, еще боясь, подошла к своему первому мужу и с плачем упала в ноги. Ее слезы закапали в толстый слой пыли на сапогах Ырысбека, оставляя мокрые пятна. Тут и с него слетела вся его напускная невозмутимость. Плечи Ырысбека затряслись, лицо искривила гримаса. Я поначалу решил, будто ему стало страшно смешно и он беззвучно смеется. Но из глаз его сейчас же хлынули слезы.

Так они оба плакали. Она – у его сапог. А он – стоя над ней, не имея сил наклониться, поднять ее на ноги. Но потом к Дурии подошли старухи, взяли под руки:

– Встань, милая, открой мужу дверь.

Дурия перестала плакать, осушила глаза углом платка, деловито направилась к дверям, открыла замок и впустила в дом Ырысбека. За хозяином и его женой через порог повалил наш аульный народ. Кто-то из женщин взялся за веник, побрызгал пол водой и начал его подметать. Кто-то стал разжигать самовар. А несколько женщин пошли с Дурией в дом глухого Колбая и помогли принести одеяла, подушки, кошму и посуду. За считанные минуты заброшенный дом Ырысбека наполнился веселым шумом, звоном посуды и ликующими голосами.

Мы крутились под запыленными, темными окнами, стгорая от любопытства, страдая оттого, что действие скрылось, ушло за стены от нас, заслуживших суюнши, сыгравших главную роль в самом его начале. Но, словно бы сжалившись над нами, Ырысбек распахнул окна настежь, и шум и голоса сразу вырвались наружу, и нашему взору, словно сцена, открылась внутренность дома. Смотри и слушай сколько угодно!



Узнав о том, что погибший Ырысбек вернулся живым и, кажется, невредимым, потянулся с поля работающий люд. И каждый спешил в дом Ырысбека.

Пришел и глухой Колбай. Едва он возник в дверях, все затихли, замерли, опасаясь драки. Но мужья Дурии дружелюбно пожали друг другу руки. Взрослые одобрительно зашумели, радуясь тому, что встреча соперников закончилась миром.

А глухой Колбай сел на полу у стены, нахлобучив шапку до самых бровей. И еще что-то буркнул Дурие, проносившей мимо посуду с едой. А что именно он сказал, никто не расслышал. Дурия же ушла целиком в хозяйские заботы и вовсе его не заметила.

– Дурия!– громко окликнул ее Ырысбек.– Дорогая, где моя домбра? Где гармонь и скрипка?

– Сейчас... сейчас я принесу,– еще пуще засуетилась Дурия и, позвав на помощь Ажибека, сбегала в дом глухого Колбая и принесла музыкальные инструменты.

– Молодчина! Все правильно делает Дурия,– одобрительно сказали аксакалы, довольные ее расторопностью, готовностью исполнить любое желание Ырысбека.

– Спасибо, дорогая,– сказал Ырысбек, так и впившись взглядом в музыкальные инструменты.

Его руки мелко дрожали. Он не знал, что взять вначале – домбру, гармонь или скрипку. Наконец выбрал домбру и сразу же стал собранным, подтянутым, волнения как не бывало. Он прошелся пальцами по грифу, по струнам, и домбра ответила ему чистыми звуками, точно по дому рассыпали серебро. Помогая отвыкшим пальцам вспомнить забытое, Ырысбек проиграл по кусочку несколько кюев – мелодии для домбры, и, решительно тряхнув головой, ударил по струнам в полную мощь.

Все благоговейно замерли, слушая музыку Ырысбека – и взрослые в доме, и мы, ребятишки, жадно сгрудившиеся под окном. Простая деревяшка с двумя

струнами творила чудеса. Она походила на волшебный сундучок, в котором хранятся удивительные звуки, а сам он, музыкант, красивый, смуглолицый, с черными блестящими глазами, копной жестких густых волос, сейчас казался каким-то высшим существом среди простых людей нашего аула. Словно гордый беркут, случайно попавший в компанию кур и домашних гусей.

Когда отзвучал последний кюй, Ырысбек прижал домбру к груди, закрыл глаза и, покачиваясь, баюкая инструмент, точно дитя, вновь заговорил стихами:

– Еще не верится, что я, Ырысбек, дома. И рядом любимая жена, а в руках моя старая подруга – домбра. Сколько раз я об этом мечтал, видел во сне там, на фронте. Вершины наших Джунгар казались мне крышей мира, а вся земля – их подножием. Вот, думал, вернусь, взойду на самую высокую вершину, и передо мной раскинется она вся, родимая степь. А может, и сейчас это сон? Я открою глаза и ничего не будет?

– Нет, Ырысбек, это не сон. Ты действительно дома, – возразил старик Жакып, один из почтеннейших аксакалов. – Объясни нам, как это случилось, – ты вначале погиб, а потом воскрес, и вот мы видим тебя живого, прежнего Ырысбека.

– Да, так и было. Я вначале как бы погиб... Помню, мы шли в атаку в пешем строю, бежали под ливнем пуль, и вдруг что-то ударило меня в грудь. Я, как подбитый беркут, упал без сознания, пролежал два дня между окопами, на ничьей земле. Потом закончился бой, и мои товарищи посчитали меня убитым и ушли вперед, в погоню за врагом. Они очень спешили, догоняя проклятых фашистов. Вот командир эскадрона и послал домой похоронку. А меня нашла молоденькая русская девушка, светлая, как солнце, чистая, как летнее утро. Разжала она мои окаменевшие губы, влила в рот немного живительной воды... Так я и вернулся на этот свет. Вы говорите: воскрес? Да, это так!.. Потом госпиталь... операция. Врачи отрезали

легкое, пробитое вражеской пулей... Три месяца на койке, не шевелясь... А, лучше не вспоминать... – И рассказчик уронил голову на грудь.

Взрослые завздохали, у старух и женщин снова повлажнели, покраснели глаза.

– Сколько их, горемычных, осталось лежать. Спасибо этой маленькой русской!

– Проклятая война! Проклятый пашис, чтоб тебе и в могиле не было покоя!

– Эй, женщины, перестаньте галдеть! Дайте послушать человека оттуда! – вмешался старик Жакып. – Скажи, Ырысбекжан, ты этих собак пашис видел? Какие они?

– Да, да, как они выглядят, идолы? – подхватил старик Байдалы. – Как посмотришь в казит<sup>1</sup> волосы дыбом встают. Не люди, а звери. Одни рычат, щерятся, как волки, другие похожи на змей.

– Да, я видел фашистов, – просто подтвердил Ырысбек. – Привели наши разведчики их офицера, «язык» называется, я его охранял... Стоял близко, вот так... Я – здесь, а он – как вы, Баке.

В доме стало еще тише. Взрослые напряженно следили за рассказчиком, боясь пропустить самое важное.

– В общем, с виду как человек, – продолжал Ырысбек, – только в лице ни кровинки. Белый как известка!

– Это правда, убийцы всегда такие, – снова не удержались, заговорили женщины.

– Только подумать, столько выпил нашей крови, а лицо как известка!

– Дал ты ему по морде или нет? – запальчиво спросил старик Байдалы.

– Нельзя, Баке, бить пленных. Такой у нас закон, – пояснил Ырысбек и гордо добавил: – Но я отворачивался от него, не хотел одним с ним воздухом дышать! Брезговал! Да!

<sup>1</sup>Казит – искаж. газета.

Взрослые одобрительно загудели:

– И правильно ты сделал, Ырысбекжан!

– А он что? Пашис?

– Что, что?.. Да пусть бы на коленях просил, я бы как Ырысбек, на него не посмотрел бы даже.

Уже давно зашло солнце; обычно в такое время аул засыпал, но в этот поздний вечер люди долго не расходились. Они спрашивали Ырысбека о боях, на каком ему пришлось воевать фронте, не видел ли он их родных и близких. Просили повторить тот или иной рассказ и выслушивали его с вниманием, будто в первый раз. И при этом удивлялись, ахали, жалели и пускали слезу.

Глухой Колбай тяжело страдал оттого, что почти не слышал Ырысбека; он старательно следил за его губами и оглушительно кричал сидевшим рядом:

– Что он сказал? Что? Повтори!

В конце концов он утомился от усилий, встал, отряхнулся, вдруг сказал Дурие:

– Хватит, пошли домой. Уже поздно!

– Сядь и слушай, – отмахнулась Дурия.

Она успевала готовить чай, обносить им гостей и поубиваться, поплакать за дверью.

Этот день превратился в праздник и для нас, ребят. Лица взрослых посветлели, разгладились у переносья и возле губ горькие складки. В такие минуты хоть на голове ходи, они не скажут ни слова. И мы этим вдосталь попользовались – влезали на подоконник, сталкивали друг друга наземь и здесь же, под окном, боролись. В другое бы время вышел кто-нибудь из старших и вlepил нам пару затрещин. Но на этот раз, замечая нашу возню, женщины говорили: «Ах, а про детей мы забыли! Дети, конечно, голодные с обеда!» – и подносили нам полный тостаган талкана, замешанного на молоке, или насыпали в горсти жареную пшеницу. И этому замечательному празднику, казалось, не будет конца.

Утолив первое любопытство гостей, разошедшийся Ырысбек снова занялся музыкой. Он взял гармонь и заиграл незнакомую мелодию, от которой веяло легкой грустью. Теперь, когда я слышу русскую песню военных лет о темной ночи, о женщине, сидящей у детской кровати и ждущей бойца, мне вспоминается тот далекий день сорок четвертого года.

– Ырысбек-ай, мы давно не слышали твой голос. Спой же нам, – попросил старик Байдалы.

– Да, да, спой нам, Ырысбекжан, – поддержали его со всех сторон.

– Разве я могу вам отказать? – сказал Ырысбек, потянулся было за домброй и вдруг что-то вспомнил: – А где Дурия?

Женщина тотчас возникла в дверях.

– Сядь рядом со мной, – произнес Ырысбек повелительным тоном.

Дурия смутилась, бросила осторожный взгляд на глухого Колбая.

– Подойди ко мне, сядь рядом, – повторил Ырысбек.

– Иди, Дурия, посиди рядом с ним, – вмешались женщины.

Одна из них взяла Дурию за руку, подвела к Ырысбеку, усадила на кошму. Дурия залилась алой краской, щека ее, обращенная к лампе, так и пылала.

Глухой Колбай, отрезанный своим недугом, как стеной, от остального мира, таращил глаза, ничего не понимая.

Успокоившийся Ырысбек ударил по струнам домбры и запел приятным баритоном:

Поет Биржан народу песни,  
Биржана балует народ...

Его сильный красивый голос как бы встряхнул всех. Старики молодели на глазах, женщины сбросили с плеч усталость. Люди восхищенно причмокивали языком, подпевали. Даже мы, ребята, оставили возню, слушали

и дивились, что вот, оказывается, как могут звучать простые слова и звуки.

– Еще... еще... спой еще... А ну, Ырысбекжан, порадуй наши сердца, – просили люди, когда он закончил первую песню.

И Ырысбек после Биржана пропел песни Ахан-сери, Иманжусупа, Асета.

– Ну довольно. Надо, люди, и совесть иметь, – сказал старик Байдалы. – Мы тут сидим, а Ырысбекжан устал после долгой дороги. Дайте ему отдохнуть.

Гости начали послушно подниматься с мест, потянулись к выходу. Вместе со всеми встала и Дурия.

– А ты сиди, – приказал Ырысбек, потянув ее за руку.

– Почему он не пускает мою жену? – громко спросил глухой Колбай, изумляясь.

Все, кто еще не успел выйти, испуганно притихли.

– Ырысбек первым женился на Дурии! Он оказался живым, и, значит, Дурия должна вернуться к Ырысбеку! – гаркнул в ухо ему старик Байдалы.

– Он живой, и слава аллаху! Но Дурия теперь моя жена, и я ее не отдам! – отрезал глухой Колбай. Дурия решительно вскинула голову, сказала:

– Если Ырысбек скажет: «Останься!» – я останусь здесь! Если он скажет: «Умри, Дурия!» – умру счастливой!

Старик Байдалы снова закричал в ухо Колбаю, объяснил, что ответила Дурия.

Глухой Колбай тяжело задышал, набычился и вдруг бросился к Ырысбеку, выхватив на ходу из-за голенища сапога длинный сверкающий нож. Этот нож он на днях выменял за ягненка у чечена Махмуда.

– Пустите меня! Я его убью! – кричал глухой Колбай, хотя его никто не держал, люди растерялись, замерли как замороженные.

Но Ырысбек, сразу видно, не зря побывал на войне, он кинулся к стене и мгновенно сорвал свою диковинную охотничью двустволку. Однако до схватки дело не дошло. Люди пришли в себя, взяли глухого Колбая под руки и увели с собой.

Ырысбек и Дурия остались одни.

Время уже шло к рассвету, и мы было тоже собрались по домам, да нас удержал Ажибек:

– Подождите! Все равно спать уже некогда, кончилась ночь. Но зато посмотрим, как Ырысбек побьет Дурию. А может, и вовсе застрелит! Думаете, ей так сойдет? Он настоящий джигит, ни за что не спустит измену!

Ну, какой полудикий мальчишка, с утра до вечера предоставленный самому себе, откажется от такого зрелища? Четверо из нас остались с Ажибеком, подползли к окну, присели на корточки.

Ырысбек и его жена еще не ложились, стояли посреди комнаты.

– Побей меня, Ырысбек,– умоляла Дурия,– ну, ударь, мне будет легче!

– Что ты? Что ты, моя дорогая? Я с ума сойду, если подниму на тебя руку,– отвечал Ырысбек.

– Господи, как мне смыть вину перед тобой? Ырысбек-ау, каждое твое ласковое слово как удар ножа. Ну, дай хотя бы пощечину!.. Я готова целовать твои ноги.

Дурия опустила к его ногам, но Ырысбек быстро поднял ее, оторвав от пола, прижал к себе.

– Родной мой, тебе тяжело. Твоя рана будет болеть,– зашептала Дурия, а сама обхватила его за шею.

– Я соскучился по тебе...

– Тьфу!– сплюнул Ажибек и передразнил: «Сяскучился по тебе». Я думал, он джигит, а он бабник! Лижется как теленок.

Мы были тоже разочарованы. Дома нас ждут неприятности, и ради чего?

А Дурия собрала с пола одеяла и подушки, постелила постель и, дунув, погасила лампу.

– Ведь она же сама просила: «Ударь, ударь»,– продолжал негодовать Ажибек.– Если бы мне изменила жена, я бы так ей врезал!.. Ладно, пошли. Видно, тут вообще ничего не дожدهшься.

Мы уже собирались оставить свой наблюдательный пункт, но в это время по улице кто-то громко затопал, мимо нас промчалась темная фигура и влетела в дом, распахнув двери настежь.

– Глухой Колбай!– радостно шепнул Ажибек.– Ну, сейчас будет дело! Уж он-то не станет лизаться! Уж он-то покажет и ему, и ей!

Мы и сами узнали глухого. Снова прикинули к окну.

В доме послышался грохот, глухой Колбай наткнулся в темноте на вещи. Затем на мгновение вспыхнула спичка, мы увидели Дурию с распущенными волосами, полуодетого Ырысбека с зажженной спичкой в руке и метнувшегося к ним глухого Колбая. Дурия взвизгнула, прикрыла лицо обнаженной рукой. Спичка погасла, комната погрузилась в темноту, из которой тотчас донесся шум борьбы – прерывистое дыхание, топот и хлесткие звуки ударов.

Я вспомнил про нож Колбая, и меня сковало ледяным ужасом. То же самое случилось и с другими ребятами. Ажибек и тот затих, сидел, прижавшись к стене. И как бы в ответ над нашими головами что-то тускло сверкнуло и мягко шлепнулось на землю. Ажибек протянул руки и поднял нож Колбая.

– Пойдемте лучше отсюда. Подальше от беды,– прошептал Ажибек, стуча зубами.

Мы только и ждали, когда можно будет уйти, не боясь его насмешек. Нас тут же как ветром сдуло. Но стоило нам удалиться на безопасное расстояние, как Ажибек снова стал нашим прежним Ажибеком и с досадой сказал:

– Жаль, было темно. Ну, и задал, наверное, Колбай этому Ырысбеку!... Но ничего, а эту штуку я все равно взял с собой. Теперь она будет моей.

И он извлек из-за пазухи нож Колбая.

Уже светало. Из ближнего сарая прокричал петух, отозвался второй в другом конце улицы... за ним подал голос третий...



Днем ребята снова собрались перед клубом. Ажибек позвал в сторону тех, кто был с ним под окном Ырысбека, и спросил:

– Вы ничего не знаете о Колбае?

– Ничего, – ответил каждый. – А что случилось?

– Он исчез! Никто не знает, где глухой Колбай. Утром он должен был прийти на ток и не явился. И бригадир его искал, и учетчик. Даже сам председатель. И не нашли. Дом его заперт. А сам он как провалился под землю.

Мы переглянулись, подумав об одном и том же.

– И к Ырысбеку ходили, – сказал Ажибек, легко угадав наши мысли. – Учетчик Бектай был. Да Ырысбек и слушать не захотел. «Проваливайте, говорит, со своим Колбаем. Я вернулся с войны». А по-моему, он убил глухого и спрятал. Бобще, – он ввернул русское слово «вообще», – бобще, от Ырысбека всего можно ждать. Уж я его знаю, на станции с ним был. Чуть что не по душе, кричит: «На фронте я бы таких стрелял». Псих, вот он кто!.. Пойдемте к нему, посмотрим. Может, отыщем труп глухого Колбая.

Обмирающие от страха, гонимые не менее сильным чувством – любопытством, мы подошли к дому Ырысбека. Дом все так же зиял распахнутыми окнами и дверью. Изнутри доносились звуки домбры. Мы осторожно заглянули в окно. Ырысбек, в нижней рубашке, но в галифе и сапогах со шпорами, лежал на неубранной постели и тихо наигрывал на домбре. Заметив нас, он сказал, не прекращая своего занятия:

– А, это вы? Адъютант, подойди ко мне.

– Адъютант – это я, – важно пояснил Ажибек. – Ждите меня здесь, – и вошел в дом.

– Ассалауалейкум! – приветствовал он хозяина.

Ырысбек отложил домбру, сел на постели, строго сказал:

– Это что еще за ассалауалейкум? Я тебя как учил, а? А ну-ка, марш на улицу и войди, как положено солдату!

Ажибек вышел в прихожую и, войдя снова, поднес руку к виску, рывкнул:

– Здрабие желаем, товарищ кямандир!

– Вот теперь правильно! Вольно! Слушай боевое задание: возьми вон те щипцы, разведи перед домом огонь. Когда щипцы раскалятся, доложи мне. Иди выполняй приказ!

Ажибек направился к очагу, возле которого лежали щипцы для углей.

– Вернись на место, – сказал ему Ырысбек. – Что должен сказать солдат, получив приказ командира?

Ажибек опять поднес к виску ладонь и звонко ответил:

– Есть, товарищ кямандир!

– Кру-угом! Шагом марш! – скомандовал Ырысбек.

Мы сгорали от зависти к Ажибеку. Ырысбек обращался с ним как с настоящим военным. Ажибек вынес на улицу щипцы с таким видом, словно это было оружие огромного значения.

– А ну, ординарцы, слушай мою команду: соберите дрова, разведите огонь!.. Как должен ответить солдат?

– Есть! – крикнули мы и бросились за дровами.

Разжигая огонь, гадали: зачем Ырысбеку понадобились горячие щипцы?

– Значит, нужно. Приказы командиров не обсуждаются, – пояснил Ажибек, повторяя чьи-то слова.

Когда концы щипцов налились малиновым цветом, как бы стали светиться изнутри, Ажибек одернул рубаху и отправился с докладом к Ырысбеку. Командир Ажибека вышел в гимнастерке, затягивая ремень. Убедившись в том, что талия его перетянута достаточно туго, Ырысбек протянул адъютанту ключ:

– Открой дверь сарая! Там связанный Колбай. Вытащи у него тряпку изо рта.

Ажибек отомкнул висячий замок, вошел в полумрак сарая. Через секунду-другую мы слышали вопли глухого Колбая:

– Убей меня, убей! Выпей кровь мою! Или я сам тебя прикончу!

– А вы что не видели? Марш по домам!– сказал нам Ырысбек, впрочем не очень сердясь, и, взяв раскаленные щипцы, вошел в сарай.

Мы вновь задрожали от страха, но остались, только отступили в сторону, ожидая, чем кончится все это.

– Ну, жги, жги меня!– послышался злобный голос Колбая.

– Сам просит. Я бы ни за что не просил. Отдал бы Ырысбеку жену, а себе взял другую, – прошептал Ажибек, еле ворочая одеревеневшими губами.

– Не надо! Не надо!– жалобно заверещал невидимый нам Колбай.

Ажибек не выдержал, подкрался к сараю, заглянул в открытую дверь. А нам бы позвать на помощь людей, да подошвы прилипли от страха к земле, язык к небу прирос.

– Там такая жуть, такая жуть, – сообщил Ажибек, вернувшись. – Думаете, он глухого Колбая терзает? Как бы не так! Он пытается себя! Лижет щипцы, как ложку сметаны. «Видишь, говорит, как я люблю Дурию».

– Лижет? Не может быть!– усомнился Самат.

И мы, остальные, тоже не поверили Ажибеку. И оттого, что он врал как ни в чем не бывало, страх наш исчез. Значит, там, в сарае, ничего ужасного не случилось.

– Ну, не совсем лижет, он же не дурак, – поправился Ажибек, очень недовольный нашим недоверием. – Но...

Он не договорил. В дверях сарая появился Ырысбек с щипцами в руке, постоял, сосредоточенно глядя перед собой, потом вспомнил про щипцы, небрежно отбросил их в сторону и сказал Ажибеку:

– Адьютант, развяжи этого человека. Да побрызгай в лицо водой. Он раскис, как слабая женщина.

Мы кинулись за Ажибеком в сарай, радуясь тому, что для глухого Колбая все кончилось благополучно. Тот

лежал с закрытыми глазами в дальнем углу, ноги и руки его были скручены сыромятным ремнем.

Кайрат принес кружку воды, протянул Ажибеку, тот наклонился и полил узкой струйкой лицо Колбая.

– Не надо,– взмолился глухой Колбай. – Развяжите меня, ребята.

Ажибек ловко распутал ремни и, помогая Колбаю подняться, посоветовал:

– Да отдайте ему эту жену! Ему теперь убить ничего не стоит. На станции он уже двух убил. Я сам видел!

– Пропади пропадом эта Дурия! Лучше бы я ее никогда не видел,– простонал Колбай, направляясь к дверям.

– Думаете, его в легкое ранили? Ничего подобного. Его фашисты пытали. И он, наверное, думал, что вы тоже фашист,– бессовестно врал Ажибек, провожая глухого Колбая.

Тот, пошатываясь, вышел на улицу и, как назло, сразу наткнулся на учетчика Бектая.

– А-а, вот ты где?!– рассердился учетчик, чуть ли не наезжая на Колбая конем.– Мы его ищем, с ног сбились. А он в сарае спит!

– Чтобы ты так спал,– пожелал Колбай.– Ох, и этого Ырысбека мне бы больше не видеть в глаза!

– Нечего валить на честных людей! Ступай на ток и работай!– закричал Бектай.

– Иду, сейчас же иду,– испуганно пообещал глухой Колбай и побрел на ток.

А учетчик поехал за ним, точно конвойный.

На всю улицу разнесся громкий, заразительный хохот. Это в окно своего дома выглядывал Ырысбек и торжествовал победу над Колбаем.

– Что приуныли, орлы? А ну, заходите ко мне!– позвал Ырысбек, повеселившись.

Мы вошли к нему в дом, расселись вдоль стены, а хозяин взял домбру и вновь повалился на постель, не снимая сапог. И вновь зазвучали кюи, грустные,

хватаящие за душу, словно Ырысбек жаловался на свою судьбу. А когда его пальцы касались нижних делений на грифе, струны издавали прямо-таки раздражающие душу звуки. Потом он запел на русском языке:

Темная ночь,  
Только пули свистят по степи,  
Только ветер гудит в проводах,  
Тускло звезды мерцают.

Мы еще плохо знали русский язык, поэтому некоторые фразы оставались непонятными, но песня, как я уже говорил, все равно брала за душу печальным мотивом.

– Эх, ребята, там дерется наш второй эскадрон, мои боевые товарищи, а я отлеживаюсь здесь, словно инвалид какой-то, – сказал Ырысбек, тоскуя по своим друзьям. – Ажибек-ай, пусть твоя жизнь не знает того, что видел я. Как умирают под пулями живые люди... Сбегай позови жену мою, Дурию. Скажи, мне без нее плохо.

Ажибек оказал мне честь, позвал меня с собой. Мы сбежали на ток и привели Дурию. Ырысбек все еще лежал, грустил, перебирая струны домбры, но, увидев жену, отшвырнул инструмент в угол, бросился к ней, словно увидел впервые только сейчас. Они так и стояли посреди комнаты. Он – уткнувшись лицом в ее плечо, а она, косясь на нас, говорила:

– Сядь, Ырысбек, перестань. Здесь дети.

Ажибек указал нам глазами на дверь, мы вышли на цыпочках, боясь потревожить хозяина и хозяйку. Нам казалось, что Ажибек опять начнет смеяться над Ырысбеком, обзывать его «лизуном».

– Вот что такое любовь, – сказал назидательно Ажибек. – Да разве вы что-нибудь в этом понимаете? Мелюзга!

– А ты понимаешь? – уважительно спросил Кайрат.

– А как же, – небрежно ответил Ажибек и вдруг озабоченно потянул носом.

По аулу плыл тонкий теплый аромат хлеба, испеченного из муки нового урожая. Его только что вынули из сковороды, и он наверняка еще был горячим-горячим.

После возвращения Ырысбека прошла уже целая неделя, а он все еще целыми днями валялся на неубранной постели и наигрывал на домбре, точно жизнь, проходившая за стенами дома, его ни капельки не касалась. Иногда он приглашал нас, ребят, и, усадив на кошму, рассказывал свои фронтовые истории. И одна была фантастичней другой.

– Расскажите еще, – ненасытно просили мы, – еще о каком-нибудь подвиге!

– Эх, ребята, ребята, – отвечал Ырысбек, качая головой. – На войне героизм да подвиги – это еще не все. На войне еще и стреляют. И мерзнут, и голодают. Вот отрежут тебя артогнем от тылов. Ты здесь, а старшина с кухней по ту сторону реки. Идешь ты в атаку, а чтобы крикнуть «ура», сил не хватает. А иной бы раз жизнь свою отдал, только бы разок отоспаться. Но самое страшное – когда убивают твоих товарищей. Тут плачут и самые железные. Так что война на самом деле совсем не так уж увлекательна, как это кажется в детстве. И не дай вам бог когда-нибудь воевать.

Он ласково гладил того, кто сидел к нему ближе, и говорил:

– Как ты похож на своего отца!.. Будь он жив, то-то бы порадовался, глядя на тебя...

Его нервы расшатались вконец, он просил, отворачиваясь к стене:

– А теперь, ребята, идите. Оставьте меня одного.

Мы ошеломленно выходили на улицу, а вслед нам неслись грустные звуки домбры и голос Ырысбека, поющий:

Родился я солдатом,  
Затянул туго ремень.  
Хоть ты, война, мне ненавистна,  
Я буду бороться с проклятым фашистом.

Но более всего нам нравились минуты, когда Дурия прибежала домой на обед. И каждый раз Ырысбек и его жена встречались так, словно не виделись целую вечность. Он отбрасывал домбру, обнимал Дурию и затихал, а она ласкала мужа, будто малого, обиженного ребенка. Тут Ажибек кивал нам на дверь, и мы тихонько уходили, оставив их вдвоем.

Поведение Ырысбека вызывало у взрослых разные чувства. Одни из них жалели его, считали, что он из-за тяжелого ранения слегка тронулся умом. Вторые вспоминали прадеда Ырысбека, который будто бы умел разговаривать с душами умерших и предпочитал это занятие общению с живыми людьми, и вот, дескать, то же самое теперь случилось с его правнуком. А третьи просто называли Ырысбека отъявленным лентяем, уверяли, что он и в хорошие, мирные времена не любил ни учиться, ни работать. Только и делал, что с утра до вечера брэнчал на домбре да играл на пирах и свадьбах. «Ему лишь бы лодырничать», – сердились они.

Говорят, председатель Нугман дважды приходил к Ырысбеку, на работу звал, стыдил, мол, не та в стране обстановка, чтобы можно было беспечно валяться в постели целый день. Ырысбек, в свою очередь, говорят, отвечал, что он солдат и не желает заниматься женским делом, что он отдохнет и снова пойдет воевать, мстить за своих убитых товарищей.

Ну а Колбай, стоило при нем даже вполголоса произнести имя Ырысбека, испуганно озирался по сторонам. То, что с ним произошло в сарае Ырысбека, так и осталось тайной. На вопросы аульных кумушек он в ужасе махал руками: «И не спрашивай, не скажу!» А характер у глухого Колбая такой, что уж если он говорил «не скажу», так из него и точно не выбьешь ни слова. Но зато над историей возвращения его прежней жены Апиш потешался весь аул.

Дня через два после ухода Дурии глухой Колбай отвез подводу сена на ферму, на которой Апиш рабо-

тала дояркой. Он уже было сбросил груз с арбы и собрался назад в аул, как из коровника появилась Апиш. Увидев бывшего мужа, она всплеснула руками и закричала:

– О сын моего свекра, что же эта обманщица натворила с тобой?

Посмотрел на себя глухой Колбай как бы чужим глазом и увидел, что внешность его стала оскорбительно жалкой. Рукава обтрепались, пуговиц нет. Щеки без горячей пищи ввалились, лицо поросло щетиной, а под глазом позорно темнел синяк, полученный в ночной стычке с Ырысбеком. Обнаружив полный урон своему мужскому достоинству, глухой Колбай чуть не заплакал и в порыве чувств пожаловался Апиш на обиды, причиненные Ырысбеком, на утрату своего замечательного ножа, который остался в доме Ырысбека и который теперь не иначе как этим бессовестным человеком присвоен.

– Будь он проклят, этот Ырысбек!– разгневалась Апиш. – Интересно, чем лучше его Дурия моего Колбая? Почему он из-за этой ведьмы унижает такого замечательного человека?– обратилась она к выбежавшим дояркам и, не получив ответа, пообещала:– Ну, ничего, я сама пойду к Ырысбеку. Послушаю, что он скажет! А мне-то Ырысбек скажет, даже если он спустился к нам с неба!

Однако начала она совершенно с другого: вынесла из общежития свои одеяла и подушки, погрузила свой скарб на арбу Колбая и, усевшись сама, велела, чтобы он вез к своему дому. Перед дверью Апиш слезла с арбы и, сказав: «Отнеси все это в дом, а я посчитаюсь с Ырысбеком»,– решительно зашагала к дому обидчика.

До цели еще оставалось метров сто, а она уже начала поносить Ырысбека на всю улицу:

– Чтоб ты провалился, Ырысбек! Ты зачем вернулся с войны? Обижать больных и калек? Сейчас я проверю, какой ты смелый. Это я иду! Я! Апиш!



Каждому в нашем ауле, даже малым детям, было известно, что если уж Апиш решила во что-то вмешаться, обязательно жди большого скандала. Она никого не боялась, не лезла за словом в карман, споря с самым грозным начальством. Поэтому многие удивились, когда она безропотно собрала свои одеяла и подушки, ушла из дома глухого Колбая, уступив место Дурии. «Колбай – мой муж, он мужем и останется, – объясняла она своим дояркам. – Вы ничего в мужчинах не понимаете. Зачем его зря сердить, портить нервы и себе, и ему. Он воображает, будто Дурия любит его. Пусть повоображает. Я подожду. А потом вернусь в дом Колбая. Вот увидите!»

Теперь, услышав ее воинственные возгласы, соседи Ырысбека поспешили на улицу, собрались в толпу любопытных.

– Эй, Дурия! Где твой муж? А ну-ка, заставь его выйти ко мне! – крикнула Апиш, остановившись перед домом Ырысбека. – Моего Колбая он обидел, глухого человека. Забрал себе нож, который стоит целого ягненка. Но пусть он теперь попробует справиться со мной, Апиш! Истинной женой Колбая!

То ли Ырысбек и вправду испугался ее угроз, то ли решил не позорить себя ссорой с чужой женщиной, только кое-кто из ребят видел, как он открыл окно с противоположной, невидимой стороны дома, вылез наружу, шмыгнул в сарай и не появлялся дома до ухода Апиш. Вместо него с ней говорила Дурия, на хлебе клялась, что Ырысбек не брал ножа, насилу избавилась от нее.

– Он все равно нож отдаст. Я заставлю! Так и передай своему! – сказала Апиш, уходя.

Узнав о претензиях глухого Колбая и его жены, Ырысбек озаботился и сказал нам:

– Ничего не понимаю, куда пропал этот проклятый нож? Не сквозь землю же он провалился? Я помню, как выбросил его в окно, когда отнял у Колбая. Утром

мы с Дурией осмотрели все под окном, и никакого следа. Странно!

Ажибек исподтишка показал нам кулак: мол, только попробуйте заикнуться...

Наступил сентябрь, мы снова отправились в школу, но свободного времени у нас от этого не убавилось. Уроки занимали не более двух часов. Педагогов в ту военную пору не хватало. Им приходилось работать в две-три смены. А наш учитель Мукан-ага еще ко всему был очень больным человеком. Позанимавшись с нами два часа, он отпускал нас домой, чтобы успеть отдохнуть перед следующей сменой. Мы с радостными воплями бежали к дому Ырысбека, играли там до позднего вечера.

Нам очень хотелось развеселить Ырысбека, сделать ему что-нибудь приятное, но мы долго ничего не могли придумать. И вдруг однажды Ажибека осенило. Он хлопнул себя по лбу и сказал:

– Я знаю!.. Дабай покажем Ырысбеку концерт!

Мы с восторгом уставились на своего вожака – отчаянный он человек, ничего не скажешь!

– Это было бы здорово! Да только мы не артисты, – вздохнул рассудительный Асет.

– Ну и что? Возьмем и сами поставим пьесу. Не хуже настоящих артистов, – пояснил Ажибек. – Один из нас будет Тулегеном, другой Бекежаном, а кто-то Кыз-Жибек, Шеге, Каршыга... Ырысбеку очень понравится!

Ну, если сам Ажибек так уверен...

– Дабай!.. Дабай!– закричали мы, подражая Ажибеку.

И начали распределять роли. Себя Ажибек назначил Бекежаном, Кайрата – Тулегеном... Нашлись среди нас и Шеге, и Каршыга... Только вот не было Кыз-Жибек. Ни кто из ребят не соглашался изображать из себя женщину. Тогда Ажибек послал Кайрата и Самата к девочкам. Но те вернулись с плохой вестью.

– Никто не хочет,– сообщил Кайрат.– Даже сирота Тоштан и та отказалась. Я ей говорю: «Подумай, какую красавицу будешь играть. Дура!» А она: «Сам дурак! Для вас даже трижды красавицу не стану играть. Вы в школе дергаете за косы».

– Ну и не надо! Обойдемся и без Кыз-Жибек,– сказал Ажибек, ничуть не расстраиваясь.

– Из-за кого же тогда будут сражаться герои?– удивился Самат.

И он был прав. Мы приуныли, нам очень хотелось сыграть этот спектакль.

Чтобы русский читатель понял, почему удивился Самат, скажу так: играть спектакль по известному эпосу без Кыз-Жибек все равно что ставить «Ромео и Джульетту» без Джульетты или «Анну Каренину» без участия Анны.

Но уверенность Ажибека осталась несокрушимой.

– А просто так будут сражаться! Будут, и все! – легко и беспечно ответил наш самозванный постановщик, и мы охотно с ним согласились. В самом-то деле, почему нужно сражаться из-за кого-то? Почему нельзя воевать просто так?

Старый, заброшенный сарай стал нашим театром. Кайрат стащил из дома выдавший виды дырявый палас, и мы превратили его в занавес, поручив держать его двум мальчикам, которым не хватило ролей. Оставалась еще одна забота: чем мазать себя, как это делают все настоящие актеры? Для окраски ресниц и бровей мы быстро приспособили древесный уголь, но вот чем побелить лицо – это нам казалось почти невыполнимой задачей. Свой мел учитель Мукан-ага бережно заворачивал в платок и прятал в карман пиджака, и подобраться к нему не было совершенно никакой возможности. Однако наш предводитель и тут нашел выход из положения. Перед самым началом спектакля он повел нас в правление колхоза, и там мы потерли ладонями о недавно побеленные стены, густо намазали их известкой.

На шум, поднятый нами, из своей комнаты выскочил учетчик Бектай и сердито спросил:

– А вы зачем сюда пришли? Вам что? Улицы мало?

– У нас теперь будет театр, – честно сказал Самат и тут же получил от Ажибека затрещину.

– Я вам покажу театр! – не поверил Бектай. – Нашли место для игр? А ну, вон отсюда!

Вернувшись в сарай, мы перенесли известку с ладоней на щеки и лоб. Когда все было готово, Ажибек позвал командира Ырысбека. Тот пришел в своей солдатской форме со шпорами и уселся на единственную скамью. А мы трепетали за паласом, который держали два тоже взволнованных мальчика. У меня пересохло в глотке, мне казалось, что сейчас я забуду все слова или совсем потеряю голос, открою рот, а из него вырвется шипение, как у гусака.

– Дабай! – скомандовал Ажибек, тоже волнуясь.

Мальчики, державшие занавес, отступили в сторону, и перед Ырысбеком, как я сейчас представляю, открылись маленькие, тощие чудовища, перемазанные известкой и углем, в залатанной одежде, с босыми ногами, усеянными цыпками. Ырысбек бешено захотал, словно к нему сзади кто-то подкрался и начал щекотать под мышками.

Белая лань Жайыка, красавица Жибек...

Тут Ырысбек и вовсе закатился от смеха. Он хлопал себя по бедрам, хватался за живот, из глаз его ручьями струились слезы.

Смущенные его смехом, мы кое-как, пропуская слова, доиграли пьесу до конца.

– Желание ваше похвально, ребята, – сказал Ырысбек, посерьезнев. – Вы хотите заняться настоящим делом. Это хорошо. Да только не с того конца вы взялись. Мужчина теперь солдат! И с этого дня я сам займусь вашей военной подготовкой. Адъютант!.. Ажибек!

– Что, дяденька? – отозвался Ажибек; он, как и все ребята, был расстроен нашим провалом.

– Отставить!– рявкнул Ырысбек.– Что должен сделать солдат, когда его зовет командир?

Ажибек вскочил, точно его подстегнули, подошел к Ырысбеку и вытянулся, козырнул.

– Есть! Я здесь, товарищ командир!

– Теперь другое дело. Распустился ты, адъютант. Храмает у тебя дисциплина,– строго выговорил ему Ырысбек.– Ну вот что, построь своих бойцов по росту и веди строем за мной.

– Есть, командир!– восторженно завопил Ажибек.– Эй, недотепы, слышали? А ну-ка, стройся в ряд! Живее!

Мы путались, сталкивались носами, никто не хотел стоять самым последним. Ажибек бегал перед нами, грозил голову оторвать бестолковым, наконец с грехом пополам построил и привел нас следом за Ырысбеком к одинокой яблоне.

Здесь Ырысбек проверил, как мы умеем стоять в строю, и остался нами недоволен. У кого-то торчали носки ног, а кто-то высунулся сам вперед. У Кайрата и Батена было мокро под носом.

– Запомните: как бы солдату ни было плохо, он должен смотреть молодцом! Всегда! То, что сказал командир, для солдата закон. Главное в армии – порядок. У нас будет как в армии. Кто станет лениться или нарушать дисциплину, получит наряд вне очереди.

– А что это такое?– спросил Кайрат.

– Ажибек, принеси лопату!– приказал Ырысбек.

Ажибек сбегал в ближайший дом и вернулся с лопатой.

– Возьми лопату и вырой яму отсюда досюда,– сказал Ырысбек Кайрату. – Тогда поймешь, что такое наряд.

– Я уже понял!– испугался Кайрат.

– У кого еще есть вопросы?– спросил Ырысбек.

– У меня!– сказал Ажибек.

– Спрашивай!– разрешил Ырысбек, нахмутив брови.

– Можно, я буду вас называть главнокомандующим?

Ырысбек подумал и кивнул:

– Если хочешь, зови... А сейчас я покажу, как надо ходить в строю и поворачивать направо и налево. И кругом. Это называется начальная подготовка бойца!

Он топал сапогами впереди нашего строя, командуя:

– Раз, два!.. Раз, два!.. Левой!.. Левой!..

И шпоры отзванивали счет: дзинь-дзинь... дзинь-дзиаь... Мы старательно вышагивали за ним босиком по мягкой пыли. Шлеп... шлеп... шлеп! И каждый мечтал вырасти поскорей и носить такие же сапоги и шпоры, как у нашего командира.

Так, сами того не ожидая, мы стали маленькими солдатами. Ырысбек муштровал нас каждый день после уроков. Видно, еще не остыв от фронта, увлекшись, он и в самом деле готовил из нас настоящих бойцов, заставляя ползать и продвигаться вперед перебежками под огнем воображаемого противника. Вооружившись палками, мы выполняли ружейные приемы и ходили в атаку. А сам Ырысбек, точно полководец, стоял под яблоней на холме – на своем командном пункте, как он называл холм, – и руководил воображаемым боем.

– Эх, если бы не кровавая рана, я бы уже, наверное, майором был, – говорил нам потом Ырысбек. – Фашисты знали, кого убивать. Все целились в меня.

Однажды во время наших занятий к нам наведалься председатель Нугман. Он остановил коня в стороне, понаблюдал за нашими упражнениями, потом подъехал к Ырысбеку, стоявшему, как обычно, под яблоней, и что-то тихо сказал, с трудом нагнувшись с седла.

– Не мешайте мне! Уезжайте отсюда! – громко огрызнулся Ырысбек.

Нугман сказал что-то еще.

– Не мешайте мне, говорю, обучать защитников родины! – закричал Ырысбек.

На этот раз и председатель заговорил чуть громче, нас донесли слова «стыд», «управу», «район».

– Ты кого вздумал стыдить? Кого стыдишь, тыловая шкура!– взорвался Ырысбек. – Уходи, пока жив! Уходи, говорю!– и машинально потянулся за винтовкой.

Нугман осуждающе покачал головой, повернул коня и уехал в сторону колхозного тока. А Ырысбек еще долго бесновался, кричал, дрожал от возмущения:

– Он говорит: шел бы работать! А вы, мол, дети еще! Вам еще рано! Он готов превратить вас в девчонок! Районом решил меня припугнуть! Найти управу! И я за таких кровь проливал! Легкое подставил под пулю!

И все же у меня до сих пор сохраняется ощущение, что в этом взрыве ярости было что-то нарочитое. Словно Ырысбек играл какую-то роль, известную только ему одному. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что он поглядывал на нас одним глазом, как бы спрашивал: ну как, получается у меня?

В последнее время с Ырысбеком что-то произошло. А началось это превращение с того, что он однажды решил обойти семьи погибших и выразить свое сочувствие им. С собой он зачем-то взял Ажибека и меня.

Первым Ырысбек навестил самого старого аксакала, девяностолетнего Куатбая, у которого в начале войны погиб единственный внук. От горя старик совсем одряхлел. Сощутив глаза, он долго всматривался в Ырысбека и, так и не узнав, спросил:

– Ты кто? Уполномоченный человек из района?

– Дедушка, я Ырысбек! Помните? Друг вашего внука Темира!

– Как же, как же, помню. Ты сын хороших людей. А ну-ка, дорогой, нагнись ко мне, нагнись,– попросил Куатбай, сидевший на кошме.

Ырысбек почтительно наклонился, старик прикоснулся носом к его лбу и удовлетворенно сказал:

– Да, ты Ырысбек. Я узнал тебя. Ты правнук Кокеная. Мы были с ним большими друзьями. Да, да, очень большими. Заберемся, бывало, на одного коня, вце-

пимся в гриву и айда в степь. Мальчишками еще были... А когда подросли, вместе угоняли скот у баев. Э, чего мы только не делали с прадедом твоим Кокенаем!.. Хе-хе, – Куатбай неожиданно рассыпался дребезжающим смехом, видно вспомнив что-то еще из давних проделок, и тут же опечалился, вздохнул. – Да когда это было... Теперь сижу, как старая, выжившая из ума ворона. Тебя вот за уполномоченного принял... Есть у нас тут один безрукий, из района прислали. Все ходит вокруг моего дома. Видеть его не могу!

– И за что ты ругаешь этого человека? – подала голос из угла его старуха, перебиравшая шерсть. – Может, у него работа такая. Вот он и ходит.

– Все равно не по душе мне это, – тянул свое упрямый старик. – Что же выходит? Если я еще не умер, значит, и гордость мою можно топтать? Э, какой я был раньше! Никто не смел пройти мимо меня с наветренной стороны. Вот каким был в молодости Куатбай. А теперь лежу, как старая кошма на дороге. И каждый под окнами ходит. Словно я что-то для фронта пожалел. Под себя упрятал.

Тут он спохватился, вспомнил, что у него гость, и, повеселев, сказал Ырысбеку:

– Значит, вернулся с войны? Живой? Невредимый? Это самый дорогой для нас подарок! Эй, старуха, после будешь вязать! Чай поставь! Да казан подними! Зарежь барашка, того, что пожирней. Разве не видишь, парень вернулся из дальней дороги!

«Поднять казан» – значит приготовить обед. Ырысбек, к нашему огорчению, запротестовал:

– Спасибо, дорогие! Не утруждайте себя. Я отпробую только хлеба и пойду. Хочу обойти весь аул. Посидим поговорим в другой раз.

– Только заходи так, чтобы уж потом не торопиться, – потребовал Куатбай.

Когда мы вышли на улицу, к дому подкатила арба с парой быков в упряжке. На арбе сидела Зибаш, сноха



Куатбая, возившая хлеб с тока в амбары. Увидев Ырысбека, она заулыбалась, легко соскочила на землю и подошла к нам.

– Здравствуй,– сказала она Ырысбеку, – наконец-то можно поздороваться с тобой. А то к тебе никак не подойдешь. То люди вокруг тебя, то сидишь дома, на улицу не выходишь...

Зибаш не договорила, голос ее сорвался, на глазах выступили слезы.

– Зибашжан, что с тобой?– забеспокоился Ырысбек.

– Да вот увидела тебя, вспомнила своего Темира. Будто это он на твоём месте. Вы с ним были такие друзья,– пояснила Зибаш, всхлипывая и вытирая слезы уголком цветного платка.

Если верить Ажибеку, Зибаш самая красивая в нашем ауле. И лицо у нее светлое. И глаза большие и бархатистые. «Как у верблюжонка,– пояснял Ажибек. – Ножки стройные, а сама она полненькая. Скорей бы стать взрослым, тогда я на ней женюсь».

Пока Ырысбек успокаивал Зибаш, я придирчиво рассматривал молодуху, желая удостовериться, прав ли Ажибек и точно ли нет никого красивей ее в нашем ауле. Однако ноги Зибаш скрывали грубые шерстяные ручной вязки чулки, – попробуй угадать, прямые под ними ноги или кривые. Старенькое, выгоревшее ситцевое платье ее порвалось на плече, и в прорехе сверкало голое тело. Хваленое лицо Зибаш посмуглоло от солнца, блестело от пота. И я с облегчением решил, что моя сестра Назира куда красивее Зибаш.

– А как ты живешь, Зибашжан?– расспрашивал в это время Ырысбек.

– Да как поживают вдовы, сам знаешь.

– А ты все такая же красивая.

– Ырысбек-ай, это ты говоришь, чтобы не обидеть меня. Какая красота без мужа... – И Зибаш невольно засмеялась, открыв белые ровные зубы.

Ажибек толкнул меня в бок: ну как, мол, видишь сам. Да только я все равно бы не изменил своего мнения, сколько бы Ажибек ни толкался.

А Зибаш вспомнила про свое рваное платье и стыдливо прикрывала прореху рукой.

– Зибашжан, разве что-нибудь может убить такую красоту? Даже горе!– горячо сказал Ырысбек.

– Правда, правда!– вмешался Ажибек.

– А ты молчи! Мал еще!– прикрикнул на него Ырысбек и снова повернулся к Зибаш: – Помнишь, как мы с Темиром пришли за тобой, невестой? Я тогда пел: «Зибаш, ты лисичка, бегущая с горки...» Еще не забыла, а?

– Как же я могла забыть, Ырысбек? Твоя песня до сих пор звучит у меня в ушах. Да только уже не вернешь те времена. И Темира.

– Что и говорить, Темир был султаном среди джигитов.

– Пусть бы вернулся без рук, без ног, лишь бы живым. Я уж не знаю, как бы благодарила судьбу, – и глаза Зибаш снова наполнились слезами.

– Война, Зибаш. Крепись!

– А что еще остается? Да и все слезы, кажется, выплакала. Только вот увидела тебя и не выдержала. Считаю, что от радости.

Зибаш улыбнулась светло, сквозь слезы.

Из дома выглянула ее свекровь и удивилась:

– Зибаш-ай, ты здесь? Мы уже думали, не приедешь. Ждем, а тебя нет. А я уже тебе поесть приготовила.

– Сейчас, ене, иду,– откликнулась Зибаш и, взглянув как-то странно на Ырысбека, скрылась за дверью.

Если бы кто знал тогда, к каким последствиям приведет встреча Ырысбека и Зибаш и этот странный, загадочный взгляд, которым молодая вдова его одарила! Но в тот раз даже сам Ырысбек не подозревал об этом.

– Ну, а теперь, Канат, пойдем к тебе,– сказал он мне, и мы зашли в наш дом.

Бабушка не знаю как обрадовалась Ырысбеку. Засуетилась, запричитала, словно появился ее собственный сын.

– Дорогой мой, дай я тебя обниму, поцелую. Живой, живой... Вот так... А теперь в голову... в глаза твои ясные.

И целовала его, и плакала. Я даже не вытерпел, заревновал.

– Бабушка!– обиженно окликнул ее.

– А, и ты здесь!– обрадовалась бабушка и бросилась ко мне.– Помогаешь большому воину! Ты уже совсем взрослый джигит!

Тут она заметила Ажибека:

– Ажибек, это ты, мой мальчик? Ой, и шалун, и шалун! Что стоишь, словно я тебе чужая? Дай и тебя поцелую!

Ах, бабушка, бабушка! Ты, наверное, была готова перецеловать всех людей без разбору. Все они для тебя были родные и милые. Меня распирало от гордости за свою добрую бабушку. Из-за нее я и сам вырос в собственных глазах, как говорят, «едва не доставал макушкой до неба».

Бабушка было бросилась к очагу, собираясь угостить дорогого гостя, но Ырысбек не думал засиживаться и у нас, сказал, что только отведаст хлеба и отправится дальше.

За окном пролетели торопливые шаги, и тотчас в комнате появилась запыхавшаяся Назира. Увидев Ырысбека, моя старшая сестра смутилась, опустила глаза.

– Неужели это Назира?– удивился гость.– Как бы не взглянуть, совсем взрослой стала ваша внучка. Когда я уходил на фронт, она была сопливой девчонкой. А теперь такая красавица! – сказал Ырысбек, откровенно оглядывая мою сестру.

– Ты угадал, это мой свет, моя Назираш,– подтвердила бабушка, сияя.– Ну-ка, внучка, поскорей расстели

дастархан, хлеба нарежь и налей айран дорогому гостю. Ему некогда ждать.

Сестра мигом расстелила дастархан, нарезала хлеба, но вот вышла за айраном и почему-то задержалась.

– Куда же она пропала?– заволновалась бабушка.– Потерпи немного, сынок. Назира! Назира! Ты что там? Заснула?

Я стоял рядом с дверью и потому услышал шепот сестры:

– Канат, выйди ко мне.

Я выскользнул за дверь. Сестра стояла в прихожей, держала в руках два тостагана с айраном.

– Возьми отнеси. Я боюсь,– сказала она.– У этого Ырысбека какие-то... нехорошие глаза.

Когда, отведав хлеба, мы вышли из нашего дома и направились к другому, Назира вдруг спохватилась, выбежала следом, позвала меня:

– Канат, вернись! Я забыла сказать: мама поручила тебе что-то сделать!

Ах, как это было некстати. Признаться, я сопровождал Ырысбека не без удовольствия. Нам с Ажибеком тоже доставались почести, нас усаживали за дастархан, будто мы тоже были взрослыми, будто так же вернулись с войны. Но слово мамы было законом. Если уж она сказала, ты расшибись, а сделай.

– Ну что? Что она поручила?– пробурчал я, вернувшись.

– Нечего тебе ходить по домам. Лучше возьми топор да дров наколи. Ты ведь у нас самый старший мужчина,– с улыбкой добавила Назира.

– Ладно, наколю,– сказал я, с завистью глядя, как Ырысбек и его «заместитель» входят в соседний дом.

С этого дня Ырысбека словно подменили. Если прежний Ырысбек с утра до вечера лежал полуодетый да растрепанный дома и пел грустные песни, то этот, новый, ходил по аулу, мурлыча под нос веселенький

мотив, и по несколько раз на день начищал кусочком кошмы медные пуговицы на своей гимнастерке.

Но однажды он появился перед нами темнее тучи.

– Смирно!– скомандовал нам Ажибек и повернулся к Ырысбеку.– Товарищ главнокомандующий...

– Ажибек!– прервал его наш взрослый начальник. – Сейчас же принеси нож глухого Колбая. Да поскорей! Так, чтобы ноги земли не касались! Понял?

– Нож? Чей нож? Глухого Колбая?– начал было Ажибек, прикидываясь, будто он ничего не понимает.

– Даю тебе пять минут!– грозно произнес Ырысбек.

– Понял, все понял,– поспешно сказал Ажибек и помчался в аул.

Вернулся он скоро, – наверное, и минуты не прошло,– и протянул нож Ырысбеку.

– Убери эту гадость,– брезгливо отмахнулся Ырысбек.– Даю тебе еще пять минут! Отнеси нож в дом глухого Колбая, отдай его жене Апиш и расскажи, как и когда украл! А вы, – он указал на Садыка и Асета, – дойдете вместе с ним и проверите, так ли он сделал, как я приказал. И не вздумайте соврать! Я все равно узнаю.

Ажибек отнес нож, и сопровождавшие доложили, что он сделал все, как было велено.

– Встаньте в строй,– сказал Ырысбек и долго ходил взад-вперед перед нами и молчал, только шпоры звенели. Наконец он что-то надумал.– Ажибек, ты опозорил честь нашего воинского подразделения! Объявляю тебе пять суток ареста! – Он сунул руку в карман своих галифе и достал уже знакомый нам ключ от сарая. – Кайрат, отведи арестованного на гауптвахту.

– Есть!– с готовностью крикнул Кайрат.

Мы уже давно заметили, как он тщится занять место Ажибека. Бывало, придем к Ырысбеку, а Кайрат уже тут как тут – чистит ему сапоги или трет кусочком кошмы медные пуговицы. А однажды он не пустил заместителя в дом Ырысбека. Встал перед дверью:

«Подожди здесь, главнокомандующий пока отдыхает». Ажибек ничего не сказал, только стиснул зубы, покосившись на окно, из которого доносилось пение Ырысбека. Но в этот же день, когда мы перебежали «под огнем противника», он подставил ножку Кайрату, и тот грохнулся с разбега наземь. Кайрат сдержался, не заплакал, потому что взрослые говорят: кто заплачет во время игры, станет совершенно лысым.

И вот теперь Кайрат получил возможность отомстить Ажибеку.

– А что такое гупвахта?– спросил он, преданно глядя в глаза Ырысбеку.

– Гауптвахта,– поправил Ырысбек и сумрачно пояснил: – Место для дисциплинарного содержания.

– Ясно,– сказал Кайрат, хотя было заметно, что он ничего не понял.

Мы, остальные, тоже ничего не поняли. И только Ажибек догадался, что это такое.

– Веди в сарай, дурак!– сказал он своему конвоиру. Мы думали, что гордый Ажибек ударит, а он поднял руки вверх, как пленный, и сам пошел в сарай, в котором когда-то Ырысбек держал глухого Колбая.

Ажибек просидел в заключение до позднего вечера. Когда к сараю пришла его мать, он соврал, что находится здесь добровольно, что ему нравится сидеть взаперти. Потом появился председатель Нугман и открыл замок какой-то железкой, но и тогда Ажибек отказался выйти на волю.

Нугман ушел к Ырысбеку. Говорили они долго и громко препирались, однако, вернувшись, председатель сообщил, что Ырысбек отменил свое наказание.

– Честное слово?– спросил Ажибек и вышел после того, как Нугман поклялся своими предками.

Потом я спросил, почему он упорно не хотел расставаться с «гупвахтой».

– Ты что? Не понял, что такое военная дисциплина?– нахмурился Ажибек.

– Я сразу понял. Но ведь ты ножик не крал, а просто поднял с земли.

– А какая разница?– резко оборвал Ажибек. – Я подвел своего главнокомандующего. Будь мы настоящими солдатами, знаешь, что бы со мной сделали тогда? Давно расстреляли. А ты: «Почему? Почему?»

Я прикусил язык. Доводы Ажибека показались мне очень убедительными.

А в общем, как я уже говорил, Ырысбек повеселел в последнее время, словно полегчал тяжкий груз, принесенный им из пекла войны. И обучал он нас теперь без прежнего интереса, а однажды и вовсе распустил, повозившись с нами каких-нибудь полчаса.

– Все, ребята, я сегодня занят. Идите играйте в свой мяч. А ты, Канат, останься,– сказал Ырысбек, расправляя складки под ремнем. Он одергивал свою гимнастерку, наверное, каждые пять минут. Остановится или прервет разговор и одернет.

Ребята убежали играть, а мы остались вдвоем. Я стоял перед Ырысбеком, он оглядывал меня с ног до головы, будто впервые по-настоящему прикидывал, какая мне цена. Его острый взгляд, казалось, видел не только мои потроха, но и яблоневый лес, темневший за моей спиной, и траву, и листья, которые моя спина закрывала.

– По-моему, из тебя выйдет неплохой джигит,– сказал Ырысбек, довольный своим осмотром. – Есть секретное, важное дело. Я думал, кому поручить, и решил, что лучше тебя его никто не исполнит. Ты язык за зубами умеешь держать?

Я утвердительно кивнул. От радости у меня не хватало слов, чтобы заверить его в своей выдержке.

– Если так, вот тебе письмо. Отнеси его к старому амбару. Туда придет Зибаш. Отдай ей. И никому ни слова. Повтори!

– Есть никому ни слова, товарищ главнокомандующий Ырысбек ага!– воскликнул я и, не чуя ног от восторга, помчался к амбару.

– Стой!– крикнул Ырысбек. – Ты что, у всех на виду? Крадись стороной, как в разведке!

Я прошмыгнул задами, прячась от людей, и вышел к заброшенному амбару с другой стороны аула, сел у стенки и начал ждать.

Старый амбар будил во мне грустные воспоминания. Ведь именно здесь встречалась моя сестра Назира с Токтаром. И свидания тоже были окутаны тайной. Но если их тайна сейчас мне казалась чистой и прекрасной, то в секретном поручении Ырысбека я почувствовал что-то сомнительное, и оно уже не радовало меня.

Зибаш пришла к заходу солнца. Я торопливо сунул письмо в ее руки и побежал прочь без оглядки.

– Канат, что ты мне дал? Да погоди же, Канат! Куда ты?– закричала Зибаш.

Но я мчался во всю прыть домой. «Что дал? Что дал? Если не знаешь, зачем же тогда пришла к амбару?» – мысленно отвечал я Зибаш.

Придя домой, я умылся теплой водой, которую налила мне бабушка в таз, помазал цыпки на ногах сливками, потом поел перед сном. Мама и Назира остались на току, я знал, что они вернутся не скоро. А бабушка взяла малышей к себе в постель и начала рассказывать сказку. Но на этот раз я слушал ее вполуха и все время думал, почему Ырысбек сделал тайну из письма к Зибаш.

Я уже разделся и был готов забраться под одеяло, когда кто-то постучал в ближнее ко мне окно. С той стороны к стеклу прилипло круглое лицо Ажибека. Его и без того широкий нос еще более расплющился о стекло. Ажибек манил меня пальцем: а ну-ка, мол, выйди ко мне.

Я снова надел рубаху и штаны и выскочил во тьму, на улицу.

– Куда ты дел письмо, которое дал тебе Ырысбек?– сразу же напустился Ажибек.



Он застал меня врасплох, и я, забыв про обещание молчать, растерянно пролепетал:

– Отдал его Зибаш. Как он и велел.

– «Велел, велел!» Ну и осел же ты, Канат!– рассердился Ажибек не на шутку.– Влепить бы тебе по носу за это!

– За что?! Он ведь главнокомандующий наш. Ты сам говорил про военную дисциплину!

– Тьфу! Какой же ты бестолковый!– взорвался Ажибек. – Ведь то я про военное говорил, про общее, наше. А здесь личное дело совсем. Он не имел права тебе приказывать!.. Все, потерял я ее! Что теперь будет?! Что будет?!

– Кого ты потерял?– спросил я, ничего не понимая.

– Да Зибаш потерял.

– Как это можно ее потерять? Она же человек, а не предмет какой-то!

– Я жениться на ней хотел. Когда вырасту.

Он уже говорил об этом не раз. И мне каждый раз было смешно.

– Она же старше тебя. Она уже теперь взрослая,– сказал я, опять сдерживая смех.

– А, что тебе говорить! Ты все равно ничего не понимаешь, – ответил он с досадой. – Вот что, идем поищем Зибаш. Она еще домой не возвращалась. Ырысбек ее задержал. Не пускает.

Я заглянул домой, набросил пиджачок, и мы отправились на поиски Зибаш. Сначала подошли к дому Ырысбека, заглянули в окно. Самого хозяина не было. Дурия сидела возле очага, на котором стоял приготовленный ужин, ждала Ырысбека.

– Ага, я знаю, где они,– решительно прошептал Ажибек. – Они возле конюшни. Если не боишься, пойдем!

Кто из мальчишек признается в трусости? И мы побежали на конюшню.

Обычно летом конюшня была пуста. Лошадей угоняли на пастбище. Только арба Зибаш одиноко

чернела у коновязи. В темноте тяжело вздыхали быки, точно сетовали на свою нелегкую долю.

Мы подошли к строению с тыла и забрались по лестнице-стремянке на крышу. Прошлогоднее сено на крыше кое-где уже осыпалось; припав к одной из дыр, мы ясно услышали голоса Ырысбека и Зибаш.

– Ырысбек, постыдись,– говорила Зибаш, – у тебя есть жена. Ты ведь любишь Дурию.

Ырысбек зло отвечал:

– Я тоже так думал. Совсем одурел, когда вернулся домой. Был готов простить ей все. Но теперь-то пришел в себя, поумнел. Нет, мне не нужна женщина, которая поверила казенной бумажке. Я хочу такую, как ты, Зибаш!

– Не надо, пусти,– взмолилась Зибаш.– Неужели ты возьмешь меня силой?

– Возьму!– твердо сказал Ырысбек.

– Я ведь пришла к тебе, потому что ты был другом Темира.

– Темира уже нет, Зибаш!

– Ырысбек, я буду кричать!

– Что ж, кричи. Я не боюсь!

– Как только она крикнет, прыгаем прямо к ним. Мы ему покажем. Пусть не пристаёт к Зибаш,– шепнул Ажибек, весь дрожа.

Но Зибаш почему-то промолчала, а затем и вовсе рассмеялась.

– Ой, щекотно... Ырысбек, у тебя холодные руки... Я стесняя-ю-сь!

Ажибек издал какой-то придушенный звук, словно подавляя рыдания, и скатился с крыши на землю. Я спрыгнул следом за ним, но перед этим чуть-чуть замешкался, и Ажибек, почему-то не дожидаясь меня, припустил в сторону аула. Я погнался за ним, споткнулся о кочку и упал.

– Ажибек! Ажибек!– позвал я, но он не откликнулся.

Утром он пришел ко мне сам. Я привык видеть его вечно веселым, с улыбкой во весь рот. Но на этот раз Ажибек был хмур, сосредоточен.

– Канат, – сказал он, – передай всем: кто хочет дружить со мной, пусть даже не подходит к дому Ырысбека. Я-то думал, он настоящий главнокомандующий, сам на гауптвахту пошел, чтобы никто не думал, будто он утаил нож Колбая, а он... в общем, передашь?

Я молча кивнул.

Дня через два аул стал свидетелем ряда перемещений. Зибаш покинула свекра и свекровь и переехала в дом Ырысбека. Дурия вновь забрала свои вещи и, обливаясь слезами, вернулась к глухому Колбаю. Апиш, ругаясь, проклиная всех и вся, взвалила на спину постель и отправилась на ферму.

Пришел я как-то с улицы домой и застал в комнате Назиру, сестра прибежала за водой и как раз собиралась обратно на ток. Увидев меня, она обрадовалась:

– Как хорошо, что ты пришел! Я уже думала, тебя не дождусь. Ну, вот что: поешь, и пойдем со мной. Мама велела тебя привести на ток.

– Не могу. Я так занят, так занят, – сказал я, смекнув, что мать и сестра что-то задумали, а у меня были свои соображения насчет того, как провести вторую половину дня. Ну хотя бы поиграть в мяч с ребятами. Или во что-то другое.

– Ничего, отложишь свои дела и пойдешь. Я же ясно сказала: мама велела тебя привести, – строго напомнила сестра. – Ты из-за своих друзей Ырысбека и Ажибека совсем отбился от рук.

– А что я не видел там, на току? – спросил я, притворяясь удивленным.

– Малатас ты не видел. Сядешь за малатас и поможешь нам молотить зерно.

Напрасно язвила Назира. Я, конечно, знал, что такое малатас. Это камень, который тащила за собой лошадь по кругу. Так раньше молотили хлеб на току.

– Я еще маленький, – захныкал я, стараясь разжалобить сестру.

– Ага, работать ты маленький, а таскаться с Ырысбеком по домам ты уже взрослый? – рассердилась Назира. – У нас людей не хватает, не знаем ни отдыха, ни сна, а ему лишь бы бегать по улице! Вот как дам сейчас по шее!

В последнее время сестра стала очень похожей на маму: и характером, и лицом. И даже когда бранит, и то как будто бы подражает интонациям мамы. Теперь с ней лучше не связываться. Если сказала, что треснет по шее, то обязательно треснет. Тоже мамина привычка – слово держать.

Делать нечего, поел я нехотя – какой уж тут аппетит – и поплелся за сестрой, как собачонка. Пришли мы на ток, и сестра, как и обещала, посадила меня на гнедого коня, который возил малатас. До этого гнедым поочередно правили старик Байдалы и глухой Колбай.

– Хорошо вы придумали, – одобрил старик Байдалы. – И мы с Колбаем делом займемся, и коню легче будет. На, возьми поводья, Канат, и держи их натянутыми. Твоя мама комонес и бриадр<sup>1</sup>, и ты должен показывать пример другим ребятам. Если будешь работать как надо, они посмотрят и сами придут. Ты меня понял? – И старик Байдалы заговорщически подмигнул и отошел, очень довольный своей придумкой.

Гнедой скосил на меня большой добрый глаз, как бы спрашивая разрешения, и затопал по кругу, усталенному снопами хлеба, застучал копытами: дук-дук. И малатас покатился, запрыгал за ним, тоже застучал: дук-дук. Вот мы описали первый круг, потом второй... третий... четвертый. Гнедой шагал, склонив голову набок. Дук-дук! За ним катился малатас. Дук-дук! Круг повторялся

<sup>1</sup>Так он произносил слова «коммунист» и «бригадир».

за кругом, и вскоре перед моими глазами завертелось все: и столбы навеса, и лица. Вдобавок к этой беде шаг у гнедого был неровный, тряский, внутренности так и прыгали у меня в животе. Казалось, еще немного, и они оторвутся.

– Держись крепче, смотри не упади, – донесся словно откуда-то издалека голос старика Байдалы.

Я судорожно вцепился в седло и закрыл глаза, стараясь избавиться от тряски и головокружения. Но безжалостная, неодолимая сила тянула меня к земле, в центр круга. Звуки слились в сплошной фон, в ушах звенело.

– А ну-ка останови лошадь! – прорвался ко мне чей-то возглас.

Я натянул поводья, и гнедой разом остановился. Если бы кто знал, какое наслаждение просто сидеть и не двигаться. И люди, и столбы вернулись на свои места, прекратилась боль в животе.

– Отдохни, отдохни, – сказал старик Байдалы. – Ничего, скоро привыкнешь. Мы в твои годы целыми неделями не слезали с седла. Оставят тебя одного на всю степь, и ты пасешь табуны.

Пока собирали обмолоченное зерно, пока настилали новые снопы хлеба, я получил передышку, немного пришел в себя. К тому же Назира укоротила стремяна, подошла к моей ноге и подложила под меня свернутое одеяльце.

А потом снова меня затрясло, снова копыта выводили свое дук-дук, и тронулся с места ток, пошел вместе со мной по кругу. Но теперь я упирался ногами в стремяна, приподнимаясь в седле, и в этом сплошном кружении уже различал лица и голоса. Вот сестра Назира, она ободряюще улыбается мне, машет рукой... а вот глухой Колбай. Жаль, что нет мамы, она с утра у трактористов и поэтому не видит меня.

– Стой! – снова командовал старик Байдалы, и бывалый работяга-гнедой сам сошел с круга и остановился в стороне.

Оказывается, подошла новая передышка, а я еще ничего – сижу в седле.

– Молодец, парень, – сказал старик Байдалы. – И нам помогаешь, дай тебе бог долгой жизни, и сам, что называется, стал джигитом. Эй, Назира, передай, милая, матери: пусть устроит той! Ее сын стал настоящим джигитом!

– Ну, Багилаш от нас не отвертится! Вот сейчас мы повесим на ее сына тана<sup>1</sup> и все! – закричала, смеясь, одна из женщин по имени Нурсулу; она наполняла мешки зерном.

– Эй, подружки, пошарьте в карманах. У кого найдется тана? – подхватила другая, Калипой ее звали, и эта затея пришлась всем женщинам по душе.

Они восклицали, перебивая друг дружку:

– А монета с дыркой подойдет?

– А у меня есть несколько бусин! Годятся?

– Годятся, годятся! И монеты давайте, и бусины!

Женщины окружили меня и, смеясь и перешучиваясь, стащили с коня. Я краснел, сопротивлялся, но они все-таки нашили на ворот и подол моей рубахи несколько тана. После этого заставили меня повернуться раз-другой.

– Какой красавец!.. Ну, теперь твоей маме уже точно придется устроить той! – сказала Нурсулу.

– Ой, подружки, то-то у меня со вчерашнего дня чешется подбородок. Значит, наедемся вдоволь у нашего бригадира! – сказала Батика.

Они бы, наверное, еще долго крутили-вертели меня, да выручил старик Байдалы, подошел, разогнал женщин:

– Хватит, милые мои. Оставьте парня в покое. Да и за работу пора!

Когда я вечером буквально сполз с коня и встал на ноги, мне показалось, будто рост мой уменьшился, будто меня утрясло до такой степени, что теперь я

---

<sup>1</sup>Тана – амулет.

поднимаюсь всего лишь на вершок от земли. Земля шаталась под моими ногами, перед глазами все плыло, хотелось тут же лечь и никогда больше не подниматься. Но я боялся опозориться перед женщинами и стариком Байдалы. И перед глухим Колбаем, который, заметив мои тана, на этот раз все понял и похлопал меня по плечу. Они назвали меня джигитом; теперь ничего не поделаешь, нужно держаться, как и подобает джигиту. И я небрежно сказал обеспокоенной сестре, что чувствую себя великолепно, и, собрав все силы и стараясь ступать ровно, легко, отправился в аул.

Я зашагал по дороге, прямо на заходящее ярко-красное солнце. За моей спиной блеял козленок, но я решил, что ослышался, что это звенит в моих ушах. Но вот шум тока затих, а козленок будто бы все тащился за мной и жалобно блеял. Я не выдержал и оглянулся. Ну, конечно же, это был не козленок, а девочка Мари.

– Канат, подожди!.. Ну, постой же!.. Давай вместе пойдем!– просила она блеющим голосом, а сама шла неторопясь, ставила ноги так, будто считала шаги.

– Если хочешь вместе, быстрее шевели ногами!– ответил я, сердясь.

– А мне быстрее нельзя,– сказала Мари, чуть ли не хвалясь этим.

Обычно эта Мари носилась по улице как ветер. Только успеешь заметить ее в одном конце аула, как она уже смеется и что-то звонко кричит в другом. А тут ей, видите ли, быстро нельзя! Известные девчоночьи выкрутасы – вот это что! Но настоящий джигит не будет игрушкой в руках у какой-то девчонки, и я повернулся и вновь зашагал по дороге.

– Канат, миленький... Куда же ты?.. Подожди меня,– сразу же захныкала Мари.

– Я же сказал: иди поживей! Лично мне некогда.

– А я тебе сказала: мне быстро нельзя. Ты же ведь неглухой? Правда?

Может, ей и в самом деле что-то мешало, а между аулом и током в одном месте разлеглась заросшая камышом и черным рогозом лощина, по которой девчонки боялись ходить одни. Делать нечего, я подождал Мари.

– Ты что? Заболела?– спросил я, когда она подошла...

А Мари оглянулась на ток и таинственно зашептала:

– Я сейчас что-то тебе скажу, только тс-с... никому... Ой, какие у тебя на рубахе тана! Как ордена! А почему мне не повесят такие?

Вот и послушай ее, а я-то, простак, уже подставил ухо. Ну, типичная девчонка, и все тут!

Мари на год младше меня и учится ниже классом, но по росту она уже меня догнала. И я знаю, за счет чего. Ноги у нее такие же длинные, как у цапли. Мари все зовут «дочкой артиста». Отец ее, говорят, был настоящим артистом. После того как он ушел на войну, Мари вместе с матерью и младшим братишкой переехала в наш аул. От наших девчонок она отличалась своими городскими замашками. Ты с ней как с человеком, а она жеманится или кокетливо закатывает глаза. Мы, мальчишки, грозились когда-нибудь намять ей бока, чтоб не ломалась, но, признаться, в душе нам нравились ее манеры, казались очень красивыми. Не то что у наших неотесанных девчонок. И Мари, видно, чувствовала, что нравится нам, и потому угроз не боялась. Да и за что ее колошматить, если еще ко всему у нее был очень веселый, неунывающий нрав. Что бы ни случилось, ей все нипочем! Смеется, и только! Помнится, этой весной мать взяла ее с собой на окот овец, и там Мари завшивела. Когда она вернулась в школу, учитель Мукан-ага остриг ее наголо. Другая девчонка на месте Мари, наверное бы, ревела телкой, а она хоть бы что. Щелкнула себя по круглой голове и захохотала, закричала: «Ура-а! Теперь я мальчик! Я давно хотела стать мальчиком! А то все девочка да девочка. Надоело!» Она и одеваться с тех пор стала



по-своему: заправит платье в длинные трусы, и не отличишь от мальчишки.

Вот так и сегодня она была одета. Только странно как-то шла, еле передвигала ногами, словно у нее болел живот. Да и руками она за живот держалась.

– Да что у тебя болит?– спросил я, теряя терпение.

– Ничего не болит. Вот сейчас дойдем до лощины, и я тебе что-то скажу.

Но я на этот раз и бровью не повел, всем видом показал, как мне не нужны ее секреты.

Мы спустились в лощину по узкой тропе. Я шел впереди, Мари семенила за мной, то и дело хватая меня за плечо. От испуга, конечно. Девчонка есть девчонка, как ни ряди ее в штаны. А нас, точно настоящий лес, окружал густой и зеленый тростник. Он был так высок, что скрыл бы с головой и коня, не то что нас с Мари.

– А знаешь, Канат, здесь, говорят, водится дикая кошка, большая, с тигра величиной,– зашептала Мари.

– Ну и что? Нашла кого испугаться,– презрительно ответил я, а у самого затряслись поджилки: сам-то я об этом до сих пор не знал, ну то, что в тростнике водится такая огромная кошка.

– Да, испугалась. Я девчонка, а девчонки всегда боятся,– пояснила она, забыв, что с недавних пор сама считает себя мальчишкой.

Когда мы углубились в заросли, она снова заставила меня поволноваться, сказав:

– Ой, Канат, дай твою руку. Здесь я вчера видела такую змею... метров... тридцать длиной.

– Да хоть бы сто,– сказал я, храбрясь.

Наконец мы миновали лощину и по крутому склону поднялись наверх. Здесь нас опять окружала безопасная, открытая степь.

– Даже не верится, мы живые! Я думала, сердце разорвется от страха. Посмотри, как стучит, и Мари, не выпуская моей руки, положила ее на свою грудь.

Под моей ладонью застучало что-то маленькое и бойкое.

– Ну, а теперь я хочу тебе рассказать...– начала она в третий раз и, хотя вокруг, на целый километр, не было ни живой души, огляделась.– А тебе можно верить? – и пристально заглянула мне в глаза.

Я увидел перед собой ее расширившиеся глаза, прозрачные, светло-коричневые, с темными крапинками, и пожал плечами. Я не набивался в хранители чужих тайн, не хочешь – не верь.

– По-моему, глаза у тебя честные, ты никому не расскажешь,– сказала она с обидной снисходительностью и таинственно прошептала:– Слушай, я украла пшеницу.

– Ты?– удивился я.

– Тихо! Не кричи. Ну, конечно, я, кто же еще! Насыпала за пазуху – видишь, сколько? Ну, теперь ты понимаешь, почему я не могла быстро ходить? Смотри никому не проговорись. Если узнает уполномоченный из района или Нугман-ага, меня посадят в тюрьму.

– Ладно, не проговорюсь,– пообещал я, продолжая удивляться.

Я видел Мари на току, она все время крутилась возле своей матери. Когда же она сумела это проделать?

– А мама твоя знает об этом?– и я указал взглядом на ее пазуху, не решаясь произнести слово «хлеб».

– Ты что? Да она мне сразу голову оторвет, если узнает! У нее характер ой-ей-ей, как у твоей мамы!

– А зачем ты тогда взяла?

– Ты еще спрашиваешь? Ну, разумеется, чтобы есть. Вот мы с братишкой проголодаемся, пожарим зерна и съедем. Если хочешь, и ты приходи. Только сегодня поздно. А завтра пожалуйста.

– Ладно, подумаю,– ответил я уклончиво.

Когда мы вошли в аул, солнце уже скрылось в своем гнезде и быстро начинало темнеть. В домах затопили печи, дымы вырывались из труб, подпирали низкое

небо, точно столбы, и растворялись в его глубине. И в небе там-сям вспыхивали звезды, точно искры, вылетевшие из труб.

– Канат, хочешь серу?– спросила Мари.

– Земляную? Давай.

– Я в обед собрала. Если будешь ее жевать каждый день, у тебя станут белыми зубы. Как у меня.

Мари показала ровные белые зубы. При свете уходящего дня они напоминали два ряда жемчужин. Они были очень красивы, зубы Мари. А сама она опять кокетливо щурила глаза. Для меня лично.

– Хочешь, возьми мои тана!– предложил я в безотчетном порыве.

– Что ты, Канат?! Взрослые дали их тебе!

– Ну, тогда возьми хотя бы одну. Какая тебе больше нравится. Не бойся, никто не заметит!

– Если одну... Синенькую?.. Нет, красную!.. Или лучше вот эту, белую!

Она наклонилась к вороту моей рубашки и, коснувшись на миг горячим дыханием, перекусила нитку, которой была пришита белая бусина.

– Спасибо, Канат-ай!.. Ну, я пошла домой.

Мари повернула к дому, а я почему-то стоял и смотрел, как она уходит. И едва она исчезла за дверью, как тут же на меня с новой силой навалилась усталость. Странное дело: я о ней и забыл, когда болтал с Мари.

Придя домой, я сразу повалился на постель, даже не посмотрел на ужин. Такого со мной еще не было. Я лежал, прикрыв глаза, наслаждался покоем.

Сквозь дремоту до меня долетали звуки нашего дома. Вот скрипнула дверь, и бабушка сказала:

– Тише, он спит. Устал наш жеребеночек.

В узкую щелочку, оставленную между веками, я увидел мать. Она подошла ко мне, погладила по голове и вдруг улыбнулась. Наверное, впервые с тех пор, как пришла похоронка.

– Ты видела, с чем вернулся твой внук?– спросила мама, продолжая улыбаться.

– Откуда? Он сразу лег спать. И слова не сказал. А что у него?– спросила бабушка, встревожась.

– Тана у него на воротнике, а вот и на подоле. Это же бусина Нурсулу! А эта Батики!

– Дите мое дорогое, радость моя!– растрогалась бабушка.– Весь в отца своего! Я бы жизнь тебе отдала, мой верблюжонок! Дорогу твою собой устлала! – И она тоже склонилась надо мной, продолжая называть самыми нежными, самыми ласковыми на свете словами.

А я притворялся спящим, посапывал для пущей убедительности, довольный тем, что доставил такую огромную радость и бабушке, и маме. Мама гладила меня по голове, и от ее жестких, но теплых рук мое тело наливалось прямо-таки богатырской силой. Казалось, нет сейчас в мире такого дела, которого я бы не смог совершить ради того, чтобы она улыбнулась хотя бы еще раз. Я еле удерживался, чтобы не ответить на ласку, и продолжал притворяться спящим, мысленно говоря: «Бабушка! Мама! Подождите немного, я еще себя покажу!»

Кто-то неожиданно ущипнул меня за нос.

– Ой, хвастунишка, ой, притвора! Вы думаете, он спит?– сказала Назира.

Обласканный, упоенный своими заслугами, я и не заметил, как она вошла.

– Оставь его, дай ребенку поспать,– осадила мама сестру.

Я чувствовал, что еще немного – и мой рот расползется в улыбке, и потому зачмокал губами и перевернулся на бок, лицом к стене.

– Уберем хлеб и, если будем здоровы, нарежем козочку, устроим небольшой той. Позовем Нурсулу, Батику и других женщин,– сказала мама.

– А я откормлю козочку от желтой козы,– подхватила бабушка.

– Подумаешь, один день потрудился, старшим помог, а вы уже готовы кричать на весь аул: ах, у нас какой мальчик, прямо герой!– вмешалась Назира.

– Не забывай: это наш старый обычай,– с укором напомнила мама.

«Вот, вот, вечно сестра суется. Ей-то что?»– с досадой подумал я.

– Хороший обычай,– согласилась сестра.– А Канат здесь при чем? Если он что заслужил, так это хорошей взбучки. Нет чтоб самому явиться на ток да помочь взрослым, так он бегаёт почтальоном от Ырысбека к Зибаш. Сводник – вот он кто!

– Назира, думай, что говоришь!– рассердилась мама.

– Не верите, спросите у него самого.

Я чуть не задохнулся и от стыда, и от возмущения. Значит, когда я устраивал ее встречи с Токтаром, то сводником не был?! А тут почтальон? Ну, погоди, Назира, я тебе это припомню.

– Хватит болтать,– сказала мама ужасно усталым голосом,– пойди потолчи пшеницу для супа!

Сестра молча вышла в прихожую, и вскоре оттуда донесся стук пестика в ступе.

Потом бабушка и мама заговорили о колхозных делах. Кому-то может показаться, будто у бабушки нет других интересов, кроме нашего домашнего очага. Но это не так, ее очень волнует все, что происходит за стенами родного дома. Вот и сейчас она принялась расспрашивать маму об урожае, каким он ожидается в этом году. Мама отвечала, что урожай в этом году будет, не большой, не малый, средний, в общем, урожай, но если собрать его без потерь, то хватит и для сдачи государству, и останется колхозу на семена.

– А на трудодень-то сможете что-нибудь дать?– спросила бабушка, и я почувствовал, что она затаила дыхание, ожидая, что скажет мать.

– Не знаю... Ох, трудно, очень трудно...– И мама горестно вздохнула.– Будь она проклята, эта война!..

Словом, у соседей сгорели хлеба. Видно, выручать их придется нам. Внести и соседскую долю. Сегодня Нугмана вызвали в район. Наверное, по этому поводу.

– О, аллах, создатель наш, будь милостив, – попросила бабушка и деловито спросила: – Чем косите? Машиной?

– На равнине, за ручьем лобогрейкой. Да нет хороших запчастей. Пройдет круга два, и стоп – поломка! А кузнеца отремонтировать нет, – пояснила мать, переходя на тот же хозяйский тон.

– А чем Карл не кузнец? Тот маленький немец?

– Он, бедняга, старается от всей души. Да ведь мальчик еще. Починит деталь, а она ломается опять.

– Еще не умеет варить железо, – авторитетно определила бабушка. – Какой кузнец был Акаттай! Всем кузнецам кузнец! Где он теперь воюет?.. Ай, что мы сидим, ну-ка ложись. Тоже устала, а вставать утром рано.

– Да некогда ложиться, сейчас обратно пойдем на ток. Нужно отправить на станцию шесть телег зерна, а возниц не хватает. Я и забежала-то на сына посмотреть. Встретила старика Байдалы, тот и говорит: твой Канат работал как лев. Ну и подумала: здоров ли, может, надорвался.

– Здоров, крепкий мальчик растет, – сказала бабушка. – Ты и Назиру с собой заберешь?

– Пусть поможет грузить зерно. Поспит там же, на току... Ладно, надо идти. Что-то к ночи поясницу ломит. Видно, к холодам. Эй, Назира, ты растерла пшеницу?

– Растерла, – сказала сестра, появляясь в комнате.

– Сейчас пойдем... Вот беда, кто поведет две телеги? Ума не приложу. Этот нужен, и другой нужен. От работы не оторвешь.

– На одной телеге поеду я, – сказала Назира.

– Я уже думала. Да только на станции нужно мешки таскать на себе да ссыпать зерно в окошко амбара!

– Интересно ты рассуждаешь, мама. По-твоему, я еще ребенок, который ни на что не способен. Да если хочешь знать, я не один, а два мешка подниму.

– Какая же ты упрямая, – вздохнула мама. – Оденься потеплей.

– Я поеду на станцию? – обрадовалась сестра.

– Там посмотрим. Зайти, что ли, к Ырысбеку, с ним поговорить? Здоровый мужчина, хоть бы пальцем пошевелил – помог родному колхозу. И Зибаш вдобавок с толку сбил, сегодня не вышла на работу. Вот бы и отправить их вдвоем... Пойду, попытаюсь.

– Багилаш, будь с ним осторожна, – забеспокоилась бабушка. – Говорят, кровь у него на войне почернела, как бы не покалечил тебя!

Как только мама и сестра вышли из дома, я сел на постели и спросил:

– Бабушка, может, мне с ними пойти?

– Значит, ты вправду не спал? Ну, иди с ними, проводи. Ты же знаешь характер твоей матери. Если что, тяни ее за подол, уведи от беды.

Маму и старшую сестру я догнал у дома Нурсулу. Мама стучала в темное окно и звала хозяйку.

– Кто там? Это ты, Багилаш? – откликнулась Нурсулу сонным голосом.

– Я, я! Выйди ко мне на минутку, – попросила мама.

Нурсулу появилась в дверях, застегивая на ходу безрукавку и сладко зевая. Если на свете и вправду водятся женщины-батыры, то Нурсулу наверняка из них самая сильная. Я не раз видел ее в работе. Коса и лопата летали в ее руках легко, словно воздушные. Помню, грузили зерно, – что там старик Байдалы, глухой Колбай в свои тридцать пять и тот не мог за ней угнаться. Злился, пыхтел, а ничего не получалось. Говорят, на праздниках, до войны, она выходила бороться с мужчинами и нередко бросала их на лопатки. А с тех пор как джигиты поуходили на фронт, так и повелось: где работа потяжелей, туда идет Нурсулу.

– Женщины, что случилось?– спросила она басом.

– Милая, извини. Я знаю: ты две ночи не спала. Но я хочу поговорить с Ырысбеком, пусть хоть немного поможет. У одной, боюсь, не получится,– пояснила мама.

– Я пойду с тобой. Пора за него взяться,– сурово сказала Нурсулу.

– Возьмем с собой и Батику,– решила мама.

Теперь они уже втроем перешли к дому Батики. Я, пока еще стараясь быть незамеченным, крался следом за ними.

– Кто там?– спросила Батика, услышав стук в окно.

– Это мы, джигиты!– пошутила Нурсулу. – Выходи выбирай: кто тебе по сердцу!

– Ну, уж не с таким басом, как у тебя. И к тому же ты – простая колхозница. Что с тебя возьмешь? Если уж выбирать, так джигита-бригадира,– ответила Батика, открывая дверь.

– Надеешься на поблажку? Напрасно, такой бригадир тебя первой на работу прогонит. Чтобы заткнуть сплетницам рот,– возразила Нурсулу.

Женщины еще немного позабавились над своей шуткой, потом мама посвятила Батику в суть дела.

– Правильно вы задумали,– одобрила Батика. – Нагоним на него страху! Ну, держись, Ырысбек!

Тут остроглазая Назира заметила меня и сказала маме:

– Вот он, твой спящий герой! А я что говорила?

– Канат, зачем ты встал? А ну, сейчас же домой! – грозно прикрикнула мама.

– Меня бабушка послала. На помощь,– сказал я, хныча и по-прежнему держась на безопасном расстоянии.

– Помощник нашелся! Я что сказала!– не унималась мама.

Я уже собирался подчиниться, да заступилась Нурсулу:

– Не кричи, Багилаш, пусть идет с нами. А еще лучше – пусть позовет Калипу и Саруе. Больше женщин – больше шума!



Я помчался по спящему аулу, разбудил Калипу и Саруе и привел их в наш отряд.

– Посмотрим, посмотрим, какой храбрый воин Ырысбек,– сказали Калипа и Саруе, боевито засучивая рукава.

Мама повела отряд к дому Ырысбека. В его окнах горел свет, и это возмутило Нурсулу:

– Конечно, не спит. Чем же тогда ему днем заниматься?

Мы подошли и заглянули в окна: Ырысбек, как всегда, лежал на спине и наигрывал на домбре, а Зибаш сновала перед очагом, готовила ужин.

– Стыда у них нет,– не унималась Нурсулу. – Ишь, нашлись Козы и Баян. Раздеть бы их догола, привязать спиной друг к другу да в яму с холодной водой.

– Нурсулу, здесь ребенок,– строго сказала мама.

– Зло берет, когда видишь таких,– прогудела Нурсулу, оправдываясь.

– Сделаем так: вы подождите в прихожей, а я войду одна. Может, обойдется без скандала,– сказала мама.

Мы ввалились в прихожую и остались там, а мама прошла в комнату. Я тут же припал к дверной щели и увидел и Ырысбека, и Зибаш, и мою маму.

– Добрый вечер,– сказала она, стараясь быть вежливой.

Ырысбек только бросил на маму недовольный взгляд и снова забренчал на домбре. А растерянная Зибаш засуетилась вокруг мамы, лепеча:

– Ой, тетя, это вы... проходите сюда... присаживайтесь.

– Ничего, я и здесь постою. Не в гости пришла, а по делу,– сказала мама, видно уже потеряв выдержку.– Ты что же думаешь, если будешь лежать под боком нового мужа, то тем самым победишь герман<sup>1</sup>? Почему не пошла на работу?

– Тетя, я только сегодня... сегодня...

---

<sup>1</sup>Германы – искаж. германцы.

– Ты сегодня, другая завтра? В такое-то время, когда не хватает людей!.. А ну, собирайся и запряги быков. На станцию зерно повезешь! И ты, Ырысбек, свет мой, поднимайся, повезешь зерно на другой подводе. Довольно на шее сидеть у стариков и женщин. Стыдись!

Зибаш принялась одеваться, боязливо поглядывая то на маму, то на своего нового мужа. А тот и бровью не повел, словно мама не к ним обращалась, только лениво сказал:

– Зибаш-ай, давай ужин и стели постель. Поедим да спать будем ложиться.

– Сейчас... сейчас...– вконец растерялась Зибаш и начала раздеваться.

Мама повернулась к Ырысбеку и прикрикнула:

– Я, кажется, ясно тебе сказала: а ну-ка, вставай!

– Зибаш-ай, покажи этой женщине дверь. Войти она вошла, а как выйти – не знает,– спокойно произнес Ырысбек.

– У, негодяй,– прошептала над моей головой Нурсулу.

Я никогда не видел маму такой разъяренной. Резкое слово она могла любому сказать или отшлепать нас, своих детей, за дело. Но чтобы мама подняла руку на другого человека, такого за ней не водилось. А тут она шагнула к Ырысбеку и огрела камчой.

Ырысбек оцепенел на мгновение, затем вскочил как ужаленный и бросился с кулаками на маму, огромный, дрожащий от злобы. Но мама отступила к стене, вторично стеганула Ырысбека камчой и позвала холодным, спокойным голосом:

– Эй, женщины! Держите его!

Женщины, только и ждавшие своего часа, ворвались, толкая друг друга, в комнату, и раньше всех, конечно, Нурсулу.

– Только посмей ее тронуть, мы тебя тотчас растеребим, словно шерсть!– грозно набросилась она на

Ырысбека.– Думаешь, кровь портят только на фронте? У нас здесь тоже черная кровь! У нас здесь тоже война! Только враг далеко, не можем до него добраться и убить. А ну-ка, подруги, свяжем его по рукам и ногам!

Ырысбек ошеломленно попятился назад, бормоча:  
– Вы что? Что вам надо?

Затем его лицо перекошилось, будто он собирался чихнуть. Ырысбек закрылся широкой ладонью и зарыдал.

– Она подняла на меня руку! Она ударила меня! Два раза ударила! Камчой! Как я унижен!– говорил он, плача, и между его толстыми пальцами лились настоящие слезы. – Да, да, я унижен! А вы что же ждете? Рвите меня на куски! Топчите! Возьмите легкое мое, пробитое фашистской пулей, и бросьте его диким собакам. О злая судьба, зачем ты оставила меня живым? Чтобы потом унижить меня? Несчастный я, несчастный!

Женщины не ждали такого и растерянно замолчали. Я тоже такого не ожидал от своего бывшего главнокомандующего.

– Не надо, Ырысбек. Тебя не хотели обидеть,– заволновалась Зибаш, погладила его по плечу.

– Да, да,– согласился Ырысбек, вытирая слезы,– они все дорогие мне женщины. Родные, как сестры-близнецы. Батилаш! Нурсулу! Батика! Калипа! Саруе!

И вдруг он оглушительно захохотал, затрясся от смеха, согнулся в три погибели, схватившись за живот.

– Ну, женщины!.. Ну и молодцы!.. Как вы меня...

Теперь мы и вовсе растерялись, не зная, как все это понимать. А Ырысбек, повеселившись вдосталь, как бы устав, сел на постель и приветливо сказал:

– Присаживайтесь, милые женщины, суженые моих братьев! Проучили вы меня, спасибо за науку!.. Куда пошлете, туда и пойду. Скажете: сядь на арбу, сяду на арбу! Скажете: ступай на ток молотить хлеб, и буду молотить! Багилаш, слово джигита: сделаю все, что прикажешь, любую работу! И ведь надо же, там, на

фронте, себе говорил: вернусь в родной аул, буду трудиться не покладая рук. А вернулся и стал, выходит, собакой!.. Дорогие, простите меня!– с чувством произнес Ырысбек. – И поужинайте с нами, а потом мы вместе с вами пойдем на ток. Зибаш, поставь скорее ужин!.. Садитесь, женге, не стойте, не брезгуйте нашим дастарханом!

Женщины удивленно переглянулись, не ожидая такой легкой победы, и стали усаживаться вокруг дастархана.

– Пока Зибаш накрывает, я вам поиграю,– сказал Ырысбек и потянулся за домброй.

– Да, ты уж нам поиграй,– попросила Нурсулу, устраиваясь поудобней. – А то играешь только для себя и своих...– Она взглянула на меня и не сказала, кого имела в виду.

Ырысбек настроил домбру, откашлялся и пояснил:

– Эту песню я сочинил, когда лежал на поле боя, сраженный фашистской пулей. Перед моим взором проходили картины родной земли, лица моих аульчан. Ваши лица, женге! Я думал: неужели никогда больше их не увижу? И от этой мысли мне было больней, чем от смертельной раны.

Женщины жалостливо вздохнули, Батика и Калипа вдобавок провели ладонями по глазам. А Ырысбек ударил по струнам и затянул печальную песню. Он пел о том, как, попрощавшись со своим народом и родной землей, отправился бороться с чудовищем-врагом, как шел сквозь ливень пуль и палящее пламя, как, подобно тигру, бросался он на фашистов, и был внезапно ранен, и остался лежать на поле битвы, истекая потоками крови, и как привиделись ему лица дорогих людей, и он сожалел о том, что не всегда их ценил, отдаваясь пустой житейской суете.

Из глаз Ырысбека, как и в день приезда, вновь хлынули ручьями слезы. Но мне показалось, будто он украдкой следит за тем, какое впечатление про-

изводит его песня на нас. Я тоже посмотрел на лица женщин. На них было написано самое искреннее сострадание к певшему.

– Бедный! Как, наверное, тяжело ему было!– вздохнула Саруе.

Ее слова как бы добавили масла в огонь, женщины не удержались и всхлипнули.

Прощайте, женге, будьте всегда молоды!

Вы давали мне мед, когда я просил всего лишь воды!

О жизнь, ухожу я рано, как жаль,

Что никто не узнает про мою печаль,–

почти торжествуя, закончил Ырысбек и положил ладонь на струны, как бы успокаивая, останавливая их.

На минуту в комнате воцарилась значительная тишина, затем женщины горячо заговорили:

– Спасибо тебе, Ырысбек!

– Будь счастлив! Чтобы ты больше никогда не знал горя!

– Пусть будет светлой ваша жизнь с Зибаш!

От их давнишнего возмущения не осталось и следа. Мне снова почудилось, будто Ырысбек заговорчески подмигнул мне, а женщинам он проникновенно ответил:

– Спасибо, женге, за то, что вы разделили со мной мою боль! Но не будем больше поддаваться переживаниям... Зибаш, ну где же твой суп!

Зибаш поставила посреди дастархана большую деревянную миску, наполненную до половины супом с лапшой. Ырысбеку женщины налили в отдельной тостаган, заботливо сказали:

– Ты мужчина, тебе нужно больше. И на нас не смотри.

Только мы принялись за еду, как за окнами послышались громкие шаги, и в дверях возникла сумасшедшая Бубитай, худая, грязная, в разорванном платье. Она обвела нас безумным взглядом и злорадно произнесла:

– Пируете? А меня не позвали на той? Так я пришла сама!

Сказав это, Бубитай села на пол у порога и забылась. Все притихли, перестали есть.

– Несчастливая женщина,– сказала Нурсулу. Бубитай встрепенулась, зашарила по своим лохмотьям.

– Где же мои конфеты? Пойду пить чай!

Из прихожей донесся шорох, потом за спиной Бубитай нерешительно появилась ее племянница Тоштан.

– Ой-ей-ей, она опять за мной пришла!– завопила сумасшедшая и бросилась в глубь комнаты, прямо к Ырысбеку.

Перепуганный Ырысбек отскочил к Зибаш, сидевшей у печки.

– Тетя не слушается, бегаёт от меня,– виновато сказала Тоштан.

– Ага, этот суп поставили для меня?– спросила Бубитай, заметив тостаган Ырысбека.

– Для тебя поставлен, для тебя. Ешь, Бубитай,– торопливо сказал Ырысбек.

Бубитай набросилась на суп, жадно его глотала, опасно косясь по сторонам, словно кто-то мог отнять ее добычу.

– Тоштан, детка, иди сюда, поешь,– сказала моя мама и протянула девочке ложку.

Тоштан с наименьшей голодной поспешностью хлебала суп, отвечая на вопросы женщин.

– Ты не боишься оставаться с тетей вдвоем?– спросила моя мама.

– Вначале боялась, теперь не боюсь.

– А она слушается тебя?

– Если не слушается, я бью ее хвостинкой. А когда ложимся спать, связываю ей руки.

– Свет мой, зачем?– ужаснулась Калипа.

– Иначе она задушит меня. Примет за кого-то другого и задушит. Так уже было два раза.

Бубитай выскребла ложкой остатки лапши, поплевала по сторонам, бормоча какие-то заклинания, поднялась и, ни на кого не глядя, наступая на ноги сидящим, направилась к дверям.

Тоштан тоже встала и пошла за Бубитай. На пороге она задержалась и сказала с мольбой моей маме:

– Апа, можно, я немного поработаю на току? А то скоро зима, нам с тетей есть будет нечего.

– Конечно, свет мой, приходи поработай. А колхоз вам с тетей поможет как семье фронтовика.

Тоштан благодарно улыбнулась и скрылась за дверью. В комнате установилась тягостная тишина.

– Ну и напугала меня Бубитай, страшней, чем на фронте, – засмеялся Ырысбек, стараясь развеселить гостей.

Но его шутку не поддержали. Женщины угрюмо молчали.

– Ырысбек, дай-ка мне табаку, – наконец промолвила Нурсулу.

Ырысбек протянул Нурсулу свой фронтовой кисет, с какой-то надписью, вышитой по-русски, и тут же к табаку потянулись Саруе и Калипа:

– Поделись с нами, Нурсулу.

Женщины свернули самокрутки, и комната наполнилась густым, едким дымом, от которого запершило в горле, защипало глаза. Я закашлял.

– Тю-тю, задымили, – сказала моя мама, разгоняя руками дым, – можно подумать, в комнате мороз.

– Если не в комнате, то в душе уж точно все леденеет, – ответила Саруе.

– Не сердись, Багилаш. У нас, может, последняя радость осталась – вот этот вонючий табак, – сказала Нурсулу. – Или, по-твоему, мы и ее не заслужили?

– Бог с вами, курите, – сказала моя мама и спохватилась: – Мы тут сидим, а время идет. Ничего, докурите по дороге. Зибаш, когда соберетесь с Ырысбеком, приходите на ток. А я пока прослежу, как грузят мешки. Взойдет луна, тронетесь в путь.

– Хорошо, тетя. Придем!– горячо сказала Зибаш.

Когда мы вышли из дома, Батика удивленно сказала:

– Женщины, что с нами случилось? Шли к нему как гроза, а пришли и обмякли.

– Только и смотрели в рот этому бездельнику,– проворчала Нурсулу.

– И ты, между прочим, первая. «Ах, спой нам, Ырысбек!»– ехидно напомнила Батика.

– Ох, женщины, до чего же нас довела война. Увидели мужчину, да какого? Лгуна и лентяя! И обо всем позабыли,– вздохнула Калипа.

– Может, он нас обманул, а мы развесили уши?– встревожилась Саруе.– Ведь этот Ырысбек настоящий артист. Не знаешь, когда он правду говорит, когда играет.

– Он слово дал и, как джигит, слово сдержит,– вступилась Нурсулу.– И пусть только попробует обмануть, я его, окаянного, так тресну, что он у меня к стенке прилипнет!

– Только уж, пожалуйста, не убей,– засмеялась моя мама и вдруг что-то заметила:– Стойте, женщины! Чувствуете? Ветерок?

Женщины замерли. С гор дул прохладный мягкий ветерок, он принес в аул запахи яблоневого леса. Женщины молчали, видно, каждой ветер напомнил о чем-то своем, дорогом.

– Дует. При таком ветре в самый раз веять зерно,– сказала моя мама вдруг будничным тоном.– Идите, подружки, спать.

– А ты куда?– спросила Нурсулу.

– Я же говорила, мы с Назирой на ток.

– Пойду и я с тобой,– решила Нурсулу.– Дети спят, не хочу их будить. Да и не заснешь уже. Вместо того чтобы ворочаться с бока на бок, лучше помогу тебе. Батика, а ты подоишь утром и мою корову.

Я тоже собирался пойти на ток – вместе так вместе до конца, но Назира взяла меня за руку и, словно ей больше всех было нужно, сказала:



– А тебя, Канат, я отведу домой. И бегом! Понял?

И потянула меня за собой. Наш топот на пустынной улице собрал всех собак. Они бросались на нас с разных сторон, пытаясь схватить за ноги. Я втайне надеялся, что сестра побоится и повернет назад. Но она бесстрашно бежала вперед, отмахиваясь палкой.

С тех пор я каждый день приходил на ток и, забравшись на гнедого, возил малатас. Голова моя вскоре привыкла к постоянному круговерчению, перестала кружиться, и к трясучему ходу коня я приспособился быстро, привставал слегка в стремях в такт лошадиному шагу. Сидишь себе на гнедом, подпрыгивая под его «дук-дук», да гордо поглядываешь по сторонам, а взрослые говорят: «Маленький, а помощь от него большая».

Слыша такое, другие ребята тоже потянулись на ток. Вначале пришли Батен и Самат и тоже сели на коней с малатасом, потом появились Асет и Садык, а за ними и уж все остальные. Ажибек и тот не утерпел, и хотя работать не любил, пришел добровольно. Его, как старшего по сравнению с нами, посадили на молотилку. Он бросил нам торжествующий взгляд и весь день работал азартно, стараясь всем показать, что он не такая мелочь, как мы. А вечером, сходя с молотилки, Ажибек чуть не упал, ноги его от усталости подкосились.

– Ну и ну,– произнес он, смеясь и удивленно качая головой. – Это же не работа, ад – вот что это! И ведь никто меня не заставлял, сам пришел, ну не дурак ли, а? А все из-за тебя, недотепа! – И он шутиливо стукнул меня по затылку.– Ты что же, не видел, что здесь творится? Но ничего, что-нибудь придумаем. Где наша не пропадала!

Он в самом деле что-то придумал, и с тех пор его молотилка меньше работала, а больше стояла. На второй день Ажибек не смолотил и десятка снопов.

– Ой-ей-ей, вот беда! Опять испортилась молотилка!– извещал он то и дело и после шел на сено,

плюхался на бок и блаженствовал, пока старик Байдалы и глухой Колбай, подступив с двух сторон, чинили машину.

После ремонта Ажибек возвращался на место, и минут пять спустя все повторялось снова. Ажибек кричал: «Беда!», валился на сено, а старик Байдалы и глухой Колбай, чертыхаясь, возились с молотилкой.

Вечером, когда мы все вместе возвращались в аул, Ажибек снисходительно сказал:

– А вы, недотепы, все кружитесь да трясетесь? Не знаете, что придумать, а? Ладно, я вас научу, нет сил смотреть на ваши муки. Сделайте так: расслабьте винтик, который скрепляет ремень. И тот через десять шагов сам упадет в солому. Пока взрослые будут копать, искать винтик да ставить его на место, вы успеете отдохнуть. И так можно несколько раз. Не послушаете меня, превратитесь в безумных баранов. Ты видел, как вертится безумный баран? – спросил он Батена.

– Видел, – прошептал испуганный Батен.

– Он кружится, кружится на одном месте, пока не упадет. Вот так и будет с вами, если не послушаете меня, – предупредил Ажибек.

Его слова напугали и нас. На другой день мы попытались сделать так, как советовал Ажибек, – расслабить винты, но у нас ничего не вышло. Те были привинчены будто навеки, и три малатаса, как и прежде, до самого вечера молотили хлеб.

А дня через два старик Байдалы разгадал хитрые уловки Ажибека и предупредил его, угрожающе подняв лопату:

– Еще раз ослабишь болты – убью!

– Только попробуйте ударить, знаете, что с вами уполномоченный сделает, товарищ Алтаев? Посадит в тюрьму! – ответил Ажибек, однако молотилку больше не портил.

Однажды, во время короткой передышки, ко мне подошла Мари. Она вместе с другими девочками

помогала сыпать зерно в мешки да выполняла всякую мелкую работу, которая была не чета моей.

– Возьми, еще для тебя собрала,– шепнула Мари и вложила в мою ладонь кусочек земляной серы.

На щеках у нее темнели синяки. Заметив мой удивленный взгляд, Мари, вздохнув, пояснила:

– Это мама отгаскала меня за щеки. Братишка ей все рассказал. Про пшеницу. Она еще отстегала меня хворостиной. Даже больно сидеть,– добавила Мари с невольной гордостью.– Тебя когда-нибудь били?

– Я никогда не брал пшеницу.

– Да, ты не брал,– подтвердила Мари и снова вздохнула.

Мне было жаль ее почему-то, ведь сама-то Мари в общем-то не очень переживала.

– Эй, малец, садись на коня!– крикнул старик Байдалы, закончив настилать новые снопы пшеницы.

– Канат, дай я за тебя разок повожу,– попросила Мари.

– Пожалуйста,– сказал я и придержал стремя.

– А ну-ка, ребята, бросьте баловать!– прикрикнул старик Байдалы.– Мари, свет мой, здесь тебе не театр. Иди делай свою работу!

Мари бросила обиженный взгляд и ушла к своим девчонкам.

– А ты что перед девчонками лебезишь?– сердито спросил старик Байдалы, подсаживая меня на коня.

– Да вы в его возрасте вообще взяли жену. Сами говорили об этом,– сказал Ажибек, подтрунивая над стариком.

– То вы, а то я. Лучше подотрите носы, сорванцы!– вконец рассердился старик Байдалы.

– Если вам верить, то при баях все было лучше, чем в наше время. Вот возьму и расскажу уполномоченному из района,– пригрозил Ажибек.

– Голова твоя тыквой! Да разве я баев хвалил? Будь проклято старое время!– разозлился старик Байдалы.

Но в голосе его слышался испуг. – И от кого только родилась такая собака? Твой отец был умным человеком, вся округа смотрела ему в рот, каждое слово ловила! А мать не обидела бы и овцу, не то что человека, травинки бы у нее не отняла. А ты на кого похож?

– На товарища Алтаева!

– То-то и видно, – скривился старик Байдалы.

– Ага! А вы считаете, что он плохой? Пойду скажу ему об этом...

– Ну, ну, ты не так меня понял. Я ведь тоже хочу тебе только доброго, – сказал старик Байдалы торопливо.

– А-а, нагнал я на вас страху? Вместо двух глаз сразу стало четыре? – победно сказал Ажибек.

Старик Байдалы только махнул рукой и побрел на другой конец тока, бормоча что-то под нос. А вскоре мы услышали знакомый возглас Ажибека:

– Сломалась, опять сломалась! Беда!

Но оказалось, что Ажибек просчитался, рано начал праздновать свою победу. Он не заметил, как на току появился уполномоченный из района. Товарищ Алтаев всегда возникал неожиданно, будто появлялся из-под земли. Мы считали, что он на другом, самом дальнем участке колхоза, а он тут как тут. Можно было подумать, что он одновременно находится везде.

Увидев, что молотилка остановилась, уполномоченный сразу устремился к Ажибеку.

– Кто ремонтировал машину? – спросил он, грозно сверкая глазами.

– Да ведь я закрутил... – пробормотал несчастный старик Байдалы.

Аксакал, как и все, очень боялся этого уполномоченного. Тот ходил вечно суровый – брови нахмурены, губы твердо сжаты. Один пустой рукав выгоревшей добела гимнастерки заправлен за ремень. Руку он, говорят, потерял на фронте, в ожесточенных боях на Волге.

Я слышал, как женщины сетовали между собой:

– Другие уполномоченные были как люди. Сидят себе в доме председателя да попивают чай, а этот ни себя не жалеет, ни других. Так и следит, точно мы все жулики.

Он и вправду никому не давал покоя ни ночью, ни днем. То туда, то сюда посылал Нугмана и маму мою и сам будто бы находился в непрерывном походе, даже шинель носил повсюду с собой, повесив ее на сгиб целой руки. И только дом не очень-то надрывающегося на работах Ырысбека он почему-то обходил стороной.

Отругав старика Байдалы, уполномоченный уселся на горку соломы и оттуда, точно с кургана, смотрел за работой, ощупывал каждого взглядом. Когда же настало время обеда и женщины собрались в аул, уполномоченный с криком «стой, всем оставаться на месте!» скатился со своего командного поста.

– А теперь пусть тот, кто украл зерно, вернет его на место! Или я обыщу каждого сам!– пригрозил уполномоченный, загораживая собой дорогу.

И женщины, краснея, стыдясь друг друга, стали вытряхивать зерно. Горсть из кармана, полгорсти из шерстяного чулка.

Товарищ Алтаев еще строже нахмурил густые брови, еще крепче сжал узкие губы и дрожащим от возмущения голосом произнес:

– Товарищи! Сейчас у нашего народа единая цель – разбить фашистских оккупантов, срубить их под самый поганый корень! И Красная Армия под руководством партии гонит врага все дальше и дальше, прочь с нашей советской земли! Но, товарищи, это дается нелегкой ценой! Я сам был на фронте и знаю – какой! Там не только пуля твой враг. Чтобы добыть победу, нашим славным бойцам приходится мерзнуть в окопах, ходить в атаку по пояс в холодной воде и не смыкать сутками глаз!

– Горемычные, как же им там достается,– вздохнула Батика, и другие женщины тоже завздохали, жалостливо, тяжело:

– Бедные...

– Скорей бы это закончилось.

– Вот-вот!– злорадно подхватил уполномоченный. – А здесь далекий тыл. Не свистят здесь пули, нет снарядных разрывов. И от вас требуется всего лишь одно: отдать все, что у вас есть, в помощь бойцам Красной Армии! Не так ли?

– Конечно, так,– подтвердил старик Байдалы.

– А что делаете вы? Все наоборот! Крадете хлеб у тех же героических воинов! Вот вы, женге,– уполномоченный указал на Калипу,– кто у вас воюет на фронте?

– Муж и брат.

– А вы у них отнимаете хлеб, без которого нет скорой победы!

– Я горсточку взяла, всего лишь одну,– прошептала Калипа, глядя в землю, словно отыскивая щель, в которую можно провалиться от смущения.

– Дома у нее трое детей,– вступилась было Саруе.

– А муж и брат ради кого дерутся на фронте? Не ради наших детей?– жестко усмехнулся уполномоченный.

– Какой позор! Лучше бы мы с голоду подошли,– в сердцах сказала Калипа.

– Вы горсточку взяли? Всего? Да, это немного, почти ничего,– продолжал товарищ Алтаев.– Но горсточку взяли и я, и она, и она. Вот эти ребята по горсточке взяли. Взял каждый житель аула! И что же останется у вас на току?

Женщины, потупившись, молчали, соглашаясь с уполномоченным. А тот, видя их согласие, распаялся еще сильнее, начал обвинять:

– Ага, вы все понимаете? Тем хуже для вас! Вы преступницы перед Родиной! Перед мужьями и братьями! И я вас всех предупреждаю: если кто-нибудь

еще возьмет хоть одно зернышко, мы будем его судить как расхитителя народного добра. А теперь приступайте к работе. Сегодня вы будете трудиться без перерыва! Только ударный труд искупит вашу вину!

Женщины послушно разошлись по рабочим местам. Никто из них ни словом, ни даже взглядом не возразил.

Глухой Колбай все это время продолжал сгребать пшеницу лопатой, не зная, как обычно, о том, что случилось с его бригадой.

– Ну, видимо, пора прерваться и пообедать, – громко, как говорят все глухие, сказал он, разгибая спину.

– Не будет сегодня обеда. И все из-за женщин, – буркнул старик Байдалы.

– Что-о? – спросил Колбай, не расслышав.

– Из-за женщин не будем обедать! – крикнул Ажибек в ухо глухому.

– Кто это сказал? – удивился Колбай.

– Уполномоченный сказал, товарищ Алтаев, – с притворной почтительностью пояснил Ажибек.

– А разве мы железные? Может, он сам и железный, а мы нет. Ребята, слезайте с коней. Будем есть пшеничный коже. Эй, Дурия, женщина, дай нам коже!

Дурия, веявшая зерно, опасливо посмотрела на уполномоченного и не решилась оставить работу.

– Я кому говорю? Ты подойдешь или нет? – гаркнул глухой Колбай.

– Налей сам. Ты ведь знаешь, где стоит, – сказала Дурия, поглядывая на уполномоченного.

– Что-о? Что она говорит? – не понял глухой Колбай.

– Она говорит: возьмите сами и ешьте, – весело перевел Ажибек.

– Она так говорит? – изумился глухой Колбай. – А для чего мне тогда жена, если она не может подать еду?

– Ей уполномоченный не велит! – проорал Ажибек, продолжая дурачиться.

– Уполномоченный? Дурия, кто тебе муж? Он или я? Пусть он командует теми, у кого нет мужей. А ты должна слушать меня!

Дурия снова нерешительно покосилась на уполномоченного. Товарищ Алтаев отвернулся, словно не слышал, о чем шла речь. Тогда Дурия сходила под навес и принесла глухому Колбай торсук. Мы, ребята, послезали с коней, расселись вокруг угощения.

Глухой Колбай позвал старика Байдалы, но тот ответил, что сыт, хотя было видно, как ему хочется коже, но он не смеет нарушить приказ районного начальника.

– Привык он баев бояться, теперь и перед уполномоченным дрожит, – сказал Ажибек. – Вот Колеке никто не испугает, пусть даже сам сатана за его душой придет. Ему только страшен Ырысбек, – последние слова он произнес совсем тихо, для нас, но глухой Колбай что-то почуял, вопросительно посмотрел на Ажибека, словно спрашивал: а ну, что ты сказал?

– Я говорю: Колеке, если разозлится, может прогнать уполномоченного обратно в район. Пусть не командует чужими женами, – громко соврал Ажибек.

Глухой Колбай засмеялся, польщенный, и потрепал Ажибека по щеке.

– Душа из тебя вон, не смей дразнить человека, – рассердилась Дурия.

Ажибек испугался, решив, что теперь ему не дадут ни капли коже, и начал оправдываться:

– Я не дразнил, ей-богу, правду говорю! – И затараторил: – Олла-билла, чтобы мне никогда не толстеть, не расти, не ходить на уроки, счастья не знать! Пусть мою долю коже съест собака. Чтобы мне совести не иметь и стыда... – он перечислял клятву за клятвой, мы не успевали за ним считать.

Дурия не выдержала и рассмеялась:

– Остановись, Ажибек. Не то останешься без всего, – и налила ему коже в освободившийся тостаган Колбая.



Ажибек залпом осушил тостаган и удовлетворенно щелкнул себя по выпяченному животу.

– Уф!.. – И льстиво сказал: – Ну и красива же наша Дурия!

Дурия грустно улыбнулась. С тех пор как Ырысбек выставил ее за дверь, так близко я увидел ее впервые. За это время она похудела, осунулась, в уголках губ и глаз появились морщины. В ауле поговаривали, будто глухой Колбай иногда бьет ее, мстя за свое унижение.

Товарищ Алтаев поднялся на ноги и, не глядя в нашу сторону, пошел в степь. Когда он скрылся в ложине, к нам тотчас подошел старик Байдалы и присел рядом на корточки.

– Милая, у тебя что-нибудь еще осталось? Вдруг есть ни с того ни с сего захотелось, – сказал он, отводя глаза.

Дурия молча взболтала торсук и налила ему коже в свободный тостаган.

– Байеке, а вам нельзя пить это коже, – сказал Ажибек.

– Почему нельзя? – удивился старик Байдалы, потеряв бдительность и не думая о подвохе.

– В этом коже краденая пшеница. Если выпьете такое коже, возьмете грех на свою душу, – пояснил Ажибек, делая вид, будто его очень тревожит судьба старика Байдалы.

– Голова твоя тыквой! Сколько можно терпеть от тебя?! – рассвирепел старик Байдалы и замахнулся на Ажибека, но тот ловко отскочил в сторону.

Все рассмеялись, кроме самого старика Байдалы да Колбая. Тот, по-прежнему запертый в свою глухоту, беспокойно вертел головой и спрашивал:

– Что он сказал, а? Что он говорит?

Но, благодаря глухому Колбаю, бригада все-таки смогла перекусить и перевести дух.

А потом вернулся уполномоченный, такой же суровый и вечно оскорбленный недостаточной сознательностью наших аульчан, и сел на свою горку соломы.

Вечером моя мама заглянула домой на часок, выпить чашку кипятка с солью. Пока бабушка разжигала самовар и готовила еду, мама сняла шерстяной пояс с больной поясницы, села спиной к печке и тотчас, закрыв глаза и склонив голову набок, захрапела.

– Страдалица ты наша... устала,– сказала бабушка, сердобольно качая головой.

А мама так и спала сидя, со склоненной к плечу головой и сладко похрапывая. Вокруг ее запавших глаз нездорово темнела кожа. Резче обозначились морщины на лице. Даже мне она казалась маленьким, жалким и совсем беззащитным человеком. Меня, как и бабушку, так и тянуло погладить ее по голове, говоря: «Страдалица ты наша».

Бабушка приготовила дастархан, но будить маму не решилась.

– Пусть немного поспит,– сказала она и погрозила нам пальцем.– Не вздумайте шуметь, я вас...

Мы-то и сами готовы были молчать даже час, два, хотя нам это и стоило невероятных усилий.

Но маме все равно не дали поспать. На улице раздался топот коня и замер возле нашего дома, затем в окно постучали рукояткой камчи, и послышался голос уполномоченного из района:

– Дома бригадир? Пусть выйдет!

Мама вздрогнула, проснулась и, повязывая на ходу шерстяной пояс, поспешила на улицу. Ну, а меня разве удержишь дома в такую минуту? Я мальчишечьим своим чутьем угадал, что сейчас что-то будет, и выскочил следом за мамой.

Темнота скрывала лицо уполномоченного, но по голосу его, по тому, как нервно переступал под ним конь, было ясно, что он сильно не в духе.

– Женге, я поймал вора! Идемте со мной,– сурово сказал уполномоченный.

Он повернул коня и направил шагом к дому Нурсулу; мама послушно последовала за ним, я пошел за мамой.

Дверь Нурсулу была распахнута настежь, из дома наружу вырывался свет. Сама хозяйка стояла у порога, у ног ее, рассыпавшись по земле, лежала большая охапка бурьяна.

– Вот!– сказал товарищ Алтаев, показывая камчой на бурьян.– Здесь десять килограммов зерна, никак не меньше!

И точно: среди серых стеблей бурьяна желто поблескивали колосья пшеницы.

– Не верите?– усмехнулся уполномоченный.– Потрите в руке!

– Вижу и так,– вздохнула мама и повернулась к Нурсулу:– Где ты это взяла?

– Да шла через поле, ну, там, где уже скосили озимые, не выдержала и собрала,– рассказала Нурсулу, виновато глядя под ноги.

– Ай, зачем же ты сделала? Ведь знаешь, нельзя сейчас подбирать колосья,– строго сказала мама.

– Они бы все равно на земле остались,– пробормотала Нурсулу.– А детям нечего есть. Думала, подберу и ребятам пожарю, перед тем как на работу идти.

– И все равно, Нурсулу, так не годится,– сказала мама с упреком.

– Что же теперь делать?– нерешительно спросила Нурсулу.– Может, отнести на ток?

– Больше не бери колосья. А это оставь себе, твоим детям надолго хватит,– сказала мама. – Товарищ Алтаев, Нурсулу больше не будет. Она обещает нам. Правда, Нурсулу?

– Что вы несете?– резко оборвал ее уполномоченный.– Нечего ее покрывать! Сейчас же составьте акт! Вот вам карандаш и бумага,– он нагнулся и протянул бумагу и карандаш маме.

– Она не подумала, она ошиблась. Простите ее ради детей,– попросила мама.

– Вы что? Не хотите составить акт? Значит, вы с ней заодно?– закричал уполномоченный; конь его прынул в сторону.

– Свет мой, должность у тебя большая, но сам ты еще очень молод, не умеешь обращаться с людьми.– Мама тоже повысила голос. – Кто будет убирать урожай, если мы всех женщин отправим в тюрьму? Для голодных детей они подбирают колоски. А себя ничуть не жалеют, работают и ночью, и днем, хотя мы ничего им не платим, даже зернышка на трудодень! Неужто мы скажем этим женщинам после всего: пусть ваши дети с голодудохнут!

– Вы – коммунистка, а говорите такие слова! – возмутился уполномоченный.

– Я – коммунистка! – гордо подтвердила мама. – И потому говорю такие слова! Если мы не можем помочь этим людям, значит, мы не меньше их виноваты!

– Вы только и думаете о еде. Впрочем, разговаривать с вами, видимо, нужно в другом месте, – процедил уполномоченный сквозь зубы.

– Не надо, Багила, не спорь с ним, – сказала Нурсулу.

– А вы!.. – крикнул ей уполномоченный. – А вы пойдете со мной. Я отведу вас куда надо, вместе с... вашим бурьяном!

Нурсулу собрала бурьян в охапку, взвалила ее на плечо.

– Я же тебе сказала: оставь это дома! – напомнила ей мама.

– Иди, Багила, не спорь с ним. Пусть уполномоченный-джигит утешит свою душу. Враги оставили его без руки, но плату он, видно, хочет получить с нас, вдов и сирот, – с горечью сказала Нурсулу. – Куда прикажете нести, господин?

Уполномоченный заскрипел зубами, сдерживая себя.

– Оскорбляете? Ничего, я стерплю. На фронте было потяжелей. Несите похищенное зерно в контору!

Нурсулу зашагала по улице. Уполномоченный поехал рядом, едва не касаясь стремянем ее плеча.

Мама пошла за ним, решив не бросать Нурсулу в беде. Я по-прежнему тянулся за ней как хвост.

Уполномоченный привел Нурсулу в контору и запер там вместе с колосками, навесив на двери огромный замок.

– Вы не имеете права!.. Кто вам дал право держать ее взаперти без суда?!– гневно спросила мама.

– Но и нельзя оставлять на свободе того, кто ворует,– убежденно ответил товарищ Алтаев.

– Да разве это воровство?

– Я же сказал: с вами мы будем говорить в райкоме. А сейчас занимайтесь своими делами и не мешайте мне исполнять свой долг. Распустились здесь, в тылу!

Было ясно, что упрямого уполномоченного маме не переубедить. Она взяла меня за руку, и мы пошли домой.

– Ничего, все будет хорошо. Попугает он Нурсулу и простит,– сказала мама, успокаивая себя.

Однако уполномоченный взялся за дело по-настоящему. Составил акт, вызвал милицию из районного центра, и та увезла Нурсулу. Рассказывали, как Нугман заступался, просил оставить ее, но милиция будто бы ответила ему: «Нельзя! Кого-то следует наказать, чтобы другим стало неповадно. Иначе завтра в открытую начнут воровать». А уполномоченный вроде бы и самого Нугмана обвинил: «Слабость проявляешь, председатель. Потакаешь расхитителям народного добра». И еще очевидцы говорили, что двое детей Нурсулу и ее старая мать долго бежали за полуполторкой-грузовиком, на котором увозили арестованную в район, а потом упали в дорожную пыль и лежали до тех пор, пока их не подняли моя мама и другие женщины и не увели домой.

А через день-два я, забежав в контору за мамой, оказался свидетелем разговора мамы с Нугманом.

– Ничем уже не помочь Нурсулу,– говорил председатель.– Время сложное, тяжелое. Есть приказ: ни

зернышка не оставлять в земле! Все для фронта! Все для победы!

– Но ведь колосья остаются,– возразила мама.– Почему же судят того, кто их подобрал, а те, по чьей вине они остались, ходят как ни в чем не бывало, ничуть не виноватые?

– В конце концов их тоже накажут,– сказал Нугман.

– Кого?– спросила мама.– Мальчишек, которых посадили на старые машины?

– Что ты, Багилаш, мы должны сказать им спасибо,– смутился Нугман.

– Вот видите. А Нурсулу, наверное, будут судить.

– Будут,– вздохнул председатель.

– Тогда пусть судят весь аул!– крикнула мама.– Мы все подбирали колоски. Одни чаще, другие... хоть раз да подбирали. Выдать одну Нурсулу, а самим остаться в стороне?

– Багила-ай, оставим этот разговор!– взмолился Нугман.

– То есть как оставим? А дети Нурсулу? Ее больная мать? Что будет с ними? О них вы подумали?

– Думаю. Уже голова кругом идет.

– Тогда поезжайте в район, поговорите с главным начальством.

– А что я скажу? Отпустите человека, укравшего зерно?

– Да не украла она! Колоски это! Колоски! О господи!.. Не хотите сами, пошлите меня.

Нугман помолчал и тихо сказал:

– Завтра поеду в район.

В эту ночь мама осталась дома, на ток не пошла. Повязала на лоб чистую тряпку и еще с вечера легла в постель, охая и вздыхая, ну совсем как больной человек. Мне тоже было не по себе. Я долго не мог уснуть, полночи думал над словами мамы. В самом деле, не песок же, не глину ест аул. В какой дом ни зайди, увидишь жареную пшеницу, талкан, а у кого-то и хлеб

печеный найдется. Откуда люди берут зерно, если за трудодни ничего не платят? Я не видел, чтобы мама или сестра доставали зерно из чулка или кармана, но ведь мы что-то едим каждый день, иначе бы все в нашем доме перемерли с голоду. Значит, и вправду нужно судить весь аул, и в том числе и Назиру, и мою маму? Я на миг представил, как приехала милиция из района и увезла весь аул, и у меня похолодела спина. Нет уж, мама не думает, что говорит. Пусть уж лучше осудят одну Нурсулу. Жаль, конечно, ее, и двух малышей, и престарелую мать...

Мама перевернулась на другой бок и тяжело вздохнула: «О-ох!»

Нугман сдержал свое слово – уехал еще на рассвете в районный центр и вернулся только на другой день, когда солнце уже перекочевало на запад. Не заходя в контору, он сразу приехал на ток. На него было страшно смотреть: бледный как простыня, глаза ввалились, стали бесцветными, безжизненными, как осеннее небо. Ни слова не говоря, Нугман тяжело слез с коня, так же молча привязал его под навесом и лег на солому вверх лицом, прикрыл глаза рукой.

Даже мы, дети, и те поняли, как плохи дела Нурсулу. А мама взяла торсук с кислым молоком, склонилась над Нугманом:

– Выпейте, председатель.

Нугман опустил руку и сел, сказал виновато:

– Не вышло! Ничего не получилось. Дело передали в суд.

– Но ты сказал, что это не воровство? Что у нас остается очень много колосьев на поле? – спросила мама.

– Не мог я этого сказать, Багила. Плохо бы стало нашим мальчишкам. Это же они сидят на косилках. Ты говорила сама. Вон у соседей, двух таких же мальчишек... В общем, не мог я! Сама должна понять, – сказал Нугман, словно извиняясь.

Вечером из степных глубин налетел сильный ветер, принес пылевую бурю. Все вокруг, и дома, и земля, и небо, смешалось в тучах черной пыли. Она забивала нос, разъедала глаза. Люди метались, точно серые призраки, накрывая зерно всем, что попадало под руку, будь то кошма или палас. А если не было и этого, срывали с себя одежду и тоже набрасывали на кучи зерна.

Потом на смену пылевой буре пришел холодный проливной дождь.

– Это и есть черная буря казана<sup>1</sup>, – пояснил старик Байдалы. – Если затянем с уборкой, пропадет урожай. Теперь жди непогоды!

За эти дни мы приноровились к своим малатасам и к молотилке, и наша работа пошла поживей. Теперь косилка и лобогрейка не успевали снабжать ток пшеницей. Того, что привозили на одной арбе и волокуше, нам хватало часа на три, а потом мы распрягали коней и сидели без дела. Мама почти все время проводила в поле, оставив за себя старика Байдалы.

Однажды на ток снова нагрязнул товарищ Алтаев и, увидев наше безделье, напустился на старика Байдалы:

– Почему стала работа? Это что? Саботаж?

Старик Байдалы пустился было в объяснения, но уполномоченный не стал даже слушать, закричал на него:

– Распустились вы здесь, в тылу! Почему не подвозят хлеб? Где бригадир? Сейчас же найти бригадира!

– Канат, возьми своего гнедого да съезди позови свою мать. Она где-нибудь у комбайна, – сказал расстроенный старик Байдалы.

Я вскочил на гнедого и поскакал. Да только гнедой мой скакал боком, как привык по кругу трусить. Да и я сам кособочусь, разучился прямо сидеть на коне. Мы с

---

<sup>1</sup>Казан – месяц октябрь.



гнедым перевалили через два холма и вышли прямо к стоявшему комбайну.

Еще издали мое ухо уловило удары металла о металл. Тракторист Есенбай и комбайнер Иван, оба черные с головы до пят от какой-то мази и пыли, сидели на траве и что-то чинили. И тот, и другой из нашего аула, только работали они теперь в МТС. Есенбаю уже за пятьдесят, он смуглый, с лохматыми, иначе не скажешь, усами, нависающими над верхней губой. Иван прямая ему противоположность – глаза у него голубые и волосы, наверное, светлые-светлые, если их хорошенько отмыть, да и возрастом он годился Есенбаю в сыновья. Моя сестра Назира и та старше его на год-полтора. И все же Есенбай старался работать в паре с Иваном. Вот так же вместе весной они пахали в нашем колхозе, а теперь прибыли убирать урожай. Про Есенбая и Ивана говорят, что их сближает любовь к шуткам и общая болезнь, дескать, они очень любят копаться в своих машинах. Стоит сломаться какой-нибудь одной детали, и они с ней возятся целый день. Так, мол, и работают: сделают один круг и потом до ночи копаются в машине. Наш учитель Мукан-ага даже песенку сочинил про них, которая так и называется: «Болезнь копания»:

Иван и Есенбай,  
Под ними комбайн  
Из железа и стали,  
Машины, говорят, устали!  
Полгектара урожая  
Всю неделю убирают!  
Их «болезнь копания»  
Гробит все старания...

Песня получилась длинной-предлинной, я всю не запомнил. Но когда мы с мамой услышали ее в первый раз, мама сказала, что Есенбай и его комбайнер не так уж и виноваты. На заводах сейчас выпускали танки для фронта, и запчасти к другим, мирным машинам приходится делать самим, своим, домашним способом,

ну а проку от таких частей немного. Ну, а то, что они всегда веселы и не падают духом, это, может быть, и хорошо.

Вот и сейчас Есенбай и Иван стучали, лязгали инструментами, что-то перебирали, протирали. Увидев меня, Иван улыбнулся во весь рот и спросил:

– Эй, с чего это вы оба окривели? И твой конь кривой, и ты сам кривой!

Есенбай поднял голову, посмотрел на нас с гнедым и тоже засмеялся:

– Кривой на кривом, куда путь держишь?

Нет, они ничуть не переживали из-за того, что их комбайн в этокое горячее время без дела стоял. Видно, не зря народ пел песню Муқан-ага. Ишь, какие довольные! Только и думают, кого поддеть, над кем посмеяться. Но я сдержался и сказал, что разыскиваю маму.

– Ах, маму?! – весело воскликнул Есенбай. – Твоя мама на вершине горы Балканы, где молодой заяц убегает от фазана, а фазан от твоей мамы... – В такт своим словам тракторист стучал молотком по какой-то металлической штуковине.

Иван тоже не заставил себя ждать, подхватил вслед за Есенбаем:

– У фазана хвост длинный, а сам фазан весь красный. У мамы твоей железное ружье. Она прицелилась в фазана и – паф! – попала прямо в глаз. Ну, понял?

– Ничего он не понял, – сказал Есенбай, веселясь. – Фазан – это Манар, а заяц – Карл. И твоя мама охотится на фазана и зайца.

Я повернул гнедого и поскакал дальше.

– Только не промахнись! Не забывай, ты криво скачешь! – напутствовал меня Иван, и они снова застучали железом.

Мама и вправду оказалась возле лобогрейки Манара. Перед ней, вытирая руки травой, стояли Манар и кузнец Карл, одногодки комбайнера Ивана. А мама,

наклонившись к ним с коня, размахивала камчой, словно собиралась отхлестать и одного, и другого, и всю ругала:

– Окаянные! Или работайте как следует, или убирайтесь отсюда! Всыпать бы вам покрепче да отправить в свое ФЗО! Пусть посмотрят, кого воспитали! Это же надо: три круга за весь день!

– Так ведь только что починили, – сказал Манар, продолжая вытирать руки и ничуть не обижаясь. И вообще я еще ни разу не видел, чтобы Манар сердился. Лицо у него всегда спокойное, приветливое, не помню, чтобы он слово грубое бросил, даже нам, мальчишкам.

– Опять скажете: нет деталей? А что валяется у тебя во дворе? Небось спрятал, а потом – нет запчастей? Не так ли?

– Да ведь это совсем от другого детали. От старого мотоцикла, тетя, – пояснил Манар терпеливо.

– Ну, а что у вас сегодня сломалось? – грозно продолжала мама.

– Косогона не напасешься. Ломается все время.

– Если нарочно ломать, тогда уж точно не напасешься!

Но тут за Манара ответил кузнец. Он худенький, малого роста, чуть повыше меня, да и голос у него писклявый, заикающийся. Карл первым из немцев, приехавших к нам в начале войны, научился говорить по-казахски, освоился и вообще стал своим человеком в ауле.

– Для ко-осогона хорошее дерево н-н-надо, а это ни-ни-никуда не годится, – сказал Карл, нервничая и еще более от этого заикаясь.

– Чем же оно плохое? – еще пуще рассердилась мама.

– Не-не крепкое, быстро л-л-ломается.

– Ладно, я разберусь... Да сколько, в конце концов, можно вытирать руки? Не девушка, поди! Манар, пускай машину. И чтобы этот участок сегодня скошил! А ты, Карл, останешься здесь на всякий случай. Не успеете к вечеру, ночью будете косить! Понятно?

– П-п-понятно.

После этого мама занялась моей особой:

– Канат, что случилось? Почему ты здесь?

Я коротко рассказал о том, что произошло на току.

– Ладно, поехали,– сказала мама, сразу осунувшись, и повернула коня.

Я тоже потянул повод. Манар мне улыбнулся и подмигнул, а Карл вполголоса спросил:

– К-канат, колесо еще у тебя?

Я утвердительно кивнул и поехал за мамой.

Карл и Манар собирали по всему аулу разный хлам. Что ни попадетя на глаза из железа, все тащат к Манару, в сарай. Мне они говорили, будто хотят построить настоящую легковую машину. На днях Карл увидел в нашем дворе старое колесо от мотоцикла и попросил его насовсем. Он умолял, чуть не в ногах валялся, а на меня что-то нашло, я заупрямился и не дал колесо, эту рухлядь.

Я догнал маму и поехал рядом, колено к колену. Мама хмуро молчала, готовясь, наверное, к неприятной встрече с уполномоченным. Ну а я, чтобы не скучать, тоже начал думать. И поскольку только что расстался с Манаром и Карлом, стал думать о них.

Это были удивительные друзья; между ними, говорили взрослые, и волосинку не просунешь. Я слышал рассказ Назиры о том, как Манар познакомился с Карлом. Они встретились впервые в тот день, когда на станцию приехали немецкие семьи. Председатель послал за ними подводы, и на одной из них отправился Манар. Он стоял возле арбы на пристанционной площади, ждал, когда к нему посадят людей. Характер у него был мягкий, почти девчачий, эта мягкость так и светилась на его узком нежном лице, но, странное дело, никто не дразнил его за это, и даже наоборот: всех так и тянуло к нему. И вот, когда Манар ждал у арбы, к нему подошел привлеченный его излучающим доброжелательностью лицом мальчик-немец, про-

лопотал что-то на своем языке и улыбнулся. Манар тоже улыбнулся, и эти улыбки мгновенно связали их дружбой. Но тут же выяснилось, что мать Карла собирается жить совсем в другом ауле, тогда Манар и Карл уговорили ее, один словами, другой выразительными жестами, и она пересела на арбу Манара. Приехав в аул, мать и сын поселились не где-нибудь, а рядом со своим новым другом. Манар жил вдвоем со старой матерью. Старушки тоже подружились, и забавно было видеть со стороны, как они, не зная языка, оживленно беседуют с помощью знаков.

С тех пор Манар и Карл почти не расставались, повсюду ходили вместе, словно приклеенные. Нет, никто не видел, чтобы они празднично шатались по улице, не зная, куда деть свободное время. Дружья вечно что-нибудь мастерили, строили что-то. А в том, что у Карла золотые руки, вскоре убедился весь аул. И произошло это так. Еще прошлой зимой ушел на фронт единственный в колхозе кузнец Ахат, и кузница месяца два стояла закрытой. Но однажды старик Байдалы открыл ее двери. Пришла пора возить на фермы сено, и надо было подправить полозья саней. Старик Байдалы и двое его помощников, тоже почтенные, пожилые колхозники, раздули в горне огонь, но дальше этого работа у них не пошла. Никто не знал, как следовало на самом деле варить и ковать железо. Старики стояли вокруг горна и отчаянно спорили: «Я говорю: нужно так». – «А я утверждаю: не так, а вот этак». И они бы спорили, наверное, без конца и сено еще долго лежало в стогах, ждало возницы, но, к счастью, мимо проходили Манар и Карл. Любопытство и громкие голоса заставили их заглянуть в распахнутые двери кузницы. Прослушав спорящих, Карл, ни слова не говоря, положил раскаленное железо на наковальню, взял в руки молот и начал править полоз. Да так ловко натянул полозья и прибил их гвоздями, что старики диву дались, глядя на то, как легко взлетает тяжелый молот

в его худых, еще не окрепших руках. Придя в себя, старик Байдалы, бывший тогда бригадиром, тут же попросил Карла взять на себя обязанности кузнеца. И мама, ругая меня за лень, обычно ставила в пример Манара и Карла, расхваливала на все лады: и какие они заботливые, и умелые, и как любят труд. И было непривычно слышать, как она сегодня и так, и этак отчитывала их, кричала, размахивала камчой. Какая муха ее укусила?

Когда мы приехали на ток, уполномоченный налетел на маму с такой неистовой яростью, что я испугался, что он вот возьмет и прямо отсюда отправит ее в тюрьму.

– Где хлеб? Почему не косят?– кричал товарищ Алтаев, размахивая единственной рукой. Пустой рукав его гимнастерки выбился из-за ремня и взлетал, точно подбитое крыло.

– Товарищ Алтаев, лобогрейка сломалась,– устало отвечала мама.

– А почему сломалась? Нарочно, да? Нет, тут пахнет вредительством! Вы не хотите работать! Вам наплевать, что идет война! Я вас под суд! Всех под суд! Вы у меня руками – руками будете косить! И чтобы сегодня же были снопы.

Раньше мама никому не позволяла себя обижать, а если кто и пытался обидеть, быстро отбивала у того охоту кричать на людей. Но тут она и слова не сказала, только стиснула зубы, почернела лицом, снова села на коня и уехала в поле. А вскоре на ток поползли арбы и волокуши со снопами нового хлеба.

В этот день мы вернулись домой далеко за полночь. Еще к вечеру с гор подуло холодом, и у нас с Назирой, босых, одетых легко, совсем по-летнему, зуб на зуб не попадал. Мама отправилась вместе с нами, чтобы поесть и погреть поясницу. Дома она сняла пояс и приложила к спине бутылку с горячей водой. В комнате было тепло и спокойно. И когда к нашему дому

подкатила арба, перестук ее колес прозвучал для моих ушей словно грохот сказочной колесницы.

– Тетя! Тетя!– завопил за дверью Манар истошным голосом.

– Господи, опять что-то случилось! Ну, негодники, ну, негодники,– посетовала мама и, наскоро повязав пояс, вышла на улицу, и тотчас мы услышали ее полный ужаса голос: – Что ты говоришь?! Господи, что ты говоришь?!

Мы с сестрой выбежали из дома. Темная фигура матери склонилась над арбой, возле нее маячил Манар.

– Как же это случилось, Манар?.. Как это случилось? – горестно повторяла мама.

На арбе кто-то мучительно застонал.

– Карл, голубчик... Карл, миленький... потерпи. Сейчас мы что-нибудь сделаем,– ласково попросила мама.

А Манар, всхлипывая, рассказал, что они расстались с Карлом. Тот сказал, что будто бы пойдет на ток и там будет ждать. А Манар решил, хоть и темно, скосить еще три круга. Он прошел два круга и повернул на третий, и тут кто-то вскрикнул из-под косы.

– Он, наверное, здесь хотел подождать, пока я закончу... Мы собирались потом к Шымырбаю, дыни поесть... Он ждал и заснул... А я не знал... Я не знал... – Тут выдержка отказала Манару, он зарыдал во весь голос.

Бабушка вынесла лампу и вместе с мамой осмотрела Карла. Меня не подпускали близко к арбе, но все же я успел увидеть окровавленное тело, лохмотья, в которые превратилась иссеченная одежда, и невольно попятился к дверям. Мама тоже не выдержала и отвернулась.

– Нужно срочно съездить за доктором,– сказала мама. – В таком состоянии его в больницу везти нельзя. Мальчик не выдержит. Кого же послать?– спросила она как бы самое себя.– Ясно, я сама поеду в Коныр. Манар,

отвези пока, голубчик, Карла домой! Назира, разбуди кого-нибудь из немцев. Пусть они подготовят мать. У бедняжки большое сердце. Как бы и с ней не случилось беды. А ты что стоишь? – обратилась она ко мне. – Ступай сейчас же в дом. Побудь с маленькими. Они уже, наверное, перепугались одни.

Уходя в дом, я услышал, как вновь застонал пострадавший и как мама сказала:

– Потерпи, дорогой... я сейчас поеду за доктором.

– Несчастный, – сказала бабушка. – Видно, ему на роду страдать суждено.

– Бабушка, вы опять за свое? – услышал я голос Назиры и закрыл за собой дверь.

Маленькие уже повывлазали из постелей и ревели в три голоса. Болат и Марат басовито, а сестренка Жанар вторила им тоненьким, пронзительным голосом. Я начал их успокаивать и так, и этак, и уговаривал, и стыдил. Замучился, не зная, что еще с ними делать. Хоть плачь вместе с ними.

– Если не перестанете, волк постучится в дверь, – сказал я, прибегая к последнему средству. – А медведь уже смотрит в окно. «Кто здесь плачет?» – спрашивает.

Но маленьким хоть бы что – режут в три ручья. Тогда я подошел к двери, незаметно для них постучал и спросил того, кто будто бы стучался в наш дом:

– Кто там?.. Говоришь, ты, безумная Бубитай?.. Нет-нет, я не открою дверь. Нет, нет, не проси! У нас никто не плачет... Да, никто. Это плачут дети Нурсулу.

И братья, и сестренка тотчас замолкли, вытаращили глазенки, испуганно уставились на дверь.

– Канат, там сумасшедшая Бубитай, да? – спросил Болат, который был чуть постарше остальных.

– Она! Услышала ваш плач и пришла. Раз они плачут, говорит, заберу их с собой.

– Канат, мы не будем плакать, скажи ей: пусть уйдет, – взмолился Марат.



– Эй, сумасшедшая Бубитай, уходи! Наши дети плакать не будут!– крикнул я, глядя на дверь.

И сам испугался, бросился к братьям и сестре, залез к ним под одеяло. А вдруг безумная Бубитай и вправду таится за дверью?

– А днем сумасшедшая Бубитай к нам приходила,– зашептал Болат, прижимаясь ко мне горячим боком. – Бабушка дала ей поесть. А потом прибежала Тоштан и увела тетку домой.

– Канат, повернись ко мне,– тихо захныкала Жанар, обнимая меня за шею.

– Канат, скажи Болату: пусть он возьмет мою руку,– попросил Марат, боясь говорить громко.

– Болат, ты ведь уже большой...

Мы прижались друг к другу тесней и так незаметно уснули.

Но всю ночь мне снились кошмары. За нами, ребятами, гонялся с ружьем Ырысбек, грозясь расстрелять, и я прятался в куче кизяка, сложенной перед дверью. Потом появился окровавленный Карл, он смеялся и пел как ни в чем не бывало и обнимался с Манаром. Я видел во сне сражение: отряды солдат, исчезающих в пороховом дыму, а когда их вовсе не стало, из клубов черного дыма появился толстый волосатый человек и пошел на меня, зловеще поигрывая ножом глухого Колбая. Я в ужасе, но бежать не могу – ноги мои словно приросли к земле. Открываю рот, чтобы позвать на помощь маму и бабушку, и вместо крика слабенькое, сдавленное шипение. Я просыпаюсь, дрожа от страха. Рядом со мной сладко посапывают малыши. В комнате сумрачно. Со стола тускло светит керосиновая лампа. Я ищу глазами бабушку, но она еще не вернулась. Мы одни. И я проваливаюсь в очередной страшный сон.

На этот раз мои враги бездомные собаки – дети Караканшык, Кокинай. Они носятся по улице, свирепо оскалив клыки, гоняя людей по домам. Я, таясь, выглядываю в окно, – мне нужно пробраться к маме на

ток, передать что-то важное, но перед домом меня караулит, щелкает зубами огромный черный пес, тот легендарный черный щенок Караканшык, о котором нам рассказывал старик Байдалы и о котором мы некогда так мечтали. И я плачу навзрыд...

Я проснулся от чьих-то шагов. Лампу уже погасили, на стене лежал серый рассвет. Я перевернулся лицом к окну и увидел бабушку. Она, кряхтя, стелила на полу коврик, готовилась читать утренний намаз.

– Бабушка, а где мама?

– Мама на ток пошла... Мученица! Сегодня опять не спала... Не хочет о себе, так хоть бы о детях своих подумала.

В голосе ее сложное чувство: тут и жалость к невестке, и возмущение, и обида. И точно: днем мама забежала попить горячей воды, и бабушка сразу на нее напустилась:

– У тебя что? Кроме колхоза нет никого? Ни детей, ни семьи?

Мама поморщилась, словно у нее разболелся зуб и вот его задели. И промолчала.

После несчастного случая с Карлом лобогрейка и косилки протянули кое-как дня полтора, а потом и вовсе остановились. Некому было сварить ломаную деталь и тем более отковать ее заново. Нугман самолично уехал в район на поиски кузнеца, дня три пропадал и вернулся один. Кузнец, которого он отыскал, обещал приехать «как-нибудь на днях». Когда будет свободен.

Но хлеб не хотел больше ждать. Взрослые опасались, что еще немного, и колос начнет осыпаться на землю. Они взялись за косы и начали косить вручную. Нас снова позвали на помощь. Всех, кто мог обращаться с серпом или хотя бы собирать колоски, освободили от школьных уроков и послали в бригады.

Вот уже который день мы жнем на Куренбеле, самом дальнем участке колхоза. У каждого из ребят своя постоянная норма, совсем как у взрослых. Мы вытянулись в цепь, а те, кто был послабей или не имел серпа, шли следом за нами, убирали скошенный хлеб. И так с утра до вечера, почти не разгибая спины.

Над нами низко висело бесцветное, мутное, будто подернутое дымкой небо. По утрам было холодно, промозгло. По телу бегали знобкие мурашки, а короткие волосы на голове от холода торчали дыбом. Но к полудню пробивалось солнце, выходило над нашими спинами, отогревало, а потом начинало жечь. И сразу поднималась подсохшая пыль. «Жжу-жжу... Сыр-сыр...» – звучали косы и серпы, срезая стебель, шуршали падающие хлеба. «Жжу-жжу... Сыр-сыр...» Перед глазами мельтешили тонкие стебли, колосья почти по-кошачьи тарасили свои жесткие усы. Спелые, сухие, они так и звенели в руках. И ты будь с ними и ловок, и осторожен. Срежешь не так – обломится колос на стебле, пропадет зерно в пыли. Ладони распухли, горели, их жгло, словно в горсти ты держал большую щепотку соли. В глазах становилось темно, и ныла задеревеневшая поясница. Остановиться на секунду-другую, разогнешь поясницу, потрешь ее, и снова вперед, иначе отстанешь от других, не выполнишь норму. И ты идешь, идешь по своей полосе, жнешь, жнешь серпом, только мечтая о той минуте, когда наступит обеденный час, да поглядывая на Ырысбека. Это от него зависит наш отдых. Он самый главный здесь, на Куренбеле. А пока он шагает, лихо размахивая косой, гимнастерка его совсем бела от солнца, ремень застегнут через плечо. «Сыр-сыр-сыр... Жжу-жжу...» Послушно падают перед ним хлеба. Говорят, если Ырысбек захочет, то сможет все.

Но вот он опускает косу, достает из кармана большие трофейные часы и – наконец-то! – протяжно подает команду:

– Отды-ха-ай!

Мы бросаем серпы там, где нас застала команда, и мчимся к своим шалашам, сооруженным из веток, с толстым слоем травы на крыше. Я живу в шалаше с сестрой Назирой. По соседству с нами глухой Колбай и его Дурия, еще дальше шалаша других косарей, замыкает их ряд жилище Ырысбека и Зибаш.

Войдя в свой шалаш, Ырысбек берется тотчас за домбру. Песни теперь он поет веселые, задорные, и чаще всего краковяк:

Русский, немец и поляк  
Танцевали краковяк!  
Тра-ля-ля, ля-ля-ля,  
Трайля-ля, три-ляля...

Он играет, поет и пощелкивает пальцами по корпусу домбры. И кажется, что вместе с ним пляшет его шалаш и наши шалаша подтанцовывают ему.

Иногда Ырысбек дурачится, заводит песни, посвященные Зибаш:

Прекрасен разлет твоих бровей, Зибаш!  
Милая, накорми меня, уважь!

Переводя дух в своих шалашах, мы смеемся над шутками Ырысбека, забываем об усталости.

– Ненормальный твой Ырысбек... Сумасшедший какой-то, – говорит сестра Назира, качая головой, но по глазам ее видно, что ей тоже смешно.

Потом мы слышим, как со стороны аула катится, скрипя колесами, арба с быками в упряжке. Она везет нам обед – лапшу, заправленную молоком.

После обеда опять за работу. И опять мутное небо. «Жжу-жжу... сыр-сыр» – говорят косы и серпы. Шелестят падающие хлеба. Щетинятся кошачьи усики колосьев, и неподвижное солнце над спиной. Жжение в распухших ладонях. Кружение головы. Темнота в глазах... И опять ждать вечера, когда солнце зайдет. И вот оно заходит. Уставшие до изнеможения, плетемся к шалашам и валимся на травяную подстилку.

И опять в сумерках прибывает арба с тем же невозмутимым быком в упряжке, привозит ужин – лапшу, заправленную молоком...

Потом приходит мама, измеряет нашу работу, кто сколько сделал за день. На ночь она остается со мной и Назирой. Спать в шалаше очень холодно. Мы ложимся в верхней одежде, набрасываем на себя старые одеяла и шубы, прихваченные с собой из дома, обкладываем травой. И если среди травы попадает сухая полынь, чихаем и кашляем всю ночь напролет.

Мама спит беспокойно, деля, как говорит бабушка, ночь на четыре части, то и дело встает и уходит из шалаша. Я тоже просыпаюсь, потому что с той стороны, с которой меня согревала мама, ко мне подбирается ледяной ветерок. Я не сплю, слушаю ее шаги. Они удаляются и потом приближаются снова. Мама ходит по нашему лагерю, словно часовой, и, побродив, залезает в шалаш. Впотьмах плотнее укрывает сестру одеялом, кутает меня, спящего посредине, и тихонько ложится сама.

– Мама, почему ты не спишь? Все ходишь, ходишь?– шепчу я, не сдержавшись.

– Смотрю, как бы не загорелся хлеб,– отвечает она тоже шепотом.– Ырысбек курит целыми днями. Глядя на него, задымили другие. А хлеб и трава точно порох. Исушили за эти дни. И стоит только одной искре... А ты спи. Нечего тебе, не твоя забота. Завтра чуть свет подниму.

И она в самом деле будила чуть свет, едва над горизонтом, на востоке, темнота начинала таять, бледнеть. Мама ходила по шалашам и поднимала людей. Кое-кто снова зарывался под шубы, одеяла, бормоча: «Сейчас, сейчас». Но она не пускалась в уговоры, а прямо стегала камчой. И лицо ее было безжалостное, холодное. В такие минуты я сам боялся ее.

Мы вылезали на холод из уютного шалаша, нагретого за ночь теплом наших тел, нашим дыханием.

Белый иней, выпавший на траве, колотил своими иглами босые ноги, по телу волнами ходила противная дрожь. Хлеба встречали нас плотной враждебной стеной. Но вот в тишину врывались резкие звуки: «вжик-вжик...» Это косари точат косы. Я слежу за Назирой: управившись раньше всех со своей косой, она направляется к напряженно застывшим хлебам. Ее движения размашисты, уверенны. Коса ходит как маятник у часов. И вскоре Назира вырывается вперед, оставляя других косарей далеко за собой. В первый же день Ырысбек закипятился, пробовал потягаться с моей старшей сестрой. Сказал: «Посмотрим, кто кого! А ну, красавица, держись!» – и бросился вдогонку, лихорадочно замахал косой. Да куда там! Задохнулся, посинел. Мы уже было испугались, что помрет.

– Вот это девушка! Батыр! – сказал Ырысбек, придя в себя. – Такой сильной девушке и проиграть не стыдно!

Он стал поглядывать на сестру Назиру, несколько раз подходил к ней, пытался завести разговор, но она отворачивалась или вовсе отходила прочь.

– Глаза у него нехорошие, не люблю я таких людей, – пояснила она мне, хотя я и не спрашивал. У них, у взрослых, свои дела; у нас, ребят, свои.

Однажды, перед обеденным перерывом, Ырысбек снова подошел к Назире.

– Признайся, красавица, уж не заколдованная ли у тебя коса? Дай посмотрю, – попросил Ырысбек и взял, нет, не косу, а Назиру за локоть.

Сестру мою словно бы ужалила змея, она отдернула руку и, попятившись назад, замахнулась косой.

– Уйдите, иначе я вас ударю, – сказала она, покраснев от гнева.

– Назира, милая, ты что? Да я... Да я... – испугался Ырысбек, отступая.

– Я вам не «милая». И впредь не смейте подходить ко мне!

Увидев выражение ее лица, я насторожился, сжал рукоятку серпа. «Нет, дела взрослых – тоже наши

дела, – подумал я обреченно. – Если он все же обидит сестру, придется мне выступить на защиту».

Единоборство со взрослым мужчиной ничего доброго не сулило, но Ырысбек, к моему облегчению, повернулся и ушел в свой шалаш. Оттуда тотчас же донеслась визгливая ругань Зибаш, потом женщина вскрикнула. Видимо, Ырысбек ударил ее.

Ко мне подошел Ажибек с чайником в руках. Это был знакомый мне чайник Ырысбека.

– Пойдем на родник, за водой, – сказал Ажибек.

Я сбежал в шалаш и вернулся с нашим чайником.

– А твоя сестра Назира молодец! – сказал Ажибек по дороге к роднику. – С Ырысбеком только так и надо. Стоит ему улыбнуться разок, и он тут же сядет тебе на шею.

– Тогда почему воду ему носишь? – спросил я с удивлением.

– Ты, Канат, ребенок еще. Ничего не понимаешь, – важно, по-взрослому, сказал Ажибек. – Ты думаешь, я для Ырысбека стараюсь? Как бы не так! Я ради Зибаш воду ношу! Жалко мне ее, Канат. Всю ночь эту плакала.

– Он побил ее?

– Зачем ее бить? – горестно усмехнулся Ажибек. – Она и так ему пятки готова лизать. К несчастью.

– А что же она тогда плачет?

– Ырысбека не было всю ночь.

– А где же он был?

– Откуда я знаю? Вон их сколько вокруг – и девушек, и вдов. К какой-нибудь и пошел.

– Зачем?

– А, что тебе объяснять. Ну и бестолковый же ты!

– Да я все уже понимаю, – соврал я. – Значит, Зибаш из-за этого плакала?

– До утра. Уж я ее успокаивал. Не плачь, говорю. Разве мало настоящих джигитов? Она и слышать не хочет. Ревет и все. Ну, я и заснул. А утром мать твоя с камчой. Уж как стеганула! Во, погляди!

Он повернулся спиной, но через рубашку ничего не было видно, однако я на всякий случай уважительно произнес:

– Ничего себе!

– То-то, – гордо сказал Ажибек. – Только ты своей маме скажи. Пусть она лучше со мной не задирается. Я же с ней не задираюсь? Я человек гордый! Еще раз тронет, возьму спички, подожгу хлеб! А потом пусть меня хоть сто раз судят, я не боюсь.

Когда мы, набрав воды, повернули назад, до нас донеслось пение Ырысбека и брэнчание его домбры. На этот раз он пел из шалаша, в котором жили Гюльсара и девушка-немка Эмма.

Нет другой такой, как Эмма!  
Волосы как серебро, лобик белый!  
А нежные щечки  
Как яблочко спелое. –

заливался Ырысбек упоенно.

– Чтоп ти пропал, Ирисфек, ухоти отсюда! – возмущенно закричала Эмма.

Эмма, высокая светловолосая девушка с голубыми глазами, очень смешно говорила по-казахски. Зная это, она стеснялась и предпочитала больше молчать. А для Ажибека не было лучшей забавы, как раздражить ее, вывести из себя и слушать, покатываясь от смеха, как она ругается, ужасно коверкая казахские слова. Но вот теперь она, забыв о произношении, кричала на Ырысбека:

– Фон отсюта! Уйти!

– Эммажан, ты прямо какая-то недотрога! К тебе кто в гости пришел? Герой войны! Разве он за это боролся? Легкое, понимаешь, отдал! – протестовал Ырысбек.

Он увидел нас, проходящих мимо, и высунулся из шалаша:

– Ажибек! Ты куда воду несешь, болван? Разве не видишь, где я?



– Надо же, увидел, – прошептал Ажибек с досадой и громко ответил:– Сейчас принесу! – и, повернувшись спиной к шалашу, тайком плюнул в чайник, но ему и этого показалось мало, он предложил плюнуть мне:– Не стесняйся, Канат. Пусть он выпьет эту воду, влюбится в Эмму, она в него! И Зибаш останется одна!

То ли подействовало его заклинание, то ли что-нибудь другое, только этим же вечером Ырысбек перебрался в шалаш Эммы, а Гюльсаре пришлось уйти к другим женщинам. Покинутая Зибаш распустила густые черные волосы, плакала и во весь голос проклинала разлучницу Эмму.

Вечером, как всегда, появилась мама и, узнав об этих перемещениях, очень рассердилась, пошла в шалаш к Ырысбеку. Она говорила тихо, но зато голос Ырысбека разносился, наверное, на всю степь.

– Дорогая женеше, я говорю правду, как на духу!– проникновенно разглагольствовал Ырысбек.– Я безумно люблю Эмму! И неужели я не заслужил права быть с той, кого люблю больше всего на свете? За что же я тогда кровь проливал? Легкое отдал!.. Ты спрашиваешь: а как же Дурия? А как Зибаш? Ну, конечно, я их тоже любил! Но ты же сама знаешь: Дурия не стала ждать меня. А Зибаш – грубая женщина, она мне не пара. И потом, как она могла? Муж ее пал на войне, она тут же пошла за другого! Я клянусь, женеше: моей истинной суженой будет одна только Эмма! «Чудо-волосы, личико белое!»

Мама вышла из шалаша растерянная, видно, не знала, то ли верить Ырысбеку, то ли нет. Но зато радости Ажибека не было предела. Весь следующий день он ходил, улыбаясь – рот до ушей. То и дело гримасничал, подмигивал мне. И работал на этот раз не лентяй, серп его сверкал, точно молния, в гуще хлебов.

– Ну как? Здорово получилось?– спросил он меня после обеда.

Ажибек считал новую любовь Ырысбека и Эммы целиком делом своих рук и требовал восхищения.

– А Зибаш? Разве тебе ее не жалко?– спросил я, в свою очередь.

– Поплачет, и пройдет. Подумаешь, кого потеряла. Не велика беда!

– Значит, теперь ты на ней обязательно женишься?

– Тьфу! Ну и дурак же ты! Мне еще ждать четыре года! Даже пять! Я же тебе объяснил, бестолковый!

– А вдруг она не будет ждать и выйдет за другого?

– Если у нее есть хоть немного ума, не выйдет. Ей теперь будто камнем дали по голове. Ну, а я с ней поговорю. Вот только успокоится, и поговорю.

– Канат, что там стоишь? Пора за работу!– окликнула меня Назира, и я так и не узнал, что именно он собирался сказать Зибаш.

Этой ночью мы ночевали без мамы. Вечером вместо нее появился учетчик Бектай, он пришел измерять скошенную площадь.

– Вашу маму вызвали в район,– сказал он нам, когда Назира спросила, что случилось.

Два дня от мамы не было никаких известий, она вернулась на третий. В то утро пошел сильный затяжной дождь. По небу ползли низкие разбухшие от влаги тучи, черные, словно остатки ночной тьмы. Их гнал холодный, пронизывающий ветер, дувший с вершин Джунгара. А там выпал снег, и было солнечно и белым-бело, и сверкающая белизна слепила глаза. Но оттого, что так хорошо там, наверху, нам не было здесь, внизу, легче.

– Ах, постояло бы солнышко еще день-другой, и мы бы закончили уборку,– посетовала сестра Назира, сидя со мной в шалаше, кутаясь в одеяло.

В шалашах было тихо. Коль так уж произошло, люди отсыпались, наверстывая упущенное. Временами кто-нибудь выскакивал наружу и бежал под дождем к пшенице и, собрав для еды колосья, мчался назад. Над

землей придавленно ползали запахи костра и жареных зерен.

И лишь в шалаше Ырысбека было шумно и весело. Оттуда по всему нашему маленькому лагерю разносилось пение, мелодия краковяка и смех Эммы.

– Не нато! Это ше стытно!– вскрикивала новая подруга Ырысбека и тут же звонко хохотала.

Так длилось час-другой, и вдруг Ырысбек во всю мочь гаркнул:

– Довольно! Хватит!

Голоса в других шалашах умолкли, словно всем говорившим разом заткнули рот. Вокруг стало тихо-тихо, только раздавался крик Ырысбека:

– Над чем смеешься, дура? Уйди, и чтобы глаза мои тебя больше не видели!

Мы услышали плач Эммы, по мокрой траве прошуршали ее шаги, а крик Ырысбека перешел в стенания:

– О жизнь моя, что стало с тобой? Где ты, цветущее лето?– жаловался он стихами. – Где ты, любимая моя, та, что смеется от души, как дитя? Где ты, веселье мое? Нет вас, вы прошли, точно сон! Так почему я сижу? Что жду? Почему до сих пор не принял яда?.. Ах, чинара моя, ты отдана другому, а я горю жарким огнем, страдаю я! Дурия! Дурия! – И он громко зарыдал.

Люди повывлезали под дождь, окружили шалаш Ырысбека, не зная, что делать.

– У него не поймешь, когда он валяет дурака, а когда всерьез,– пожаловался кто-то из взрослых.

И вдруг всех растолкала Дурия, пробилась к входу в шалаш. Глаза ее покраснели, веки распухли, по щекам, мешаясь с дождем, бежали слезы. Она бросилась в шалаш к Ырысбеку, и они начали целовать друг друга и шептать нежные слова, будто не виделись целый век... Взрослые смущенно разошлись, снова попрятались в своих убежищах.

– Он и сам не знает, чего хочет,– сердито сказала Назира и, спохватившись, взяла меня за руку. – Идем! Тебе здесь нечего делать!

У входа в свой шалаш, прямо на мокрой траве, сидел глухой Колбай и смотрел вдаль, туда, где скрывались горы. На лице его не было ни злости, ни боли. Одна отрешенность, словно он находился сейчас где-то далеко один-одинешенек.

А к вечеру объявилась наша мама, пришла пешком, усталая, промокшая до нитки. Вернувшись из района, забежала на минуту домой и сразу к нам.

– Вся испереживалась из-за вас. Хоть нервы завяжи-вай узлом. Особенно из-за тебя, Назира. Ырысбек совсем шалым стал, – говорила мама, снимая сапоги, тяжелые от налипшей грязи.

– Ну, меня-то не так просто обидеть. Разок двину косою – на всю жизнь отобью охоту, – отвечала моя старшая сестра. – Ну, а вам что сказали в районе?

Мама приблизилась к Назире и начала рассказывать шепотом. Мне не все было ясно в ее рассказе. Но основное я понял: маму сняли с должности, объявив строгий выговор.

– Канат, ступай к Ырысбеку. Скажи: пусть придет, – сказала мама.

Я сбегал за Ырысбеком. Он влез, пригнувшись, в шалаш, сел у входа и почтительно спросил:

– Что скажете, женеше?

– Отправляйся в аул, тебя ждет председатель.

– А что ему от меня нужно? – насторожился Ырысбек.

– Мне он не говорил.

– Ну, раз я ему нужен, пусть сам ко мне и придет.

– Ырысбек, дорогой, он сказал, чтобы ты сегодня же пришел, – сказала мама устало.

– Нет, в такую погоду я никуда не пойду! – упрямо сказал Ырысбек.

– Дело срочное. Он так сказал.

– Ага, он все же что-то говорил? Скажите, и я, может, пойду.

– Это только мое предположение. Судя по тому, что говорил уполномоченный Нугману, тебя прочат в бригадиры.

Ырысбек озадаченно присвистнул.

– Нет, женеше, что угодно, а на это я не согласен. У меня на шее свои заботы висят.

– Дурия, Зибаш и Эмма, – перечислила Назира с усмешкой.

– Ай, красавица, разве человек виноват, если у него такое большое сердце? Он ищет ту, единственную, и не может найти. Это беда, а не вина. Кто знает, может, и тебя кто-нибудь ищет, такой же бедняга: когда он придет, ты его не гони, – сказал Ырысбек, глядя прямо в глаза Назире и на что-то скрытно намекая.

– Ладно, Ырысбек, оставь нас. Назира знает, что делать, – сказала мама, сердясь.

– Иду, женеше, иду. Это же надо: Ырысбек – бригадир. Ну и смех, ха-ха! – И он вышел, хохоча во все горло.

Я вылез следом за ним. Ырысбек остановился возле шалаша глухого Колбая и громко сказал:

– Колеке! Ты все сердишься? Ругаешь меня? Зачем? Какой от этого прок? Неужели мы будем ссориться из-за одной никчемной женщины? Колеке, ведь мы с тобой джигиты! Пойдем лучше ко мне да попьем вместе чаю! Мы вроде бы родственники с тобой! Выходи! Давай жить в мире! В конце концов у тебя есть твоя Апиш. А у меня и Апиш нет!

Я-то думал: ну, сейчас начнется потеха. Глухой Колбай выбрался из шалаша, точно поднятый медведь из берлоги, и, к моему великому разочарованию, поплелся за Ырысбеком, бормоча что-то под нос. Ырысбек обнял глухого за плечи, и они исчезли в бывшем шалаше Эммы.

А дождь продолжал моросить. По-прежнему было пасмурно, от первого снега, павшего на вершины, все так же несло пронзительным холодом. И мы искали тепло среди одеял и сухой травяной подстилки.

Когда хлеб Куренбела был все-таки скошен, нас вернули на занятия в школу. Там, на Куренбеле, я очень

скучал по бабушке и нашим мальчикам, а теперь видел их каждый день. Придешь с уроков, и вот они – дома. Теперь я скучал по маме и старшей сестре, – видно, на свете не бывает так, чтобы все складывалось без сучка и задоринки.

Назира возила на станцию хлеб, дорога туда и обратно да сама разгрузка занимали четыре дня. Вернется сестра, переспит одну ночь дома и снова на станцию. Не чаще я видел и маму. После снятия с должности ее назначили сторожем. По ночам она охраняла ток вместе с глухим Колбаем. Отныне мы с ней как бы ходили по кругу, только каждый по противоположной его стороне. Придет мама утром домой, а я уже отправился в школу. Потом я в дом, а мама, чуточку отдохнув, уже на току, помогает веять зерно.

А бригадиром вместо нее, после того как наотрез отказался Ырысбек, снова стал старик Байдалы. Видно, не зря говорили в старину: «Страшен тот враг, который приходит на твою землю во второй раз». Теперь от старика Байдалы не было спасу. Он подражал уполномоченному из района, употребляя его выражения, и даже перещеголял его, придираясь к людям по разным мелочам.

Он сшил себе лисью шапку, отделал верх синим сукном и ездил по аулу на гнедом скакуне, важно отвалившись набок и положив за губу щепоть табака-насыбая. Жевал, высматривал нерадивых.

– Вы здесь, в тылу! Вам бы только набить живот!– кричал он то и дело и косился при этом на уполномоченного из района.

Совсем не желая того, он как бы передразнивал товарища Алтаева. Тот краснел и поспешно говорил:

– Байеке, пусть люди пообедают.

Ажибек, изрядно насолив в свое время новому бригадиру, старался не попадаться ему на глаза. Перед нами он хорохорился, кричал, что возьмет у Ырысбека

ружье и покажет себя старику Байдалы. Но стоило появиться тому на своем скакуне в дальнем конце улицы, как Ажибек улепетывал во весь дух, не закончив начатой фразы.

Но он и без того потускнел в наших глазах. Произошло это еще на Куренбеле, когда его побила Зибаш. Как-то перед вечером Ажибек подошел к этой молодой девушке и сказал: «Брось! Не расстраивайся. Подожди, вот я вырасту и сам на тебе женюсь». Зибаш, ходившая до этого с видом утопленницы, пришла в жуткую ярость и, подобрав толстый прут, кинулась на Ажибека. Мы думали, что он убежит от Зибаш. Но та оказалась очень прыткой на ногу, легко настигла Ажибека и вытянула его прutom вдоль спины. Ажибек метался между шалашами, а Зибаш стегала его, зло плача и приговаривая: «Мне только такого жениха не хватало!.. И этот щенок смеется надо мной!» «Я не смеюсь, я серьезно!» – отвечал Ажибек, втягивая голову в плечи, пытаясь увернуться от очередного удара. «Ах, ты еще серьезно, сопляк!» Слезы удвоенным потоком брызнули из ее глаз, и новые удары посыпались на спину Ажибека. Ну разве будешь после этого уважать мужчину, которого на виду у всех взяла да побила слабая женщина? Сам Ажибек пытался выдать это позорное событие за геройский поступок со своей стороны. «Эх, ничего вы не понимаете! – говорил он нам. – Это же я за любовь страдал! Неужели вы думаете всерьез, что я, если бы захотел, не справился с этой женщиной? Ну, в крайнем случае не удрал?»

Иногда после уроков мы целой толпой шли к Ырысбеку. Его авторитет тоже привял в наших глазах. Многие взрослые называли его человеком, который думает только о себе. И мы находили справедливыми эти слова. Но все же что-то тянуло нас в дом Ырысбека. Теперь наш бывший главнокомандующий жил один. Работу в колхозе он снова забросил и целыми днями сидел дома, рисовал портреты людей по карточкам из

паспорта. Старики и старухи шли к нему с фотографиями погибших сыновей, и он рисовал по фотографиям портреты. Потом раскрашивал цветными карандашами.

И получался большой, похожий портрет человека, которого уже не было в живых. За это ему приносили самую вкусную еду. И Ырысбек всегда был сыт и весел, мурлыкал песенки под нос, водя карандашом по бумаге.

Временами он посылал кого-нибудь из нас с запиской к Зибаш или к Эмме. И когда одна из них приходила убирать его дом, Ырысбек снова брал в руки запылившуюся домбру и нежно пел:

Ай, милая Зибаш,  
Мужа верного уважь!..

Это означало, что на день-два в его доме снова обосновалась Зибаш. Но вот из окон разносились другие, не менее ласковые слова:

Не родится, как Эмма, такая  
Голубоглазая и золотая...

И в дом Ырысбека перебиралась Эмма.

Кто-то, возвращаясь из соседнего колхоза, видел в окрестностях нашего аула черную суку Караканшык.

Мне не хочется верить бабушкиным словам, а бабушка твердила одно и то же, заливаясь слезами: «Чувствовала твоя мама, что умрет в этот день... Ох, чувствовала Багилаш, что ее ждет...» Когда я вспоминаю маму в тот день, каждое ее слово, каждый жест, то еще более убеждаюсь в том, что бабушка ошибается. Не могла мама так себя вести, чувствуя, что где-то за углом ее караулит смерть. Не тот у нее был характер. Уж она бы не ждала своего часа так покорно, словно овца. Нет, бабушке только кажется... Вот и Назира говорит, закрыв руками лицо: «Бабушка, бабушка, ты и тут за свое».



Да и день этот пролетел обычно, ничем не отличаясь от других. Когда мама вернулась с дежурства, я, как всегда, уже сидел на первом уроке в школе и слушал, что говорит Муқан-ага. Вместо того, чтобы лечь в постель, мама занялась хозяйством: развесила на улице одеяла и подушки, выбила кошму и побелила в доме стены. Если в этом и было какое-то отступление от правил, то и оно не имело никакого отношения к смерти. До ноябрьских праздников оставалось три дня, и мама давно собиралась прибраться в доме. «Свет мой, зачем ты это затеяла? Ты еле-еле стоишь на ногах», – сказала бабушка. А мама так и ответила: «Нельзя же праздник встречать в неприбранном доме».

После этого она вытащила из глубин сундука свою и отцовскую праздничную одежду и развесила на протянутом под солнцем аркане.

– Я помогала ей, как могла, – рассказывала бабушка, тяжело вздыхая, вытирая глаза уголком кимешека<sup>1</sup>. – Вынесла я одежду, обратно вхожу, а Багилаш, царство ей небесное, набросила на себя шаль-букле и, не зная, что я смотрю, вертится и так, и сяк перед зеркалом. Да простит меня бог, любила она покочетничать. Что было, то было. Ничего, создатель милостью своей ее не оставит... А шаль эта непростая была у нас. Ты, Назираш, и ты, Канат, небось ее и не видели. Я из-за этой шали их однажды в дом не пустила. Ее, да будет ей земля пухом, и вашего отца, моего дорогого сына Иксана. Они еще в первый год после женитьбы поехали в город, на базар, и там Иксан купил ей эту шаль. Приехали, и невестка говорит: «Вот, мама, обновка», – и крутится-красуется передо мной. А туго у нас было с деньгами, ну я и вспылила. «Ах, думаю, ты еще хвастаешь». Не стала, как говорится, «удерживать себя в своей шкуре» – вылезла, закричала: «Ах, окаянные!» – и, схватив палку, которой выбивала кошму, бросилась

<sup>1</sup>Кимешек – головной убор для пожилых женщин.

на Багилу. А в те времена было не так: невестка боялась даже и взглянуть свекрови в лицо. Ну и убежала она. А мой Иксан, ваш отец, вступился было за Багилу, что-то буркнул. Ну я и его палкой! «Ах, женолюб! Чтоб ты провалился!..» В общем, он тоже убежал, словно от целого роя оводов. Два дня они не казали носа, ночевали в доме Нурсулу... а не обиделись на меня, мои дорогие, два моих сердца! На третий день пришли, стоят передо мной, улыбаются. А во мне какой-то черт сидит, не могу успокоиться. Ударила их палкой по разу, – а в те годы ну и сила была в моих руках! – а они виду не подают, что больно, стоят себе все с той же улыбкой, чистой, как у детей. Ну, из меня вся злость и вышла. И все равно она с тех пор при мне ни разу шаль не надела. Вынесет на улицу тайком и только там на голову и накинёт. Уважала меня, моя птичка!.. Нет ни его, ни ее... осталась я, как высохший корень... Вот я и говорю: чуяла она свою смерть, потому и покрыла шалью себя, прихорашивалась напоследок, солнышко мое... А увидела, что я смотрю, смутилась, покраснела, как девочка. «Мама, мне эта шаль теперь ни к чему. Может, отдать ее Назираш? Как вы думаете, мама?» – «Поступай как знаешь, родная», – говорю. А самой неловко, будто нарочно подсматривала... Царство ей небесное, что ни говорите, а чуяла она...

И все же в тот день я увидел ее. С тех пор как мы вернулись с Куренбела, шел дважды снег, вода в арыках и ямах покрылась корочкой льда. Вначале лед держался только по утрам, хрустел, как стекло под нашими ногами – «хруст-хруст». И таял к обеду. Однако с каждым днем он держался все дольше и дольше, становился прочней, звенел под подошвами «дзинь-дзинь», когда мы скользили по нему. Но на этот раз лед лопнул подо мной, и я, идя домой из школы, очутился по пояс в яме с мутной водой. Ребята хохотали, хлопали себя по бедрам. Я выбрался из ямы и побежал домой, мокрый, хоть выжимай. Моя новая

телогрейка и ватные штаны, казалось, вобрали в себя половину воды, той, что была в яме.

Я надеялся, что мама уже ушла на ток и все обойдется, и потому, увидев ее в дверях нашего дома, разревелся от неожиданности и страха. Но мама на этот раз не стала ругаться, а поспешно стянула с меня мокрую одежду, и вскоре я походил на капустный кочан, засунутый в сухой теплый пиджачок, перешитый из отцовского пиджака, завернутый в черное отцовское пальто с воротником из мерлушки. Я быстро отогрелся, и особенно оттого, что это были отцовские вещи, как бы частица его самого; как бы он сам, уйдя из жизни, все же оставил мне тепло своего тела. А может, он вовсе и не ушел? Может, черная бумага врет и он жив и по-прежнему воюет на фронте? Мне хотелось спросить об этом у мамы, но я побоялся. Спрашивать об отце – все равно что царапать еще не зажившую рану.

– Как прошли сегодня уроки? И вообще как ты учишься в школе? Видишь ли, у меня совсем нет времени следить за тобой, – виновато сказала мама.

– Да и не надо. Я учусь... ничего, хорошо, – промямлил я, пряча глаза в воротник пальто, мысленно умоляя ее не расспрашивать поподробней.

А то ведь она дотошная у нас: «Сколько пятерок, сколько четверок?.. А тройки, а двойки?» И если уж начнет выпытывать, что да как, не миновать мне взбучки. Потому что, честно говоря, в классном журнале на моей строке стояли исключительно тройки... Но снова все обошлось.

– Учись, сынок, хорошо, – сказала мама, и только. И начала собираться на ток, перевязывать свою поясницу. А уже уходя, бабушке сказала:

– Дай Канату ведро зерна. Пусть отнесет в дом Нурсулу. Мать и дети ее, поди, сидят голодные.

Она захлопнула за собой дверь, а ранним утром, еще до восхода солнца, по аулу проскакал глухой Колбай, вопя:

– О, горе, люди! О, горе!.. Потерял я Багилу!.. Нет больше Багилы!– и осадил коня перед нашей дверью, принес нам страшную весть.

Мы повыскакивали из постелей. Дом тут же наполнился людьми – набежали старики, и старухи, и дети. Поднялся шум и гам.

Позже глухой Колбай не раз рассказывал о смерти мамы. В тот поздний час дежурил он, Колбай, а мама прилегла подремать на мешках с пшеницей. Глухой не слышал ни скрипа колес, ни шороха шагов. Только вдруг из тьмы ни с того ни с сего появились подводы. Какие-то люди с повязками на лицах выбили из его рук ружье, повалили на промерзшую твердую землю, мигом связали по рукам и ногам и засунули в рот вонючую тряпку. Он лежал на боку и видел, как поднялась Багила и вскинула ружье, но ее тут же сбили с ног чем-то тяжелым. Избавившись от сторожей, бандиты принялись грузить зерно на подводы, и тогда Багила поднялась с земли и вцепилась в одного из грабителей. Ее били снова и снова, но каждый раз она снова, шатаясь, поднималась с земли, пока ее не свалили замертво. И, как уверяет Колбай, точно в этот момент из ночной черноты донеслось грозное рычание, и на середину тока одним гигантским скачком вылетела огромная черная собака. Бандиты поспешно ударили лошадей и помчались прочь, захватив то, что успели бросить на подводы. А собака стояла над телом Багилы и лаяла вслед ее убийцам. «Я сразу узнал ее, Караканшык, – говорил глухой Колбай. – Эх, подоспей она чуть пораньше!»

## НА ВЕРШИНЕ УШКАРА

*Акиму Тарази*

1

На этой станции поезд остановился на рассвете, когда солнце еще не взошло и платформа, и здание станции, и пристанционные пристройки, и даже самый воздух были пропитаны блеклым, серым цветом.

Асет спрыгнул на гравий, поставил чемодан и осмотрелся: он сошел с поезда один. Да и вообще здесь, на станции, их было вроде бы всего двое – он да мужчина в железнодорожной форме. Только на площадках вагона стояли проводницы с желтыми флажками. Лица их были бледны от бессонной ночи. Проводницы зевали и посматривали на него с безразличием. Только одна из них помахала ему ладошкой. И именно она казалась ему сейчас самым нужным и понятным человеком.

После уютного, покачивающегося, точно колыбель, вагона земля показалась ему жесткой, неподвижной, а утренняя прохлада сразу же заползла к нему под пиджак и разогнала по телу полчища щекочущих мурашек.

Асет еще раз взглянул на проводницу. Блеклое предрассветное освещение размыло черты ее лица, и оттого оно казалось еще милovidнее.

Колеса дернулись, дрожь прошла по всем вагонам, и поезд пополз мимо Асета. Когда перед его глазами промелькнул последний вагон, им овладело такое чувство, будто главное в жизни пронеслось мимо и исчезло по ту сторону светофора.

С ним не раз так случалось: вдруг неожиданно-негаданно поманит счастье, а когда кажется, что оно уже у тебя в руках, – его как и не бывало. Так и сегодня. Он сидел в купе проводницы, и она рассказывала ему о своих сомнениях и надеждах. Он даже не знает, откуда она и как ее найти. А потом время и вовсе выветрит из

воспоминаний все реальное, и они станут похожими на хороший добрый сон...

– Асет-ага?

Он вздрогнул, хотя и знал, что его обязательно встретят.

Из-за белой будки путевого обходчика выходил коренастый парень в лихо заломленной кепке и клетчатой рубашке с закатанными по локоть рукавами. По его большим, темным от масла кистям рук Асет догадался, что это шофер, и точно, парень сказал:

– С приездом, Асет-ага. Я за вами.

Светлокожее лицо парня с узкими глазами показалось Асету знакомым. Знакомой была и его манера морщить лоб, прежде чем он произнесет слово.

– Как тебя зовут?– спросил Асет.

– Абдибай,– сказал, точно выдавил из себя парень.

– А чей ты? Кто твой отец?

– Шубар.

– Ах, вот как? Значит, ты и есть тот самый Абдибай? Да ты совсем большой!

Ну конечно же, это Абдибай, сын его родного дяди Шубара. Да и кто бы узнал после стольких лет в этом широкоплечем парне мальчугана-колобка, что каждое утро катил в школу, держа в одной руке сумку с учебниками, в другой – лепешку.

Асет растерялся, не зная, как держаться с Абдибаем: то ли обнять его как младшего родственника, то ли ограничиться рукопожатием. В конце концов он решил, что Абдибай уже взрослый парень и с ним можно не сентиментальничать. Вон и редкий пушок на подбородке, бреется небось.

– Бери чемодан!– сказал он, невольно любуясь крепким телосложением двоюродного брата.

А парень и в самом деле был хорош. Поднял чемодан, набитый подарками, словно тот ничего не весил. Только слегка напряглись мышцы на могучих руках.

– Машина там, – сказал Абдибай и зашагал к будке путевого обходчика.

– Значит, работаешь шофером, а учебу бросил, герой? – спросил Асет, шедший за ним.

У Абдибая покраснели уши. Парень пробурчал что-то невразумительное.

– Сколько же лет проучился?

– Семь.

– Пожалуй, не густо. Но все еще в твоих руках, – закончил Асет, стараясь не казаться слишком строгим.

«Газик» попетлял между глиняными домиками станции, выехал в степь и помчался по асфальтовой дороге навстречу рассвету.

В степи стояла ранняя весна. Снег сошел, но земля еще была вялой, заспанной. По сторонам от шоссе стояли коричневые лужи талой воды. А впереди шоссе упиралось в горы. Отсюда сквозь серую дымку казалось, будто лежит странное многогорбое животное, под брюхом которого обосновался аул, откуда он, Асет, уехал когда-то.

– Как дома-то? Все живы-здоровы? – спросил Асет.

– Да, все.

– Машина-то чья?

– Парторга.

– Представляю, что творится дома. Вот уж, наверно, суета перед свадьбой?

– Суета.

– Свадьба сегодня вечером? Я не ошибся?

– Вечером.

Абдибай и в детстве не был речист, а теперь и вовсе приходится вытягивать из него каждое слово. Асет предпринял еще одну попытку растормошить парня, а потом оставил эту безнадежную затею и отдался собственным мыслям.

И тотчас перед его внутренним взором возникла темная лента поезда, тоненькая змейка в степи, вот она удаляется, удаляется... убегает, убегает. Что сейчас поделявает симпатичная проводница? Может,

выходит в тамбур с флажком, или будит беспечного пассажира, которому скоро выходить, или спит сама после смены. Или... Он представил, как она сидит в своем служебном купе и печально смотрит в окно. «Я не верю в любовь, все это люди выдумали», – слышится Асету ее голос.

В ту ночь он так и не заснул. То ли не мог привыкнуть к своему покачивающемуся ложу, то ли спать не давало ожидание встречи с родным аулом, – только он намучился, отлежал оба бока, а затем не выдержал и, одевшись, вышел в коридор вагона. Тут-то он и разговорился с проводницей.

Он разоткровенничался первым, рассказал о том, что вот едет в гости на родину, где очень давно не был, что в городе осталась семья – жена и ребенок – и что сам он кандидат наук.

– А я-то думала – вы студент, – тихонько засмеялась девушка. – На вид вы очень молоды.

Потом наступила ее очередь, и она поведала ему свою грустную историю. Он принялся уверять ее, что все еще впереди, что, может, ее ждет большая любовь, но она твердила одно: «Не верю. Все это выдумки».

Ему подумалось: а не рано ли он вышел из поезда? Может, надо было ехать дальше и убедить девушку, что любовь живет среди людей. И заодно убедить в этом самого себя. Что ему стоило остаться в поезде?

К тому же он не очень стремился попасть в аул. Жаль сестру, поэтому и сидит в этом «газике» рядом с Абдибаем. А что касается самого аула, то Асет забыл туда дорогу и сам, наверное, стал для него отрезанным ломтем. Восемь лет назад он ушел отсюда пешком, дав зарок никогда не возвращаться. И сдержал бы слово, не пришли сестра это письмо. Она сообщала о свадьбе старшей дочери и впервые просила приехать. Он догадался, что тут не обошлось без ее мужа. Тот, наверное, так и сказал: «Проси, пусть приедет. Шутка ли, на свадьбе сам кандидат наук».



Он было хотел сослаться на вечную занятость, но вспомнил, как рыдала сестра, когда ее выдавали замуж. То ли ее принуждали, то ли просто пугала новая жизнь, только, когда уехали сваты, она уткнулась в подушки и заплакала навзрыд. Он вспомнил распростертое на постели худенькое тело сестры и протелеграфировал о приезде.

– Сестра-то как? Наверное, постарела?– спросил он Абдибая.

– Не знаю. – И парень пожал плечами.

– Почему не знаешь? Ты же не слепой?

– Не слепой,– подтвердил Абдибай.– А какой она была тогда, не помню. Был маленький.

«Ну и бирюк»,– подумал Асет.

Вот уже солнце поднялось над горизонтом. В машине стало душно, запахло нагретым маслом. Монотонный гул мотора убаюкивал. Веки налились тяжестью. Асет попытался было сопротивляться, но потом сдался и закрыл глаза. Абдибай покосился на пассажира и молча приподнял ветровое стекло. Холодный воздух обдал Асета, снял дрему.

Он устроился поудобней на сиденье и посмотрел по сторонам. По этой степи он не раз проезжал на коне и шел пешком на станцию. За восемь лет здесь ничто не изменилось. Разве осели, стали ниже холмы. А может, ему это только почудилось? Сколько прошло минут с тех пор, как они отъехали от станции? Пятнадцать? Двадцать? И поди ты, до крайних домиков аула уже рукой подать. А когда он шел на станцию в тот памятный день, ему казалось, что идет он от края света и до цели уже никогда не дойти. Помнится, вон на том бугре он отдыхал. Рядом овраг; туда он спустился оттого, что горло его пересохло от жажды...

– Будь добр, поверни к оврагу. По-моему, там был родник.

Лицо Абдибая осталось непроницаемым. Он крутанул баранку и повел машину по кочкам, по прошло-

годнему ковылю и полыни. «Газик» затрясло, запахло прелью, сырой землей.

У кромки оврага шофер заглушил мотор и замер, глядя перед, собой.

– Подожди минуточку, – сказал Асет, вылез из машины и спустился ко дну оврага.

Там, среди зарослей курая, среди мусора, нанесенного талыми водами, пробивался из земли слабенький прозрачный родничок. И так было каждую весну. Его заносило, он пробивался и по-прежнему поил путников холодной чистой водой. Тогда Асет долго лежал возле родника, распластавшись на земле, думал о жестокости судьбы и тихо плакал. Но, к его удивлению, воспоминания эти сейчас совсем не тронули душу. А тогда ему было горько. Он бежал из аула тайком, спасаясь от позора и мести, которых не заслужил...

Возле его ноги слегка пошевелилась длинная тень. Он поднял голову и увидел Абдибая, стоящего на краю оврага. Их взгляды встретились, и Асет заметил, как в темных глазах невозмутимого родича мелькнули искорки любопытства.

– Бывало, как ни пойдешь на станцию, обязательно потянет сюда. Напьешься – и дальше, – пояснил Асет, выбираясь наверх.

Выйдя из оврага, он огляделся. В степи всюду кипела хлопотливая весенняя жизнь: под землей, между кочками, в ворохе сухой прошлогодней травы. Асет только теперь увидел, как много в степи птиц. Одна отогревается на солнышке, другая скачет с куста на куст, с камня на камень, жаворонок взмывает в небо, и на степь льется его первая песня. И все это точно в старом знакомом доме, куда он теперь заявился как чужой.

Степь, ранее поражавшая его своим простором, показалась ему тесной. Только подумать, его дедам и прадедам было этого достаточно, здесь для них

сосредоточилась вся человеческая история, а тот мир, что начинался за горизонтом, был им совершенно не интересен.

– Поехали, – сказал Асет и решительно полез в машину.

Аул надвигался на машину, точно мираж. Дрожащее марево расступилось, линии домиков, поначалу зыбкие, колеблющиеся, стали обретать реальные очертания.

Справа от дороги показалось кладбище. Когда появились белые купола, Асет удивился и подумал, что это что-то новое. Насколько он помнит, раньше здесь вокруг могил ставились четыре стены. Такие окружали и последнее пристанище его отца и матери. Как-то теперь их могилы? Осели небось.

– Останови, дорогой, – попросил Асет.

Кладбище разрослось. Асет побрел мимо старинных полуразвалившихся могильных стен, мимо железных и деревянных оград, что окружали могилы поновее. Особняком среди них белели три купола, украшенных орнаментом.

– Красиво, правда? Теперь у нас так хоронить стали. – Абдибай впервые был столь многословен.

«Ну что же, раз так, значит, живете зажиточно», – подумал Асет. Абдибай понемногу отстал, видимо, сообразил, что здесь человек нуждается в тишине и одиночестве.

Асет пошел к центру кладбища, туда, где рядышком лежали отец и мать. Годы почти сровняли с землей могильные стены, холмики поросли кураем и чиём, провалились, особенно тот, что был насыпан над отцом. Асетом овладела робость. Он стоял с колотящимся сердцем, не в силах ступить еще полшага. Он чувствовал себя виноватым оттого, что у могилки вид был заброшенный, и оттого, что нужно было сейчас что-то сделать, а он не знал что...

Асет бросил последний взгляд на родные могилы и быстро зашагал к машине, стараясь не смотреть по сторонам. У самого края, там, где кладбище подходит к обочине дороги, едва не налетел на цементированный столбик с жестяной звездочкой. На столбике, под слюдой, желтела фотография. Асет невольно всмотрелся и узнал своего бывшего учителя математики.

Он был самым строгим учителем, и даже здесь, на снимке, взгляд его сохранил былую суровость. Ученики его боялись: за малейшее непослушание он гнал из класса и ставил двойки. А вечером, когда в колхозный клуб привозили кинофильм, учитель шел в кинобудку и выяснял у механика, нет ли на ленте кадров, где парень целуется с девушкой. Если ему отвечали утвердительно, он становился в дверях и не пускал школьников.

Железным казался мужчиной. Даже не верилось, что с ним может что-то случиться.

– Когда же это он?

– В прошлом году, – сказал Абдибай, пробуя ногой автомобильные баллоны.

– Пусть земля станет ему пухом. А рядом кто? – уже машинально спросил Асет и кивнул в сторону соседней стены, сложенной из булыжника.

– Здесь-то? Баглан и Айнаш.

Асету эти имена ничего не говорили, поэтому он вопросительно взглянул на Абдибая. Тот, поняв, что сказанным не ограничишься, добавил:

– А те, что застрелились.

– Застрелились? Сами?

– Ага, обнявшись.

«Узнаю родной аул. Разве тут без происшествий обойдется!» – подумал Асет и хотел было выяснить подробности, но решил повременить до поры, пока найдется более подходящий собеседник.

Аул встретил его совершенно незнакомой улицей. Там, где раньше гоняли футбольный мяч, возвышалось двухэтажное здание.

– Новая школа?– спросил Асет с невольным восхищением.

– Угу,– буркнул Абдибай.

– А здесь что?

– Сад. Детский.

– Это больница?

– Ага.

Сестра уже писала ему о том, что аул разрастается, что построены школа и больница. Но ему не верилось, будто в ауле, оставившем в его сердце горькую память о себе, может произойти что-то хорошее. И тем не менее все это его приятно поразило.

Еще издали Асет увидел дом сестры на бугре и саму сестру. Не дав ему даже выйти из машины, сестра кинулась к Асету, уткнула нос в его плечо и заплакала. Со всех сторон набегали женщины, смутно показавшиеся знакомыми, начали его тормошить, и от их галдежа у него заложило уши. Только и слышалось:

– Голубчик! Да ты уже совсем взрослый!..

– Вы только полюбуйтесь на него!..

– Весь в отца! Вот что значит след хорошего человека!

Женщины умиленно смотрели на него, смахивали слезы уголками платков, будто он явился с того света.

Потом они уступили очередь молодой поросли. Едва Асет выбрался из машины, как его окружили юные восторженные лица бесчисленных братьев и сестер, племянников и племянниц. И, глядя на них, он, пожалуй, впервые понял, что молодость его осталась позади.

Он пробирался к дому через толпу родичей и соседей. К нему тянулись руки, каждый норовил дотронуться до него, будто желал проверить, а действительно ли он настоящий, живой Асет. И Асет

невольно разволновался, тронутый их искренней теплотой.

Едва он разделся и присел на стул, устав от впечатлений, как пришел зять во главе группы мужчин.

– А вот и наш дорогой гость прибыл!– объявил зять, обнялся с Асетом, и тот окунулся в очередную волну приветствий: мужчины хлопали его по плечу, жали руку.

Его приезд взбудоражил и семью, и весь аул; стар и мал считали своим долгом зайти в этот дом и по традиции поприветствовать Асета. Его немедля усадили за стол, застеленный новой скатертью, приготовили чай и поставили миски с горячими баурсаками и лепешками. Он пил чай в окружении людей, которые следили за каждым его движением, и на их лицах было написано такое сочувствие, точно он не ел целый месяц.

И все же от его острого глаза не укрылось, что приготовления к свадьбе идут полным ходом, не останавливаясь ни на минуту. Среди людей, набившихся в дом и торчащих во дворе, проворно сновали озабоченные молодухи.

Откуда-то появлялась сестра, присаживалась рядом, гладила по руке, шептала растроганно:

– Родной мой... Светик мой... Солнышко мое... Ну, вот мы и увиделись...

Ей просто не хватало слов, чтобы выразить любовь и нежность. В эти минуты она походила на мать. Такая же ласковая и такая же теряющаяся от нахлынувшей радости.

Сестра казалась старше своих сорока лет. Шутка ли быть матерью девяти ребятишек! Асет понимал это, и все же она постарела более, чем он ожидал. И одета сестра в плюшевый камзол с длинными полами, какие обычно носят пожилые женщины. А талия ее опоясана цветным платком. Верно, уже мучается сестра поясницей – признак наступающей старости.

Он поймал себя на том, что сам чертовски растроган, до того растроган, что даже сжало горло, и он, не в силах что-нибудь сказать, только накрыл ладонь сестры своей ладонью и мягко пожал ее.

Молодуха, что собирала на стол, не выдержала и напустилась на сестру:

– Будет тебе! Брат ведь приехал родной! Ну чего слезы льешь? Дай ему напиться чаю!

– Больше не буду, – испугалась сестра, проведя пальцем по влажным глазам, – пей, мой родненький, пей!

И, посидев около него, убежала туда, где шли пока еще невидимые приготовления, и немного погодя возвращалась опять. И опять присаживалась рядом, и опять шептала.

«Как это славно, что у меня такая сестра. Как это здорово, когда тебя есть кому встретить», – подумал Асет.

Он разомлел от горячего чая, от вкусной пищи. Давала о себе знать и бессонная ночь. Когда ему сказали, что в соседней комнате его ждет приготовленная постель, он не стал сопротивляться. К тому же впереди предстояла свадьба – нелегкое испытание и для отдохнувшего человека.

## 2

Разбудил его шум голосов за окном. Кто-то назвал его имя. Асет взглянул на часы. На сон ушло два часа с небольшим, но этого было достаточно. Он чувствовал, что тело его обрело привычную гибкость и легкость. Лишь голова была еще тяжелой, как всегда после дневного сна.

А со двора донесся смех, и голос сестры произнес:

– Ба, кто идет?! Уж не Загипа ли пожаловала к нам?

Асет встрепенулся, поднял голову.

– Здравствуйте, тетя Кульшар! – ответил мягкий голос.

– Здравствуй, здравствуй, Загипа! Как твои дети? Живы-здоровы? Как ты здесь появилась, милая? Разве вы уже вернулись? Я-то думала, вы еще на песках, – сказала сестра.

– Да нет уж, мы перекочевали к горам. Дня три, как перебрались. А я вот приехала на мельницу – надо помолоть зерно.

Они еще долго говорили о том, о сем, и потом Загипа спросила:

– Говорят, приехал Асет?

– Приехал голубчик, приехал. Намаялся в дороге, всю ночь ехал поездом. Я уложила его отдыхать.

– Хотелось бы взглянуть на него. Какой он теперь? Поди, уж лет двенадцать прошло, как я его не видела. В детстве-то, тетя Кульшар, мы бегали вместе. А то и на конях наперегонки.

– Подожди немножко. Он скоро, наверное, встанет.

«Ну да, это же Загипа! Та самая маленькая Загипа! В самом деле, мы не виделись лет двенадцать. Так и есть, после восьмого класса», – сказал себе Асет.

В то время его отец пас колхозных коней, и часто случалось так, что по соседству кочевал отец Загипы с отарой овец. Вот тогда они вместе с Загипой и носились на конях: то заворачивали отбившуюся от стада скотину, то просто скакали наперегонки.

А помнит ли Загипа, как они ездили однажды в школу? Что касается его, когда он думает о детстве, в его памяти непременно всплывает этот случай, и у него возникает ощущение трогательной чистоты.

Помнится, они заканчивали учебу в шестом классе и вместе ездили на экзамены. В тот раз их семьи расположились по ту сторону горы Ешкиольмес, у самого подножия, и он, и Загипа поутру выезжали в аул. В этот памятный день с ночи сеял мелкий дождь, унялся он только к полудню. На смену ему опустился такой густой туман, что, казалось, плечи ощущали его тяжесть. Высокая горная трава набухла от влаги: она



только и ждала неосторожного путешественника, чтобы вымочить от пят до головы.

Отец им выделил крупного гнедка, известного особо спокойным нравом. Загипа устроилась в седле, Асет подстелил себе стеганое одеяло и сел за ее спиной. Гнедок послушно зашагал по извилистой, скользкой после дождя тропе, ведущей через вершину перевала в родной аул. Он был опытным конем и не раз, не два переносил на себе груз и людей по самым рискованным тропам. И сейчас он взбирался по раскисшему подъему с ловкостью кошки.

Тропа попетляла по мокрому кустарнику и поползла вверх до того круто, что Асет, опасаясь свалиться со спины гнедка, крепко уцепился за талию Загипы.

– Ой-ей-ей, щекотно,– запищала Загипа, вырываясь,– убери сейчас же руки, отпусти!

– Но тогда я свалюсь с лошади,– возмутился он.

– Мне-то какое дело! Только не держись за меня. Ну, тебе говорят!

Гнедок уже пробился сквозь туман и вынес их на вершину перевала под голубое небо, ясное, точно промытое дождем. Низко над горизонтом висело ослепительно-багровое солнце, похожее на огромную ракету, уходящую к неведомым звездам. Никогда потом Асет не видел такого неба и такого солнца, как в тот памятный день, когда ехал на экзамены в школу, сидя на стеганом одеяле позади Загипы.

– Асет, ты только посмотри, как здорово! Правда, здорово, правда?!– закричала Загипа.

Под ними волнами бродил туман. Местами он лежал неподвижно, будто распушенная шерсть. То белосерый, то темный и алый там, где его окрасило в свой цвет солнце.

– Нет, ты только взгляни, Асет! Ну посмотри же! Эй, горы!– кричала Загипа, и скалы, разделив ее восхищение, откликнулись эхом.

А он молчал, потрясенный зрелищем, даже забыл, что до сих пор его пальцы лежат на талии девочки. И Загипа первая вспомнила об этом.

– Ой, щекотно! Ну сколько раз тебе говорить? Ты что? Глухой?

А он в восторге прижал к себе Загипу, потому что в самом деле все было здорово: и небо, и туман, колышущийся внизу, и Загипа.

– Ой-ей-ей!– заверещала девочка и покатилась с лошади в густую траву, он скатился вместе с ней, и над ними поднялись сверкающие брызги.

Они хохотали, катались по траве, тузили друг дружку, а гнедой стоял в сторонке, смотрел на них большим красноватым глазом и никак не мог понять своим лошадиным умом, что это происходит с людьми.

И только когда солнце зашло, они спохватились, заметили, что уже потянуло вечерней прохладой, что они оба промокли насквозь и что вообще уже поздно. Они поднялись на ноги, растрепанные, немного уставшие.

– Ой, поехали, Асет! Скоро появятся джинны, шайтаны,– всполошилась Загипа.

Асет поправил наскоро потник, седло и свое одеяло, помог девочке взобраться на гнедого, потом подвел его к выступу скалы и взгромоздился сам.

– Асет, ты только взгляни, сколько вокруг острых камней. Только подумай: мы же могли разбиться,– сказала притихшая Загипа.

Асет погнал гнедого мелкой иноходью. Тропа побежала, виляя между камнями, вниз, в сгущающиеся сумерки. По пути мелькали развалины заброшенных зимовок, их вид внушал какой-то суеверный страх.

– Асет, ты только подумай, когда-то здесь жили люди и ничего не боялись,– прошептала Загипа.

А он, совсем оробев в сумерках, крепко обнял Загипу. На этот раз девочка тоже приникла к нему. Он слышал, как гулко и быстро стучит ее маленькое сердце, и

колотил гнедого пятками по выпуклым бокам. Тот, будто поняв их состояние, затрусил побойчей.

В аул они приехали поздно вечером, вымокшие, разбитые. Сестра Кульшар передела их в одежку своих детей, поставила перед ними лапшу, к которой они почти не притронулись, и уложила спать рядышком в переднем углу комнаты.

Он проснулся первым и тут же подумал о предстоящем экзамене, о том, что нужно еще полистать учебник. В комнате было уже светло. Он шевельнулся, и сейчас же что-то приятно щекочущее коснулось его шеи. Он осторожно повернулся и увидел, что это коса спящей Загины. Конец косы расплелся, пушистая кисточка слегка касалась его щеки. От ее волос исходил прохладный, чуточку кисловатый запах айрана.

Асет прикрыл глаза и, прикидываясь спящим, осторожно приблизил свою голову к голове Загины, еще раз вдохнул запах ее волос.

Потом он приподнялся на локтях, долго смотрел на сладко спящую девочку. Ему очень хотелось притронуться губами к ее теплой щеке, но он не осмелился и только поцеловал кончик косы.

Когда они перешли в восьмой класс, родители Загины поселили ее у одинокой вдовы. А весной к вдове приехал племянник и надолго задержался в гостях. Что и говорить, это был видный парень. Он только вернулся из армии, нахватался всякого в больших городах, и они, одноклассники Загины, конечно, не шли с ним ни в какое сравнение. С появлением этого парня Загина стала меняться у всех на глазах. И потом, когда тот уехал, Загину уже было не узнать. Раньше лезла во все школьные проказы: если какая свалка на перемене, значит, там и Загина. А сейчас ее и не выгонишь в коридор. Сидит за партой, мечтательно смотрит в окно. И внешне она изменилась: пополнила, стала такой красавицей, что можно смотреть на нее целый урок и все равно не нагладишься.

Пришло лето, ребята разъехались по домам. С этого года отец Загипы пас овец в иных местах, и впервые Асет и Загипа проводили каникулы врозь; а осенью, когда начался новый учебный год, она не вернулась в школу. Поговаривали, что ее отцу нужен был помощник и отец настоял, чтобы Загипа бросила учебу. Потом, через пару лет, разнесся слух, будто она вышла замуж за молодого чабана.

И вот эта самая Загипа, девочка из его детства, сейчас стоит за окном и ждет его пробуждения.

Взволнованный Асет встал с постели, оделся, привел в порядок свой костюм, насколько это можно было сделать с помощью одежной щетки и ладони, с особой тщательностью причесался у зеркала. Правда, то же самое зеркало показало ему слегка отекавшее лицо и красноватые со сна глаза. Но тут уж он ничего не мог поделать, только утешил себя тем, что на свежем воздухе все пройдет.

Он было направился к выходу, но в передней послышались голоса, и дверь отворилась. Рядом с сестрой стояла смуглая женщина с сухими выцветшими губами на изможденном, преждевременно постаревшем лице. «Господи, неужели это Загипа?» – ужаснулся Асет.

– Он проснулся, наш соколик! – сказала сестра, светясь радостью.

– Здравствуйте! Как ваше здоровье? Как вы доехали? – учтиво осведомилась Загипа, протягивая ладонь с худыми, вздувшимися на суставах пальцами.

Он пожал эти пальцы, и, наверное, лицо его было растерянным, потому что Загипа рассмеялась и сказала:

– Тетя Кульшар, Асет не узнал меня, забыл уж совсем.

Он поглядел в лицо женщины и увидел, как вспыхнули озорными огоньками ее темные глаза – все, что осталось от прежней Загипы.

– Что вы, Загипа, разве вас можно забыть? Я вас узнал сразу, – пролепетал Асет, смутившись, а про себя подумал: «Бог ты мой, в кого превратилась она?!»

Одежда, пошитая из дорогого шелка и плюша, сидит на ней мешком, голову туго стягивает нелепый красный платок. А куда подевались прежняя стать и легкость движений? Шаркая подошвами, теперешняя Загипа прошла в комнату и как-то неловко села на краешек стула.

– Забросили наш аул. Не видать вас, не приезжаете, – сказала она.

– Работа, дела. Понимаете, некогда, – ответил он, как всегда отвечают в подобных случаях.

– Э, дорогая Загипа, это у нас: когда захотел, взял и поехал. У них там, в городе, по-другому. Все по часам, – вступилась сестра.

Согласно обычаю, Загипа расспросила его о делах, о том, как поживают его жена и дети. А потом рассказала о своем житье-бытье, и Асет узнал, что живут они с мужем хорошо, пасут отару овец в предгорьях, что у них уже шестеро детей: одни учатся в интернате, другие вместе с родителями живут в юрте. Потом она, в свою очередь, осведомилась, сколько детей у Асета, и он сказал, что один-единственный сын.

– У них в городе так заведено: один или двое ребят, а больше они не рожают, – опять вмешалась сестра, и он заметил по лицам женщин, что они не одобряют этого.

Загипа посидела еще для приличия – говорить им уже было не о чем. Потом поднялась со словами:

– Пожалуй, я пойду на мельницу. Как бы не прозевать очереди.

– Вечером приходи, ты же знаешь: у нас сегодня свадьба, – напомнила сестра, тоже поднимаясь.

– Придем, тетя Кульшар. Спасибо за приглашение.

Загипа ушла. Но и после ее ухода Асет не мог успокоиться и все думал, думал... Что же все-таки произошло? По годам она еще молода, его ровесница. И живет, говорит, с мужем душа в душу, и заработки, говорит, неплохие. Так что же ее состарило? Может,

доля матери? Шестеро, говорит, детей, все ребятишки хорошие, но ведь каждого выкорми, научи уму-разуму...

Ему стало не по себе, будто он предал и сестру, и Загипу и ищет себе легкую жизнь, хотя на самом деле его жизненный путь извилист и труден.

Он вспомнил свою жену, цветущую, веселую женщину, вспомнил, как она временами ложится в больницу, чтобы избавиться от беременности, и как ему это кажется обыденным.

Он попытался представить жену многодетной, состарившейся от забот и подумал с любопытством постороннего человека, как бы он тогда к ней относился. Но представить это было почти невозможно. «А если так, то ни к чему ломать голову, – сказал он себе, – у каждого своя высота, своя доля, может, судьба или как еще там...».

Он заглянул в комнату, где сестра готовила стол.

– Может, ты проголодался?– спросила она с надеждой.– Хочешь, налью тебе сорпы?

– Да что ты! Я сыт,– сказал он, уже в который раз тронутый ее заботами.– Пойду-ка лучше прогуляюсь, по свежему воздуху.

Асет вышел во двор. Между кухней и очагом, сложенным во дворе, сновали женщины и помогающие им дети.

Он завернул за угол дома и увидел своего зятя. Тот сидел на скамеечке в компании мужчин. Мужчины подвинулись и усадили гостя посередине. Чуть погодя подошли еще трое. Вскоре на скамейке не осталось мест, и вновь приходящие мужчины здоровались с Асетом и усаживались на камень или просто опускались на корточки.

Солнце постепенно клонилось к вечеру. От нагретой земли поднималось дрожащее марево. Небо сияло неправдоподобной чистотой, казалось, вот-вот в его прозрачных глубинах возникнет сказочный мираж. Было тепло и тихо; словно зачарованные

покоем, мужчины переговаривались не торопясь, негромко.

Беседа шла о колхозных делах, от которых Асет уже давно оторвался; он ловил вполуха ставшие для него посторонними разговоры, смотрел на новую школу, что виднелась в створе между двумя жилыми домами, и пытался пробудить в себе воспоминания о прошлом.

– Красивую школу построили, а? – спросил его Куракбай, с которым они давным-давно бегали в старую школу.

Теперь он еле узнавал своего сверстника в этом крупном уверенном в себе мужчине.

– Красивая. Большая, – кивнул Асет.

В самом деле, школа, хоть и стояла в низине, возвышалась над крышами аула.

– Большая, а вот двух этажей уже мало. Нужен третий, а где его взять? Директор чуть не плачет. Что, говорит, буду делать на следующий год? Детей станет столько, что всех не вместишь, развалится школа, – сообщил Куракбай, смеясь.

– Рано он паникует, – сказал Асет.

– Ты говоришь – рано? Посуди сам. В прошлом году он принял восемьдесят первоклассников. В этом году их будет более ста. А дальше... – Куракбай даже не нашел слов, только присвистнул.

Асет удивленно покачал головой.

В школе тоненько прозвенел далекий звонок, и на улицу высыпали дети. Видно, уже сейчас занятия шли в две смены. Что же будет потом? Тут и вправду посочувствуешь директору.

А ребятам, видать, не до директорских мучений. Те, что побойчей, устроили шумную возню с беготней, непрерывной борьбой на пыльной улице. Кто-то ударил гулко по футбольному мячу, и за мячом с грачиным гвалтом, толкаясь локтями, погналась орава мальчишек. А девочки и ребята посолидней чинно стояли

вдоль стенки, жмурясь от заходящего солнца, и вели степенный разговор.

– Славная подрастает молодежь, – сказал Асет, обращаясь к Куракбаю, но его услышал один из пожилых мужчин и возразил, мол, нынешнее поколение не видало трудностей, живет на всем готовом, даже привередничает за столом, а одежду подавай только модную, и вообще молодым лишь бы хулиганить, а все серьезное они готовы осмеять.

– Что и говорить! Вот, к примеру, эти двое, которые застрелились. Можно подумать, такая уж была любовь! От баловства они застрелились, вот что я вам скажу, – подержал его седоусый мужчина.

Асет вспомнил кладбище, скупое сообщение своего двоюродного брата Абдибая и спросил, кто они такие, эти самоубийцы.

– Может, помнишь Курмана? Ну того, что был мельником? – спросил в свою очередь зять.

– Курмана-то? Помню, – сказал Асет.

– А дочь его помнишь? Ну, конечно, нет. Она была еще козявкой тогда.

– Такая большеглазенькая, Айнаш, – подсказал Куракбай и добавил: – Она в прошлом году закончила школу.

– Айнаш? Не помню, нет, не помню, – признался Асет, – сыновей Курмана помню хорошо. Вот уж забияки. А дочку не могу припомнить... Значит, она и застрелилась, Айнаш?

– Айнаш и Баглан, – сказал зять, а остальные закивали, подтверждая.

– Баглан... Баглан, – пробормотал Асет, стараясь разбудить свою память.

– Помнишь Камена? Худой такой ходил, вечно в старом чапане. Он еще высадил деревья вон там, – и Куракбай махнул в сторону станции. – Помнишь, мы прозвали их рощей Камена, а потом там и на самом деле роща выросла.



– Как не помнить Камена, – обрадовался Асет. – И рощу его не забыл. Только сыновей-то у него больно много.

– Было семнадцать, – сказал зять, – было, это точно. Но ты позабыл: старшие не вернулись с войны. А младшие померли тогда же – кто от болезней, кто от голода. Сам понимаешь, все в руках судьбы. Но у Камена все же остался один. Так вот это и был Баглан.

– Длинный такой, белолицый, – добавил Куракбай.

– Этого парня я знаю, – сказал Асет в нетерпении.

– Баглан решил жениться на Айнаш прошлой осенью. Но, видать, у Курмана были свои планы. Выгнал он Баглана. Не про тебя, говорит, такая красавица, – начал рассказывать зять.

– А его сыновья, – горячо вмешался незнакомый Асету парень, – а его сыновья – точно сторожевые псы. Даже не подступиться к дому.

– И тогда Баглан решил выкрасть Айнаш. Раз не хотят добром, так вот дай, думает, выкраду, – сказал Куракбай. – Но ничего не вышло. Братья поймали их на улице. Его избили чуть ли не до смерти, а сестру увели обратно в дом.

– Но, думаете, Баглан отступился? – перебил Куракбая все тот же горячий парень. – Через месяц он сделал то же самое! И на этот раз братья Айнаш настигли их у родственников Баглана. Примчались целой оравой на грузовике. Опять избили Баглана, а ее забрали с собой.

– А что же Айнаш? – спросил Асет. – В наше время девушка не вещь. Если уж захочет устроить свою судьбу, кто ей помешает?

– Айнаш и сказала отцу и братьям, мол, не могу без Баглана жить, и все! Как она плакала, Айнаш! – сказал Куракбай. – А те ни в какую!

– Глупые люди, что с них возьмешь, – заметил седоусый осторожно.

– Но есть же закон! – возмутился Асет. – Неужели у Баглана не было головы? Стоило сходить в милицию, дескать, так-то и так!

– Почему он не жаловался, этого теперь никто не знает. Наверное, потому, что они родные любимой. И что ж потом за жизнь, если пойдешь жаловаться на ее родных, – вздохнул зять.

– И тогда Баглан этой зимой будто бы влез в окно к Айнаш, обнял ее, и так, обнявшись, они и застрелились из ружья, – тихо закончил Куракбай.

– А что с братьями Айнаш? Их наказали?

– Куда там! Вмешалась вся родня, замяла эту историю. Баглан и Айнаш оставили записку: мол, никто не виноват, сами так захотели, – сказал огорченно парень и махнул рукой.

«Узнаю мой аул! Милые, славные люди... Но вот на их глазах случилась беда, и они смалодушничаши перед старыми, ужасными традициями, хотя в их руках и власть и закон», – подумал Асет.

– Милок, ну-ка расскажи нам, что нового в Алма-Ате? Это правда, будто там построили гостиницу до самого неба, а? – спросил седоусый, стараясь перевести разговор на другую тему.

– Построили высокую гостиницу, построили, – рассеянно ответил Асет, все еще находясь под впечатлением от нелепой трагедии.

– Вот и хорошо! Теперь приедешь в Алма-Ату – и есть, где остановиться.

Седоусый нервно засмеялся, и Асет понял, что тот чувствует свою вину, как и все, наверное, люди аула, стыдится и хочет спрятать подальше свой стыд.

– Ах, как плывет! – воскликнул Куракбай, вытягивая шею, и остальные мужчины, точно по команде, повернули головы.

Асет последовал их примеру и увидел молодую женщину в белом свитере и короткой коричневой юбке. Она вышла из дверей почтового отделения и теперь шагала, приближаясь, по той стороне улицы.

– Кто это? – спросил Асет.

– Заведующая почтой. Это же Саулетай! Неужели ее не помнишь?– удивился Куракбай, не сводя глаз с женщины.

Куракбай еще не договорил, а он уже узнал Саулетай. Его точно обожгло огнем. А мужчины, заметив Саулетай, тотчас уставились на него. Он, желая скрыть растерянность, будто бы озабоченно зашарил по карманам, вытащил носовой платок, провел по лицу, потом засунул платок в карман. Затем ухватился за прут, что держал Куракбай, и отломал конец.

– Ай, какой испортил саженец! Еле его выпросил, хотел посадить в своем саду. А ты испортил, – расстроился Куракбай.

А Саулетай шагала, словно никого не замечая, высоко несла голову, глядя прямо перед собой. Асет подумал, что, подойдя поближе, она может поздороваться с ним, и растерялся совсем, оттого что не знал, как себя держать, – то ли подняться с места, то ли остаться сидеть.

Но волнение его оказалось напрасным. Саулетай проследовала мимо, так и не повернув головы. Будто бы демонстрировала всем свою неприступную гордость и красивый профиль.

И, может, он один заметил, что она чуточку покраснела. Но он не был твердо уверен в этом.

Асет был вынужден признать, что она похорошела. Он попробовал пробудить в себе давнишнее презрение к Саулетай, но из этого ничего не вышло. Его взгляд невольно потянулся за ней, а в душе творилось что-то странное: тут было и восхищение, и укор, и жажда мести, и страсть. И все это венчало сожаление о безвозвратно ушедшем прошлом.

Он знал из писем сестры, что после его отъезда Саулетай вышла замуж и родила двоих детей. Потом муж ее упал с коня и разбился насмерть, а она, повдоев около года, вышла замуж вторично. Но и тут ей не повезло: второй муж что-то натворил – что именно,

сестра так и не объяснила толком, – и его упекли в тюрьму. Только вот ему не было известно, как живет она сейчас. Но спросить об этом у сидящих рядом у него не хватило смелости – еще подумают что-нибудь.

### 3

Дом хозяина заняли почетные гости: те, кто приехал на свадьбу из районного центра, руководство колхоза и сваты. Остальных гостей разместили по соседним домам. В один – стариков, старух и тех односельчан, что дожили до зрелого возраста, но еще не заслужили особого почета, а самый крайний дом отдали молодежи – пусть, мол, шумят себе на отшибе.

Асет был среди почетных гостей. Поначалу он, как и все, пил, смеялся, а потом заскучал, загрустил. Такое с ним часто случалось за пиршественным столом. Вдруг ни того ни с сего приходило в голову, что вот он сидит беспечно, а где-то стороной проходит самое главное для него.

Вот и сейчас он вспомнил проводницу и опять пожалел, что сошел с поезда. Он почти ощущал уютное покачивание вагона, обиженный голос девушки. Ему показалось, что и остальные гости тоже только притворяются, будто им весело, а на самом деле, как и он, думают, беспокоятся каждый о своем сокровенном.

Он попытался утешить себя тем, что скоро гулянье утихнет и гости разойдутся спать, но когда взглянул на часы, то, к своему немалому удивлению и расстройству, обнаружил, что минуло всего лишь два часа и свадебному пиру еще нет конца и края.

И, как всегда в подобных случаях, у него сразу же заболела голова, он потрогал лоб и откинулся на спинку стула.

Сестра была занята гостями, вместе с помогавшими ей женщинами подавала на стол то одно, то другое и все же в этих хлопотах умудрялась следить за каждым

его движением. Вот и теперь она наклонилась над ним и шепотом спросила:

– Родненький, что с тобой?

– Ничего, все в порядке, – сказал он, стараясь ее успокоить: мало ли ей и без него забот.

– Может, пойдешь к молодежи?

– Не волнуйся, мне весело и здесь.

А сам подумал: «Наверное, у них то же самое».

– Идем, я тебя провожу.

Она почти силой вытащила его из-за стола.

Дом, отданный молодежи, гремел, подрагивая от топота, гудел, как улей.

В передней он наткнулся на пьяного Куракбая. Друг детства еле стоял на ногах и препирался с молодыми женщинами, которые пытались его утихомирить. Увидев Асета, Куракбай пьяно засмеялся, раскрыл объятия.

– Асет, дружище! Самой сладкой водки тебе! Почему ты не с нами? Зачем тебе начальство? Да плюнь ты на него, иди к нам гулять! – заорал друг детства и по-свойски ударил Асета по плечу.

Асет было поежился, но Куракбай поднял указательный палец и заявил заплетающимся языком:

– Ты наша гордость. И точка! Пойдем к нам!

Он ухватил Асета за локоть, и Асет вошел в гостиную, таща на себе Куракбая, иначе бы тот упал.

Его появление встретили восторженным гвалтом. Со всех сторон протянулись руки:

– Асет, присаживайся к нам!

– Нет, нет, иди к нам, Асет!

У него зарябило в глазах: он вертел головой, не зная, как поступить. Признаться, он был польщен таким вниманием.

Порядок навел высокий парень с франтоватыми усиками. И по тому, как все затихли, едва этот парень открыл рот, Асет догадался, что слово взял тамада.

– Ти-хо! – гаркнул тамада. – Пусть наш дорогой гость займет место рядом с женихом и невестой!

Молодые застеснялись и стоя ждали, пока Асет сядет рядом. Еще долго невеста, его племянница, застенчиво прикрывала лицо рукавом, а жених улыбался смущенно.

Только Асет коснулся стула, как началось:

– Асету штрафную!

– Эй, налейте ему полный стакан!

Асет шутивно зажал уши, а сам подумал, что еще там, в доме сестры, выпил уже предостаточно, что ему, пожалуй, на сегодня хватит. «Вот посижу чуточку, а когда они успокоятся, улизну незаметно», – утешил он себя.

– Пусть Асет скажет тост!– услышал он.

– Асет, скажи что-нибудь!

«Что я им скажу? Самые лучшие пожелания уже, разумеется, сказаны за этим столом».

И все-таки он поднялся и произнес какие-то слова о любви, о молодости. Складно ли у него получилось, он не понял и сам. Сидевшие за столом закричали, захлопали, но они бы все равно кричали и хлопали, что им сейчас ни скажи...

– Товарищи, тишина!– подал голос тамада, поднимаясь.

Он снял галстук, подвернул рукава белой рубашки – что и говорить, парень трудился добросовестно, в поте лица, которое уже стало от выпитого и духоты совсем малиновым.

– А ну-ка, споем Асету поздравительную! Раз!.. Два!.. Три! – скомандовал тамада и начал дирижировать. И над столом зазвучал дружный хор:

Пусть будет счастлива сестренка твоя!

От всей души мы рады тебе, Асет...

Эту песенку, видать, они сочинили сами в его честь и разучили заранее. Куплеты, полные почтения к его особе, перемешались с шуточными, и безобидные шутки удваивали веселье.

«Молодцы, молодцы!» – похвалил Асет мысленно.

Он исподтишка вглядывался в их лица. С некоторыми из пирующих он когда-то бегал по улице, потом ходил в школу. Других, что помоложе, он едва помнил, а кое-кого, может, и не знал вовсе.

«Молодцы, молодцы!» – повторил он. И все же ему было скучно среди этих людей. Казалось, что они чересчур просты, наивны, что всегда можно по их лицам прочесть все, что есть на душе у любого из них. Терзания ума им неведомы. Среди этих людей он начал путь в огромный сложный мир – даже не верится...

Он еще раз оглядел пирующих. Его взгляд наткнулся на все того же двоюродного брата Абдибая, сидевшего у дверей. Шофер и здесь был скуп на проявление чувств. Сидел осоловевший, только изредка дул на длинный чуб, спадающий на глаза, да временами на его губах мелькала беглая ухмылка.

«Пора уходить. Как бы отсюда выбраться?» – подумал Асет, и вдруг его взгляд остановился на молоденькой девушке с курносым веснушчатым личиком. Она пела вместе со всеми, задорно потряхивая короткими волосами, и улыбалась Асету, будто предлагая разделить ее чудесное настроение. До красавицы ей было далеко, оттого, наверное, он поначалу не обратил на нее внимания. Сидит себе девушка, ни красавица, ни дурнушка, и глазу не на чем задержаться. И нужно было ей запеть и улыбнуться, чтобы он вдруг открыл ее для себя.

«Да нет же, и вовсе она не красивая», – подумал он и улыбнулся, глядя на ее веснушки, тоненькие брови полумесяцем, на темные, искрящиеся озорством глаза, на ее милую курносую рожицу.

Он улыбнулся, и ему стало легко, словно чья-то ласковая рука сняла с него тяжесть своим прикосновением. «Кто она? Чья это дочь?» – гадал он.

Время теперь спрессовалось в мгновение. Асет уже не считал, сколько им спето песен и сколько он выпил,

глядя на удивительную девушку. Теперь ему казалось, будто никто на свете не умеет веселиться так естественно, вдохновенно, как веселятся в его родном ауле, и что нигде не найдешь таких прекрасных людей, хоть объезди весь белый свет. Все вечеринки, что были там, в городе, казались сплошь чем-то нудным, искусственным.

– Друзья! А сейчас танцы!– оповестил неугомимый тамада.– Базикен, возьми баян! Подайте баян Базикену!

Коротышка Базикен развернул мехи от плеча до плеча и тронул лады неверной рукой. Он напился до чертиков, пальцы его бегали наугад. Но это уже не имело значения. Стулья и стол сдвинули к стенке, и начались танцы.

Асет танцевал с веснушчатой незнакомкой. Теперь ее лицо проплывало перед его глазами, и вблизи оно было еще симпатичней. Асет решил, что она очень красива и что такую девушку не увидишь даже во сне.

Ему захотелось слегка подразнить ее, ласково, чтобы она не обиделась, пошутить с ней, точно с ребенком, понимая, что школьницу сюда бы не пустили, значит, она уже закончила школу в этом или прошлом году, а может, и еще раньше, он шутливо спросил:

– Девочка, и в каком же ты учишься классе?

– В двенадцатом!– сказала она не поведя и бровью.

«Ого!»– удивился Асет, но отступить было поздно.

– Но в школе-то знают, что ты из седьмого класса. Завтра будут ругать,– продолжал он храбро.

– Ну, если будут ругать, я не пойду в школу.

– М-да, но если не пойдешь в школу, задаст взбучку мать.

– Вы думаете?– Она прикинулась озабоченной.

– Еще какую взбучку!

– Ну, если взбучку... Тогда я сбегу с джигитом.

– Кто этот счастливчик?

– Не скажу,– ответила девушка строго.



Она подняла лицо, и он увидел ее лукавые глаза.

К его досаде, танец прервался – коротышка Базикен заскучал по очередному стаканчику. Но вот он вытер губы, взялся вновь за баян, и веснушчатая девушка сама пригласила Асета. Она улыбалась ему.

– Милая, нельзя ли еще вопрос?

– Не лучше ли поставить точку?

«Ну и ну, да с ней держи ухо востро», – подумал Асет и, тщательно взвесив каждое слово, сказал:

– Но после точки можно начать новое предложение, не так ли?

– Разве что новое.

Тогда он, волнуясь, словно юноша, произнес:

– Ты еще не замужем?

– Нет! – ответила она вызывающе, и ее ответ почему-то доставил ему радость.

– А чья ты дочь?

– Шалгынбая!

Он помнил старика Шалгынбая, живущего на окраине аула, там, где начиналась дорога в предгорья, помнил его свирепых собак. Но вот дочь...

– А как тебя зовут, дочь Шалгынбая?

– Чинара!

После танцев снова уселись за стол, снова начались тосты, но Асету хотелось увести отсюда Чинару, побродить с ней по ночной улице. Он не знал, как это сделать, и боялся, что она не пойдет, вдобавок высмеет своим острым язычком, и красней тогда от конфуза.

Наконец он решился и, когда глаза их встретились, указал взглядом на дверь. Чинара подняла брови, раздумывая, потом опустила глаза, и Асет понял, что она согласна. Они вышли поодиночке: он первым, она немного погодя, Асет тайком прихватил пальто, Чинара – свой плащик.

Он подождал девушку, прячась в тени за углом. Она появилась следом и сразу же нашла его. По ее тихому смеху он догадался, что она немножко захмелела.

Время перевалило за полночь. Их окружила загадочно молчаливая тьма. Со стороны гор дул ровный прохладный ветер.

Они побрели по пустынной улице, туда, где лежала невидимая, затаившаяся степь. Потом Асет остановился, взял ее за руки и притянул к себе, вглядываясь сквозь темноту в ее лицо.

– Милая, сколько же тебе лет?– спросил Асет, чтоб продолжить игру, но сейчас, когда они очутились одни, голос его помимо воли прозвучал почти серьезно.

– Милый, мне восемнадцать!– ответила она тоже почти серьезно.

– А мне двадцать семь,– произнес он с грустью.

– Фи, меня это не интересует,– заявила Чинара, первой обрета прежний игривый тон.

Она откинула голову назад, ее глаза вызывающе блестели.

– А зачем же ты вышла, когда я позвал? Может, я старый и хитрый волк?

– Я не боюсь! Я смелая!

– Ах, вот как! Тогда я тебя поцелую.

– Все равно не боюсь!

Асет наклонился и поцеловал неподвижные прохладные губы. Она не ответила на поцелуй, только засмеялась, будто напоминая, что все, что сейчас происходит, нельзя принимать всерьез.

Они молча пошли по окраинным улицам. Иногда на них с оглушительным лаем бросались собаки, но, сообразив, что этим двоим не до них, отходили, и снова восстанавливалась тишина. Только слышно, как перетирают свою нескончаемую жвачку коровы.

– О чем ты думаешь?– спросил он наконец.

– О вас.

– Хороший я или плохой?

– Ага!

– И какой же я, по-твоему?

– Плохой!

Асет остановился, заглянул в лицо девушки. На этот раз она не улыбалась. Это царапнуло его самолюбие.

– Но почему тогда ты позволила себя целовать? Если я плохой?– спросил он уязвленно.

– Потому что вы мне понравились.

– Ты смеешься надо мной?

– Ага!

Девушка и вправду смеялась.

Они свернули в степь, поднялись на холм, что чернел будто страж на краю аула. У их ног лежали улицы, дома. Ветер донес неразборчивые слова песни, голоса пьяных.

– Ну вот, уже расходятся со свадьбы,– сказала девушка с сожалением.

– Ты хочешь домой? Если тебе пора, я провожу.

– А я не спешу!

– Нет, отчего же! Я провожу.

– Все равно не пойду! Не хочу! Не пойду!

Она вдруг прильнула к его груди, прошептала:

– Дяденька, милый, мне холодно.

Асет обнял ее, стараясь согреть, долго целовал. Она закрыла глаза и отвечала неумело, беспомощно...

– Расскажите что-нибудь,– попросила она потом.

– Что же тебе рассказать?

– Ну хотя бы спросите о чем-нибудь.

«О чем же ее спросить?»– подумал Асет.

– Ты хорошая или плохая?

– Не знаю сама... Наверное, хорошая.

«Милая, наверное, ты и в самом деле хорошая. Я совсем не знаю тебя. Но верю, что ты славная, даже очень славная девушка», – подумал Асет.

– А что скажут люди завтра? Ты не боишься?

– Мне-то какое дело. Но не будем об этом. Давайте поставим точку. Все!

– Голубушка, у тебя есть любимый?

– Нет!

– Почему? Ты такая славная!

- Не знаю!
- А раньше ты целовалась?
- Только раз, когда училась в школе, с одним парнем.

И вот теперь с вами.

Ни с того ни с сего Асет заревновал Чинару к тому неизвестному парню, что однажды поцеловал ее.

- Где он сейчас? Этот «один парень»?- спросил он насупившись.

- Служит в армии.
- И вы, конечно, переписываетесь?
- Да.
- И ты его любишь?- продолжал он придиричливо.

- Теперь не знаю... Раньше не любила точно, даже терпеть не могла, когда он был здесь. Ходит все, ходит, никак не отвяжется. Потом он уехал, и я стала скучать. Наверное, так нужно: кого-нибудь ждать, скучать по ком-нибудь,- проговорила она задумчиво.

«А ведь ты нравишься мне все больше и больше. Увидел тебя, и все во мне будто перевернулось. Что и говорить, я влюбчивый человек – стоит появиться красивой девушке, и уже голова кругом идет. Но ты совсем другая, Чинара, особенная. Смелая, независимая»,- произнес он мысленно.

- Я замерзла,- сказала Чинара.

- Но что же я могу поделать? У меня тоже зуб на зуб не попадает...

- Погодите... Я придумала... Вон там, на крыше сарая, есть сено, я знаю. Давайте заберемся туда, а?- прошептала она заговорщически.

- Отличная идея! Пошли.

Он помог ей забраться на крышу, потом залез сам. Они зарылись в мягкое сухое сено. Сено шуршало, его горьковатые запахи щекотали ноздри. В горле запершило. Асет сморщился, чихнул. Наконец они освоились, пригрелись.

- А здесь чудесно!- заявила Чинара.- Правда?
- Здесь великолепно!

– Представьте: открываются кавычки, а потом «бу-бу-бу», и кавычки закрываются. А теперь угадайте, что я сказала.

– Итак, кавычки открываются, и ты говоришь: «Я никуда не пойду отсюда. Буду здесь спать». Кавычки закрываются. Не так ли?

– Вы просто читаете мысли... А в конце я поставила точку. Сейчас ваша очередь, начните с новой строчки. Вот вам тире, говорите!

– Милая, я тебя...

– Все ясно! Можете оставить многоточие.

Асет повернулся на спину, посмотрел на звезды. Они мигали, переливались. Чинара зашуршала сеном, прижалась к его плечу.

– Дяденька!

Он распахнул пальто и привлек девушку к себе. Около его лица поблескивали глаза Чинары, он угадал в них страх и ожидание. Чинара замерла в его объятиях, он слышал ее неровное дыхание.

«Где же ты была до сих пор? Почему ты опоздала на ярмарку, где раздают сердца?» – подумал он в отчаянии. – Нет, опоздала не ты. У тебя все еще впереди. Это я ушел, не дождавшись тебя!»

Ему хотелось сказать ей что-нибудь особенно прекрасное. Он вспомнил слова: «Как нежен твой взгляд, милая...» Но это были чужие строки, чужие чувства. Он мог только позавидовать поэту.

– «Он совсем потерял голову, не знает, где явь, где сон», – произнесла Чинара.

– Что ты говоришь? – не понял Асет.

– Это я прочитала в одной книжке. В общем, там один герой влюбился и потерял голову, не знал, бедняга, где сон, где явь. Так в книжке и написано. Очень хорошая книжка! А моей подружке не нравится. Что это за герой, говорит, который теряет голову. А по-моему, это здорово! Потому что так бывает, когда

много мыслей и голова трещит от них, разрывается. Правда, дяденька?

– Не знаю. Со мной этого не было.

– А со мной часто случается! Будто для меня написали. Ну и молодчина этот писатель!

Асет невольно ему позавидовал. Он как-то встречал его в Алма-Ате, и тот был для него человеком из плоти и крови. Наверное, поэтому ревность кольнула Асета.

– Вы чем-то расстроены?

– Я не расстроен. Просто задумался...

– Сказал мой дяденька расстроено.

Они не выдержали, расхохотались разом, и Асет почувствовал, что напряженность, сковывавшая их, исчезла. В сарае зафыркала, заржала растревоженная лошадь.

– Тише,– прошептала Чинара и приложила к его губам палец.

Они притихли, кажется, вовремя. Напротив, в окнах дома, вспыхнул яркий свет. Потом скрипнула дверь, и в полосе желтого света появился старик в нижнем белье, в чапане, наброшенном на плечи. Он осмотрелся, будто приюхиваясь, затем подошел к сараю, открыл дверь. Они услышали, как внизу чиркнула спичка и, приветствуя хозяина, заржал конь.

– Никого нет. Просто померещилось,– сказал старик самому себе и закрыл на засов двери сарая.

Он походил по двору, бормоча что-то под нос и ушел в дом.

– Уйдем отсюда. Я уже согрелась,– сказала Чинара.

Асет спрыгнул с крыши сарая и протянул руки. Девушка скользнула по сему вниз, он подхватил ее и, задержав на мгновение ее молодое крепкое тело, опустил на землю.

Они еще отряхивались от сена, счищали его в темноте друг с друга, выйдя на середину улицы, когда надрывно прокричали первые петухи.

Небо на востоке стало чуть темнее, а потом принялось светлеть, отгоняя ночь от горизонта. И ночь рассеивалась и отступала.

– Постоим еще чуточку, а потом я побегу домой, ладно?– попросила девушка.

Они стояли посередине улицы, держась за руки. Блеклый предутренний свет смягчил черты ее лица, скрыл веснушки. Девушка посмотрела ему в глаза; взгляд ее был задумчивый и, как подумал с надеждой Асет, чуточку грустный.

– А о вас говорили, будто вы плохой человек.

– И что же? Каков я на самом деле? Неужели плохой?

Она покачала головой.

– А вдруг они правы и вскоре ты разочаруешься?

Она опять покачала головой, затем спросила:

– Об этом вы уже, наверное, знаете. Ну, о том, что зимой застрелились парень и девушка?

– Мне рассказывали.

– Вы бы могли так поступить?– И она пристально взглянула ему в лицо.

– Не знаю,– сказал он, улыбнувшись, и спросил себя мысленно: «В самом деле, а смог бы я?»

Он притянул ее к себе, прижался щекой к ее щеке, блаженно закрыл глаза. И опять в памяти всплыли чужие слова: «Какая чистая, какая чудесная...» Почему он сам не поэт?

Рука его задрожала, и девушка тотчас же вывернулась из его объятий.

– До свидания! Мне пора!

Она побежала не оглядываясь.

«Наверное, и я бы мог, как Баглан», – подумал он, глядя, как девушка торопливо бежит по улице.

Чинара, словно услышала его мысли, вдруг обернулась и крикнула:

– Нет! Вы не сможете, агатай! Вы уже взрослый!

Весь этот день Асет ходил в приподнятом настроении. Он знал, что по его лицу бродит глупая счастливая улыбка, ловил удивленные взгляды и зятя, и сестры, и соседей, но ничего не мог поделать с собой. У него было ощущение, будто его жизнь до сих пор текла в каком-то сером, будничном сне, и вот он, наконец, проснулся и увидел то, ради чего можно жить по-настоящему, трудно и самоотверженно.

Его то и дело тянуло на улицу, он подчинился внутреннему зову, выходил на улицу и посматривал на дом со злыми собаками, что стоял на краю аула. Он ждал, что вот-вот мелькнет вдали ее фигурка.

«До чего же все удивительно в жизни, – размышлял Асет, – разве я мог представить лет десять назад, чем станет для меня дом Шалгынбая?»

Он проглядел все глаза, потому что Чинара не показывалась, извелся, дожидаясь, когда повечереет, а день тянулся долго и нудно, можно подумать, что ему не будет конца. Он возлагал все надежды на вечер, потому что вечером жених поведет невесту в дом, а значит, вчерашние гости соберутся вновь, и, конечно, придет Чинара.

Торчать дома было сущей мукой, и после полудня он отправился гулять по аулу; на этот раз аул показался ему и в самом деле родным. Сначала он пошел к сараю, на крыше которого лежал с Чинарой, и увидел при дневном свете старую развалюху. Но не было сейчас, пожалуй, на земле более дорогого ему места. Этот сарайчик был единственным свидетелем счастья, которое пришло к нему, Асету, в эту ночь.

Потом он набрел на колхозный клуб и невольно вспомнил, как впервые в жизни целовался с девушкой. Они спрятались с Саулетай вон там, за клубом, у штабеля строительного камыша...

В ту зиму тяжело заболела мать, и он, окончив школу, остался в колхозе. Однажды он вез колхозное сено и



увидел Саулетай. Она стояла возле своего дома, статная, румяная от мороза, и смеялась, глядя, как он приближается на санях. Ну что бы, казалось, из того, что Саулетай стоит на улице и смеется? Проезжай своей дорогой, потому что такая красавица не про тебя. Но в том-то и дело, что Саулетай сама остановила его.

– Асет, сбрось немного сена! Ну хотя бы пару вил!– крикнула красавица.

– Что ты?! Сено колхозное! Увидит бригадир – хлопот не оберешься,– ответил Асет растерянно.

– Асет, голубчик! Охажу всего,– взмолилась Саулетай.

Он не выдержал и сбросил вилами пласт сена к ее ногам.

– Спасибо!– сказала Саулетай, улыбаясь чарующе, а потом, когда он, отъехав, обернулся, помахала ему ладошкой, и после этого образ красавицы прочно обосновался в его еще не искушенном сердце.

Вечером он залез в материнский сундук, стащил деньги и, сложившись с приятелями, купил бутылку водки. Выпив свою долю, он отправился в клуб на танцы. По правде говоря, доза была невелика, поэтому Асету пришлось прикидываться пьяным. Ему хотелось убедить девушек, что он уже стал вполне взрослым человеком.

Появившись в клубе, он сразу же подошел к Саулетай и, притворно покачиваясь, молча уставился на нее.

Сердце его между тем трепетало, будто травинка на ветру.

– Ай-яй-яй, да, никак, он пьян!– воскликнула Саулетай, прикидываясь возмущенной.

– Пьян я или не пьян, тебя это не касается. Ну-ка, выйдем на улицу!– выпалил он.

– Куда, куда?– удивилась она совершенно искренне.

– К штабелям! Поговорить надо,– заявил он.

– Ишь, чего захотел. Ступай один, мне хорошо и здесь,– ответила она со смехом.

– Если не пойдешь, убью! Прямо сейчас и убью, – пригрозил он в отчаянии.

– Ты убьешь? Сам?

– А кто еще? Вот возьму и убью!

– Тогда пошли, – сказала она просто.

Когда они подошли к штабелям, от смелости Асета не осталось и следа. Он стоял перед Саулетай, беспомощно опустив руки, не зная, что говорить, что делать.

– Ты еще маленький. Тебе-то пить зачем? – заговорила Саулетай по-матерински.

– Кто это маленький? Я, что ли, маленький? – запетушился он вновь.

– Совсем ребенок, – сказала она.

– Тогда ты увидишь сейчас, какой я ребенок.

Он неумело обнял Саулетай, неуклюже ткнулся губами в ее щеку. Она оттолкнула его, они оба не устояли на ногах, повалились на камыши и захохотали...

С этого вечера между ними установились странные отношения. Не понять: вроде бы не пустое баловство и в то же время не назовешь любовью. Бывало, встретятся и ну дразнить друг дружку, будто смертельные враги, а потом заберутся в укромное место и целуются едва не до утра.

Весной в ауле появился студент, этакий франтоватый парень. Он приехал в колхоз на практику и в тот же вечер появился на танцах, смутив самых неприступных красавиц. Но студент отдал все внимание самой первой из них – Саулетай, и та мигом позабыла о существовании Асета. Бедняга долго переживал, не раз пытался о себе напомнить и даже написал душераздирающее письмо. Но девушка осталась непреклонной, и все его попытки кончились тем, что она запретила попадаться ей на глаза.

Всякой практике рано или поздно приходит конец, закончилась она и у студента. Он собрал свой тощий чемодан и укатил на станцию, оставив Саулетай с

будущим ребенком в чреве. У Асета к этому времени случилось свое, теперь уже подлинное несчастье – умерла его мать. Оправившись от горя, он подумал о своем житье-бытье и решил отправиться в город на учебу. И тут-то к нему подступила родня Саулетай. «Ты что же? Обесчестил доверчивую девушку и думаешь сбежать в город? Нет, мы заставим тебя жениться». А своя родня порешила: «Женись, не позорь нас и не сей в ауле вражду». В райкоме комсомола его долго не снимали с учета, но потом добрые люди разобрались, что к чему, и он уехал из аула, дав слово никогда не возвращаться.

Сколько бед он хлебнул из-за Саулетай, но вот сегодня ему уже смешно, словно это случилось с кем-то другим. И он было подумал, а не отколоть ли такую шутку, – не зайти ли на почту, ну, скажем, для того, чтобы позвонить в Алма-Ату. А там, может, удастся поболтать с Саулетай и вполне по-дружески расспросить о том, о сем, как, мол, она поживает. Но пыл его быстро прошел. Мысли о Чинаре вытеснили все.

А солнце засело на небе, словно навсегда. Он исходил аул в ожидании вечера, ему надоело то и дело здороваться с людьми, которых он, в сущности, давно забыл и которые тоже его уже не знали; его язык устал отвечать одно и то же – мол, так-то живу и столько-то получаю, – но каждый встречный, считал непременным остановить Асета и подступиться к нему с одними и теми же вопросами.

В конце концов он вернулся к дому сестры, сел на солнышке, глаза его тут же нашли дом Шалгынбая.

«Что это со мной?» – спросил он себя. – Ну, если подумать серьезно? Солидный человек, женат, ребенок – и здрасьте! Люди узнают, засмеют так, что сгоришь от стыда. И все из-за девицы в конопушках».

Он вызывал в памяти образы других женщин, что нравились ему когда-то, и бросил этот собранный наспех отряд против Чинары. Но те мигом слиняли,

потускнели перед ее яркими веснушками и курносый носом. Тогда он сдался окончательно.

Наконец солнце все же закатилось, и вечер настал. Асет направился вместе с Куракбаем в дом, куда его племянница вошла невесткой. Его пригласили к почетным гостям, но он решительно отказался и заявил, что намерен праздновать вместе с молодежью.

Войдя в дом, отданный самой буйной части гостей, он увидел почти весь вчерашний состав. Не хватало одной Чинары. Он внимательно оглядел сидящих за столом. Нет, Чинары не было. Зато сегодня на свадьбе появилась Саулетай.

Асета усадили на почетное место, и он обнаружил, что сидит напротив Саулетай и что она пристально изучает его. Он почувствовал себя неловко, его щеки запылали. Стараясь скрыть волнение, он помахал перед разгоряченным лицом ладонью и обратился к соседям:

– А в доме, кажется, жарко.

Он оборачивался каждый раз, когда кто-нибудь входил в комнату. Вчерашний тамада провозгласил первый тост, а Чинары все еще не было.

За первым тостом последовал второй, за ним третий, так дошло, наверное, до десятого. Когда коротышка Базикен вооружился баяном и наступил неизбежный черед песен и танцев, Асет сослался на духоту и вышел на улицу.

Как и вчера, ночь стояла темная, безлунная, с гор задувал все тот же ветер. Асет засунул руки в карманы пальто и зашагал по улице. Только теперь он заметил, что выпил порядочно. Вскоре он обнаружил, что стоит около дома старика Шалгынбая.

Асет сделал было шаг к дому и заколебался. Ну, допустим, он постучится и его впустят, что он скажет хозяевам? Чем объяснит свое появление?

Во дворе сразу же до хрипа яростно залаяли собаки. Сколько их там – в темноте не счесть. Слава богу, хоть еще привязаны.

«А, была не была!» – сказал себе Асет, выдернул кол из ограды, подошел к окну. Между занавесками оставалась узенькая щель, он заглянул через щель в комнату и увидел все семейство Шалгынбая. Старик, его жена, их дочь и двое мальчишек сидели за столом и пили чай.

Асет постучал, надеясь на то, что к окну подойдет Чинара, но вместо нее поднялся один из мальчишек. Асет отпрянул в сторону, прижался к стене.

– Кто там? – спросил мальчишка.

Асет выждал немного и постучал снова.

На этот раз мальчишка выскочил на улицу. Асет успел спрятаться за углом.

– Эй, кто там? Что нужно? – рассердился мальчишка.

Он постоял, дожидаясь ответа, затем громко сказал, обращаясь в темноту:

– Ну, вот что: Чинара не выйдет! – И добавил, словно в раздумье: – Спустить, что ли, собак?

Асет так и замер, крепко сжимая кол.

– Ладно, но если еще будешь стучать, спущу собак обязательно! – предупредил мальчишка и ушел в дом.

Асет пошел назад. «Может, это к лучшему», – сказал он себе.

Над ним прямо-таки кишели бесчисленные звезды; точно пыль, клубился Млечный Путь. Будто кто-то недавно проехал, разделив небо надвое.

«Завтра уеду, и на этом все кончится. Прощай, аул», – подумал Асет. Он вспомнил, как сын плакал на перроне, тянул к нему ручонки. Теперь-то он спит, вкусно причмокивая. А жена, наверное, тревожится – еще не привыкла к его поездкам, – ходит по комнате, прислушивается к каждому стуку. Надо было взять ее с собой: ей-то, городской женщине, все здесь в новинку.

Потом он вспомнил своих друзей. Может, сидят в эту минуту в ресторане и кто-нибудь, подняв рюмку, говорит: «Давайте-ка выпьем за Асета». Ну разве не счастлив тот, о ком помнят другие?..

У дверей маячила рослая фигура. В полосе света, выбивающегося из прихожей, он узнал своего брата Абдибая. Абдибай расхаживал, точно маятник, туда-сюда, сюда-туда, поджидая кого-то. Асет впервые видел его таким нетерпеливым. Заметив брата, Абдибай устремился навстречу.

– Машина на ходу?– спросил Асет.– Завтра уезжаю. Отвези пораньше.

– Машина-то готова,– сказал братец и неожиданно добавил:– Чинара придет попозже. Вот только уснет отец.

Господи, откуда он знает? Асет промолчал, застигнутый врасплох, но Абдибай ни о чем не спросил.

Они вошли в дом. Веселье было в разгаре, и Асет с первого же взгляда понял, что молодые гости заняты игрой в «соседи».

– Иди-ка сюда, Асет! Подыщи себе соседку,– потребовал ведущий и поднял молодого парня, сидевшего рядом с Саулетай:– Лепешка, а ну-ка, освободи место для гостя.

Асет беспомощно потоптался и, не придумав ничего, что позволило бы ему увильнуть, сел возле Саулетай.

– Здравствуй,– хрипло прошептал он.

– Здравствуй,– так же шепотом ответила Саулетай, видимо, и ей было не по себе.

– Итак,– начал ведущий,– вначале отвечают девушки, дружат ли они со своими соседями. Та, что не дружит, может купить соседа по душе. Начнем, Лейла, с тебя... Дружишь ли с соседом?

– Что ты! Вечно в ссоре. Не дает житья, только и знает, что ругается,– заявила, смеясь, светлолицая девушка.

– А чей сосед тебе нравится?

– Сосед Битайки!

– Битай, ты отдаешь своего соседа?

– Как бы не так!

– Битай не хочет расставаться с соседом. Лейла, какую казнь ты предлагаешь?

– Пусть поет.

И пошла игра по кругу. Асет и Саулетай сидели в напряженном молчании, ожидая своей очереди. Временами его так тянуло взглянуть на Саулетай, что он невольно косил глазом. Порой он замечал, что глаза соседки тоже так и тянутся в его сторону.

«Красивая, ах, какая красивая», – сказал он себе.

– Саулетай! – раздался голос ведущего. – А вы с соседом дружны?

– Дружна, – быстро сказала Саулетай.

– Докажите.

Теперь Асет решил посмотреть на нее в упор, но глаза Саулетай были стыдливо опущены.

– В мире мы, – пробормотала она.

– Это на словах. А вы покажите нам на деле, какие вы дружные. Тогда мы поверим, – не унимался ведущий. – Мы ждем! – сказал он грозно.

Саулетай повернулась к Асету и слегка коснулась губами его щеки.

– Давно бы так, – одобрил ведущий.

– Ну, что ты пристал? Прямо душу вымотал, – засмеялась Саулетай, и в ее голосе уже не было прежней напряженности.

Асет и сам чувствовал, как проходит ощущение скованности, – теперь их взгляды встречались. Он видел в ее лице следы пережитого и думал: «Вот бедняжка...»

Саулетай, словно прочтя его мысли, спросила:

– Когда уезжаешь?

– Завтра.

– Почему так спешно?

– Дела... Работа...

– Ученым стал. Наверное, тебе скучно здесь.

Асет неопределенно пожал плечами.

Саулетай сказала что-то еще, но он уже не слушал, потому что в этот момент в комнату вошла улыбающаяся Чинара.

Она присела возле Абдибая, и они быстро-быстро зашептались, то и дело посмеиваясь.

Асет ловил ее взгляд. Но Чинара непростительно долго не замечала его.

«Что случилось? Ведь она знает отлично, что я здесь», – подумал он, морщась от обиды.

– У тебя что-нибудь болит? – встревожилась Саулетай.

– Нет, нет. Не беспокойся.

– Друзья, а теперь соседи танцуют. Учтите: сосед с соседкой! – объявил ведущий.

Кто-то включил радиолу, на всю комнату загремел вальс, несколько пар закружились между столом и дальней стенкой, и среди них – Чинара с Абдибаем. Даже теперь она шепчет Абдибаю что-то и смеется, смеется счастливо.

Асет подумал, что нужно сейчас же вызвать ее на улицу. Но Чинара не замечала его.

Когда танец закончился, Асет решил, что пригласит ее на следующий, но, пока он пробирался между стульями, она опять пошла танцевать с Абдибаем.

И только когда он, рассердившись, решил уйти и проходил мимо нее, она взглянула на него, улыбнулась и произнесла:

– Здравствуйте!

Он замер в ожидании, но она отвернулась, и Асет, еле сдержавшись, кивнул с достоинством и вышел из дома.

Он прошагал вдоль строя посвистывающих, посапывающих самоваров, вышел на улицу и направился к окраине аула, к тому холму, на который он вчера поднялся вместе с Чинарой.

Холм был открыт всем ветрам, и Асету стало холодно. Внизу горели, помигивая, огни аула.



Асет вспомнил слова Чинары: «Он потерял голову, не знает, где явь, где сон...» Глупенькая, что она понимает? И ему стало легче, он постепенно приходил в себя.

Он еще долго стоял на холме, глядя на отходящий ко сну аул, на молчаливую, плотно укутавшуюся во мглу вершину Ешкиольмеса. Эти места уже не вызывали в нем сентиментального умиления. Они просто были дороги, как то, что напоминает нам о добром и ушедшем навсегда.

«Что случилось со мной?– подумал он, точно отрезвев. – От водки или от глупости? А ну-ка, брось валять дурака. Возьми себя в руки. Сам же потом посмеешься над собой, вместе с друзьями... И все-таки: «Как нежен твой взгляд, милая...» Черт побери, находят же слова эти поэты!»

От хмеля не осталось и следа – все выдул ветер. Дрожа от холода, Асет спустился в аул. Сейчас он возьмет пальто и отправится в дом сестры, ляжет спать... А утром – на станцию.

До ограды еще оставалось с полсотни шагов, когда его ухо уловило мелодию старинной песни. Женский голос тосковал по молодости, сожалел о красоте, которые никогда не возвращаются.

Асет застыл на месте. Песня гипнотизировала его, манила, и он, подчиняясь, пошел на голос.

Пели на кухне. Там, в дыму, за большим столом собрались женщины. Целый день они кормили, поили гостей и вот теперь расстелили дастархан для себя.

Посреди их компании сидела Загипа в съехавшем набок платке и, закрыв глаза, раскачиваясь на стуле, запевала:

На выси Ушкара, как два барабана,  
Бьют родники, вода течет широкой рекой.  
Какие там красивые парни и девушки,  
И зачем только я покинула этот желанный край!

Около нее крутился мальчик лет десяти, тербил ее за рукав, хныкал:

– Мама, пойдем домой! Я хочу спать!

А по изможденному лицу Загипы струились редкие слезы.

В душе Асета все перевернулось. «Господи, ради чего мы живем, – думал он, – для того, чтобы жалеть о своем прошлом? Почему мы уходим оттого, что нам кажется прекрасным?»

Какие там красивые парни и девушки,

И зачем только я покинула этот желанный край?

И не случится ли и с ним подобное? Но где ты, Ушкара? Где то прекрасное племя смелых парней и чудесных девушек, о котором мечтал создатель песни? Если бы знать! Может, его собственная Ушкара останется здесь? Человек ненасытен, все-то ему мало. Мало ему одной Ушкара. Найдет ее – и дальше, дальше...

Асет незаметно вышел и направился к дому сестры. Пальто он возьмет утром, зайдет перед отъездом. А пока надо пораньше уснуть. Перед дальней дорогой.

## ПРИЧУДЫ СТАРОГО БЕКЕНА

Перед рассветом старого Бекена разбудил непонятный шум. Вначале сквозь сон ему послышалось, будто снаружи за стеной кто-то залез в забытое женой цинковое корыто, потопал по дну, погромел всласть, потом мигом взлетел на крышу и с лязгом пробежал над головой. Комнату осветило, свет исчез, на дворе оглушительно бухнуло, покатилося, и земля под Бекеном задрожала.

Старик уселся в испуге, затем встал и в одном исподнем пошел к двери. Едва он ее приоткрыл, как тотчас в лицо ему сверкнуло неживым голубоватым светом, будто кто-то сидел с фонарем за глиняным забором. Ждал, когда он откроет дверь. Бекен оцепенел, и тут снова бабахнуло во всю мочь. Только теперь, стряхнув остатки сна, он понял, что это гроза.

– Будь благословенна, на благоденствие, на благоденствие... – пробормотал старик и вернулся в комнату.

Он сел на постель, подумал и стал тихонько будить свою старуху:

– Балсары, ай, Балсары!

Но закутанная в одеяло с головой старуха даже не шелохнулась. Бекен покачал головой.

Уж, казалось бы, теперь-то он знал, что происходит на улице, и все равно очередной удар грома застиг его врасплох. На этот раз паузы между вспышкой и ударом почти не было. Залп раздался чуть ли не у самого уха,

будто в очаг сыпанули добрую меру соли. Инстинкт самосохранения заставил старика влезть под одеяло. Пока он кутал худые ноги, проснулась жена, высунула нос наружу, и Бекен, опасаясь, что она опять заснет, торопливо сказал:

– Вставай, Балсары! Разве не слышишь? Гром гремит!

Балсары нехотя встала с постели, накинула кимешек и кончиком протерла припухшие глаза. Только после этого она взглянула в окно и зевнула.

Неторопливые движения старухи возмутили Бекена, он промолвил в сердцах:

– Ну что копошишься? Говорю же: гром гремит.

– Да встала, встала же! Чего тебе еще? Можно подумать, гроза бывает не каждый год! – рассердилась Балсары в свою очередь.

Она вытащила из-под подушки мятый камзол, надела и, что-то бормоча, вышла во двор.

– Стар уже, а суетишься, как бестолковый мальчишка, – проговорила жена, вернувшись.

«С левой ноги, что ли, встала? Вот ведьма, удостоверилась в том, что я прав, и все равно ворчит и ворчит», – подсадовал Бекен, но осторожности ради отвел глаза, стараясь не встречаться с грозным взглядом жены.

Он забежал по комнате, желая показаться деятельным. Но жена обошлась без него: прогремела на кухне посудой, словно соревнуясь с грозой, и вынесла во двор алюминиевую поварешку. Высунувшись в дверь, Бекен увидел, как она обходит дом, приговаривая:

– Больше молока – меньше угля... больше молока – меньше угля, – и при этом помахивает поварешкой.

Между тем уже рассвело. Черные тучи по-прежнему клубились низко над землей, точно свора дерущихся псов. Уже привычно сверкнула молния, прогремел гром, и только теперь начался ливень.

– Всю ночь было сухо. И вот полило, – сказала Балсары, входя в комнату.

Пройдясь по земле и намочив ее основательно, ливень затих. Гроза укатилась за горизонт; последние тучи умчались на восток, подстегивая себя огненной плетью.

Так отшумела над домом Бекена первая гроза нынешней весны, а грохот, от которого проснулся старик, был ее первым громом.

– Балсары, это добрая примета, – заметил Бекен, сидя за чаем. – Вспомни-ка, именно сегодня я задумал сесть на коня, и сегодня же прогремел первый гром! Хорошее совпадение, старуха. Поэтому съезжу-ка на Уйжыгылган и прочту молитву у могилы предков. Зимой только и было слышно от тебя: «Хочу дикого лука, ах, скорей бы пришла весна!» Но что я мог поделаться? Ты знаешь сама: до первого грома нельзя есть дикий лук. Теперь ты получишь его целую торбу.

За утро земля подсохла. Ливень смыл грязь, оставленную талыми водами, худосочная блеклая зелень обрела яркие краски и силы, распушилась, расправила стебли, и степь сделалась пестрой и чистой, будто новенький, недавно сотканный ковер. Словом, гроза открыла дорогу настоящей весне.

Выехав из аула, старик повернул коня в сторону Уйжыгылгана. Оказавшись на просторе, он первым делом проверил ход своего густогривого гнедого: пустил его вначале резвой рысью, а потом перевел в галоп. Уж очень не терпелось испытать конька, доставшегося ему после стольких ухищрений. Бекен охранял колхозные посевы и был глубоко убежден в том, что для такой ответственной службы годится только особенный конь, способный вовремя доставить хозяина на тот участок поля, где бесчинствует беспризорный скот. Ведь что будет проку, если лошадке не хватит силенок таскать седока и день, и ночь?

На вид гнедой хоть куда. Раньше на нем разъезжал толстый бригадир, и это не давало Бекену покоя. Он

считал, что такой красавец рожден для более достойного дела. Старик пристал к председателю колхоза: отдай коня да отдай! – и, в конце концов, добыл гнедого почти буквально из-под его важного седока.

А помогло этому собрание, на которое были созваны охранники посевов. На трибуну вышел сам председатель колхоза, он произнес длинную речь и расхвалил на все лады Бекена. Он сказал, что, невзирая на почтенный возраст, наш уважаемый Бекен не слезает с коня ни днем, ни ночью, – настолько ему дорого народное добро, и призвал остальных последовать столь замечательному примеру.

Бекену нравилась лесть, он знал за собой этот грешок, да только ничего не мог с собой поделать. Вот и сейчас, когда председатель произнес первые слова похвалы, он снял стеганую шапку, съехавшую набекрень, вытащил из кармана тюбетейку, расправил ее и, соблюдая обычай, напялил на стриженую голову. Его морщинистое лицо пришло в движение, заблестели от удовольствия раскосые глаза, рот растянулся в широкой улыбке. Бекен одобритительно кивал на каждое слово председателя, как бы говоря: «Да, да. Это на самом деле так».

Потом ему предоставили слово, собрание дружно захлопало, и тут Бекен струсил, даже вспотел от волнения.

– Я обещаю тебе, начальник... буду хорошо беречь поля, – выпалил он единым духом.

Все ждали, что он скажет еще. Бекен вытер пот рукавом, исподтишка обвел глазами присутствующих, и вдруг в нем проснулись старые обиды.

– Э, разве все скажешь? – произнес он горячо. – Неблагодарная наша работа, вот что. Только и слышишь проклятья. Такой да сякой! А сколько наговоров? Этому не так, тому не так! Пока не убрали урожай, нет тебе ни сна, ни отдыха! Все лето красное не слезаешь с коня, да что там – просто не снимаешь пояса. Только и

делаешь, что ругаешься со всеми. А те, кто имеет скот, ненавидят тебя, вот как!.. С тех пор как после войны я стал охранником, что только не слышали эти уши? Сбудься самая малость проклятий – давно бы отсохли мои бедные кости. По правде говоря, нет никакой благодарности за эту работу. Вот что я хочу сказать! Все!

– Мы выслушали, как трудно приходится нашему многоуважаемому Бекену. Но как же ему удастся хорошо работать в таких условиях? Вот бы что нам еще хотелось узнать от нашего аксакала, – заметил хитрый председатель, и люди закивали в знак согласия.

– А работаю я так... – начал Бекен и невольно выложил весь свой опыт.

Но в конце выступления он тоже провел хитроумного председателя.

– Ну, начальник, ты меня похвалил, спасибо за это! А теперь создай мне хорошие условия для работы. Как хочешь, а заведи у бригадира гнедого и передай мне, – заявил Бекен.

И вот сегодня этот гнедой трусит ровной рысью под Бекеном. И все-то ему нейдет: шарахается от воробьев, что взлетают из-под копыт с пронзительным шумом, а когда кругом спокойно, все равно грызет удила. «В старину на таком гнедом ездил сам Жуанбай. Знаменитый был гнедой, и ход такой же, как у моего», – подумал Бекен с гордостью, хотя, признаться, ему не только не доводилось сидеть на коне Жуанбая, но и даже водить его на поводу. Так, погружившись в приятные мысли, он незаметно для себя доехал до Уйжыгылгана и, только очутившись на вершине холма, перед которым лежала долина, остановил коня.

В былые времена здесь стояла шестикрылая юрта. Потом на юрту налетел бешеный ураган и повалил ее. С тех пор это место называлось Уйжыгылган – Поваленный дом. По родовым преданиям, дошедшим

до Бекена, в древние времена здесь были похоронены его далекие предки – кочевники. Затем род перекочевал на новое место, и теперь среди извечной травы едва возвышались бугорки, неприметные для непосвященного глаза.

Когда в долину прилетал ветер, вокруг холмиков шевелился ковыль, поблескивал на солнце, словно шерсть тучного барана. Этих мест еще не касалось орудие земледельца. Трава, прожив свое, умирала, и на ее место вставала новая трава, как и во времена предков Бекена...

Бросив на долину привычный взгляд, Бекен покачулся в седле, в глазах его стало темным-темно. «Э, что со мной? Что-то неладное», – подумал он испуганно.

Перед ним распростерлось поле, перепаханное под пар. Оно однообразно тянулось до серых скал, и Бекен растерянно искал глазами могилы предков, у которых он молился каждую весну. Но их поглотила тяжелая волна вспаханной целины. У Бекена посерело лицо, от сердца отхлынула кровь.

– Ни дна, ни покрывки тому, кто велел распахать эту степь, – прошептал он, гневно трясая реденькой бородкой.

Конь проваливался в глубоко вспаханной черной земле, Бекен проехал до места, где, по его предположению, раньше находились могилы предков, слез с коня и, придерживая гнедого на длинном поводу, долго отыскивал признаки прежнего захоронения среди бугров, тускло мерцающих срезам.

Где могилы предков, которым поклонялся он с детства? Исчезла та святыня, которой он доверял свои беды и которая поддерживала его в самые трудные минуты. Он озирался, надеясь найти хоть бы малейший признак, подтверждающий, что здесь лежат прославленные батыры и почтенные люди, родство с которыми поднимало его в собственных глазах.



Отчаявшись, Бекен опустился на колени там, где земля была немного желтоватой, и начал, шевеля губами, творить молитву. Но слезы застилали ему глаза, захватывало дыхание и не подчинялись губы, мешая достойно довести молитву до конца.

У него было ощущение, будто из-под его ног выбили почву, и теперь он неприкаянно болтался в пустоте. Тогда его мысли начали искать опору, и в памяти всплыли рассказы о славных делах его предков, что передавались из поколения в поколение...

Бывало, с рассвета до темна он пас ягнят, а вечером приходил и валился на кошму от усталости. Исколотые за день колючками ноги неприятно зудели, он яростно их чесал, но они от этого зудели еще больше. Ему хотелось есть, и ароматы, долетавшие из казана, где булькало варящееся мясо, щекотали ноздри. Наконец, разморенный теплом, плывущим от жаркого очага, он проваливался в дрему и в полусне кашлял от запаха бараньего кизяка. Так он пребывал в этом странном состоянии, где не было ни яви, ни грез, пока не раздавался разбитый временем голос белобородого старика, лежавшего на почетном месте.

– Говорят, в далекие времена, пусть земля ему станет пухом, наш предок – батыр... – начинал старик, и Бекен чувствовал, что с него мигом слетали и сон, и усталость. И голод становился сущей мелочью по сравнению с героическими деяниями дедов. А себя он видел иногда как бы со стороны, посторонними глазами. Сидит худенький мальчуган, и рот его открыт от восхищения... Тогда он помнил все легенды, не то что теперь, на старости лет. Да и само детство порою кажется полузабытым сном.

– О глаза мои, лучше бы вы ослепли, чем видеть такой позор, – прошептал Бекен.

Коленям стало больно на жестких комьях земли, и это его раздражало. Потом он поднялся, растирая затекшие ноги, и полез на коня. Едва он занес ногу в

стремя, как гнедой закрутился по пахоте. Впервые он не сел на коня с первой попытки. Бекен воспринял это как плохое знамение и расстроился окончательно. Оступаясь на рыхлых комьях, он вышел к краю пахоты, поставил гнедого в сухой арык, поправил стремя, но, потеряв былую уверенность, решил передохнуть и присел на край канавы.

Вспаханная земля подсохла, нагрелась. Из глубин ее поднимались горячие токи. Бекен вогнал рукоять плети в землю, прислонился к ней лбом, прикрыл заслезившиеся глаза. В мыслях была пустота, но думать и не хотелось.

Рядом мерно переступал гнедой, пощипывал зелень по берегам арыка, с хрустом жевал. И вдруг конь дернулся настороженно. Старик не успел поднять головы, как до него донесся женский голос:

– Ата, что с вами? Дедушка, а дедушка!

Он узнал Сабиру. Года два назад она, как ему говорили, закончила очень важный институт и приехала главным агрономом в колхоз.

Сабира сидела на лохматом низкорослом жеребчике, одетая в стеганую телогрейку, шаровары и кирзовые сапоги. Весна еще только началась, но смуглое лицо Сабиры уже успело загореть дочерна.

Она всегда нравилась Бекену. То ли своей энергией. То ли оттого, что казалась серьезным человеком. (Шутка ли: носит мужской костюм!) Но сейчас появление этой девушки вызвало в нем негодование.

– Иди, иди, милая! Ты сделала свое дело и ступай, – произнес он, не сдержавшись, и поднялся.

– Вы о чем? Что-то я не понимаю, – опешила Сабира.

Но Бекен считал, что сказал вполне достаточно. Гнев прибавил ему силы, он взлетел в седло, как в молодые годы, даже сам удивился этому.

Гнедой грыз удила, разбрасывая хлопья пены. Бекен стегнул его камчой, покрутил на месте и послал вперед. Конек только и ждал этого, побежал легкой иноходью. А Бекен грузно ссутулился, почти лег на его шею.

На холме он встретил трактор с прицепленной сеялкой. Из кабины высунулся рыжий тракторист Самат и крикнул хриплым басом:

– Эй, старик, нельзя ли подъехать поближе? Ну-ка, давай сюда!

Круглый год Самат щеголял, пламенея непокрытой головой, словно бросал кому-то вызов. И, может, от постоянного общения со стихиями его густые рыжие волосы всегда торчали в разные стороны. Ко всем: и к стару, и к младу – он обращался только на «ты». Дальше этого пока не заходило, однако в ауле тайком побаивались его. И Бекен ловил себя на том, что невольно робеет, сталкиваясь носом к носу с этим грубоватым джигитом.

– Доставай, отец, табакерку! Не жалеи!.. Дня два не вылезал из трактора. Гляди, так и забудешь вкус папиросы. Дай хоть поддержку под губой твоего нюхательного. Все пахнет куревом, – сказал Самат, без всяких церемоний запустив пальцы в табакерку Бекена.

Он выбрал своей грязной лапищей горсть объемом с полтабакерки и подмигнул красным от бессонницы глазом:

– Нет мне покоя, – сообщил Самат. – Не уймуся, пока не присвоят звание Героя. Иначе никакого удовольствия от работы, – заявил он, не то всерьез, не то потешаясь над старым Бекеном. – Решил я нынче вырастить рекордный урожай. Так что учти, старик, допустишь потраву – лучше не попадайся на глаза. Вырву бороду по волосинке! Учти! Ха-ха-ха! Это я шучу, отец, не обижайся. Иначе обалдеешь за рулем... Что это с тобой? На тебе лица нет! Не захворал ли, случаем? Это ты брось, хворать. Тебе хворать нельзя. Только что сел на скакуна, да еще какого! Езжай-ка домой да потребуй горячего чаю у своей старухи. Нечего ей! Пропотей хорошенько, и все пойдет на лад. Езжай, чего стоишь!..

И, не дожидаясь ответа, Самат засунул в рот щепоть табака и положил черные от машинного масла ручищи на рычаги.

В землю, где покоились славные предки Бекена, в тот день бросили семена. И никто, кроме Бекена, не вспомнил о могилах... Забыли о них давно, а кое-кто, может, и не знал вовсе. Прошел лемех плуга по холмикам, поросшим ковылем и кураем, и сровнял их начисто с землей. И тракторист даже не задумался: мало ли бугорков на земле? А если подумать, как много на земле таких холмов, – как же жить тогда роду человеческому? И вот настал черед святынь Бекена, они смешались с землей целины...

Два дня Бекен даже не выходил за порог своего дома. Он валялся на постели, почти не вставая, и переживал свою боль. «Пичужка какая-то, женщина, а так оскорбила меня, растоптав могилы предков», – думал он про Сабиру. Поначалу разгорячился и едва не поехал с жалобой в район. Потом немножко остыл, прикинул, что сделанного не поправишь, и какой теперь толк жаловаться. Решил подавить обиду в себе, как и положено мужчине. К тому же старуха увидела вещий сон, и это принесло некоторое облегчение.

– Смотрю, заходит белобородый человек. Высокий, вот такой, и весь в белом, – рассказывала старуха. – Вошел и просит, мол, постели ему в правом углу. Ага, это наши деды, смекнула я, почувяли, как мы переживаем, и вот надумали навестить. Будь им пухом земля! – закончила Балсары и добавила: – Слышала я, будто хлеб выдают авансом. Сходи-ка да выпиши центнер муки до нового урожая.

– Ой и ливень!

– Туча-то, туча! Ну и черная! Что у нее внутри?

– Вода внутри. Много воды! Урожай внутри! Пусть прольется на всходы.

Люди так и сыпанули с поля в ближайший барак. За ними по пятам промчался буйный вихрь, поднял тучу

пыли с земли. Сверкнула молния, и ударил гром, предупреждая о неминуемой грозе. Ее тяжелая поступь уже долетела из-за ближнего плоскогорья. И точно, едва Бекен прискакал к бараку и снял с седла подушку, как на землю обрушились потоки воды, заслонили собой остальной мир. Вокруг барака с шумом понеслись потоки грязной, черной воды. Земля будто вздрагивала под ударами, грома.

Очутившись внутри, Бекен выбрал местечко у дверей, уселся. В помещении не было окон, свет проникал только в дверь, поэтому, войдя в полумрак с улицы, старик поначалу ничего не видел. Присутствие других людей угадывалось только по говору, да еще в нос ударил такой густой запах дикого лука, что Бекен чуть не задохнулся.

Его глаза постепенно привыкали к темноте, и понемногу из мрака стали выплывать лица односельчан. Тут-то он и увидел Сабиру. Ну с кем еще мог быть связан запах дикого лука, как не с ней? Ведь сейчас все плохое обязательно исходит от нее, с каким-то мстительным удовлетворением подумал он.

А Сабира сидела в глубине барака и действительно жевала стебель дикого лука. У нее на коленях лежал еще целый пучок этой гадости.

И Бекен вспомнил, как в прошлом году он предложил ей полторбы дикого лука, тайком обделив свою старуху. Хотелось сделать человеку приятное. Сабира тогда отказалась, поблагодарив и бормоча что-то невразумительное. Но по ее сморщившемуся носу можно было понять, что ей не по душе даже сам запах лука. А сейчас она поглощала его с таким удовольствием.

«Ага, теперь ты не брезгуешь. У тебя уже и вкус не тот», – с ехидством подумал Бекен.

Встретив насмешливый взгляд старика, Сабира смутилась и перестала жевать. Пожилая соседка, оказавшаяся рядом с Бекеном, коснулась его плеча и прошептала:

– Ты что смущаешь бедняжку? Может, она беременна?

Беременна?! Этого еще недоставало! Он повернулся лицом к двери, негодуя на Сабиру и женщину, что защищала ее. «Ничего себе! Еще не вышла замуж, а уже носит брюхо!» – возмутился он про себя.

Ливень утих так же внезапно, как и нагрянул. Не успел смолкнуть шум воды, как в двери барака заглянуло ослепительное солнце. Бекен вышел наружу, его обдало последними каплями с крыши. По стрелкам входов были рассыпаны миллиарды искр, они переливались, ловили солнце. Ветер срывал их и бросал под ноги. Поле распухло, поднялось, будто тесто на дрожжах. Там, где еще недавно пенились потоки, поблескивали маслом крошечные болотца.

Через поле бежал человек, проваливаясь в разбухшей земле, с усилием вытаскивая пудовые сапоги. Он упал, поскользнувшись, поднялся и побежал вновь. Голова его осветилась рыжим пламенем, и Бекен узнал тракториста Самата. Он что-то кричал, но ветер обрывал слова и уносил назад, туда, откуда бежал Самат.

В шагах двадцати от барака он остановился и отчаянно закричал:

– Ой, плохо! Ой, плохо!

Тогда люди, и вместе с ними Бекен, поспешили ему навстречу. А Самат упал на колени и, мотая головой, заголосил:

– Ой, Серик, ой, Серик! Зачем тебя! Люди, слышите, люди, в Серика ударила молния!

– Ой, родимый! – вырвалось из людских уст, и все, кого гроза собрала в бараке, побежали через поле.

Бекен поспешно вскочил на гнедого и первым очутился там, где произошло несчастье. Много лет уже ездил Бекен по этой земле, но такого еще не видел. Чудовищная сила разметала по полю седока и его лошадь. Лошадь опрокинулась на спину и так и застыла, подняв к небу окоченевшие ноги. В нескольких шагах

от нее лежал Серик, раскинувшись во весь свой гигантский рост. По лицу его уже расплзлись рыжими пятнами следы смерти.

Бекен сполз с коня и, прочтя короткую молитву, потянулся к глазам убитого, намереваясь закрыть их, чтобы несчастный Серик обрел последний покой. Но правое веко Серика дрогнуло – видать, расслабилась мышца, – он будто взглянул на Бекена невидящим зрачком. Старик отпрянул назад, провел ладонями по лицу и прошептал молитву.

К этому времени, плача и причитая, подоспели пешие, окружили тело Серика. Что-то заставило Бекена обернуться. Он увидел, как, отстав от остальных, бежит Сабира. На ней не было лица.

Люди расступились. Сабира повалилась на колени перед телом Серика и заголосила истошно:

– На кого ты оставил меня, о Серик?!

Не стыдясь людей, она стонала, как женщина, потерявшая мужа.

Тело погибшего перевезли на колхозную усадьбу. На другой день были похороны. Когда гроб с любимым понесли на кладбище, Сабира, нарушая древний обычай, пошла следом за ним вместе с мужчинами. На нее было больно смотреть: сама не своя, Сабира часто теряла сознание, повисая на руках у провожатых, и все-таки до конца осталась рядом со своим Сериком...

Горе изменило Сабиру. Она совсем почернела, щеки запали. Бекену сказали, что, оказывается, Серик и Сабира давно любили друг друга, и свадьба между ними была уже решенным делом. Вот только ждали, когда закончится сев.

Узнав об этом, Бекен сжалился над Сабирой и простил ей обиду, хотя в глубине души подозревал, что Сабира потеряла своего суженого неспроста. Его самолюбивые предки не вынесли кощунственной выходки молодого агронома и нанесли ей ответный удар. Бекен содрогнулся. Видит бог, и сам он был крайне

возмущен поведением Сабиры, но такая месть показалась ему ужасной.

– Неужели тени моих предков столь безжалостны?– спросил он у себя с горестным недоумением. – Молодые-то еще глупы. И, наверное, их можно было наказать полегче. Так, чтобы для острастки. И, глядишь, еще одумались бы.

Он подумал так и испугался своей дерзости.

«Да что же я это? Спятил, никак? Кого вздумал судить, славных и мудрых предков?»– сказал он себе.

В одну из пятниц он заявил своей старухе:

– Балсары, испеки семь лепешек! Я почитаю Коран.

Потом, уплетая горячие, помазанные жиром лепешки и запивая их чаем, он все обмозговал и сделал следующий вывод:

– Вот что, я должен держать себя в руках. Раз нельзя противиться воле Всевышнего, значит, нельзя, и точка. Святые тени предков знают, что делают, они не прощают обид. Теперь я убедился в этом своими глазами. Легко ли сказать, одним махом загубили парня. Такой был молодой, жизни еще не видел... Говорят, хороший джигит был... М-да, опять я полез в грешные мысли... Кончаю, кончаю на этом.

Исполнив свой нелегкий долг, он глубоко вздохнул и отныне старался не вспоминать о могилах, где лежали его древние и не в меру гневливые предки.

Все лето лил дождь. Земля исходила жарким потом, дымилась теплым паром. Стрелки пшеницы маслянисто поблескивали, колыхались тяжелой густой гривой. В первой половине июня зелень заколосилась, выставила длинные и твердые усы. Стебель похудел, потянулся вверх, будто голенастый подросток. Теперь при ветре по полю гулял настоящий шторм, от которого могла пойти кругом голова.

С рассветом Бекен уже сидел на коне и до сумерек кружил по хлебным морям. Время теперь для него стало



реальным существом, что пересыпает на ладони теплые живые зерна, с отцовской нежностью смотрит на них и, осторожно перетирая, шепчет: «Мягкие вы еще, мягкие. Наверное, от проливных дождей. Не иначе».

Но подошла пора, и зерна начали мужать, становились твердыми. И тогда над полем поплыл сытный запах, точно от квашни. Так, во всяком случае, казалось Бекену.

Жизнь хлебов на полях колхоза протекала под его неусыпным надзором, и только участок Уйжыгылган оставался для него белым пятном. Он не знал, что там делается, потому что каждый раз заставлял себя объезжать его, говоря в оправдание: «Земли там дальние, скот не дотянется в те края».

Июль начался неистойовой жарой. Горячее небо приблизилось к земле, и солнце с восходом принималось жарить поля. А уж когда оно поднималось в зенит, раскаленные лучи так били из него, что казалось, вот-вот задымится сухой стебель и по степи поползет пламя. Урожай затяжелел, и хлеба поникли, не справляясь с налившимся колосом. «Вот она, жара, благодать», – подумывал Бекен с умилением. В такое время ему выпадало особенно много забот, он азартно мотался на своем гнедом, хотя его изводила мошकारа и дремота порой тихонько валила с седла.

Вот и сегодня рано утром сел на гнедого и отправился по привычному маршруту. В такую пору еще держалась ночная прохлада. Было влажно, будто по степи брызнули водой, водяная пыль осела гроздьями на зелени, висела в воздухе. И длинная стена загона для скота блестела, точно ее протерли влажной тряпкой. Обычно в загоне запирали скот, пойманный на потраве, но ныне он пустовал. Хотя бы попался какой неразумный теленок. Не было в этом году такого случая. То ли скот поуменел и не лез на посевы, то ли его, Бекена, глаз ничего не замечает. Во всяком случае, нынешнее лето было благодатным и для охранника.

Но, проезжая сейчас мимо загона, он услышал конский храп и повернул гнедого. На двери, как и следовало, висел тяжелый черный замок. Старик проехал вдоль стены, заглянул в крохотное оконце, и навстречу ему из темноты, точно изумруды, блеснули огромные глаза лошадей. Он насчитал четыре головы. Приглядевшись, понял, что эти лошади ему не знакомы, во всяком случае, в его колхозе не было таких.

Погадав, чьи они могли быть, Бекен отправился на колхозную усадьбу. Первой, кого он увидел, подъезжая к правлению, была Сабира. Она топталась возле своего низкорослого конька, снимала сноп, притороченный к седлу. Он был настолько тяжел, что провисал под животом коня едва ли не до земли, а его колосья не уступали по длине мужской ладони.

– Эй, милая!– окликнул удивленный Бекен.– Не с выставки ли этот сноп?

– Да нет же! Я привезла его с Уйжыгылгана,– ответила Сабира устало.

– С Уйжыгылгана? Пах, пах, хороший сноп!– воскликнул пораженный Бекен.

Больше у него не хватило слов. А потом он смутился, что так опрометчиво выразил и свой восторг, и свое изумление. Как-никак отношения между ним и Сабирой были очень сложными, с его точки зрения, и они требовали особенной сдержанности.

Но Сабира вела себя так, будто ничего и не произошло. Будто не она стерла с лица земли и могилы его предков, будто не ей, а кому-то другому ответили тени умерших страшной мезтью и будто не он, Бекен, осудил ее тогда в бараке за легкомысленное поведение: он не сомневался в том, что она прочла его мысли.

Однако теперь Сабира держалась как ни в чем не бывало. Она похвалила урожай на Уйжыгылгане, а затем достала из кармана брюк ключи и протянула Бекену.

– Вот что, дедушка, в вашем загоне лошади. Помоему, из соседнего колхоза. Смотрю, топчут пшеницу. Пришлось пригнать в загон. Вы уж отыщите хозяина.

Из правления Бекен поехал прямо на Уйжыгылган. Ему не терпелось самому проверить, правду ли рассказывала Сабира о чудесах, там происшедших. На доньшке сердца он таил надежду – а вдруг Сабира что-то напутала. Уж очень ему не хотелось во всем отступить перед этой женщиной.

Но урожай на деле оказался еще внушительнее. Женщине, видимо, не хватило красноречия, чтобы описать его.

Забыв обо всем, Бекен наслаждался прекрасным зрелищем. Он повел гнедого вдоль кромки поля, и колосья тянулись к нему, трогали его запыленные сапоги. Стебель пшеницы был крепок и гибок, как прут. Когда на него опускались желтогрудые синицы, он только знай покачивался под их тяжестью. Бекен остановил коня и поискал то место, где должны храниться останки его предков. Но море пшеницы, казалось, навсегда похоронило эту тайну. Тогда он проникновенно прочел молитву, не сходя с коня.

Закончив молиться, он сразу же вернулся к делам и, приняв озабоченный вид, подумал об участке, что потоптали чужие лошади.

«Хотелось бы знать, какой разгильдяй оставил своих лошадей без хозяйского глаза», – рассердился Бекен.

Он вспомнил, что за целое лето ни разу не заглянул на Уйжыгылган, и, ради справедливости, отругал и себя.

Так он, не спеша, ехал по дороге и творил свой мысленный суд над нерадивыми. Навстречу ему попался такой же, как он сам, сухонький старичок в измятой шляпе.

– Эй! – окликнул встречный. – Понимаешь, убежали лошади. Ты, случаем, не видел наших лошадей? – И он назвал соседний колхоз.

Так уж вышло, что подвернулся он прямо под руку, и Бекен мигом обрушил на него весь накопившийся гнев.

– А, попался! Может, тебя попутал шайтан, если ты упустил лошадей? И теперь у тебя, бородатого черта, хватает совести искать их прямо на глазах у честных людей?– напустился он на оторопевшего старика.

Тот пробовал хоть что-то сказать в оправдание, но Бекен не дал ему и слова молвить, потащил за собой, чтобы растяпа, упустивший лошадей, увидел своими глазами вытоптаный урожай, и пилил его до тех пор, пока они не объехали весь участок.

Когда, наконец, Бекен немного отвел душу, незадачливый старик из соседнего колхоза сказал:

– Эй, ты изругал меня уже достаточно, хватит. Я не обижаюсь на тебя, потому что получил по заслугам. А теперь ответь на один вопрос. Помнится, еще недавно здесь был старинный могильник. Может, ты скажешь, куда он девался? Был, и нет его! Удивительно!

– Он засеян пшеницей,– пробормотал Бекен обескураженно.

– Да простит нас бог!– воскликнул старик и схватился за сердце, будто защищая его.– Да ты самый настоящий грешник. Храни нас, боже, грешник и есть! Только подумать: сам уже одной ногой в могиле, а поди же – засеял хлебом могилы и еще охраняет оскверненное место.

Старик оказался скорым на язык и язвил, как только мог, а Бекен молчал. Теперь они поменялись ролями.

– Я же не для себя посеял хлеб. Для людей посеял, для всех,– прошептал Бекен, оправдываясь.– И не стоять же хорошей земле без дела?

Заметив смирение Бекена, вздорный старик успокоился, притих. Они шагом, стремя в стремя, поехали по дороге к загону, и Бекен поведал обо всем, что случилось за последнее время.

– Как по-твоему, почему убило Серика?– спросил он в заключение.

Старик серьезно подумал и изрек со вздохом:

– Воля Всевышнего!

– Вот и я думаю, что тут без этого не обошлось, – сообщил Бекен и спросил еще: – Ну, а тучный урожай на Уйжыгылгане? Что ты скажешь об этом? Не добрый ли это знак? Не кажется ли тебе, что предки теперь уже довольны?

– Думаю, этот знак и вправду к добру. А не то на Уйжыгылгане вырос бы один сорняк, – согласился старик.

Вернувшись вечером домой, Бекен первым делом принял расхваливать урожай на Уйжыгылгане.

– Еще бы, на Уйжыгылгане благословенная земля, – произнесла старуха, внимательно выслушав его.

Снопом, привезенным Сабирой с Уйжыгылгана, украсили кабинет председателя, и теперь это чудо так и бросалось в глаза уполномоченным из райцентра, едва они переступали порог. И уполномоченные покачивали головами, восхищенно цокали и, не удержавшись, мерили длину колоса, подсчитывали зерна. И каждый из них, уезжая, прихватывал с собой два-три колоска. Два-три колоска – и через неделю в углу кабинета осталась одна сухо потрескивающая солома. Тогда председатель вызвал Бекена и попросил доставить новый сноп.

Так Бекен опять появился на Уйжыгылгане. Хлеба к этому времени пожелтели. И когда Бекен вышелушил из колоса твердое зернышко, оно отозвалось под его пальцами скрытой силой, готовой вот-вот прорвать оболочку. Он очистил зернышко от мякины, положил в рот, попробовал на зуб, и оно сейчас же пристало к зубам.

«Слава богу, еще немного – и поспеет», – решил Бекен, очень довольный результатами пробы.

Собрав сноп пшеницы, старик привязал его позади седла и еще раз окинул поле хозяйским глазом, как бы

желая удостовериться напоследок, что оставляет его в полном порядке. И тогда он увидел молодого человека в очках, который поднимался, опираясь на палку, по склону Уйжыгылгана. Парень поприветствовал Бекена и назвал себя новым агрономом из соседнего колхоза «Бирлик». Он пришел, чтобы посмотреть на хваленый урожай Уйжыгылгана. Вот как далеко залетела молва, отметил Бекен с гордостью.

Он не мог отказать себе в удовольствии и остался, чтобы поглядеть, как чужой агроном восхищается урожаем. А джигит пересчитал зерна в колосе, замерил его высоту, растер между пальцами комков земли. На лице его появилось восхищение.

– Вот что значат дожди! А дожди в этих местах прошли вполне удовлетворительные, – сказал он, вытирая пальцы о штанину.

«Сразу видать: знающий парень», – подумал Бекен. И, решив тоже не ударить лицом в грязь и показать себя толковым собеседником, сообщил:

– Это земля моих предков. Они прославились своей храбростью. Вон там были их могилы. – И он неопределенно повел камчой. – Этот урожай вырос на святой земле.

– А-а, – вежливо протянул джигит.

Он снял очки и, прищутив близорукие глаза, пристально взглянул на Бекена. «Наверное, у вас столько удивительных рассказов. Ну же, что вы? Начинайте поскорей!» – будто требовал он.

И Бекен пожалел, что сейчас ему некогда и он не может поболтать часок-другой с таким любознательным человеком. Но сноп ждали в правлении. Поэтому старик завел коня в низину, взобрался в седло и только сказал:

– Да, сынок. Есть у меня кое-что. Пожалуй, не одна интересная история.

– Что ж, соберем урожай, и я обязательно приеду послушать. И запишу ваши рассказы. Знаете, я собираю легенды... – ответил джигит.

То, что этот парень намерен записать его рассказы, доставило Бекену удовольствие, но он, как и подобает старому бывалому человеку, скрыл свою радость.

– Всего тебе доброго, сынок, – попрощался Бекен и тронул каблуком своего гнедого.

«Да, я мог бы рассказать много замечательного. Правда, раньше мне не приходилось. Но теперь-то я смог бы на самом деле. Наверное, мне не попадался подходящий слушатель», – размышлял старик, пребывая в отличном настроении.

Занудливо жужжащие слепни беспокоили гнедого, и он то пританцовывал, то шарахался в сторону. А однажды он так крутанул на месте, что Бекен едва удержался в седле. Гнедого напугал маленький суслик. Он рыл нору прямо посреди дороги, а высоко над головой кружил коршун, готовясь к атаке на суслика. «В жизни все перепутано, все связано в одно», – подытожил Бекен со вздохом.

Вначале он заехал домой, намереваясь удивить свою старуху урожаем с Уйжыгылгана. Он застал ее за домашними делами. Подоткнув подол, старуха топтала кизяк.

– Ой, Беке, а я-то сперва подумала, будто это лебеда. Такая она длинная. Потом смотрю – колосья. И теперь даже не знаю, верить ли своим глазам, – протараторила Балсары, подбежав к мужу.

– Перед тобой пшеница с Уйжыгылгана, – важно сказал Бекен.

Балсары потянулась было к провисающему от тяжести снопу, но Бекен промолвил грозно:

– Ты бы сначала вымыла руки!

Балсары никогда не лазила за словом в карман и даже любила поворчать на своего муженька без всякого повода, но на этот раз промолчала.

– Может, ты выпьешь чаю? Председатель небось подождет, – предложила она самым радушным тоном.

Затем она приставила ладонь к глазам, посмотрела вдаль и, что-то заметив, спросила:

– Что это за дым? Ты не знаешь, Беке?

Бекен повернулся и увидел, как над Уйжыгылганом встает, извиваясь, серый столб дыма.

– Пожар! Пожар! Эй, поднимайтесь!– заорал он хрипло, мгновенно изменившись в лице, и припустил к Уйжыгылгану на гнедом, настегивая его плетью, подгоняя шенкелями. – Эй! Поднимайтесь!

Ветер вставал на его пути стеной, срывал слезы. Бекен прикрывал от ветра глаза, нетерпеливо всматривался вперед. В самом деле, над Уйжыгылганом поднимались клубы черного дыма. Бекен представил море бушующего огня, он подумал, что так гореть могут только хлеба. В какой-то миг его воображение нарисовало ужасную картину: пламя пожирало беспомощные золотые колосья с треском и гулом, исходящим из ненасытного чрева.

Он безжалостно стегал гнедого, и вот впереди остался единственный холм, закрывающий горящее поле. Распластываясь, гнедой взлетел на вершину холма; теперь весь Уйжыгылган лежал перед Бекеном. Старик провел ладонью по глазам и рассмеялся, покачиваясь в седле. Поле, как и прежде, сверкало перед ним нетронутым золотом. Горел стог сена, одиноко стоявший в сторонке и отсеченный от остального мира широкой бороздой. Вокруг стога бегал уже знакомый Бекену очкастый джигит и старался сбить огонь своим пиджаком.

Заметив Бекена, джигит бросился к нему, волоча за собой пиджак, точно тряпку. На его бледном лице был написан неподдельный ужас:

– Воды! Воды!– крикнул он панически.

– А что произошло?– спросил Бекен, свешиваясь с коня.

– Понимаете, закурил и... заснул. Понимаете, тень. А он, понимаете, огонь то есть... Вы должны мне помочь,– заговорил он бессвязно.



– Успокойся, сынок. Сено сгорело все равно. Тут уж ничего не поделаешь. Давай-ка поглядим, не перейдет ли огонь на хлеба,– сказал Бекен, спешившись.

Огонь уничтожил сено и, пресыщенный, затих. Там, где раньше красовался душистый стог, лежала куча легкого пепла. Под ним дотлевали остатки сена.

– Голова моя садовая!.. Как же меня угораздило?– стонал джигит, все еще вздрагивая от ужаса.

Бекен собрался было отчитать его хорошенько, преподать ему науку впрок, да пожалел и без того напуганного парня, сдержал себя.

– Горе мне с тобой! Видно, и записать-то меня путно не сумеешь,– проворчал он добродушно.

Подошла уборка. Хлеба приняли багряный оттенок, колос теперь будто звенел на ветру. По притихшим проселкам опять помчались машины, подминая траву, успевшую прорасти на дорогах, поднимая давно улегшуюся пыль. Она теперь днями стояла в воздухе, забивая ноздри, похрустывая на зубах. Лицо Бекена вычернило и высушило зноем, губы потрескались, в горле пересохло.

Сегодня он пораньше поехал на Уйжыгылган. Ему сказали, что сюда пригнали первый комбайн, и Бекен решил лично присутствовать при начале уборки. Стараясь отвлечься от жажды, он сразу же повернул к комбайну. За штурвалом сидел его старый знакомый Самат. Завидев Бекена, Самат почему-то обрадовался, выпрыгнул из машины, закричал, размахивая длинными руками.

– Эй, старик! Поживей, поживей! Сам господь бог направил тебя ко мне. Ну, что ты распетушился, слезай с коня! Эй, Кайрат,– обратился он к своему помощнику, – неси бурдюк с кислым молоком! Да поскорее! Не видишь – у гостя пересохло в глотке. Пусть промочит горло! Ха-ха!..

Припав к горлышку бурдюка, Бекен долго услаждал себя холодным, будто горный ручей, кислым молоком и даже не заметил, как выпустил повод. Гнедой только и ждал этого. Его изводили мухи, он бил себя хвостом и тряс башкой, и, получив свободу, рванулся с места, ускакал за холм.

– Не бойся, старик, в век космоса не останешься пешим. Сейчас придет грузовик. А пока доставай свою табакерку, – забасил Самат и, высыпая полтабакерки на ладонь, добавил: – Не сердись, не сердись, старик. Думаешь: откуда он взялся с таким аппетитом? Э, нынче я заслужил. Как по-твоему: урожай на Уйжыгылгане чья заслуга? Моя, старик, моя! До этой весны никому и в голову не пришло распахать Уйжыгылган. Столько земли лежало зря. И какой земли! Но, к счастью, у колхоза есть одна светлая голова – Самат! В одну прекрасную ночь он взял да и вспахал Уйжыгылган. «Своевольничаешь», – сказала начальство. Теперь оно не говорит так, а только цокает: «Как же мы не догадались сами? Молодец Самат!» А я отвечаю: «Ну, начальники, вы хотели рекорд – получайте! Только не делайте меня Героем Труда. Мне почести всякие ни к чему. Я все это ради любви к искусству». Вот что я сказал, старик!

Он кинул насыбай под язык и закончил невнятно:

– И тебе спасибо, отец! Ты сторожил хорошо.

А Бекен так глядел на Самата, словно видел его впервые. В голове у него все перемешалось, мысли кружились роem. «Так вот кто во всем виноват?! – наконец подумал Бекен. – Он, проклятый, затеял все это! Но почему тогда невредим и даже весел? Это же ему должны были предки отомстить».

– Э, Самат, а ты знаешь, что здесь было кладбище? – спросил он осторожно.

– Какое кладбище? При чем тут кладбище?

– Ну и негодник ты, Самат. Разве ты не видел могилы, когда распахивал Уйжыгылган? Где же были твои глаза?

– Что ты мелешь, старик?– взорвался Самат.– Кто негодник? Это я-то негодник? Самат – Герой Труда! Вот кто такой Самат! А ты сейчас же уходи отсюда. Тьфу!

И Самат побежал к своей машине, потрясая кулаками.

– Ишь какой пес,– пробормотал рассерженный Бекен: признаться, он до сих пор побаивался Самата.

Самат проехал мимо, страшно скаля зубы из кабины, и это довело старика до белого каления. «А что же предки?! Где их карающие тени?! Неужели они не в силах проучить этого сопляка?!» – подумал он в отчаянии.

Из-за холма послышался рокот мотора, и вскоре Бекен увидел трехтонку. Грузовик поравнялся с комбайном и медленно пополз рядышком, принимая зерно, а из кабины тяжело вылезла Сабира, пошла по скошенной полосе. Было заметно, что ей уже тяжело ходить.

Потом она вернулась в машину, и шофер крикнул Бекену:

– Дедушка, идите сюда! Мы вас подвезем.

Сабира вышла из кабины и стала неловко перелезать в кузов.

– Дочка, зря ты это. Я бы сам поехал наверху,– пожурил ее Бекен, довольный, однако, оказанным почетом.– Понимаешь, дочка, не привык я ездить в этой коробке.

И с помощью шофера Бекен тоже забрался в кузов.

– А здесь и в самом деле удобней. Пожалуй, останусь здесь,– заявила Сабира.

В кузове и вправду было хорошо. Машину мягко, убаюкивающе покачивало на стерне. От зерна поднимался густой аппетитный запах, точно от парного молока.

– Дедушка, вы еще сердитесь на меня?– спросила Сабира спустя некоторое время.

Бекен смутился. Прямота, с какой повела Сабира разговор, застала его врасплох.

– Отчего же, милая, почему я должен сердиться?– промямлил он беспомощно.

– Мне говорили о могилах. Да только уже после. А вы, наверное, считаете, что я виновата во всем. Дескать, велела вспахать.

– Милая, я знаю, что ты ни при чем. Сегодня узнал,– сказал он виновато и посмотрел на Сабиру так, точно молил о прощении.

– А где они были, могилы?– спросила Сабира.

– Оставим разговор. Теперь уж этого никто не знает. Были они, а ныне их нет уже,– ответил Бекен.

– Напугал вас Самат. Повлиял, как говорится,– усмехнулась Сабира.

– А как же не повлиять-то. Недаром говорят: «Если колотушка будет крепкой, кол из кошмы в землю войдет»,– сказал Бекен благодушно и даже настроился поведать Сабире одну из семейных притч, было начал: «Еще в давние времена один из наших дедов...»

Но Сабира уже погрузилась в собственные мысли. На лбу ее собрались глубокие складки. Захватив горсть зерна, она задумчиво пересыпала его из ладони в ладонь.

– Этот хлеб пойдет на семена,– произнесла она, грустно улыбаясь чему-то. – На другой год они отправятся во тьму. Чтобы солнце увидела другая, новая, жизнь. Вот так-то, дедушка.

В сером выгоревшем небе висели крутолобые белые облака. Оттого что машина бежала резво, они казались неподвижными. А может, на месте стояла машина и, наоборот, стремительно летели облака? Кто знает...

## ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

Еще осенью на высоком холме построили новый скотный двор. Отсюда новому сторожу Жолбаю видна вся центральная усадьба колхоза, расплзшаяся по низине.

Теперь стояла зима. Жолбай, парень лет двадцати пяти, забрался по пояс в сено, что собрано возле ворот, и, уютно закутавшись в просторный тулуп, смотрел на свой аул. После обеда морозец усилился, стал колючим и так больно щипался, что круглое лицо Жолбая с большим плоским носом покраснело. Широкие ноздри Жолбая раздувались, ловя запах сухого сена. Порой морозный настой полыни становился чрезмерно крепким, и сторож, морща нос, с удовольствием чихал.

Он знал, что в такой морозный день темно-зеленое сено, сложенное на крыше скотного двора, невольно притягивает взоры людей, напоминая о минувшем жарком лете, о густых душистых травах, росших по лугам. И когда с востока тянет пронизывающей стужей, запах сена сползает с холма и плывет по аулу, опьяняя все живое. Скотина задирает морды, и, раздувая ноздри, долго смотрит туда, где сидит он, Жолбай.

День приближается к концу. Вот уже солнце становится красным, как догорающие угли, уходит за горизонт, обливая снежную даль густой багровой краской. Мороз еще жестче сжимает степь в своих ледяных лапах. Дым, вырывающийся из труб, в сумерках тяжелеет, долго стоит над крышами.

При скотном дворе построена теплая сторожка. Но Жолбай предпочитает этот стожок сена, потому что так ему лучше виден дом, стоящий на краю аула. Дом как дом. Только столб дыма, поднимающийся над этим домом, совсем не по морозу жидок и немощен. В этом для Жолбая таится какая-то загадка. «В доме достаточно угля и дров. Того, что запас Джунус, хватит на

две зимы. Тогда почему же так скупо тянет печь?» – думает сторож.

В этом доме живет Асиля. Ему видно со своей высоты, как ходит она по двору, загоняет скотину на ночь. Скоро стемнеет, в доме зажжется огонь, и мать Асили задернет занавесками окна. В том, что это сделает мать, а не сама Асиля, Жолбай не сомневается: за часы своих дежурств он уже изучил привычки жителей этого дома. Ему известно точно, что потом у них сквозь занавески всю ночь будет пробиваться свет.

Так, зарывшись по пояс в сено и забыв про мороз, он не сводит глаз со светящихся окон, следит за теньями, что изредка падают на занавески. Он так поглощен этим, что совсем забывает об одиночестве. Жолбаю кажется, будто он уже сидит в том доме и тихо беседует с Асией. Он представляет себе, как Асиля временами меняет сыну пеленки или кормит его грудью...

Только он нарисовал себе образ Асили, как от ее дома отделилась темная фигурка и направилась прямо к скотному двору, срезая расстояние по бездорожью. Вначале Жолбай не поверил своим глазам: неужели это идет, проваливаясь в снег, Асиля? Разве не об этом он мечтал ночами, вот так же сидя в сене?

Теперь мечта его сбывалась – к нему шла наяву сама Асиля. Сердце его забило часто-часто; волнуясь, он выскочил из стога, забегал по двору, стараясь занять себя хоть чем-нибудь. Он чувствовал себя так, будто он сейчас у всех на виду, будто за ним пристально следит весь аул. Он невольно оглянулся по сторонам. Но сумерки уже спрятали первые огни колхозного клуба. Оттуда долетали голоса. Пели какие-то девушки. Прозрачно лилась знакомая мелодия, морозный воздух отчетливо доносил слова песни:

Каждый день мы встречаемся просто так,

Но не можем договориться, друг ты мой, никак...

– Здравствуй, Жолбай!

Асия перевела дыхание: видать, очень спешила и вот запыхалась, воюя с глубоким снегом.

Жолбай навсегда запомнил ее смуглый румянец, тонкий профиль и благородную осанку, которая смиряла самых дерзких парней. «Теперь она похудела, лицо осунулось, побледнело. И сколько печали в ее карих глазах. Но все-таки она даже краше прежнего», – сказал себе Жолбай.

На Асилье то же короткое пальтишко из плюша, в котором она ходила в десятый класс. Теперь оно стало совсем стареньким, и Асия его надевает только для работы по хозяйству. Но Жолбай помнит отлично, как она впервые появилась в школе в этом пальто. В тот день он без конца вертелся за своей партией – глядел на Асию. Учителю надоело делать ему замечания, и он выставил Жолбая за дверь.

Ах, какой прелестной была Асия в ту пору! Плутовка прекрасно знала это и надменно задирала нос. Иногда она была не прочь посмеяться над каким-нибудь простаком вроде него, Жолбая. Однажды Жолбай, как обычно, не сводил с нее зачарованного взгляда, а коварная красавица делала вид, будто ничего не замечает, но потом подняла прекрасные глаза и неожиданно подмигнула, вогнав бедного Жолбая в краску. Вот какой была она раньше, Асия!

– Дай немного сена, – сказала несмело нынешняя Асия, и Жолбай увидел в ее руках веревку.

Вначале он удивился. Зачем ей сено, если около дома стоит небольшая, но собственная скирда? Она будто прочла этот вопрос в глазах Жолбая и покачала головой.

– Это сено Джунуса. Я не хочу... Он косил и собирал, и пусть забирает его, – произнесла Асия с горькой усмешкой.

«Ну и Асия. Мороз, а она не желает пользоваться добром Джунуса. Значит, характер у нее все тот же!» –

обрадовался Жолбай про себя, а вслух произнес:– Так и быть: дам тебе сена. Но что одна вязанка? Надолго ли хватит?

– Потом я что-нибудь придумаю. Сейчас хотя бы охапку,– сказала Асия и добавила тихо:– Не пойду же я к председателю. Совестно! Ты и сам понимаешь, как неловко просить, если ничего не сделала для колхоза. Не ударила палец о палец. Почти целый год!

– Что ты говоришь, Асия?!– загорячился Жолбай.– Как будто ты последний день в колхозе. Да, ты не работала год. А раньше? Разве не трудилась вместе с нами? Наступит лето, и опять начнешь работать, Асия! Нет, ты пойди к председателю, и он тебе выпишет сена целый воз. Он добрый человек, наш председатель!

– Все равно неудобно,– сказала Асия.

– Боишься злых языков? Даже теперь и то боишься выходить из дома,– вздохнул Жолбай.– Что случилось, того не вернешь, Асия. В жизни бывает всякое.

Он смущался и, для того, чтобы скрыть смущение, начал с удвоенным рвением вязать сено. Он долго плевал на ладони, хотя стоял адский холод, долго тянул веревку, жесткую, точно проволока, от мороза. И все-таки не выдержал и спросил, пряча глаза:

– Почему вы развелись, Асия? Ты очень любила его. Это было заметно всем.

– Да, я любила его, Жолбай,– просто сказала Асия.

– Может, он обидел тебя?

– Джунус? Что ты! Даже не сказал обидного слова. Он всегда говорил: «Пусть заноза лучше войдет мне в лоб, чем тебе в пятку». Вот что он говорил, Жолбай.– И тут Асия вздохнула.

– Что же произошло все-таки?– спросил Жолбай, сам пугаясь своей настырности.

– Случилось то, чего я от него не ожидала... Впрочем, ты же сам сказал, что в жизни бывает всякое.



– Понятно,– кивнул Жолбай, хотя ничего не понял ровным счетом.

– Ты все такой же смешной, Жолбай. Не изменился ни капельки,– сказала Асиля, невольно улыбаясь, и добавила:– Надел бы рукавицы. Гляди, обморозишь руки ни за что ни про что.

Руки Жолбая и вправду окоченели, пальцы еле шевелились, будто деревянные, но забота, прозвучавшая в голосе Асилы, прибавила ему силы. Хорохорясь, Жолбай еще раз поплевал на ладони и заявил, бросая вызов стуже:

– Разве это мороз? Ха, пустячок да и только.

Он бодро потянул концы веревки, стараясь потуже затянуть узел, но веревка не выдержала.

– Ах, ты, неладная!– выругался Жолбай, но втайне остался доволен тем, что случай помог ему показать свою силу Асиле.

Он связал порванную веревку и, будто между прочим, принимаясь вновь за вязанку, сказал:

– Говорят, Джунус был хорошим парнем.

Пусть никто не подумает, и Асиля тоже, будто он плетет сеть за спиной у Джунуса.

– Лихой джигит – Джунус,– добавил Жолбай.

Но Асиля сделала вид, что не слышит, и отвернулась...

После школы они пошли работать в колхоз. Асилю послали растить кукурузу. Его, Жолбая, направили в чабаны. С тех пор он редко виделся с Асией, следил за ее житьем-бытьем по слухам. Так, года два назад к нему на пастбище дошла весть о замужестве Асилы.

Жолбаю случалось встречаться с Джунусом, коренастым смуглым джигитом, но он его больше знал понаслышке.

О Джунусе поговаривали, будто бы никто из жителей аула не умел так охотиться за деньгами, как это делал он. Во всяком случае, денежки водились в его карманах пачками, и, переселившись к жене, Джунус запретил ей ходить на работу. А спустя лишь

два года Жолбай наткнулся в районной газете на короткое сообщение о том, что Асия подала на развод, и сильно удивился. Да что Жолбай, люди куда более опытные только разводили руками...

А веревка тем временем рвалась еще трижды. Трухлявая была веревка, что и говорить. Когда она лопнула в четвертый раз, Асия сказала смеясь:

– Выбрось ее, Жолбай. Принесу-ка я аркан покрепче. Такой, чтобы устоял перед твоей силой.

Чуткое ухо Жолбая уловило в голосе Асии знакомые интонации. Она, как некогда в школе, подтрунивала над ним. Жолбай растерялся, а едва пришел в себя, Асии не было рядом. Ее силуэт маячил на белеющем снегу. Опять проваливаясь в сугробы, Асия возвращалась домой.

– Асия! Асия-я! – позвал Жолбай.

Но молодая женщина даже не оглянулась. То ли не услышала, занятая своими мыслями, то ли его призыв был слаб и увяз в густом холодном воздухе – попробуй тут угадать. Жолбай пришел в отчаяние и разбросал ногой собранное сено.

На западе таял последний багрянец. От него оставалась лишь узенькая полоса. Зимний вечер выслал первые звезды, подбираясь к Жолбаю.

Снег скрипел еще издали. В сторону скотного двора по укатанной дороге шли двое. Один из них вел на поводу лошадь. Лошадь мерно ступала, опустив голову, изредка фыркая. В другом, по черной шубе, зауженной в талии, Жолбай узнал председателя колхоза. А потом увидел и его густые усы, белые от инея.

– Не очень-то жарко, а, Жолбай? – пошутил он, обмениваясь рукопожатием. – Познакомься, наш сосед из «Бирлика», председатель колхоза. Пришлось вот его проводить. Ты у нас принципиальный, Жолбай, чужого коня не примешь. Тебе подавай особое разрешение. Поставь его до утра да выбери местечко получше.

Нашим скакунам ничего не стоит залягать чужака. Что мы тогда скажем гостю?— закончил он смеясь.

Пока Жолбай возился с конем, председатель и его гость осматривали скотный двор, переговариваясь о делах.

— А теперь приглашай в свой дворец,— предложил председатель.— Намерзлись мы сегодня. Там-то небось теплей, чем на улице?

Жолбай распахнул дверь сторожки, и оттуда дохнуло раскаленным железом, жарким кирпичом, запахом смолы на еловых деревьях.

— Ого! Да тут жаркое лето, Жолбай! Проходите пожалуйста,— сказал председатель, пропуская гостя вперед.

Едва они пристроились у печки, как снаружи долетели голоса, заскрипели полозья саней.

— Да никак вернулись наши из Кароя! Ничего не напишешь, пойдём, Жолбай, встречать,— добродушно сказал председатель.

В этот зимний вечер обоз выглядел фантастическим. От лошадей поднимался пар, их шерсть схватывало инеем. Иней окутал неуклюжие фигуры сеновозов, и, топчущиеся между санями, они походили на дэвов из сказки.

— Аксакал, я хотел попросить воз сена,— сказал Жолбай, когда сеновозы, занятые делом, оставили их наедине.— Не для себя прошу. Понимаете, для одной женщины,— добавил Жолбай, глядя себе под ноги и чувствуя, как пылающая краска сползает в темноте от затылка по лицу и шее.

— Кто же эта женщина? Почему не попросит сама? Или у нее отсох язык?— изумился председатель.

— Да нет, язык не отсох, но она сама не может. Стыдится,— прошептал Жолбай, все еще разглядывая свои валенки.

— Кто же она такая?— рассердился председатель; он привык вести разговор начистоту, и нерешительность Жолбая вывела его из себя.

«Все равно придется назвать ее имя, – подумал Жолбай. – Крути не крути, а не выдаст он сено неизвестно кому, да еще целый воз».

– Асиля. Ей нужно, – еле слышно выдавил Жолбай.

– А, та, что развелась? И правильно сделала! Рвач он, вот он кто, этот Джунус, – сказал председатель сурово – Эй, Манар! Манар! Ты свой воз отвезешь к Асиле. Да смотри, разгружай как следует, уложи на крышу сарая. А ты, Жолбай, помоги ему. Не то разбросает сено, а в доме только женщины.

Председатель позвал из сторожки своего отогревшегося гостя и ушел с ним в аул. Две низкорослые фигуры быстро скатились с холма в темноту, но скрип снега под валенками доносился еще долго, пока председатель и его гость не перешагнули порог председателева дома. Во всяком случае, так показалось Жолбаю.

Асиля хлопотала во дворе, когда они подъехали к ее дому.

– Эй, хозяйка, куда прикажете складывать сено?! – залихватски крикнул Жолбай.

Их появление с возом застало Асию врасплох. Не понимая, в чем дело, она насторожилась.

– Я просила только вязанку, – сказала она, глядя на Жолбая исподлобья.

– А здесь и есть вязанка. Ну и еще одна, и еще... Лишняя тебе не повредит, – ответил Жолбай, стараясь выглядеть этаким веселым удалцом.

– Ты, наверное, считаешь меня одинокой и беспомощной? Тогда ты напрасно старался, Жолбай. Я не из тех, кто нуждается в жалости, – непреклонно заявила Асиля.

Жолбай опешил, не зная, что и сказать. Он понял – Асиля рассердилась не на шутку. «Что с ней? – подумал Жолбай. – Или она и вправду такая гордая, или ей неприятна моя помощь?»

Но тут подал свой голос Манар. Он уже давно торопился домой, мечтая о горячем чае, и упрямство Асили испортило ему настроение вконец.

– При чем тут жалость?! Подумаешь, какая несчастная! Да и Жолбай, по-твоему, богач? Это сено твое! Председатель послал тебе, потому что ты член артели. И давай, шевелись! Разве не видишь, устала лошадь?– сварливо добавил Манар.

Только теперь Асиля обратила внимание на его белые брови, задубевшие рукавицы и смирилась.

– Можно сюда,– сказала она коротко и показала на крайний сарай.

Джигиты сбросили меховые тулупы и, дружно взявшись за вилы, начали набрасывать сено на крышу сарая. Запах у сена сегодня был особенный. Жолбаю он напомнил аромат сушеной дыни. Жолбай орудовал неистово. Одна только мысль, что он старается ради Асили, доставляла ему неопишное удовольствие. Хрупкий Манар не вынес бешеной гонки, быстро вспотел и опустил вилы.

– Только погляди, какая гордая. «Не нужно мне ваше сено», говорит,– сказал Манар, вытирая пот.

Он был доволен, что скоро вернется домой.

«Хруп-хруп»,– услышали вдруг джигиты. Сзади подошла, опираясь на суковатую палку, мать Манар – старуха Канипа.

– Манар, а Манар!– позвала она визгливо.– Ты что же, паршивец этакий? Почему именно ты возишь сено к этому дому? Видно, остальные отказались, а?

– Что вы говорите, мама? Постыдились бы! Разве так можно?– всполошился Манар, боясь даже взглянуть в сторону Жолбая и Асили.

– Можно, можно!– прокаркала старуха Канипа.– Потому что завтра не оберешься сплетен.

– Не беспокойтесь, Манар скоро придет,– вмешался Жолбай, стараясь все уладить миром.

Старуха Канипа ушла, сердито постукивая палкой и ворча себе под нос.

Мороз совсем разлютовался. Но это только пуще подзадоривало джигитов. Асияля слышала обидную речь старухи, но не проронила ни слова, даже вида не подала, а только стояла и смотрела во все глаза на Манара и на него, Жолбая. Так бы он и бросал вилами сено всю жизнь, только бы чувствовать на себе взгляд Асили!

Но работе пришел конец. Сено было уложено на крыше. Жолбай с глубоким разочарованием положил свои вилы в сани, извлек оттуда вязанку дров, и Манар укатил.

Стараясь замедлить ход времени, Жолбай долго, стебелек за стебельком, счищал с себя сено. Асияля молча следила за ним. Ее лицо оставалось непроницаемым.

– Я не хотел тебя обижать. Я хотел помочь, как... друг. Разве это плохо, когда помогают по-дружески? Впрочем, тебе виднее, – сказал он неуверенно.

Но Асияля помалкивала. Тогда он воодушевился и продолжал смелее:

– И дров-то нет у вас. Джунус заготовил уголь, но что от этого проку? Вы топите всякой трухой, думаешь, я не знаю? Оттуда мне видно все. – Он кивнул в направлении холма. – Асияля, у тебя маленький ребенок. Он может заболеть в нетопленной комнате. Возьми эти дрова, займы. Отдашь потом, скажем, ну, осенью.

Он подтолкнул дрова к Асиле.

– А если ты замерзнешь сам? Дрова-то, видно, не лишние у тебя, – произнесла Асияля с неожиданной кротостью.

– Да что ты, Асияля! – заорал обрадованный Жолбай. – Я все равно торчу на улице. А когда мне холодно... А когда мне холодно, я греюсь от вашего окна. Гляжу и греюсь.

Он пытался произнести это легко, непринужденно, сделав немислимое усилие над собой, но, встретив

взгляд молодой женщины, осекся, Асия как-то сникла, в ее глазах стояли слезы.

– Быстренько надень тулуп. Вспотел же, простынешь,– сказала она, взяв себя в руки. Подняла тулуп, отряхнула и накинула ему на плечи, Жолбай стоял не шелохнувшись.

– Не знаю, как еще отблагодарить,– сказала она ласково.

– Я знаю,– храбро сообщил Жолбай.– Разреши поцеловать!

– Ишь, какой хитрый!

Они рассмеялись оба. Еще никогда ему не было так легко с Асией. Сейчас он мог ей открыть все, о чем думал, глядя по ночам на ее окна.

– Асия, позволь иногда приходить к тебе в гости?– сказал он робко.

– Ни к чему это, Жолбай,– ответила Асия, сразу посерьезнев.– В ауле полным-полно девушек. Они красивые и свободные. А я разведенная женщина. С ребенком на руках... Вон, слышишь, как поют.

Жолбай услышал девичье пение. Видно, девушки возвращались из клуба. Они пели все ту же песню:

Каждый день мы встречаемся просто так,

Но не можем договориться, друг ты мой, никак...

Он почувствовал, что между ним и Асией стоит что-то непреодолимое.

– Асия, я люблю тебя. И мне никто не нужен,– горячо и торопливо заговорил Жолбай, стараясь разрушить преграду, пока она не стала еще крепче и страшней.

– Люби, но я-то что могу поделать,– отозвалась Асия устало.

– Асия, я заработаю много денег! Больше, чем Джунус! Добуду все, что пожелаешь. Построю новый дом и...

– Я же говорила, ты смешной, Жолбай,– перебила его Асия, глядя на него с состраданием.– Из-за этого я

и рассталась с Джунусом. Он вечно был ненасытен, хватал все, что попадало под руку, и тащил домой. А ты не понял, бедняга Жолбай! До свидания!

Она направилась было к двери, но Жолбай последовал за ней, обрадованно говоря:

– Нет, это правда, Асия? Нет, это правда?

– Ох, Жолбай, оставь меня в покое, – сказала Асия уже в дверях.

А Жолбай придержал дверь рукой и стоял так, улыбаясь до ушей, твердя одно и то же:

– Нет, это все правда, Асия?

– Голубчик, отпусти, пожалуйста. Мама рассердится очень, – попросила Асия умоляюще. – Ну, отпусти дверь, пожалуйста. Ну хорошо... Так и быть...

Она привстала на цыпочки и торопливо прикоснулась губами к его щеке.

– Вот! – и дверь захлопнулась.

Жолбай повернулся и медленно пошел обратно. На щеке его горел поцелуй Асии. Он мог прикоснуться к нему рукой.

Жолбай добрался до своего стожка и вновь залег в него по пояс. Взгляд его тотчас устремился к окнам домика, что стоял на краю аула.

«Ах, до чего прекрасный вечер», – подумал Жолбай.

## МОЯ СЕСТРЕНКА

Когда я приехал в родной аул на зимние каникулы, меня приятно поразила моя младшая и единственная сестренка. О ней я вспоминал еще в вагоне, приближаясь к родным местам и прислушиваясь невольно к сонному стуку колес. Невысокая смуглая девочка Алима всегда была готова вступить со мной в горячий спор, и любому было понятно – только для того, чтобы подразнить меня. Ее маленький вздернутый носик, казалось, все время ждал, что его хозяйка вот-вот



звонко рассмеется. Густые длинные косы покоились на спине ее, а на лоб, буйно кучерявясь, падала густая челка. Глядя на челку, я частенько выходил из себя. Ну и доставалось же тогда моей сестренке! Вообще, честно говоря, большую часть своего времени я тратил на нравоучения и нотации: как старший брат я имел на это неограниченные права. Поводом для замечания мог послужить любой пустяк, но особенно мое внимание привлекали поведение и одежда Алимы. И в том, и в другом я всегда находил что-то неприличное, мальчишеское...

Все мои придирки и наставления сестра выслушивала с самым серьезным видом. Но стоило моему суровому взгляду смягчиться, как на ее губах появлялась улыбка. Не переставая лукаво улыбаться, Алима, стараясь отвлечь мое внимание, кралась к двери, и, если оказывалась на пороге раньше, чем я, мои старания пропадали даром. Только что выслушивавшая мои замечания Алима в мгновение ока преображалась и, уже стоя в дверях, показывала мне язык:

– Хвастун! Задавака! Бр-р...

И убежала, хлопнув дверью перед самым моим носом. В таких случаях я чуть не лопался от злости. Я грозил ей вслед кулаком и орал:

– Ну погоди! Вернешься домой...

Иногда я устраивал ей своеобразные экзамены по тем предметам, которые она изучала в школе, причем мои вопросы никакого отношения к школьной программе не имели. Они приходили мне в голову бог знает почему, и потому я сам поражался их надуманности. Однако стоило сестренке не ответить хоть на один вопрос, баталии начинались сначала. Итак, наступление было, достойная оборона отсутствовала. «Обороняющаяся сторона» улыбалась во всю прелесть своих белых зубов. И все-таки сестра чаще одерживала победу. Неожиданно она применяла оружие, которое мгновенно сражало меня, – высунутый язык. Против

этого оружия я был бессилён. Не раз я отчитывал её за непочтение к старшему брату, но тщетно.

Теперь же, сидя в вагоне, не скрою, я очень хотел поскорее увидеть Алиму. Очень уж соскучился по её милому детскому озорству.

И вот она передо мной, моя храбрая, дерзкая девчонка. Я встал поустойчивее, думая, что она, как всегда, бросится мне на шею. Однако этого не случилось. И все-таки, поцеловав её в щеку, я сказал:

– Ну, сейчас проверю, как ты без меня училась!

Неожиданно для меня она покраснела:

– Пожалуйста, проверяйте, ага!

Я пристально посмотрел на Алиму: держится по-иному и говорит и улыбается не так, как прежде. Вытянулась, стала стройнее, ласковое смуглое лицо обрело какую-то ясность, чуть повзрослело. Новое пальто из красного драпа...

«Э, да моя сестреночка превратилась в настоящую красавицу!» – наконец прозрел я и вспомнил слова матери, что девочки очень быстро взрослеют. Однако я ожидал увидеть прежнюю озорницу-задиру, и мне стало немножко грустно. Но ненадолго. Решив, что в свои семнадцать лет сестра имеет полное право на подобное превращение, я совсем успокоился и с гордостью опять подумал: «Она красивая!»

Разговор наш пока что не клеился. Я несколько раз порывался начать его, но все не решался. Что-то удерживало меня. Да и сестра молчала, хотя раньше засыпала меня расспросами о городе, о студенческом житье-бытье, слушала меня чуть ли не с раскрытым ртом, бесконечно удивлялась и переспрашивала.

Наконец я спросил Алиму, в какой институт она думает поступать. Она ответила:

– Не знаю... Еще не решила, – и натянуто улыбнулась. Потом подумав, добавила: – Может быть, останусь в ауле.

После ужина Алина ушла в свою комнату готовить уроки, а мы с матерью сели пить чай. Мать нетороп-

ливо расспрашивала меня об институтских новостях, куда я думаю поехать после окончания и каковы вообще мои планы. Ей были давно известны все мои планы, и спрашивала она, видимо, только для того, чтобы не молчать. И я ответил в который раз, что через два года, возможно, буду работать в нашем ауле агрономом. Потом она сообщила мне новости аула. Оказывается, некоторых десятиклассников колхоз посылает учиться в школу механизаторов и еще на какие-то курсы.

– Ты, наверное, знаешь Нурлана, сына Дукена?

– Так себе, не очень...

Действительно, многих ребят, окончивших школу после меня, я почти не знал: приезжаешь на каникулы, – они где-нибудь гостят или работают. Я припоминал чей-то рассказ, что этот Нурлан окончил школу в прошлом году и поступил работать на электростанцию, выучился на монтера.

– Где же сейчас работает Нурлан? – осведомился я у матери скорее из вежливости, чем из любопытства.

– На станции. Помощником техника, что ли... Он стал совсем взрослый, мог бы прокормить семью, но колхоз надумал направить его учиться на три года. И зачем только людям нужно так долго учиться! – заметила она неодобрительно.

Я понял ее. Она обижалась, что я редко навещаю ее и даже практику прошлым летом проходил не в нашем ауле, и, вздыхая, жаловалась соседкам: «Э, недаром говорят – мать думает о сыне, а сын – о степи!».

И вот сейчас она опять вздохнула. Этот вздох, конечно, был по моему адресу.

– Это хорошо, что он будет учиться, – сказал я, всей душой желая Нурлану успеха.

Мои слова не понравились маме. Она долго, сосредоточенно пила чай, батистовым застиранным платочком вытирала лицо, и, откинув тюль на окне, посматривала на улицу.

– Ты с Алимой не говори резко, а то обидишь, – попросила она, словно подытоживая свои и высказанные, и невысказанные мысли.

Я только пожал плечами. К чему эти предостережения? Раньше, кажется, мать не интересовалась, каким я тоном говорю с сестрой. На жалобы Алимы она неизменно отвечала: «Это твой старший брат. Слушайся его».

А вот теперь все по-иному.

На следующий день Алима пришла из школы с расстроенным лицом. Я решил, что причина этому – уроки, – в десятом классе учиться нелегко, не стал ее расспрашивать и взял дневник. Алима, неотрывно следившая за мной, вдруг вспыхнула:

– Ага, а разрешения вы спросили?

Впервые перед сестрой мне стало неловко, но я не подал вида.

– Я, по-моему, здесь не посторонний и разрешение, мне кажется, не обязательно, – и, не обращая внимания на этот ее протест, стал листать дневник.

Вскоре, однако, я смягчился, и даже улыбнулся довольной улыбкой: на каждой странице дневника стояли пятерки, и только сегодняшняя тройка портила немного общий вид.

– Да ты, оказывается, кандидат на золотую медаль! – сказал я радостно.

Алима промолчала. Сидит передо мной напряженная, бледная, в глазах тоска.

– Алима, что с тобой? Тебя кто-то обидел?

Округлый подбородок сестренки задрожал, по щекам, оставляя мокрые узкие дорожки, покатались слезы. Я осторожно закрыл дневник и хотел положить на стол, но тут из дневника что-то скользнуло на стол. Фотокарточка. Я нагнулся, чтобы поднять ее, но сестренка опередила меня:

– Я... сама... Дайте мне!

Я даже не успел рассмотреть, что за парень был на снимке.

С этого дня сестренка и вовсе стала для меня загадкой. Стоит мне с нею заговорить – теряется, отходит, придумав какой-нибудь предлог. Словом, совсем замкнулась.

Я сидел и читал в дальней угловой комнате. Солнце стояло еще высоко, хотя полдень давно миновал. Мимо моего окна прошли парень в спортивной куртке и девушка. Через минуту раздался стук в дверь. Я скорее почувствовал, чем осознал, что сейчас разгадаю секрет Алимы. Мигом я очутился возле двери. Гости, видимо, не ожидали увидеть меня и смутились. Я только собрался пригласить их в дом, как к нам выскочила Алина. Увидев меня, чуть вспыхнула и повернулась к парню в спортивной куртке, который стоял, смущенно опустив глаза. Девушка опередила вопрос Алимы.

– Нурлан пришел к тебе за книгой, – сказала она, но в ее маленьких хитрых глазах светилась какая-то тайна, они словно говорили Алиме: не верь, он не за этим пришел к тебе. Лицо Алимы то заливал румянец, то оно бледнело. Мне показалось даже, что сестра дрожит.

– Какую книгу? – спросила она шепотом, чуть не плача.

Парень смутился еще больше. Спасая положение, я поспешно сказал:

– Алина, почему ты не приглашаешь гостей! Заходите! Заходите!

Они вошли в комнату, но Нурлан не сел на предложенный стул:

– Я очень тороплюсь... Я сейчас должен ехать...

Должен ехать! Наконец-то до меня дошло, что мое присутствие в комнате совсем не обязательно! Я ушел в другую комнату. Однако беспокойство, почти неосознанное, охватило меня. Я не мог усидеть на месте и стал ходить из угла в угол, изредка бросая взгляды на открытое окно. Я увидел кусок шоссе, что вел на станцию. Тополя, посаженные вдоль него, вытянулись

и образовали зеленый коридор. При виде шоссе, этих тополей я вдруг вспомнил, как впервые, отправляясь учиться, покидал аул. Вон там, возле того холмика, я поймал попутную машину. Вместе со школьными друзьями меня провожала и Сауле... Я и сейчас помню, как она долго махала вслед удаляющейся машине. И осталась стоять даже тогда, когда другие провожающие уже спустились с пригорка. Мимо Сауле проносились машины, но она не замечала их. Она стояла и махала рукой, и мне казалось, что ее рука не прощается со мной, а зовет: «Вернись, вернись...» На самом деле Сауле шептала: «Кош, кош...– Прощай, прощай...»

Но время и километры рассуждают иначе и часто решают за людей. И счастливы те, кого они не разлучают...

Мы с Сауле долго переписывались. Она подробно сообщала аульные новости, а я коротко отвечал, что в городе, которого она никогда не видела, вроде нет никаких изменений. После семи месяцев переписки она не ответила на мое письмо. Я ответил тем же, то есть тоже не написал. Но когда приехал на каникулы и узнал, что Сауле вышла замуж, я понял, что она была еще мне дорога.

И теперь это шоссе с зеленой бахромой листвы стало для меня единственной памятью о Сауле. Я вижу ее, одиноко стоящую на дороге, вижу ее руку, прощальную, зовущую...

И вот сейчас, на этой дороге, стоит моя сестра. Она машет вслед повозке, на которой уезжает Нурлан.

И рука ее тоже зовет, а может быть, Алима сейчас также, как и Сауле, шепчет: «Кош, кош...»?

Я упал лицом вниз на диван. Разноречивые мысли и чувства нахлынули на меня. В комнату вошла мама. Она стояла в дверях, видимо, не зная, сплю я или просто лежу. Потом тихонько подошла к столу и стала бесцельно листать какую-то книгу. Я поднялся. Мне показалось, что на ее лице прибавилось морщинок.

– Нурлан уехал учиться, – печально сказала она.

– Пусть едет. Правильно делает...

Мои слова снова не понравились маме. Она замолчала. И тут в комнату ворвалась Алима. На ее милом лице сияла безудержная радость. Она подбежала к матери, схватила ее за плечи и закружила по комнате. Мать пыталась ей что-то сказать, но Алима громко зашептала ей на ухо:

– Мама, мама, не надо, не говори! Я ему верю, верю... Ага, – обратилась она ко мне, – я жду твоих трудных вопросов! Задавай сколько хочешь!

Я залюбовался ею. Мне показалось, что снова передо мной моя прежняя сестренка, и только в ее глазах я заметил едва-едва уловимую тайну, глубокую тайну первого сильного чувства...

## НОЧНОЙ ДОЖДЬ

Асия смотрела на отца и улыбалась. Она никогда не видела его таким сердитым. Это, оказывается, забавно. Морщится, размахивает руками, кричит. А усы-то, усы!.. Ну прямо в верблюжьи колючки превратились. Попробуй поцелуй такого!

Но чем больше бушевал Отар, тем серьезнее становилась дочь. Сбежала улыбка с лица, запылала щеки, Асия прикусила губы, чтобы не расплакаться.

– Люблю, не люблю... Что это за слова? Нас с матерью никто не спрашивал, любим мы или нет. Отцы наши мудрее были. Сосватали – и делу конец. Сорок лет уже горит наш очаг. И, слава аллаху, живем дружно. Детей нажили... Вот вас... И не спрашиваем друг друга: люблю, не люблю. Пустой разговор, одни словечки.

Старый Жакуп, пожаловавший в гости, исподлобья поглядывал на девушку.

«А ведь совсем неплохой человек, председателем колхоза был, – думала Асия, глядя на него. – Но сын...

Пустельга, белоручка. Сам знает, что и смотреть на него не хочу. Отца прислал».

Асия вспомнила, как еще этим летом приходил к ним старый Жакуп, долгие разговоры вел с Отаром. Тогда у Отара был один ответ:

– Пусть сама решает. Молодые, они как джейраны. Им не прикажешь...

А сейчас?

Отар на миг замолчал, посмотрел на дочь. «И чего противится? Не за старика же ее прочу. Парень молодой, красивый. А у Жакупа добра хватит, не в бедный дом идет. Ну?»

Асия словно услышала эти произнесенные слова. Резко вскинула голову, глаза сверкнули – нет!

Не стерпел Отар, крикнул, как плетью ударил:

– Ну и будешь сидеть на моей шее старой девкой!

И это сказал отец?! Лицо девушки вспыхнуло. В легком платье, в тонких ичигах выбежала на улицу. Чуть не упала в снег. Спряталась за сарай, ждала, пока уйдет Жакуп. Не чувствовала мороза, холодно было только ногам, а лицо горело.

...Весна пришла неожиданно. Подул южный ветер – за одну ночь сорвал с земли кованый панцирь. Оттаяла земля, радостно вздохнула. Потянулись над степью караваны птиц. Шумно стало в поселке. Шумно и весело.

Аул очнулся от зимнего сна, громыхал, разминался. Суетились трактористы у машин, проверяли плуги и сеялки, разъезжались по полям. Шумели весовщики, хлопотали полеводы. Один трактор, что конь необъезженный, вдруг свернул в узкую улочку и резко затормозил у дома Отара. Газанул тракторист – стекла задрожали. Старая Раш испуганно высунулась из окна: уж не жакуповский ли сынок подкатил на машине! А тракторист заглушил мотор, выскочил из кабины – смуглый, большеголовый. И, конечно, кепка набекрень, как положено лихим механизаторам.



– Эй, хозяева! Гостей принимайте! Есть кто живой?!

Старой Раш показалось, что шумит целая толпа. Она вышла к воротам. Нет, вроде один человек. Один, а столько шума. А он подходил уже к ней, улыбался, протягивал руку.

– Меня зовут Ноян. Я с центральной усадьбы. Бригадир послал к вам жить. Временно, пока общежитие достроят.

Отар хмуро поглядел из-за плетня. Проворчал в усы:

– Не могли послать более подходящего человека. Стрекошет, как сорока, не остановишь...

Ноян скинул комбинезон, отряхнул, ловко набросил на плетень.

– Ойбой, сынок! Как бы не сжевал кто твою одежду. Скотина, она же не разбирает...

– Пусть едят на здоровье! Может, понравится мазутная закуска.

– Ойбой, отравятся! Повесить бы подальше да и повыше.

Ноян рассмеялся и махнул рукой. Он вошел в дом спокойно и уверенно, как будто жил здесь уже давно. Сел на самое почетное место, как и подобает гостю.

Асия стояла у окна. Услышав шаги, она обернулась. И хотя в комнате было не особенно светло, Ноян разглядел ее большие удивленные глаза. Ему стало неловко, но он овладел собой, чуть прищурился и шутливо спросил:

– Вы случайно не Бизбике?<sup>1</sup>

– Нет, я Асия. А почему вы так спросили?

И опять Нояну стало не по себе.

– Да просто так. Вы не думайте, что я считаю Отарагу Шыгайбаем, хотя, правда, некоторые так считают... Вернее, не совсем так... Вот я спросил, – вконец запутавшись, проговорил он. – В общем-то я к вам ненадолго, пока общежитие достроят.

– Вот как. Ненадолго, значит...

---

<sup>1</sup>Дочь жадного Шыгайбая из народной легенды.

Тонкими пальцами Асия то сплетала, то расплетала переброшенные на грудь косы.

«Эх,— вздохнул тракторист.— Совсем не хотел обидеть. Пошутил только, а вот как вышло».

Он сдернул помятую кепку, пригладил взъерошенные волосы. Хотел достать расческу, но вспомнил, что оставил ее в комбинезоне, и посмотрел на девушку извиняющимся взглядом.

Наскоро загнав скот в хлев, Отар вошел в дом. Он продолжал делать вид, что не замечает гостя. Сел на кошму и, послунявив пальцы, стал покручивать тонкие усики, и без того торчащие, как скрученные проволоки.

— И давно, Отар-ага, вы отращиваете усы?— будто невзначай спросил Ноян.

В глазах его появились смешинки. Отар хмуро глянул на гостя, и, отвернувшись, лег на подушку. Асия фыркнула и выбежала в другую комнату. Отар крикнул, хотел было крикнуть: «Бесстыжий черт, замолчи!»— но потом раздумал. От этого нахала можно отвязаться только молчанием.

О проделках Нояна Отар был наслышан, своим острым языком и любовью к розыгрышам тот славился на весь колхоз.

Ноян тоже сидел молча. Но думал он совсем не об Отаре...

Наутро раньше всех, как подобает хозяину, поднялся Отар. Он долго одевался, кряхтел. Потом вышел, чтобы вывести скот из хлева.

В ранние утренние часы степь была молчаливой и величавой. И прохладной. Это нравилось Отару. Он остановился, прищурился. Первые тонкие лучи солнца рассекали темень. Медленно выкатывался раскаленный шар. Побелевший за ночь от инея трактор оттаивал, капли, хлюпая, стекали в маленькие лужицы.

Отар вернулся в дом. Ну, конечно! Ноян храпел, уткнувшись в подушку.

– Эй, артист! Ты что, спать к нам приехал?– загудел Отар.

Одним прыжком Ноян поднялся с постели, протер глаза, быстро оделся. Застучал умывальником на терраске. Проходя мимо комнаты, где спала Асия, случайно заглянул в окно. Остановился. Прижал лоб к стеклу.

Когда на террасу вышел Отар, Ноян поспешно отошел от окна и стал тереть полотенцем сухое лицо.

«Чего ходит и разглядывает этот бес?»– подумал Отар и подошел к окну. В глубине комнаты безмятежно спала Асия. Черные косы разметались по подушке. Одеяло сползло и приоткрыло плечо.

Отар свирепо стукнул кулаком по раме, Асия вздрогнула, проснулась и, ничего не поняв, испуганно натянула на себя одеяло.

...Весенняя пахота была в разгаре. День и ночь гудели моторы, и от этого гула дребезжали стекла в селении. Дом Отара дрожал, он был ближе всех к полю. Дребезжала посуда на полках, казалось, что дом стоит на краю обрыва. Развалится. И от этого гула, от усталости, от многих дум Отар не мог уснуть. Вскакивал, одевался, долго ходил по двору.

Асия работала на саялке в ночную смену и почти не виделась с отцом. Когда рано утром Отар выгонял скот, Асия возвращалась с работы. Вся в пыли, только глаза поблескивают. Иной раз и к еде не притронется, умоется и спать. Пусть хоть из пушек палят. А к приходу отца опять в поле.

Отар в сердцах бранился: «Так ей и надо, не хотела выходить замуж за того парня». Стал неспокоен, часто сердился. А тут еще Раш подошла с заплаканными глазами.

– Ты-то что?

– Она говорит, что уйдет от нас. Кончится посевная и уйдет.

– Э!.. Вот это новость. И куда же?

– Не сказала... Одежду в чемодан уже стала укладывать.

– Скатертью дорога, – как можно безразличнее произнес Отар. – Давай-ка лучше поужинаем.

Но есть ему не хотелось. И когда брал пиалу, ничего не мог поделаться с дрожащими руками.

А ночью не выдержал. Оделся потеплее, шагнул в темноту улицы.

Вдали с зажженными фарами шли тракторы. Одни из них остановился, к нему, стуча колесами, подъехала телега с семенами. Спрыгнули сеяльщицы, стали подтаскивать мешки. Послышался знакомый мужской голос:

– Подожди, подожди, Асия! Я сам подниму.

Да, это был Ноян. Машина загудела, рванулась с места. Начал накрапывать дождь, все сильнее и сильнее. Слышалось недовольное ворчание трактора. Отар заволновался.

«Что же он не останавливается? Если этот негодяй будет смешивать семена с грязью, сколько же он угробит колхозного добра!»

Трактор дополз до края пашни и заглох. Дождь точно обрадовался своей победе, перешел в ливень.

«Вот дурень так дурень!» – вконец рассердился Отар. – Мог заехать сюда, пока идет дождь, посидели бы у нас... Может, Асия сообразит?»

Он потоптался на месте, поджидая дочь, но она не шла. Отар вернулся домой, накинул брезентовый плащ, взял для Асии дождевик и пошел в поле.

Идти по мокрой вспаханной земле было трудно. Он выбрался на обочину и зашагал дальше. Трактор был еле виден. Он стоял у стога прошлогодней соломы.

«Эх, агроном!» – неодобрительно покачал головой Отар. – Такие вещи надо в свое время сжигать».

Он уже полез в карман за спичками... И услышал вдруг девичий смех и неразборчивый мужской шепот.

– Какой чудесный дождь! Ноян, попробуй подставь лицо!

Отар, не зная почему, запрокинул голову и подставил небритые щеки под дождь. Холодные струи поползли по усам, по шее...

– Дождик – чудо! – отвечал тракторист.

Отар поморщился, вытер лицо шершавой ладонью.

«Ох, до чего ж глупы оба! Дождь как дождь».

– А если узнает твой отец? Он же меня терпеть не может.

«Конечно, просто не перевариваю».

– Ты же сам говорил, что на свете ничего не может противостоять любви, – тихо произнесла Асия.

На минутку оба умолкли.

– Ноян, Ноян! Как ты мне голову закружил... Когда ты впервые вошел в наш дом, у меня сердце дрогнуло, словно чувствовало. А потом приснился. Точь-в-точь таким, как сейчас... А помнишь, тогда ты старался не смотреть мне в глаза.

– Милая...

Отар стоял у стога, понутив голову. Потом медленно зашагал по пашне.

«Ничего на свете не может противостоять любви».

Эти слова не выходили у него из головы. «Нет, это только поется так, в песне бывает. А в жизни? Или наши дети стали знать больше, чем мы? Стали счастливее?»

Отар отмахивался от этих вопросов, старался думать о другом. Смотрел на звезды. Вспоминал ссору с зоотехником. Но снова и снова слышал эту волшебную фразу.

«Ничего на свете не может противостоять любви».

Даже не верилось, что это могла сказать его Асия.

Он вспомнил один случай. Точно уголь от дуновения ветра, разгорелось воспоминание. Когда же это было? Он даже остановился. Да, много воды утекло... Исполнилось ему тогда девятнадцать, родился сын – первенец Басар... Да-да, как раз, когда батраки организовали артель и он вступил в нее.

В том же году в аул приехала врач. Девушка-казашка, тогда это было редкостью. Макира – звали ее. Отару она понравилась с первого взгляда. Так хотелось зайти к ней, поговорить. Но разве он больной?

В то же лето, разгоряченный, он напился холодной воды. Заболело горло. Отар направился в больницу.

До сих пор помнится, какая красавица была. Серьезная, в белом халате. Она внимательно выслушала пациента, дотронулась рукой до щеки. Лучшего лекарства нельзя было придумать. Давно уже вылечился Отар, но его снова тянуло в больницу. «Опять горло», – говорил он и старался изобразить на лице страдание.

Однажды Макира тихо сказала ему:

– Дорогой мой, вы же человек семейный. И все это ни к чему.

Через год девушка уехала в город. Сколько же лет прошло с тех пор? До чего была хороша!..

Он вскинул голову. Рванулся куда-то в сторону. Потом обратно, будто потерял что-то дорогое и хотел найти в весеннюю ночь.

Значит, бывает в жизни любовь?

...По задубевшему плащу колотили струи дождя, вязкая грязь прилипала к сапогам. Отар шел, не разбирая дороги, крепко сжимая в руке дождевик для дочери.

## ГОСТЬ

Поезд тормозил на каждом разъезде, подолгу простаивал на станциях, и эти остановки совсем измучили Бекена. Последний день своего долгого пути он не покидал купе. Надев шапку, сшитую когда-то из голубого бархата, теперь выгоревшую до табачного цвета на степном солнце, оттопырив нижнюю губу, за которую он заложил щепоть насыбая, Бекен сидел, отрешенно глядя в окно. Там, за окном, бесконечной

лентой скользила, уплывая, заснеженная сонная степь, но все это не интересовало, как в первый день, старика. Он думал о том, ради чего двинулся в далекий путь, и если поезд дольше обычного задерживался на очередном разъезде, старик начинал беспокоиться.

– Когда это кончится? Мы больше стоим, чем едем, – буркнул он, обращаясь к своей попутнице.

– Не спешите, папаша, еще посмотрите на своих детей, – сказала она, чтобы подбодрить измаявшегося старика. – Говорите, четыре года не видели сына? Наверное, соскучились за это время...

– А у меня, оказывается, еще и внук есть, три года ему, – сообщил Бекен так, словно хотел задеть женщину.

– Вот как?! – женщина удивленно поцокала языком и покачала головой. Она пристально посмотрела на старика и, помолчав, сказала осуждающе:

– Ну, папаша, хотите обижайтесь, хотите нет, а я вам прямо скажу, что сердце у вас каменное! Это ж надо, четыре года сына не видели, он там женился, отцом стал, а вы!.. Вы что же, внука и в глаза не видели?!

Бекен молча выслушал женщину, ничего не ответил. Зачем оправдываться перед незнакомым человеком, ведь тогда надо рассказать, как все вышло. А обвинять сына он тоже не хотел. Так все повернулось, что после окончания института у сына его, Багана, появились какие-то тайны, все у них стало непросто, и разве объяснишь это чужому человеку вот так, сразу, когда многое непонятно и самому Бекену...

Поезд приближался к большой станции, замедлил ход. В вагоне стало суетливо, шумно, но старик, который до этого больше всех волновался, не двинулся с места, сохраняя подобающее спокойствие. Подышав на заиндевевшее от вечернего морозца окно, Бекен отогрел кругляшок и стал смотреть в него, но ничего, кроме множества огней, не увидел. Со всех сторон наплывающий вокзал обступали высоченные дома, светящиеся бесчисленными окнами. Бекен

старался охватить все это одним взглядом, и от напряжения глаза его начали слезиться.

Наконец поезд остановился. Это была огромная станция, залитая ровным зеленоватым светом. На перроне все видно как днем. Бекен вышел из купе, он оказался последним в очереди пассажиров, теснившихся в тамбуре у двери. От шума и мгновенно возникшей суеты у него закружилась голова, Бекен растерялся, не зная, куда идти и что надо делать дальше.

– Ну что, папаша, вы куда?– спросила его попутчица, протискиваясь мимо старика к дверям:

– Я? Я никуда, меня встретить должны,– пробормотал Бекен.

Одолев ступени вагона, он тяжело спустился на перрон и начал искать глазами сына. Его зимнюю одежду, на которую Бекен сам высылал деньги, старик не забыл, и потому искал в толпе джигита, одетого в черное суконное полупальто и серую кепку. Но увидеть то, что нужно, в этой толчее было невозможно. Пробиравшись же через толпу, толкаясь, как все, локтями и чемоданами, Бекен тоже не мог. Нет, не найдет он здесь сына. Разве тут можно что-нибудь разглядеть!

В это время его позвал знакомый голос:

– Эй, папаша!

Бекен повертел головой, поодаль от него стояла попутчица по купе.

– Эй, папаша, что, нет сына? Пойдемте со мной, а то потеряетесь.

Бекен покорно двинулся вслед за женщиной, прошел через здание вокзала и очутился на огромной площади. Здесь, на привокзальной площади, народу было еще больше, и Бекен невольно остановился в полном смятении. Зато оглушающего лягганья составов было почти не слышно.

Чуть дальше, по правую руку, стояло множество разноцветных легковых автомобилей. Бекен зачем-то



двинулся было в их сторону, но тут прямо перед ним, пересекая дорогу, резко затормозила «Волга», и от визга тормозов Бекен чуть не оглох. Никогда раньше старик не попадал в такое столпотворение, и теперь растерялся.

– Черт возьми, задавят ведь,– сказал он сердито.

Из «Волги» легко выскочил красивый джигит в красивой городской одежде. Из-под мехового воротника длинного кожаного пальто небрежно выбивался белоснежный шерстяной шарф, буйную черноволосую шевелюру едва прикрывала шляпа с узкими полями, сшитая из коричневой блестящей кожи. Джигит повернулся в сторону Бекена, и свет фонаря четко осветил его. Слегка полнеющее лицо, густые изогнутые брови, прямой тонкий нос с легкой горбинкой... Да-а, парень был из тех, на кого любо посмотреть!

– Баган, эй, Баган...– крикнул неуверенно Бекен. Джигит нахмурился, оглядел людей вокруг себя.

– Баган, сынок,– крикнул еще раз Бекен и, чувствуя дрожь в ногах, пошел к джигиту.

– А, отец... Уже приехали?– джигит еще зачем-то огляделся вокруг и протянул Бекену руку, но старик, неудовлетворенный этим движением, привлек сына к себе и поцеловал его в лоб. После этого он поднес платок к глазам, прослезился и прошептал обиженно:

– А я тут стою совсем один...

Баган, как бы успокаивал Бекена, похлопал его по спине и подтолкнул к машине.

– Потом расскажете, отец, сейчас поедем домой,– быстро проговорил Баган и торопливо усадил отца в машину. Забыв обо всем на свете, не оглянувшись на попутчицу, Бекен сел с сыном.

Баган вел машину очень быстро. После приветствия на вокзале они молчали. Бекен задолго до этой минуты приготовился отвечать на вопросы сына об ауле, о здоровье сородичей, земляков, но Баган, будто ока-

менев, вцепился в баранку и неотрывно смотрел прямо перед собой на дорогу.

«Может, ученые люди не говорят про здоровье земляков где попало?» – предположил Бекен. А что спросить у своего сына он не знал... Казалось, вопросы Бекена были не к лицу этому красавцу джигиту...

Они вышли из машины перед белым пятиэтажным домом. Баган кивком головы указал отцу дорогу и первым вошел в подъезд. Едва он нажал кнопку звонка, как в квартире раздался капризный голос: «Сейчас, сейчас!» – и дверь широко открылась. На пороге Бекен увидел молодую миловидную женщину, которая, оглядев его с ног до головы, удивленно вскинула брови. Холодные черные глаза еще раз прошли по Бекену, и опять брови дрогнули и поползли вверх...

– Саня, знакомься, это мой отец, – опять как-то быстро и стесненно проговорил Баган.

– А? Разве у тебя есть отец?! – спросила она, искоса взглянув на Багана, который топтался у порога, словно не зная, можно ли ему войти в дом с отцом. «Хм-м, молодец», – подумал благодарно Бекен о невестке, решив, что она хотела устыдить его сына. Но тут же накопившаяся на сына обида почему-то прошла сама собой.

– Ну чего ж теперь в дверях стоять, проходите, – сказала невестка, давая дорогу Бекену.

Просторная, с розовыми цветами на стенах комната была освещена люстрой синеватого стекла. Переступив порог комнаты, Бекен замер у двери, пораженный такой красотой. Вдоль стен стояли всякие дорогие вещи, о которых он знал только понаслышке. Только теперь Бекену стало ясно, что его сын, видно, на хорошей работе. Он, стесняясь, сел с краешку на диван. Понюхал табак.

Спустя несколько минут, переговорив о чем-то вполголоса в прихожей, в комнату вошли сын и невестка. По их нахмуренным лицам было видно, что

они не договорились о чем-то между собой. Сын подошел к дивану, тяжело сел рядом с отцом. Невестка, изогнувшись лебедем, проплыла через всю комнату, глянула в высокое зеркало и застыла, оперевшись локтем о пианино. Бекен тайком поглядывал на красивое лицо невестки, на ее ухоженные волосы, ласково лежащие на маленьких покатых плечах. «Видно, родители у нее большие люди, – подумал Бекен. Избалована она. И не очень воспитана, стоит передо мной и хоть бы что, а надо платок на голову накинуть». Решив позже сказать невестке об этом проступке, он повернулся к сыну. Баган беспрестанно курил. Сигаретный дым затуманивал лицо сына, поднимался к потолку и распространялся по всей комнате.

– В ауле все живы-здоровы, – начал Бекен, которому надоело это тяжелое молчание.

– Та-ак... – ответил Баган с задумчивым видом. В ответ на это безразличное «та-ак» Бекен закипел. Захотелось сейчас же выругать сына, но, почувствовав на себе холодный взгляд невестки, Бекен осекся.

– Ты ведь все забыл, – тихо сказал он, собрав в одном слове всю свою накопившуюся горечь. Сын молча согласился.

– Саня, отец, наверное, устал с дороги, чаю бы... – нерешительно сказал через некоторое время Баган, проглотив конец фразы.

Невестка лениво вышла из комнаты, Бекен, дождавшись когда они остались одни, решил высказать свои обиды. Посмотрел на Багана... Сын жадно докуривал очередную сигарету, смотрел перед собой невидящими глазами. Бекен только теперь отчетливо увидел, что на лице сына появились глубокие морщины. Подбородок отяжелел и отвис. Неизвестно от чего Бекену стало жалко его. «Наверное, работает день и ночь, устает сильно», – подумал старик.

– Чем сидеть в городе безвылазно, приезжал бы в аул подышать настоящим воздухом, – осторожно

произнес Бекен. Сын горько усмехнулся и потянулся к пачке сигарет.

– Э-эх, отец, вы думаете, я не скучаю по родным местам?– Баган сокрушенно махнул рукой.– Только все как-то времени нет...

Чай пили втроем, тоже молча. За столом Бекен спросил, где его внук. Баган сказал, что он в круглосуточных детских яслях и домой его забирают только в пятницу.

После чая невестка, шумно двигаясь по комнате, постелила Бекену на диване и, не проронив ни слова, ушла в соседнюю комнату. Следом за ней также молча поплелся и Баган.

Должно быть, от усталости Бекен уснул быстро. По давней привычке первый раз он проснулся на рассвете. Табак, оставленный на ночь за губой, стал горьким, едким и давил на сердце. Бекен взял со стола газету, сплюнул насыбай, как следует прочистил горло, положил газету на пол и опять задремал.

Когда Бекен открыл глаза второй раз, в окно уже струился синий утренний свет. Невестка с взлохмаченными волосами,– видимо, только что встала из постели,– брезгливо фыркая, вынесла из комнаты какую-то вещь. Бекен услышал шелест газеты и вспомнил, как он на рассвете откашливался и плевал: «Ох, нехорошо так, нашел где плевать-ся насыбаем»,– подумал он со стыдом.

Баган с женой быстро позавтракали и ушли, не обращая внимания на отца. Бекен остался дома один.

Побродив по кухне, он нашел пустую консервную банку и сделал себе плевательницу. Золы в квартире сына не было, чтобы насыпать ее в банку, как он обычно делал это дома, в ауле, и Бекен, не ленясь, наполнил банку кусочками газеты.

Выйти из дома Бекен не решился. Отодвинув в сторону тюлевые шторы, поставил у окна стул и сел. День портился. По одежде проходящих туда-сюда

людей старик понял, что на улице холодно и сыро. От скуки Бекен начал считать сновавшие за окном машины. Только эту забаву то и дело нарушали телефонные звонки. Первый раз Бекена отвлек от счета женский голос, следом позвонил гнусавый мужчина. Оба спрашивали невестку. Обоим Бекен ответил, что он дома один.

– То есть как «один»?! А вы, собственно, кто такой?– развязно спросила женщина.

– Я? Я Бекен, отец Багана...

В ответ женщина ехидно рассмеялась и бросила трубку, а мужчина после слов Бекена замолчал, словно захлебнулся, и лишь потом проговорил растерянно:

– Странно, какой еще отец Багана? Хм-м, «отец»... Баган вроде сирота, во всяком случае сватов у нас не было...

На этот раз Бекен не на шутку разъярился и первый бросил трубку. «Баган – мой сын, черт возьми!– пробормотал он, с ненавистью косясь на телефон. Чуть поостыв, Бекен задумался:

– Говорит, сватов у них не было... Как это, сватов?– проговорил он вслух, вспомнив слова мужчины.– И невестка вчера тоже сказала Багану обо мне как-то странно». Бекен стоял посреди комнаты, забыв про машины. Непонятно, в чем тут дело? Неужели Баган и правда болтает, что у него нет отца? И чего ради это взбрело ему в голову? Не смея думать об этом дальше, Бекен прошел к окну и сел, прислонившись лбом к холодному стеклу...

И второй день он провел в одиночестве. Только на этот раз сын и невестка пришли пораньше, втолкнув в комнату хорошенького мальчонку.

– Ой, здесь дедушка!– весело закричал малыш, увидев Бекена. Старик привстал, вглядываясь в лицо мальчугана, и вздрогнул, увидев в нем повторение своего маленького Багана. Только глаза, большие и черные, смотрели на него, как у невестки, так же прямо и

холодно. Нехотя раздевшись и разбросав где попало вещи, малыш тут же прилип к Бекену. Сначала снял с него тубетейку, попрыгал в ней на диване. Потом взобрался Бекену на колени и полез ручонкой к бороде.

– Тебя как зовут?– спросил Бекен.

– Канат,– малыш, балуясь, потянул старика за усы.– А ты чей дедушка, мой?

– Твой...

Бакен привлек малыша к себе и поцеловал его. В эту минуту, на ходу одевая халат, из спальни вышла невестка и взяла Каната на руки.

– Так нельзя, отец,– раздраженно сказала она.– У вас во рту всегда табак, зубы вы не чистите, у ребенка могут появиться болячки!

У Бекена остановилось дыхание. Он беспомощно повел плечами и не нашелся что сказать невестке. Зато Баган начал говорить быстро и опять суетливо.

– А ты лучше помолчи!– бросила ему Сания, и Баган мгновенно замолчал.

Прошло еще три дня. В одни из них Бекен, улучив минуту, спросил сына: «Кто родители невестки?»– надеясь поговорить откровенно.

– Да так...– невнятно ответил сын.– Отец на большой должности...

Баган отмалчивался, Бекен, чувствуя себя стесненным, не стал докапываться до сути.

Утром на четвертый день Баган ушел на работу, а невестка осталась дома.

– Отец,– сказала она через некоторое время,– вы что, действительно отец Багана?

Бекен сильно рассердился на эту женщину с холодными глазами, но все же решил сохранить достоинство. На вопрос он не ответил и так и остался сидеть, насупив жидкие белые брови. Помолчав, невестка смягчила голос и сказала очень осторожно:

– Баган говорил, что вы приехали погостить всего на несколько дней и скоро уедете обратно?

– Да-а, уеду,– тяжело ответил старик.

Невестка сразу повеселела, словно самый важный разговор уже состоялся, и с явным облегчением рассказала о своей родне. Бекен сидел, опустив голову, сердце его жгла какая-то мутная горячая боль. Оказывается, отец невестки был большой ученый, это он оставил Багана после института в какой-то аспирантуре, чтобы тот получил ученое звание. Неожиданно невестка проговорила мимоходом:

– Нам, отец, сами понимаете, несладко живется. Я понимаю, вы там одни, но в наших условиях уход за старым человеком... понимаете...

«Вон ты куда!»– подумал Бекен. Больше они не говорили. Бекен дождался сына и вручил ему деньги на обратный билет.

– Уже уезжаете?– как-то испуганно спросил Баган и посмотрел на отца, потом на жену... Саня перед зеркалом увлеченно поправляла прическу.

– Да, поеду. Боюсь, председатель будет ругаться, он ведь так и не нашел человека на мое место, а сторожить надо...– Бекен потянулся за костяной табакеркой.– И табак у меня кончается...

Поезд, на котором Бекен приехал к сыну, уходил поздно вечером. Они провожали его. У невестки было прекрасное настроение.

– Я, отец, через пару дней тоже получу ученое звание, как Баган,– сообщила она, объясняя причину своей радости. Бекен попросил только, чтобы по пути на станцию они заехали в детсад и взяли Каната. Невестка согласилась.

На вокзале было по-прежнему полно людей. Они подошли к вагону, в котором должен был ехать Бекен, и стали ждать отправления поезда. Канат, сидя на руках отца, баловался, дотрагиваясь руками до лица Бекена. Наконец объявили отправление, тепловоз дал гудок...

Войдя в купе, Бекен обрадовался, что его место опять оказалось у окна. Чтобы не помять чапан, он

подвернул полу и сел на свою полку. Состав мягко тронулся с места. Мимо него поплыли назад лица провожающих. Среди них остались и дети Бекена.

## НА ПЕРЕВАЛЕ

Продавец сельского магазина Тураш был отпущен на свободу через три месяца.

Перед ним открылась дверь проходной, Тураш шагнул на улицу и жадно огляделся по сторонам. Три месяца назад стояла лютая зима. Тогда из милицейской машины он видел напоследок голубоватый мертвый лед в арыках, глубокий снег по обочинам и снежную пыль, которую гнал вдоль улицы колючий ветер.

Теперь его у выхода встречала весна. В лицо мягко ударили лучи предзакатного солнца. Истосковавшийся глаз отметил сразу и мутную желтую воду, весело бежавшую в арыке, и набухшие жизнью почки плодовых деревьев. Ощущение воли опьянило его.

Но настала пора сделать первый шаг, и он вдруг оробел. Ему показалось, что стоит шагнуть по улице, как прохожие догадаются, откуда он только что вышел.

Он вобрал голову в плечи и, едва сдерживая прыть, быстро пошел по тротуару в сторону автобусной станции.

На станции было безлюдно. Тураш догадался, что автобус, на котором он мог бы попасть в родной аул, ушел совсем недавно, а это означало, что следующая машина пойдет не скоро, а может, и вовсе не пойдет – время-то движется к вечеру.

«Может, это и к лучшему, что укатил автобус, – подумал Тураш. – В автобусе я бы рехнулся совсем, столько могло быть знакомых. Пойду-ка домой пешочком. Так оно будет незаметней. Глядишь, в ауле стемнеет к этому времени и как-нибудь прошмыгну к себе в дом».



Он свернул на тихую улочку, та тайком привела его на окраину города, туда, где начиналась пешеходная тропа, уходящая в горы.

Тропа петляла вдоль подножья гор, потом поднялась на бурое и плоское, точно стол, плато. Местами под ноги Турашу попадали пробивающиеся зеленые иглы среди островков прошлогодней травы бетеге. Из нее с шумом поднимались жаворонки, напуганные его появлением. Они повисали в синем небе, звенели колокольчиком, но потом, убедившись в безобидности Тураша, вновь ныряли в траву.

А Тураш шел и думал о том, что кончилась его безоблачная жизнь. Он пытался представить, как сложится дальше его существование, но от первой же картины, нарисованной воображением, ему стало совсем не по себе. Вот он утром выходит из дома и встречается взглядом со своим соседом... О том, что последует дальше, ему не хотелось думать.

За эти три (будь они прокляты!) месяца он будто отвык ходить. Его ноги быстро устали, со лба ручьями заструился пот. Тураш остановился передохнуть и осмотрелся. Районный центр исчез в низине, а перед ним белели вершины гор, над головой висело небо, точно опрокинутая чаша. Солнце алело, склоняясь к закату, его притушенные края обозначились четко.

«Но вся эта красота уже не для меня. И уважение людей теперь не для меня», – подумал Тураш с горечью. Только и выходило, что есть у него бестолковая жена и более никого на всем белом свете.

Он вспомнил, как на первом же свидании в тюрьме жена наивно спросила: «Неужели из-за какой-то жалкой тряпки тебя оставят в тюрьме? Не горюй, вот увидишь, скоро они разберутся и отпустят. А в случае чего, найдем человека, как его, адвоката», – закончила она беспечно.

И ее беспечность очень задела его. Разве это главное, сколько тебя продержат в тюрьме? Раньше,

признаться, он только и думал, как бы выйти на свободу. Но вот теперь его отпустили на все четыре стороны, но стало ли ему легко?.. Глупая женщина! Разве не из-за нее он унес домой этот презренный кусок бархата?

Ему хотелось высказать все обиды, что накопились из-за жены. И в то же время он не решился это сделать, потому что вспомнил, как скучал по ней все три месяца, как снилась она долгими ночами...

Он прикинул, долго ли ему осталось идти. Если шагать по этой тропе, то от районного центра до аула едва наберется десяток километров. Когда он спустится в ущелье и дойдет до зимовки Тастана, это будет означать, что за ним половина пути. А дальше дорога тянется все время под уклон, шагай себе и шагай. И так, пожалуй, он дома будет как раз вровень с темнотой.

Тураш начал спускаться в ущелье. Бетеге почти исчезла, теперь стали попадаться таволга и караганник, с маленькими резными листочками. По сторонам тропинки, будто стены, выросли величественные скалы.

А тропа бежала себе меланхолично, огибала, как нить, камни; те, что помельче, срывались из-под ног путника и с шумом, переходящим в гром, катились в бездну. Этот грохот скрашивал одиночество Тураша, потому что в тишине ему было как-то не по себе. Он с удовольствием сбивал камни с тропинки, но, когда из-за камня показывалась серо-зеленая головка сасыра – совсем как у ящерицы, – он обходил это подлое растение. Попробуй задень, мигом обдаст противным запахом.

Багровое солнце опустилось за горы. Лишь самые высокие заснеженные вершины еще хранили отсвет его пламени. А здесь, в ущелье, сразу потемнело, и воздух, и камни, и трава стали одноцветными – серыми, а огромные глыбы скал вовсе почернели. Теперь гляди себе под ноги в оба.

Вот впереди, внизу, замаячила зимовка Тастана. И в это самое время там, в одиноком заброшенном

кыстау<sup>1</sup>, сложенном из неровных каменных глыб, вспыхнул огонек, и еще заметил Тураш, что из трубы валили клубы густого черного дыма.

«Кто бы это мог быть?– испугался Тураш.– Кого это занесло в забытое жизнью кыстау?»

От робости, закравшейся в сердце, появилась слабость в ногах. Он чуть присел на корточки, чтобы прийти в себя. Но потом здраво решил, что это могут быть только люди, вдобавок, знающие его, и прикинул, что второе предположение мало его устраивает.

О том, чтобы миновать зимовку тайком, не могло быть и речи. Его мог выдать любой камень, предательски выкатившийся из-под ног. Вот и вышло, что он сам завел себя в ловушку.

Пока он томился в неизвестности, из кыстау вышла тоненькая девушка в пестром платье и белом платке. Она ступала с легкостью детеныша серны, кончики длинных смоляных кос порхали у сухих смуглых икр.

Девушка замурлыкала под нос песенку, наклонилась над вязанкой таволги и случайно повернула голову. Песенка разом умолкла, девушка выпрямилась, мгновение смотрела на Тураша и, вскрикнув, бросилась в дом. Ну конечно, ее испугало то, что он наблюдал за ней тихо, будто затаившись.

Из кыстау донеслись возбужденные голоса, и наружу выскочил высокий парень с могучими плечами. Из-за его спины выглядывала все та же девушка. Парень сложил на груди крепкие руки и выжидающе уставился на Тураша.

Тураш тоже молча рассматривал странную пару – уж не знакомые ли. Убедившись в том, что они встречаются ему впервые, он вздохнул с облегчением. Но мир в его душе недолго длился, потому что Тураш услышал шепот девушки:

– Да это же дядя Тураш!

---

<sup>1</sup>Кыстау – зимовка.

– Кто? Кто, ты сказала?– тоже шепотом спросил джигит.

– Дядя Тураш. Разве ты его не знаешь? Он еще работал продавцом в Тастюбе.

– А-а,– протянул парень.– Да он же сидит в тюрьме!

– Тсс,– зашипела девушка.

«Ну, вот и началось!»– подумал Тураш тоскливо.

– Здравствуйте, Тураш-ага,– произнесла девушка, выходя из-за спины своего джигита.

– Здравствуйте,– повторил парень и, точно спохватившись, протянул для рукопожатия широченную ладонь.

Тураш пожал ее и, стараясь как-то объяснить свое неожиданное появление, пробормотал сбивчиво:

– Да вот опоздал... ушел автобус... пошел, значит, пешком... Ну, чтобы не ждать...

Парень кивнул, охотно соглашаясь, а девушка затараторила:

– Мы оттуда, агай,– она показала в сторону соседнего аула,– у нас тут близко огород, на плато. Но там стало холодно.

И парень, и девушка смотрели на него ясными, открытыми глазами, но все равно Тураш боялся подвоха и не знал, как держаться с ними. Поэтому он распрощался наскоро и зашагал дальше.

«Что это: или они притворяются или не понимают, какой позор лежит на мне?»– ломал он себе голову, торопливо удаляясь от зимовки.

Но, вопреки его надеждам, еще не все кончилось. Они окликнули его в два голоса:

– Агай! Агай-ай! Подождите, агай!

Ему пришлось обернуться – парень и девушка догоняли его по тропинке.

– Агай, постойте. Каскалдак вышел из берегов. Агай, вам придется подождать до утра. Переходить впотьмах опасно. Послушайте нас, агай!– единым духом выпалила девушка.

– Нам как-то сразу не пришло в голову, ну, то, что вы еще не знаете, – пояснил джигит виновато.

Только теперь Тураш подумал о проказах речки Каскалдак. Летом Каскалдак струился себе не шире ручейка, но весной он принимал в себя талые воды чуть ли не со всей округи и разливался так, что перейти его было вовсе не просто. И как бы в подтверждение, его ухо уловило отдаленный рев стихии, и он воспринял это как законное невезение. А чего ему еще теперь ждать?

Он стоял в нерешительности, не знал, что предпринять.

– Идемте к нам, агай! Будете нашим гостем! Мы поженились. Совсем недавно, – сообщил джигит, и потому, как он смущался, Тураш понял, что молодые еще не привыкли к своему положению.

– Да, да вы не были у нас на свадьбе, вот и заходите к нам, – между тем подхватила его юная жена.

– Ну, право, отец, – сказал джигит.

Тураш взглянул в их чистые счастливые глаза и поверил, что молодые зовут его от всего сердца.

В кыстау стоял полумрак, в который временами врывались алые сполохи – отражение пламени, мечущегося в печке, сложенной из камня.

Молодые провели Тураша на почетное место, к печке, усадили на брезентовый плащ, под которым были настланы упругие ветки таволги.

– Может, хотите отдохнуть? – спросил джигит и подложил под его локоть свернутый свитер, после чего при желании можно было полулежать.

Молодая женщина захлопотала возле печки, подбросила хвороста, поставила черный от копоти чайник. Вскоре в кыстау стало тепло и уютно. Посвистывал чайник, в топке трещали таволжьи ветки, горьковатый дым пощипывал ноздри, красные отсветы ласкали лицо и руки.

Хозяйка расстелила белый платок, достала из узелка полкаравайчика хлеба и нарезала аппетитными ломтями. Наконец в чайнике заклокотало, выплеснулся кипяток и зашипел на раскаленных углях. И Тураш поймал себя на том, что каждая такая мелочь доставляет ему радость.

Хозяйка разлила чай в стаканы, один придвинула гостю.

– Агай, пейте, кушайте. А мы будем из одного.

– Да, да! Нам так даже нравится!– как эхо откликнулся джигит.

Тураш, обжигаясь, прихлебывал горячий ароматный чай. И после каждого глотка по его жилам растекалось блаженное тепло. Давненько он не пробовал этакий удивительный чай. Сейчас он услаждал тело и душу, будто наверстывал упущенное и пил даже впрок. И только ожидание того, что все-таки молодые люди не выдержат и сунутся с вопросами, омрачало торжественные минуты.

Но хозяева то ли строго соблюдали законы гостеприимства, то ли вовсе не придавали никакого значения его прошлому. Они перебрасывались малозначительными фразами, продолжая оказывать ему знаки всяческого уважения. Обменивались долгими взглядами, смысл которых касался только их двоих

Тураш чаевничал, пока не кончился кипяток. Молодая хозяйка устроила ему почти что роскошную постель, а сама улеглась вместе с мужем под брезентовым плащом. Молодожены о чем-то пошептались, потом затихли, и по ровному их дыханию Тураш догадался, что они спят. А к нему сон не шел, да и не такое наступило в его жизни время, чтобы можно было спокойно спать. Он долго лежал с открытыми глазами, думал, думал, пока не сказалось утомление, и тогда он уснул.

Спал он очень чутко, настороженно, поэтому легкий шум его разбудил тотчас же. Тураш приподнял

голову и увидел, что взошла поздняя луна. Белый квадрат ее света упал на то место, где спали молодожены. И он увидел, что они вовсе не спят. Молодая хозяйка сидит, точно за матовым стеклом, жалобно стонет и держит свой палец во рту. А вокруг нее и так и сяк суетится муж.

– Ну, дай-ка, дай-ка мне, – сказал джигит и взял ее палец. – Ничего страшного, сейчас заживет. Смотри-ка!

Он поднес ее палец к губам и поцеловал. Жена притихла на мгновение, затем раскапризничалась пуще.

– Да-а, тебе-то что, не больно, – захныкала она, высвобождая руку. – Придавил мой палец о камень и говоришь «ничего». Не можешь спать спокойно? Ворочаешься, точно медведь...

– Дай-ка хоть перевяжу, – прогудел джигит виновато.

Он с треском разорвал какую-то тряпку и перевязал палец жены. Та улеглась, продолжая хныкать. Тогда джигит склонился над ней, начал осторожно целовать, бормоча:

– Ну, не плачь... Сейчас пройдет, и все будет хорошо... Ну, перестань. Не то разбудишь гостя, он проснется...

– Ну и пусть проснется... Если мне больно... Ой, пальчик мой!.. Ах, какая я несчастная!..

И тут парень вскочил, будто в него вонзили нож, закричал:

– Что ты говоришь? А ну повтори!

Его лицо белело неясным пятном, но Турашу казалось, будто он видит, как отчаяние исказило его черты.

А испуганная жена притихла: видимо, такой оборот дела застал ее врасплох. Некоторое время они молчали, в доме стояла напряженная тишина. Потом парень произнес трагично, так, будто уже не было никакого выхода:

– Может, ты уже жалеешь, что пошла за меня замуж? И, может, палец только предлог для скандала, да? Я тебя предупреждал честно: у меня ничего нет. А ты

что сказала: ах, мне ничего не нужно, был бы рядом ты! Но прошло три дня – и всего-то!– как ты уже в слезы... А днем ты плакала, будто ушибла колено! Нет, так не пойдет!

– Я больше не буду. Ложись, спи. Сам же говорил: «Тише, гость проснется»,– миролюбиво произнесла жена.

Но муж ее обиженно молчал, тогда она приподнялась и начала гладить его, точно ребенка, целовала, шепча что-то ласковое, успокаивающее. А тот покорно лежал на спине, и только могучая грудь его ходила ходуном, вздымалась, будто ее раздували мехами. А молодая женщина шептала, шептала:

– Не сердись, батыр мой,– и осторожно провела ладошкой по его лицу.– Батыр мой....

– А ты никогда больше не говори так, ну, что ты, мол, несчастная,– попросил наконец парень дрогнувшим голосом.

– Не буду... Прости меня. Я на самом деле счастливая... Очень счастливая. Обними меня.

– Ну, спокойной ночи.

– Спокойной ночи. Сегодня нам рано вставать.

Тураш заворожено прислушивался к чужому счастью. Они уснули быстро. Молодой человек спал по-богатырски, раскинул свои ручищи на полу, залитом лунным светом. Его грудь теперь вздымалась мерно, спокойно, – этакая живая гора. Жена пристроилась у него под боком, будто искала защиты под могучим крылом, нашла ее и теперь спала безмятежно. Один раз она что-то прошептала, не просыпаясь, коротко, но от души хохотнула и прижалась к мужу теснее.

Ну да, они счастливы и беспечны, как можно быть беспечными от счастья только в их годы. Может, оттого они так и приветливы с ним.

«Эх, молодость, молодость, славная беззаботная пора»,– сказал он себе и вздохнул, потому то тут же вспомнил свою молодость.



Да, казалось бы, еще недавно он сам был юн и счастлив. И если на то пошло, так же красив, как и этот джигит. А в силенке никто бы не посмел отказать, словом, был джигит что надо. Женился он тогда на самой прекрасной девушке аула. По ней сохли многие джигиты в округе, и он их оставил с носом. Что тут началось!— и забавно и жутко вспомнить. В открытую они не посмели, его незадачливые соперники, а ночью, когда он, счастливый Тураш, привел молодую жену в свой дом, аульные парни напоили полоумного Хусана и вложили ему в руки заряженное ружье.

Глубокой ночью гости разошлись по домам, наевшись и напившись до отвала. Но стоило молодым уйти за ширму и улечься на брачное ложе, как ударил оглушительный выстрел и окно разлетелось вдребезги. Пуля просвистела над его головой, но удивительно: он нисколько не испугался только что миновавшей смерти, встал в полный рост и рассмеялся надменно, бросая вызов очередной пуле. И окончательно обезумевший от страха Хусан бросил ружье и убежал на колхозную конюшню. А он, смелый и гордый, обнял перепуганную подругу и ласкал ее, успокаивая.

В первое время семейной жизни у них тоже были маленькие ссоры из-за пустяков, пугавшие их и порой доводившие до слез. И зато каким бурным бывало примирение. О, как они любили друг друга! Пожалуй, это были лучшие годы в его жизни, когда можно было заплакать от радости... Вспоминая об этом позднее, они смеялись над собой: «Ах, какие были мы глупые!» И вздумай он расплакаться потом, жена бы его высмеяла. Потому что они стали иными. А значит, и представление о счастье стало другим.

С тех пор утекло много воды в речке Каскалдак. Прошло лет десять, и всего-то, а кажется, минула вечность. До того все стало далеким, неправдашным, будто рассказы из чужой жизни. И дома его ждет будто

бы другая женщина, глупая и сварливая, только былой красотой напоминающая ту, прежнюю.

И вот эта история с бархатом и три месяца тюрьмы. «Ну что три месяца по сравнению с вечностью, – так бы сказала, наверное, жена, стараясь его утешить. – Мы снова вместе, будто ничего и не было», – прибавила бы, наверное, она. Но три месяца ушли из его жизни. Вернее, их вовсе не было. Не было стольких счастливых дней и ночей.

Тураш лежал с открытыми глазами, положив под голову руки. В кыстау было сумеречно и тихо. Сладко посапывали молодожены. По стенам, выложенным из неровного камня, бродили фантастические тени, а в полуразрушенное окно виднелись скалы, еще прикрытые ночной тенью. Расстояние словно не существовало в этот час, бесформенная масса камня почти подступала к домику, грозясь его раздавить. Эту нереальную картину дополняло эхо, переносившее гул разбушевавшейся горной речки Каскалдак.

За стеной продолжалась таинственная, не видимая глазу жизнь. Вдруг будто кто-то прошел, глухо топая, и с грохотом обвалился камень. И сейчас же будто из недр земли закричали:

– У-у-уф! У-у-уф!

Обрадованное случаем эхо тотчас подхватило зловещие звуки, удвоило их, утроило, разнесло по горам. У Тураша по телу разбежались мурашки от страха, смешанного с любопытством. Ему померещилось, что вот-вот кто-то войдет. Когда невидимый ухнул вторично и затем тяжело прохлопал крыльями мимо кыстау, Тураш не без разочарования сообразил, что это в последний раз перед рассветом пролетел филин.

Когда в тусклом кусочке неба появились голубые оттенки, Тураш поднялся. Молодожены спали крепко, оставив на время неутомонный мир и не жалея об этом. Стараясь ступать бесшумно, Тураш вышел наружу.

В ноздри его, еще хранившие запах дыма, ворвался острый утренний воздух. Мир развернул перед ним все свое великолепие. Вокруг все было чисто и окроплено росой: и камни, и травы, и новенькие лакированные почки таволги и караганника – точно к его появлению готовились долго и тщательно. Это значило, что мир не считал его отверженным. Он щедро дарил себя Турашу. Еще не веря своей догадке, Тураш помедлил и ступил на тропу, темную от росы. Он почувствовал себя человеком, который вернулся домой после долгих странствий: ему все еще кажется невероятным, что он ступил на родную землю, и он всматривается, всматривается и, к своему облегчению, узнает дорогие лица и милые сердцу предметы.

Тем временем из-за гор вырвался яркий сноп солнечного света. Он запылал на вершинах, потом заскользил вниз и залил ущелье и Тураша, шедшего по ущелью. Наверное, это было случайным совпадением. Но именно тут же Тураш понял, что, в общем, все зависит от него. У него есть жизнь, славная верная жена, и сердце, и руки, способные вернуть ему утраченное уважение людей. Только он должен пойти к ним честно, при солнечном свете, не прячась в темноту.

Тураш прибавил шагу и ушел уже так далеко от зимовки, что лишь каким-то чутьем угадал, что его зовут.

На краю плато стояли двое – мужчина и женщина – и махали ему. Их заливало солнце, отсюда они казались отлитыми из бронзы. Солнечные лучи подхватили их радость и разлили по свету. А эхо донесло до него их голоса:

– Аа-а!

Тураш почему-то обрадовался едва не до слез, будто его провожали близкие люди. Ему почудилось, что они кричат:

– Доброго вам счастья!

И эхо разнесло их голоса по ущелью.

По морщинистым лицам скал стекала, точно слезы тихой радости, теплая утренняя роса.

– И вам доброго счастья!– пробормотал Тураш, потому что в горле его застрял комок.

Но эхо все-таки подхватило его слова, покатило по ущелью. Или, может, ему это показалось.

Им овладела огромная, неистовая радость, когда хочется кричать на весь мир. Он обернулся еще раз.

А эхо все еще переговаривалось ликующими голосами...

## БАБУШКА

Говорят, самые счастливые люди на земле – матери. Если это так, то тогда самой счастливой среди них должна быть моя бабушка. Судите сами, она родила троих сыновей, и дочь, а от них разрослось потомство, способное заселить небольшой аул. И каждый сыт, одет и обут.

Первым у нее появился на свет мой отец Косембай. Теперь он работает главным бухгалтером в колхозе и, значит, имеет право на двойной почет – по должности и по старшинству в семье. Средний ее сын Асембай стал передовым чабаном, поэтому его частенько посылают то в Москву, то в Алма-Ату – на выставку или на совещание. У третьего сына, Есельбая, тоже все сложилось удачно. Он окончил аспирантуру и теперь готовит диссертацию, работая в районном центре на очень ответственном посту. Словом, бабушка вывела своих сыновей в люди. Ну, а дочь, спросите вы? Маржапия родилась последней и потому, как и все младшие дети в семье, стала баловнем матери и братьев. Она росла как принцесса на горошине и стала изнеженной и капризной. Она и до сих пор считает, что ей все можно, что люди живут ради нее. А бабушка

продолжает по привычке баловать ее. Недавно она выдала Маржапию замуж, да не за какого-то парня, а за самого красивого в нашем ауле джигита.

Когда у бабушки родились дети, она начала мечтать о первом внуке. Но вот ей подарили внука, а за ним пошли другие внуки и внучки. И теперь бабушка с нетерпением ждет первого правнука, которого должен преподнести, конечно, первый внук.

А первый внук – это я. Мне в этом году исполнилось только семнадцать лет – возраст, сами понимаете, еще не подходящий для женитьбы. Да, признаться, нет и такой девчонки в нашем ауле, которая мне бы понравилась по-настоящему. Но у бабушки были свои расчеты.

– Вот бы найти еще моему Женисбеку невесту-раскрасавицу, потом дождаться их первое дите, и больше мне ничего не нужно, – так сказала она соседке прямо в моем присутствии.

Соседка, конечно, уставилась на меня во все глаза: как, мол, сможет он оправдать надежды своей бабушки? Мне было и неловко и смешно, но я сделал вид, будто ничего не понял. Только подумал: «Милая, милая моя бабушка! Еще настанет время, когда ты увидишь и мою невесту, и невесту твоего самого младшего внука Есета. И будут у тебя правнуки. Да только тогда захочется тебе уже праправнука иметь!»

Мне, казалось, что у нее впереди много-много лет жизни: ей только шестьдесят три года и движения ее по-молодому легки и проворны. А бабушка точно подслушала мои мысли и сказала своим собеседницам:

– Что-то неладно с желудком, ноет и ноет такой-сякой. Все во власти аллаха! Сколько позволит пожить – никто не знает. Надоем ему, уберет с грешной земли и успокоится.

В последние месяцы она тщательно готовится к приходу костлявой, хочет встретить ее как подобает нарядной. В ее деревянном сундуке, крашенном в

черный цвет, лежат – ждут не дождутся своего часа – еще не ношенные бархатные камзолы. Зеленый подарил мой отец, коричневый – Асембай, а голубой привез из города третий сын, Есельбай. От братьев не отстала и Маржапия – сшила ей камзол из черного бархата. Временами бабушка пересыпала подарки гвоздикой и снова прятала на дно сундука. А уж сколько платьев из шелка и атласа она приберегла для своих похорон – не сочтешь, собьешься. Пожалуй, их хватит на всех старух из нашего аула.

А пока позволено жить, она ходит в платье из дешевой ткани и поношенном пиджаке моего отца. Бабушка вечно в хлопотах по хозяйству. Придет, бывало, в гости и глядит: тут нужно помочь или там что-то сделать. А наряд, как известно, в таком случае не помеха. Вот и некогда ей носить красивое платье за нескончаемыми заботами.

Говорят, мой отец хороший работник в колхозе, но у себя дома худшего хозяина, наверное, не сыскать. Навезет дров телегами, а уже через месяц нечем топить. Хоть ноги суй в печку вместо дров, как говорится у нас, казахов. Тогда-то и вмешивается бабушка.

– Женисбек, – говорит она, – а ну-ка, запряги коня.

Я охотно выполняю ее распоряжение, мы с ней запрягаем в телегу нашего старого мерина и отправляемся добывать топливо – собираем кизяк на выгоне, жнем серпом курай или рубим кетменем таволгу.

Потом она отправляется к Асембаю и до поздней ночи крутит древнюю швейную машинку – щуря слезящиеся глаза, шьет, чинит старую одежду его детишек. У среднего сына целая орава сорванцов: всюду-то они бегают и суют нос, одежда так и горит на них.

В доме Есельбая она берется за другие дела. Едва переступив, порог, она тут же вновь появляется на улице с просторной хозяйственной сумкой в руках и

обходит магазины райцентра, добросовестно выстаивая в очередях.

Как всегда, старается не отставать от братьев их сестренка Маржапия. В последнее время она торчит у нас часами и настойчиво твердит одно и то же, что она, мол, в положении и как никто нуждается в помощи матери, а значит, мать должна перейти на жительство к ней.

На месте бабушки я бы давно не вынес и сбежал подальше от жизни такой. Ни присесть тебе, ни полежать – «Мама, то, мама, это». Но ей, видно, большего и не нужно от судьбы, так бы и суежилась весь век вокруг детей и внучат. Вероятно, все матери устроены на эдакий манер. У нас, у казахов, это называют так: входить в дом с дровами, а выходить с золой. Во всяком случае, я слышал своими ушами, как бабушка говорила:

– О аллах, если хочешь узнать мою мечту, послушай: хочу умереть рабой своих детей.

Как видите, это ее собственные слова. И аллах охотно идет ей навстречу: чего-чего, а хлопот из-за внуков и детей у нее всегда предостаточно. И бабушка этим довольна. Со светлой улыбкой она бежит из дома в дом, откуда только сил хватает!

Но иногда лицо ее мрачнеет. Ей хочется, чтобы ее многочисленное потомство проживало в мире и согласии между собой, а у потомства свои сложные отношения, свои счета друг к другу, и это причиняет ей боль.

Вот передрались между собой ее внуки, она срыгается с места, расталкивает драчунов, успокаивая слабого и увещевая сильного. Когда ее терпению приходит конец, она поднимает к небу глаза и горестно говорит:

– О аллах, аллах... Ну, за что ты заставил жить меня среди этой грызущейся своры?! Может, ты избавишь их от меня?!

В такие минуты борозды на ее лице прорезываются глубже, темнеют. Сама она от горя становится маленькой, такой маленькой, что кажется, ее можно взять в горсточку. Тогда мне хочется упасть ей в ноги и просить прощения за те горькие минуты, что ей доставил лично я. И в этот момент в мою душу пробирается сомнение: а так ли уж счастлива моя бабушка?

У бабушки ко мне особое отношение с малых лет. Может, заслуга моя только в том, что я ее первый внук? Она ждала, ждала, и вот он родился, ненаглядный Женисбек? Словом, не знаю, чем объяснить, но она, как никому, доверяет мне свои тайны. Когда мы остаемся наедине, она рассказывает о том, как ей тяжело жилось, вдове с кучей детей. Меня восхищали ее мужество и вера в людей. Я смотрел на ее натруженные руки, и меня охватывала нежность к бабушке. «Дорогая бабушка, – восклицал я в душе, – будь в моих силах, я бы одел тебя в шелк и посадил на почетное место. А одеяло свернул бы вчетверо, чтобы тебе было мягко сидеть! И чтобы у тебя не было ни печали, ни забот!»

Ее чуткое сердце угадывало мои мысли, она ласково проводила по моей жесткой шевелюре худенькой сухой рукой и говорила:

– Надо бы навестить Асембая. Все ли здоровы у него? Может, чем помочь? Невестка не управляетя, поди, слабая, больная женщина.

Летом она прожила у Асембая целый месяц и потом опять перебралась к нам. За это время бабушка заметно похудела, глаза ее запали. Временами она будто прислушивалась тайком к биению своего сердца и вздыхала. Но при нас не показывала вида, что что-то не так, и продолжала суетиться по хозяйству.

Как-то вечером мы сидели дома втроем: я, бабушка и моя меньшая сестренка. К нам прибежала Маржапия. Она примчалась, будто на пожар. Рукава ее были засучены, руки в тесте, передник в муке. Мы встревожились, решив, что в доме Маржапии стряслась беда.



– Мама, вы же знаете, как давно мне хотелось сшить новое платье с цветочками! Мне такое очень пойдет, – сообщила Маржапия, переводя дыхание.

Мы сидели, как оглушенные, не знали, что и сказать. А она продолжала:

– И вот сейчас замесила я тесто, и тут, представляете, мне ударило в голову: ба, у тети – так она называла мою мать – как раз есть то, что мне нужно. Представляете?

Не дав нам опомниться, Маржапия полезла в родительский шкаф, сунула под мышку какой-то сверток и выбежала вон.

– Никак что-то унесла. Вот непутевая баба! Думает, будто все хорошее на свете только для нее. А забаловала я ее, забаловала, – пробормотала бабушка, покачивая головой.

Вскоре вернулась с работы мать и за ужином сказала бабушке:

– Вчера купила отрез на платье. Вот только не знаю, какой лучше выбрать фасон. Сейчас вам покажу.

Она полезла в шкаф, потом начала рыться в чемоданах, перевернула все белье.

– Куда положила, не помню, – произнесла она растерянно. – Вы не видели, мама?

– Да нет, не видела, дочка, – ответила бабушка, пряча глаза. На нее было жалко смотреть: сгорбилась, щеки отвисли. Я-то сразу понял, где отрез, но решил промолчать. Все испортила младшая сестренка. До этого она с упоением вгрызалась в яблоко и потому вроде бы ничего не замечала. И надо случиться, чтобы в этот момент яблоко кончилось. Глупышка вытерла губы ладонью и ляпнула:

– Его уклала тетушка Мажая. Вжала и унесла домой. Вот!

Что тут началось! Мать побелела от обиды, округлила глаза, руки уперла в бока и давай честить Маржапию на все лады – и так ее и эдак. Сроду я не слышал, чтобы мать моя употребляла такие сильные слова.

А бабушка немного пришла в себя и попыталась ее утешить. Сделала вид, будто ничего не случилось особенного.

– Миленькая, успокойся. Из-за чего портишь себе здоровье? Подумаешь четыре метра тряпки! – произнесла бабушка как можно миролюбивей.

И тут же гнев матери обратился на нее. Напустилась мать на бабушку и давай ее детьми и внучатами попрекать. Выходило так: что бы они не сделали моей маме, во всем виновата бабушка.

– Ни поесть, ни одеться не даст твое племя! – закричала мать.

– Ну хочешь, я отдам тебе бархатное платье, – сказала бабушка.

– Я не нищая! Я хочу носить свое платье, – ответила мать, оскорбленно вскинув голову.

Бабушка не произнесла больше ни слова, только сжалась словно под градом ударов. Так и в постель легла, сжавшись в комочек. Я долго не мог заснуть, слушал как бабушка вздыхает: «О-хо-хо!»

Трудно ей угодить каждому. И того жалко и этого. Поэтому бабушка не выдержала и заплакала, жалея и любя всех нас. Плакала она беззвучно. Я уже и не знаю, как догадался об этом. Только глядел в темноту и понимал, что бабушка плачет.

Утром она держалась как ни в чем не бывало. Начала с того, что обошла сарай, собирая кизяк. Потом до полудня пекла в сковородке лепешки, а приготовив обед, сказала, как обычно:

– А ну-ка, Женисбек, запряги мерина. Надо бы съездить за таволгой.

Я очень любил такие поездки с бабушкой, поэтому, не мешкая, запряг нашего старенького мерина, побросал в телегу кетмени, помог взобраться бабушке в телегу, и мы отправились в свою немудреную экспедицию.

Конь шагал ровно, поматывая мордой, помахивая хвостом, вез нас в Глубокий лог за таволгой, а мы

беседовали о том о сем, коротали время. Эти минуты мне были особенно дороги потому, что бабушка обращалась со мной как с равным. То поделится сокровенными мыслями, то даст совет, а то и сама попросит совета. Будто между нами не было разницы в полвека.

Выехали мы в самую знойную пору. Жарило так, что казалось – вот-вот закипит кровь в жилах. Все живое в степи разбежалось, попряталось от горячего ветра, от палящих лучей раскаленного добела солнца. Только слепни неугомонно изводили нашего мерина; тот неистово отбивался хвостом и, хотя мы ехали не спеша, тяжело поводил взмыленными боками.

Мы сидели на телеге под зонтом. Зонт почти не спасал от солнцепека, но я не думал о жаре, потому что бабушка рассказывала о том, как она ездила в Глубокий лог в молодые годы и рубила таволгу.

– Тогда во-он, за тем камнем мы жгли известку, – она указала кнутовищем на выступ скалы, что находился чуть ниже Глубокого лога, – и для костра рубили таволгу... Помню, дети мои были мал-мала меньше. Косембаю, отцу твоему, только одиннадцать. Асембаю исполнилось восемь... Ну да, восемь... А Есельбай только начал ходить. Оставить их дома не на кого. Вот я таскала ребят повсюду с собой. Посажу в сторонке – и за кетмень... Да, в то время я одна за день нарубала полную арбу таволги. Не всякий джигит мог со мной потягаться. Только самые ловкие! Так и говорили: «Ну и Базиля! Да ты никак рождена, чтобы рубить таволгу!..»

Так, за разговорами, мы доехали до Глубокого лога, распрягли коня и пустили в низину, а сами взяли по кетменю и полезли на косогор, поросший таволгой. Я поднимался впереди, а бабушка шла за мной, опираясь на кетмень, и говорила с еле заметной одышкой:

– Э, как они выросли, красавчики... А я-то думала, что мы их, бедных, вырубил совсем. А они-то вон как!

На косогоре кустарник и вправду вымахал в человеческий рост, встал на пути стеной – попробуй поберись. Каждая ветвь толщиной с рукоять плетки. Каждый куст – увесистая вязанка дров, только сруби попробуй. Я увидел эту мощь и оробел поначалу. А бабушка хоть бы что, примерилась привычным глазом и принялась командовать:

– Давай-ка, внучек, начнем вот с этого места. Помнится, так мы делали: я заходила оттуда, покойный Зарком стоял здесь, а Исабай вон там орудовал. Тот самый, который теперь пасет коров. Состарился Исабай. А раньше бывало... Что-то легок у меня кетмень. Женисжан, возьми-ка я твой, он, по-моему, потяжелее.

Бабушка будто помолодела у меня на глазах: лицо ее сияло, губы не в силах были сдержать широкую улыбку, растягивались, приоткрывая еще целые, хотя и тронутые желтизной зубы.

Бабушка поплевала на ладони, точно заправский лесоруб, подняла кетмень обеими руками над головой и размашисто ударила по стволу. Затем рубанула еще и еще. Куст таволги кряхтел, отвечая на каждый ее удар.

Не успел я и глазом моргнуть, а бабушка нарубила вязанку дров, но ей это стоило многих сил. Она быстро утомилась и присела на траву.

– Отдохни, внучек, отдохни. Не надрывайся слишком, – сказала она, хотя я не сделал и десятка ударов.

Что греха таить, я только и ждал этого, присел рядышком с ней. Она развязала торсык – кожаный мешок с кислым молоком, немного отпила, наслаждаясь каждым глотком, и протянула торсык мне. Кислое молоко приятно освежало пересохшее горло.

Ласковыми, чуточку насмешливыми глазами бабушка следила, как я пью, и уголком платка вытирала рот.

– Ты бы поспала, бабушка, – предложил я, отрываясь от торсыка. – Поспишь, наберешься новых сил.

– Ну, что ты, ягненочек! Моя сила в вас. Вон вас сколько у меня. Тут разве уснешь,– сказала она смеясь.

Мы встали и опять взялись за кетмени. Бабушка работала задорно. Видно, каждый взмах кетменя доставлял ей удовольствие. Но потом она вспомнила что-то, лицо ее стало озабоченным, и движения тотчас потеряли легкость. Наконец она опустила кетмень и пожаловалась:

– Теперь Асембай обиделся на твоего отца. Говорит: «Даже видеть не хочу Косембая». Зачем Косембай взял себе премию этого сукина сына? Расписался за него и взял. А потом прибежал и говорит: «Это что такое? Мы трудимся и в холод и в жару не покладая рук, а премию получает тот, кто ничего не делает, а? Еду сейчас же к председателю...» Ишь, какой. Что же ты, говорю, вместо того, чтобы помогать друг другу, поддерживать родного брата, хочешь жаловаться на него председателю?– «А что он? Спросил хотя бы»,– говорит. Что же ты, говорю Косембаю, деньги у брата взял?– «Взял, говорит, не знал, что он так рассердится. Думал, потом верну» Что мне с ними делать?– бабушка печально покачала головой.

– Из кожи лезу вон, чтобы они дружили. А они... И ведь всех кормила одним молоком... Вот вчера Маржапия... Тоже хороша, обидела твою мать. Толкуешь ей в одно ухо, в другое вылетает. Ах, ты, господи!.. Люди говорят: «Только посмотри на эту вдову, столько деток выкормила и сделала людьми! Теперь живут в достатке. Старуха, наверное, счастливая». Счастливая-то счастливая... Если бы знали, сколько приходится делать для того, чтобы они не ссорились. Жили в мире. И невесткам слова плохого не скажу, лишь бы сыновьям было хорошо. Уж не свекровь я их женам, а прислуга. Что-то со всеми вами будет, когда я помру?!

Бабушка, наверное, и впрямь представила, во что превратимся мы после ее смерти. Эта ужасная картина

будто лишила бабушку сил, она оперлась о кетмень и покачала головой, отгоняя эти мысли. Губы ее скривились, задрожал подбородок, но она удержалась, не заплакала. Даже попыталась подмигнуть мне, но глаз ее не послушался.

– Не бойся, я не помру, я, знаешь, какая живучая,– сказала она, чтобы все-таки меня подбодрить.

А я боялся. Мы-то не пропадем, вон какие хваткие. Я боялся за бабушку. Намается она с нами и, того и гляди, вправду помрет.

Мы управились с работой к заходу солнца, загрузили подводу нарубленной таволгой и уже по вечерней прохладе вернулись домой. У порога нас ждал гость, четырнадцатилетний мальчишка Есельбая. Среди нас, ее внуков, он выделялся застенчивостью, и поэтому бабушка подошла к нему сама, прижала к груди, поцеловала в лоб.

– Ах, ты мой черноглазый, курносый!– умилилась бабушка.– Посмотри, Женисбек, как вырос твой братишка! Уже джигит! А где твой непутевый отец?– спросила она ласково.

Есельбай не появлялся у нас больше месяца, и бабушка заскучала по младшему сыну.

– Папе некогда. Он занят,– пробормотал мальчишка, опуская глаза.

– Некогда, некогда!– передразнила бабушка добродушно.– Все ему некогда!.. Мог бы и заехать на часок на своей-то машине. Так и передай ему, мол, бабушка сказала: «Мог бы и заехать на часок».

Мальчик послушно кивнул и на этом бы кончился разговор, но из дома вышла моя мать и заявила:

– Не больно-то они думают о вас, мама. Особенно младшая невестка. Могла бы и подарок передать. Кулечек конфет хотя бы.

– Для меня главный подарок – он.– И бабушка потрепала мальчика по щеке.– Бог с ними, с конфетами. Стара я, зубы не годятся никуда. Пусть будут дети здоровы. И больше мне ничего не нужно.

– Это вы только так говорите, – усмехнулась мать, – а сами-то знаете, что эта невестка попросту скупа. Подавится скорее.

Бабушка горестно махнула рукой, не то осуждая мою мать, но то жену Есельбая.

– Мама, ну разве так можно? Ты же знаешь, как она переживает каждый раз! – сказал я возмущенно.

– Уж и нельзя пошутить, – засмущалась мать.

А сын Есельбая мотал услышанное на ус. Я ни капли не сомневаюсь в том, что он передаст выпады моей матери, и в том, что теперь бабушке придется выслушать жалобы обиженной стороны.

На другой день бабушка вдруг занемогла. Раньше набегавшись по хозяйству, она могла выпить целый самовар чаю, а сегодня едва осилила вторую чашку и отправилась в постель раньше обычного.

– Что-то мне не до чаю. Грудь болит, – пожаловалась она в ответ на наши расспросы.

Проснувшись утром, бабушка сказала:

– В горле першит. Будто всю ночь грызла семечки.

И тут же схватил ее яростный кашель и начал крутить так и эдак. Бабушка задыхалась. Мы давали ей воду, но кашель затихал на минуту, а потом принимался терзать бабушку с новой силой.

Тогда мой отец отвез ее на колхозной машине в больницу, а там после анализов врач втайне от бабушки сказал, что у нее рак пищевода. Мы тоже скрыли от больной страшное известие и забрали ее домой. С этих пор бабушка таяла прямо на глазах, а вскоре от нее остались кожа да кости. Каждый кусок пищи приносил ей ужасные мучения, и нам приходилось кормить ее насильно с ложечки.

В течение нескольких месяцев всячески обманывали бабушку, уверяли, что болезнь пустяковая и скоро пройдет, хотя врачи не оставили нам никаких надежд. Жизненный опыт и просто инстинкт помогли ей догадаться о правде. Почувствовав свой близкий

конец, она сказала, что хочет собрать всех своих детей. Я побежал звонить в район дяде Есельбаю. А кто-то из соседей отправился на горное пастбище к Асембаю.

Первой пришла Маржапия, привела с собой молодого мужа. Потом Есельбай прикатил в машине со всем своим семейством. Немного погодя появился и средний сын Асембай, примчавшийся на попутном грузовике. Наша многочисленная родня, плача и стеная, ввалилась в дом и окружила бабушку. Ей целовали руки и лоб, и каждый старался выяснить, чем он может помочь, и имеет ли бабушка на него обиду. А она лежала под нашими сострадательными взглядами, будто немного растерявшись от такого бурного проявления чувств.

Тяжелее всех переживал Асембай. Он колотился головой о постель возле ее ног и причитал:

– Ма-а-ма, моя мама! Мы обижали тебя! Ты уходишь от нас, мама, скажи, что сделать для тебя? Назови свое желание. Если у тебя есть какая-то мечта, не уноси ее с собой не исполнившейся!

Бабушке, видно, было неловко оттого, что своей кончиной она причиняет горе дорогим людям. Шевельнула губами, как бы говоря:

– Не плачьте!

Потом попросила воды. Я в два скачка принес ей воду из кухни и влил каплю в рот. Ей вроде бы полегчало, и она сказала, когда я подставил ухо к ее губам.

– Положите меня во дворе.

Взрослые, толпясь, мешая друг другу, вынесли ее во двор под темно-голубое предвечернее небо.

Бабушка дала нам знаком понять, что ей хочется сесть у стены. Ее взяли под руки и осторожно усадили на втрое сложенную кошму. Она устало прислонилась к стене, подняла ослабевшую руку, поднесла к глазам, защищаясь от солнца, и огляделась вокруг. Она



пристально всматривалась в каждый предмет, будто хотела навечно запомнить, унести с собой в небытие весь этот стенной простор, наполненный удивительными мелочами.

– Мама, скажи, что ты хочешь? Я сделаю все!– начал снова Асембай.

– У меня одна мечта: живите в мире,– произнесла бабушка еле слышно.

В этот момент с улицы донеслась старинная песня. Где-то за ближними домами слышался звонкий, еще не окрепший голос подростка. Мы узнали его. Это был наш аульный мальчишка по имени Набиден.

«Молодой джигит никогда не станет опираться на палку из тальника. А молодой беркут никогда не откажется от лисы»,– пел Набиден, не зная, что у нас умирает бабушка. А она вздрогнула, вновь подняла руку и начала всматриваться перед собой, надеясь увидеть маленького певца.

– Это очень старая песня. Она родилась вместе со мной,– прошептала бабушка, и по ее щеке побежала слеза.

Мы тоже прослезились. А Набиден прошел стороной, и вскоре его голос затих на краю аула.

Когда солнце укатилось за горизонт – для нас только до следующего утра, а для бабушки навсегда,– мужчины внесли ее в дом. Тут ей совсем стало плохо, и мы поняли, что наступили ее последние минуты.

Мой отец кивнул братьям, и они втроем ушли на кухню. И через несколько минут мы услышали, как запел Асембай:

«Оправдать твой долг, мать моя родненькая...»

Моя мать заглянула на кухню и крикнула:

– Тише вы, бесстыжие!

Песня оборвалась на полуслове, а затем появились отец и его братья с покрасневшими глазами и сели у изголовья бабушки. От них пахло водкой.

Вдруг бабушка задышала быстро и тяжело, точно на грудь ей легла тяжелая ноша и каждый вздох нужно было делать с усилием.

– Ой, мамочка наша!– завопила жена Асембая.

Она схватила бабушкину руку и приникла к ней. Сидящая рядом с ней Маржапия охнула, словно ей наступили на мозоль, и торопливо сказала:

– Это еще что? А ну-ка, отдай мамин перстень. Он мой! Так уж исстари ведется, что перед смертью человек должен снять с себя все украшения и раздать их самым близким и дорогим ему людям на память.

Может, бабушка забыла об этом, а может, в ней еще теплилась надежда, что она не умрет, только перстень остался у нее на руке.

Теперь силы покинули бабушку, и ее сноха и дочь пытались во что бы то ни стало снять перстень.

– Э, милая, не выйдем!– возразила жена Асембая с неожиданным спокойствием.

Она вновь наклонилась к бабушкиной руке, где на среднем пальце тускло поблескивало золото, но Маржапия оттолкнула ее, схватила ладонь бабушки и начала облизывать перстень, надеясь таким образом стащить его с места. У бабушки началась предсмертная икота.

Первым, кажется, опомнился я. Я разжал цепкие пальцы Маржапии, снял перстень с бабушкиной руки и выбросил его за окно, в черную ночь.

Тотчас, словно освободившись от злополучного перстня, бабушкина рука упала с кровати и повисла.

– Мама!– крикнул Асембай, и дом наш загудел, застонал от горя. Вокруг меня закружились искаженные лица.

Старик-сосед подошел к бабушке, поискал пульс, потом закрыл глаза и печально прочитал молитву из Корана.

Рыдание рвалось из моей груди, я выбежал на улицу. Казалось, века прошли за эти часы. Даже звезды будто

перемешались на небесном своде. Только Полярная стояла на месте таким крепко вбитым гвоздем. Потихоньку светало. Над горизонтом появилась зеленая звезда Венера, предвещавшая утро. Из дома выходили родственники и соседи. А вот выбежали наперегонки жена Асембая и Маржапия и, оттирая друг друга, начали шарить под окном.

– Женисжан, миленький! Куда ты бросил перстень?– спрашивали они у меня и тут же ругались между собой:

– Мой перстень!

– Ишь, ты какая! Кто найдет, того и перстень!

Последними из дома вышли сыновья бабушки. Они остановились посреди двора и обняли друг друга за плечи, будто после смерти матери им открылось наконец, что они родные братья. Я смотрел на них, не веря своим глазам. Они держались так, словно боялись расстаться. Жаль, что этого уже не увидит бабушка.

– Эй, а вы что там потеряли?– строго спросил мой отец, и братья грозно уставились на Маржапию и ее соперницу.

– Да вот перстень хочу... отдать ей,– растерялась Маржапия и кивнула на жену Асембая.

– А я хочу отдать ей,– виновато пробормотала жена Асембая.

Я отвернулся. Сосед, читавший молитву, сказал за моей спиной:

– Она ушла, исполнив свой долг. Она отдала все, что имела.

Мне захотелось вернуться к бабушке. Я вошел в дом. Сосед-старик последовал за мной.

Тело бабушки уже перенесли к правой стене и отгородили занавеской. В доме стало пустынно.

Я подошел на цыпочках к занавеске и собрался было приоткрыть ее, как вдруг оттуда, где лежала бабушка, послышался вздох. Я обмер и затем стрелой вылетел на улицу. И вновь за мной последовал старик.

– Сынок, что с тобой? Ты чем-то напуган?

– Там бабушка вздыхает.

– Не может быть, – сказал старик. – Идем со мной.

Мы вернулись в дом, и старик опять сотворил молитву. После этого он распахнул передо мной занавеску.

– Видишь сам. Бабушка спит.

Бабушка лежала белая, осунувшаяся – так спит уставший изрядно потрудившийся человек. Щеки ее запали, но на лице сохранилось знакомое мне выражение. «Все они вскормлены одной грудью. Моей грудью», – будто бы говорила бабушка.

## ДОМ МОЛОДЫХ

«Что скажет отец?» – волновался Узак. Эта мысль мучила его всю дорогу от колхозного гаража до отцовского дома.

В самом деле, как сообщить отцу, что он и Тана вот так вдруг забирают свои вещички и начинают жить отдельно, даже не предупредив его заранее. И это вопреки старой казахской традиции, когда отец сам загодя оповещает родню о том, что сын его создает свой собственный дом. Потом отец режет скотину и затевает для аулчан небольшое пиршество по такому знаменательному случаю, потому что каждый родитель мечтает увидеть дом молодых – продолжение своего рода.

Сегодня Узак лишит отца этой радости. Злость его уже прошла, уступив место чувству растерянности и вины перед отцом. И все же он не изменит своего решения, потому что не в состоянии жить дальше под родительской крышей.

Словоохотливый паренек-шофер попытался завести разговор с Узаком, но скоро отказался от своей затеи, только спросил:

– Значит, будешь жить в старом доме Жапаса?

Узак кивнул рассеяно, с трудом отрываясь от своих дум.

– Это же развалюха!

– На первых порах сойдет. Тепло уже. А летом построю новый. Председатель обещал помочь материалами.

– Построиться можно, – согласился шофер. – Парочку раз позовешь на помощь джигитов, и к концу лета дом будет готов.

На этом разговор иссяк, потому что и старый дом Жапаса, и постройка нового казались сейчас Узаку делом второстепенным. Что он скажет отцу и как тот воспримет его сообщение – это было главным.

Еще есть мать. Но ему было все равно, как отнесется мать к его уходу, потому что именно из-за ее издевательств над Таной он покидал родительский дом раньше времени. Едва он подумал о матери, в его душе всплыла прежняя обида. Конечно, мать даровала ему жизнь, вскормила своим молоком, и он не имеет права ей перечить. И в то же время никто не имеет права заставить его жить и дальше в одних стенах с ней. Всю долгую зиму он ждал, что материнское сердце оттаяет и она изменит свое отношение к Тане. Но зима миновала, сошел снег, солнце отогрело землю, а сердце матери так и осталось куском бесчувственного льда.

Сегодня всю ночь Тана не спала, жаловалась на боли в животе и только под утро, забылась, задремала. Но к этому времени мать уже была на ногах, и стоило Тане закрыть глаза, как она пронзительно закричала:

– Тана-а! Эй, Тана!.. Разве не знаешь, что в доме нет воды?!

А Тана, свернувшись калачиком, прижалась к нему, будто в конце концов нашла защиту от всех страданий. Ее нежное продолговатое лицо похудело за последние дни, пасмурный утренний свет наложил на него голубоватые тени. Тана спала, точно ребенок, который

наплакался и наконец заснул, – она изредка всхлипывала во сне, прерывисто вздыхала, хмурила брови. Узаку стало жалко жену до боли. Ей, бедняжке, в последнее время приходится трудно. Их будущий ребенок уже бунтует, дает знать о себе, а тут еще все хлопоты по дому на ее плечах – поздно ложись, чуть свет вставай.

– Тана-а, да что ты там копаешься! Сейчас же вставай! – барабания в дверь, закричала мать так, словно загорелся весь мир.

Тана вскочила, будто ее подбросили. Схватила платье.

– Мама, я сейчас... сейчас, – забормотала она, дрожа от испуга, и никак не могла попасть в рукав.

– Тана, ты лежи. Я схожу за водой, – сказал Узак и, поднявшись, ласково уложил Тану в постель.

Потом наскоро оделся: натянул брюки, сунул голые ноги в сапоги, прямо на майку надел ватник и вышел в переднюю.

– Мама, давай ведро. Я мигом принесу.

Что тут началось! Мама взвилась, словно наступила на горячие угли, разорвала в клочья небеса, разнесла в пух и прах горы. А бедную Тану похоронила под семью слоями земли, извлекла назад, на свет божий, похоронила вновь: и такая, мол, она, и сякая, и лентяйка, и нет у нее почтения к старшим... Слова ее свистели, точно пули, такие же безжалостные, разящие наповал.

Мать, всегда нежная и чуткая к сыну, теперь будто ослепла и не видела, как каждое грубое слово, сказанное о Тане, ранит его. И совсем уж ей было наплевать, что Тана тоже чье-то любимое дитя, выращенное в заботе и ласке.

После ее сегодняшней выходки он сказал себе: «Хватит, сыты по горло. Сегодня же отделюсь от родителей. Что бы потом ни случилось, но сегодня же переедем».

Он ушел, даже не выпив чашки чаю. Полдня искал квартиру, но люди повсюду ему отказывали – то ли не

желали тесниться, то ли не хотели ссориться с его отцом. И только старый Жаппас предложил ветхий домик, в котором он раньше жил со своей старухой. Вид домика не вызывал особой радости, но все-таки теперь была крыша над головой, и Узак решился.

Прямо оттуда Узак отправился к председателю колхоза и попросил машину. И вот теперь он едет за Таной и своими пожитками.

«Так что же я скажу отцу?» – уже, наверное, в двадцатый раз спрашивал он себя.

– Приехали! – объявил шофер. – Только уж ты, Узак, не задерживайся. У меня времени в обрез.

Он остался в кабине, зевая во весь рот и поглядывая с любопытством на дом Узака, ждал спектакля.

В дом Узак вошел с бешено бьющимся сердцем.

– Узакжан, где же ты пропадаешь, сынок? А мы-то ждали тебя к обеду, – сказала мать с мягким укором.

Она свернула натеребленную шерсть, видимо собираясь его кормить.

– А где отец? – спросил Узак, заранее обмирая.

– Не знаю. Был только здесь, потом ушел куда-то по делам.

Мать подошла к печи, пощупала чайник.

– Еще не остыл. Умойся тепленькой водичкой, светик мой. Давай-ка я полью. – Она взяла чайник и уже другим тоном крикнула: – Тана! А ну-ка разогрей суп. Да поскорей! Неужто не видишь, что муж твой голодный?!

– Не нужно, мама, я не буду обедать, – заявил Узак. Он добрал до стула, стоявшего у окна, плюхнулся, будто принятое решение отобрало у него последние силы, и, глядя мимо матери, тихо сказал:

– Мама, мы уходим от вас.

Он хотел добавить по привычке «если разрешите», но подумал, что это теперь не имеет значения.

– Как это уходите? Куда? – опешила мать.

Она уставилась на него ошеломленно, потом перевела взгляд на Тану, появившуюся в комнате. Но жена

и сама еще не могла сообразить, что к чему. Только почувствовала, что происходит нечто особенно важное в их жизни, побледнела, широко раскрыла глаза.

– Да, мы уходим от вас, – повторил Узак, обретая уверенность, потому что самый высокий барьер остался позади. – В общем, мы переезжаем, мама. Я человек самостоятельный и хочу жить отдельно. У меня своя семья. И вот теперь появился дом. Жаппас предложил нам временку. – Он повернулся к жене: – Тана, собирайся поскорее. Машина у двора.

– Выпил хотя бы чаю, – предложила растерявшаяся Тана.

– Некогда! Шофер не будет ждать!

Узак шагнул к постели, скатал ее и начал связывать. Он прятал глаза от матери, у него бы не хватило мужества выдержать ее умоляющий взгляд. Он слышал, как она тихо всхлипывает, приговаривая:

– Сыночек, а отец?.. Отец-то... подождет бы отца...

Стараясь подавить в себе жалость, он прикрикнул на жену, которая стояла еще в нерешительности, испуганно поглядывая на свекровь.

– Пошевеливайся, пошевеливайся! Я же сказал: машина ждет! Одедась бы хоть!

Он кликнул шофера, вместе с ним разобрал кровать и отнес по частям на машину. Затем он погрузил постель.

– Кажется, все! – сообщил он шоферу.

– Э, стоило из-за этого гнать машину? Не мог перенести на своем горбу? – беззлобно пошутил шофер.

Вышла наконец-то собравшаяся Тана. Узак посадил ее в кабину, а сам полез в кузов. Шофер завел мотор, машина мелко затряслась, готовая сорваться с места. И тут, словно из-под земли, появился отец Узака. Узак точно окаменел, а шофер выглянул из машины и заглушил мотор.



– Как печка-то в доме Жаппаса? Небось развалилась?– спросил отец.

– Ничего, зажжем примус,– пробормотал Узак.

– Ты там смотри не застуди Танаш,– сказал отец с присущей ему сдержанностью.

Отец совершенно спокоен, точно давно был готов к тому, что сын в один прекрасный день покинет его без всякого предупреждения. Он приблизился к машине, проверил спинку кровати, прочно ли стоит у борта, потом сказал: «подожди-ка», сходил в сарай, принес кусок старой кошмы, положил между бортом и спинкой кровати, чтобы не поцарапать краску.

А что уж творилось у него в душе, сколько горечи отныне осядет на ее дно, этого не знает никто, подумал Узак. Нелегко ему придется. Теперь о нем пойдет молва: дескать, человек, который собственного сына выжил из родного дома. Но отец был гордый. Он отошел, отвернулся, деловито поправил покосившийся кол у забора, словом, сделал вид, будто не происходит ничего такого, из-за чего стоило бы волноваться. И все же сколько ни крепись, а когда начнешь провожать глазами машину, увозящую твоего сына, они тебя выдадут.

Шофер опять запустил мотор, и мать, с приходом отца тоже взявшая себя в руки, не выдержала, заголосила:

– Сыночек!.. Да что же ты мать родную...

Но отец сейчас же остановил ее, только гаркнул:

– Замолчи, старая!

Обычно сероватые, глубоко запавшие глаза отца покраснели, точно два кристалла раскаленной соли, и сердито впились в лицо матери.

Машина тронулась и покатила по улице мимо соседей, которые – и стар и млад – высыпали из дверей, будто увидели свадебное шествие. Они стояли у своих оград, перешептывались и указывали пальцами.

Узаку стало больно и за себя, и особенно за отца. Получилось, что он обесчестил отца, бросил его в

грязь. И сам он навсегда покидал отчий дом, где родился и вырос. Было жалко непутевую мать. В общем, получилось так, что почему-то все они четверо – несчастные, неудачливые люди. К горлу подступил горький ком, Узаку хотелось заплакать навзрыд. Стараясь подавить готовые выплеснуться рыдания, он ухватился за борт машины, поднялся и подставил лицо хлесткому ветру, летящему навстречу.

День выдался пасмурный, неприветливый. На дороге еще держалась грязь. Навоз и мусор, всю зиму пролежавшие под снегом, теперь оттаяли и, перегорая, издавали резкий неприятный запах.

Машину подбрасывало на ухабах. От тряски и пронизывающего ветра Узак немного успокоился.

Один за другим мелькали и оставались позади дома с облупившимися, промокшими за зиму и весну стенами, а вот показалась и крытая железом крыша нового дома Жаппаса. Перед ним – покосившаяся развалюха, построенная еще в первый год существования колхоза. Теперь она встречала новоселов грязными стенами с осыпающейся штукатуркой и осевшей крышей, а единственное ее окно смотрело на мир, точно глаз измученного болезнями человека.

«Ничего, пока сойдет и это. Продержимся первое время. Потом, будем живы-здоровы, построим себе настоящий дом», – подумал Узак, стараясь себя подбодрить, потому что вид этой лачужки мог повергнуть в уныние кого угодно.

– А вот он и ваш дворец, – сказал шофер, остановив машину, и вылез из кабины.

Узак спрыгнул на землю и помог выйти Тане, которая еще пребывала точно в полусне и до сих пор не могла толком понять, что же происходит. Последними на сцене появились Жаппас и его жена. Старик поздравил Узака и Тану с началом самостоятельной жизни. А старуха вдруг рассердилась:

– Что же отец и мать отпустили детей одних? Ишь, вон какие беспомощные!

– Не слушайте ее, ребята. Говорят, караван снаряжается уже в дороге. Пройдет срок, и у вас все будет: и кров и другое, – заверил Жаппас, стараясь развеять тягостное впечатление от слов старухи.

Вещи перетащили в дом. Кровать поставили во второй комнате, в передней сложили немногочисленную кухонную утварь. Когда Тана застелила кровать, жена Жаппаса изрекла:

– Можно считать, что очаг вы свой зажгли, милая моя доченька. Живите теперь счастливо!

Благословив новоселов, старики ушли. Шофер тоже пожелал всего доброго, сел за руль, укатил в правление, и молодые супруги, пожалуй, впервые в жизни остались по-настоящему одни. Это было еще неведомое им обоим ощущение, и застало оно Узака на единственном стуле, а Тану – у окна.

Они молчали, настороженно вслушиваясь в необычную тишину, которая окружала их, вырвав из шумного многолюдного мира. Что-то она им уготовила, эта тишина?

Наконец Тана, точно освободилась от невидимых пут, тихо подошла к Узаку, запустила пальцы в его густую шевелюру и начала расчесывать его спутанные волосы. Потом она обняла голову мужа, прижала к груди. Узак вздохнул, точно проснулся, и притянул Тану к себе. Ему показалось, что он слышит стук двух сердец: ее и маленького. Но бились они, оба сердца, одним ритмом.

Узак поднял голову, заглянул в глаза жены, улыбнулся ей. Она ответила нежной улыбкой, и на него вдруг обрушилась волна огромного, безмерного счастья. Тана прочла это в его глазах, застыдилась, покраснела и, смущенно смеясь, закрыла его лицо ладонями.

– Не смотри так. Мне стыдно, – прошептала она, едва касаясь горячими губами его уха.

Лаская его, она всегда говорила шепотом, точно стеснялась своих слов.

– Ой, ты же голодный! Сейчас приготовлю поесть!– вспомнила Тана.

Узак засмеялся, покачал головой, удерживая Тану. Он забыл и об уходе из дома, и о недавней горечи. Все это смыло нахлынувшим счастьем.

Он нежно взял ее ладонь, поднес к своему лицу. Только подумать, во что превратились руки его жены всего лишь за один год! Когда-то тонкие нежные пальчики Таны теперь потрескались, покрылись мозолями, отеки.

Тана испугалась, виновато сказала:

– Сама не знаю, отчего руки стали такими?

Она высвободилась из его объятий, ушла в переднюю, и он услышал, как она там разжигает примус, гремит сковородкой. Потом в комнату вкрадчиво вполз аромат тающего сала, к нему добавился кружащий голову запах жареного мяса.

«Ну, вот и началась наша самостоятельная жизнь»,– сказал себе Узак.

Он обвел хозяйским глазом стены, наскоро побеленные женой Жаппаса. Жидкий раствор голубоватой извести не смог скрыть трещины, разбежавшиеся по стенам, точно паутина. Потолок прогнулся под тяжестью времен, перекрытия выступали, словно ребра. Штукатурка местами обвалилась, и потолок походил на шкуру плешивой лошади. От потолка к полу бежали желтые следы потеков. Видать, в дождливую погоду под этой крышей было не очень-то весело. И все это венчал гнилой запах брошенного жилья, крепко обосновавшийся в доме.

– Узак, иди мыть руки!– позвала Тана.

Потом они расстелили на чемодане скатерть и принялись за еду, и еще никогда обед не казался Узаку таким вкусным.

– Ты теперь далеко не уезжай,– сказала Тана,– одна я боюсь.

– Никуда я не поеду,– успокоил ее Узак, уплетая мясо.– Председатель обещал не посылать в дальние

рейсы. Пока ты не родишь.– Он соскреб ложкой по дну алюминиевой миски и заключил:– Вкусно, никогда еще такое не ел.

– Видать, мало я приготовила. Ты совсем не наелся.

– Да что ты! Я сыт! Вот так наелся.– И он провел ребром ладони по горлу.

– Тогда на ужин я сварю побольше.

– Куда же еще ужинать?! Уж лучше отдохни. Небось устала за день. Давай-ка сегодня ляжем пораньше.

– Ну, теперь я отдохну.хлопот-то в этом доме – тебя покормила и все,– вздохнула Тана.

За окном понемногу начало смеркаться, а они так и пробыли дома до вечера. Сидели колена к колену, обсуждали дела. Может, постороннее ухо сочло бы их заботы мелкими, незначительными. Им же казалось, что нет сейчас ничего важнее, и Узак готов был бесконечно вот так сидеть рядышком с Таной и говорить, говорить...

– К майскому празднику я куплю какой-нибудь простенький халат. Такой, чтобы посвободнее и чтобы недорого стоил,– сказала Тана.

– Почему же дешевый? Купим хороший и дорогой,– возразил Узак.

– Зачем тратить? Мне бы только сейчас поносить, Пока я в положении.

– Все равно купим дорогой! Пусть люди не думают, будто живем в недостатке,– твердо заявил Узак.

В комнате стемнело. Темнота спрятала от него лицо жены. Теперь он угадывал Тану по ее голосу, теплему дыханию. Тана было поднялась зажечь лампу, но Узак удержал ее. Ему нравилось сидеть с женой впотьмах и знать, что она здесь, около него.

– Ты не озябла?– спросил он и, обняв Тану за талию, привлек к себе.

Еще вчера Тана легонечко бы засопротивлялась, зашептала: «Не надо, Узак. Вдруг заглянет мама, стыд-то будет какой!»

А теперь она сама приникла к нему, спряталась в его объятиях. Узак пощекотал ее шею, поцеловал в выпуклый чистый лоб, уткнулся в ее волосы, вдыхая их аромат.

– Узак, Узак!– позвала она, вдруг встревожившись.

– Что, Тана?– откликнулся он неохотно, ему не хотелось нарушать очарование этого вечера.

– Узак, мама очень рассердилась на нас.

Узака передернуло, словно ему за шиворот плеснули ледяной воды.

– Узак, мы, наверное, поторопились, правда? Ты всегда такой нетерпеливый. Можно было сегодня сказать и подождать денька три, а потом и переехать. Чтобы никому не было обидно.

Узак молчал, стараясь подавить в себе возвращающую боль.

– Отец даже вида не подал. А ему-то уж совсем обидно, правда, Узак?

– Да,– сказал Узак и тяжело вздохнул.

За окном зашуршало, потом кто-то невидимый чуть слышно забарабанил по стеклу, они прислушались и поняли, что пошел дождь.

– Бедненькие родители. Сидят сейчас одни-одиношеньки,– печально промолвила Тана.

Узак встал со стула, потянулся, разминая затекшие мышцы, и попробовал отшутиться:

– Почему бедненькие? Может, сидят, как и мы, в обнимку, и тоже им хорошо.

Он решил, что лучше всего сейчас шутить, разговаривать в полный голос, побольше и поэнергичней двигаться, иначе пропадешь от тоски, иначе задохнешься, потому что горький комок опять застрял в горле, сдавил дыхание.

– Узак, а Узак,– продолжала Тана.– Вот у нас родятся дети, потом станут взрослыми, и я говорю: неужели и у нас будет так, неужели и они бросят нас и уедут?

– И правильно сделают!– почти весело заявил Узак.– Милая моя, главное, чтобы мы были вместе, всегда вместе!

Он нашел ее в темноте и бережно поднял на руки.

«И вправду, будут у нас дети. А потом пусть они уезжают, живут своими семьями. А у меня останется Тана», – подумал Узак и осторожно поставил Тану на ноги.

– Можешь зажечь лампу.

Тана пошарила, нашла на ощупь спички, чиркнула одной, другой, зажгла семилинейную лампу, пристроила ее на гвоздь, возле дверного косяка.

В комнате возник тусклый желтый шар света, за его пределами стало черным-черно и таинственно, исчезли стены, и комната показалась большой, неуютной, как безлюдная степь в сумеречный час. «Уж лучше бы сидели в темноте», – подумал Узак.

Тана бродила по комнате, не зная, куда себя деть. Обычно в это время она просеивала муку, замешивала тесто для хлеба, который будет печь завтра, подавала свекру кувшин с теплой водой, чтобы он умылся, словом, хлопотала по хозяйству не покладая рук. И вот теперь сплошное безделье. Единственное занятие – смотреть на него, своего длинного, нескладного муженька. Он тешится, делает вид, будто ему весело, хотя скулы его заострились и глаза грустные.

Узак походил по земляному полу, раза два подошел к окну, попробовал взглянуться в темноту, словно можно что-то увидеть в этакий дождь, поднял фитиль у лампы. Но все равно ничто не менялось от этого – тот же тусклый свет, та же непривычная, угнетающая тишина.

Наконец Тана придумала себе работу, взяла веник из полыни, что оставила жена Жаппаса, принялась мести и без того чистый пол. Видно, стараясь уйти от своих мыслей.

И угадать нетрудно, о чем она думает. Наверное, о том, что вот, мол, ждала, когда они уедут от родителей

и она сама станет хозяйкой, и не могла дожидаться. Но вот мечта сбылась, а ее это не радует. Ей жалко старых людей, что остались одни. Плачут, поди, и проклинают ее. Может, свекор и не осудит, а уж свекровь скажет непременно: «Заморочила голову нашему сыночку, коварная сноха. Поссорила с ним, опозорила перед аулом». А вина-то ее вся в том, что ни в чем не перечила, даже не посмеялась ни разу вволю и от души с тех пор, как перешагнула порог в доме мужа.

И точно, словно он в воду глядел, Тана уронила веник и заплакала. Уткнулась мокрым лицом в его грудь, когда он обнял, чтобы приласкать, утешить.

– Узак, отвези меня домой, к моим... Отвези! Я не могу больше так, Узак, дорогой, – попросила она, всхлипывая.

– Глупая, что ты придумала. Будто я чем-то тебя обидел. Все наладится, только потерпи, – забормотал Узак, успокаивая жену.

Тана будто бы притихла, вытерла фартуком глаза и опять сказала:

– Правда, Узак, отвези. Я ни капли не обижусь. Ты и так с отцом и матерью поругался. И все из-за меня.

– Перестань! – заорал Узак и схватил с чемодана нож. – Только скажи еще раз!

Тана замолчала, отвернулась.

Он обнял ее сзади:

– Не сердись.

– Подожди, закрою окно, – спохватилась Тана. Она сняла фартук, завесила окно.

– Не смотри на меня так, закрой глаза, – попросила Тана.

– А ты все стесняешься?

Тана кивнула утвердительно. Она направилась к лампе и потушила ее, потом подошла к мужу, села к нему на колени, обняла за шею.

– Узак, тебе можно что-то сказать?

– Говори.



– Я очень боюсь смерти. Правда, правда... Сны какие-то снятся страшные. Боюсь, буду рожать и помру.

– Будет тебе городить всякую ерунду, – мягко упрекнул Узак, а сам провел ладонью по ее острым лопаткам и подумал с болью: «Бедненькая моя, похудела-то как! Тебе и вправду будет трудно!»

– Спать пора! Спать, спать, – объявил Узак.

Тана уснула сразу, пригревшись рядом с ним. А Узак лежал на спине, упираясь длинными ногами в спинку кровати, словно пытался растянуть короткое ложе.

«Что же будет дальше? С чего начинать?» – спрашивал себя он, вслушиваясь в шорохи за окном.

Дождь тем временем усилился. Удары капель о стекло зачастили, перешли в монотонный ритмический шум. Теперь этот весенний дождь зарядит на всю ночь, будет идти вот так неторопливо, вымачивая землю до последнего плодородного слоя, и к утру развезет все дороги.

За окном прогремела чья-то поздняя подвода, задрожал земляной пол в их доме.

– Кто это? – испуганно спросила Тана, отрываясь от подушки.

Значит, сон ее был некрепок, тревожен.

– Спи, мой храбрец!.. Телега всего-навсего. Ложись-ка лучше к стене. Так тебе будет спокойней.

Они поменялись местами. Узак смотрел в непроницаемую темноту и опять думал, думал... Его ноздри уловили едкий запах полыни, идущий из угла, где стоял веник. Да, полынь, полынь, горькая полынь...

И он вспомнил тот день, когда познакомился с Таной. Случилось это прошлым летом. Он отвез зерно на элеватор и возвращался в аул.

У переезда, возле шлагбаума, его остановила девушка в белом платице. Она подняла руку, и он затормозил. Лицо девушки показалось ему знакомым, ну да, он видел ее не раз в станционной столовой, она убирала грязную посуду со столов. Судя по всему, она

стояла тут долго, потому что углы ее глаз и тонкие крылья носа успело припорошить мягкой сероватой пылью.

Застенчиво краснея, девушка попросилась в машину. Дело в том, что ей нужно к родственникам, которые живут в колхозе Узака, и если шофер... Он открыл ей дверцу она впорхнула в кабину, сияя от радости, легкая, гибкая, как пламя. А он с удивлением смотрел на нее. Там, в столовой, она казалась еще неуклюжим подростком, который не стоит внимания. «Когда же она успела вырасти?» – спрашивал он себя, прищелкивая языком от изумления. Он то и дело поглядывал на нее краешком глаза и усмехался: вот ведь, мол, как получается в жизни.

И такое у него было отличное настроение, что он на половине пути пошарил рукой под сиденьем и достал бутылку красного, которую вез домой. Потом остановил машину, открыл бутылку и протянул девушке.

– Пей, красавица!

Но девушка залилась краской, покачала головой, отказываясь.

– Ну, тогда не говори, будто не предлагал.

Он закинул голову, поднес к губам горлышко и отпил. Вино ударило в голову, и он начал заигрывать с девушкой, стараясь разведать, достаточно ли она покладиста.

– Ты стала прямо красавицей, ишь как повзрослела.

Но девушка молчала, сидела отвернувшись. Он смотрел на ее заалевшую смуглую шею, на маленькие уши, на толстые косы, уложенные на затылке. «И шея что надо: как говорят, лебединая», – подумал он тогда и опять попробовал ее расшевелить.

– И кавалер у тебя небось есть? Какой-нибудь бравый джигит, а?

Девушка молчала и краснела; он подивился тому, как можно все время краснеть.

– Что же ты молчишь? Или потеряла язык?– добавил он, еще больше веселея.

Девушка поежилась и ничего не сказала.

– Это плохо, что ты молчишь. Понимаешь, невежливо это,– добавил он назидательно.

Он включил мотор и повел машину, но километра через два снова ее остановил посреди гладкой, как ладонь, дороги.

– Перегрелся мотор,– пояснил он, оглядываясь.

По сторонам, вдоль дороги, росла высокая по пояс, полынь. Она стояла густым седоватым лесом, собравшая всю летнюю пыль. И воздух был крепко пропитан запахом полыни и пыли.

Девушка наконец повернула голову, взглянула вопросительно, как бы спрашивая: долго ли будем еще стоять. А он ухмыльнулся и взял ее за руку. Девушка задрожала, начала искать свободной рукой дверцу кабины.

– Не бойся, я шучу,– сказал он, продолжая тянуть ее за руку. Девушка в отчаянии забила руками, точно гибнущая птица крыльями, хлестнула его по лицу и беззвучно заплакала.

Вид у нее был такой несчастный, что он мигом отрезвел, пришел в себя.

– Извини... Ну, извини... извини, понимаешь?– забормотал он.

Она не верила ему; он никогда не забудет ее глаза в те злостные минуты – столько в них появилось отчаяния.

Оставшуюся часть пути они ехали молча. Когда въехали в аул, девушка попросила остановить машину и, едва он помог ей открыть дверцу кабины, выскочила из кабины, точно зайчонок, который вдруг почувал возможность спастись.

А он сидел в машине и сквозь ветровое стекло смотрел ей вслед, чувствуя себя бесконечно виноватым. Тогда-то можно сказать, он и влюбился в Тану...

Жена шевельнулась. Узак услышал ее голос:

– А ты не спишь...

– Да вот вспомнил кое-что... Как мы с тобой ехали со станции. Помнишь, в первый раз?

Тана сонно засмеялась.

– Ох, и напугал ты тогда! Негодный!

Будто сердясь, она слегка толкнула его локтем.

– Так можно и легкие отбить, – пошутил Узак и сказал серьезно. – А ты знаешь, напугать-то напугал, а плохо все равно бы не сделал. Потом и покаялся даже. – И, помолчав, добавил: – Представляю, как ты ненавидела меня тогда.

– За что?

– Господи, остановил машину в степи, когда вокруг никого, и начал приставать... Какой девушке понравится этакий джигит?

– А мне ты всегда нравился. Испугаться-то испугалась, а ненависти не было. Не знаю почему, а не было.

– А если бы я все же....что тогда?

– Наверное, все-таки верила, что ты так не делаешь. Может, где-то в самой глубине души верила... Иначе бы не ждала тебя, а села в автобус. И все было бы хорошо, не выпей ты вина. Это все от него!

– Погоди, погоди, – удивился Узак. – Выходит, ты ждала меня нарочно? Выходит, только меня? Меня именно?

– Ну да. Давно заметила тебя. С тех пор как ты однажды вошел в столовую... весь такой... в мазуте, что ли. Не знаю, но чем-то ты мне понравился... И если бы не понравился, потом не вышла бы за тебя, – сказала Тана смущенно.

А Узаку только сейчас пришло в голову, что и в самом деле, несмотря на тот случай, Тана слишком быстро согласилась стать его женой...

В тот же вечер он встретил ее в клубе. Уже с порога он увидел ее беленькое платьице. То ли аульные парни еще не заметили ее, то ли пока стеснялись, только

она танцевала с девушками. Но все равно лицо у нее было счастливое: видать, и музыка и сам танец доставляли ей радость. И только когда ее глаза встречались с его упорным взглядом, в них появлялся испуг.

А ему хотелось непременно загладить свою вину, покаяться еще разок, чтобы она поняла, что перед ней вполне порядочный парень. Он дважды пытался подойти к Тане, она каждый раз пряталась от него в толпе танцующих. А потом и вовсе незаметно ускользнула из клуба.

Назавтра он снова заехал на ток, нагрузил машину зерном и отправился на станцию. У выезда из аула стояла знакомая фигурка в белом. Он поспешно затормозил, машина остановилась перед Таной, точно наткнулась на невидимую стенку.

– Возвращаемся домой? Садись, подвезу,– предложил он с деланной лихостью, будто ничего не произошло.

Тана демонстративно отвернулась.

– Прости за вчерашнее. Неужели не можешь простить?– спросил он кротко.

Тана не отвечала. Из степи набежал неожиданный вихрь, набросился на ее платье. Девушка придерживала подол и молчала. А он ждал. Сколько уж прошло времени, он не заметил. Потом подъехала еще одна колхозная машина с зерном, и Тана села в эту машину.

Всю дорогу Узак возмущался, приговаривая: «Посмотрите на эту принцессу, воображает из себя черт знает кого! Сколько еще перед ней извиняться?! Но с меня хватит»,– и гнал машину, почти не разбирая дороги, залезал колесом в арыки, бросал машину в дорожные ямы.

Но когда перед шлагбаумом передняя машина свернула к обочине и остановилась, остановил и он свою.

Тана вышла из кабины, он не выдержал, высунулся и крикнул:

– Послушай, ты все еще обижаешься?

Девушка обернулась, помахала ладошкой: нет, мол, не обижаюсь!– и побежала в сторону столовой.

Прошло несколько дней, он приехал на станцию, и тут захандрила машина: потекло масло и набралась еще куча напастей. Он провозился целый день и, подлатав кое-как, усталый и голодный забрел в столовую. У дверей он едва не сбил с ног Тану, несущую стопку грязной посуды.

– Извините!– сказал он в отчаянии.

Впервые девушка взглянула ему в лицо и весело засмеялась. Поставила посуду на свободный стол и убежала на кухню, зажимая рот ладошкой. Потом он сел, а она занималась своим делом, но стоило встретиться глазами, как ее тут же разбирал смех. Когда она проходила поблизости, он спросил обиженно:

– Что смеешься?

– Да вспомнила «Смерть чиновника».

– Чехова, что ли?– осторожно осведомился он, не представляя, к чему она клонит.

– Ага,– улыбнулась девушка.– Он так же все извинялся, этот чиновник, как вы. Я вот смеюсь, а вы приедете домой и сляжете...

Он не успел оскорбиться, она сменила тон, забеспокоилась:

– У вас что-нибудь с машиной?

– Барахлила немножко.

– И как теперь? Починили?

– Починил, конечно. А ты к нам больше не собираешься?

Девушка неопределенно пожала плечами.

– А когда заканчиваешь работу?

– Скоро, минут через пятнадцать.

– Я подожду тебя у входа, ладно?– предложил он в последней надежде.

Она не ответила, сослалась на оставшуюся работу, сказала, что слишком заговорила, и ушла в посудо-

моечную. Но он все равно дождался ее. После недолгого колебания она залезла в кабину, и они доехали до ее дома.

– Тана, не обижайся, только выслушай до конца, – заговорил он торопливо, пока девушка не вышла из машины.

Тана кивнула – так и быть, мол, говори.

– Поедем со мной в наш аул! – выпалил он разом.

– Это еще зачем?

– Я люблю тебя, понимаешь? Мне хочется тебя увезти!.. Насовсем!..

Узак говорил долго, горячо, о чем уж говорил, сейчас он не помнит. Потому что тогда потерял голову от боязни, что она ему не поверит.

Через месяц они поженились. Тана оставила мать-вдову и двоих братьев и переехала в дом родителей Узака.

С первого же дня его мать принялась тиранить невестку. Она думала по-своему женить Узака, приглядев ему в жены дочь своей подружки-соседки. Но эта невеста была еще мала для супружества, нужно было ждать, набравшись терпения. И пройди еще год-другой, все сбылось бы, как было задумано, да повстречалась ему эта тихоня, околдовала, обворожила его, и планы матери пошли прахом...

– Узак, ты спишь?

– Что-то никак не усну.

– И мой сон ушел от меня. Думаю все, даже голова кружится... Почему так получается: человек растет и вместе с ним растет его печаль. В детстве, бывало, обидят, и я думаю: «Ну, ничего, потерпи, вот вырастешь большая, и тогда все будет хорошо». И взрослой стала, начала говорить себе так: «Ну, ничего, вот будет у тебя свой дом, своя семья, и все наладится». Теперь и дом есть, и семья есть... Ты только не обижайся, я счастливая... Я говорю о том, что счастливая, а печаль не убавляется.

– Все это временно, зачем ты так? Вот построим себе настоящий дом и проживем как следует.

– Я не об этом, Узак. Знаешь, о чем?.. Ты посмотри, парень и девушка женятся по любви. Кажется, что еще? А они начинают обижать друг друга. Ну, месяц еще проживут, ну, пять месяцев... ну, десять, а потом ругаются все равно. Вот я и думаю, отчего так? Это, наверное, оттого, что любовь остывает.

– Ну, такая уж жизнь, – ответил он неопределенно, а сам подумал: «Почему, действительно, не живут люди в мире, согласии?»

– Значит, получается так: сильные командуют слабыми. А сильным достается от жизни? Не правда ли?

– Не знаю. А что такое жизнь? Как ты считаешь?

– Ну наверное, это ходить, дышать, что-нибудь делать каждый день, – проговорила она задумчиво.

– Тана, это же все происходит с нами? Значит, жизнь – это ты, это мы!

– Вот я и говорю: если мы – жизнь, почему же мы делаем и себе и другим плохо? Почему нельзя быть просто счастливыми?

– Видно, это никому неизвестно. А может, кто-нибудь и знает, – вздохнул Узак.

Они умолкли, каждый думал о своем. Потом он услышал мерное дыхание жены. Она спала. Согревшись, Тана то и дело сбрасывала одеяло. Тогда он приподнялся, поправил одеяло, подоткнул ей под бок. Сон ее был неровен, она вскрикивала временами.

Он вспомнил, какой красивой стала Тана в первые недели замужества – полненькой, с румянцем на щеках. Казалось, заденешь слегка, и вспыхнет факелом – столько в ней таилось внутреннего огня. В то время ему даже не приходило в голову жалеть ее. Она казалась такой прекрасной и независимой, что порой ему не верилось, что эта женщина могла выйти замуж за него, Узака, и тогда ему начинал мерещиться какой-то коварный расчет в ласках Таны.



Его терзало ощущение, что Тана не всецело принадлежит ему. Узак хотелось во что бы то ни стало покорить жену. Месяца через два он ни с того ни с сего поднял на нее руку. В тот предосенний день он с утра возил сено на зимние стойбища в пески и вернулся только к середине ночи, уставший и злой, как собака. К тому времени тоже намаявшаяся Тана уснула, и дверь ему открыла мать.

– Муж вернулся с дороги... Вон еле стоит на ногах... А жена, будто госпожа, разлеглась, бесстыжая. Пользуется, мол, тихий муж...– завела она.

На этот раз она добилась своего. Рассвирепевший Узак ворвался в комнату, поднял за плечи свернувшуюся калачиком Тану и ударил по лицу раз, другой...

В ту минуту он не сознавал, что вся вина Таны лишь в том, что она устала от домашних хлопот и уснула, прокараулив возвращение мужа. Она еще почти ребенок, и под силу ли ей хлопоты с утра до позднего часа? Тана даже не спросила, за что он ее бьет. Только съежилась да прикрыла лицо рукой, защищаясь от него, поклявшегося перед свадьбой: «Никогда не ударю тебя. Буду носить, точно пушиночку на ладони».

Узак застонал от стыда, вспомнив об этом.

В углу зашуршало. Он напряг слух, и его чуткое ухо уловило писк мышей. Вот их лапки заскребли по полу, пробежали по посуде, и посуда звякнула. Мыши будто бегали наперегонки, наполняя тишину своей неистойвой возней.

«Этого еще не хватало», – возмутился про себя Узак и, стараясь не задеть жену, свесился с кровати, поднял сапог и швырнул его в угол. Мыши затихли, но, повременив, зашуршали с удвоенным усердием. Узак запустил вторым сапогом и на этот раз не рассчитал – зазвенела разбитая посуда.

– Что такое?– встрепенулась Тана.

– Это я... Вернее, мыши... В нашем доме мыши.

– Ух, как ты меня испугал. Будто выстрелил! Не греми больше, Узак.

Она крепко прижалась к нему. Ее сердце, казалось, стучит у самого горла.

– Спи спокойно. Не буду шуметь.

Узак встал с постели, прошлепал босиком, зажег спичку и водворил сапоги на место.

– Пиалку разбил, жаль, – сообщил он, укладываясь.

– Не беда. Утром поьем из одной, потом купим вторую, – успокоила Тана.

Они поговорили еще немного; Узак хотел было зажечь лампу – для острастки мышей, но Тана воспротивилась, сказав, что не может спать при свете.

А дождь шумел меланхолично, словно задался целью не спеша размыть все вокруг, и в том числе эту старую саманную развалину.

– Узак!

– Что тебе, дорогая?

– Дай руку... Слышишь, какой он беспокойный. И стучится, стучится! Того и гляди, проткнет мне бок. Вот уж озорник-то будет.

– Это хорошо! Родится мальчик, сам его научу озорничать. Пусть никому не дает покоя! Чтобы только и слышно было: «Это сделал он, сын Узака», «Сын Узака шалун».

– Что же из этого хорошего?

– Да я просто так. Ты уж сначала роди.

– Ах, если бы все кончилось благополучно!

– Ну, не плачь! Не надо! Вот увидишь: это не страшно.

– Я уже не плачу.

Сон все-таки сморил Тану. А мысли Узака опять разбежались по сорока дорогам. Он прикинул, что завтра же возьмется за ремонт дома. «Пусть даже только лето проживем в этой халупе», – сказал он себе упрямо. Потом он потравит мышей, иначе не напаешься посуды – шутка ли, каждую ночь швыряться

сапогами. И уже не обойтись без печки. До лета еще жить да жить, и, не дай бог, простудится Тана. И вместе с этим нужно начинать собирать материалы для будущего дома.

Лишь теперь он понял, как непросто быть самостоятельным хозяином, какую ответственность он взял на свои плечи.

Тана тихонько охнула во сне. Маленькому не терпелось появиться на свет, он толкнул ее ножкой. Узаку почудилось, будто этот толчок дошел и до него. «Вот уж, действительно, шалун», – подивился он.

Он твердо решил, что, после того, как Тана родит, он первое время будет возле нее, пока она и малыш не окрепнут. И председателю колхоза придется повременить с дальними рейсами, пусть рассчитывает на какого-нибудь другого. А он дальше аула ни-ни. Не дай бог, если в его отсутствие с Таной что-нибудь случится... «Впрочем, об этом лучше не думать, накличешь беду», – сказал себе Узак.

Он уже не обращал внимания на мышиную возню. Перед ним проходила день за днем их совместная с Таной жизнь. И получалось так, что у Таны было мало радости в этой жизни. А однажды она чуть не ушла от него после очередной обиды.

В тот день Узак получил зарплату за три месяца и загулял с друзьями. Домой он возвращался лишь в сумерках, пошатываясь, задевая изгороди плечом. Отец в это время загонял в сарай корову. Из передней доносился раздраженный голос матери. Она, как всегда, ворчала на невестку.

– В чем дело? – поинтересовался Узак, держась за дверь.

– Что у меня-то спрашиваешь? Ты спроси у жены. Это она делает в доме, что ей вздумается.

– Так что произошло? – и он уставился на Тану, которая, присев на корточки, растапливала печь.

– Платье стало тесным, и я купила четыре метра материи. Хочу новое сшить, – пояснила Тана, виновато улыбаясь.

– По мне хоть десять бери. Но почему ты не посоветовалась со мной? Разве я в этом доме уже ничего не значу? – запричитала мать, в ее глазах появились слезы.

А с лица Таны не сходила растерянная улыбка, и она-то вывела Узак из себя. Ярость ударила ему в голову.

– Ах, ты еще смеешься над матерью? – заорал он в бешенстве.

Она что-то говорила, оправдывалась, но каждое ее слово еще больше разжигало его. Он осыпал ее самыми страшными ругательствами, а под конец закричал:

– Убирайся сейчас же из дома! Будь ты хоть десять раз беременна, все равно выметайся вон! Я найду себе жену получше! Сама напросилась замуж и еще смеется над нами. Полюбуйтесь на эту несчастную!

Тана выбежала из дома в чем была – в одном легком платьице. Узак бросился за ней вдогонку, но во дворе наткнулся на отца. Отец ударил его наотмашь и крикнул:

– Лучше бы у меня не было сына!

Узак так и присел, схватившись за плечо. Придя в себя, он глянул вокруг, и в сумерках ему почудилось, что над гребнем холма, возвышающегося за аулом, летит что-то темное, похожее на большую сову, и Узак сообразил, что Тана сейчас бежит напрямик, через степь, в сторону станции.

– «Что она делает? – испугался он. – До станции километров тридцать. Ей же нельзя, неужели она не понимает?»

Узак бросился вперед по тропе, по которой убежала Тана, ноги его вязли в слегка схваченной морозцем грязи. Сумерки быстро сменились непроглядной

тьмой, и он бежал почти наугад. А темнота, казалось, поглотила Тану, и Узак уже не надеялся когда-нибудь ее увидеть.

Тропинка вилась по равнине, взлетала на холмы, спирально спускалась в овраги.

– Тана-а! Тана-а! – кричал он истошно.

Его крик наполнил эхом яр, выплеснулся на равнину, но Тана не отзывалась. Тропинка обогнула очередной холм, и Узак увидел впереди высокий костер. У огня, обняв колени, сидела Тана.

Он подбежал к костру и остановился, переводя дыхание. Тана не шелохнулась, смотрела на мечущееся пламя. Узак взял под мышки, хотел поднять, но Тана не поддавалась. Они до утра жгли костер, подбрасывали в огонь остатки сена от копны. Узак каялся, умолял, а Тана молчала. Потом он заплакал, и она заплакала тоже, но прощать его, видимо, не собиралась. У нее не было обиды ни на него, ни на свекровь. Она осуждала только себя за то, что скоропалительно вышла замуж. И это-то более всего его терзало.

На рассвете за ними на подводе приехал отец. Старик слез с телеги, присел рядышком с Таной, обнял ее и сказал:

– Танажан, идем домой, доченька, идем. Я приехал за тобой.

Не появившись в это утро отец, Узак, наверное, навсегда потерял бы Тану. Но вернулась она в дом уже другим человеком. С тех пор Узак не раз замечал в ее лице безразличие. От ее обычной веселости и разговорчивости не осталось и следа. Бывает, молчит целыми днями. А когда ласкает его, как это случилось сегодня, нет в ее ласках прежнего тепла.

Узак украдкой всплакнул, и ему стало легче, словно в нем расслабились какие-то туго, до боли натянутые струны. Он понимал, что слезы унижают мужчину, но никто ведь не узнает, что он плакал сегодняшней ночью.

По дворам пропели петухи. А Узак так и не сомкнул глаз. Он приподнялся на локте, посмотрел в окно – там было темно по-прежнему и так же без устали лил дождь.

Узак уже привык к шуму дождя, к беготне мышей, но вот его ухо уловило новые звуки. В ближнем углу капало. Узак осторожно сел на край постели, зажег спичку, оглядел потолок. На потолке, как зерна в решете, висели капли. Капли набухали, наливались прямо на глазах. Попробуй дотронься – и на пол, на постель на голову польется тоненький водопад.

Узак обул сапоги, прошел, чиркая спичками, к лампе, зажег ее и, отыскав пустое ведро, подставил его под самой крупной дырой. Капли тотчас же глухо забарабанили по цинковому дну.

И тут прямо на его глазах от стены отстал здоровенный кусок намокшей штукатурки. Узак схватил чайник и подставил его под новую брешь. Вскоре он пустил в ход всю посуду, и дом зазвенел капелью.

Тогда все свои усилия Узак бросил на спасение кровати. Он потихоньку отодвинул ее от стены, а поверх одеяла расстелил свой брезентовый плащ.

Теперь уж ему совсем было не до сна. Он, точно обложенный зверь, вслушивался в темноту, гадая, откуда придет очередная напасть, на всякий случай прикрывая ладонью лицо жены.

А в доме не умолкал концерт. «Тифу-тифу!» – пел чайник. «Цук-цук!» – прищелкивало ведро.

Тана повернулась на другой бок, но к счастью, не проснулась. «Тифу-тифу! Цук-цук!» – выводили посудыны. Вдруг Тана застонала. Потом зашуршал плащ, значит, ей уже жарко, она пытается сбросить плащ и одеяло ногой.

– Ты что? Простудишься, – зашептал Узак и начал укрывать жену.

Но она ударила Узака по руке, крепко ударила, будто хотела отбить у него охоту заботиться о ней раз и

навсегда. Он опешил, но затем всмотрелся в лицо Таны и увидел, что жена крепко спит.

Со стен, с потолка сыпалась отсыревшая штукатурка. Посуды не хватало, и капли теперь свободно падали на пол. «Тифу-тифу!.. Цук-цук!.. Тып-тып!»

«Ничего, перетерпим. Вот завтра рассыплю по крыше золу, а там раздобудем толя. Тогда лей, сколько угодно», – сказал Узак дождю.

Тана повернулась и приникла к нему. Узак обрадовался и успокоился: жена по-прежнему искала у него защиты.

Уснул он незаметно. Веки отяжелели, сомкнулись сами собой. Узак полетел в темноту. Проснулся он необычайно бодрым, засмеялся и сел на постели. В комнате было светло, за окном уходили тучи, обнажая голубые лоскуты неба. Он глянул на потолок. С него уже не капало, но он еще темнел сырими разводьями.

Жены рядом не было.

– Ну, вот мы и самостоятельная семья. Как говорится, дом молодых, – сказал он себе весело.

Из передней доносились голоса. Узак прислушался – там его жена и его мать что-то обсуждали.

– А на полу разложим вот эту кошму. Пол небось еще холодный, – говорила мать.

Со двора долетели глухие удары топора и голос отца:

– Послушай-ка, Жаппас, а не лучше ли эту подпорку поставить в комнате?

В прихожей раздался топот его сапог, и отец спросил:

– А где Узак? Что же он, так и проспит до обеда?

Узак потянулся, размял мышцы и вылетел из постели, точно его подбросила стальная пружина.

## У ТЕПЛОГО РОДНИКА

Обычно наши колхозные отары зимуют в Аяккуме, среди песчаных холмов, поросших саксаулом. Весной бледно-желтые холмы покрываются густо-зеленым мохнатым мхом, отчего становятся похожими на ягнят, свернувшихся от холода в клубок и теперь отогревающихся на солнце. Над ними, будто тихое дыхание, струится теплое парное марево.

Зимой на холмы выпадает неглубокий снег, толщиной с копыта лошади, и тогда они становятся похожи на белые гусиные яйца, выложенные рядками.

Вот тут-то, среди холмов, и рассыпаны зимовки, где колхозные отары проводят долгие зимы без особых приключений. И чтобы несведущий путник не блуждал среди холмов, схожих, точно близнецы, около каждой зимовки поставлено чучело из старого тряпья. Наши колхозники так и говорят: «А возле того чучела зимовка такая-то, а возле этого зимовка Жылыбулак».

Жылыбулак, или Теплый родник, – так называют нашу зимовку. И на самом деле – рядом с ней бьет незамерзающий ключ. В морозы только клубится пар над ним да булькает вода, точно веселый родник зашелся от смеха и в горле у него застрял и клопочет хохот. В далекие времена он считался священным. Сюда со всей округи съезжались хворые люди, они приносили в жертву святым духам скот и потом пили воду из родника. Но, видимо, источник так и не помог никому из жертвователей, и поэтому стал обычным родником, а геологи потом сказали, что это всего-навсего дыра, которая ведет к подземному морю. И вот зимами возле этой дыры живут четыре человека: старший чабан Максут, его старуха Салиха-апа, вдова Камар-женге – их приемная дочь и ночной сторож зимовки – да напарник Максута – ваш покорный слуга, еще молодой и относительно жизнерадостный парень.



Мы со старым чабаном работаем посменно: два дня он, столько же я. Ранним утром кто-нибудь из нас гонит отару овец пастись и возвращается поздно вечером, продрогший и усталый. Не знаю уж, какой вид у меня бывает, могу только догадываться. У старика смуглое лицо от холода становится еще темней, редкая бородка обрастает инеем. И тут-то в юрте нас встречает шумно кипящий двухведерный самовар, который поставила Камар-женге. Салиха-апа, которая в это время обычно сидит с веретеном, прядет шерсть, подмигивает мне лукаво и говорит что-нибудь в этом роде:

– Ну, Шойкара, держись, теперь наши чаевники не уймутся, пока не опорожнят самовар.

Сама Салиха-апа, в отличие от классических казахских старух, никогда не пьет чай. Вернее, наливает себе один крутой кипяток без заварки. Говорят, это началось у нее с войны. Тогда заварка стала редкостью, и Салиха-апа очень мучилась из-за отсутствия чая. То ли у нее возникли головные боли, то ли еще что, во всяком случае, гордая Салиха-апа решила чай презирать и поклялась не нить его никогда в жизни. Она оказалась упрямой женщиной и ни разу не нарушила свой обет. В гостях ее уговаривают и так и этак, но она стоит на своем:

– Мне кипятку без заварки.

Опорожнит пиалку два-три раза и переворачивает ее вверх дном – мол, спасибо за угощение.

– Салиха, не упрямясь, – говорят ей ровесницы-старушки. – Теперь чаю у нас в достатке. Пора бы тебе уж позабыть про военное время.

И ну пристают к ней, ну пристают. Но она не сдается:

– Не хочу, чтобы моя жизнь зависела от какого-то жалкого чая. Не существует он для меня, и все тут!

Теперь Салиха-апа сидит в сторонке от мужа и сторожихи и всячески подтрунивает над их

пристрастием к чаю – мол, они водохлебы и готовы дуть свой чай хоть целую вечность.

Но ее шутки пока не достигают цели. Нам попросту не до них. Мы накрываем дастархан, и на середку ставится медный поющий самовар. В нос ударяет густой аромат чая, приправленного сливками. И сразу скромная юрта приобретает в наших глазах такую значимость и красоту, что с ней не сравнится самым роскошным дворцам.

Во главе нашего пиршества сидит старый Максут. Поначалу его брови нахмурены – он чем-то раздражен. После пары пиал горячего чая его лоб начинает постепенно потеть, и угрюмая озабоченность медленно сползает с его лица. Вот он уже перебрался парой словечек, пока еще будто бы через силу, но мы-то знаем – это преддверие оживленной беседы. Наконец Максут становится красным от жары, словно вышел из парной, и тогда он начинает долгую речь. А слов у него скопилось тьма за время, что он ходил с утра за овцами. Да и вдобавок он еще не наговорился вдоволь и о той поре, когда был молодым и пас овец у бая. Особенно часто старый Максут любит рассказывать о своих проделках, о том, как тайком доил овец и кипятил молоко, положив в чашку раскаленный камень.

Мы тихонько посмеиваемся над его хвастовством, а он, не замечая этого, причмокивает, будто вкус молока тех времен еще сохранился на его губах, и продолжает рассказ. Продолжение нам известно давно. Однажды старшая жена бая пронюхала о его фокусах и, стараясь обезоружить ловкача, отобрала чашку, что была привязана к поясу под чапаном. Но наш герой нашелся и тут. По его словам, он приспособил для своей цели лунку на громадном валуне. Он доил овец над этой лункой, потом кипятил молоко с помощью все того же раскаленного камня и пил, посмеиваясь, потому что лунка, по сравнению с чашкой, вмещала молока вдвое больше.

– Будет молоть-то всякую чушь,– ворчит каждый раз Салиха-апа: она все еще не привыкла к фантазиям своего старика.

– Тебе-то что? Ну и не слушай! Пусть слушают дети, может, им интересно,– как-то возразил Максут.– Им нужно знать, как мы жили в старое время. Для Камар и Шойкары это кошмарная сказка, язвы ее в душу. У них другие, счастливые времена, старуха!

На его висках вздулись вены, они тихонько пульсируют. По глубоким морщинам, точно по арыкам, струится пот, стекает к бороде.

– Я видела этот валун, Шойкара. Как-то, кочуя, мы проезжали мимо, и он не удержался, показал. Одно я не пойму, как этот хвостун втаскивал наверх овец? И еще более удивительно, как он пил из лунки? Может, лакал, будто пес?– не унималась Салиха-апа.

– Ну пил и пил!..– рассердился старый Максут.

Он не нашелся, что сказать еще, и теперь возмущенно поглядывал на жену. Однако это не мешает ему продолжать чаепитие. Он вытирает пот рукавом, наливает очередную чашку и унимается лишь с последними каплями, падающими из крана. После этого он ставит пиалу вверх дном и благодушно гладит живот.

В отличие от него, Камар-женге лишнего слова не обронит, пьет чай молча, пока не опустеет самовар. Черные глаза ее задумчивы, как будто она живет в другом, отдаленном от нас мире. Только когда между Максутом и его женой завязывается жаркий спор, Камар-женге не выдерживает, смеется до слез, чуть отвернув в сторону лицо.

После чая женге прибирает скатерть, моет посуду и, покончив с уборкой, тепло одевается, уходит сторожить отару.

Правление колхоза с года на год откладывает постройку теплых крытых кошар, и поэтому до сих пор овцы зимуют под открытым небом. Мы держим

скотину в загонах, огороженных плетеным камышом, а такое препятствие, сами понимаете, нипочем для сильного хищника, и ночному сторожу нельзя даже глаз отвести. Вот и бродит он всю ночь по загону, держит ружье наготове да временами покрикивает.

Человеку, незнакомому с нашими местами, может показаться, будто зима у нас относительно теплая. Мол, у них пески и даже снег выпадает редко, не погода, а благодать. А оно совсем не так на самом деле. Степные снежные метели, конечно, не добрались сюда, но холода зато случаются лютые. Представьте, как в однообразной тиши висит едкий туман, только слышно – потрескивает мороз в песках. А по ночам он проникает до костей, как ни кутайся в шубу. И уж так клянут ночные сторожа эти аяккумские холода, так ругают в сердцах... Я представляю, как осточертели они и нашей Камар-женге за длинные темные ночи.

А нам в это время тепло и уютно. К ночи мы наполняем чугунную печь кизяком и саксаулом, топим ее до такого состояния, когда она становится малиново-прозрачной, и ложимся спать в прогретшейся юрте. Вокруг темно, тихо, временами подает свой голос печь – пощелкивает. А снаружи, будто из другого мира, доносятся окрики сторожей, поднимающие собак.

– Ату, ату!– начинают на одной из зимовок.

Им вторят другие, и катится по зимовкам переключка; на призыв сторожей тут же откликаются собаки. И так до рассвета перекликаются, переключаются...

А ты лежишь, свернувшись под одеялом, и слушаешь, как кричат сторожа, лают собаки, а в промежутках фыркают наши овцы. Временами я слышу и певучий голос Камар-женге.

– Ату!– кричит она протяжно.

Потом Камар-женге затягивает песню, заунывную и бесконечную, как эта зимняя ночь. А песен таких у нее в запасе великое множество. Я не помню, чтобы за ночь

Камар-женге повторила один и тот же мотив. Закончив петь, она что-то бормочет себе под нос. Вначале я не знал, в чем дело. Но вскоре мне объяснили, что в это время она держит перед собой фотографию мужа и рассказывает ему о своем житье-бытье.

Помнится, как-то поздним утром уставшая за ночь Камар-женге стелила себе постель и я, стараясь ей не мешать, вышел из юрты и пристроился на старом ящике с книжечкой в руках.

День на этот раз выдался ясный и теплый. Солнце успело прогреть пески, и над ними теперь поднимался пар.

Я наслаждался солнцем, покоем. Максут угнал отару давным-давно, и вокруг царило безмолвие. Лишь Салиха-апа царапала землю метлой, подметая загон. И вдруг голос, раздавшийся в юрте, вывел меня из приятного оцепенения.

Мне показалось, будто Камар-женге зовет меня; я вошел в юрту и увидел, что она сидит на деревянной кровати, будто и не ложилась вовсе, и беседует с мужем. И голос у нее ровный и обстоятельный, словно перед ней не старая пожелтевшая фотография с разлохмаченными краями, а живой человек.

– Ну, сам посуди– говорила она.– Перед отъездом ты сказал: «Подожди, я скоро вернусь». Сколько лет прошло, ну посчитай: Война давно закончилась, а тебя все нет и нет. И я одна-одинешенька, как дура, жду, жду, и все попусту. Хоть бы голос подал, а то и не знаю, жив ли ты.

Она пристально уставилась на фотографию, и мне почудилось, будто фотография дрогнула и сказала человеческим голосом:

– Не горюй, обожди еще немножко. Камар-женге почувствовала, что в юрте кто-то есть, и повернула голову.

– А, это ты, Шойкара?! А я вот ругаюсь с одним человеком,– сообщила она со вздохом. – Ты, наверное,

и не помнишь его. Когда он уезжал на фронт, ты был совсем маленький. Едва ходить научился. А теперь настоящий джигит. О, сколько прошло времени, только подумать!.. Мы поженились перед самой войной и жили рядом с вами. Помню, твоя мать принесла тебя к нам, чтобы ты отвык от груди. Тебе было два года. Мы думали, будешь кричать, но ты оказался спокойным ребенком. Не плакал. Бывало, покормлю, и ты катаешься по кошме, точно колобок, круглый и крепкий. Очень нравился моему мужу. Он так и говорил: «Вот мужчина!» А ты его называл «дядей хорошим». Вечерами, когда мы ложились спать, ты забирался к нам, обнимал его, а меня прогонял с постели... Помнишь это? Ты не забыл дядю хорошего? – В ее голосе слышались ревнивые нотки.

Милая Камар-женге, ты как бы упрекала меня за то, что я не удержал в своей памяти доброе, что давным-давно сделал этот человек, твой муж. Я пробую вспомнить хотя бы что-нибудь, но у меня ничего не получается.

Но тебе будет легче, если кто-то еще сберет память о твоём муже, и я беру грех на душу говорю:

– Ну конечно же. Я отлично помню дядю хорошего.

Ты не поверила мне, и все же тебе очень хотелось услышать именно это, я вижу по твоим глазам.

Тебя-то, Камар-женге, я помню с того первого дня, который открывает мою память. Тогда было холодно, за окном дул сильный ветер, он рвался в наш дом так, что дребезжали стекла. Мать ушла на работу, оставив мне и четверым моим братьям кусочек хлеба. Мы налетели на него, точно саранча, едва за матерью закрылась дверь, и теперь сидели голодные. Я взобрался на окно и ждал, когда появится мать. Мне было страшно и голодно, и я заплакал, уткнувшись лбом в холодное стекло. Видно, нужда делает память особенно отчетливой. С тех пор моя жизнь стала отпечатываться в памяти, словно на киноленте.

И первый кадр начинается с того, что я уткнулся лбом в окно и зарыдал горько и отчаянно. За мной ударились в рев и остальные братья. А ты, Камар-женге, открыла дверь и вошла к нам в комнату.

– Цыплятки мои, не надо плакать. Скоро придет ваша мать, – сказала ты, вытирая слезы у одного из братьев.

Мы притихли поначалу для того, чтобы пожаловаться на голод, и потом разревелись пуще прежнего. Тогда ты повела нас к себе, разделила на части последнюю лепешку, смотрела, как мы жадно уплетаем свою долю, и приговаривала, горестно покачивая головой:

– И все это проклятая война... Даже детей не жалеет...

Сама ты непроизвольно глотала голодные слюни, глядя, как мы доедаем твою единственную лепешку. Я помню, как потом, не выдержав, ты вскипятила воду и пила ее всего лишь с щепотью соли, чтобы как-то обмануть голод.

С тех пор ты часто подкармливала нас. Бывало, наша мать добудет горсточку зерен, пожарит их ночью, потолчет в ступе, и вот нам еда до вечера. И это-то на пять прожорливых глоток. Мы, конечно, съедали в один присест и потом пищали, точно птенцы. И тогда появлялась ты, Камар-женге, и отдавала последнее: то ли кусок хлеба, то ли горсть толкана. Не представляю, что бы с нами случилось, не будь тебя. Мы принимали твою помощь как нечто само собой разумеющееся и входили в твой дом свободно, будто в свой дом. Нередко я засыпал на твоих руках так же безмятежно, как и на руках у матери.

Помнится, в одну из военных зим ты на санях отвозила зерно на станцию. Однажды в пути тебя застигла метель, ты сбилась с дороги и, проплутав по степи, обморозила лицо и ноги. Уже дома ты долго не могла снять обледеневшие сапоги, пока наша мать не разрешила голенища ножом. Ты взглянула на свои отекавшие ноги, заплакала и сказала:

– Что же теперь будет с моими санями? Ездить-то больше некому!

– Я буду ездить на твоих санях. Пока не поправишься, – ответила наша мать.

Все то время, пока она подменяла тебя, мы жили в твоём доме. Так и стоит перед моими глазами картинка тех лет: ты вяжешь для фронта шерстяные носки, а мы вьёмся вокруг твоих обмотанных тряпками ног. Именно в такой момент в дом ворвалась почтальон Умсунай.

– Эй, Камар! А ну-ка станцуй! – закричала эта толстенная чернявая девушка и помахала треугольным солдатским письмом.

И что же, ты поднялась с табуретки и неуклюже пустилась в пляс. Умсунай опомнилась и закричала:

– Прости, Камар, я забыла! Я и так отдам письмо.

Ты взяла письмо, счастливо засмеялась и опять пустилась в пляс, потрясая письмом. Мы смотрели на тебя во все глаза. Умсунай не выдержала, закрыла лицо ладонью и выбежала вон. А ты плясала, плясала, забыв про адскую боль.

Потом мы узнали от взрослых, что это было его последнее письмо.

Между тем закончилась война, и мужчины стали поодиночке возвращаться в аул. Давным-давно приехал последний из оставшихся в живых, а ты все ждешь, ждешь. Ждешь до сих пор.

Твоя надежда ожила, когда вернулся Балташ, бывший однополчанин твоего мужа. Ты примчалась к нему домой, и тот, еле ворочая рассеченной губой, рассказал, что твой любимый вместе с горсткой боевых товарищей попал в окружение. Это все, что знал Балташ. Но затем он добавил слова, подогревшие твою надежду.

– Может, его ранило, и он попал в плен? Тогда он, может, еще жив и, конечно, вернется домой, – вот что сказал Балташ в заключение своего рассказа.



И в самом деле, среди вернувшихся мужчин встречались такие, что вынесли ужасы фашистского плена и все-таки пришли домой.

После войны пролетело много лет, но ты надеешься и по сей день. Видно, давние слова Балташа глубоко запали в твое сердце.

Как-то поздним вечером я подслушал твой разговор с нашей матерью.

– Если бы ты знала, сестра, как я устала! Старею, годы не те, – пожаловалась ты с грустной улыбкой.

– Ничто не вечно, сестра. Хочешь, дам тебе совет? Только не обижайся, – сказала мать.

– Да разве можно сердиться за добрый совет? – И ты даже рассмеялась.

– Тогда послушай меня. Знаешь что – выходи замуж. Не губи свою жизнь.

– Это все, что ты хотела сказать? – удивилась ты, как-то замкнулась в себе, посидела еще немного, поговорила нехотя о том, о сем и ушла.

А через несколько дней ты уехала к Теплому роднику сторожить отару.

Сегодня Камар-женге начала со старинной песни о «Двух рыжих конях». Раньше ее пели очень часто, теперь говорят: «Тяжелая песня, давайте-ка лучше затынем другую». Песня и вправду печальная, начинается с протяжного, скорбного «ау». Но, как я уже сказал, сегодня Камар-женге начала именно с этой песни.

Поет она свободно, без усилий, медленно растягивая слова. Строчки этой песни родились в древние времена, но Камар-женге вкладывает в них собственный смысл.

Я слушаю грустный вдовый мотив, и передо мной встают призрачные образы. Камар-женге пропела первую строфу, и раздался топот копыт, по степи потянулись косяки лошадей. Топот затих, и в моем

воображении появились два всадника. Они ехали плечом к плечу – луноликая красавица в шапке, отороченной мехом выдры, и мужественный джигит с грустными очами; затем прозвучала вторая строфа этой песни, и я увидел тихий безветренный вечер над степным простором и того же джигита. На этот раз он был одинок...

Последние две строчки Камар-женге пропела на свой лад:

Я помню всегда о тебе, о мой любимый,  
И желтею от тоски, думая о тебе.

Придя в себя, я обнаружил, что в юрте никто не спит. Старый Максут присел на постели и тревожно вглядывался перед собой, будто видел сквозь стены. Салиха апа, лежавшая возле раскаленной печки, заворчала:

– Эта ржавая банка не греет совсем. Я так и дрожу от холода, – и, привстав, начала шуровать кочергой в печке.

И без того хорошо горевшая печь загудела. Из дверцы вырвались багровые отсветы, заплясали на наших лицах.

Мне показалось, что пауза заняла лишь мгновенье, потому что песня вновь ожила в Камар-женге. Не подозревая о смятении, что она вселила в наши души, Камар-женге запела:

Е-ей, два рыжих скакуна  
С заплетенными гривами!  
В этом мире родней мне всех  
Ты один, мой любимый!

Говорят, что для хорошего певца главное – это голос; что ж, специалистам видней. Только на мой непосвященный взгляд, для того, чтобы петь, прежде всего, нужно иметь душу, и не простую, а особую – песенную душу надо иметь. И если у тебя есть такая душа, то песня, по-моему, получится обязательно. А что касается нашей Камар-женге, то ей души не занимать.

Камар-женге рассказывает миру о неудовлетворенной любви, о молодых годах, прожитых не так, как бы хотелось, о своем одиночестве. И мы в такие печальные ночи слушаем ее, и думы каждого из нас рядом с нею. Может, оттого нам слышен каждый ее тихий вздох.

«Эх, встретился бы ей хоть какой-нибудь вдовец, что ли. Не то пропадет наша Камар-женге в одиночестве», – подумал я как-то, прислушиваясь к ее пению.

В один из вечеров, когда мы только что уселись за вечерний чай, вдруг залаяли собаки и до нас долетел приближающийся конский топот. Он замер у нашей зимовки, а минуту спустя приподнялся полог юрты и вместе со струей холодного воздуха вошел Тилепберген, двоюродный брат Салихи-апа.

Сегодня он прифрантился по какому-то случаю, напялил лисий малахай и тулуп из зеленого дорогого сукна. Тилепберген важно поздоровался, снял малахай и тулуп, прошел на почетное место и попытался сесть по-турецки, но ему помешали новые щегольские сапоги с голенищами выше колен. Ноги его в этих сапогах не сгибались.

– Что-то ты вырядился, будто старинный чиновник. Уж не вздумал ли на шестом десятке сватать себе невесту, а? – пошутил Максут в пределах, допустимых по отношению к шурину. – Но, видимо, сапоги придется снять, иначе не дотянешься до пиалы.

– Э, а чем я хуже чиновника? Слава аллаху и нашему государству мое положение выше, чем у него, – с достоинством ответил Тилепберген на шутку зятя и начал стягивать сапоги.

Потом он размотал новенькие портянки из фланели, отложил их в сторону жестом продавца, демонстрирующего товар, и остался в войлочных чулках.

Он выпил с холода три пиалы одну за другой, бледные щеки его зарумянились, на лбу выступил пот,

а серые, почти бесцветные глаза замаслились. Я знаю, почему заблестели его глаза. Тилепберген в гостях у нас не впервые, и каждый раз его выдают зрачки, расширяющиеся, точно у кота, при виде Камар-женге, к тому же я сам просил у судьбы друга для Камар-женге. Поэтому мне ли не знать, зачем к нам пожаловал Тилепберген, разодетый в пух и прах.

Но именно сегодня Камар-женге изменила своим вкусам. Самовар еще был почти что полон, а она уже перевернула пиалу, спешно оделась, будто ее кто-то гнал, буркнула что-то невразумительное в ответ на наше всеобщее изумление и ушла сторожит в отару.

Тилепберген, следивший за каждым движением Камар-женге, сказал, едва она вышла из юрты:

– Камар, наверное, приболела? Не нравится мне ее вид, – и наострил оттопыренные тонкие, как листья, уши.

– Зима суровая в этом году, – произнес Максут уклончиво.

Тогда Тилепберген решительно прочистил горло и повел такую речь:

– Хозяйство у меня в добром порядке, это вы знаете сами: и ты, Максут, и ты, Салиха, и, наверное, ты тоже знаешь, Шойкара. На здоровье, слава аллаху, я не жалуюсь тоже, силенок мне хватит на много лет. Хоть ты, Максут, и намекнул на мой шестой десяток, а я еще поборю любого джигита, даже молодого, ха-ха, – и он засмеялся, чтобы произвести на нас впечатление, затем на мгновение задумался и продолжал: – Ехал я мимо вашей зимовки и вспомнил, сказал себе: «О, здесь живут самые близкие тебе люди. Почему бы их не проведать?» И, как видите, повернул в вашу сторону.

Он начинал издали, подбирался к своей цели исподволь, его речь была рассчитана надолго. Это понимали все, и тем не менее Максут и его жена изобразили на своих лицах полнейшее внимание. А мне

не хватало терпения, поэтому я набросил на плечи тулуп, нахлобучил малахай на голову и вышел из юрты.

Было пасмурно. Из-за холмов дул холодный пронизывающий ветер. Все вокруг заиндевело, и потому казалось, что выпал снег, покрыл кошмы юрты, камышовую изгородь, спины съезжившихся овец, морды псов, стожок сена, на котором сейчас сидела Камар-женге... Она мурлыкала что-то себе под нос, будто опасаясь, что услышит гость.

– Сегодня, очень холодно. Сидел бы в тепле, Шойкара, – сказала Камар-женге.

– Старики что-то разболтались, теперь у них это надолго. Наверное, разговор очень важный, – ответил я многозначительно.

Камар-женге промолчала, и я опустил на сено рядышком с ней.

На соседних зимовках закричали сторожа, будто пробуя голос перед дежурством.

– Ату! Ату! – науськивали они своих собак, и те откликались нестройным лаем.

К ним присоединились наши псы. Тогда мы с Камар-женге дружно крикнули:

– Ату, ату!

– Наверное, твой голос прокатился по всему Аяккуму. Слышишь эхо? Смотри, не распугай всех девушек этаким басом, – засмеялась Камар-женге.

Из низин поднимался густой туман. Он заглушил все звуки, и нас окружила тишина, наполненная промозглой сыростью.

– Шойкара, спел бы что-нибудь? – попросила Камар-женге после долгого молчания; видно, эта вязкая тишина ей пришлась не по душе.

Я не стал ломаться и, стараясь ей угодить, затыкнул «Рыжих коней».

– Шойкара, подожди. Спой-ка лучше что-нибудь повеселей. Ну, то, что вы, молодые, поете между собой, – охладила Камар-женге мое рвение.

Тогда я выбрал современную песню «Маржан-кыз», а Камар-женге стала подтягивать вполголоса. Постепенно мы разошлись вовсю и забыли, что на дворе стоит зима, что нас окутал липкий отвратительный туман. Песня перенесла нас в зеленые луга, в звездные теплые ночи.

Наши голоса прорвались через плотную гнетущую тишину, и вскоре песню подхватили на соседней зимовке, потом на второй, на третьей.

Спев вместе с Камар-женге еще несколько песен, я вернулся в юрту и поспел, кажется, вовремя. Тилепберген как раз подошел к самой существенной части своей речи.

– И вот я приехал к вам за помощью. Камар уважает вас, так говорят все люди, – закончил Тилепберген и обвел нас глазами.

Молчание длилось недолго. Салиха-апа точно спохватилась, заговорила возбужденно:

– О Тилепберген, о чем ты говоришь?! Если мы отвернемся от тебя в такую минуту, значит, мы никудышные родственники, и ты нам можешь плюнуть в глаза! Ну, конечно же, мы сделаем все. Я подобрала ее в степи заморышем и вывела в люди. Неужели она не послушает меня теперь, когда я столько...

– Что ты мелешь? – оборвал ее Максут.

– А разве это не правда? Я вывела ее в люди! – закричала Салиха-апа. – И потом... и потом, что тут такого? В прежние времена даже дряхлый старец имел молодую жену. Сам еле стоит на ногах, вот такой дряхлый, – и Салиха-апа дунула на воображаемого старца, – а женится на молоденькой девушке! И ты думаешь, наша Камар молода? Ты погляди на ее лицо – у меня морщин меньше, чем у этой женщины. И Тилепберген может найти жену помоложе. Ты только посмотри, какой он еще молодец!

Ее братец кивнул одобрительно, но старый Максут среагировал по-своему.

– Если ты сейчас же не замолчишь...– начал Максут угрожающе и поднял лежавшую у стены плетку с таволжьей рукоятью.

Уж кто-кто, а Салиха-апа хорошо знала крутой характер своего мужа. Она притихла и только с опаской поглядывала на плеть.

– Если ты сделала добро человеку, нельзя этим пользоваться,– сказал Максут, утихомириваясь; затем он повернулся к гостю: – А ты не обижайся на нас, Тилепберген. Мы и вправду растили Камар, и теперь она нам роднее родных. Она делила с нами и горе, и радости. Ты сам знаешь, что это такое.

Тилепберген подумал и кивнул в знак согласия.

– Камар – самостоятельный человек. И пусть она сама решает, что делать. Не впутывай нас, Тилепберген, в свои интересы. И скажи Камар сам, что ты от нее хочешь.

– Да, да. Я скажу ей сам,– заявил Тилепберген, стараясь не уронить свое достоинство.

Постель была готова. Несмотря на первую неудачу, гость, захрапел сразу же, едва голова коснулась подушки. Его могучий храп долго мешал мне заснуть, и я почти всю ночь ворочался с боку на бок.

К утру испортилась погода. Откуда-то приползли тяжелые зловещие тучи и затянули небо от горизонта до горизонта. Предостережение было более чем выразительное, и мы, не решившись гнать отару на выпасы, стали разбрасывать возле загона сено для овец.

Тилепберген сообщил, что спешить ему некуда и что, пожалуй, он погостит у нас еще денька два. Теперь он трудился вместе с нами, стараясь показать Камарженге, на что способен. Он взял себе самые тяжелые вилы и орудовал ими за троих. Его движения были легкими и точными, словно этому коренастому плотному человеку еще далеко до шестидесяти лет. Постепенно Тилепберген забыл, зачем приехал на

Жылыбулак, и перестал рисоваться перед Камар-женге, настолько он увлекся работой.

Я залюбовался, глядя на Тилепбергена, а потом перехватил и восхищенный взгляд Камар-женге.

– Ну и силища! Вот уж никогда бы не подумала, что это старик, – шепнула она и покачала головой удивленно.

После обеда с центральной усадьбы притащился трактор с кормами на санях. Я пошел ему навстречу. Но тракторист Аспет остановил машину, спрыгнул на землю и побежал к Камар-женге, даже не ответив на мое приветствие. Вид у него был невероятно возбужденный.

«Что бы это значило?» – спросил я себя и, повернувшись, направился вдогонку за Аспетом. А тот бежал, размахивая длинными руками, и кричал:

– Камар-женге! А Камар-женге!

Камар-женге, стоявшая среди овец, подняла голову и недоуменно следила за приближающимся трактористом.

– Известие, женеше! Какое известие! – заговорил Аспет еще издали.

Мы окружили тракториста и Камар-женге и ждали, что будет.

– Что дашь за известие, Камар-женге? – спросил Аспет, остановившись перед женщиной, и рот его расползся до ушей.

А Камар-женге растерянно молчала.

– Так что ты дашь за известие? Или не хочешь услышать известие? – не унимался тракторист.

– Что хочешь возьми, что душа пожелает... если... если твое известие хорошее, – пробормотала Камар-женге, бледнея от догадки.

– Ладно, ничего мне не нужно от тебя. Только больше никогда не зови меня грязнулей, – расщедрился Аспет.

– Требуешь самого невозможного. Ну, так и быть, – засмеялась Камар-женге через силу.



– Ну что ты ее мучаешь?– проворчал Максут.– Если привез известие, выкладывай сразу.

– А я что? Я и выкладываю сразу,– обиделся Аспет.– В общем, в соседнем районе вернулся один человек. Понимаешь, пропал в начале войны. Ушел и пропал, как и не было. А вот вчера, говорят, домой приехал. Понимаешь, оказался в плену, раненный. Еще, говорят, он долго был за границей, все не мог домой попасть. Говорят, он сказал, будто там еще есть наши. Может, и твой, понимаешь? Ходит там, бедняга, а выбраться, ну, нет никакой возможности.

– Где он? В каком колхозе?– быстро спросила Камар-женге.

– Кто?– не понял Аспет.

– Да этот, который вернулся.

– Он-то? Точно не знаю. Утром я узнал такую новость от матери и вот помчался к тебе за суюнши. Дай-ка, думаю, расскажу ей первым.

– Спасибо тебе, Аспет. Поедешь назад, возьми меня с собой. Я только переоденусь, – сказала Камар-женге и бросилась в юрту, распугивая по дороге овец своей стремительностью.

– Камар! Камар, доченька, ради аллаха, не торопись!– окликнула ее Салиха-апа, нервно сжимая черенок лопаты.

– Я должна расспросить того человека,– пояснила Камар-женге, оглянувшись.

– Прежде обдумаем все хорошенько. Если тот человек и вправду вернулся домой, он от тебя никуда не денется. Да и зачем ехать на вечер глядя. Утром отец запряжет тебе лошадь, и тогда поезжай куда угодно,– добавила Салиха-апа.

– Камаржан, она говорит верно. Где ты будешь ночевать в чужом-то ауле? А завтра я дам тебе лошадь,– поддержал Максут свою старуху, и Камар-женге молча приняла совет.

После ужина я прилег на постель и незаметно уснул, намаявшись за последние дни. Через час-другой меня разбудили громкие голоса. Продрав глаза, я увидел, что, за исключением старого Максута, видимо, вышедшего к овцам, все были в юрте, но спросонья не сразу понял, о чем они говорят. Постепенно смысл сказанного стал доходить до моего сознания. В это время как раз слово держал Тилепберген:

– Дорогая Камар, мы не дети малые, и я не стану играть в догадки. Давай поговорим начистоту. Что греха таить, хотя я и здоров, но годы мои уже почти скатились под гору и у меня до сих пор нет наследника. Некому, Камар, передать свое доброе имя. Но, может, судьба еще милостива ко мне, и потому, Камар, прошу твоей руки. Уж очень приглянулась ты мне, Камар.

Он закончил и поднял глаза на Камар-женге, ожидая ответа. Но та молчала, сидела, опустив голову, будто слова Тилепбергена упали на нее тяжелым камнем. Тилепберген забеспокоился и заговорил вновь, быстро и горячо:

– Камар, я много накопил добра. У тебя будет полный достаток. Ты заживешь спокойно, дорогая Камар.

– Еще бы! О чем разговор! – вмешалась Салиха-апа.

Но Камар-женге молчала по-прежнему, разве что пуще поникла головой.

«Ну скажи ему, скажи: да, да, согласна!» – призвал я ее мысленно.

– Что ты молчишь? Скажи свое слово, – взмолился Тилепберген.

– Видно, нечего ей говорить, – рассердилась Салиха-апа. – Хоть и не кормила я ее грудным молоком, но разве что ей не хватало только птичьего. Все дали ей, что могли. Вырастила ее, как родная мать. Так она вышла замуж, даже не спросив совета. Вот она какая, братец. А я-то надеялась, что она уважает мое слово... Мы все знаем, она ждет своего мужа. Я не хочу сказать плохого: пусть каждая будет такой верной, как Камар.

Но разве можно столько ждать человека, который неизвестно где, может, жив, может, нет. Ты вдоволь натерпелась, Камар, теперь подумай о своей семье. Каждой женщине нужна своя семья, свой очаг. Так устроена жизнь, дорогая. Если хочешь, чтобы и я была спокойна, послушайся меня. Иначе мы подумаем, что ты не любишь нас.

– Не мучьте меня, оставьте в покое,– прошептала Камар-женге дрожащим голосом,– столько лет я жду его, уж сбилась со счета и не хочу верить, что его нет. Вот пришел же тот человек, вы слышали сами... И мой придет.

– Да не придет он!– завопила Салиха-апа в какой-то отчаянной решимости.

С проворством, неожиданным для ее возраста, она поднялась на ноги, открыла большой сундук и, порывшись, достала маленький сверток, зажала в сухом кулачке.

– Вот, доченька, столько я держалась, утаивала. Боялась за тебя. Считала, мол, забудется он, но, видно, уже не обойтись. Во вред тебе пошла эта тайна. Читай сама! – скорбно сказала старуха, протянула Камар-женге пожелтевшую бумажку и затихла.

Камар-женге боязливо взяла бумагу и наклонилась вместе с ней к лампе. Почуввав недоброе, я сел на кошму. Тилепберген тревожно таращил бесцветные глазки.

– Ох!– вскрикнула Камар-женге, выронила бумагу и закрыла лицо ладонями.

Я дотянулся и поднял листок. На нем поблекшими чернилами было выведено, что муж Камар-женге погиб смертью героя. Мне хотелось утешить ее, но какие слова смогли бы успокоить ее в такую минуту!

– Тогда председателем сельсовета был покойный Смагул. Он принес этот листок и сказал: «Сообщи ей, Салиха сама. У меня не повернется язык»,– виновато пробубнила Салиха-апа.

– Не так-то легко принести человеку черную весть,– подтвердил Тилепберген.

Сквозь пальцы Камар-женге текли слезы, катились по ее рукам... Потом она встала и, все так же не открывая лица, выбежала из юрты.

– Да что это она? Совсем сошла с ума. Еще простудится, – испугалась Салиха-апа, второпях надела тулуп и последовала за Камар-женге.

Собраться для меня было делом минуты, и я выскочил вон, оставив Тилепбергена в одиночестве. Он растерялся, не зная, как вести себя посреди этой суматохи, которую сам заварил.

С неба валил мелкий сырой снег, неутомимый ветер подхватывал его и швырял пригоршнями в глаза. Я догнал Салиху-апа и заспешил вместе с ней к загону. У ворот маячила темная фигура с ружьем, в которой нетрудно было узнать старого Максута. Видно, он напросился подежурить вместо сторожихи и тем самым предоставил Тилепбергену возможность объясниться с Камар-женге.

Услышав наши шаги, старый Максут пошел навстречу.

– Где Камар? Ты не видел ее? – спросила Салиха-апа, переводя дыхание.

– Да нет, здесь ее не было. Но почему ты спрашиваешь об этом, разве она не в юрте? – удивился старик.

– Убежала куда-то. Я показала извещение, и она убежала, – произнесла Салиха-апа боязливо.

– Это надо было сделать сразу, когда была война! Я говорил тебе, старая дура! Ну, что стоите?! Ищите ее! Чтобы вас вместе с Тилепбергенем! – взбесился старый Максут, затопал ногами и первым побежал к роднику.

Я обогнал его по дороге и увидел Камар-женге раньше всех. Над родником поднимался густой белесый пар; Камар-женге стояла по пояс в воде в его клубах и старательно мыла лицо. Мне показалось, что она помешалась от горя.

– Тетечка, дорогая! Что вы здесь делаете?

Я бухнулся с разбегу в воду и, ухватив женщину за руку, потащил на берег.

– Шойкара, голубчик! Чутьочку погоди, я домою лицо,– пробормотала Камар-женге чужим лихорадочным голосом.

На помощь мне пришел старый Максут, приговаривая:

– Вот горе-то! Бедняжка ты моя! Дурочка этакая, заболеешь и помрешь.

На берегу среди падающего снега застыла от страха Салиха-апа.

Общими усилиями мы вывели Камар-женге на берег. С ее отяжелевшей одежды с шумом стекала вода. Камар-женге опомнилась и, будто оправдываясь, сказала Максуту:

– Отец, а что же мне делать? Зачем теперь жить?

Со стороны загона яростно залаяли собаки.

– Волки!– встрепенулась Камар-женге, даже горе не смогло заглушить в ней чувства долга.

– Старуха, а ты веди ее в тепло!– приказал Максут, снимая с плеча ружье.

Видно, этой ночью нам не суждено было уснуть. Вопя и улюлюкая, мы понеслись со всех ног к загону. Там творилось несусветное – заливались до хрипа собаки и блеяли ошалевшие овцы. До изгороди оставались считанные метры, когда через нее перемахнула волчья тень и нырнула в темноту. Максут пальнул наугад из обоих стволов и выругался. Осмелевшие с нашим появлением собаки бросились вдогонку за утекающим бандитом, о том, что погоня не сулит успеха, мы вскоре узнали по их удаляющемуся лаю. От юрты поплыл, чуть покачиваясь, круг света – это спешил к нам Тилепберген с фонариком.

Осмотр отары принес нам утешение. Овцы остались целыми, а волк ушел ни с чем. Едва лишь серый прихватил первого подвернувшегося ягненка за горло, как тут его и вспугнули. Максут осмотрел незадачливого малыша и изрек:

– Пустяки! Скоро пройдет!

Только теперь, когда переполох кончился, мы заметили, что Камар-женге хлопочет вместе с нами и что одежда ее уже обледенела.

– А что я могла поделать? Разве управишься с молодой?– пожаловалась Салиха-апа.

Мы привели очоченевшую женщину в юрту, Салиха-апа раздела ее и уложила в постель. Старый Максут забрал ружье и опять ушел на дежурство. Я всю ночь просидел возле Камар-женге. Ее тряс озноб, а к утру у нее поднялся жар, и она начала бредить. Я пробовал разобраться в бессвязном бормотании, но усталость свалила меня, и я уснул.

Когда я проснулся, в узенькое окошечко лился серый утренний свет. Я поднял голову и увидел Камар-женге, лежащую с открытыми глазами. Не подозревая, что за ней наблюдают, она подняла руку и согнула ее. Сустав сухо щелкнул, Камар-женге удивилась и согнула руку еще и еще. Потом она поднесла ладони к глазам и долго их изучала. Я подумал, что, может, так ведет себя человек, возвращающийся к жизни, и хотел окликнуть Камар-женге, но что-то мне помешало. А женщина между тем потянулась к своей одежде, и я увидел в ее руках фотографию мужа. Она разгладила отсыревшую фотографию и с мягким упреком произнесла:

– Вот видишь, из-за тебя я была и в огне, и в воде...

После утреннего чая она повернулась к Тилебергену и сказала как можно мягче:

– Агай, вы просили дать ответ. Я не могу выйти замуж.

Салиха-апа, как всегда, сидела за пряжей. С последним словом Камар-женге у нее оборвалась нитка. Но старуха не выдала волнения, только опустила руки с веретеном и теребленной шерстью и произнесла ровным голосом:

– Пожалуй, брат, тебе бы лучше уехать. Раз она так сказала, значит, это все.

Тилепберген хотел возразить, но лицо его огорченно скривилось, он напялил тулуп и лисий малахай и вышел, так и не проронив ни слова. Нам было слышно, как он долго возился с лошадьёю, – не мог, наверное, сразу попасть в стремя ногой.

После его отъезда наступила моя очередь собираться в дорогу. Я перевернул свою пиалу, оделся потеплей и погнал овец на выпасы. А вечером к моему возвращению у порога гудел, как обычно, наш медный самовар, только на этот раз возле него хлопотала Салиха-апа.

Я запер овец в загоне, вошел в юрту и, задержавшись у входа, окинул привычным взглядом наше жильё. Ну что ж, ничего не изменилось за мое короткое отсутствие. Вот, как всегда, сидит с наполненной пиалой старый Максут и ждет, когда я займу свое место, чтобы начать чаепитие. Камар-женге слабо улыбается мне; она еще бледна, и пальцы ее легонько дрожат. Мой взгляд дошел до Салихи-апа, и я едва не упал от изумления. В ее пиале дымился темно-коричневый чай, приправленный сливками.

– Что же ты ждешь, Шойкара? Смотри, остынет твой чай, – произнесла она, даже не поведя бровью.

Быт нашей зимовки опять вошел в колею. Как и раньше, мы со старым Максутом по очереди гоняли овец на выпасы. И, как раньше, вернувшись оттуда, Максут первое время сидел нахмуренный и потом отходил после второй или третьей пиалы, веселел и принимался опять за дорогие сердцу воспоминания.

– Да, и тогда я нашел лунку на громадном валуне и начал доить овец над этой лункой, – говорил он неторопливо, и крепкий пот струился по его блаженному лицу, по морщинам и бороде.

– Эй, старый! Будет молоть всякую чушь, – подавала голос Салиха-апа, потому что ее возмущало по-прежнему, когда старик завирался.

И, конечно же, старый Максут отвечал ей так:

– Не твое дело, старуха. Я рассказываю молодым. Пусть знают, через какие муки прошли мы, старики. Для Камар и Шойкары те времена – все равно что страшная сказка, и только, пропади я пропадом. Есть ли кто-нибудь счастливей их? А? Нет никого их счастливей, старуха!

Оправившись окончательно, Камар-женге опять начала сторожить по ночам. В первое ее дежурство я просидел рядом с ней до полуночи. Небо словно приветствовало выход Камар-женге блистающей россыпью звезд. Было не по-зимнему тепло и тихо.

– Помнишь, как мы пели тогда?– спросил я.

– Помню,– сказала Камар-женге.– Как же, помню. Ну-ка, спой что-нибудь.

И я вновь начал с песни «Маржан-кыз». Камар-женге поддержала меня, а затем мы вместе с ней спели еще несколько песен. Как и в тот вечер, наше пение подхватили соседи и разнесли его по всей округе. Когда же в этот удивительный ночной хор вплелся сильный девичий голос, Камар-женге засмеялась и сказала:

– Я-то думала, что ты своим голосом распугаешь всех девушек. А вышло наоборот. Они сами тебе подпевают!

– Не обидишься, если я что-то спрошу?– произнес я, решившись.

– Говори,– разрешила она, и я увидел при свете звезд ее улыбку.

– Почему ты не вышла замуж за Тилепбергена? Тебе бы не было так одиноко и не пришлось бы торчать по ночам с ружьем.

– Братик мой дорогой, разве меня кто-нибудь заставляет?– спросила она ласково. – Просто так мне легче. Уж лучше ходить по ночам, чем вертеться с боку на бок от бессонницы. Ты скажешь, что по ночам бывает холодно? Ну что ж, когда холодно, тут уж не до грусти.

Она вздохнула и добавила:



– Так уж сложилось: не вышла жизнь у меня. А за чужого замуж не хочу. Твоя жизнь гораздо счастливей, Шойкара. Ты не знаешь ни горя, ни печали.

Я вспомнил, что то же самое о себе и о нас с Камар-женге любит повторять старый Максут. Но Камар-женге счастье уже миновало, и выходило так, что отныне все их надежды связаны со мной. Я должен быть счастливым!

Я хотел сказать об этом Камар-женге, но постеснялся. Нескромно рассуждать о своем будущем счастье перед человеком с трудной судьбой. И я подумал, на что бы другое переключить наш разговор.

Песок под нашими ногами дрогнул, будто от землетрясения. До слуха докатился отдаленный грохот. Испуганно завyla собака.

– Ой, что это? Смотри, Шойкара, вот оно!..– всполошилась Камар-женге.

Я взглянул на запад и увидел красное пламя, прорезавшее тьму. Оно стремительно уходило вверх, поднималось все выше и выше.

– Что это, Шойкара?– спросила Камар-женге.

На ее лице смешались испуг и удивление. Но я и сам остолбенел, пораженный увиденным, и следил неотрывно за огненной стрелой. Она удалялась к звездам, становясь все меньше и меньше, и вот превратилась в точку и затерялась среди звезд.

На зимовках лаяли перепуганные собаки. Сторожа прокричали им свое «ату, ату», и вскоре вокруг воцарилась тишина.

Из-за холмов тихо потянуло холодным зимним ветром.

## ОСЕННИЕ ИЗВИЛИСТЫЕ ДОРОГИ

День склонился за полдень. У наших теней вытянулись шеи и головы, сделались как тыквы. Нас было трое – Гришка, Канатай и я. Мы сидели на плоском валуне возле мельницы, и от нечего делать лениво переговаривались. Самый младший из нас – Канатай, бледный, худенький паренек. Он моложе меня на два года, а по виду ему можно скостить еще парочку лет. Гришка рыж и толстогуб. Ему уже за тридцать, и это выдвигает его в центр нашей случайной компании. Кроме того, он занимает высочайшее, по нашему разумению, служебное положение, командуя здешней мельницей. И мучная пыль, покрывающая его от темени до пят, всегда напоминает нам об этом.

У наших ног шумела узенькая, но довольно бойкая речушка. Крошечные буруны, шипя и ярясь, набрасывались на снисходительно терпеливые камни, словно негодуя, что никто не принимает их всерьез. От воды тянуло прохладой. Она искушала, манила к себе.

Мы с Гришей держались, как и подобает взрослым, степенно, будто невзначай вытирали потные лбы. Канатай ребячился. Он вытягивал ногу в засученной по колено штанине и трогал голой пяткой бурлящий поток. И каждый раз на его лице отражалось блаженство.

Гриша косился, косился на Канатая, потом сполз с валуна, засучил рукава сатиновой рубахи, нагнулся, загреб огромными ладонями целое озеро воды, плеснул в свою конопатую физиономию и зафыркал от удовольствия, точно конь.

– Дядя Гриша, покажите! Вот здорово!– закричал Канатай.

Я тоже не сводил глаз с могучих Гришкиных рук. Они были украшены узорами, точно кожа змеи. Чего тут только не было: и якоря, и сердце, пронзенное кинжалом, и целый удав, и много другой всячины.

– Откуда это у вас, дядя Гриша? – не унимался Канатай.

– Еще с малолетства. Когда был пацаном, – сообщил Гриша, тоже любясь татуировкой.

– И все нарисовали сами?

– Да нет, это работа специалиста... А впрочем, дело нетрудное. Хочешь, выколю год рождения? Давай руку.

– А не больно?

– Конечно, больно. Но ты же не маленький? Сколько лет-то тебе?

– Шестнадцать.

– Значит, уже большой. Не трусь, паря. Зато рука у тебя будет как у бывалого мужчины.

Гришка полез в карман, достал огрызок химического карандаша, которым только что подписывал накладные. Потом протянул руку и вытащил из рваного мешка иглу с суровой ниткой.

– Мешок потерпит. Зашьем, успеем. А ну, засучи рукав, – скомандовал он.

Канатай еще более побледнел, закатал рукав по локоть и решительно протянул руку.

– Думаешь, я боюсь, да? На, коли!

– Ты у нас храбрый, – сказал Гришка и помусолил карандаш. – Э, а отец-то пороть не будет? А то гляди, достанется и мне.

– У меня нет папы, – возразил Канатай.

– Ну, тогда начнем.

Гришка опять помусолил карандаш и вывел на руке Канатая его имя.

– Отца как звали?

– Жансултан.

– Отлично! Добавим букву «Ж»... Вот, красиво получилось! А теперь наколем.

Гришка вытер иглу о штанину и начал колоть. Канатай отвернулся, стиснул зубы. Встретив мой взгляд, с трудом улыбнулся.

– А где отец-то? Куда подевался? – спросил Гришка не то из любопытства, не то стараясь заговорить своего клиента, отвлечь его внимание.

– Папа погиб на войне, – сказал Канатай сквозь зубы, боясь застонать от боли.

– Во, имя готово, – сообщил Гришка, любуясь на дело рук своих. – Высший класс!.. А теперь год рождения. В каком родился-то году?

– В сорок седьмом.

– В сорок седьмом... О, ты что мне голову моришь? Как же твой отец мог погибнуть на войне, если ты родился в сорок седьмом?

– Папа погиб на войне?.. На Отечественной! – упрямо повторил Канатай.

– Что-то тут не так, парень. По-моему, ты ерунду мелешь, – и Гришка покачал головой.

– Я говорю правду! Мой папа погиб на войне!.. На Отечественной! – закричал Канатай.

На глазах его выступили слезы, он стиснул кулаки, и мы поняли, что еще слово – и Канатай кинется в драку. Гришка, сообразив что-то, миролюбиво сказал:

– Ну, ладно, ладно! Я шучу, неужели не видишь? Давай-ка лучше покончим с этим делом.

Канатай насупился и опять подставил руку. А вскоре мы рассматривали последнее произведение Гришкиного искусства. Кожа вокруг свежей наколки покраснела и распухла, местами выступили капельки крови.

– Ничего себе картинка, а? – похвалил себя Гришка, впрочем, уже без воодушевления.

Ради приличия мы поддакнули. Теперь разговор не клеился. Канатай то и дело щупал руку, сузив маленькие ноздри. Гришка заскучал, начал зевать, а я глядел, как изо всех сил бунтует речка и, пенясь, скрывается под мельницей. Потом она выходит на простор и разливается по ущелью широким спокойным потоком. Глубина ее здесь не достает и до щиколоток, а местами и вовсе видна галька, покрывающая дно.

Шум воды делал неслышной работу жерновов, но, если присмотреться, можно было заметить, как от их

вращения слегка подрагивала мельница, сложенная из толстых бревен.

А с обеих сторон на мельницу надвигались склоны ущелья, поросшие карагачом, жимолостью и тальником. Осень уже опалила листья, но они еще крепко держались на ветках. Между зарослями тальника бежала дорога, поднимаясь от речки в гору. Впрочем, для того, кто шел с горы, дорога спускалась к речке.

Так она спускалась и для меня, когда час назад я ехал сюда вместе с Канатаем и его матерью Биби. Их пегая лошадка, запряженная в подводку, стояла сейчас в тени, а сама Биби на мельнице набивала мешки мукой.

На дороге за нашей спиной зацокали копыта. Мы обернулись разом. За кустами тальника мелькали морда лошади и малахай возницы. Но вот он миновал последний поворот, выехал к мельнице, и мы увидели мужчину, который дремал, свесив голову на грудь. Лошади привычно остановились, а возница еще некоторое время сидел неподвижно. Потом шевельнулся, отгоняя мух, и поднял голову.

– Эй, Крешке! Крешке, выходи!– закричал он спросонья.

– Это мой родич Шинтемир,– пояснил нам Гришка с улыбкой и, поднявшись, сказал приехавшему: – Что кричишь? Я здесь, Шинеке!

– А, ты здесь!– обрадовался Шинтемир.– Крешке, мука готова?

– Готова, готова! Ждет тебя, Шинеке, с утра,– сказал оживившийся Гришка.

Тут показалась Биби, и я увидел, как у Шинтемира вначале полезли брови на лоб от удивления, а потом рот едва не растянулся до ушей.

– Ба, это ты? Как ты здесь очутилась, душа моя?– воскликнул Шинтемир.

А Биби улыбнулась сквозь мучную пыль, покрывавшую ее лицо, показав крупные белые зубы, мельком взглянула на нас с Канатаем и сама спросила его зазвеневшим голосом:

– Нет, лучше ты мне скажи: ты-то каким здесь чудом?

– Э, наши аулы – соседи, – пояснил Шинтемир, хитро прищурившись, потом засмеялся, и вместе с ним засмеялась Биби.

Шинтемир слез с телеги и подошел к нам. Только теперь я заметил, что у него вместо одной ноги протез. И еще мне показалось знакомым его лицо. Но мы встречались впервые, я знал это точно. Значит, он был чертовски похож на кого-то, с кем мне приходилось жить чуть ли не бок о бок.

А Шинтемир тем временем поздоровался за руку с Биби и Гришкой. И Биби сказала с гордостью:

– А это мой сын Канатай.

Шинтемир посмотрел на Канатаю:

– Большой уже. Почти взрослый парень.

Мне почудилось, что в его голосе прозвучала сдержанная грусть.

– Сынок, поздоровайся с дядей! Золотце мое, подай дяде руку, – сказала Биби Канатаю.

Что-то не понравилось Канатаю в Шинтемире, руку он протянул с заметной неохотой, но Шинтемир крепко сжал ее и держал в своей руке, пока Канатай не потянул ее назад.

Гришке надоело быть на заднем плане, и он, откашлявшись, подал голос, указав на туго набитые полосатые мешки, сложенные у входа в мельницу:

– Ну, Шинеке, вот твоя мука. Молодежь, – он кивнул в нашу сторону, – молодежь мигом погрузит ее на подводу. А мы пока примем по чашечке чая. Просим и тебя, Биби.

– Разве что по чашке, – произнесла Биби, словно бы нерешительно, но мне-то было заметно, что Гришкино приглашение пришлось ей по душе.

Эта троица ушла в кособокий домик с одним окном, прилепившийся к мельнице, а мы принялись грузить мешки на подводу Шинтемира.

– Что он, ваш старый знакомый?– спросил я, не утерпев.

– Впервые вижу,– буркнул Канатай.

Первым из тех, троих, появился Гришка. Лицо его покраснелось, вспотело от горячего чая. Видно, не обошлось и без водки. Гришкины глаза масляно поблескивали.

– Ну как, ребяташки, отменный помол?– весело осведомился Гришка и похлопал по литому мешку.– Для хорошего человека не жалко и жерновов. Таким, как Шинтемир, жить бы и жить тысячу лет.

И Гришка принялся на все лады расхваливать своего приятеля. Потом подмигнул мне: мол, отойдем на минутку. Мы отошли в сторонку и присели на один из валунов, что так щедро усеяли окрестности мельницы.

– Ну, что-нибудь понял?– спросил он оживленно.– Канатай-то, оказывается, сын моего родича. Как тебе это нравится, а?

– Шинтемира, что ли?– Я чуть не проглотил язык от удивления.

Я был готов предположить что угодно, только не это.

– Тсс... Что кричишь?.. Так вот, я догадался по их разговору, ну, между Шинтемиром и Биби,– пояснил Гришка хвастливо. – Если не веришь, сравни: Канатай – прямо вылитый Шинтемир. Как две капли, понимаешь?

Как же я не заметил сам! Ведь мы с Канатаем жили почти бок о бок, а я-то не сообразил.

– Вот тебе и Шинтемир, и Биби! – Гришка покачал головой.

Вскоре из домика вышли Биби и Шинтемир. Батистовый платок на голове Биби слегка сдвинулся, открыв черные волосы, не тронутые сединой. И вообще, глядя на стройную, с высокой грудью Биби, никогда не подумаешь, что ей уже за сорок. Шинтемир

казался ниже ее ростом. Он ковылял рядом с Биби и старался ее в чем-то убедить.

– Так вот оно что! Теперь вспоминаю, – произнес Гришка задумчиво. – Как-то мы крепенько выпили с Шинтемиром, уж не помню, в какой праздник, а может, и просто так. Только он рассказал мне одну историю... Ты, конечно, не знаешь – тогда ты пешком под стол ходил, а может, и вовсе еще не родился, – а ведь Шинтемир был председателем в вашем колхозе. После того как вернулся с фронта без ноги. Вокруг одни бабы, даже бригадиры. Одна из них, говорят, красивая была. Мужа на фронте убили; она погоревала, погоревала, да жизнь-то свое берет. Ну и началось у них. Шинтемир, видишь, какой незавидный. Но у них по правде началось, по-настоящему. Полюбили, значит. Вот какие, парень, дела. Только он держался, Шинтемир, значит. Все-таки дом, семья, и председатель колхоза, понимаешь, ответственность... Да ехали они как-то вдвоем на подводе, насчет покоса, что ли. Она остановила лошадь, сошла с подводы, мол, посидим, говорит. Потом говорит: «Ну, что ты, не мужик разве?» – и плачет. Вот он и не устоял...

Потом узнала жена, а детишек шестеро, разве от них уйдешь, всех кормить надо, и началось... В райкоме, представляешь, выговор – аморалка, говорят, давай на другое место. Знаешь, как в песне: «Тем и кончилась любовь». Видать, Биби и была той бригадиршей.

Если Гришка только догадывался, то я знал точно, что Биби когда-то была бригадиршей. Мне говорили об этом не раз.

– Теперь Шинтемир пасет скотину в соседнем колхозе. Хочу, говорит, Крешка, вернуться в родной аул, да жена и дети против, – заключил Гришка и вздохнул.

Свои мешки мы погрузили в два счета. Потом распрощались с Гришкой, и наш маленький обоз медленно пополз в гору.



Мы с Канатаем ехали на нашей телеге, Биби перебралась на подводу Шинтемира. Они сидели рядышком, свесив ноги.

– И чего они там?– занервничал Канатай.

– Да пусть поговорят. Что тебе, жалко?– сказал я ему с упреком.

– Жалко!– отрезал Канатай и надулся.

Наша чалая лошадка трусила легкой рысцей, кобыла Шинтемира тоже прибавила прыти, мы только и слышала ее «цок» да «цок». Потом дорога выскочила из лощины, тяжело полезла на взгорье, и нам пришлось спешиться, чтобы облегчить труд нашей чалой.

Слез с телеги и Шинтемир, Биби хотела было последовать за ним, но он не позволил. Я слышал, как они долго препирались. В конце концов Биби осталась на месте, а Шинтемир шел теперь рядом, держась за телегу, и вскоре опять до нас долетели их говор и смех.

– Не нравится мне этот хромой,– заворчал Канатай ревниво.

– Чем же он тебе не нравится? Кажется, он ничего не сделал плохого.

– Не сделал. Даже не знаю сам, почему он не нравится,– признался сын Биби, – наверное, потому, что все время болтает, болтает...

Подъем был крут, и лошади то и дело останавливались, раздувая потемневшие бока. И тогда мы пугались, что сила тяжести потащит подводы вниз, сбросит их вместе с лошадьми в речку. Но животные, не без наших понуканий, делали последние усилия, и путь наверх продолжался.

То ли наша чалая оказалась сильнее, то ли груз ее был полегче, но вскоре на одном из поворотов мы оторвались от Шинтемира, и он сам и его подвода с сидевшей в ней Биби исчезли с наших глаз.

Когда мы выбрались на плоскогорье, Канатай остановил лошадь, и мы стали ждать отставших.

– Что они там, завязли? Будто у них не лошадь, а черепаха,– опять заволновался Канатай.

– Успокойся. Сейчас поднимутся. Куда нам спешить, – сказал я помягче.

Но он уже спрыгнул с телеги и побежал вниз, а вскоре я услышал его повелительный голос:

– Быстрее! Быстрее! Чу-у!

Из-за склона появилась его голова, потом он возник целиком. Он тащил за узду серую кобылу Шинтемира, покрикивая:

– Чу-у! Чу-у!

На подводе теперь сидел Шинтемир, а Биби шагала рядом, Шинтемир придерживал искалеченную ногу, и я увидел, что штанина вымазана глиной. А маленькие ноздри его сузились, губы крепко сжаты. Ну совсем как у Канатая от боли.

– Споткнулся, – проговорил он виновато, встретив мой пристальный взгляд.

– Я же говорила: сиди на телеге, а я пойду пешком. Но нет, не послушался, – сказала огорченно Биби.

Дорога теперь тянулась по плоскогорью. Мы вернулись на подводы, и пришедшие в себя лошади резво побежали туда, где за горизонтом угадывался наш аул.

На этот раз Канатай схитрил, пропустил подводу Шинтемира вперед. Мы легли на мешки, отпустили вожжи, предоставив чалой полную свободу.

– Ты смотри: этот хромой все болтает и болтает, – опять не выдержал Канатай. – Ногу разбил и не понимает. Ну, шут с ним! Какой-нибудь чокнутый! Но что вот с мамой происходит, не пойму. Так и глядит ему в рот.

Скрип колес убаюкивал. Да и погода с пыльным маревом, завесившим полнеба, и однообразная степь вызывали желание спать. Глаза мои начали слипаться. Последнее, что я увидел сквозь смыкающиеся веки, – это спящий Канатай, прижавшийся щекой к мешковине.

Но дорожный сон очень чуток. Я почувствовал, что подвода остановилась и кто-то к нам подошел.

– Только полюбуйся на них. Спят сладким сном, будто щенята, – слышался голос Биби.

И по скрипу протеза я понял, что к нашей подводе подошел Шинтемир.

– Ну что мне делать, Биби? – прошептал он, стоя где-то у меня в ногах.

– Что делать? А ничего не надо делать, – тихо засмеялась Биби едва ли не над моим ухом. – Пусть все останется так! Грейся около своей Батимы. Она тебе жена, суженная богом.

– Не смейся, Биби, – взмолился Шинтемир. – Не ты ли сказала тогда: «Вернись к Батиме, потерпи, пока подрастут малые дети». Вот что ты сказала, Биби. И я терплю и жду до сих пор. Теперь я говорю тебе: «Дети мои встали на ноги, у каждого своя семья, и Батиме не в чем меня упрекнуть, так-то!»

Биби помолчала и затем сказала в раздумье:

– Да, тогда я пожалела твоих детей. Они-то были мала меньше и совершенно ни при чем. За что же, думаю, делать их сиротами при живом-то отце. Теперь наша молодость ушла. Что скажут люди, если мы на старости сойдемся, как Козы и Баян? Не сгорим ли мы от стыда? Что ты скажешь на это, Шинеке?

Шинтемир молчал. Только лошади лязгали удилами да рядом со мной безмятежно посапывал Канатай.

– Ну, счастливо! – сказала Биби и шлепнула вожжами по крупу чалой.

Наша телега тронулась с места, колеса скрипнули раз другой и замерли снова.

– Эй, Шинтемир! – негромко позвала Биби. Снова заскрипел протез у самой нашей подводы.

– Хотя бы приласкал его. Все-таки дитя твое, – упрекнула Биби.

– Да он какой-то сердитый, – смутился Шинтемир.

– Канатай, эй, Канатай, – позвала Биби, и я понял, что она расталкивает сына. – Проснись же, золотце мое. Ну, проснись.

– Ай, больно!– завопил Канатай.

– Что случилось, золотце мое? Отлежал руку?

– Да нет, больно. Разве не видишь?– и Канатай продемонстрировал Гришкину работу.

– Э, кто это тебе написал, золотко?– испугалась Биби.– Зачем ты позволил?

– Понравилось – и позволил,– буркнул Канатай.

– Ну, вот что, сынок. Ты уже большой. Должен все понимать,– строго сказала Биби. – Что толку скрывать от тебя. Отец твой не Жансултан, как я говорила. Я скрыла, потому что ты был еще маленький. Твой отец Шинтемир! Вот он, твой отец!

Подводу тряхнуло, я почувствовал, что Канатай вскочил на колени.

– Мой отец погиб на войне, на Отечественной,– возразил Канатай.

– Сынок...– начала Биби.

Но Канатай уже неистово тряс меня за плечо, он старался разбудить меня, пока мать не сказала еще что-нибудь. Притворяться дальше было уже нельзя, я поднял голову, спросил:

– А? Что?

Биби растерянно махнула Шинтемиру рукой, мол, поезжай своей дорогой. И Шинтемир, понурившись, побрел к своей подводе.

– Счастливого пути тебе, Шинеке!– ласково сказала Биби.

Телеги разъехались.

Биби то и дело оглядывалась, пока подвода Шинтемира не исчезла за ближайшим холмом. На лице ее лежала тихая печаль, а фигура, только что поражавшая статностью, как-то сразу обмякла.

Канатай смотрел перед собой, стиснув зубы, совсем как Шинтемир. Но когда мы подъезжали к аулу, он вдруг зарылся лицом в мешки и зарыдал:

– Мой папа погиб на войне, мама!

## ПОРОША

Будто и не было ночи, будто он вовсе не спал; едва коснулся подушки щекой, как в изголовье глухо прогремел голос отца:

– Эй, Сатай! Проснись, сынок! Вставай, съезди за санями в Тастюбе.

Сатай приоткрыл один глаз. Чуть-чуть приоткрыл, взглянул, точно в щель. В комнате еще стояла темнота, лишь в окно сочился тусклый серый свет. Словом, были те предутренние часы, когда спится особенно сладко. И разморенное тело не пускало Сатаю – ему бы еще понежиться в постели. Сатай не противился. Он лежал в приятном полузабытьи, под звуки неясной мелодии. То ли это был ветер, то ли пело что-то в его душе.

Но отец был не из тех, кто отступает от своего. Уж такой он настырный: привяжется и потом не отстанет ни за что. Вот и сейчас он назойливо твердит одно: «Сатай да Сатай!» Конечно, нехорошо судить отца, но он, Сатай, не любил лицемерить. Даже перед самим собой.

– Сатай! Уже рассвело, ну вставай, лежебока! Съезди пораньше да привези сани, – заладил отец.

Сатаю хочется возразить:

«Ну и пусть рассвело. Что из этого, если я хочу спать. Все-таки сегодня выходной, и не нужно собираться в школу».

Но губы и язык не подчиняются ему.

За стеной, в хлеву, зашумел, забил крыльями петух и тоже заорал, надрываясь:

– Са-тай! Вста-вай!

Ну разве они оставят его в покое? Теперь никуда не денешься, придется вставать. Точно сговорились все.

Сатай с невероятными усилиями поднял веки, но они сомкнулись опять, до того казались тяжелыми. Тогда он зашевелился, давая понять, что все-таки встает. Но так ему казалось. На самом деле снова уснул сладко-сладко...

И опять голос отца в изголовье:

– Сынок, да проснись же наконец! Хорошо бы ты успел до завтрака. Мы с матерью съездим на базар. Ну, вставай, сынок...

Голос у отца ласковый, вкрадчивый, но Сатаю сейчас не легче от этого: такие слова, как «вставай», «готовь уроки», все равно ему режут слух, каким бы тоном их ни произносили.

В конце концов Сатаю пришлось вылезти из уютной постели. И сразу же он окунулся в холодину, словно в прорубь, потому что печь топили вечером и за ночь тепло вытянуло на улицу. Он схватил рубаху и штаны – они показались ему жестяными, во всяком случае, такими же холодными и жесткими.

«Брр... Чтобы они разлетелись в щепки, чтобы они сгорели, ваши сани!» – проворчал Сатай.

На столе тикали часы. Он вытянул шею, пытаясь узнать время, но разве увидишь стрелки в такой тьме. На помощь ему пришли петухи, почти одновременно заголосили с разных сторон: «Рассвело-о, рассвело-о!» И он зевнул с таким удовольствием, что едва не свернул себе челюсть.

– Ты бы, сынок, зажег лучше лампу. Иначе не оденешься до обеда, – сказал отец.

«Тебе хорошо лежать в постели», – мысленно возразил Сатай и как бы в знак протеста продолжал одеваться в темноте.

А отец нет-нет да и подавал голос из своей теплой постели, наставляя, что нужно делать: вначале ему, Сатаю, надлежит напоить гнедка; потом взять в сарае сбрую, но пусть не вздумает волочь ее по снегу, иначе сбруя отсыреет, хотя ее только вчера смазали жиром. Да, вот еще: Сатай поедет верхом, а значит, должен положить под себя потник, в противном случае он натрет себе мягкое место.

«Все бы тебе учить... Мой зад, а не твой. Захочу и натру», – огрызнулся Сатай, но, конечно, про себя.

Произнеси он это вслух – известно, чем бы дело кончилось. Отец бы встал с постели, подняв от удивления брови, взял бы камчу, сплетенную в палец толщиной, и тут бы уж ничье заступничество не спасло Сатаю от порки. Что и говорить, строгий отец у него, никогда не даст спуска.

– А дугу не бери. Там есть наша дуга,– продолжал отец.

Сатай снял с печи валенки, пахнущие нагретым войлоком, и с наслаждением засунул ноги в тепло. Вода в чайнике оказалась тоже еще теплой. Он плеснул на пальцы и потер под глазами, будто умылся. Потом Сатай набрал в рот воды, но полоскать не стал – решил, что вода с привкусом ржавчины, и выплюнул ее в ведро.

Отломив кусок лепешки, Сатай сунул ее в карман и пошел было к двери, как тут же – в который раз!– раздался голос отца.

– Эй, прихвати черный тулуп. Не то замерзнешь,– сказал отец.

Сатай молча сдернул с вешалки тяжеленный тулуп и наконец-то вышел во двор.

Утро обещало быть пасмурным. Ежась, Сатай взглянул на небо – там было серым-серо. Его окружил легкий туман, будто Сатай попал в середину дымчатого шара, сквозь топкую оболочку которого там и сям проступали дома и сараи.

За ночь двор припорошило; мелкий снег и теперь сыпался на лицо и руки Сатая, точно из гигантского сита, и, мягкий, еще не слежавшийся, доходил уже до щиколоток, налипал на подошвы. Пока Сатай дошел до сарая, где стоял гнедой, под его пятками выросли снежные каблучки, высокие, как у женщин. Сатай и ступал, как женщина, покачиваясь на каблучках, потом поскользнулся и едва не упал. Это его рассмешило, и он мигом позабыл, что недоспал.

«Наверное, в такую погоду и встречаются волки, – вдруг пришло ему в голову. – Ну конечно, такая погода для них в самый раз. Бр-р!»

Его так и передернуло от макушки до пят, но потом на смену страху явился азарт. «Ну и пусть! Пусть даже волк!» – подумал он озорно. Сатай еще никогда не видел живого волка и все же был готов встретиться со свирепым хищником один на один. Мальчик живо вообразил такую картину, – у-ух! – и короткие волосы стали дыбом под шапкой.

Он открыл дверь сарая и подошел к гнедому. Тот оживился, переступил копытами и ткнул мягкую горячую морду в руки Сатая, как бы интересуясь: «А где же торба с овсом?»

– Тпру, гнедок! Да постой же минутку! Нет у нас с тобой времени для овса. Поешь, когда вернемся, – сказал Сатай.

Услышав его голос, зашевелились гуси в соседнем сарайчике, подняли гогот, запричитали: «Ай-яй-яй, забыли про нас, про нас-то и забыли!»

– Ух, нет на вас лисицы! – рассердился Сатай, а гуси только расшумелись пуще прежнего.

Сатай поспешно надел тулуп, схватил в охапку сбрую и выбежал из сарая. Гнедой вышел следом за ним и остановился посреди двора в ожидании, подставляя широкую, точно корыто, спину. Но не просто Сатаю взобраться на такую высоту. Он подвел гнедого к заснеженному бугорку и уж оттуда взгромоздился верхом.

Потом гнедой провез своего седока через весь аул. Люди постепенно просыпались, то тут, то там в окнах зажигались оранжевые огоньки.

У гнедка мелкая ковыляющая иноходь. Его неподкованные копыта выбивали по накатанной дороге дробь, словно барабанные палочки. Гнедок чутко шевелил ушами, настороженно прислушивался к тому, как скрипит под его копытами дорога.



А небо висело по-прежнему низко над Сатаем и его коньком. В лицо подул острый ветер, обжег ледяным огнем, выжал слезы. Пришлось Сатаю развернуться бочком, спрятать лицо от ветра за воротом тулупа.

Теперь гнедок понес его мимо кладбища, что начиналось сразу за аулом. Могилы замело белой пеленой, деревянные заборчики тянулись из-под сугробов. Казалось, отсюда идут по земле все холода. Когда Сатай проезжал здесь летом, у него начинало громко стучать сердце и он озирался, обливаясь холодным потом в ожидании, что кто-то выскочит сзади и погонится за ним. Но теперь страха уже не было. Могилы выглядели печально и заброшенно и скорее вызывали жалость.

«Да и что бояться-то, – сказал себе Сатай. – Здесь лежат умершие люди. Пусть себе лежат. Пусть земля им будет мягкой постелью. Некоторых помнят, так и говорят: «Этот покойничек был славным, а тот – плохим». А потом забудут и того, и другого – и плохого, и славного... Нехорошо!»

Гнедой оступился, и Сатай едва не сполз на дорогу.

– Что сегодня стряслось с этой клячей? – грозно произнес Сатай, подражая отцу, и плетью слегка хлестнул гнедого по крупу; гнедой опять затрусил ковыляющей иноходью.

«Если бы люди не умирали, вот было бы здорово! – начал мечтать Сатай. – А то что же выходит: родишься, поживешь немного и уже умирай. Даже обидно! Пожилые люди говорят: «тот свет, тот свет». Все это выдумки, конечно. Но лучше бы он и вправду, тот свет, существовал. Сначала поживешь на этом свете, а потом – на том. Вот было бы здорово! Тогда не так уж страшно умирать. Или через каждую тысячу лет наступал бы конец света. Тоже неплохо. Прошло тысячу лет, ты раз – и на минутку появился. Высунул голову и поглядел на землю. А внизу все маленькое: и горы, и люди. А люди

уж вовсе с горошину... Но... Но и о конце света только говорят», – с грустью заключил Сатай.

Так он ехал по утоптанной дороге, размышляя о жизни и смерти. Да где уж там по утоптанной – дорогу, шириной с сани, заносило порошей, которая сыпалась почти невидимо для глаза, но уже покрыла всю степь. И степь сейчас казалась особенно неприютной, голой. Поэтому и седок, и лошадь чуточку оробели, когда впереди у обочины показалась неподвижная фигура – не то сгорбившийся человек, не то животное.

«Волк! Ну да, волк. Что же еще может быть таким серым?» – мелькнуло у Сатая, потому что он читал и слышал от взрослых, будто бы волки обязательно серые. И вот он сидит, голодный и злющий, поджидает жертву.

Сатай огляделся в надежде на помощь, но вокруг было так же пустынно, и только редко сыпалась пороша, дул ветер в лицо да кто-то караулил у обочины, пошевеливая хвостом и ушами.

«Ах, так! – рассердился Сатай. – Ну ладно, сейчас я ему покажу!» Его даже бросило в пот от собственной смелости, а сердце как заколотилось, как заколотилось... Сатай поднял плеть, набрал в легкие воздуха, готовясь с криком броситься в атаку... и понял, что возле дороги всего-навсего куст курая. Ветер покачивал верхушки, которые он принял за хвост и уши.

«До чего похож на волка», – засмеялся Сатай, и ему стало легко-легко.

Тусклая мгла расходилась постепенно, но и день, что она открывала, выдавался невеселым, понурым. Пороше не было конца. Сатай немножко продрог, его укачало, потянуло в сон. Он решил было согреться, пустив гнедого в галоп, и тронул пятками коня. Но хомут, болтавшийся на шее гнедка, мешал ему скакать в полную силу. Да и седоку, признаться, не до лихости, коли между ним и спиной лошади всего лишь обычный потник.

Так он, где шагом, где нешустрой иноходью, прибыл в Тастюбе. Тут он запряг коня в сани, одолженные родственником, и, не засиживаясь в гостях, покати́л назад.

Сатай устроился в санях поудобней, сидел себе развалясь да пошевеливал вожжами, подгоняя гнедого, и сани ладно скользили по улице.

При выезде из Тастюбе он увидел хорошенькую девочку. Она стояла у дороги, поеживаясь от холода, и окоченевшей рукой в красной варежке держала тяжелый портфель.

– Тебе куда?– спросил Сатай, остановив гнедого.

– Мне в Бирлик,– ответила девочка.

– Я еду в Костюбе,– сообщил Сатай, важничая.– Так и быть подброшу до развилки.

Девочка залезла в сани и села, сжавшись в комочек. Видать, бедняжка замерзлась изрядно в тонком осеннем пальто и сапожках. Лицо и губы у нее были синие-синие, будто в чернилах.

– Возьми мой тулуп. Отогрейся,– покровительственно сказал Сатай.

Девочка не стала упрямиться, покорно закуталась в тулуп и притихла за спиной у Сатая. А Сатай сидел нахохлившись, знай себе погонял гнедого, и они долго ехали молча.

– Куда же ты направилась в этакую погоду?– спросил наконец Сатай.

– Домой.

– Значит, живешь в Бирлике?

– Да. А в Тастюбе учусь. Мы вчера выступали в клубе. Ребята уехали домой вчера, а я осталась на концерт. А сегодня меня отпустили. На один день,– с готовностью ответила девочка.

– Перед кем же выступали?– спросил Сатай, стараясь выглядеть понимающим человеком.

– Перед колхозниками. В колхозном клубе.

– Понятно. Наверное, ставили пьесу?

– Нет, пели, читали стихи и плясали.

– Что же за концерт без пьесы?– усмехнулся Сатай.– Вот если бы вы поставили, скажем, «Кыз-Жибек» или «Енлик-Кебек» – это было б серьезно. А без пьесы что за концерт?

Девочка засмеялась – видно, отогрелась под тулупом:

– Мы собирались. Да директор против. «Не доросли»,– говорит.

Сатай помолчал, собираясь с мыслями, потом обернулся и сказал:

– Много они понимают, эти директора. Вот у нас директор. Чуть что не так, и ну давай пилить: «Разве ты не знаешь правил поведения? А, читал? А почему же тогда нарушаешь?» И говорит, и говорит... Такой вредный. Понимаешь, велит стричься под машинку! Да ты в каком классе-то?

– Уже в седьмом!

– Я тоже в седьмом. Представляешь, доучился до седьмого класса и хожу лысым. Не разрешают чубы, и все тут! Это же позор, правда? Тебя-то как зовут?

– Рабига.

– Хорошее имя у тебя, Рабига. У меня тоже хорошее: Сатай. Да садись поближе, не волк, не съем. Застегни тулуп на пуговицы, будет теплей. Вот так! Погоди-ка, ворот тебе подниму. Теперь и сибирский мороз не возьмет. Э, а ты, оказывается, красивая!

Щеки девочки ярко заалели. И вовсе не мороз был тому причиной.

– Право, какой ты... Мелешь языком и сам не знаешь что. Разве можно человеку говорить в глаза; мол, ты такой и сякой? Пусть даже красивый,– сказала она, надувшись.

Сатаю стало неловко. Выходило так, что сам пригласил человека и потом обидел.

– Прости, Рабига. Я и сам не люблю, когда мне вот так говорят в глаза. Но такой уж у меня дурной характер. Знаю, а исправиться не могу,– покался

Сатай и, чтобы скрыть смущение, крикнул: – А ну, гнедок! Живее!

И гнедой припустил по дороге, только снежные комья летели из-под копыт, ударяя в сани. Вот уж было весело. Девочка перестала сердиться, глаза ее заблестели. И вдруг гнедой шарахнулся в сторону и встал наискось на дороге. Конек тревожно стриг ушами и дрожал.

– Гнедок! Да ты что?– спросил Сатай изумленно, взялся за кнут и тут-то увидел волка.

Теперь это был настоящий волк, живой и серый. Он бежал рысцой вдоль обочины.

– Волк! Смотри, волк! Вот он!– закричал Сатай возбужденно.

– Ай, волк! И вправду!– испугалась Рабига и спряталась за спину Сатая.

А серый, будто понял, что перед ним человек, с которым шутки плохи, пересек дорогу и зарысил в степь.

– А ну держи его! Держи!– закричал Сатай, вертясь в санях.– Ага, испугался! А то бы я его! Ух, кнутом! Раз! Раз!

– Сатай, не надо,– взмолилась Рабига. – Не то он передумает и вернется!

– Пусть попробует! А ты боишься?

– Боюсь,– призналась простодушно девочка.

– Со мной не бойся! И потом, он похож на обычную собаку. Разве ты не заметила?

– Не заметила. Я испугалась.

– Да что, ты их раньше не видела?

– Всего один раз. Только он был далеко тогда.

– А я их видел раз десять,– соврал сгоряча Сатай и пожалел об этом, подумал, что следовало скостить хотя бы раза в три, не так было бы совестно.– Да что мы все о волках да о волках! Будто нет ничего интереснее. Ну, что вы сейчас проходите по истории?– спросил он.

У Рабиги виден был только розовый нос из необъятного тулупа. Да поблескивали глаза, точно у зверька из норы. Да вырывался из недр тулупа пар и садился инеем на кудлатый мех воротника.

– Вчера мы проходили восстание Уота Тайлера, – сообщила Рабига, подумав.

– Эге, да вы от нас отстали. Это мы прошли давно. Я за рассказ о восстании Уота Тайлера четверку получил, – похвастался Сатай.

– Значит, ты учишься хорошо? – спросила Рабига. Сатай помолчал.

– Да не совсем. Наверное, я учусь посредственно, – храбро сознался он. – Математика хромает. История, литература мне хоть бы что, даже бывают пятерки. А в математике я слабоват. Беда, не лезет в голову. Сидишь над задачкой, и скучно. Того и гляди, лопнешь от тоски. И нельзя что-нибудь такое придумать, от себя. – И Сатай сокрушенно вздохнул.

Рабига звонко рассмеялась, карие глаза ее заискрились в глубинах тулупа.

– Что ты! Математика такая веселая наука! В ней столько интересного! Я ее прямо-таки обожаю. Правда-правда, и наш учитель говорит, что я поеду на олимпиаду юных математиков.

Рабига улыбнулась, показывая ровные белые зубы.

– Конечно, если у тебя хороший учебник и сильный преподаватель, это другое дело, – согласился Сатай. – А нас-то учит старая женщина. Только и знает одно, что ругать. Войдет в класс и сразу начинает: «А ну-ка, к доске пойдет такой-то! Сейчас он нам решит одну пустяковую задачку». Ну, идешь к доске, хотя нет у тебя никакой охоты, и начинаешь решать. Чуть ошибешься, она тут как тут: «Ничего ты не знаешь. Садись – двойка!» Как будто двойка такая уж радость. Потом разозлишься и совсем не хочешь учить, чтобы ей стало обидно.

– Ой, что-то у тебя все плохие. И директор тебе не нравится, и учитель математики...

– Ну почему, у нас есть и хорошие учителя. Вот если бы ты спросила, какой у нас учитель литературы... О-о!.. ты даже не представляешь, какой это добрый человек, – возразил Сатай с достоинством.

– Тпру! Останови! Куда же ты везешь, Сатай? Мне уже слезать. Разве не видишь: развилка, – сказала Рабига смеясь.

Он натянул вожжи, придерживая разошедшегося гнедка.

– Ну и быстро доехали. В самом деле, развилка, – удивился Сатай.

Рабига вылезла из тулупа и легко спрыгнула на дорогу.

– В Тастюбе нет восьмого класса. Где ты будешь учиться на следующий год? – спросил Сатай, прежде чем проститься.

– В районном центре.

– Значит, будем учиться вместе, – заметил Сатай с удовольствием.

– А пока до свидания. – Рабига помахала ладошкой в красной варежке.

– погоди, – сказал Сатай и подумал: «Что же еще у нее спросить?» – Ты боишься смерти? – спросил он.

– Что ты имеешь в виду? – удивилась Рабига.

– Ну, думала ты о том, что вот умрешь и больше тебя никогда не будет?

Рабига склонила голову к плечу и посмотрела на Сатая.

– Ты какой-то чудной, Сатай, – произнесла она с недоумением. – Разве об этом думают?

– А я взял и подумал, – заявил Сатай с гордостью.

– Просто тебе нечего делать. Вот ты об этом и думаешь от скуки, – сказала девочка.

– И вовсе нет. У меня много дел. И скучать некогда.

– Ну и нечего было думать. Я в дороге никогда не думаю, просто гляжу по сторонам... Ой, замерзла. Спасибо тебе, Сатай!

Она еще раз помахала ладошкой и пошла своей дорогой.

Сатай тоже вылез из саней, осмотрел гнедого, приподнял чересседельник, поправил дугу. Над конем клубился пар. «Уж не загнал ли я гнедка?» – подумал Сатай с опаской. Но гнедой куснул удила, фыркнул и заскреб копытом снег, торопясь в тепло своего стойла, туда, где ждал его сытный овес.

А погода стояла все такая же пасмурная, бесцветная. Попробуй угадать, что сейчас – по-прежнему утро или уже наступила середина дня, если не знаешь, который час. Сатай посмотрел вслед Рабиге. Она шагала не оглядываясь. Степь казалась неуютной, безжизненной, и маленькая Рабига была совсем одна в степи. Черненькая фигурка на безбрежном огромном поле.

Сатай уютно устроился в отцовском тулупе и тронул гнедого. Некоторое время он сидел бездумно, рассеянно слушал скрип полозьев, потом вспомнил о Рабиге. «Славная девчонка! Не задирает нос, хотя и едет на олимпиаду», – заключил Сатай. Он представил, как Рабига спешит одиноко по зимней степи, и невольно остановил коня.

– Надо было довести ее до самого Бирлика. Нехорошо получилось, – сказал себе Сатай, – что для нас с гнедком лишние пять-шесть километров? Рысью туда и обратно, и все. Отец еще только встает.

Он повернул гнедого назад, щелкнув кнутом, пустил его быстрой иноходью, мигом домчался до развилки и повернул на Бирлик. Но здесь гнедой заупрямился, пошел боком-боком, сообразив, что перед ним чужая дорога и, что возвращение в родное стойло откладывается. Сатай прикрикнул на него и на этот раз хлестнул в самом деле. Упрямяство слетело с гнедка, он добросовестно пустился по дороге на Бирлик. А Сатай громко запел:

«Вперед, мой конек, – он сказал ему, – чу!»

И гнедой помчался стрелой...<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Немного перефразированный припев из народного эпоса «Кобланды-батыр».



Сатай был доволен собой. Сейчас он догонит Рабигу, и то-то обрадуется она. Он вновь укутает ее в черный тулуп и привезет прямо домой. А по дороге они опять поболтают о том, о сем.

Гнедой бежал, не жалея сил, но Рабиги все еще не было видно. Хотя бы мелькнуло черное пятнышко вдали. Но перед Сатаем только предлинная, кажущаяся бесконечной дорога и вокруг Сатая молчаливая степь под холодной дымчатой пеленой.

«Ба, куда же делась Рабига?» – не на шутку всполошился Сатай.

Рабига могла пойти по степи, сокращая дорогу. Сатай вертел головой, стараясь найти ее следы. Но снег был чист, нетронут, и вскоре от его белизны у Сатая заломило в глазах.

Он потер уставшую шею и не сразу заметил, как изменился бег гнедого. Тот резко сбавил ход, потом встал на дыбы, захрапел, испуганно метнулся в сторону. Шагах в десяти от дороги сидел тот же самый волк. Во всяком случае, так подумал Сатай.

Сатай растерялся от неожиданности и первым делом завопил истошно:

– Пошел! Пошел! Я тебе!

Но что-то сжало горло, и вместо крика из него вырвалось беспомощное шипение. Тогда Сатай поднял кнут и начал размахивать, стараясь оградить себя от нападения. Волк истолковал это по-своему, поднялся и нехотя поплелся в глубь степи.

Гнедок рванулся с места и пустился во все лопатки, да так, что Сатай, не удержавшись, повалился на бок. Когда испуг остыл, Сатай подумал о Рабиге, и в голову ему пришла ужасная мысль: «А что, если волк съел Рабигу?!»

– Рабига-а! Рабига-а! – позвал он, приподнявшись в санях.

Призыв его улетел в степь и затерялся где-то, оставив Сатая без ответа.

Крики возницы подстегнули гнедого, он прижал уши и прибавил прыти. Что там бугры и рытвины, если сани почти не касались земли полозьями. Их несло, точно щепку в стремительном потоке.

– Рабига-а!..

Перед глазами Сатая вертелась пестрая карусель; мельтешащие копыта гнедого, комья снега, летящие из-под копыт, корявая обочина дороги, уносящаяся назад.

Его привело в себя мычание коровы, потом пролаяла собака, и Сатай понял, что въезжает в Бирлик. Он натянул вожжи, утихомиривая гнедка. Гнедок почувствовал себя в безопасности и охотно подчинился хозяину.

«А теперь я должен узнать, где живет Рабига», – решил Сатай. Тут ему почудилось, будто его зовут, и поначалу подумал, что ослышался.

Но его окликнули вновь:

– Сатай! Что с тобой? Я зову тебя, а ты не слышишь.

У плетня стояла живая и невредимая Рабига, и в руке ее покачивался все тот же школьный портфель. Она улыбалась как ни в чем не бывало.

– Как ты здесь очутилась? – закричал Сатай. – Или тебя перенесла нечистая сила?

– Неужели ты веришь в нечистую силу? – возразила Рабига. – Я приехала на санях. Меня догнали наши колхозники и довели до правления. Совсем недавно, прямо перед тобой. А ты-то почему здесь?

– Вспомнил про одно важное дело, – ответил Сатай уклончиво.

Он почувствовал невероятную усталость. Точно не гнедок, а он сам тащил за собой сани до Бирлика. Он был счастлив оттого, что Рабига стоит перед ним. И все же он был несколько разочарован тем, что все закончилось самым обыкновенным образом. А он-то старался, тратил время!

– Все ты выдумываешь, – засмеялась Рабига. – Ну какие могут быть у тебя дела в нашем ауле, скажи на

милость! Пойдем сейчас же к нам, выпьешь чаю. Что-то мне не нравится твой вид.

– Спасибо, очень спешу. Родители, наверное, заждались. Понимаешь, они собираются на базар,– сказал Сатай, борясь с собой, потому что ему очень хотелось в гости к Рабиге.

Рабига подошла к гнедому, потрепала его по шее. А конек раздувал взмыленные бока, косил на девочку выпуклым умным глазом.

– Ах, и непутевый ты, Сатай. Ну разве можно так обращаться с лошадьёю? Ты же совсем загнал ее.

Сатай сдвинул шапку на глаза, уставился на забор и сказал, оправдываясь:

– Опять появился волк. Тот самый, помнишь?

– И ты очень испугался?– посочувствовала Рабига.

– Я-то?!– возмутился Сатай. – Да мне хоть десять львов или тигров! Думаешь, побоюсь?..

Эта девчонка так и не поняла, из-за чего он не жалел коня. Он дернул вожжи и начал разворачивать гнедого,– загородив всю улицу.

– Сатай, подожди! Куда же ты?

– Ну, что еще?– буркнул Сатай, он хотел рассердиться, но из этого ничего не вышло.

– Вот, возьми,– она придержала портфель коленом, открыла его и вытащила книгу.– Учебник по алгебре. Мой самый любимый,– пояснила она, протягивая книгу.

– Рабига, что ты? Что ты? А как же ты сама? Я не могу...– смутился Сатай и спрятал руки за спину.

– А я достану другой. Честно-честно! Возьми, иначе обижусь. Правда, обижусь,– настаивала Рабига.

– Интересно получается: любимый учебник по алгебре, и вдруг мне,– ухмыльнулся Сатай невольно. – Так и быть, давай!

Он сунул учебник за пазуху и долго пристраивал там, чтобы не память в дороге.

– Значит, на следующий год мы учимся вместе? Уговор? Только смотри, не останься на второй год, тогда уж ничего не получится, – предупредила Рабига.

– Я сказал, значит, все, – заявил Сатай. – Так и знай: скорее наступит конец света, чем я останусь на второй год.

Рабига улыбалась и кивала одобрительно, значит, верила ему. Сатай тряхнул головой на прощанье, подмигнул по-приятельски и, повернувшись к гнедому, свистнул. Гнедой только и ждал этого, догадавшись, что уж теперь-то ничто не помешает ему вернуться в стойло.

Подъезжая к развилке, Сатай встретил двух всадников с охотничьими ружьями. Они ехали вдоль дороги за волчьим следом, и вид у них был суровый. Пороша перестала сыпать, и волчьи следы теперь четко обозначались на снегу.

Гнедой заметно утомился, и Сатай не стал его торопить, к тому же показалось кладбище, а там уж совсем близко до дома. Проезжая мимо могил, он вспомнил свои утренние мысли, разговор с Рабигой.

– Она права. Что это я, в самом деле, думаю о смерти? Будто нет ничего другого. А вокруг вон сколько всего. Думай себе на здоровье. И какое мне дело до мертвых, – проворчал он вслух.

Но тут же Сатай испугался: а вдруг там, за его спиной, поднялись все умершие и смотрят на него? А он, даже если обернется, все равно ничего не заметит. Потому что они невидимы, как те духи, о которых рассказывала бабушка. Но Сатай не хотел сдаваться и заспорил с собой.

– Все это выдумки! Невежество! Где это видано, чтобы в наш век водились духи? – возразил он громко. – Вот возьму и обернусь!

Сейчас же по его спине побежали мурашки, и он не решался повернуть голову, а когда отважился, кладбище осталось позади и по сторонам замелькали постройки аула.

У ворот его ждал отец, тепло одетый и подпоясанный старинным поясом с накладным серебром. Он прохаживался в нетерпении – туда-сюда, туда-сюда, – и лицо его было сердитым.

– До Тастюбе рукой подать, где же ты пропадал столько времени?– заворчал отец.– Ба, а гнедой-то! Ты что, воду на нем возил, а?

Сатай чинно вылез из саней, достал из-за пазухи учебник и показал отцу. Отец посмотрел на книгу и ничего не понял.

– Вот: раздобыл книгу. Очень нужная книга,– пояснил Сатай и, высоко подняв подбородок, пошел в дом походкой человека, который завершил весьма важное дело.

## СТУЖА

Этот страшный буран налетел ранним утром, словно норовил застать людей врасплох. Снежные смерчи закрутились между небом и землей в первобытном танце. Бешеный ветер запросто слизывал огромные сугробы, гнал их перед собой, засыпая закоулки. Буран гулял целые сутки и на другое утро притих. И тогда небо чуть-чуть прояснилось, над степью выглянуло солнце, тусклое, точно глаз, пораженный бельмом. Степью завладела лютая стужа.

Заведующий фермой выбрался из дому с рассветом. Едва он высунул наружу лицо, как щеки и нос обожгло холодом. Заведующий зябко поежился: с севера пронизывающе тянуло ледяным сквозняком. «Ну и стужа!» – озадаченно подумал он. И про себя отметил, что в такой мороз не то что дышать, думать и то нелегко. Дурела голова от стужи.

Заведующий отправился на скотный двор, обошел его, придиричиво проверил, хватит ли корма скотине на ближайшие дни, и оказалось, что корм уже на

пределе и, если не пополнить запас вовремя, жди неприятностей. Пока он ходил по холоду, его тулуп задубел, поскрипывал при ходьбе, а сам он весь заиндевел, точно новогодний дед.

Со скотного двора он пошел к дому Данеша, а потом завернул в дом Кайрака и распорядился, чтобы Данеш и Кайрак собрали подводы и съездили за сеном на одно из далеких угодий, где стоял нетронутый стог. Работа предстояла нелегкая на стуже-то, да и трудна дорога. Он посоветовал взять с собой и лопаты. Снега выпало много, и, возможно, без лопат к стогу не пройдешь и не проедешь. Да и сам стог, поди, замело, так что тоже не обойтись без лопаты.

И Данеш, и Кайрак, отоспавшиеся за время, что хозяйничал буран, сытно поевшие перед дорогой, пришли на скотный двор почти одновременно и начали запрягать лошадей в сани.

Оба джигита были в отличном настроении, горячая кровь играла, бурлила в их жилах. Неизвестно, догадывалась ли об этом молодая цветущая доярка, но тем не менее она выскочила во двор в то самое время, когда молодые люди не знали, куда деть буйную силушку. Девушка выскочила во двор в одном ситцевом платье, помчалась между санями, и тут-то джигиты поймали ее за жаркие руки.

– Ага, попалась! А ну-ка, поедем с нами!– закричал Кайрак.

– Ой, я замерзла! Ну, пустите же! Ой, ой!– запищала девушка, упираясь полными крепкими ножками в хромовых сапогах.

Снег весело похрустывал под ее сапогами, и сразу было видно, что мороз для нее нипочем, что возмущалась она для вида. А румянец так и пылал на ее щеках. Черные глаза так и поблескивали. Похоже, ей хотелось подольше продлить забаву с бойкими молодцами.

– Ой, окоченела уже!– закричала она, смеясь.

– Поцелуешь – отпустим!– сказал Кайрак.

– Вот еще! Ишь, что придумали!

– Поцелуй нас по очереди, иначе прихватим с собой!– поддержал Данеш напарника.

– Так и быть, негодники!

Девушка потянулась на цыпочках, чмокнула в щеку сначала Данеша, за ним Кайрака.

– Ну вот! Теперь отпустите!

– Э, так не пойдет,– запротестовал Кайрак.– Почему ты сперва целовала Данеша? Придется все повторить! Но теперь ты начнешь с меня!

– Данеш, скажи ему. Пусть отпустит.

– Ладно, Кайрак, отпусти ее.

– Может, ты думаешь, что я боюсь Данеша?– усмехнулся Кайрак.– Как бы не так! Целуй – и все тут!

– Как бы не так!– передразнила девушка.– С такой небритой рожей, хоть бы был еще холостой!

Она ловко вывернулась из рук оторопевшего Кайрака, отбежала на несколько шагов, показала ему язык, а потом поманила Данеша.

– Данеш, поди сюда. Скажу что-то!

Джигит подошел к ней с опаской. Но вот она прошептала ему что-то на ухо, и Данеш заулыбался широко и светло.

– Эй, скажи и мне! То же самое!– потребовал уязвленный Кайрак.

Но доярка засмеялась и убежала в коровник. А Данеш вернулся к саням, улыбаясь своим мыслям.

– И что же она сказала тебе?– спросил Кайрак небрежно, будто это его не очень-то интересовало, но широкие ноздри его вздрагивали.

– Что она говорила? Да так просто,– рассеянно произнес Данеш.

На губах его бродила счастливая улыбка,

– Значит, так? Скрываешь? Ну, ну, можешь не говорить,– сказал Кайрак обиженно и полез в сани.– Давай трогай! Что стоишь?– прикрикнул он на Данеша.

– Поезжай, поезжай! Я сейчас же, следом,– очнулся Данеш.

– Следом? Ишь ты! Значит, я должен тебе путь расчищать? Так, что ли, выходит?

– Ладно, ладно, первым поеду я,– смутился Данеш и добавил, стараясь обратить в шутку этот спор,– ты еще заведешь и себя, и меня куда-нибудь на обрыв! А, по-о-шли, коняшки!

Он прыгнул в сани, дернул вожжи, свистнул, щелкнул кнутом с рукоятью из вереска, и пристывшие на холоде кони рванулись с места, рысью вынесли сани на дорогу, словно только и ждали хозяйского сигнала.

Ветер потихоньку смел с дороги не успевший слежаться снег, открыл покрытый старым гололедом путь, гладкий, точно полированная доска. По нему-то и пустил своих коней Данеш.

Кони опушились инеем с головы до хвоста, и оттого не разобрать, кто из них рыжей, а кто темно-гнедой масти. На гривах намерзли сосульки, а мерно вздымающиеся бока темнели одинаковыми пятнами. Копыта коней гулко стучали по наледи, сани скользили легко и полозья напевали тягучую мелодию, будто кто-то тихонько наигрывал на кобызе.

Дорога то тянулась вверх на холмы, то скатывалась в низины, и сани взлетали, точно щепка на гребнях волн. А по обочине караулили рыхлые, коварные сугробы. Попробуй ступи в сторону от дороги, тотчас увязнешь в белой ловушке. Опытные кони чувствовали это и держались знакомой и надежной колеи. Они бежали резво, точно знали, что впереди их ждет корм, точно их нервные ноздри уже почуяли далекий аромат сухого сена.

Данеш стоял в санях, прочно расставив крепкие ноги. Он оделся полегче, в ватник и стеганые шаровары, чтобы одежда не связывала движений. Увлеченный быстрой ездой, Данеш свистел, хлопал кнутом по воздуху, и воздух звонко разрывался, словно



от выстрелов. Кони прыдали ушами и неслись все быстрее и быстрее, и, может, поэтому не сразу его догнал отчаянный вопль Кайрака.

– Э-эй! Дане-е-е-еш!

Данеш придержал коней и, обернувшись встревоженно, увидел, что упряжка Кайрака стоит чуть ли не поперек дороги, что передние ноги лошадей едва не увязли в сугробе, а сам Кайрак стоит перед лошадьми, держа их под уздцы.

Данеш вылез на дорогу и заспешил к напарнику. Кайрак смотрел на него из-за широкого воротника шубы.

– В другой раз, если захочешь избавиться от меня, придумай что-нибудь получше. Вилами только покалечишь коней, – не без юмора сказал Кайрак, но глаза его были злыми.

Только сейчас Данеш заметил лежащие посреди дороги вилы. Они выпали из его саней, и, наверное, чудом их острые зубья не угодили под ноги лошадям Кайрака. Данеш виновато почесал затылок – ну что тут скажешь! Но Кайраку, видно, было мало того, что человек обескуражен своей оплошностью.

– Хочешь сказать: случайно? Так я тебе и поверил. Это ты нарочно подстроил. Подстроил, чтобы я твоему свиданию не помешал. Ведь она тебе свидание назначила. Угадал?

«Далось ему наше свидание. Он до сих пор не обращал на девушек внимания. Ни на эту, ни на других», – забеспокоился Данеш.

Впрочем, у них с Кайраком давно были сложные отношения, еще с раннего детства. Но теперь его неоправданная злость вызвала у Данеша чувство протеста.

– Ты угадал! А что касаетсявил, то, кто знает, может, еще бы немного, и они воткнулись бы тебе в живот, – сказал он, принужденно улыбаясь.

Данеш поднял вилы и зашагал к своим лошадям. По дороге он оглянулся. Кайрак уже сидел в своих санях, ссутулился под огромной черной шубой, ни дать, ни взять копна, схваченная белой изморозью. Для большего удобства он даже концы вожжей подложил под себя, чтобы не очень-то утруждать руки.

Данеш залез в сани и тронул коней, Кайрак пустился следом. И снова запели полозья, но теперь их песня не веселила сердце.

Мороз крепчал, царапал лицо ледяными иглами. Кайрак все глубже зарывался в просторную шубу, но мороз доставал его и там, щипал занос и щеки. Брр!.. А Данешу хоть бы что! Стоял в полный рост, посвистывал, погоняя лошадей, да помахивал кнутом. Когда он поворачивался в профиль, Кайрак видел его красное, словно распаренное лицо, и почему-то его неуязвимость в такую стужу возмущала Кайрака.

– Ишь: «Вилы тебе в живот», – вспомнил Кайрак слова Данеша. – Я тебе такие вилы воткну! Слабак, а туда же еще... И вечно ему везет. Вот вчера, например.

Вчера по случаю ненастья они встретились в гостях у одного из сверстников. Вначале был обед, хозяин специально зарезал для гостей телку. Наевшись, джигиты уселись за карты, и Данешу, конечно, везло, как всегда. Но ему и этого было мало. Каждый раз, когда заканчивалась игра, он приговаривал:

– Вот как надо играть! Учитесь!

Пришлось возразить: мол, зря не хвастайся, если бы я играл под интерес, ты бы не выиграл ни одной партии.

Но Данеш, вместо того чтоб уняться, сказал:

– Ну коль ты такой игрок, сыграй на свою жену! Что, Кайрак, боишься?

Конечно, Данеш шутил, но все же было неприятно, что шутил не кто-то, а именно Данеш. Жаль, не к чему было придрататься, не то бы он, Кайрак, показал ему, почем фунт лиха.

Кони его зафыркали и встали, точно перед ними оказалась стена. Кайрак поднял голову, выглянул из-за воротника и обнаружил, что у Данеша опять выпали вилы. Только Данеш на этот раз заметил сам и вылез из саней, не ожидая окрика. Он поднял вилы и пояснил сокрушенно:

– Какое-то наваждение. Кажется, накрепко привязал – и на тебе! Опять упали!

Но Кайрак уже был взбешен.

– Я же предупреждал тебя: придумай что-нибудь другое, – процедил он с ледяной улыбкой. – Попробуй еще урони, и я вгоню их в брюхо твоих лошадей. Если уж ты хочешь найти им такое применение. И не я, а ты потащишь сани на себе!

В глазах Данеша мелькнула растерянность, но затем самолюбивый парень взял себя в руки и возразил:

– Ну, тогда, Кайрак, мне придется постараться, чтобы в третий раз они все-таки попали по назначению.

«Что за шутки у нас? Будто мы бандиты с большой дороги», – подумал Кайрак с досадой и выпалил первое, что пришло в голову:

– Ты совсем потерял голову из-за... из-за той девки!

– Я человек холостой, – заметил Данеш, пожимая плечами. – Это у тебя жена и сын. И, кроме жены, тебе никто не нужен.

– Больно ты знаешь, – раздраженно пробормотал Кайрак.

– Больно не больно, а видел, как ты смотришь на нее.

Кайрак промолчал, не найдя, что сказать.

И опять под копытами коней, под санями замельтешила дорога. По сторонам мелькали и оставались позади заснеженные холмы, издалика похожие на прилегших пушистых зайчат. Но Кайрак не сводил глаз со спины Данеша. «Вот такие и нравятся всем. Такие кого хочешь обведут вокруг пальца. Мол, свой парень», –

думал он, и ему хотелось досадить всем, кто любит Данеша, а еще более ему самому. И тут еще эта стужа!

– Эй, Данеш, куда так спешишь? Никак, на похороны отца? Можешь не торопиться, он помер давно! – крикнул Кайрак, не сдержавшись.

Он понимал, что говорит не то, но уже не мог остановиться.

– Слышишь, Данеш! Можешь не торопиться!

Данеш обернулся. Тесемки его шапки-ушанки были туго завязаны под подбородком, поэтому его пылающее от мороза лицо точно обрамлено древним шлемом. Брови его казались седыми. Данеш приоткрыл губы, и из его рта вырвался густой пар. Данеш засмеялся. Так пронзительно он смеялся только в тех случаях, когда им овладевала холодная ярость. И кто-то, а Кайрак знал это с детства.

Данеш ткнул пальцем в его сторону, точно собираясь пригвоздить к серому небу, и крикнул:

– Мой отец погиб на войне смертью храбрых! А вот где твой отец, Кайрак, кто это знает?

Кайраку почудилось, будто лошади рванули вперед, напуганные страшными словами Данеша. Он качнулся, встал коленями на охапку сена, служившую сиденьем, и отвернул ворот шубы. Стужа сейчас же вцепилась в его незащитное лицо, провела по нему острыми когтями. Но он не заметил этого, так больно его ударили слова Данеша. Данеш знал, куда бить.

Их поединок тянется с тех пор, как они помнят себя. Родились они в один и тот же год и росли вместе, как жеребята-одногодки. В одном табунке бегали, играли и дрались. И все эти годы копят по капельке яд друг против друга, словно те пестрые змейки, что ползают среди полыни. Размером змейка с палец джигита, но от укуса ее нет никакого спасения. Бывалые люди говорят, что набирает свой яд эта змейка все лето, капелька по капельке, капелька по капельке. Так вот и они.

А начали вражду прадеды, и что они не поделили в этом просторном мире, не известно ни Кайраку, ни Данешу. Они знают только, что потом враждовали и их отцы. Когда началась война, отец Данеша уехал на фронт и погиб. Почти в то же время ушел в город отец Кайрака, и с тех пор о нем не слышали ничего. Правда, сплетницы уверяли, будто он завел в городе новую семью. Но им не верили.

Так канули в вечность отцы, оставив им в наследство свою вражду.

Кайрак потер закоченевший на морозе нос, не сводя глаз со спины Данеша, и прикинул, кто же из них одолеет, если наступит вдруг решительный бой. Уж тут они не станут жалеть друг друга. Когда это случится, пока лишь можно гадать. Спора нет, Данеш сейчас первым не полезет, да и к чему ему задираться, если во всем ему везет? Это у него, у Кайрака, не все складывается, как нужно, и не так умело он ладит с людьми.

«Когда это случится, я должен одолеть его. Хотя бы разок сесть на голову ему, проклятущему», – подумал он и посмотрел с сомнением на свой бич, четыреххвостный, с кривой деревянной рукоятью.

А дорога тянулась и тянулась. Казалось, бесконечно будут скрипеть полозья и сыпаться в сани ледяная крошка из-под задних копыт лошадей. Глазам уже стало больно от бело-серой ряби, бегущей по сторонам.

Часа через два они свернули с дороги на снежную целину и направились краем глубокого оврага к темнеющей вдаль глыбе сена. Поначалу кони не хотели уходить с укатанной дороги, пятились, кося налитым кровью глазом, и только свист бича да удила, врезающиеся в губы, заставили их подчиниться людям. Теперь начиналась самая трудная часть пути.

Мороз и ветер будто полили степь тусклой грязновато-белой глазурью. И оттого наст казался прочным. Но лошади сразу же провалились в сугроб по брюхо, и Данешу пришлось выйти из саней, взять

коней под уздцы и так, когда подбадривая, когда угрожая, вести их по степи. «Только бы они не переломали себе ног», – беспокоился Данеш.

Потом он обернулся и увидел, что Кайрак сидит в санях как ни в чем не бывало, предоставив своим лошадям выбираться из сугробов самостоятельно. Бедные животные подскакивали в глубоком снегу, точно кузнечики.

Данеш возмутился, ему так и хотелось крикнуть: «Чтоб ты примерз своим ленивым задом к саням, негодяй ты этакий! А ну-ка, сейчас же слезай!».

Но в последний момент он сдержал себя, решив, что это не приведет к добру.

Когда до стога было рукой подать, Данеш взял железную лопату и принялся расчищать подъезды к сену.

Временами он отдыхал, поджидая Кайрака. А тот, словно нарочно, еле полз на своих санях. «Да что он там ковыряется? Наверное, хочет, чтобы я расчистил снег один? Ну, так не пойдет!» – сердился Данеш, но снова брался за дело, потому что стоило опустить руки, как сейчас же холод пробирал до костей.

Данешу подумалось, что он перелопатил весь снег в степи, пока добрался до стога. И все равно еще оставалось уйма работы, потому что сани никак не становились к стогу впритык.

В конце концов подоспел Кайрак. Он взглянул на Данеша, который ждал, опершись на лопату, и нахмурился: «Что же он стоит? Или надеется, что самое трудное сделаю я? Меня не проведешь, голубчик!».

Он неторопливо сбросил шубу, взял из саней лопату и так же не спеша вонзил в снег.

– Так мы не вылезем отсюда до утра, – пробурчал Данеш, поднимая голову.

– Тогда пошевеливайся живее. Могу уступить свои трудодни, – насмешливо ответил Кайрак.

У Данеша потемнело в глазах, он еле сдержал себя и не бросился на Кайрака. «Данеш, спокойнее, – сказал

он себе, – гнев не доведет до добра, Кайрак только и ищет причину для открытой ссоры».

Несколько минут они работали молча, будто не замечали друг друга. Потом Данеш почувствовал, что под подошву его сапога что-то попало. Данеш отскочил в сторону, и тут же послышался довольный смех Кайрака.

– Заработался и чуть не выбросил тебя. Заодно со снегом, – сообщил Кайрак, очень довольный тем, что застал Данеша врасплох.

– Ну что ж, попробуй выброси! – усмехнулся Данеш, выхватил из саней вилы и взял их наперевес.

– Ага, ты так? – крикнул Кайрак и тоже схватился за вилы.

– Ну попробуй, попробуй, выброси, – вызывающе поддразнивал Данеш.

– Выброшу, вот увидишь.

Они топтались точно вокруг невидимой оси. А стужа еще больше подстегивала страсти.

И вдруг зубья вил, которыми они будто шутя махали перед собой, столкнулись. Жуткий лязг железа, казалось, оглушил их.

Враги отскочили в разные стороны, тяжело дыша.

– Ты чего? – испуганно спросил Данеш.

– Я нечаянно, – виновато сказал Кайрак. – А вот ты чего?

– Я тоже нечаянно, – смутился Данеш. – Я не хотел.

Они опустили вилы и стояли, не сводя друг с друга глаз. Потом Данеш отбросил вилы, нагнулся, прихватил горсть снега и сунул в рот.

– Жарко? – спросил Кайрак, почти с сочувствием.

– Жарко, – признался Данеш.

– Мне тоже, – сказал Кайрак и, бросив вилы, нагнулся, сунул в сугроб разгоряченное лицо и начал хватать снег губами. Когда он поднял голову, его ресницы, щеки и подбородок были точно в клочьях ваты. Кайрак вытер снег рукавом и с притворным добродушием сказал:

– Ну что, повеселились? Разогнали кровь?

– Пора за дело! Иначе не успеем, – охотно подхватил Данеш. – В самом деле, погрелись – и довольно.

Они поднялись, все еще возбужденно дрожа, как псы после несостоявшейся драки, и Данеш полез на стог. Взобравшись на вершину, он поддел на вилы заснеженный, смерзшийся слой снега, отбросил в сторону, и в ноздри его ворвался терпкий запах прошлого лета. Внизу заржали, заволновались лошади, потянули морды вверх.

– Чуешь?– спросил он у Кайрака.

– Пахнет,– прошептал нервно Кайрак, раздувая ноздри.

Данеш скинул лошадям пару охапок сена, а Кайрак снял узду, ослабил подпруги.

– Давай сюда сани! Начнем с твоих!– крикнул Данеш.

Кайрак кивнул, подогнал сани, и джигиты принялись за погрузку. Они прятали друг от друга глаза, лишь изредка перебрасывались односложными фразами и, стараясь уйти от только что происшедшего в работу, орудовали вилами с удвоенной энергией. Но в их скованных движениях чувствовалось не остывшее до сих пор напряжение.

«А смелый, черт! Запугать его не так-то просто,– размышлял Кайрак.– Только ему подвернись, зевни, мигом шею свернет!».

«Зачем я поехал с этим психом? Знал, чем кончится, а поехал,– досадовал тем временем Данеш. – Мог отказаться. Мол, так и так, дня три назад посылали за дровами. А за сеном пусть съездит кто-нибудь другой. Нет, захорохорился, хотел показать характер. Ну и показал!»

Нагрузив сани Кайрака, они быстро управились со вторыми, и Данеш прикинул, что можно вернуться в аул еще до сумерек. Главное было – перебраться через снежную целину и выехать на дорогу, а там уж только держи лошадей.



Данеш вспотел, чувствовалось, что измотался вконец. Стоя все еще наверху, на разобранной половине стога, он вытащил из кармана стеганых штанов носовой платок, вытер лицо и огляделся. Внизу его покорно ждали совсем седые от изморози кони. Кайрак в последний раз проверял, как уложено сено на его возу. А вокруг громоздились горбатые холмы, точно волны вмиг застывшего океана. Степь и в самом деле, как оледеневший океан, уходила далеко-далеко, и не было ей конца и края. Но временами на ее омертвевшем просторе мелькала жизнь. Вот показалось рыжее пятно на белом – это рыскала лисица, копала снег, пытаясь извлечь зазевавшуюся полевую мышь. А там, далеко в стороне, кто-то проехал по дороге в санях и исчез в ущелье. На самом горизонте четким силуэтом виднелся его родной аул. У каждого дома торчал синеющий вдали тополь или карагач с будто остриженной верхушкой. Над крышами медленно и низко полз густой дым, цеплялся за ветки деревьев.

– Эй, что ты там не видел?– спросил заинтересовавшийся Кайрак.

– Красиво тут! Видать полмира. И наш аул.

– Да ну?

Кайрак взобрался к Данешу. Встал рядом с ним и зацокал.

– А отсюда упаси бог свалиться! Вот уж не думал, что и здесь такой обрыв. Упадешь, не остановишься. Так и будешь катиться кубарем.

Данеш заглянул по ту сторону стога и тоже удивился – такой тут вырос овраг.

– А на дне вода. Смотри, мороз, а она хоть бы что, не замерзает,– удивился Данеш.

– Там из земли бьет родник. Летом мы здесь косили, чуть что – и к роднику. Вода такая вкусная, пьешь – не напьешься.

Данеш снял ушанку и начал счищать с нее приставшую сенную труху. Он сделал неловкое движение, и шапка упала к ногам Кайрака.

– Надень. Простынешь. Тоже мне спортсмен, – сказал Кайрак.

– А что? Я закаленный, не то что ты! Видно, и ночью не растаешь с шубой, спишь в ней около печи, – ответил Данеш и потянулся за ушанкой.

– Ты закаленный, говоришь? Сейчас посмотрим, – и Кайрак пнул шапку ногой.

Шапка взлетела над стогом и медленно, как бы дразня своего хозяина, покатила вниз.

– Ой, не могу! Беги, догоняй! – захохотал Кайрак, он хлопнул в восторге себя по ляжкам и слез к своим саням, продолжая смеяться.

А Данеш, оцепенев, следил, как шапка будто нехотя переваливалась через край оврага. Он надеялся, что в последний момент она зацепится за какой-нибудь старый корень. На какое-то время крутой обрыв скрыл от него шапку, и тогда Данеш заскользил вниз. Добравшись до обрыва, он заглянул вниз – шапка, точно гонимое ветром перекаати-поле, мчалась ко дну оврага. Затем она перевернулась в последний раз, мелькнув старенькой подкладкой, и с плеском упала в родник.

«Этого еще не хватало!» – огорчился Данеш. Он взял вилы и начал спускаться на дно оврага, опираясь на вилы. Сейчас, среди снега, родник казался дегтярно-черным. Будто и не было лета, когда он серебристо вызванивал среди камней. Теперь он был неподвижен, точно под ним таилась мрачная бездна.

Когда Данеш добрался до воды, шапка уже полутонула, наполнилась водой. Он вылил воду из ушанки, яростно встряхнул, выжал, но шапка набухла, точно губка. Данеш сгоряча натянул ее на голову и тут же сорвал, потому что темя и виски тотчас же обхватило ледяным обручем. Он связал тесемки и, повесив шапку на руку, осыпая Кайрака проклятиями, полез из оврага. Вот где сказалась усталость, он задыхался, поджилки его тряслись, и один раз ему подумалось, что так он не выберется из оврага.

Кайрак уже уехал. Его сани маячили в метрах двухстах от стога. Сам он сидел нахохлившись, даже не повернул головы.

– Ну, подожди у меня, – прошептал Данеш, скрипя зубами.

Он залез на воз и поднял бич, но притомившиеся лошади тронули с места сами, не дожидаясь команды.

Стужа, видно, только и ждала, чтобы он остался без шапки. Теперь-то она взялась за него всерьез, обхватила голову Данеша, больно прижала к своей ледяной груди, прищемила нос, задула в уши.

– Уу!– закричал Данеш, поднял бич, хлестнул им в воздухе, вкладывая в удар всю злость.

Кони испугались, прибавили прыти, сани запрыгали по снежным ухабам, опасно кренясь. Лицо и уши Данеша залила колющая боль. Он понимал, что нужно остановиться и хорошенько натереть их снегом. Но его торопила жажда мести. Данеш только снял рукавицы и потер лицо и уши ладонью, потому что теперь он думал лишь об одном – как поскорей настичь Кайрака.

Догнал он Кайрака уже на дороге. Услышав неистовый топот его коней, Кайрак обернулся, брови его полезли на лоб, изломились углом.

– Все хвастаешь закалкой! Пижон!– крикнул он, усмехаясь.

Дикая ярость охватила Данеша.

– Сейчас ты еще не то увидишь,– процедил он и стегнул лошадей, посылая в обгон Кайрака.

Его воз, взлетая полозом на обочину, поравнялся с упряжкой Кайрака и начал теснить его к краю дороги.

– Осторожней! Куда прешься? Перевернешь, не видишь, что ли?– завопил Кайрак.

В ответ Данеш поднял бич.

– Э, тоже могу!– встревожился Кайрак и взял было свой бич.

Но Данеш опередил его. Не помня себя от бешенства, он широко размахнулся и хлестнул Кайрака по голове.

Кайрак завалился на бок и пополз с саней. Данеш победно поднял руку с бичом, и кони вынесли его на дорогу.

– На помощь! Убили!– заорал за его спиной Кайрак.

Данеш обернулся, увидел, что тот лежит на дороге, схватившись обеими руками за ногу, и остановил упряжку.

От поверженного противника его отделяло около полусотни метров, но Данеш остыл уже с первым шагом.

«Зачем я сделал это?– спросил он себя. – Откуда ему было знать, что шапка скатится в родник?»

– Что тебе еще нужно?– спросил Кайрак с ненавистью и поднял на Данеша налитые кровью глаза.

– Дурак! Я хочу тебе помочь,– сказал Данеш, остановившись над ним.

– Уходи!– произнес он сквозь зубы.

– Давай помогу. – Данеш попытался поднять Кайрака.

– Уходи, говори! – повторил Кайрак.

Данеш невольно отступил в сторону и тут почувствовал, что еще немного – и ему самому будет плохо. Голова так промерзла, что на плечах, казалось, был кусок льда.

– Ноги-то как? Ничего?– спросил он, стуча зубами.

У Кайрака едва не брызнули слезы.

– Да оставь меня! Оставь!

– А сам заберешься на сани?

– Без тебя обойдусь! Слышишь? Обойдусь без тебя!

Данеш вернулся на свой воз, подождав немного, растирая нос и уши, и, убедившись в том, что Кайрак, хоть и с трудом, да забрался в свои сани, погнал лошадей.

Никогда он не думал, что холод может быть таким нестерпимым. Боль в голове теперь не отпускала его. Глаза слезились от встречного ветра, он не успевал вытирать их, и слезы, наверное, замерзали на ресницах, на щеках, возле носа. Он решил, снял ватник

и закутал им голову, оставив щель для глаз. Только рубашка и старенький пиджак защищали его теперь. Стужа тотчас сдавила грудь холодными железными щупальцами, не давая дышать. Когда тело совсем застыло от холода, он вновь надел ватник.

Данеш нахлестывал лошадей, но время будто замедлило ход, растянуло дорогу на целую вечность. Он неистово тер уши, щеки, шею. Вначале они болели от мороза. Потом боль исчезла. Когда он коснулся своих волос, ему почудилось, что это жесткая проволока. Он начал растирать голову с удвоенным ожесточением. И почему-то вдруг вспомнил руки давешней доярки. Они были горячими, вот что. И она сегодня вечером будет ждать его. Именно это и сказала она, когда отозвала в сторону. Так поскорей же! Заботливые горячие руки спасут его!

Предзакатное солнце стояло в небе огромным раскалившимся до багрянца шаром, точно пылающий уголь.

Только от него не было тепла, от этого большого бесполезного солнца. Оно висело почти над плечом Данеша, казалось, протяни ладонь – и обожжешься, а Данеш замерзал. Для чего же тогда взошло солнце в этот день, если у него не хватало сил отогреть даже одного человека? Отогреть именно сейчас, потому что потом будет поздно.

Данеш снова снял ватник и накрыл голову, стараясь согреть ее своим дыханием. Но в легких теперь тоже был холод, и дыхание выходило стылое, точно из погребаледника. Он несколько раз снимал ватник, прятал в нем голову, словно затеял со стужей опасную игру.

Да что же это такое? Когда наступит конец этой ужасной дороге? Где он теперь? В казахской степи или в адовом котле, в котором жарят на трескучем морозе?

Потом мороз оставил его в покое, и ему захотелось спать, спать. Глаза закрывались... Сейчас бы прилечь на мягкое сено. Разве найдется ложе удобнее!

И полозья спуют тебе песню, точно струны кобыза. Но он родился в суровой степи и поэтому знал, как опасен сон для замерзающего человека.

Кони будто понимали его, неслись как оглашенные, но ему все труднее и труднее было бороться со сном. Ресницы слипались, будто их смазали клеем. И сквозь дрему слышался треск. Словно весь мир потрескивал от мороза. В конце концов Данеш устал бороться, закрыл глаза, и ему стало тепло, как летом. А вот и доярка здесь, теплая, ласковая...

Но почему лошади встали? Данеш хотел приподняться, прикрикнуть на лошадей, но потерял равновесие и повалился на чьи-то крепкие руки. Его поставили на ноги, придержали за плечи. Ах, вот оно что: он все-таки добрался живым. Теперь можно и умереть, но, впрочем, зачем умирать теперь-то; когда он приехал домой? Отныне ему только и жить...

Его потрясли за плечо.

– Данеш, очнись! Где Кайрак? Ты слышишь? Где Кайрак?

Это голос заведующего фермой. Он пришел утром и сказал... Что он сказал утром? А сейчас он интересуется, где Кайрак. Разве Кайрак был с ним?

– Молодец, столько сена привез!– произнес чей-то знакомый далекий голос.

– Будь проклят тот час, когда я послал их за сеном!– выругался заведующий.

Затем Данеш смутно ощутил, что его втащили в дом и принялись раздевать. Вначале отняли шапку, а он-то забыл про нее с тех пор, как повесил через руку. Потом стащили рубаху. Тепло вонзилось в него тысячей игл, прожгло суставы. Он не выдержал и застонал.

– Потерпи, милый, потерпи,– услышал он ласковый женский голос.

Может, это была она, к кому он так рвался в последнюю минуту?..

И тут у него закружилась голова.

После густого снега, после того, как буйный буран вволю погулял по степи, настала ясная погода. Но над степью еще царила злобная стужа, ее цепкая ледяная рука держала в тревоге все живое. Ох, и неумолима ты, стужа!..

Мороз лепил на окне узор за узором. Не окно, а цветочная клумба. Только все цветы были одинаково серебристыми.

Когда не встаешь с постели и делать особенно нечего, ювелирная работа мороза вызывает даже интерес. Вот вырос один цветок, а потом у него появились новые лепестки, и уже на его месте цветок другой, диковинней прежнего. За окном мороз не страшен. Пусть рисует сколько угодно.

Душа человеческая отходчива.

Но тело Данеша помнит до сих пор, что такое стужа, и когда мороз пишет свои узоры, оно переживает все заново: и бесконечную дорогу, и ледяные тиски, охватившие голову, и печаль, и безнадежность.

Голова Данеша перебинтована, видны только поблескивающие от жара глаза. А бинты белы-белы, точно снег, точно изморозь. Даже хрустят от крахмала, как наст.

Он редко остается один. Его то и дело навещают люди. Двоюродные братья сидят у постели часами, пытаются узнать, что произошло между ним и Кайраком. И когда они уходят, в их глазах горит жажда мести. Их сменяют другие, они участливо интересуются его самочувствием. А третьи, поболтав о том, о сем, заводят речь о его примирении с Кайраком.

Вот и сейчас заведующий фермой, он у постели Данеша уже во второй раз, хотя и в летах. Он сидит на табурете, сгорбившись, трогает седой короткий ус и говорит:

– Кайрак не уходит со двора. Замерз, сукин сын, а не уходит. Хочу, мол, упасть в ноги и попросить прощения. Плачет, бедняга. Хотя шут с ним-то с самим. Может, он и не достоин прощения. Может, ему только и место что за решеткой. Но семья у него, понимаешь, семья.

Он рассуждает долго, и так, и эдак, приводит всякие доводы. Хотя все это и ни к чему. У Данеша не хватает сил высказать то, что он думает. Он произносит лишь одно:

– Пусть идет домой. Пусть не боится. Я же говорил: между нами ничего не было...

\*\*\*

В один из весенних дней, когда степь освободилась от снега и стужа вспоминалась, как давно прошедший сон, Кайрак искал свою заблудшую корову. Он объехал все подозрительные места, густо поросшие сочной весенней травой, и поиски случайно привели его на кладбище. Здесь, у самой дороги, горбилась невысокая, еще свежая могила. Земля была сырой и нагретой, и оттого над могилой струился пар.

– Это ты?– пробормотал Кайрак, придерживая коня.

Его недавний противник болел долго и умер перед самой весной, унеся с собой их тайну. Никто так и не узнал о том, что произошло между ними там, у злополучного стога. Молча хворал и молча умер.

А расскажи он, как все случилось, не миновать ему, Кайраку, беды. Того и гляди, угодил бы за решетку. И уж без чего бы не обошлось, так это без мести родичей Данеша. А там бы пошло, пошло – вечная вражда между потомками Данеша и его, Кайрака. Разве не утешение для умирающего знать, уходя из этого мира, что все-таки вознес он над головой врага свой карающий меч? Другой бы так и поступил на месте Данеша. Но тот промолчал. «Почему он это сделал?»– частенько думал



Кайрак, который раз уже не в силах решить задачу, что задал ему перед смертью Данеш...

У этой могилы он плакал в день похорон, рыдал всех безутешнее. Упал на могилу и звал Данеша, а старики качали головой и говорили: «Что ж, вместе росли, играли, теперь нелегко расстаться. А мы-то считали их недругами». И растроганно вытирали слезы. Откуда им было знать, что он рыдал совсем по иной причине? Он боялся одного: а вдруг кто-нибудь знает правду, и плакал навзрыд, стараясь показать, будто его горю нет предела.

Сейчас он вспомнил об этом, и ему стало совестно перед самим собой за свою неискренность, так стыдно, хоть в пору провалиться сквозь землю. Кайрак потрогал щеки. Они горели от стыда, словно свежее клеймо. Кайрак поднял плеть и ударил коня. Конь, тянувшийся в это время влажными губами к траве, шарахнулся в сторону.

Обогнув могилу Данеша, Кайрак выехал на дорогу. Он понял сейчас, что Данеш все-таки победил.

## **КУСЕН-КУСЕКЕ**

### 1

Выгонял он овец на выпасы еще до восхода солнца. Так было в течение многих лет и постепенно стало привычкой. Такой уж привычкой, что едва еще только пробивается через щели в юрту тусклый предутренний свет, а Кусену уже не спится.

К утру в юрте зябко, уже осень, понизу дует совсем остывший за ночь ветер. Кусен одевается, поеживаясь от холода, искоса поглядывая на сладко посапывающих детишек. Все трое малышей спят под одним одеялом, и порой лежащий с краю раскрывается во сне. Тогда Кусен осторожно укрывает его одеялом, подтыкает под бочок.

Обычно в это же время возвращается его жена Айша. Она всю ночь сторожит отару и входит в юрту совсем измученная от усталости, разбитая до того, что сразу валится на постель рядом с детьми, даже не раздевшись, успев только закутать голову телогрейкой.

Одевшись, Кусен подходит к деревянному сундуку, стоящему у двери, разворачивает старую шубу и добирается до кастрюли с айраном. Бывает и так, что айран заквашивают только вечером, и оттого он еще тепловат. Но все равно это ни с чем не сравнимый айран, и Кусену в такие минуты нет ничего отрадней его кисло-сладкого привкуса во рту. Кусен наполняет айраном деревянную чашку и, помешав ложкой, жадно пьет до дна.

Потом он выходит из юрты, оглядывает степь, обрызганную росой, прислушивается к тишине – словом, изучает погоду. Его узкие серые глаза все еще красны после сна и слегка слезятся от прохлады. Он трет глаза кулаками и расчесывает бороду пальцами с темными обломанными ногтями. В бороде-то пять-шесть волосинок, а на щеках реденькая щетина, точно колючки, выросшие на такыре.

– Вот что, возьму-ка и побреюсь, – говорит себе Кусен.

Но тут же он вспоминает, что теплой воды нет, а холодная... брр... и от его решения не остается и следа.

– Ладно, побреюсь днем. Приеду на обед, тогда и побреюсь, – успокаивает он себя без особых усилий и направляется к своему рыжему жеребцу.

Напоив жеребца, он седлает его, садится верхом и распахивает дверцы загона. Овцы обтекают его, будто пена, а он пересчитывает их, шевеля губами. Иногда у него плохое настроение, в этом случае он не утруждает себя счетом, говоря в оправдание:

– А, куда они денутся!

Он гонит отару по хребтовинам холмов и, если день намечается ясный, норовит, как и все чабаны, угнать

овец подальше, приберегая ближние травы на худшие времена.

А проклятые овцы будто только тем и заняты, чтобы извести чабана по дороге. Вот одна ушла в сторону, за ней вторая. И Кусену приходится брэнчать жестяной банкой, привязанной к куруку, и вопить во все горло:

– Эй, куда вас, леших, несет? Назад! Назад!– И так, пока непослушные овцы не вернуться в отару.

Рыжий конь под Кусеном обленился вконец, распознав покладистый нрав хозяина. Как ни шпорь его каблуками, трусит себе не торопясь. Кусен и сам постепенно привык к этому, не обижался на Рыжего и временами даже обращался к нему, точно к приятелю:

– Ты только полюбуйся на эту безрогую! Вот чертова овца. Нет чтобы пойти туда, где сочная трава. Так ее тянет на камни!

Солнце застает его и отару уже на пастбище. Кусен глядит, как поднимается огромный багровый диск и лижет степь алым языком. Потом солнце сжимается, начинает белеть от накала. Вот первый белый луч падает на щеки, и Кусен чувствует его тепло. И куда подевалась роса? Только что играла серебром, и вот уже над землей поднимается пар. Настоянные за лето на солнце, начинают пахнуть травы. И заводят песни отогревшиеся воробьи. Они садятся на спины овец, бьют крыльями, точно плещутся в лучах солнца. А овцы хрустят стебельками типчака и той травой, что забавно называется «устели-поле».

Кусен следит за восходом солнца и покачивает головой, сообщает и себе, и овцам:

– Ай-ай-ай, день-то как убывает. Дней пять-то назад вон оно поднималось где. У той седловины.

С осенней погодой у Кусена свои отношения. Когда небо чистое, ясное и теплое, у него хорошее настроение. Если погода портится, у Кусена тоскливо на душе. И тогда дни ему кажутся однообразными,

опостылевшими, он чувствует себя старым, заморенным. Тогда его тянет к людям. Ему хочется, чтобы хоть кто-нибудь приехал к нему погостить. А он бы заколол по такому случаю овцу, и в доме началась бы торжественная и веселая суета.

Но вот только странно как получается. Стоит все-таки приехать кому-нибудь из гостей, как следом спешат другие. То никто не навещает его, а то будто сговорятся: налетают таким табуном, что в юрте и сесть-то некуда.

Так и случилось в прошлый раз. Вначале приехал племянник с женой и двумя ребятишками. Племянник живет далеко, и Кусен давно не виделся с ним. По этому случаю он заколол овцу, и жена приготовила все, что нужно. Но только сели за дастархан, пожаловал зять с тремя товарищами. Хороший человек его зять, и спутники зятя, видать, славные джигиты, ну как не порадоваться их появлению. Тем более дочь велела им сообщить отцу, что заскучала по жирному бараньему бульону. А это значит – подавай ей овечку! Ну, да разве жалко для дочки овцу? В общем, к полуночи разобрались и только усадили новых гостей за дастархан, как за стенами юрты остановилась машина. Кусен наскоро вытер руки, выбежал из юрты и увидел «газик», набитый людьми. Это приехал двоюродный брат, очень большой человек, работающий ответственным секретарем в райисполкоме. А вместе с ним бабушка, жена и вся галдящая, неугомонная детвора.

Они-то привезли для детей Кусена ворох всякой всячины: тут тебе и маечки, и рубашонки, и много еще кое-чего.

Новые гости? Хорошо! И хотя еще цел, не съеден прежний барашек, в честь новопривывших прирезали нового. Таков обычай!

Наконец все расселись за угощением и начался праздник, который шел три дня. И все это время он и жена страшно переживали от того, что в тесной юрте

не могли разместить всех гостей подобающим образом. Сам Кусен все эти ночи спал на крыше кошары, закутавшись в шубу. Потом гости разъехались по домам; они получили в подарок по овце и, видимо, остались очень довольны его гостеприимством. А он, Кусен, и его семья остались одни среди разора.

Не то чтобы жалко было Кусену съеденного, выпитого и сломанного, просто ему хотелось, чтобы они приезжали не все одновременно, а по очереди, так, чтобы гости никогда не переводились в его юрте. А то вот приехали все одновременно, и теперь целый месяц не будет ни души.

Частенько и он, и жена Айша, и дети поглядывают на дорогу, которая ведет к центральной усадьбе, но с тех пор гости не показывали носа. «Господи, не оставь нас без гостей, пришли к нам кого-нибудь», – молит про себя Кусен.

Но у него еще есть в запасе козырь, который он бережет напоследок. Он может съездить разок на центральную усадьбу за получкой. Вначале он, конечно, зайдет в бухгалтерию, подсчитает трудодни, и свои, и жены, что они заработали за все лето, затем получит деньги, и после этого начнется главное. Дня три он будет гостить у родичей и веселиться досыта. А потом, нагостившись вдоволь, приятно устав, вернется домой.

И вот теперь Кусен чувствовал, что приближается момент, когда грех откладывать эту соблазнительную поездку. Неспроста в последнее время его губы точно сами по себе подсчитывали: мол, в этом году он и жена настригли шерсти больше обычного, а за это полагается добавочная плата, как ни говори, и приплод ныне увесистый – это тоже деньги. Так губы и шепчут:

– Семь прибавить восемь, один в уме...

К губам присоединяются пальцы, тоже начинают ворожить:

– Семь и четыре – одиннадцать...

– Айша, а неплохо мы, кажется, поработали в этом году. Больше, чем в прошлом, – не выдерживает он, обращаясь к жене.

– Вот и хорошо, пошлем ребятам, – отвечает Айша.

– Пошлем, – соглашается Кусен.

Кроме трех меньших, у них еще четверо детей. Трое пока учатся: кто в техникуме, кто в школе-интернате. А старшая дочь уже замужем и живет далеко-далеко.

– Поможем им, жена, поможем обязательно, – обещает Кусен.

Словом, все идет к тому, что пора съездить на центральную усадьбу. И Айша тоже не против.

– Съезди, съезди, – говорит она, – если хочешь, съезди, пока есть погода.

Но как всегда бывает в таких случаях, накопилась куча дел. То понадобились дрова, то прохудилась крыша кошары. Потом детишки напоили коня, погнав его перед этим, и конь заболел. И многие другие мелочи цепляли его за полы, оттягивая отъезд.

Однажды он поднялся спозаранку с твердой решимостью попасть на центральную усадьбу, что бы там ни стряслось.

Конь – самое главное в этой затее, потому он начал со своего рыжего жеребца. Захлопотал вокруг него – сводил к роднику на водопой, надел ему на морду мешочек с зерном и, пока Рыжий шумно жевал, расчесал ему хвост и гриву, счистил засохший пот со спины.

«Ну, вот и Рыжий в порядке, – удовлетворенно сказал себе Кусен и на радостях добавил: – Так уж и быть, поеду завтра, но завтра – это уже точно, накажи меня бог».

Ночью ударили заморозки. Солнце еще не взошло, кошару, и юрту, и всю степь, куда доставал глаз, будто покрыли солончаками.

Одна из собак, дремавших на крыше кошары, подняла голову, послушала секунду-другую и залаяла. За ней забрехали остальные собаки. Кусен отпустил гриву

коня и прислушался. По дороге приближался гул автомобильного мотора.

«Э, кого это несет в такую рань? Неспроста, видно», – заинтересовался Кусен.

Он перешел на место, откуда просматривалась вся дорога, и увидел приближающуюся водовозку.

Водовозка обычно стояла на овцеферме, в штабе, как говорил заведующий. Ему самому это было на руку, потому что он частенько разъезжал на ней, словно на личной машине.

Вот и сейчас за стеклом кабины виднелось его широкое скуластое лицо. Между ним и шофером сидел заведующий ларьком Бисултан.

Шофер завертел рулем, будто хотел его вывинтить, и машина описала сумасшедший полукруг. Кусен подумал, не отойти ли подальше, мало ли что можно ждать от неразумной машины и молодого шофера, но потом решил сохранить достоинство и замер на месте.

Вот водовозка остановилась, из кабины энергично выпрыгнул заведующий овцефермой и сказал, обращаясь к спутникам:

– А что я говорил? Видите, он уже собрался! Опоздай мы на минуту, и потом ищи его по степи.

Затем он протянул Кусену ладонь и произнес уважительно:

– Здравствуй, Кусеке! Вижу, ты уже собрался на выпас? Нет, нет у вас покоя ни днем, ни ночью. Почетная, но трудная работа, что и говорить... Как твои дети, Кусеке? Живы, здоровы? Айша, наверное, спит? Жаль! У нее такой айран, язык проглотишь. Впрочем, пусть спит. Мы сами найдем его! Верно, Кусеке?

Кусен не успел и рта раскрыть, а заведующий овцефермой подмигнул ему, ткнул пальцами в живот, вошел в юрту без приглашения и начал хозяйничать, будто свой человек: развернул шубу на сундуке, налил айрана в чашку, из которой еще недавно пил Кусен, вышел наружу и начал пить, причмокивая и точно

удивляясь. Уж таким был этот человек, заведующий, все норовил прикинуться своим, зная, что тогда чабаны будут всегда уступчивы.

– Вкусный, как мед, – заключил он, вытирая губы рукавом, и Кусен подумал, что заведующий льстит неспроста.

Вот так он всегда: если эта бесхвостая лиса приезжает по серьезному делу, прежде начинает делать заходы, и обманом возьмет, и гипнозом возьмет, и слова-то такие найдет, что попробуй устоять перед ним.

«С чем же ты приехал сейчас, а?» – усмехнулся Кусен мысленно.

А заведующий уже засунул голову в двери кошары, сделал вид, будто заинтересовался овцами Кусена.

– Твои овцы тучнеют не по дням, а по часам, Кусеке, – заявил заведующий и даже прищелкнул пальцами, – в этом году первое место твое, Кусеке! Правда, все хвалят Билиспая. А я не знаю, за что. Его овцы – форменные скелеты по сравнению с твоими. Если так пойдет и дальше, считай, что орден уже на твоей груди! – закончил он торжественно.

Кусен с первой минуты понял, что заведующий ублажает его с какой-то целью, и все же ему приятно было услышать про орден и про то, что его овцы жирнее, чем у Билиспая, извечного соперника в трудовом соревновании.

– Время покажет. Ты же знаешь, я не жалею себя, – пробормотал Кусен, стараясь казаться скромным.

– Нет, орден тебе будет обязательно! И не спорь со мной! – возмутился заведующий, будто все это было в его руках и будто сам Кусен отказывается от ордена.

После этого заведующий овцефермой решил, что Кусен достаточно обработан, и открыл причину своего появления. Оказалось, что на ларек нагрянула ревизия и у заведующего ларьком Бисултана обнаружена недостача.



– Все мы виноваты, Кусеке. Один брал в долг одно, другой – другое. Разве всех упомнишь? – сказал заведующий овцефермой.

– Конечно, конечно, – закивал Кусен, боясь, что люди подумают, будто он не доверяет Бисултану.

И кротко стоявший рядышком Бисултан тоже кивнул, мол, так оно и было.

– Сумма набралась немалая. Где ему собрать за три дня? Неужели мы, добрые люди, позволим, чтобы такой хороший человек, как наш Бисултан, попал под суд? А, Кусеке? – опять спросил заведующий овцефермой, а круглое лицо Бисултана стало грустным-грустным.

– Конечно, не позволим! Зачем под суд? – горячо согласился Кусен.

– Доставай бумагу, – сказал заведующий овцефермой Бисултану, и тот извлек из кармана свернутый лист бумаги и химический карандаш.

Когда Бисултан развернул бумагу, Кусен увидел список чабанов и нашел свою фамилию. Против нее стояла цифра сто.

– С тебя причитается сто рублей. Если не жалко, – пояснил Бисултан.

– Почему жалко? – испугался Кусен.

Он взялся было за карандаш, но услышал, как заведующий овцефермой сказал шоферу:

– Между прочим, какой молодец этот Билиспай, а?

– Что сделал Билиспай? – насторожился Кусен.

– Да вот до вас мы к нему заехали, говорит: «Почему сто рублей? – Тут заведующий овцефермой сделал паузу, а затем закончил так: – Для такого дела не жалко и сто пятьдесят!» Вот он какой, Билиспай!

Кусен сейчас же заглянул в список и обнаружил, что цифра сто против фамилии Билиспая и вправду исправлена на сто пятьдесят. Кусен узнал его корявую руку. Не сказав ни слова, он послунял карандаш и переправил свою сотню на сто шестьдесят. Бисултан

крякнул восторженно, а заведующий овцефермой хлопнул Кусена по плечу и сказал:

– Молодец, Кусен! Так и знал, ты обгонишь Билицкая!

И опять принялся расхваливать Кусена на все лады. Водовозка тронулась и выехала на дорогу, а до Кусена все еще доносилось, как заведующий овцефермой расписывает его и так, и эдак.

Кусен покачал головой, дивясь неумоимости заведующего, и начал седлать коня.

## 2

В тот день он отогнал овец на шесть километров от кошары, в холмы, поросшие чием и кияком. Здесь он снял с Рыжего удила, ослабил подпругу, пустив этого ленивца пастись на свободе, а сам выбрал холм повыше, поднялся на него и прилег на бок. Вокруг, под ним, распростерлась степь с бесчисленными отарами овец, с маленькими, отсюда черными, поездами, бегущими у самой линии горизонта.

Он поглядывает на овец и на поезда со своего высокого ложа и перебирает в памяти прожитые годы. Вспоминает, как ему не хотелось учиться в школе, как он убежал домой и отец отвозил его обратно, посадив на коня за своей спиной. Тогда еще не было колхозов, люди жили в голоде и нищете. Он видел сам, как умирали от истощения. Выжить могли только те, кто пас скот. Потому-то он и пошел в чабаны.

Мысли его текли неторопливо. Только иногда приходилось садиться на коня и, позвав с собой собак, гнать отбившуюся овцу в отару. Вернувшись на холм, он опять отпускал Рыжего и вновь погружался в раздумья.

Он уже смирился с тем, что на многие километры вокруг нет ни одной человеческой души, только овцы, собаки и лошадь. Зато каждый раз было большим

праздником, когда его посылали на какое-нибудь совещание, где собирается много людей. А если ехал кто-нибудь другой, он не обижался. Не ради славы он пасет овец. Люди хотят есть, а для этого нужно много овец. Да и о собственных детях приходится думать. Вон их сколько, целая орава детей, и каждому помощи. Так что ему не до славы. Правда, в последнее время его душу растревожили этим орденом. Председатель придет – говорит. Заведующий овцефермой тоже говорит. И теперь ему очень хочется, чтобы на его грудь нацепили большой красивый орден. А однажды ему приснилось, будто ему вручили этот самый орден. Вручили, а сказать не сказали, как приладить на грудь. Уж старался и так, и эдак – ничего не выходит. Он проснулся в холодном поту среди ночи. Подумав, счел странный сон плохим знамением и испугался, как бы орден, который он ждет, не перехватил Билиспай.

Он и сейчас начал думать о том, что бы все-таки значил этот сон, но мысли его словно укачали, и он не заметил, как уснул. А солнышко грело суставы и поясницу. Погода позаботилась сегодня о нем. А то как задуют ветры, тут уж дрожись, ежишься, и все мысли сводятся к тому, чтобы уберечь поясницу. В такие дни все против него. Овцы шалют от ветра, и он не слезает с коня с утра до вечера. И кажется, что нет на земле более проклятой доли, чем доля чабана.

Проснулся Кусен от собственного храпа. Такое с ним бывало нередко. Проснувшись, он почувствовал на затылке чей-то пристальный взгляд.

Он живо повернулся и увидел широкоплечего парня, который сидел на неоседланном жеребце, – ни дать ни взять кобчик, нацелившийся на жертву. Лицо парня было усеяно рябинами, словно некогда по нему густо пальнули дробью. Ноздри приплюснутого носа возбужденно трепетали. Кусен сразу узнал чабана с первой фермы – Тургали, известного сумасброда и забияку.

– А, это ты, Кусен?– произнес Тургали без всякого почтения и, тронув пятками коня, подъехал так близко, словно собирался затоптать Кусена копытами.

На первых порах Кусен онемел от этой бесцеремонности.

– Я-то думаю, какой нахал залез на мое пастбище. А это, выходит, ты, старый хрыч. Может, скажешь, почему ты пригнал сюда своих паршивых овец?– продолжал Тургали, глядя на Кусена с высоты своего коня.

– Это земля колхозная, и каждый здесь может пасти овец,– возразил Кусен, поднимаясь.

– Ну вот что, сейчас же выметайся отсюда. У меня разговор короткий,– заявил Тургали.

– Тургали, ты в своем уме? Что ты говоришь?– изумился Кусен.

– Я сказал то, что ты слышал. Убирайся из этих мест!– заорал Тургали.

Тут уж рассердился и Кусен. Он не любил грубых людей, но старался не обращать на них внимания и даже в душе жалел их, словно больных или обиженных богом. Однако Тургали перешел все границы.

– Ты что шумишь? Знаешь, кто ты? Ты – грубиян!– сурово сказал Кусен и пошел к своему Рыжему.

Тургали не трогался с места, сидел точно изваяние. Наконец он потряс кулаком и крикнул:

– Здесь я буду пасти своих овец! А ты уходи!

– Как будто мои овцы не колхозные, а?– усмехнулся Кусен и направил коня на Тургали.

– Не приближайся! Кому говорят? Не смей приближаться!– осатанел Тургали и так хлестнул Рыжего по голове, что Кусену показалось, будто ударили его самого.

Конь шархнулся (куда только девалась его лень!), и Кусен еле удержал Рыжего.

– Не трогай коня, щенок!– гаркнул Кусен, наступая на Тургали.

Тот попятился, размахивая плетью, затем развернул лошадь и, отскакав метров на двадцать, пригрозил:

– Потом не говори, что я не предупреждал!

Он ударил пятками своего жеребчика и ускакал за холмы.

– Мы еще посмотрим, кому раскаиваться!– крикнул Кусен вслед.

Тургали, конечно, уже не слышал, но Кусен не мог сразу остановиться, в нем все так и кипело.

– Ну и сумасшедший! Пьяный, наверное, не иначе,– пробормотал Кусен, успокаивая себя.

От кого-то он слышал, что Тургали сидел в тюрьме за свой буйный характер. Будто бы избил одного человека и за это попал за решетку. Вспомнив такое, Кусен малость струхнул и подумал, а не перегнуть ли овец на другое место. Дьявол с ним, с таким сумасшедшим, но потом в нем проснулось самолюбие. Вроде бы негоже джигиту отступить перед угрозой взбалмошного человека. И к тому же в душе Кусен надеялся, что Тургали действительно был пьян и, проспавшись, забудет о своих словах.

Тут он увидел, как бочком-бочком откалывается от отары баран с обломанным рогом. Вот уж где можно было отвести душу.

– Эй, ты! Безрогий!– яростно заругался Кусен.– Почему не пасешься, как все, а? А ну вернись, бес безрогий! Сейчас же вернись! Или хочешь плети, а?

Но баран будто не слышал окриков, и Кусену пришлось пришпорить Рыжего.

Солнце вышло в зенит, залило мягким осенним теплом серые степные травы, словно стараясь впрок прогреть эту бескрайнюю, но беспомощную степь.

Овцы насытились, отяжелели от обильной еды, побрели в тень, в заросли чия.

«Пусть отдохнут. К обеду погоню на водопой, а уж оттуда в кошару»,– подумал Кусен.

Он снова пристроился на холме. На других холмах так же сидели другие чабаны, и каждый со своими думами. Издали они казались ему застывшими каменными бабами, которых время навечно оставило в степи.

Сейчас он думал о том, как велик мир, распостершийся перед ним, и дивился этому. Вдоль горизонта полз поезд, попыхивал клубами дыма. А в вагончиках сидели люди. И много таких поездов проплывут из стороны в сторону, пока Кусен сидит на холме.

Иногда он бывает у железнодорожного разъезда, покупает чай, сахар или еще что-нибудь необходимое. Тогда он смотрит на людей, на платформы, стараясь представить те края, куда бегут поезда. «Почему это так? Один состав, груженный лесом, углем, идет на запад, и такой же состав, груженный тем же, идет на восток? Что же это, недоразумение или так положено? – спрашивает он себя. – Видно, никто не знает этого. Много на свете вещей, которых мы не знаем», – заключает Кусен.

Казалось, за войну он перевидал все, вернулся бывалым человеком. Воевал, освобождал многие города, осознал огромность земли. До сих пор перед его глазами стоит смерть товарищей, казахских и русских джигитов. А вот спроси его, бывшего пулеметчика, как заряжал пулемет, он и не помнит.

Он услышал топот копыт и, приложив ладонь к глазам, всмотрелся в клубы пыли. К подножию скакал юный Боздак.

Еще не минуло года, как Боздак пришел на ферму, а уже завоевал уважение у старых людей своим трудолюбием. Кроме того, он нравился Кусену веселым, общительным нравом. Вдобавок ему льстило, с каким почтением относился к нему Боздак.

Может, потому, что сын Кусена приходился ему сверстником, или еще по какой причине, только Боздак обращался к нему не иначе, как с уважительным «ага».

Вот и сейчас он спросил, придерживав коня:

– Ага, можно дослушать ваш рассказ?

– Ну, конечно, Боздак, – сказал Кусен, улыбаясь невольно.

Вчера этот юноша проведаль его, и Кусен, коротая время, повел рассказ о том, как погиб на войне один из его товарищей, когда они вместе пошли за «языком». Потом за Боздаком приехал старший чабан, и юноша так и не дослушал историю до конца.

– Это печальная история. Лучше послушай, как я состязался на айтысе с самой Багилой, – сказал Кусен, подумав.

– А кто такая Багила?

– Разве ты не знаешь знаменитую Багилу? Ай-ай-ай, Боздак! Она живет в соседнем колхозе, и такого акына, как Багила, нет даже в Алма-Ате!

– Ой, ага, и вы состязались с ней? – спросил Боздак с недоверием.

– Э, не только состязался, но и победил. Так что со мной не шути, – сообщил Кусен.

Что и говорить, иногда он любил присочинить и тут же втихомолку посмеивался над доверчивым слушателем. Так получилось и на этот раз. Боздак принял его выдумку за чистую монету и загорелся, попросил:

– Ага, не томите, рассказывайте.

– Сегодня мы уже не успеем, – сказал Кусен уклончиво. – Вот приезжай завтра, тогда я посмотрю.

Боздак умолял и так, и эдак, но Кусен только ухмылялся лукаво да твердил свое:

– Вот приезжай завтра...

– Ну, тогда хоть дайте совет, – сказал Боздак сдаваясь.

– Совет? Совет дать могу, – согласился Кусен.

– Что мне делать со старым Садырбаем? Вчера смешались наши отары, и он оставил у себя одну мою овцу. Я спохватился только вечером, когда пустил овец в загон. Вижу, одной не хватает. Тогда я поехал к нему, говорю: «У вас моя овца, отдайте, пожалуйста!» А он

смеется: «Ничего не знаю, нет у меня твоей овцы!» Как мне быть, не знаю.

– Да, Садырбай не отдаст, – сказал Кусен. – Если к нему попала чужая, ни за что не вернет. Хоть тресни! Выход только один: опять смешай своих овец с отарой Садырбая и потом забери свою овцу.

– У меня восемьсот овец, разве запомнишь всех? – смутился Боздак.

– Вот что значит молодость! Полюбуйтесь на него: всего восемьсот овец, и он не в силах запомнить. – Кусен покачал головой. – Ладно, я поговорю с Садырбаем.

– Ага, кто это? – встревожился юноша, и Кусен увидел троих всадников.

В первом он сразу узнал Тургали. Тот далеко оторвался от остальных и летел прямо на Кусена. Отставшие всадники размахивали шапками, что-то кричали отчаянно, потом он разобрал:

– Кусен! Берегись!

Теперь он и сам заметил ружье, которое Тургали держал поперек седла.

– Сейчас ты увидишь, кто такой Тургали! Я обещал тебе, и сейчас ты увидишь! – заорал Тургали, осаживая коня шагах в пятидесяти.

На него было страшно смотреть, совсем осатанел парень. Глаза налились кровью, губы дрожат.

– Эй, стань хорошенько! Буду стрелять! – крикнул Тургали и, подняв ружье, стал неверной рукой заряжать.

Кусену хотелось сказать: «Нехорошо, Тургали! Вдруг твое ружье возьмет и выстрелит, а? Ну-ка, опусти его и уезжай от греха».

Но язык почему-то вышел из подчинения, и Кусен не смог выдать ни слова.

– Ага, что он делает? – всполошился Боздак, он поттичьи взмахнул локтями, пришпорил коня и поскакал к Тургали.

Раздался оглушительный грохот, Кусену показалось, будто разверзлись небеса. Рыжий встал на дыбы, и



Кусену пришлось покрепче вцепиться в гриву. Потом, подняв голову, он увидел Боздака, нелепо свесившегося с седла набок.

– Боздакжан, что с тобой? Эй, что с тобой? – заголосоил Кусен; скатившись с лошади, он подбежал к юноше и придержал за ослабевшие плечи.

Он совсем забыл о Тургали, а когда хватился, тот уже был в крепких тисках у подоспевших на помощь чабанов.

Они стащили Тургали с коня, он не сопротивлялся, обвис в их руках, точно тряпичный.

Рана у Боздака оказалась пустяковой. Пуля слегка задела мякоть руки, у парня просто был шок. На него брызнули водой, Боздак открыл глаза.

Убедившись в том, что юноша вне опасности, чабаны занялись Тургали.

– До чего же ты кровожадный! – сказал один из них.

– Он говорил: «Во мне кровь так и кипит! Хочу кого-нибудь убить!» А мы думали, шутит, – пояснил второй.

– И вид-то у него... Тьфу!

Присмиривший Тургали лежал на земле, покорно свернувшись калачиком.

### 3

На другой день Кусен приехал на центральную усадьбу и до обеда просидел в правлении, пристроившись на стуле в углу, терпеливо ожидая, когда бухгалтер подсчитает причитающийся ему заработок за все лето. Потом он рассовал по карманам, за пазуху и за голенища сапог пачки денег, отправился на ток и оттуда привез к свояку две машины зерна, причитающегося на трудодни. Выгрузив зерно в клетки, Кусен пошел на почту и выслал часть денег детям.

После этого он решил, что главное сделано, и пару дней гостил у родственников, гулял от всей души. Хозяева не скупилась, угощали лучшей едой. Кусен

соревновался с ними в щедрости, так и сыпал подарками. Хозяину – подарок в честь хорошего урожая, хозяйке – на платье.

В эти дни он пил, говорил всласть и все, что заблагорассудится, а хозяева кивали, поддакивали, даже если он нес околесицу, перебрав лишнюю чарку. И не важно, что они думали про себя: он был их гостем, поэтому они улыбались и от мала до велика звали его уважительно «Кусеке». Только и слышалось:

– А Кусеке прав!..

– Послушайте, послушайте! Кусеке говорит дело!..

И все знали наперед, что перед отъездом вконец распустившийся Кусен обязательно что-нибудь натворит. И сам же обидится. Тогда ему будет легче уехать, обиженным, клянущимся более не ступать в аул ногой.

А пока Кусен чувствовал себя всеобщим баловнем, гордился этим и, стараясь держаться на высоте, сорил деньгами...

На третий день он заночевал у свояка. Сваяк работал в районном заготовительном пункте по сбору пушнины, и поэтому Кусен считал его важным человеком. Он и видом своим был внушительен – с большим животом, широкими розовыми щеками, а еще его лицо украшали густые темные усы. А уж щеголь-то он был... щеголь... Но более всего Кусену у свояка нравился дом: высокий, пятикомнатный, с красивой железной крышей. Заглянешь в такой дом – и выходить не хочется. Да и зачем из него уходить, если в доме всего в достатке. Столько еды и вещей, живи целый месяц, не высовывая носа.

Сваяк усадил дорогого гостя за дастархан, и на этот раз Кусен опьянел молниеносно. Вроде и выпил немного, а, поди же, понес бог знает что: начал хвастаться деньгами, выворачивать карманы. Да если бы деньги-то были, а то уже все прогулял, раздарил и почти ничего не осталось. Но свояк, как и положено,

поддакивал, пока не напился сам. А когда напился, терпение его лопнуло, и он сказал пренебрежительно:

– Хватит трясти перед моим носом этой жалкой пачкой. Если хочешь знать, я за месяц имею больше, чем ты за год. Так что убери!

Этого Кусен не смог стерпеть.

– Не хвастайся зарплатой! Я-то знаю, какая у тебя зарплата! А богатство твое – тьфу! Потому что ты берешь взятки с честных людей!

– А тебе их не дают! Что, завидно?– заорал свояк.

И пошло, и пошло! Много наговорили они друг другу. Что именно, Кусен уже не помнил. Знал только, что сказал свояку нечто непоправимое, после чего добрым отношениям приходит конец.

Проснулся он утром от холода и обнаружил, что лежит на веранде, что под ним тонкое одеяло, сшитое из лоскутьев разного цвета, и на это одеяло он так и свалился прямо в одежде.

За чаем он и свояк прятали глаза, но о ночной ссоре не обмолвились ни словом. Опохмелившись остатками водки, поговорили о делах. Потом Кусен дал понять, что ему пора собираться домой, и сказал свояку, по-прежнему отводя глаза:

– Если тебе попадутся хорошие сапоги, возьми для меня.

– Хорошо,– кивнул свояк, тоже избегая его взгляда,– недавно заказывал сапоги из чистого хрома. Чабан Биლისпай просил. Какие сапоги получились! Не сапоги, а картинки!

– Биლისпай, говоришь? Может, и мне закажешь такие?

– Давай сто рублей. И всего-то!

Кусен полез за деньгами, отсчитал сто рублей, двадцать как бы сапожнику на чай, затем вспомнил, что у жены тоже износились сапоги, и добавил еще шестьдесят рублей.

«Вот почти и все деньги»,– подумал он, сокрушаясь, но ничем не выдал своего сожаления. Только попросил:

– Если будет возможность, перешли нам парочку мешков муки.

– Ладно, перешлю, – важно пообещал свояк.

Когда Кусен отъезжал от дома свояка, на душе у него было муторно. Почему-то он чувствовал себя виноватым и перед свояком, и перед собой, и перед всем миром, хотя и не знал толком, в чем заключается его вина. А свояк стоял в дверях, выпятив живот под белоснежной новой рубашкой, и Кусен показался себе жалким, ничтожным.

Потом всю дорогу его не покидало ощущение, будто его душу вытряхнули из тела. Он клялся, что больше не поедет в аул, будет посылать жену. Ему стало совсем не по себе, когда он вспомнил, как сорил деньгами и за три дня спустил почти все, что они с Айшой заработали за год. Правда, он роздал подарки всем родичам, никого не забыл, никого не обидел. Разве что сыну свояка не досталось. Напился он как-то сразу, а уж потом ему было не до этого парня. А теперь, поди, сын свояка обиделся на него, и ему стало неудобно перед ним. Может подумать, что пожалел или, что еще хуже, обошел вниманием.

Уйдя в невеселые думы, он не сразу заметил, что навстречу ему по дороге катит голубая новенькая «Волга», а потом, спохватившись, повернул своего Рыжего к обочине. Машина проехала мимо, обдав его облаком пыли, и остановилась шагах в двадцати. Из машины вышел человек в шелковой рубашке, и Кусен узнал в нем заведующего ларьком Бисултана.

– Здравствуйте, Кусеке! – приветствовал Бисултан издали, протянул обе руки и пошел к Кусену.

Лицо его покраснелось, глаза поблескивали, ворот рубахи расстегнут – видно, что Бисултан навеселе. Он обернулся к машине и сказал:

– Это наш Кусеке! На всю округу нет чабана лучше, чем Кусеке. Давайте-ка отметим эту встречу! Тащите-ка заветную...

Из машины вышли двое мужчин, один нес хозяйственную сумку. И мигом около обочины возник пиршественный стол. Бисултан протянул Кусену полный стаканчик водки и произнес тост:

– Кусеке, пусть ваша жизнь будет полной, как этот стакан!

Кусен вначале отнекивался, потом подумал: «А впрочем, почему бы не выпить за полную жизнь?» – взял стакан и выпил до дна.

– Вот так нужно пить! – восторженно сказал Бисултан своим спутникам, а те забормотали что-то, выражая свое восхищение.

– Ну, Кусеке, все в порядке! Я отчитался! – сообщил Бисултан, повернувшись к Кусену.

– Ты молодец, парень! Молодец! Это хорошо, что ты выпутался, дружище, – ответил Кусен с искренней радостью.

– Не то уж, думаю, придется продать мою голубую, – и Бисултан указал на «Волгу».

– Э, зачем же продавать такую красавицу? В наше время это, наверное, и есть крылья джигита, – заключил Кусен.

Кусен пропустил еще стаканчик, затем еще, попрощался и поехал дальше. Водка ударила ему в голову, рассеяла недавнюю тоску, он забыл о своих обидах и замурылкал себе под нос песенку.

Рыжий уловил его благодушное настроение и топал себе не спеша, меланхолично поматывая головой.

Домой он добрался к вечеру, Айша и дети распахнули настежь дверцы юрты и уже, вероятно, не один час сидели, смотрели на дорогу, ждали его, проглядев все глаза, будто Кусен уезжал лет на десять и они истосковались по нему.

Они окружили его, теребили за пиджак. Шума-то и восторгов сколько! Кусен и сам разволновался, радовался, точно дитя, засыпал жену вопросами:

– Ну, как вы тут без меня? Дети здоровы? Волки не беспокоили?

Оказывается, волки не беспокоили. Дети здоровы, только вот скучали по нему.

После ужина он и Айша уложили детей в постель и начали подсчитывать деньги. Кусен шарил по карманам, за пазухой, за голенищами сапог, извлекая мятые рубли и трешки, укладывал стопкой перед Айшой.

– А вот еще!.. А, еще одна, – приговаривал Кусен, радуясь каждой рублевке, не замечая, как расстроена жена.

Когда подсчет закончился, Кусен обескураженно потер лоб, выходило, что этой суммы хватит только на то, чтобы запастись на два месяца чаем, мылом и прочими мелочами.

– Что же ты и это не роздал людям? Небось оттянуло карманы? – язвительно обрушилась на него Айша. Уж как только она его не ругала!

– Да будет тебе! Разве и это малые деньги? – пробормотал Кусен, но более перечить не стал.

Он знал по опыту, как надо себя держать с разбушевавшейся Айшой, – лег на бок, лицом к стене. Этот нехитрый тактический ход обычно заканчивался его победой. Так было и сейчас. Наговорившись вдоволь, Айша умолкла и занялась домашними делами.

А Кусен с открытыми глазами размышлял потихоньку. «Как же это так получилось? Не мог же я раздать все деньги? Их было столько, что самому не сосчитать», – спрашивал он себя. И не находил ответа, только удивлялся, прищелкивая языком. Потом ему стало жаль пущенных по ветру денег.

«На эти деньги можно было купить легковую машину. Таковую, как у Бисултана. Ну, может, не совсем такую, а немного поменьше», – сказал он себе.

Что же это выходило? У других чабанов машины и красивые дома, построенные на центральной усадьбе. Билиспай вот-вот, наверное, купит себе машину, а у него

ничего, кроме одежды. «И как это они умудряются копить деньги? Вот я попробовал, и ничего не получается», – подумал он с завистью. И тут его осенило, что они отказывают себе в простых удовольствиях, что они не позволяют себе сделать приятное и себе, и другим людям, как он в эти три дня. Кусен вспомнил счастливые лица родичей, когда те получали его подарки, и успокоился.

«Да ну их, машины, красивые дома. С голода мы не порем, значит, и сетовать нечего. Зато я угощал людей, и они меня угощали. А что еще важнее этого? Пожалуй, нет ничего важнее», – решил он про себя.

После этого ему стало хорошо, покойно. К нему под бок подкатился во сне меньший сын, он погладил его по оголившемуся животику и лег на спину. Только теперь он заметил, как устал от трехдневной гульбы.

«Да, в другой раз получать деньги поедет Айша», – решил он твердо.

– Айша, когда конь остынет, покорми его! – сказал он громко, чувствуя, что еще немного – и провалится в сон.

За стенами задул порывистый ветер, загудел, заиграл тундыком<sup>1</sup>, напоминая о том, что настал ноябрь.

Ноздри Кусена улавливали еще кислородный запах овечьей шерсти, едкий дымок тлеющего кизяка.

– Разденься, ложись как следует, – услышал он голос жены. Айша наклонилась над ним, слегка потянула за нос. – Ишь, подстригся и бороду сбрил. Совсем молодым вернулся, – добавила она с лукавой усмешкой.

Кусен вяло разделся, рухнул на постель. Его слух воспринимал звуки, долетавшие снаружи: он слышал, как фыркают, переступая копытцами, в кошаре овцы, как в отдалении лают собаки. А вот донесся и протяжный певучий голос жены:

– Ай-о-у!

Он понял, что Айша вышла сторожить отару, и тут же уснул.

---

<sup>1</sup>Тундык – кошма, прикрывающая дымовое отверстие.

## УЛТУГАН

### 1

Их оказалось не так-то много, людей, принявших близко к сердцу смерть отца Ултуган и ее собственное горе. На третий день поминок посетителей стало еще меньше, раз-два и обчелся. Расходясь по домам, они на минутку присаживались рядом с Ултуган, повторяли слова утешения, давали советы.

– Крепись, свет мой, Ултуган! Ты сделала для отца все возможное. И он и мать были довольны тобой. И на том свете им тоже не в чем упрекнуть тебя. Ты ухаживала за ними, как ухаживают сыновья, а может, и лучше, – приблизительно так говорил каждый из них перед уходом.

А когда закончился и этот, третий, день, когда хлопнула дверь за последним ее утешителем, Ултуган и вовсе осталась одна. После стольких дней, заполненных плачем и говором людей, в обеих комнатах дома установилась глухая, душная тишина. Сквозь маленькое оконце, – стекла уже начинали пылиться, – еще падал красноватый отсвет заходящего солнца, а в доме уже начинали сгущаться сумерки.

«Ах, отец, отец, пусть земля будет тебе пухом, почему ты сделал только одно окно?» – подумала Ултуган с упреком.

И это крошечное оконце, напоминающее о камере узника, этот плотный сумрак и тяжелые кирпичные стены, обступившие Ултуган со всех сторон, пугали ее. Она с раннего детства боялась одиночества, плакала, когда ее оставляли одну.

Ултуган подошла к кровати отца. Здесь три дня тому назад лежало его тело, головой на восток, как и следовало по обычаю. Бледно-желтое худое лицо отца с острыми скулами и глубоко запавшими глазами казалось чужим. Строгий, суровый родитель и при



жизни вызывал у нее робость, она не смела подойти первой, всегда ждала, когда сам позовет. А теперь он и вовсе стал неприступен, уходя по дороге, которая никогда не возвращала назад.

«Ну вот, отныне я сама себе хозяйка, – подумала она с горькой усмешкой. – Только что мне делать с этой свободой?»

Горе вновь полоснуло ее по сердцу, точно ножом, из глаз новым потоком вырвались слезы. А ей-то казалось, что она оплакала все, что можно. Да, выходит, забыла оплакать собственную судьбу. И за что судьба была так к ней несправедлива? Разве она виновата в том, что появилась на свет не сыном, а дочерью?

Она любила своих родителей, но не раз в душе их корила. Самые умные для нее на свете, они не смогли подняться над традицией прошлого. И если издревле у казахов сын был желаннее дочери, то и они, трепеща, ждали сына. Все их помыслы были только о сыне. Но чрево матери долгие годы оставалось бесплодным, как пески пустыни.

И когда, наконец, свершилось – на склоне их лет родилась она, девочка, отец и мать, бедняги, и тогда не хотели признать то, что им навязала природа. Они называли дочь Ултуган, то есть «рожденная быть сыном».

И она тоже, начиная с первых своих шагов, воображала себя мальчишкой. Играла на улице только с мальчишками, боролась с ними, ходила в синяках, училась сквернословить и курить. И, как истинный мальчишка, не прощала обидного слова и чуть что – лезла в драку. Это была счастливая пора неведения правды. А когда Ултуган узнала, что на самом деле не мальчик она, а презренная, слабая девочка, отчаянию ее не хватало границ. Бывало, она, забравшись в заросли мяты, росшие за домом, в бессильной злости каталась по земле и безутешно плакала.

И все же Ултуган бросила природе вызов, сказала себе, что станет такой дочерью, которая заткнет за

пояс десять лучших сыновей десяти лучших родителей. Она росла, как говорили вокруг, девушкой с мужским характером. И закончила среднюю школу лучше многих мальчишек. И кто знает, чего бы еще добилась Ултуган, пойдя она дальше учиться? Но старость родителей привязала ее к семье. Их здоровье разрушалось теперь с той неумолимой скоротечностью, с какой разрушается под дождями и ветром давший первую трещину старый саманный забор. Они стали часто прибалывать, а смотреть за ними некому было, кроме нее, их единственной дочери Ултуган. Но Ултуган не сетовала, – не она ли сама клялась заменить родителям самого преданного сына? И Ултуган ухаживала за ними засучив рукава. Она научилась угадывать желание отца и матери по движению их бровей. С заботами о родителях всходило ее солнце, с заботами о них и заходило. Из-за них же она отказала первому жениху, потом и второму... Ултуган верила, что каждому человеку отмерено свое счастье, а коли так, ее собственное счастье от нее никуда не уйдет...

Ждет ли оно и теперь? Или, не дождавшись, ушло? Много времени прошло. Да и кому нужна старая дева?

А два года тому назад, как ни старалась, как ни оберегала Ултуган, покинула мир ее мать. Сейчас за ней последовал отец, как бы окончательно развязав дочери руки. Наконец она снова могла заняться собой. Да только зачем ей это? Без родителей, без каждодневных забот жизнь ее стала пуста. Она подумала, что больше никогда не увидит их лица, не услышит голоса, и у нее снова защемило сердце. Она заплакала снова.

«Мама? Папа? Неужели и вправду вы оставили меня одну?»

Долго ли Ултуган так сидела и обливалась слезами, она, наверное, не заметила и сама. О том, что жизнь идет своим чередом, что за стенами ходят, говорят и что-то делают другие люди, ей напомнил скрип наружных дверей. Кто-то, топая, вошел в дом и остановился в передней комнате.

Подумав, что кто-то пришел выразить ей сочувствие, Ултуган поднялась, вытерла слезы и включила свет. Но вошедший, видно, не решился ее потревожить, оставался в передней комнате. Тогда она сама вышла к нему и при тусклом свете лампы увидела долговязую фигуру, затаившуюся в углу, между дверью и сундуком.

– Кто это?– испуганно вскрикнула Ултуган.

– Ултуган, не бойся, это я... Майдан,– отозвался долговязый умоляющим шепотом.

– Раз ты Майдан, значит, можно пугать людей? Что тебе здесь нужно?– рассердилась Ултуган.

– Ултуган, дорогая, потише... Пожалуйста, помолчи. Пусть она мимо пройдет.

И тут же перед домом послышался голос, сыпавший проклятиями на всех и вся. Это была Сандибала – жена Майдана, прозванная ведьмой за свой склочный характер.

– Будь ты проклят, Майдан! И будь проклята я, если не сделаю из тебя тряпку, о которую вытирают ноги,– говорила Сандибала, приближаясь.

У Майдана от страха округлились глаза. Он готов был согнуть свое долговязое тело в три погибели и залезть под сундук.

– Ултуган, не выдавай меня! Я буду всю жизнь благодарен, только скажи, что меня нет!– взмолился он в крайнем отчаянии.

Наружная дверь резко распахнулась, и в прихожую, как злой вихрь, ворвалась растрепанная Сандибала со скалкой в руке. Еще сама не зная, зачем это делает, Ултуган шагнула к порогу, заслонила комнату собой. Как ни была разгневана Сандибала, она все же помнила, что из этого дома совсем недавно вынесли покойника, и убавила свой пыл, а увидев распухшее от слез лицо Ултуган, и вовсе растерялась, виновато спросила:

– А мой Майдан к тебе не приходил?

– Не приходил,– ответила Ултуган, чуть поколебавшись.

Сандибала потопталась перед Ултуган, пробормотала, обращаясь скорее к самой себе:

– Куда же он делся? Чтобы земля его поглотила, такой он, сякой!– и вышла на улицу. И там снова распустила свой язык. Как говорится, в рот ее собака входила красной, а выходила черной. Всю улицу на ноги подняла Сандибала своими истошными воплями.

– Выходи,– сказала Ултуган беглецу, сердясь на него, а еще больше на себя. Какое ей дело до Майдана и Сандибалы.

Майдан вышел из своего угла, глуповато улыбаясь:

– Ты спасла меня от смерти, Ултуган! Я никогда этого не забуду. Она ведь настоящая ведьма. Точно, точно. Если попадешься ей в руки, спуска не жди.

Глаза у него смотрели как-то странно, по-совиному, а когда он подошел поближе, на Ултуган пахнуло водочным перегаром. Ей эта история не нравилась все больше и больше. Из-за того, что Майдан был пьян и всячески хулил жену свою Сандибалу.

– Да пропади она, твоя такая жизнь,– сказала она в сердцах.

– А что я могу поделывать? Посуди сама, Ултуган! Переговорить ее не переговоришь, а ударить я не могу. Не поднимается рука,– пожаловался Майдан, неверно истолковав ее слова.

Но на нее снова накатило горе. Ултуган не стала объясняться, только сказала:

– А теперь уходи,– и пошла во вторую комнату.

– Не гони, Ултуган! Можно, я еще здесь посижу?– попросил Майдан.

Ултуган уже было безразлично, останется этот долговязый и нескладный человек или уйдет, как она приказала. Ултуган закрыла за собой дверь, села на кровать и подперла щеку рукой. Но прежнего гнетущего чувства утраты уже не было, оно притупилось, и страх одиночества тоже исчез. И только по телу разлилась страшная усталость, голова стала тяжелой,

ее так и тянуло к подушке. Сказывалось напряжение трех прошедших дней, три бессонные ночи. Ултуган подумала о том, что надо бы поесть, поддержать ослабевшее тело, но уже не было сил подняться, приготовить ужин. Да и мысль о еде сразу же вызвала отвращение. Не раздеваясь и не гася свет, Ултуган залезла под одеяло и тотчас уснула.

Когда она проснулась, часы показывали четыре часа ночи. Под потолком все так же неярко горела лампочка. И ее снова окружало жуткое одиночество. Она жадно прислушивалась к тишине. В сарае прокричал петух, словно ее желание угадал, и Ултуган очень обрадовалась живой душе. Затем она поняла, что также все это время слышит храп, доносящийся из передней комнаты. И тут же кто-то кашлянул. Она вспомнила о Майдане: как, испугавшись жены Сандибалы, он пытался спрятаться за сундуком, и невольно улыбнулась. Байгус, надо же родиться таким тихим, чтобы бояться своей жены. Наверное, так и заснул, боясь выйти на улицу.

Присутствие в доме другого человека успокоило Ултуган, развеяло вновь появившийся было страх. Она поднялась, выключила свет, полежала, глядя на окно, на занимающийся рассвет, и снова уснула. Ей приснилось, как будто она купается в прозрачной, чистой воде, отливающей серебром. Озеро это было или река, во сне не говорилось. Еще вода была теплой и мягкой; она подняла Ултуган и бережно понесла на себе. Вначале Ултуган побаивалась, не умея плавать, но потом оказалось, что сама ничего не весит, лежит на воде точно пушинка. И руки ее, и тело белы-белы и тоже сверкают, как серебро.

Проснулась она от звонкого воробьиного чирикания под окном. Солнце уже поднялось, как говорится, на длину аркана. Ултуган быстро выскочила из постели, потянулась и, разглаживая помявшееся платье, вышла в переднюю комнату. Майдан уже ушел, оставив уду-

шающий запах водочного перегара. Ултуган поморщилась, распахнула настежь двери и окна. Затем занялась хозяйством: подоила корову, отвела ее в стадо, разожгла самовар, поставила чай. А ей-то раньше казалось, что у одинокого человека нет никаких забот. Сидя на корточках перед самоваром, она вспомнила сон и посмотрела на свои смуглые руки, и ей стало смешно. Ну и приснится же такое... А впереди был день, первый день ее новой, полной одиночества жизни, и его надо было чем-то заполнить. Через трое суток снова поминки, теперь семидневные, этим она и займется.

Она трудилась с утра до вечера не покладая рук. К ней заходили соседи и просто знакомые, в доме снова было много людей, некогда было перекинуться словом. Но к вечеру, ко времени, когда пастухи гонят стадо в аул, народ разошелся по домам, Ултуган опять осталась одна.

И опять накатила печаль. Она уже не была такой безысходной, как накануне, привычной. Слезы уже набегали как бы сами собой. И все же Ултуган не решалась ночевать одна, сходила к соседям и привела к себе их десятилетнего мальчика. Гость оказался ненасытным сладкоежкой и при этом довольно хитрым. Он сразу понял, как нужен хозяйке, и требовал угощений и сказок. Наконец мальчишка насытился, устал, и Ултуган уложила его рядом с собой.

Он уткнулся носом в ее плечо и сразу уснул. Она гладила его по голове, вслушивалась в сладкое детское сопение. Мальчишке снились игры, он слабо вскрикивал, шевелил руками-ногами. Видно, за кем-то гнался, а может, и сам удирал. И пахло от него уже забытыми запахами детства, потом и уличной пылью. И еще чем-то, похожим на сырость. Наверное, это и был запах ребенка, который ей так и не суждено узнать. «Если бы я тогда вышла замуж за Орака, наш первенец, наверное, уже был бы таким же взрослым», – размышляла Ултуган, тихонько лаская мальчишку.

Стоило ей помянуть про себя имя Орака, как распустился клубок воспоминаний. Они потянулись, словно длинная, нескончаемая нить. Орак, Орак! Далекая, несбывшаяся мечта... Перед глазами предстал рослый широкоплечий джигит с мощными, как ляжки верблюда, руками. Сила из него так и била с избытком, а вот говорить Орак был не мастер. И поэтому больше молчал, только смеялся, если говорили что-нибудь веселое. А смеялся так, будто кашлял: «ыкы-кы-кы».

Ултуган несказанно удивилась, когда Орак прислал ей письмо. Джигит объяснялся в любви, но с первых же строк она догадалась, что за Орака писал кто-то из его друзей. «Лучшей подруге Ултуган, – говорилось в письме, – той, которая дороже золота, весомей серебра!» А дальше следовали стихи и слова о любви, да так складно сложенные, как самому Ораку ни за что не сложить. И все же, когда Ултуган читала письмо, у нее замирало сердце. Она уже сама тайно любила этого простоватого парня, хотя остальные девушки потешались над ним.

Она в тот же вечер написала ответ, тоже призналась в своих чувствах. После этого они стали встречаться, молча гуляли, взявшись за руки, на окраине аула, подальше от чужих нескромных глаз. Ах, какие это были замечательные и лунные, и темные, и прохладные, весенние, и теплые летние... словом, это были чудесные ночи! Да они безвозвратно прошли... Однажды Ултуган сказала джигиту: «Орак, мои родители больные, старые люди. Я не могу оставить их. Давай будем жить с тобой в нашем доме?» В тот раз Орак ушел, ничего не сказав. Почти неделю он не появлялся и не подавал о себе никаких вестей, а потом Ултуган получила от Орака второе письмо. Судя по стилю, и это писала чужая рука. «Зайца погубит камыш, а джигита – позор», – так начинал неведомый ей благодетель Орака, а заканчивал тем, что он, Орак, не может войти в жилище ее родителей, словно без-

домный, подобранный на улице щенок. Лучше он умрет от стыда.

Прочитав письмо, Ултуган поплакала втайне, разорвала его на клочки и бросила их в огонь. Писать ответ она не стала и никому не сказала ни слова. «Что ж, подожду своего счастья, может, еще встретится хороший человек», – подумала Ултуган тогда, стараясь себя успокоить.

И вот она ждет до сих пор, а хороший человек так и не появился. А время течет неумолимо, безостановочно, словно река. Оно безвозвратно унесло Орака. Он в том же году обзавелся женой, теперь у него шестеро ребятишек. Временами Ултуган встречала его. Орак заведует фермой в самых дальних угодьях колхоза и изредка наезжает в аул. Ултуган очень хотелось подойти к нему, поговорить, но она не решалась. «Ну, а в этот раз я подойду к Ораку, – сказала она себе. – Да и что зазорного в том, если поговорят два старых друга? Я ведь не собираюсь ломать его семью. А мы посидим, поболтаем... вспомним молодость. И кто знает, может, он возьмет меня за руку... как бывало». Подумав об этом, Ултуган растерялась, спросила себя: «Господи, что я тогда ему скажу?» Ее лицо запылало от стыда. Жар прошелся по всему телу. Ултуган подумала, что этот огонь опалит мальчика, спавшего в ее объятиях, и испуганно отстранилась.

И мальчик зашевелился, пробормотал что-то бессвязное. Ултуган настороженно всмотрелась в его лицо – не проснулся ли? – и только сейчас заметила, что одна щека его больше другой, распухла. Ултуган совсем уж было встревожилась, решив, что мальчик заболел, но вдруг щека его опала, и изо рта выскользнула похожая на кусочек прозрачного льда конфетка. Мальчуган еще ко всему оказался запасливым, хозяйственным человеком – припрятал леденец за щекой. Ултуган невольно улыбнулась. Отнесла конфетку на стол, снова легла рядом с мальчиком и быстро уснула,



успев еще раз подумать: «Да, у меня был бы уже такой мальчик».

Так же, как и в прошлую ночь, ее разбудил чей-то кашель. Ултуган открыла глаза. В комнате мирно горел оставленный ею свет, было тихо. Подумав, что ей показалось, Ултуган закрыла глаза, но в передней комнате снова кашлянули, хрипло, надсадно. Ултуган перепугалась, села на кровати. Кто это? И как этот кто-то попал в дом? Еще вечером она закрыла входную дверь на крючок. Ултуган помнила это. Она хотела разбудить мальчика, – вдвоем не так страшно, как одной, – но потом пожалела его. Так и сидела, дрожа, ожидая чего-то ужасного.

В передней комнате послышался храп. Таинственный кто-то спал, и это успокоило Ултуган. Если человек уснул, значит, он не желает ей ничего плохого.

Ултуган тихо слезла с постели, сняла со стены отцовскую плетку из восьми сыромятных косичек и, сдерживая бешеный стук сердца, вошла в переднюю комнату и включила свет.

Ну и ну, на голом полу, рядом с сундуком, разметавшись, спал Майдан. Он лежал, задрав подбородок, и храпел на все лады, набирая в себя полную грудь воздуха. Его острый кадык ходил туда-сюда, словно поршень насоса. Как и в предыдущую ночь, в комнате стоял резкий запах водки. А возле порога валялся согнутый кусок проволоки. Видимо, с ее помощью и открыл себе дверь Майдан.

Ултуган поначалу растерялась, не зная, что делать. Ей не стоило труда догадаться, что Майдан снова убежал от жены. Ултуган наклонилась, потормошила его за плечо. Но Майдан только проямлил что-то и повернулся на бок.

– Мне еще этого не хватало, – буркнула Ултуган.

Хотела рассердиться, но почему-то не смогла. Вернулась в комнату, легла на кровать. Но сон уже пропал. Она ворочалась с боку на бок, стараясь не

потревожить мальчишку. В голову лезли разные мысли, и больше о том, что надо бы как-то завести свою семью – и мужа, и детей, – жить одной просто невозможно. И при этом она ясно осознавала, что эти планы так и останутся неосуществимой мечтой. Все ее сверстники – джигиты давно переженились, завели кучу детей. Разве что подвернется разведенный или вдовец, только бы он пришелся по душе. Однако таких она что-то не могла припомнить. Оставалось одно: развести мужчину женатого да выйти за него самой. Вот хотя бы Орака... Пусть потом о ней говорят что угодно и сколько угодно. Она такой же человек, как и другие женщины, и ей тоже хочется любить и быть любимой, иметь свой домашний очаг... Ах, Орак, Орак!.. В ее девичьем сердце проснулось желание, хотелось почувствовать ласку сильной мужской руки. «Орак, хотя бы приснись мне», – мысленно просила она.

Но являлся Орак во сне или нет, Ултуган не знала. И может, и не спала она вовсе в эту ночь, а просто провалилась в тяжелое забытие. А встала с болью в голове, словно избитая. Майдана уже не было. Да и приходил ли он, это тоже она не знала. Точнее, не была уверена в этом. Ултуган подоила корову, отвела ее к пастуху и снова стала готовиться к поминкам. Но как ни была занята она, ей то и дело вспоминался Майдан. «Ой и наживешь с ним беды, не будучи виноватой. Надо запретить ему, пусть больше не приходит. Как увижу, сразу скажу», – говорила она себе.

Но Майдан так ей и не попался на глаза ни в этот день, ни в следующий.

## 2

Прошло несколько дней. Ултуган по-прежнему боялась оставаться одна и приглашала на ночь мальчика. Тот совсем осмелел, освоился и с каждым вечером становился все разборчивей и капризней. То это ему надоело, то другое казалось недостаточно

вкусным. Однажды магазин закрыли на переучет, и Ултуган не успела запастись сладким к приходу мальчика. Узнав об этом, сладкоежка посидел минуты две и ушел спать домой. «Ничего не поделаешь, сколько можно беспокоить чужого ребенка. Пора к одиночеству привыкать. Есть ведь еще такие, как ты. И ничего, живут», – утешала себя Ултуган.

Но сколько ни утешала, а привыкнуть не могла. Днем еще куда ни шло, отвлекали хозяйственные заботы, а вот ночью мнились всякие страхи, не спала, прислушивалась к звукам, доносящимся из-за окна. А нескончаемые мысли сменяли одна другую, терзали ее, не давали заснуть.

Однажды вот в такой же поздний вечер, когда Ултуган собиралась лечь, за окном послышались гулкие шаги, и кто-то сильно дернул дверь. Ултуган услышала, как с лязгом упал оторванный крючок и дверь со скрипом отворилась. Ултуган выбежала в прихожую и увидела Майдана. Он стоял на пороге, покачиваясь и тараща на свет глаза.

– Что тебе нужно? Когда ты оставишь меня в покое? – закричала Ултуган, срываясь на визг.

Майдан молчал, только виновато улыбался.

– Уходи! И чтобы я тебя здесь больше не видела! Ты уйдешь или нет?

Майдан не сдвинулся с места, будто ничего не слышал, будто не ему кричала Ултуган. Тогда она схватила отцовскую плетку и стеганула Майдана по плечу, повторяя:

– Уходи! Уходи! Сейчас же уходи!

Майдан широко раскрыл глаза, будто удивился, потом ссутулился под ее ударами, опустил голову.

– Да сколько можно? Ну, уйди же в конце-то концов! – взмолилась Ултуган и в бессилье отбросила плетку.

Майдан опустился на порог, сел, скрючившись, и зарыдал, как дитя. Плечи его вздрагивали, вид был жалкий, самый разнесчастный.

У нее дрогнуло сердце. «Вот и семья у него есть, а мается, как и я. Бедняга пришел искать сочувствия у меня, а его плеткой», – упрекнула себя Ултуган, и глаза ее тоже наполнились слезами.

Майдан провел по лицу широкой худой ладонью, точно сгребая слезы, встал и, покачиваясь, повернулся, чтобы уйти.

– Ну куда ты пойдешь среди ночи? Ладно, оставайся здесь, – проворчала Ултуган, все еще стараясь казаться суровой.

Она вынесла из спальни подушку и одеяло, постелила ему в передней комнате, сказала:

– Спи уж! Только рано утром уйдешь, да так, чтобы тебя никто не видел.

Пожалуй, это была ее первая спокойная ночь. Ултуган проспала до утра, ни разу не проснувшись. Она не желала себе признаться, но теперь втайне ждала сама, не поскандалит ли снова Сандибала со своим мужем и не забредет ли Майдан снова к ней в поисках убежища. И на третью ночь, когда она, попив чаю, собиралась лечь в кровать, Майдан робко вошел в дверь. Глаза у него были красные не то от водки, не то от слез. Но на этот раз он не качался, стоял ровно.

– Ултуган, прости... извини... Ты, наверное, будешь сердиться, но мне опять некуда деться, – сказал он убитым голосом.

– Проходи, садись, – сказала Ултуган, скрывая с трудом вдруг вспыхнувшую радость.

Она подошла к окну, плотнее задернула занавеску, спросила:

– Чай будешь пить?

Майдан молча кивнул. Ну совсем как оплакавшийся ребенок, подумала Ултуган. Чай он пил, звучно прихлебывая. Сделав два глотка, отставил пиалу, оглядел стены комнаты. Его взгляд задержался на фотографии матери Ултуган. Майдан тяжело вздохнул и произнес:

– Хороший она была человек, царство ей небесное! А как готовила она! Я всегда ел у нее с удовольствием. Э, да разве дело только в этом!..

Он сказал это с такой искренностью, что Ултуган не выдержала и всплакнула. Майдан тоже смахнул набежавшую слезу. Они утешали друг друга, изливали душу. Ултуган жаловалась на свое одиночество. А Майдан рассказывал, как мучительна его жизнь с Сандибалой, на которой он женился, потому что этого хотели его родители. Так они и встретили долгий рассвет в сердечных разговорах за столом.

Отныне Майдан стал появляться в доме Ултуган чуть ли не каждый день. Он бросил пить, приходил совершенно трезвым, и они подолгу беседовали, как два обиженных судьбой человека. А однажды, когда Майдан ушел, она неожиданно для себя подумала: «Какой славный, тихий джигит! Такого, наверное, можно и полюбить». Ултуган стала часто думать об этом. Теперь ей было важно узнать, а какие она вызывает чувства у Майдана. Только лишь друг она для него или, может быть, больше?

Как-то они засиделись за полночь. Майдан пришел еще в сумерки, и Ултуган так и не включила свет, сидели они в темноте.

– Ултуган, я тебя люблю, – несмело сказал Майдан. – Я люблю тебя, – повторил он окрепшим, твердым голосом.

В ней все задрожало, каждая клеточка. Не в силах молвить и слова, Ултуган только взяла руку джигита и приложила к своей щеке. Лицо ее пылало, кружилась голова. Майдан подался к ней, обнял свободной рукой, притянул к себе и поцеловал. Ултуган обмякла в его объятиях, ей казалось, что она теряет сознание.

– Майдан... Не надо... Подожди... – попросила она, задыхаясь.

Они молча стояли в темноте с бешено стучащими сердцами. Стояли, может, мгновение, а может, и

вечность. Ултуган напряженно вглядывалась перед собой, стараясь увидеть лицо джигита.

– Ултуган, ты обиделась на меня?– произнес наконец Майдан с тревогой.

– Нет, нет, Майдан! У меня закружилась голова, правда!

Майдан снова привлек ее к себе. Девушка не сопротивлялась, сама подалась в объятия джигита. Майдан, тяжело дыша, стал ее ласкать, целовал щеки, лоб, губы...

Майдан провел в доме Ултуган две ночи подряд. Влюбленные, позабыв обо всем на свете, думали только друг о друге. Их захлестнула, топила волна огромного долгожданного счастья. Им и в голову не приходило, что кто-то может следить за ними, осуждать их любовь. Они лежали в темной комнате, еще стесняясь друг друга, задыхаясь от жары, лежали и шептались, вспоминая все свои встречи, разговоры, дивились тому, что, глупые, не придавали им никакого значения. Встретились, поговорили и разошлись, как совершенно чужие. Теперь-то им казалось, что судьба нарочно сводила их, и уже Майдан уверял, что он давно влюблен в Ултуган. А вскоре она и сама стала верить, будто тоже давно интересовалась Майданом. И как жаль, что они только сейчас узнали об этом.

– ...А помнишь, в позапрошлом году я был бригадиром, а ты копнила сено... Помнишь, я ехал на сером жеребце, а ты возвращалась домой по дороге... Помнишь, я сказал: садись впереди меня, подвезу, конь у меня смирный, а ты даже не подошла,– вспоминал Майдан.

– А если бы я села с тобой на коня, что бы тогда сказали люди? Зачем ты позвал меня при народе?– отвечала Ултуган счастливым капризным тоном.

– А если бы ты шла одна, села бы?

– Ну, конечно... Да еще бы вот так тебя обняла и не отпускала. Попробуй вырвись!

- Ултуган, ты мне ребра поломаешь!
- Поломаю... Майдан, почему ты такой худой?
- Не знаю...

- Наверное, потому, что двигаешься мало. Не помню, чтобы ты передвигался пешком. Все время у тебя работа такая, на коне да на коне. То ты учетчиком, то бригадиром.

- Тебе не жарко, Ултуган?

- Не жарко. А тебе? Может, мне отодвинуться, Майдан?

- Нет, нет. Лежи. У тебя кожа прохладная.

- И у тебя...

На вторую ночь из блаженного забвения их вывел грохочущий, словно гром, стук в двери дома. Это пришла Сандибала.

- Ултуган! Эй, Ултуган, открой дверь!- кричала Сандибала и снова барабанила в дверь.

Позабывшие о существовании Сандибалы, впрочем как и всего окружающего мира, перепугались Майдан и Ултуган, затаили дыхание, замерли.

А дверь гремела. По ней колотили не то тяжелой палкой, не то железным прутом.

- Что делать? Может, открыть?- спросила в страхе Ултуган.

- Тише... молчи.

Настучавшись вдоволь в дверь, Сандибала оставила ее в покое, переместилась к окну. Стала ругать Ултуган, поносить ее всяческими бранными словами. Ох и злой же был у нее язык, острый, как нож, он до самых костей пронзал Ултуган, мешал ее со всякой грязью. Еще никогда не называли Ултуган такими ужасными словами, какими называла ее жена Майдана.

Если верить Сандибале, то нет на белом свете другой такой испорченной женщины, как она, Ултуган. Такой распутницы, такой шлюхи! Не прошло и дня после смерти отца, как, она осквернила его дом, предается блуду с чужими мужьями!

После каждого такого слова Ултуган вздрагивала, точно от удара камчой. А Сандибала не унималась:

– Слышишь, ты... А ну-ка верни моего мужа! Да, да, того мужчину, который сейчас в объятиях у тебя! Иначе я разнесу твое окно. Слышишь? И собачью шкуру надену на тебя и на этого мерзавца!– грозилась Сандибала.

И поскольку Ултуган и Майдан не отвечали, лежали ни живые, ни мертвые, Сандибала перешла от угроз к действию. Дрожа от страха, от оскорблений, Ултуган услышала, как звякнуло, разбилось оконное стекло. Она и Майдан, оба вскочили и начали торопливо одеваться, сталкиваясь, отыскивая в темноте разбросанную одежду.

– Вот вам, проклятые!– закричала Сандибала.– Я сотру вас в порошок и развею!– и принялась неистово топтать осколки стекла.

Ее тяжелое дыхание, жалобный хруст стекла теперь были слышны, как будто Сандибала находилась здесь же, в комнате.

– А-а, вам этого мало? Так получайте еще!– прокаркала Сандибала и опять ударила по окну, выбивая остатки стекла.

Растоптав их, она будто бы утолила свою ярость, просунула голову внутрь комнаты, торжествующе сказала:

– А теперь лижитесь сколько влезет...– и ушла.

Замолкли ее шаги, отзвучали последние проклятия, и на улицу вернулась тишина. В окно теперь врывался прохладный ветерок, он то и дело раздувал оконную занавеску, словно загонял в дом плотный ночной мрак.

Майдан и Ултуган после пережитого никак не могли прийти в себя. Первым опомнился Майдан, зашевелился, нашел ощупью брюки и начал было надевать, но тут к нему метнулась Ултуган, вцепилась в него руками.



– Никуда ты не пойдешь! Я тебя не пушу!– сказала она сквозь всхлипывания и села на кровать, увлекла его за собой, держала, не давая даже шелохнуться.

Да Майдан и не пытался вырваться, молча замер. Они сидели, словно обкраденные, лишенные вдруг того счастья, которое они только что делили между собой.

Ветерок, дувший с гор, посвежел. Ултуган протянула руку, взяла одеяло и накрыла себя и Майдана.

Постепенно мрак рассеялся, в комнате стали проступать очертания предметов. Майдан и Ултуган, не сговариваясь, одновременно взглянули друг на друга, увидели серые, осунувшиеся лица, темные круги под глазами. Майдан крепко обнял голые плечи Ултуган и поцеловал ее в шею.

– Сегодня об этом узнает весь аул. Как я посмотрю людям в глаза? Какой позор!– прошептала Ултуган, закрывая лицо руками.

– Не надо, не плачь,– попросил Майдан.

– Я не плачу. Майдан, теперь ты уйдешь от меня?– спросила Ултуган с замирающим сердцем.

– Не уйду.

– Нет, уйдешь, уйдешь.

– Милая, я же сказал: не уйду! Ложись поспи...

Майдан ушел на ферму, Ултуган осталась дома, и не было для нее более трудного дня, чем этот. Спозаранку, пока не встали соседи, она подоила корову, выгнала ее на улицу, – пусть сама в стадо идет, – и, не позавтракав, легла в постель, укрылась с головой. В полдень в дверь постучали, но Ултуган только еще глубже зарылась в постель. Тогда стучавший прошел к разбитому окну и, с хрустом топчась по осколкам стекла, заглянул в комнату, громко спросил:

– Хозяйка, ты дома? Или нет?

Ултуган узнала голос старого стекольщика Ивана и подняла голову.

– А, вот ты где!– обрадовался старый стекольщик.– Меня к тебе прислали. Говорят: «Иди вставь Ултуган стекло»... Чем это его?

– Пожалуйста... вставляйте,– сказала Ултуган; встала, открыла дверь и впустила стекольщика в дом.

Пропахший табаком старик Иван весело взялся за дело, мурлыча под нос какую-то песенку, а она даже не спросила, кто направил его, – ей было все равно, – села на постель, с нетерпением ожидая, когда же он уйдет, оставит ее одну.

Старик Иван вставил стекло и ушел, и Ултуган снова легла в постель. Ее слегка подташнивало, бил озноб, ломило в висках и все время хотелось плакать. «Наверное, я заболела»,– отстраненно подумала она о себе, как о другом человеке. Ее волновало только одно: придет Майдан или не придет?

Зашло солнце. Сгустились сумерки, комната наполнилась мраком. А Ултуган продолжала лежать. Головная боль не проходила, стучало в висках. Ултуган перевязала лоб платком и снова легла. «Придет или не придет?»– спрашивала она себя и в ответ пугала: «Нет, не придет, не придет». И от этой мысли чуть не сходила с ума. Жить, ей казалось, уже не было никакого смысла.

И хотя Ултуган прислушивалась к звукам всем своим существом, входная дверь скрипнула для нее совсем неожиданно. Потом в прихожей простучали шаги, вспыхнул свет, и она увидела Майдана. Он стоял на пороге, прикрывая ладонью глаза от яркого света.

– Зачем? Зачем пришел? Уходи! Сейчас же уйди!– закричала Ултуган, а сама вылетела из постели, кинулась ему на шею, ухватила так, что ему бы не уйти даже при всем желании. – Нет, нет, Майдан, милый, останься!– С ней случилась истерика, сказались напряжение всех этих дней.

Майдан так и подумал. Наконец ему удалось поднять Ултуган на руки и отнести на постель. Она затихла. Они вот так, не размыкая объятий, не снимая одежды,

снова унеслись в тот мир, в котором влюбленные одни и более никто не существует. И не было сказано ни слова, только упоенно перестукивались сердца.

А ночью все повторилось заново. Они проснулись от ругани Сандибалы и не успели опомниться, как зазвенело разбитое стекло, в комнату с грохотом посыпались камни.

Майдан вскочил на ноги и выбежал из дома. А через мгновение Ултуган услышала душераздирающий вопль Сандибалы:

– Ой-ей! Спасите! Я умираю!

И тотчас улица словно взорвалась, наполнилась топотом, криками людей, лаем осатаневших собак.

Шум оборвался так же вдруг, как и возник. Но Майдан не вернулся. Ултуган пролежала до сиреневого рассвета с открытыми глазами, гадала, что же произошло. Может, после драки он помирился с Сандибалой? Ведь, говорят, после ссоры любовь становится слаще. И Майдан ушел в свой прежний дом, чтобы уже никогда больше не вернуться к ней, Ултуган... Стараясь отвлечь себя от мучительных мыслей, она встала, принялась за уборку, подмела, вынесла из комнаты камни и битое стекло, вымыла пол.

А утром появился посыльный из правления колхоза. Председатель зачем-то вызывал Ултуган. У нее сжалось сердце. Она очень боялась, что в конторе ее начнут обсуждать да стыдить при всем народе. А как объяснишь посторонним людям, что значит для нее Майдан?

– Я не пойду!– отчаянно сказала Ултуган.

Посыльный, старый колхозник, пошевелил губами, хотел что-то сказать, да по ее виду понял, что Ултуган сейчас не проймешь никакими словами, и направился к выходу. На пороге старик задержался и нерешительно сообщил:

– Только что милиция приезжала... Майдана увезли в район.

– За что?– всполошилась Ултуган.

Посыльный удивленно взглянул на Ултуган. Уж кто-кто, а она-то должна бы знать. Но на всякий случай объяснил:

– Жену он ночью избил. От синяков она стала как сине-белая овца. Похоже, его посадят. Эх, зачем он избил Сандибалу? Сейчас-то совсем не время...

Он не договорил, только махнул рукой и вышел. Его известие потрясло Ултуган. Она заметалась по дому, не зная, что предпринять, повторяя: «Пропал он, пропал». Зачем-то выскочила на улицу и тут же вернулась в дом. Потом вспомнила, что у нее греется самовар, и погасила огонь в самоваре. Время ли сейчас распивать чай? Надо было куда-то бежать, просить у кого-то помощи. Нельзя сидеть и ждать сложа руки. Но куда бежать? Кто поможет Майдану?

### 3

Спроси Ултуган еще месяц назад: нравится ли ей Майдан, она бы наверняка ответила так: «А что в нем хорошего? Долговязый, нескладный какой-то, вечно не трезв и оттого шатается, таращит глаза, словно не может понять, кто ты и вообще где он находится сам». Словом, немало бы удивилась такому вопросу, посмеялась над ним... А теперь, поди же, нет во всем мире человека дороже Майдана. Он для нее самый близкий, самый родной, самый...

Ултуган переоделась в свое лучшее платье, собрала в узелок передачу и рейсовым автобусом, приходящим в полдень, поехала в районный центр. В автобусе пахло бензином, было жарко и душно, как в раскаленной банке, пассажиры обливались потом, но Ултуган этого не замечала. Весь путь обдумывала, как выручить Майдана. Она придет в милицию и скажет: «Отпустите его, он не виноват. Это я вскружила ему голову, возьмите меня вместо Майдана». Она пойдет напрямиком к начальнику милиции и расскажет обо всем,

ничего не утаивая. Как осталась одна, и как в ее жизнь вошел Майдан. Она будет сидеть перед начальником и плакать, пока тот не отпустит Майдана. А ее пусть посадят вместо него. Она понимает: если совершилось преступление, кого-то следует наказать.

Выйдя из автобуса, она расспросила прохожих, узнала, где расположена милиция, и торопливо зашагала на указанную улицу. Летнее солнце раскалило, расплавил асфальт. Подошвы туфель приставали к нему будто к липучке для мух, а то бы она пролетела оставшуюся дорогу в одно мгновение. И если бы еще не было трудно дышать. На улице было душно, как и в автобусе. Ее затошнило, в животе появилась тяжесть. «Может я беременна?» – подумала Ултуган. О том, что чувствуют беременные, она только слышала от других, и все же испугалась. Ноги ее подкосились, она подошла к столбу прислонилась к нему спиной. «О, неужели я беременна?» Страх стал отступать, сменился робкой радостью, Ултуган спохватилась, что зря теряет время, и бросилась дальше.

Ей сразу же не повезло. В милицию она попала в обеденный перерыв. Начальник куда-то уехал, а встретил Ултуган молодой джигит-дежурный, шустрый, смуглый до черноты, с веселыми блестящими глазами. Он встретил ее приветливо, вышел навстречу из-за деревянной стойки но, услышав, что Ултуган пришла к Майдану, сразу стал неприступно суровым.

– Ты кто ему будешь? Наверно, жена?– сказал он сразу переходя на «ты».

Ултуган растерялась, не зная, как себя назвать Язык не повернулся сказать ни «да», ни «нет». Но здесь молчать, видимо, не полагалось, и она неопределенно кивнула. Так и вышло: ни да, ни нет. Однако джигит-дежурный принял это за утверждение.

– Так, значит...– протянул он.– Значит, хочешь встретиться с мужем?

– Да,– еле слышно ответила она.

Милиционер откашлялся и прочитал наизусть:

– Свидания с гражданами, содержащимися под арестом, строго запрещены.

– Нет, нет, мне бы поговорить с вашим начальником. Я хочу объяснить, как было. Он не виноват!

– Женщина, не морочь начальнику голову! У нас и без тебя много дел. Вот так вы, жены, всегда: чуть что – бегом за милицией. «Ой, ударил, ой, убил!» А потом в слезы: «Он не виноват». Да что милиция? Игрушка? – сказал джигит-дежурный с обидой.

– Да он бил не меня!..

– Ну и не меня, слава богу. Поезжай в свой аул. Через пятнадцать суток он к тебе вернется, – отрезал милиционер и ушел за стойку, всем видом давая понять, что больше она для него не существует.

Ултуган вышла на улицу, села на ступеньки крыльца, прямо на солнцепеке, и стала ждать начальника отделения. Но прошел перерыв, за ним еще час, другой, а начальник не появлялся. Она спрашивала каждого нового милиционера и видом построже, и со звездочками на погонах, и каждый, смеясь, отвечал, что он еще не начальник. Наконец в окно высунулся джигит-дежурный и крикнул:

– Эй, женщина, напрасно ты ждешь! Товарищ майор поехал прямо в область. Будет дня через два, не раньше... Не веришь? Он сам звонил!

Он понял по ее лицу, что она не верит, и вытянул в окно телефонную трубку на длинном шнуре.

– Вот! Только что говорили.

Убедившись в том, что у нее ничего не выйдет, уставшая, измученная жадой, Ултуган вечерним автобусом вернулась в аул.

Когда она брела с остановки домой, ей повстречался бригадир Сагынбай на коне. Он проскакал мимо, поднимая пыль столбом, но, увидев Ултуган, повернул коня обратно.

– Эй, Ултуган! Так вот ты где?– закричал он, снова проскакав мимо нее и снова заворачивая коня.– Куда делась, говорю? Я тебя ищу целый день, а тебя будто ветер унес! Я велел вставить стекла в твоё окно.

– Спасибо. Я ездила в район.

– Ну да, Майдана же посадили,– догадался бригадир.– Видела ты его?

– Нет, не пустили.

– Бедняга!– сказал бригадир, непонятно кого имел в виду: ее, Ултуган, или Майдана. – Ну вот что, Ултуган, нечего тебе дома сидеть да горе свое нянчить. И у нас не бессмертны были отцы, приходило время, и мы родителей хоронили. Поверь, нет лучше лекарства, чем работа. Давай договоримся так: завтра утром поедешь сено косить к роднику Когалы. Сбор у конторы, в пять.

– Хорошо, я приду,– кивнула Ултуган и вспомнила:– Сагынбай-ага, меня вызывал председатель. Как быть?

– Поезжай на сенокос, я улажу. Только смотри не опаздывай.

Бригадир ударил пятками коня и, взяв с места галопом, поскакал дальше по своим делам. А у нее немного отлило на душе. «И вправду,– подумала Ултуган, – я уже давно не выходила на работу. Пора и меру знать. Уже перед людьми неудобно».

Ранним утром, когда Ултуган, наскоро выпив чай и одевшись для сенокоса в старье, уже собиралась уходить, – в дверь коротко стукнули, и в дом вошла старуха соседка. Она сняла у порога калоши, прямоком проследовала в глубь комнаты, села поудобней на кошму и сообщила:

– Сегодня пятница, я пришла почитать Коран...– И, не дождавшись, что скажет Ултуган, принялась читать молитву.

Она читала монотонно, нараспев, лицо ее было спокойным, отрешенным от мирской суеты. Казалось, само время шло мимо нее, обтекало эту старуху. Потом

она раскрыла ладони, помолилась за отца и мать Ултуган, провела ладонями по лицу. Ултуган вначале была раздосадована тем, что старуха явилась так некстати, но искреннее желание соседки устроить потустороннюю жизнь покойных растрогало ее, и она налила старушке чаю.

Выпив несколько пиалушек чая, старуха вытерла пот лба и сказала:

– Свет мой Ултуган, я вижу, ты торопишься, и поэтому скажу о своем деле коротко.

Она посетовала на то, что бог не дал ей, Ултуган, счастья нянчить, ласкать своих детей, но вот совсем кстати племянник ее надумал жениться, просил узнать: согласна ли Ултуган принять его предложение.

– Свет мой, соглашайся. Он еще молод, ему и пятидесяти и нет,– сказала старуха.

– Спасибо, бабушка, да ведь у вашего племянника уже есть своя жена,– напомнила Ултуган, смеясь.

– Есть, есть,– кивнула, не смутившись, старуха,– но она не против, пусть, говорит, женится на другой. А если так, то и закон не против, – и как бы отрезала путь к отступлению.

Ултуган молчала, не найдя, что сказать и как поскорей избавиться от сватки.

– Подумай, свет мой, подумай. Посоветуйся с кем,– сказала старуха, уходя.

Ултуган обвязала цветным платком голову, оставив открытыми только глаза, и вышла из дому.

Грузовая машина стояла на площади перед конторой, поджидала народ. Людей уже набилось в кузов немало, в основном это были женщины. Ултуган тоже залезла в машину и села в заднем углу, стараясь не бросаться в глаза. Но ее сразу заметили, и одна из молодок ехидно спросила:

– Да, никак, это ты, Ултуган? Почему не скажешь нам «здравствуйте»?

Ултуган промолчала, сделала вид, будто не слышит, и чтобы это выглядело убедительней, повернулась



лицом к борту. Вот именно таких, языкастых, она и опасалась. Но теперь ничего уже не поделаешь: коль попала в эту компанию, надо терпеть. И лучше помалкивать.

– Посмотрите на нее! Она даже разговаривать с нами не хочет. Как будто нас и нет, – не унималась молодка.

– Не трогай ее. Ты что? Хочешь, чтобы она увела и твоего мужа? – вылезла другая, такая же молодая и вредная.

– Ой, об этом я и не подумала! – подхватила первая насмешница, хотела прикинуться испуганной, да не выдержала и захохотала.

На глаза Ултуган навернулись слезы. Ей было обидно, хотелось сказать, что все это неправда, но она удержалась, не ответила.

А женщины словно соревновались, кто уколет больней Ултуган:

– Но кто больше всех пострадал, так это бедняга Майдан. Его больше всех жалко.

– И-и, так ему и надо, долговязому.

– А утром-то сегодня Сандибала поехала в район. Слышали, женщины?

– Вот дура-то, сама его до тюрьмы довела, а теперь поехала выручать.

Но вот подошли остальные члены бригады, машина тронулась в путь, ее мотор загудел, заглушил голоса женщин, а встречный ветер понес злые слова мимо ее ушей.

Когда приехали к роднику Когалы, Ултуган постаралась первой выскочить из кузова, взяла в руки вилы и ушла, отделяясь от бригады, к дальнему стогу. Ей казалось, что женщины, все до единой, презирают ее и никто не захочет работать с ней рядом. До самого обеда Ултуган ни разу не подняла головы, не посмотрела в их сторону. Если до нее долетал чей-то смех, она принимала на свой счет и краснела, готовая провалиться под землю.

В обеденный перерыв женщины собрались возле кустов и, наломав ветвей, соорудили нечто вроде навеса. Потом расселись в тени, и каждая поставила на общий стол то, что захватила с собой для обеда. Кто торсук с айраном, кто с кислым коже. Ултуган сделала вид, будто собирается стирать свой платок, пошла к роднику. Второпях, из-за старой соседки, она забыла, не взяла с собой айран; хорошо еще хлеб прихватила. Она сидела на траве, макала хлеб в воду и ела, радуясь тому, что женщины оставили ее в покое.

Они обедали весело, шумно, обсуждая и колхозные, и свои домашние, дела. И вдруг одна из них, пожилая женщина, громко спросила:

– А где же Ултуган? Почему она все время нас избегает?

Ей что-то вполголоса сказали.

– А вам-то какое до этого дело? А ну, хватит болтать!– сердито ответила пожилая женщина.– Пошутили раз, и достаточно. Она тоже хороша, эта Сандибала; если она такая умная да сильная, что же не удержит Майдана в узде? Все, все! Я больше об этом и слышать не хочу! Эй, Ултуган! Ултуган!

– Да тетя!– почтительно откликнулась Ултуган.

– Что скучаешь одна? Иди к нам!– не отставала добрая женщина.

– Я не скучаю.

– Иди, иди! Да поскорей. Если ты и виновата, то только перед Сандибалой! Ну иди же!

– Поешь с нами, Ултуган! Не стесняйся! Водой сыта не будешь!– заговорили другие женщины.

Раньше Ултуган оскорблялась, когда ее начинали жалеть вот так открыто, на людях. Но сейчас к ее горлу подкатил комок, ее захлестнула теплая волна благодарности.

– Сейчас! Иду!– откликнулась она поспешно.

Ултуган хотела присесть с краю, однако женщины подвинулись, освободили ей место в середине.

– Проходи, милая, садись,– сказала добрая женщина и усадила рядом с собой.

И никто более не говорил ей колкости, будто добрая заступница побрызгала на женщин водой, привела их в чувство. А молодка, которая затеяла в кузове травлю, теперь сама подала ей чашку с айраном.

На утро третьего дня зарядил сильный дождь, и уборщиков сена оставили дома. К обеду дождь поутих, и Ултуган отправилась в магазин – решила пополнить запасы чая и сахара. Сделав покупки, она уже собралась уходить, да тут в магазин ввалился Орак. Ултуган не видела его уже несколько месяцев. За это время он сильно растолстел, обзавелся одышкой, дышал тяжело, со свистом. На улице было пасмурно и прохладно, а лицо его было красным и потным, словно он только что явился из бани.

Увидев Ултуган, Орак сперва широко заулыбался, потом вспомнил, что еще не принес ей своего соболезнования, и сказал:

– Ултуган! Пусть после смерти твоего отца благополучие не оставит твой дом!

Сделав трудное для себя дело, выпалив сразу такое количество слов, Орак облегченно вздохнул и протянул руку:

– Ну, здравствуй!

Его большая ладонь стала пухлой и жирной от пота. Пожимая ее, Ултуган почувствовала брезгливость. Пока Орак оправдывался, объяснял, почему не мог к ней зайти, она изумленно спрашивала себя: за что так долго любила этого человека? Она пристально смотрела на него и не находила никаких достоинств. А он, как всегда, смеялся и к месту, и не к месту: «ыри-ыри».

Вернувшись домой, она еще долго вспоминала липкие руки Орака, его большой живот. Слышала его глупый гогот. А как тужился, краснел, подбирая слова соболезнования. «Да он же тупой, недалекий, бедняга!»– говорила она себе. – А я-то еще мечтала

выйти за Орака замуж. Стыд-то какой!.. Нет, уж лучше навеки остаться одной».

4

Ей приснилось, будто кто-то тихо, но настойчиво стучит в окно. Ултуган проснулась, села на кровати, напряженно вглядываясь в темноту. Сердце ее билось так часто, будто она не спала, а бежала изо всех сил. Но в комнате было тихо. Наверное, уже наступила полночь. «Да, стучали во сне», – разочарованно подумала Ултуган. И в этот момент снова побарабанили в окно, осторожно, пальцем.

– Ултуган, это я...

А дальше она ничего не помнила: как соскочила с постели, как открыла дверь и повисла на шее Майдана. Она не заметила, что у него отросли борода и усы. Приникла к нему, застыла вместе с ним на пороге дома. Совсем не думала о том, что их может увидеть любой полуночный гуляка.

– Подожди, Ултуган, дай пройти в комнату. Я грязный с дороги, – смущенно попросил Майдан.

– Грязный! Ну и пусть! Пусть! Пусть!..

Она звонко целовала его губы, глаза, щеки, нос...

– Все равно буду тебя целовать, родной мой! Я соскучилась по тебе!..

Наконец Майдану удалось протиснуться вместе с ней в переднюю комнату, и они еще долго стояли обнявшись, ласкали друг друга, пока не утолили свою тоску.

За домом, в сарае, шумно захлопав крыльями, прокричал петух...

– Ултуган, пусти. Я умоюсь.

– Сейчас, сейчас. Я согрею воды. Сама выкупаю тебя.

Все так и замелькало в ее ловких руках. Она в два счета развела огонь под казаном, согрела воду и, невзирая на протесты и стеснение Майдана, раздела его и вымыла, словно первенца.

– Бедный мой, и раньше ты не был толстым, а теперь и вовсе одни ребра торчат,– говорила она, вытирая полотенцем.

Майдан перестал сопротивляться, блаженно затих. Ултуган одела его в рубаху и брюки своего отца и принялась стирать грязную одежду Майдана. Стирала и поглядывала на него. Майдан тоже не сводил с нее глаз, следил за каждым движением. Голова его была пострижена наголо, щеки запали, лицо обросло усами и бородой. И только глаза Майдана сверкали молодо, призывно.

– Полежи, отдохни,– сказала Ултуган.

– Подожду. Ляжем вместе.

– Как ты добрался?

– Пешком пришел.

– Господи, от самого района пешком?– испугалась Ултуган.

– Только вечером освободили. Последний автобус ушел, а ждать утра не было смысла. Все равно ни копейки в кармане. Вот я и потопал.

– Проголодался, конечно.

– Совсем немного,– поделикатничал Майдан.

Быстро покончив со стиркой, Ултуган развела в самоваре огонь, выложила на дастархан все самое вкусное, что имелось в доме. Чай на этот раз казался им особенно вкусным; они пили долго, пиалу за пиалой. А под утро Ултуган подоила корову, отпустила ее, повесила снаружи на дверь замок и, как в далеком детстве, залезла в комнату через окно.

– Пусть думают, что ушла. Иначе не будет покоя,– объяснила она Майдану.

После этого они легли и спали весь день. Проснулись только однажды, когда часов в двенадцать к дому прискакал верховой. Покрутился на коне перед дверью, и Ултуган услышала голос бригадира Сагынбая.

– Тетя, куда ушла Ултуган?– спросил он у старой соседки.

– Кто знает. Дверь с самого утра на замке, – ответила старуха.

– Может, опять покатила в район? – спросил бригадир самого себя, сам же себе ответил: – Наверное, так и есть. Совсем спятила женщина, – сказал и уехал.

Ултуган и Майдан от всей души посмеялись над соседкой и бригадиром, над тем, как ловко их удалось обвести вокруг пальца. Потом прижались друг к дружке и ушли в беззаботный сон. Чем кончится вся эта история, к каким последствиям приведет их новая встреча, о том они не думали. Они снова вместе – остальное ничего не значило.

– В тюрьме было плохо? – спросила вечером Ултуган.

– Да хорошего мало. В первый вечер хотелось себя убить. Нашел под ногами лезвие и спрятал. Решил: вот все уснут, и перережу вены. Зачем жить после такого позора?

– Боже упаси, не говори так!

– Все уже позади, Ултуган. Я подумал о тебе и выбросил лезвие. Не имел я права умирать, Ултуган. Потому что еще есть ты, моя любовь. Наверное, только попав в такую беду, начинаешь понимать, что дороже всего на свете.

Так закончился этот длинный счастливый день. Ночью, когда аул заснул и на улице стало безлюдно, Ултуган вылезла в окно, открыла дверь и занялась хозяйством – подоила корову, сходила к реке за водой. Майдан помогал – поколол дрова, переделал другую мужскую работу. Под утро Ултуган снова повесила на двери замок, и они снова спрятались от людей.

Этот день тоже был долгим и радостным. Они спали, просыпались, ласкали друг друга и засыпали, утомленные счастьем. А за стенами дома ходили, переговаривались люди, мычали телята, кудахтали куры, по улице проносились верховые и машины, а за ними с надрывным лаем бежали собаки. Словом, там шла своим чередом обычная жизнь, далекая в эти минуты от них.

На вторую ночь они вышли из дома и, взявшись за руки, гуляли в степи, за аулом. Сидели на траве, влажной от вечерней росы, приятно холодившей горячее тело, и говорили о своем будущем.

– Нам лучше всего уехать отсюда, – сказал Майдан. – Поселимся в Карсае. Я устроюсь на станцию. А ты как захочешь: пойдешь работать или будешь хозяйничать дома. Вместе не пропадем. Да и много ли нам надо с тобой?

– Немного, – подтвердила Ултуган. – Как было бы хорошо готовить тебе обеды и ждать, когда ты вернешься с работы.

– Так и будет, Ултуган!

– Майдан...

– Что, дорогая?

– Я... как бы тебе сказать... кажется, я беременна.

– Это правда? Родная моя, я так этого ждал! Теперь уж нам и вовсе нельзя расставаться. Мы связаны с тобой навеки!.. Э-э, да ты совсем замерзла!

– Пойдем домой, Майдан, – она и вправду зябко поежилась.

На востоке начинало светлеть. Темнота отступала на запад, пядь за пядью отдавала рассвету степь. Мир заливало сиреневым светом. Уже просыпалась природа, и первыми перепелки подавали о себе весточку, перекликались: «Быг-был-дык», «Я здесь, я здесь».

А дальше предыдущих тянулся третий день. Время будто остановилось. Они утолили любовную жажду, неистовую в первые дни, отоспались и после обеда просто лежали, болтали о пустяках или ходили по комнате. Или от нечего делать поглядывали из-за краешка занавески на улицу и сообщали, кто что увидел.

– Майдан, посмотри, как соседский гусь гоняется за козленком, – смеясь, звала Ултуган.

– Ултуган, а вон проехал Сагынбай на коне. Наверное, все ищет тебя, да никак не найдет, – шутил Майдан.

– Ну а тебя-то разыскивает Сандибала. Куда это, наверное, думает, Майдан запропастился,– ответила шуткой Ултуган и спохватилась: уж не хватила ли через край?

Но Майдан не обиделся, отмахнулся беспечно:

– Ну и пусть поищет. Пусть попробует найти.

Прошел час-другой, а потом Ултуган вздохнула и задумчиво произнесла:

– Неужели так и будем прятаться от людей? Днем раньше, днем позже, все равно нас кто-нибудь увидит.

Они отвели глаза, боясь встретиться взглядами; они знали, что рано или поздно, но идиллии придет конец. Настроение их упало.

– Майдан, скажи, сколько у тебя детей?– спросила Ултуган будто бы безразличным тоном.

– Четверо. Да и будь их даже десять, а к Сандибале я не вернусь!– запальчиво ответил Майдан.

– А я тебя не пущу, если ты даже захочешь вернуться!– завершила его Ултуган. – Какое мне дело до детей Сандибалы. Ты мой, мой!

Теперь они с нетерпением ждали наступления ночи. Им хотелось выбраться снова в степь, погулять, как вчера, взявшись за руки, подышать свежим воздухом. Но вечером, к их разочарованию, небо заволочло сплошными грозowymi тучами. Сверкнула молния, раскатисто прогрохотал гром, и хлынул сильный ливень, встал перед ними сплошной стеной. Он хлестал всю ночь и иссяк только к обеду следующего дня.

Хмурая серая погода томила Ултуган и Майдана, будила неясную тоску. Они грустно молчали, сидели точно побитые, только изредка перебрасывались ничего не значащими словами.

Во второй половине дня из-за туч пробилось солнце, засверкало, заливая аул лучами. Ултуган ожила, встрепенулась, предложила Майдану:

– Майдан, пойдем на улицу. Там так хорошо! Надоело дома сидеть.



- Но ведь нас увидят,- напомнил Майдан.
- Ну и тем лучше.
- Пойди одна, погуляй. Я тебя подожду дома.
- И ты не обидишься?
- Конечно, нет. Только закрой меня снаружи.
- А я пойду разведую, ладно?- виновато сказала

Ултуган. - Посмотрю, что делается на белом свете. Если спросят, где ты, скажу: уехал в город.

Когда она вышла на улицу, мир показался ей особенно прекрасным. Ливень отмыл заборы и дома почти до первозданной чистоты, освободил от пыли воздух, взору Ултуган открылись, будто через прозрачный магический кристалл, далекие горные вершины. А по синему небу неслись, распадаясь и снова свиваясь в клубки, белые облака, гонимые ветром. Мир показался ей, как никогда, огромным, словно она видела его таким впервые.

Ощущение пространства и свободы пьянило Ултуган, наливало ее тело особенной легкостью. Мысль о том, что она может пойти куда угодно, доставила ей наслаждение. Ей хотелось двигаться, просто шагать, и она пошла в магазин. Она чувствовала, что улица следит за ней, и гордо расправила плечи, зашагала еще уверенней, тверже. «Правда, говорили в старину: чем больше сгибаешься, тем глубже в тебя вонзают клыки», - подумала Ултуган и порадовалась тому, что ее-то теперь не согнешь.

Людей в магазине оказалось немного: два джигитаскотника, пришедших за водкой или просто так, поболтать с продавщицей, да несколько мальчишек лет шести-семи.

Один из них, смуглый да круглолицый, протянул продавщице две пустые бутылки и решительно сказал:

- Возьмите, а мне дайте конфет.

- Я у тебя посуду не приму. Ты еще маленький. Пусть придет мама и сдаст сама,- отрезала продавщица.

- Мама не может. Она болеет,- сказал мальчик.

– Возьми у него, что тебе, жалко?– вступился один из парней.

– Не жалко. Закон не велит... Да ладно, на этот раз, так и быть, приму. Но больше с бутылками не появляйся, на порог не пуццу!– сказала продавщица и, взяв бутылки, надела на мальчика горстью конфет, даже не взвешивая.

– А у нас все пустые бутылки закончились,– весело ответил мальчик и выбежал вместе с друзьями за дверь.

– Какой славный мальчик! Чей он?– спросила Ултуган, умиляясь.

– Да это же сын Майдана,– рассеянно сказала продавщица и, спохватившись, испуганно закрыла рот.

Ултуган словно ударили по лицу. Щеки ее полыхнули огнем, сердце сжалось. Не зная, что сказать, она выскочила на улицу и остановилась, переводя дух.

А рядом, у крыльца, еще стояли мальчишки и делили конфеты. Ултуган окинула их взглядом. Который из них сын Майдана? Ах, вот же он! Он и делит добычу.

– Мальчик! А мальчик! Как тебя зовут?– спросила Ултуган, волнуясь.

– Сайлан!– ответил тот, не отвлекаясь от своего занятия.

– Мама твоя и вправду больна?

– Конечно, правда. Сегодня врач приходил. Говорит, у нее сердце больное.

Мальчишки, закончив дележ, помчались по улице. И Сайлан впереди всех. А Ултуган так и застыла на месте. От еще недавней радости, ощущения легкости, которое только что будто бы несло ее над землей, не осталось и следа. Ее сменила тяжесть, легла на плечи, подмяла под себя. «Нет, нет, тут что-то не то. Не может все оказаться так плохо, так вдруг! Сайлану хотелось разжалобить продавщицу, а мне он открыться не посмел. Видел меня в магазине»,– решила Ултуган и, не сдаваясь, повернула к дому Майдана. Она должна немедленно увидеть саму Сандибалу. Убедиться, что мальчик сказал неправду.

Этот дом Майдан построил года четыре тому назад, когда работал бригадиром. Дом был просторным, на четыре комнаты, и с широкой верандой. На веранде стояла девочка лет десяти, с растрепанными косичками, и, согнувшись над тазом, стирала белье. Ултуган догадалась, что это старшая дочь Майдана. «Нос и рот Сандибалы, а, глаза моего Майдана», – ревниво отметила Ултуган. Девочка отжала детскую рубашку и положила на перила веранды.

– Девочка, мама твоя дома? – спросила Ултуган, стараясь казаться поласковой.

Девочка обернулась, и лицо ее стало холодным, глаза, глаза Майдана, колючими. «Она уже большая, видно, все знает», – подумала Ултуган, и ей почему-то стало перед девочкой неловко, точно она в самом деле была виновата.

– Мама спит. Будить ее нельзя, она болеет, – враждебно ответила девочка.

Ултуган замаялась, окинула взглядом веранду. В открытую дверь виднелась часть комнаты. И веранда, и комната были запущены. Повсюду лежала пыль, валялась разбросанная детская одежда, на столе стояла гора невымытой посуды. Пол украшали серые полосы. Девочка мыла его, да, видно, не хватило силенок.

Тяжело было Ултуган смотреть на дом, в котором, почувствовав болезнь хозяйки, поселились запустение и разор. Сердце ее заныло от жалости.

А девочка, точно забыв про незваную гостью, снова занялась стиркой. Ултуган ждала, сама не зная чего.

С улицы донесся детский плач. Девочка пробежала мимо Ултуган, вытирая о фартук мокрые руки, и вскоре послышался ее сердитый голос. Старшая дочь Майдана выговаривала кому-то:

– А ты что смотришь? Я же сказала тебе: поиграй с ним, чтобы он не плакал.

Ултуган спустилась с веранды и увидела еще одну девочку, помладше первой, катавшую тележку, в

которой сидел двухлетний малыш. Ултуган повернулась и зашагала к себе домой. Она шла быстро, почти бегом, даже задохнулась от спешки, но, не останавливаясь, дернула дверь и влетела в прихожую.

– Майдан... Майдан... Сейчас же оденься и ступай!– крикнула Ултуган, тяжело дыша.

– Что случилось?– спросил Майдан, выходя из передней комнаты. Он был в брюках и майке.

– Я тебе говорю... одевайся!

Майдан пожал плечами, ничего не понимая, и пошел в комнату за рубашкой. Ултуган прислонилась к стене.

– Да что случилось? На тебе нет лица,– спросил из комнаты Майдан.

– Сходи к себе домой.

– А что я там не видел?– Майдан вышел в рубашке, глаза его от удивления стали круглыми.

– Сходи и посмотри. Майдан, дорогой, ради меня иди, посмотри. Я никуда не денусь. Я буду здесь. Майдан, сделай, как я прошу. Потом ты вернешься.

Майдан что-то хотел сказать, потом долго молчал, опустив голову. Но Ултуган не унималась, и он, поняв, что она не отступится от своего, сдался, угрюмо сказал:

– Ладно, я пойду. Но знай: завтра я все равно вернусь в твой дом. Теперь я не смогу жить без тебя.

– Спасибо, Майдан... Только поцелуй меня... И ступай, мой родной...

Она видела в окно, как Майдан, ссутулившись, вышел из дома и побрел по улице, долговязый и нескладный, но такой дорогой.

На другой день он, как и обещал, отправился к Ултуган, по дороге решил завернуть в контору, поговорить с председателем колхоза. В конторе былолюдно. Колхозники толпились в коридоре и горячо обсуждали какое-то событие. Увидев его, Майдана, они было умолкли, но тут же к нему протолкался возбужденный Сагынбай.

– Майдан, она уехала. Насовсем. Куда – никто не знает...

Майдан, не дослушав, не веря своим ушам, побежал к дому Ултуган. Но дом ее и вправду стоял заброшенный, с распахнутой дверью, с окнами, открытыми настежь.

Ноги Майдана подломились, он растерянно сел на порог. Он сразу понял, что потерял Ултуган. Но вот другое было не ясно, и оно терзало душу бедного Майдана. «Зачем? Почему Ултуган сделала это?» – спрашивал он себя без конца.

## В ГОСТЯХ У СВАТА

Тортай только что вернулся с ночной смены и даже не успел умыться, как пришли с почты, принесли срочный вызов на телефонные переговоры. И Тортай, как был, весь перепачканный, обсыпанный пылью, со свалывшимися в клочья и торчавшими в разные стороны волосами, придававшими ему всполошенный вид, побежал на почту. Но пробыл он там не долго, скоро вернулся, сказал матери с порога:

– Тебя сват в гости зовет. Просит приехать.

И по его голосу Катша поняла, что сын ее не в духе, не очень хороший, видимо, получился разговор.

– Ну, а невестка что? Когда думает возвращаться? – осторожно спросила Катша.

– А никогда не вернется она, – пробурчал Тортай и злой как черт направился в свою комнату.

– Ты что говоришь? – не поверила Катша. – Как это – не вернется? Почему?

– А я откуда знаю? Вот и поезжай к ней и спроси сама «почему».

Катша недоуменно покачала головой. Нет, тут что-то не так. Саукентай славный человек.

– Ээ... а ты сам-то ничего не натворил? – спросила она с подозрением.

Тортай молча ушел в комнату и повалился на тахту, давая понять, что этот разговор ему неприятен, и он не хочет его продолжать. А Катша стояла в дверях и смотрела на сына, словно на его лице был записан этот загадочный телефонный разговор, испортивший всем настроение. Сама она только что вернулась от соседки, вдоволь наговорившись и напившись чаю, и к приходу сына поправила волосы перед зеркалом, повязала новый платок. Пусть Тортай посмотрит, какая у него еще молодая мать. И вот эта повестка с почты...

Вскоре с тахты донесся мерный храп. Катша подошла к сыну, стащила с него сапоги и присела на краешек тахты.

«Что случилось в доме свата и сваты?– подумала Катша.– Вот и в гости зовут, в рабочие-то дни. И у невестки как будто нет своей семьи. Уезжала к отцу и матери всего на денек, проведать и вернуться, а живет у них уже недели две. И будто бы и сейчас домой не собирается. Видно, придется поехать да разобраться самой. А то и гляди, разведутся. Теперь у молодых с этим просто. Словно бы нет никакого позора».

Она посмотрела на сына и решила: «Что-то мой баловень сказал не так. Обидел жену. Ведь он у меня известный насмешник».

Спал Тортай долго, до обеда, а проснулся бодрым, веселым, каким она его знала всегда. Он пулей слетел с тахты, разделся по пояс и, выбежав во двор, умылся холодной водой. А потом бросился к столу, разом выпил большую чашку айрана и умял полбатона хлеба. Поставив чашку на стол, Тортай широко улыбнулся и подмигнул, будто она вместе с ним что-то задумала.

– Ты что мне подмигиваешь? Будто я не мать тебе, а девчонка?– спросила Катша с нарочитой строгостью.

А у самой на сердце немного отлегло. Сын смеется, и матери легче.

Тортай опять улыбнулся и подмигнул.

– Вот я тебя скалкой! Будешь с матерью играть,– и она сделала вид, будто тянется за скалкой.

– Все, все. Больше не буду,– заверил Тортай. – Ну а ты как? Поедешь в гости к свату?– И в глазах его сверкнули озорные огоньки.

«Да что с ним? Утром был сам не свой, а теперь радуется неизвестно чему? Жена не хочет возвращаться домой, а ему веселье»,– забеспокоилась Катша, а вслух сказала:

– Поеду. Что же делать.

– Поезжай, поезжай,– лукаво сказал Тортай.– Пойдем со мной на ток. Там я тебя на попутную машину устрою.

– А ну выкладывай: что случилось? Может, ты обидел кого?– не выдержала Катша.

– Я? Да разве я могу обидеть? Это фокусы твоего свата. Говорит, пока не приедет Катша, дочку не отпущу. Дело у него к тебе есть, очень важное. Вот ты с ним и поговори. Поговори, как ты умеешь. Смотри, и вернешься с невесткой,– и Тортай загадочно улыбнулся.

Да, пока она не увидит все собственными глазами, с ней так и будут говорить сплошными загадками.

– Я готова,– сказала она, вздохнув.

– Ты что? Так и собираешься ехать?– удивился сын.

– А что? Не к чужим еду,– в свою очередь удивилась Катша.

– И все же к своим сватам! Пусть увидят, какая ты нарядная. Не бедная родственница, в общем. Это очень важно, поверь мне.

Она послушалась, надела любимое платье с блестками, на голову повязала японский яркий платок и обула новые, очень неудобные, лакированные туфли.

– Ну вот теперь ты у меня самая молодая и красивая. – И этот негодник, конечно, опять не обошелся без шутки: – А если ты еще накрашишься да брови подведешь, сваты и вовсе попадают.

– Ну довольно. Попридержи язык, с чего это ты разошелся?

Возле тока в ожидании погрузки выстроилась вереница грузовых машин; в кабину одной из них Тортай и усадил свою мать.

– Влюбится в тебя какой-нибудь старикашка, вези в аул. Мы его тут пристроим сторожем на ток, – даже сейчас не унимался Тортай.

«Нервничает, вот и несет всякую чепуху», – отметила Катша и вздохнула.

– Неужели ты разучилась понимать шутки, мама? Честное слово, больше не буду. В общем, всем привет... Ну, а если невестка твоя заупрямится, не уговаривай, ладно? Как-нибудь проживем.

В кабину вернулся шофер, и Тортай захлопнул дверцу. Машина тронулась, переваливаясь на ухабах. Под колесами закружилась рыжая едкая пыль. Она устилала дорогу толстым ковром, мягкая, точно пудра.

«Ишь ты, словно черти специально протирали ее на жерновах», – осуждающе подумала Катша, глядя, как поднятая пыль невесомо поднимается над степью, застилая горизонт. Заполняет собой все, набивается в ноздри, оседает на лице и руках. А было время, когда председатель колхоза Сырым, – светлая ему память, – взялся за эту проклятую дорогу. При нем и щебень завезли, и грейдер было пригнали. Да только погиб Сырым в автомобильной аварии, и о дороге словно забыли. Пошатнулись дела в колхозе, и новому председателю было уже не до нее. Думал, как бы заштопать дыры в колхозном хозяйстве. А уж дорога – бог с ней. Нового сменил второй председатель, этого – третий. И всем им было невдомек, что без хорошей дороги нельзя наладить колхоз. Теперь другие времена, большие запросы у людей. Им подавай и светлые дома из камня, и улицы, покрытые асфальтом. И ровное шоссе, как это, на которое после тряски наконец-то выбрался грузовик.

Но здесь уже хозяйничал другой колхоз. Тот, где работал и жил ее сват Бектемир. Катша и не заметила,



как машина пролетела по гладкому шоссе и въехала в аул, где проживала родня невестки. Шофер подвез Катшу прямо к дому Бектемира и помог выйти из кабины.

Первой ее увидела невестка, сидевшая во дворе, в тенечке под деревом, и с радостным криком «апа-а!» бросилась к ней и повисла на шее. Саукентай ласкалась, словно дитя, обнимала, тыкалась губами в лоб и щеки. Она любила, она скучала. Катша поняла это сразу, и у нее отлегло на душе.

– Солнышко ты мое, солнышко... Я тоже соскучилась по тебе, а ты почему-то не приезжаешь. Что с тобой? Может, Тортай обидел?– спросила она, поглаживая волнистые, коротко стриженные волосы Саукентай.

Краем глаза заметила она, как выпукло торчит теперь живот у невестки. И осунулось круглое прежде румяное лицо.

– Тортай? Что вы? Папа меня не пускает,– потупившись, прошептала Саукентай и покраснела.

Из дома появилась сватья Мунила и, приветливо поздоровавшись, стала расспрашивать Катшу о ее здоровье. И спрашивала она не только потому, что так положено, а сразу видно – с искренним беспокойством за нее, Катшу. С полного лица сватьи не сходила мягкая, сердечная улыбка. Потом Мунила окликнула соседского мальчишку, попросила сбегать на ток за Бектемиром. Сват, несмотря на седьмой десяток, сохранил строгую осанку, которую, видно, обрел, будучи долгое время бригадиром. Они сейчас держался с достоинством, как и пристало не последнему в колхозе человеку, и все же, когда Бектемир обнял ее, прикоснулся щекой к щеке, Катша поняла, что и сват душевно рад ее приезду. И это окончательно сбilo ее с толку. Теперь уж совсем не понять, почему сваты не отпускают дочь в свой новый дом. В их поведении не было и тени недовольства ею, Катшой, и ее сыном Тортаем. «Наверное, они это устроили для того,

чтобы заманить меня в гости», – решила Катша и растрогалась.

В ее честь Бектемир зарезал барашка.

– Да зачем тратиться из-за меня? – смутилась Катша.

– Катеке, ты для нас дорогой и близкий человек. Самому богу было угодно породнить нас с тобой. Так для кого же еще, как не для тебя, я должен зарезать барашка?

Бектемир сказал это с такой твердостью, что Катше стало неловко за свои слова и сомнения. Сват и раньше выказывал ей уважение, но сейчас он был особенно почтителен. Он пригласил в ее честь соседей и друзей и, открыв за дастарханом бутылку шампанского, сказал Катше:

– Мы знаем: ты не пьешь. И все же я наполню и твой бокал. Пусть жизнь у тебя будет такой же сладкой и веселой, как это вино.

И было в доме Бектемира в тот вечер большое торжество. Хозяева и гости говорили Катше всякие добрые слова, а она жалела, что не приехала раньше. Когда же застолье подошло к концу, друзья Бектемира и Мунилы, уходя и прощаясь, приглашали ее к себе. И среди них выделялась настойчивостью одна пожилая толстуха, которая, как сказали Катше, приходилась родной теткой самому председателю здешнего колхоза.

– Ничего с твоим домом и скотиной не случится, – говорила она, решительно отвергая все ссылки Катши на оставленные дома дела. – Сын твой – человек самостоятельный, присмотрит. А то что же получается? Приедешь к родне на денек, и тут же бежишь домой, как будто все остальные чужие тебе. Который раз ты в нашем ауле, а? А до сих пор ни с кем даже не познакомилась. За что нас обижаешь? Или мы что-нибудь сделали не так? Так вот завтра приходи ко мне. И никаких отговорок!

Что делать, пришлось Катше дать обещание. И по этому поводу посыпались шутки.

– И правильно ты сделала, Катеке,– сказал, смеясь, старик Шакар, двоюродный брат Бектемира.– Ей лучше сдать сразу. Уж если она сказала, то обязательно добьется своего. Ну, а если всерьез, то она, конечно, права. Пренебрегаешь ты нами. Так что мы со старухой ждем тебя.

На другой день Катша в сопровождении сватьи Мунилы отправилась в гости к председательской тетке. А жила та на другом конце улицы, так что Катше пришлось идти через весь аул. Что и говорить, друзья Бектемира были правы, она и в самом деле не ходила дальше дома своей родни. И теперь шла и дивилась. По обе стороны улицы стояли красивые каменные дома в два этажа. Господи, не аул, а настоящий город.

Мунила, от которой обычно и слова-то не добьешься, видя ее восхищение, вдруг оживилась и затараторила, стала расхваливать на все лады центральную усадьбу колхоза.

– Катеке, посмотри-ка на этот дом,– она указала на двухэтажный дом, украшенный ярким орнаментом. – Его построили в прошлом году. А знаешь, кто там живет? – И взгляд у Мунилы почему-то стал лукавым. – Живут молодые механизаторы со своими семьями. И скоро будет готов еще один дом, точно такой, а может, и лучше. Только на другом конце аула. И тоже, говорят, для механизаторов. Как приедет новый механизатор, ему, пожалуйста, сразу квартиру. А что за квартиры, что за квартиры! Зайдешь – и выходить не хочешь. Так бы век и жила. На первом этаже гостиная, а наверху спальные комнаты. И не надо с печью возиться, воду таскать. Богатый у нас, Катеке, колхоз. Ой, богатый!

– А этот дом! Ты подумай, целых три этажа! Не иначе как школа!– продолжала восторгаться Катша.

– Школа, десятилетняя школа. И тоже недавно построена,– подхватила Мунила. – Старую с ней не сравнишь. Вон она, за домами... А вон детский сад...

А там магазин... Это контора... А дальше тоже магазин, только книжный...

Такие поселки Катша видела по телевизору у соседей. Но то было по телевизору, а теперь она сама шла по такому поселку.

В доме у председательской тетки уже был накрыт стол, и вокруг него сидели люди, незнакомые Катше. Когда она вошла в комнату, гости умолкли и потеснились, уступая почетное место, самое дальнее от дверей. Катша смутилась, попыталась присесть тут же у ближнего края стола, но люди все же настояли на своем.

– Мы здесь все свои и специально пришли, чтобы познакомиться с вами. Значит, вы наш почетный гость, и это место ваше, – пояснил один из присутствующих.

Гости председательской тетки в основном были людьми пожилыми, солидными по виду, и Катше пришлось покориться. «Чем уж я так их заинтересовала, если они и вправду собрались только из-за меня?» – удивилась Катша, усаживаясь во главе дастархана, рядом с высокой худой старухой.

Как оказалось, это была младшая сестра хозяйки и мать председателя колхоза. И в каждую свою фразу, часто без надобности, она вставляла русское слово «подумаешь». Вот и сейчас женщина весело крикнула в сторону кухни:

– Эй, хозяйка! Что же наша гостья, подумаешь, так и будет сидеть? А ну-ка подавай чай на стол!

– Сейчас, несучь! – откликнулась старшая сестра.

Вскоре на столе появился излучающий жар, сверкающий, как медное солнце, огромный самовар. За ним принесли кумыс в большой глубокой чашке.

Сегодняшнее застолье было богаче и веселее вчерашнего. Кумыс сделал свое дело – за столом стало шумно. А одна маленькая старушка, слегка захмелев, предложила спеть.

– Пусть дорогая Катша послушает, как поют в нашем ауле,– сказала она.

– Верно, пусть послушает,– поддержала мать председателя и затянула старинную грустную песню о том, как быстротечна человеческая жизнь.

Голос у нее был молодой, высокий, мягкий. Видно, в молодые годы мать председателя была заводилой на вечеринках и свадьбах. В ее темных глазах и теперь поблескивал озорной огонек, а движения были быстры и легки. Да и по одежде было заметно, что женщина не хочет поддаваться возрасту. «Ну и чертовка»,– с невольной завистью подумала Катша.

Певунья, доведя последний куплет до конца, пригубила чашку с чаем и завела новую песню. А потом и третью. И Катша догадалась, что у матери председателя по этой части здесь нет достойных соперниц. Гости только слушали да похваливали ее между песнями.

– Ну, подумаешь, с меня хватит. Пусть продолжит кто-нибудь другой,– сказала мать председателя, прервав песню на половине. – Иначе гостя решит, будто, кроме меня, у нас никто не поет.

И тогда две пожилые женщины, сидевшие в углу, не ожидая приглашения, затянули протяжными голосами:

Эх, милый мой,

Где мне крылья взять, чтоб поспеть за тобой...

– Наконец-то подружки дождались своего часа. Теперь их никак не остановишь,– пояснила хозяйка Катше под добродушный смех присутствующих.

Подружки оборвали свою песню, засмеялись вместе со всеми. Катша, улыбаясь, смотрела на веселящихся гостей, ловила на себе ревнивый, обеспокоенный взгляд сватьи Мунилы, как бы спрашивающий ее: «Ну как, нравится тебе в нашем ауле?»– «Не волнуйся, мне очень нравится»,– так же взглядом успокаивала она добрую Мунилу, и вдруг к сердцу Катши прихлынула какая-то непонятная печаль. То ли это была зависть оттого, что сама она уже давно не радовалась, как эти

люди. То ли сожаление о том, что нет за столом кого-то ей очень дорогого.

Она почувствовала себя зрительницей, которая смотрит со стороны кино из чужой, счастливой жизни. «Скорее бы уйти», – подумала Катша...

Когда они, расставшись с остальными гостями, оказались одни на улице, сватья Мунила предложила зайти на ток.

– Он отсюда недалеко. Давайте-ка заглянем к Бектемиру.

Катша согласилась, подумав: «Надо было самой поинтересоваться, какой у них колхоз, как здесь люди работают. А то уже гуляю два дня. Даже стыдно».

Ток поразила ее своей чистотой – на земле ни сориночки. Бектемир с метлой в руках ходил вокруг кучи зерна, подравнивал края. Заметив приближающихся женщин, сват обрадовался, закричал Муниле:

– Вот и хорошо, что ты ее привела! Здесь есть что показать. Проходите, дорогая сватья, посмотрите, где мы работаем... Механизмы самые новые. Тортай таких и не видел.

Сват бросил метлу, взял Катшу под руку и стал водить по току, показывая хозяйство, словно она была уполномоченной из района и он отчитывался перед ней.

– У нас все машины делают. Мы уж и забыли, как лопатой махать, – хвастался Бектемир.

Из-за угла на улицу вывернул зеленый «уазик», покотился в сторону тока.

– Это председатель наш! – воскликнул Бектемир и засуетился. – Лучше бы вам не показываться ему на глаза. Горячий он человек, очень не любит, если кто-то без дела во время работы ходит. Как увидит – сразу кричать. Ну-ка идите сюда, спрячьтесь, пока он не уедет.

Сват открыл двери сарайчика с разными инструментами, впустил туда женщин и запер их снаружи.

Шум мотора приближался к сараю, совсем близко, шагах в трех от дверей закрипели тормоза.

– Ассаламуалейкум!– горячо произнес сват, но на приветствие не ответили.

Вместо этого раздался чей-то грозный голос:

– У ворот в кювете зерно? Почему до сих пор не собрали?

– Зерно? В кювете?– поразился Бектемир.– Ах, сукин сын! Никак, рассыпал автобазовский шофер. Он тут недавно приезжал. Ах, черт, ах, ротозей!

– Я с ним разберусь, а вы соберите зерно и перевейте.

– А много ль его там?– усомнился Бектемир.

Катша подумала: «Наверное, несколько зерен». Она ничего не заметила, когда входили на ток.

– Да хоть одно зерно!– еще сильнее рассердился невидимый председатель. – Ну что стоите? Я же сказал: соберите немедленно!

– Сейчас, сейчас соберу. Все, до единого зернышка,– торопливо заверил сват.

Звякнуло ведро, шаги Бектемира удалялись к воротам. Потом снова взревел мотор, машина медленно развернулась вокруг сарая и поехала к воротам. Когда ее шум затих, Мунила подняла прутиком щеколду, и женщины вышли из своего убежища.

Бектемир, уже вернувшись, сидел на корточках над ведром и пересыпал из ладони в ладонь зерно, смешанное с пылью.

– Ну и злой у вас председатель!– сказала Катша, невольно поеживаясь.

– Бог с вами, он еще никому не сделал зла,– возразил сват, поднимаясь. – А что кричит, так это для пользы старается. За колхоз болеет. Мы ведь там одно зерно подберем, там другому упасть не дадим. И, глядишь, немалый урожай собрали.

Вечером напомнил о своем приглашении старик Шакар, двоюродный брат Бектемира, и снова пришлось идти, родня родни как-никак. Шакар в честь

Катши зарезал индюка и, пока мясо варилось, повел с гостьей беседу.

– Вы уж не обижайтесь, что так скромно угощаю. Бог даст, переедете в наш аул, и тогда уж по такому случаю я не пожалею и трех баранов, – сказал старик Шакар, хитро улыбаясь.

«Какой переезд? О чем он? Никак, что-то путает Шакар, стар уже, видно, стал», – подумала Катша.

– Говорят, вам показали весь аул? – спросил Шакар, но не просто так, а с каким-то скрытым значением.

– Ну не весь. Аул у вас большой.

– Очень большой. Как город, – уточнил Шакар. – А дома? Понравились наши двухэтажные дома?

– Хорошие дома. Удобные.

– Вот-вот, вы правильно сказали: очень удобные. В таких домах счастливая жизнь. Всем, кто переезжает в наш аул, дают там квартиры. Ну, может, не сразу. Кому через три месяца, а кому даже через один. А Тортай и вовсе человек, нужный колхозу. Представьте, вам уже никогда не придется печь топить и воду носить издалека. В этих домах есть такие удобства, о каких мы еще не знаем. А люди у нас? Вам понравились наши люди? Веселый народ!

Несдержан был на язык старик Шакар, выдал он, может быть, раньше срока затею брата своего Бектемира. Теперь Катша поняла, зачем ее заманили сват и сватья. Почему так настойчиво расхваливают свой аул. Но Катша ничем не выдала себя, решила пока промолчать. Дождаться, что скажет сам сват Бектемир.

Вернувшись к сватам, Катша сообщила родне, что утром уезжает домой.

– Солнышко мое, – сказала она невестке, – и ты собирайся. Поедешь вместе со мной.

Невестка промолчала, только растерянно посмотрела на отца и мать.

– Катеке, никуда не денется Саукентай, вернется она к вам, – сказал сват Бектемир. – Я о другом хотел с вами



поговорить. Обсудить одно дело, важное и для нас всех. Признаться, для того и в гости зазвал. И вам спасибо за то, что приехали... Мы надеялись, что вы побудете еще день-другой. Но если уж так получилось... придется сейчас сказать, хоть и время позднее, вы устали.

– Ничего, ничего, я слушаю,– сказала Катша и хоть и знала, о чем будет речь, все равно насторожилась.

– Дорогая сватья,– начал Бектемир, подбирая подходящие слова,– нас, конечно, интересует, как идут дела в вашем колхозе. Все-таки там не чужие нам люди живут... Так вот и дочь наша Саукентай, да и другие люди говорят... да и сам я не слепой, бывал у вас, видел... В общем, трудно молодой семье в вашем ауле. Да к тому же скоро маленький родится у них. Жизнь сейчас, слава богу, хорошая, и даже обидно, что есть такие колхозы, как ваш, где молодой человек не может обеспечить свою семью. Ведь у вас даже телевизора нет. Ходите смотреть к соседям. И разве вы одни такие в ауле? Ну если бы еще Тортай лентяем был, а то ведь...

– Сват!– перебила его Катша. – Не надо. Не оскорбляйте наш аул!

– Катеке! Да разве я оскорбляю?– возразил Бектемир.– У меня и в мыслях такого нет. Я говорю, что есть. И зря вы обижаетесь на мои слова. Колхоз у вас и вправду плохой. И с каждым годом становится все хуже и хуже. Э, да вы это знаете лучше меня.

Катша смущенно помалкивала, теребила в растерянности края платка. Да и что она могла сказать, если это было чистейшей правдой. Горькие, но верные слова говорил сват Бектемир.

– К чему же ты клонишь, сват?– спросила она наконец.

– А к тому, чтобы вы переехали к нам. Вернетесь домой, поговорите с сыном. Объясните ему, меня он не хочет слушать. Скажите, так и так. И у нас ему найдется работа по душе. Не обидим. Вы были у нас на току, видели новую технику. Вот переедет Тортай, и

возьмут его на ток механиком. И заработок приличный, и квартира. Чего же еще?.. Подумайте! Об этом я и хотел сказать, дорогая сватья... А Саукентай, ей, как видите, уже трудновато ходить. Так зачем же дочке ездить туда-сюда, из аула в аул?

– Вы хотите сказать: она со мной не поедет? Вы не отпустите ее?– переспросила Катша; ей все-таки не верилось, чтобы сват всерьез решился на такой поступок.

– Я же говорил: никуда от вас не денется Саукентай. Просто она вас здесь подождет,– ухмыльнулся Бектемир.

Катша взглянула на Саукентай, все еще надеясь, что невестка все-таки взбунтуется, скажет и свое слово. Но та стояла, опустив голову, всем своим видом показывая, что безропотно подчиняется отцу. А может, и сама думает, как отец.

– Ну что ж, видно, ничего не поделаешь,– устало произнесла Катша. – Если Саукентай сама не хочет ехать, силком я ее не увезу. Ладно, приеду домой, посоветуюсь с Тортаем. А там уж посмотрим, как быть.

В эту ночь Катше не спалось, до утра ворочалась в мягкой постели. Думала о родном колхозе. О людях, живущих в ее ауле. И чаще всех ей почему-то виделся давний председатель колхоза Сырым, тот самый, что разбился в автомобиле. Такое случается только во сне, когда к тебе помимо твоего желания и воли приходят чужие, а то и вовсе незнакомые люди, и ты только гадаешь: почему именно они?

Да, с тех пор пролетело три года... Страда пришла горячая, как и в нынешнее лето. В те дни все аульчане – и стар, и млад – трудились с восхода солнца до темна, а многие даже спать и то оставались в степи. Председатель Сырым сам ходил по дворам и отправлял на работу всех тех, кто хоть чем-то мог помочь колхозу. Крутой он был мужчина, прости его бог, не смотрел на отговорки. А если уж кого-нибудь ругал, то бедняга

вертелся так, словно сам был готов добровольно провалиться под землю, лишь бы не слышать, как честит его Сырым. Но и в обиду своих покойный председатель не давал, голову мог заложить ради родного аула. И людей знал Сырым, видел их радости и горе. И дело колхозное знал.

Сама она, Катша, в то лето работала уборщицей в колхозной конторе. Правленческий народ целыми сутками пропадал в степи, в конторе не было ни души, и председатель поручил ей дежурить у телефона – отвечать на звонки. А звонили и днем, и ночью из района, из области... Катша, боясь пропустить какой-нибудь очень важный телефонный разговор, почти не спала. И вот однажды сон ее сморил, она прилегла на диван здесь же, в председательском кабинете, и заснула, да так крепко, что не слышала, как в кабинет вошел председатель. Увидев безмятежно, как ему показалось, спящую Катшу, Сырым возмущенно ударил кулаком по столу. От этого стука она и проснулась.

– Ты что? Спать сюда пришла?! – закричал Сырым. – Я тебе что поручил? Дежурить у телефона! Ответственное задание доверил тебе!

– Да я только на минутку прилегла, – пролепетала Катша; ей и в самом деле казалось, что она спала всего мгновение, только прикоснулась щекой к жесткому валику дивана, и тут этот стук.

– Ты утверждаешь – минуту?! И не стыдно тебе? Я сюда битый час звонил, уже думал черт знает что: не померла ли, часом, старуха! А ты! Полюбуйтесь на нее, врет и не краснеет. Да лучше бы ты померла, только не позорила свои седины этим бессовестным враньем!

Пожелание Сырыма, сказанное, конечно, сгоряча, тогда больно задело ее. Она чуть не заплакала от обиды. Да не такой у нее характер, при случае она всегда могла постоять за себя.

– Умри сам! – ответила Катша, задрожав от возмущения. – Мальчишка, ты даже не научился старость

уважать. Я тебе в матери гожусь. Да только кому нужен такой сын?! Тьфу! И мы еще выбрали его председателем!

Катша дала полную волю словам, и на голову председателя посыпались, точно град, всяческие проклятья. Никто еще не смел так говорить с гордым Сырымом. Он разъярился вконец, снова двинул по столу кулаком.

– Ну ты меня еще узнаешь, старая ведьма! Я тебе покажу, как с председателем разговаривать!

Этим бедный Сырым толкнул ее на самый крайний шаг, она обратилась за помощью к богу и предкам, которые пока нейтрально взирали на ее ссору с председателем.

– Что ты сказал? Да пропади ты пропадом!.. О, духи предков моих! О, аллах! Если вы есть на самом деле, куда же вы смотрите? Пошлите этому носителю бесчестья скорую смерть! Ойбай! Ойбай!..– взывала она, глядя на серый от пыли потолок кабинета.

Сырым отступил первым, то ли понял, что ему не перекричать Катшу, то ли не располагал больше временем. Только он выскочил из кабинета, из конторы, бросился в машину и укатил. А Катша, стоя перед открытым окном, все еще посылала ему вслед свои ужасные проклятия.

Вечером того же дня по колхозным полям, по аулу пронеслась черная весть... По дороге в райцентр «газик» Сырыма врезался в тяжелый грузовик, возвращавшийся с элеватора. Оба водителя, видимо, очень спешили, потому что машины мчались почти на предельной скорости. От страшного удара бензобак председательского «газика» взорвался, и Сырым и его шофер сгорели вместе с автомобилем. Мужчины, побывавшие на месте катастрофы, рассказывали аульчанам:

– Ничего от бедолаг не осталось. Лишь пепел один. – И переходили на таинственный шепот: – Правду

говорят: ни в каком огне не горит сердце хорошего человека. Вот и сердце Сырыма так и лежало среди пепла и углей. Огонь его даже не тронул.

Узнав о гибели Сырыма, Катша тотчас вспомнила утреннюю ссору с председателем, свои проклятья и едва не лишилась чувств. В глазах у нее потемнело, ноги подкосились, и она опустилась на крыльцо, куда выскочила, услышав голос всадника, принесшего весть. «О, аллах, никак, это я и навела на Сырыма эту беду», – думала она, трясясь от страха. Она пожелала председателю смерти, и аллах, и духи предков исполнили ее просьбу.

И до сих пор она считала себя причастной к гибели Сырыма. Уже не так впрямую, как тогда она в ужасе наговорила на себя. Да и существуют ли на самом деле аллах и духи предков? И все же считала себя причастной. Потому что в порыве гнева желала смерти Сырымю. А если так, то она виновата и в том, что стало потом с колхозом. Ведь после гибели Сырыма колхозное хозяйство начало хиреть. И может ли она после этого оставить свой аул и уехать туда, где сытней и спокойней? Нет, она не имеет права. А сын Тортай? Ему-то за что пропадать в таком колхозе? И сын никуда не уедет. Он уже решил для себя. И сваты об этом знают. Вот почему они пригласили ее. Думали, будет сговорчивей. Да не вышло.

Утром за чаем Катша высказала то главное, о чем думала всю ночь.

– Сват, – заговорила она негромко, – вы показали мне свой красивый аул, с хорошими людьми познакомили. Спасибо вам за это... Видела я и вашего председателя. Хозяйственный он человек. Надежный... Да только останемся мы с Тортаем в своем незавидном колхозе. А если бы и послушались вас, переехали, все равно бы сын не смог у вас работать. Каким бы ни был родной аул, он – наш. Мы здесь родились, видели вместе с аульчанами и светлые, счастливые дни. Но что же

подумают о нас честные люди, если в трудную пору мы сбежим от них туда, где меньше забот? Нет, дорогой сват и дорогая сватья. Не может мой аул так и остаться отсталым. Он будет таким же красивым, как ваш. Но кто же сделает его таким, если жители все разбегутся по теплым, по чужим местам? Вот мой ответ на ваши слова, которые вы вчера говорили. Ну а ты, Саукентай, – она повернулась к невестке, а та, как и накануне, сидела, низко опустив голову. – Ну а ты, если хочешь еще погостить у родителей, так и быть, оставайся. Я разрешаю...

Говорят, если ты занят мыслями, дорога сокращается вдвое-втрое. Но Катше обратный путь казался нестерпимо долгим. Ее вновь обступили прежние ночные думы, крепко взяли в тиски, но, когда она бросала взгляд за боковое окно кабины, ей виделась все та же степь и все те же телеграфные столбы. Молодой, загоревший дочерна шофер пытался завести с Катшой разговор, обычный в дороге между попутчиками, но она отрешенно молчала. В окно кабины дул упругий раскаленный ветер, пропитанный смешанным запахом пыли и полыни. По обе стороны от дороги тянулись невысокие холмы, на их пологих склонах изредка маячили стога. Низкое бесцветное небо и выжженная солнцем земля словно устали от вечного зноя... И, наконец, вдали появились первые дома родного аула.

«Ну и проказник мой сын, – подумала Катша. – Ведь знал же, что ничего не выйдет у Бектемира, найдет коса на камень. Характер-то у меня ой-ей-ей. Не повезло свату, не повезло. Да теперь ясно, почему улыбался Тортай, когда я собиралась в дорогу. Ну и мошенник!»

Она засмеялась, и шофер удивленно посмотрел на нее: что это с пассажиркой, уж не спятила ли старуха?

## ДОРОГА ТУДА И ОБРАТНО

А виной всему была его мать. Он пытался ее уговорить, да куда там! Как узнала, что Кокбай едет в город, об автобусе и слушать не захотела. Постановила свое: посажу тебя в кабину рядом с Кокбаем, доедешь на своей, колхозной машине, купишь, что надо, – книги, тетради, – и вечером той же машиной вернешься домой. Да и Кокбай человек не чужой, родня, в случае чего присмотрит. А мать если решила, то уж стояла на своем до конца.

У самого Бокена были совершенно другие соображения. Ему хотелось съездить пассажирским автобусом, который ходил из аула в город через день. По четным числам туда, по нечетным – обратно. И Бокен собирался поехать завтрашним рейсом. В городе он не спеша походит по книжным магазинам, купит все, что нужно: и учебники для седьмого класса, и тетради в линейку, и белую плотную бумагу, чтобы рисовать горы и степь. И краски разных цветов. А если добавить сюда и блокноты в блестящей, словно покрытой лаком, обложке, то можно будет твердо сказать, что планы Бокена были почти грандиозными. И разве их осуществить за те немногие часы, которые отпустит ему поездка с Кокбаем? А так он проведет в городе ночь, утром снова походит по магазинам и к вечеру вернется в аул. Все это Бокен изложил маме. И мама тотчас стала кричать:

– Вы посмотрите на него! Вот оспа! Ты понимаешь, что говоришь? Как я могу отпустить тебя одного? В город, где много машин и незнакомых людей? А где ты собираешься ночевать, дурья твоя голова?

– В гостинице, где же еще? – удивился он неведению матери.

– Ой, люди, что мне делать с ним, с этой оспой? – взывала она посреди безлюдной улицы. – Прямо беда! Ну, что скажешь этому глупцу? В гостинице, говорит!

Вы слышали, а? Он, наверное, в конце концов, хочет жуликом стать? Посмотрите на него! Он уже с этих пор собирается в гостинице ночевать! А дальше куда? В тюрьму? Да я лучше тебе сама шею сверну! Как вот дам, и ты у меня в землю уйдешь, точно гвоздь! Получи, негодник! – и треснула его по затылку.

Бокен вон уже вымахал как – был выше мамы на две головы. И ей пришлось стать на цыпочки, чтобы стукнуть его. Но ее это не смутило ни капли. Ее вообще ничем не смутишь. Такой у мамы характер.

– Ладно, не кричи. Поеду с Кокбаем, – поспешно сказал Бокен, краснея, и осторожно огляделся по сторонам: не видел ли кто его позора?

Особенно он побаивался своих одноклассников: узнают – засмеют. А если увидит Гуля, – вот ее дом, от них в двух шагах, – то тогда хоть из аула беги, задразнит до полусмерти! Но, к счастью, на улице по-прежнему не было ни души. И, успокоившись, Бокен вспомнил, что у Гули, кажется, нет учебника по математике, и подумал, не зайти ли к ней: может, она попросит купить что-нибудь и на ее долю.

Однако к Гуле он не пошел, не решился. Он хорошо знал свою маму. Она непременно скажет: «Ты сначала себе купи и тогда уж заботься о друзьях».

– Ну, пошли домой. Пора собираться в дорогу, – сказала мама, добившись своего и потому смеясь. – Вот так бы давно. Приятно смотреть на ребенка, когда он слушается тебя. Ах, жеребеночек ты мой!.. – И она погладила шершавой ладонью по голове Бокена.

Она привела его за руку домой, заставила умыться, поливая ему из ведра, одела его во все чистое: в белую рубашку с коротким рукавом, черные выходные брюки. Потом намочила вьющиеся волосы Бокена, зачесала их на один бок. И все же не удержалась, чтобы не ругнуть:

– Уу, отрастил космы, словно девчонка.



Но на том и остановилась. Усадила его за стол и, хотя он есть не хотел, заставила его выпить целую чашку айрана.

– Пусть в желудке пока полежит. На тот случай, если проголодаешься, – объяснила она.

Накормив, приведя его в подобающий вид, мама повела Бокена к дому Кокбая.

Грузовик Кокбая уже стоял перед его окнами. А сам шофер, открыв капот и нырнув в машину по пояс, что-то делал с мотором, звякал гаечным ключом. Его рубашка вылезла из брюк, оголила смуглые бока и спину. Но в общем-то Бокен разглядел, что Кокбай, собравшись в город, тоже принарядился – новую рубашку надел.

– Эй, Кокбай, мы пришли, – оповестила мама, не желая ждать, когда покажется голова шофера.

Кокбай распрямылся, все тотчас понял, недовольно зыркнул глазами. Однако этого ему показалось мало – он еще сплюнул сквозь зубы. Лицо его было красным от прибившей крови. Рыжие волосы выбивались из-под берета, несвежими космами.

– Возьмешь его в город, с собой, – невозмутимо сказала мама.

– Поехал бы он лучше автобусом, – буркнул Кокбай и, как тут же выяснилось, поступил очень опрометчиво.

– Замолчи! – прикрикнула мама. – Тебе что? Жалко колес этой порожней машины? Боишься их порвать? Попробуй еще слово сказать, окаянный! – продолжала она, не давая шоферу и рта раскрыть.

Кокбай приходился ей племянником, будучи сыном ее родного брата. И вот этому факту он почему-то сегодня не придал должного значения. И напрасно! Мама Бокена разнесла его в пух и прах.

– Негодяй, ты делаешь добро только себе! – кричала она. – Мы еще живы, а ты уже так себя ведешь? Что же станет с тобой, когда мы умрем? Презренный, да за эти слова я вырву твой паршивый язык!

Словесное внушение показалось ей не совсем убедительным, она подняла с земли толстый стебель бурьяна и бросилась на Кокбая.

Шофер и сам уже осознал свой просчет, лицо его стало совсем багровым. В зеленых кошачьих глазах появился испуг.

– Тетя, тетя, я пошутил! Ну конечно, Бокен поедет со мной, – забормотал Кокбай, отступая, прячась за машиной. – Да кого же мне еще взять, как не его? Бокен, ты слышишь, что я говорю? А ну-ка полезай в кабину. Не то твоя сумасшедшая мать голову мне разобьет. Как в прошлом году!

– А, вспомнил? – обрадовалась мама. – И опять разобью, если будешь много болтать. Сынок, вот, держи, – сказала она, быстро утихая.

Мама сунула руку в огромный карман, специально пришитый к платью, вытащила три мятых пятирублевки, вручила их Бокену.

– Этого хватит тебе. На книги и бумагу. На один рубль поешь. Смотри не ходи голодным. А ты за этим проследи, – приказала она Кокбаю, который уже залез в кабину.

– Тетя, ты можешь прибавить еще рубликов пять. Деньги ведь груз не тяжелый, – пошутил Кокбай и выразительно почесал подбородок, намекая на выпивку.

– Ты опять за свое? – угрожающе нахмурилась мама. – Ты, может, еще плату возьмешь за проезд?

– Тетя, да что с тобой? Ты сегодня шуток не понимаешь.

Кокбай поудобней устроился на сиденье и дураш-ливо подмигнул Бокену, будто тот с ним был заодно. Знай он, как не хочется ему, Бокену, ехать этой машиной, тогда бы все было понятно. А то ведь не знал, просто кривлялся. И его страсть кривляться чуть что очень не нравилась Бокену. Уже взрослый джигит, пора бы и остепениться. Ему и то было стыдно за ужимки Кокбая перед людьми. Все же двоюродный брат, свой человек.

А Кокбай как ни в чем не бывало развернул зеркальце, посмотрел на свое отражение и присвистнул:

– Побриться забыл.

Он провел ладонью по редкой жесткой щетине, сорвал с головы засаленный берет и, растопырив толстые пальцы, принялся боронить свои рыжие космы, прихорашиваться перед зеркалом.

– Есть у тебя расческа?

Бокен протянул свою расческу. Кокбай причесался, потер пальцами глаза.

– Вот теперь порядок!– сказал Кокбай, любуясь собой.– А ты, оказывается, молодец. Расческу носишь с собой,– и сунул расческу Бокена в свой карман.

Наконец они поехали. Кокбай рванул машину с места так, что мама молниеносно осталась далеко позади. Шофер вел грузовик с бешеной скоростью, словно за ним погнался леший. Рытвины и кочки были ему нипочем. Бродившие по улице безмятежные куры, ошалело кудахтая, разлетались из-под носа машины, точно комья глины. Впрочем, Кокбай всегда так водил грузовик. Поэтому, завидев его еще издалека, и взрослые люди, и ребятня на всякий случай отходили в сторону, ждали, когда проедет Кокбай. И даже самые глупые уличные псы, которые с лаем так и лезут под колеса других машин, трусливо поджимали хвосты, убегали прочь от обочины.

Так было и на этот раз. Грузовик Кокбая пулей пронесся через аул, гремя своим железным скелетом, подскакивая на ухабах. Из крайнего дома выбежали двое мужчин с мешками и подняли руки, просясь в машину, но Кокбай даже на них не взглянул, промчался мимо.

– Взяли бы их...– попросил Бокен.

– Ничего, обойдутся,– ответил Кокбай с презрительной гримасой.– В конце концов я не обязан возить на базар. Для этого есть автобус.

Машина повернула на грейдерную дорогу, по днищу грузовика защелкал мелкий гравий. Кокбай вертел головой, по сторонам, словно высматривал что-то.

Впереди показались кусты шиповника, росшего вдоль дороги. В тени их кто-то сидел, в красном и белом. Подравнявшись с кустами, Кокбай вдруг нажал на тормоз. Машина со страшным скрежетом замерла на месте, будто наткнулась на незримое препятствие. Застигнутый врасплох Бокен ткнулся в стекло, едва не разбил себе нос.

Подняв голову, он увидел женщину, наряженную в красную кофту и белый платок. Она поднялась на ноги и, взяв стоявшие на земле хозяйственные сумки, вышла на дорогу. Когда она подошла поближе, Бокен узнал молодую жену пастуха Машена, жившего в двух километрах от дороги, на скотном дворе.

Кулшара, так звали молодуху, была, как всегда, красива. Бокен и раньше любовался мягкими чертами ее лица и большими черными глазами. Правда, глаза немного косили. Но это даже украшало ее. За лето Кулшара загорела и показалась Бокену красивее обычного.

На губах молодухи играла улыбка, словно она очень радовалась машине. Но улыбка почему-то потухла, когда Кулшара заметила его, Бокена. Как будто он чем-то ей помешал.

– Красавица, ты куда собралась?– спросил Кокбай, почему-то косясь на Бокена.

– В город решила съездить, на базар,– ответила Кулшара, продолжая смотреть на Бокена, словно ему отвечала.

– Садись, подвезу,– сказал Кокбай, зачем-то пожимая плечами и снова косясь на Бокена, в общем кривляясь, как всегда.

– Да мы же не поместимся втроем,– жалобно сказала Кулшара.

– Поместимся. Не бойся, довезу,– бодро сказал Кокбай.

При этом он часто заморгал, и Бокен решил, что в глаз Кокбая попала соринка.

Бокен придвинулся к шоферу, и Кулшара села с краю. Так они и поехали. Бокен в середине, а Кокбай и женщина по бокам.

Кулшара быстро освоилась, расстегнула пуговицы кофты, сняла с головы платок. Чуткие ноздри Бокена уловили приятный аромат духов.

– Жарко, сил нет, – томно промолвила Кулшара и помахала платком, освежая свое лицо. – Кокбай, я вижу, ты лишнее колесо с собой прихватил, – сказала она, слегка усмехаясь.

«А что в этом плохого?» – удивился Бокен. – Всякое случается в дороге. Только о каком она говорит колесе?» Садясь в кабину, он заглянул в кузов, но там ничего не было.

– А, казахи всегда казахи. Стоит собраться в поездку, так тебя сразу чем-нибудь нагрузят, кого-нибудь навяжут тебе. Так уж издавна повелось, ничего с этим не поделаешь, – ответил Кокбай Кулшаре, и Бокен услышал плохо скрытую досаду.

– Да, теперь ничего не поделаешь, – подтвердила Кулшара, вздыхая.

Кокбай бросил взгляд в заднее окошечко, будто там и в самом деле лежало колесо, и сказал, подмигнув Бокену:

– Ничего, пусть лежит. Вреда от него не будет.

Но уж кто-кто, а Кокбай точно знал, что колеса в кузове нет. И Бокен понял, что они говорили о нем. Это его «навязали» Кокбаю. Это он был лишним «колесом». Лицо его вспыхнуло от смущения и обиды.

А они, даже не подозревая, что он раскрыл их условные знаки, продолжали свой разговор.

– А это лишнее колесо надежно? А вдруг пропустит воздух? – спросила Кулшара.

– Не пропустит. А если что, заклеим его. Не так ли, Бокен? – спросил Кокбай и, взглянув на него краем

глаза, ухмыльнулся; он-то по-прежнему думал, что его младший братец Бокен малолеток, простак.

Бокен промолчал, сделал вид, будто не слышал. А в душе злился на себя за то, что уступил маме, сел в машину Кокбая. И еще: ему было обидно слышать такое от красавицы Кулшары. Ну, Кокбай, ясное дело, тот не хотел брать его с собой. Но чем он помешал Кулшаре? Тесно, конечно, втроем и жарко. Да кто знал, что они встретятся с Кулшарой? Да и она сама об этом ведать не ведала. Однако скажи ему, что так оно будет, уж он ни за что бы не стеснил Кулшару, уж он бы точно поехал автобусом в город.

А вокруг лежала широкая степь с растянувшимися в цепь холмами. Воздух над степью дрожал, стекал с холмов, переливаясь в лощины. Тугой встречный ветер то остужал прохладой разгоряченное лицо, то обжигал нестерпимым зноем. По сторонам от дороги стояла высокая, по пояс, опаленная солнцем полынь. Ветер качал ее желтеющие головки.

– Как ночью доехал?– спросила Кулшара.– Фары опять не зажег?

– Вот еще!– сказал Кокбай.– Чтобы узнал весь аул?

– Ой, а если бы в яму попал или наткнулся на столб?– В голосе ее прозвучали и ужас и восторг.

– За меня не бойся,– самодовольно ответил Кокбай.– Мне хоть глаза теперь завяжи, так поеду по твоей дороге, даже машину не качну. Лучше скажи: твой ничего не заподозрил?

– Слава богу: пришла, а он уже разлегся, рядом с детьми храпит в обе ноздри, – зло сказала Кулшара.

– Я думал, ты сегодня не поедешь, хоть и обещала.

– Почему?

– Думал, муж не отпустит. Он у тебя ревнивый.

– Ну и пусть,– отмахнулась Кулшара. – Что же, мне из-за этого так и сидеть возле него? Молодость у женщин короткая. Смотришь – и прошла! А ему лишь бы выпить да на бок.

Машина ухнула в рытвину, промытую водой. Бокена и Кулшару тряхнуло так, что они соприкоснулись головами. Бокен испугался, отпрянул, обжегшись о теплый висок Кулшары. Словно совершил святотатство. Но Кулшара, к счастью, ничего не заметила, протянула капризно:

– Кокбай, потише веди! Я думала, сердце оборвется.

Кокбай чуть убавил скорость. Удивленно сказал:

– И почему ты за него вышла? Могла бы и подостойней джигита найти.

– Мало ли мы делаем ошибок и не знаем почему? Видно, такова уж судьба. – Кулшара вздохнула и, подавшись в сторону Кокбая, приблизив к Бокену пылающее жаром лицо, промолвила с упреком: – Ты был подостойней, да в армию уехал.

– Срок подошел. А ты, между прочим, и подождать могла. Или трудно было потерпеть года два? – усмехнулся Кокбай.

– Трудно, – сказала Кулшара и звонко засмеялась. Но тут же спохватилась, будто впервые увидела Бокена, закрыла ладонью рот, а затем сердито сказала:

– Какой ужас, болтаем при мальчике обо всем, что в голову ни придет. Ты особенно хорош! Совсем забыл про стыд, – напустилась она на Кокбая.

Тот вроде бы и сам поначалу прикусил язык, да потом, видно, не по нраву ему пришлось, что женщина кричит на него.

– Да ладно тебе! Ничего страшного не случилось. Бокен уже парень большой. Скоро сам начнет поглядывать по сторонам. А пока пусть слушает, учится. Потом на пользу пойдет. Правда, Бокен?

Бокена прошиб пот, к лицу прихлынула кровь. Еще никогда ему не было так стыдно, как сейчас. Он боялся повернуть голову, встретиться глазами с Кулшарой. Окаменел, глядя перед собой. Хорош его старший братец. Взрослый, а глупости говорит похуже маленького мальчишки.

А Кокбай по-своему истолковал его молчание.

– Вот видишь, Кулшара. Он согласен. Молчание – знак согласия. – И Кокбай довольно рассмеялся, как будто сам это придумал.

Он хотел еще что-то добавить, этот тип, наверно, тоже обидное, но передумал и остановил машину. Справа от дороги был прозрачный родник Жарбулак. Он падал с каменистого обрыва в овраг и струился по его дну, чистый и холодный.

Кокбай вылез из кабины и обошел грузовик, пиная носком сапога колеса машины, затем поднял капот и начал рыться в моторе.

– Эй, Бокен! Возьми в кабине ведерко да сбегай к роднику за водой,– приказал Кокбай, подняв голову.

Бокен взял резиновое ведерко, сделанное из куска баллона, и пошел вдоль оврага, продираясь сквозь густые заросли шиповника. Его цепляли, царапали колючки, пыльные листья и паутина пачкали белую рубашку и лицо. Спустившись к роднику, он понял, что сюда давно не ходили. Глазок родника затянулся травой, струйка стала слабой и тоненькой. Бокен нашел острый камень, расчистил глазок и, подставив ведерко под струю, долго сидел, ждал, пока оно наполнится доверху.

Вернувшись с водой, Бокен увидел еще одну колхозную грузовую машину. Ее водитель, невысокий чернявый джигит Абильгай, возбужденно ходил перед Кокбаем и Кулшарой и что-то говорил, бурно размахивая руками.

– Бокен, а ну-ка поторопись, быстрее шевели ногами!– нетерпеливо крикнул Абильгай, будто ради него ходили за водой.

И все же Бокен прибавил шагу и, запыхавшись от быстрой ходьбы в гору, вручил Кокбаю ведерко. А тот, не торопясь, подошел к своей машине и начал заливать в радиатор воду. Но радиатор почему-то оказался полным, и вода с плеском полилась на траву.



– Ну, приятель, тебе повезло! Можешь за водой не ходить,– сказал Кокбай Абильтая. – Здесь и на твою долю хватит,– и протянул ему почти что не тронутое ведро.

Получалось, зря гоняли его, Бокена, за водой. Выходит, Кокбай просто посмеялся над ним! Зло взяло Бокена. И когда Кулшара посторонилась, пропуская его в кабину на прежнее место, он сердито буркнул:

– Нет, я теперь сяду с краю!

А забравшись на место, Бокен в знак протеста изо всей силы хлопнул дверцей кабины.

– Поттише, Бокен! Это тебе не игрушка!– прикрикнул Кокбай и хлопнул крышкой капота.

Бокен понял, что за его отсутствие что-то произошло, досадившее Кокбаю.

И снова в путь. Абильтай до развилки следовал за ними, а там просигналил на прощание и повернул в сторону животноводческой фермы. Кокбай тоже надавил на сигнал – ответил. Затем сплюнул в сердцах и сказал:

– Словно черти принесли этого Абильтая. Не мог заправиться в гараже. Растяпа!

– И откуда он взялся так вдруг?– поддержала его Кулшара.

– Да вроде бы, когда я выезжал, он никуда не собирался. Стоял в гараже. И надо же, явился в самый неподходящий момент! Где он там?– Кокбай высунулся из кабины, посмотрел назад: – Не видно. Уехал!

После этого он с треском – туда-сюда – рванул переключатель скорости, и машина заплясала, задержалась по кочкам.

– Что это с ней?– удивился Кокбай. – Сейчас посмотрим.

Он свернул с дороги, проехал по целине и остановился. Не торопясь, будто собираясь с мыслями, закурил папиросу.

– Ну?– спросил он Кулшару с многозначительной ухмылкой.

– Точ дембу латьде?<sup>1</sup> – спросила Кулшара, поглядывая на него, Бокена.

– Ен наюз<sup>2</sup>, – смеясь, ответил Кокбай.

Они говорили на каком-то странном, незнакомом языке. Бокен даже разинул от изумления рот. А мужчина и женщина обменялись еще двумя-тремя словами, и Кокбай наконец сказал ясно и понятно:

– Придется немного постоять. Проверю мотор.

Все трое вышли из кабины. Кокбай опять начал рыться в моторе, а Кулшара вынесла из машины его старую куртку и села на траву. Бокен от нечего делать тоже нашел себе занятие – стал мять ногами длинные стебли полыни.

– Проклятье, куда же делся гаечный ключ? – вдруг спросил Кокбай самого себя и захлопал по своим карманам. – Наверное, выпал, когда стояли у родника. Что же делать? Эй, Бокен, ну-ка вернись, посмотри. Это же близко.

Бокен, привыкший слушаться старших, уж было и вправду отправился к роднику, да тут же вспомнил, как двоюродный брат шулки ради сгонял его за водой, унизил в глазах Кулшары, и повернул назад.

– Ты чего? – насторожился Кокбай.

– Сам иди, если хочешь. Не падал твой ключ, вот что! – резко сказал Бокен.

– Раз я говорю, значит, выпал. Я старший, и ты должен мне подчиняться.

– И все равно не пойду, – заупрямился Бокен.

– Господи, какой непослушный мальчик! – воскликнула Кулшара и осуждающе зацокала языком.

Они растерянно смотрели друг на друга.

– Тогда придется сходить тебе, Кулшара, – сказал Кокбай, подумав.

– Мне? Ну, конечно, я схожу посмотрю. Иначе будем целую вечность стоять, торговаться, – согласилась Кулшара.

---

<sup>1</sup>Перестановка букв: – Что будем делать?

<sup>2</sup>Не знаю.

– Но там же ничего нет, никакого ключа!– горячо вмешался Бокен.

– Ты опять начинаешь спорить,– поморщилась Кулшара.

Она поднялась и снова сказала Кокбаю на их непонятном языке:

– Дешьпри?

– Дупри домсле,– ответил Кокбай.

Теперь Бокен понял все. Они хотели что-то скрыть от него и переставляли буквы в словах. Как же он сразу этого не заметил? Ему стало очень обидно. Но винил он только одного Кокбая.

Кулшара, словно играя, то прищелкивая пальцами, то развязывая и снова завязывая платок, покачивала плечами, осторожно ступая с кочки на кочку, словно перенося нечто хрупкое, стеклянное, пошла через поле и вскоре скрылась за холмами.

Кокбай ходил вокруг машины, будто бы осматривая ее в ожидании ключа. Но вскоре его терпение будто бы иссякло.

– Ай, разве на женщину можно надеяться?– пожаловался он Бокену. – Пойду-ка поищу сам!

И он решительно пошагал в сторону родника. Бокен пошел следом за ним.

– А ты куда?– спросил Кокбай, обернувшись.

– Я тоже за ключом,– ответил Бокен, не придумав другого объяснения.

– Но ведь ты сам только что отказался? Ты ведь не верил, что ключ упал?

Бокен ничего не сказал, снова пошел за Кокбаем.

– Останься, Бокен! Присмотри за машиной. Как бы что не пропало.

Кокбай просил! Это было непривычным для уха Бокена. Но он не остался. Кокбай ускорил шаг, и Бокен сделал то же самое.

– Слышишь, останься! Я кому говорю?

Вот это прежний грубиян Кокбай.

– Не останусь!– твердо сказал Бокен.

– Тьфу! Неужели ты ничего не понимаешь?.. Ну и дурак же ты!– совсем разозлился Кокбай и, сплюнув, пошел дальше, уже не оглядываясь на Бокена.

Он ошибался, Кокбай. Бокен кое-что понял и потому хотел уберечь Кулшару.

А женщина стояла в лощине, за холмом, и смотрела в их сторону. Родник Жарбулак находился совсем в другом месте. Значит, Кулшара тоже не верила в потерю ключа и даже не пыталась его искать. Она ушла сюда, чтобы увидеться с Кокбаем наедине. Он-то, Бокен, ее оберегал, а она сама ждала Кокбая!

– Бог с ним, с этим ключом! Идем, ехать пора!– крикнул Кокбай Кулшаре и, наклонившись к Бокену, яростно прошипел: – Шею бы тебе свернуть, щенок!

Зеленые кошачьи глаза двоюродного брата от злости покраснели, но Бокен смело встретил его угрожающий взгляд, как бы говоря: «Попробуй сверни!»

Как и думал Бокен, с машиной все было в порядке. Кокбай повернул ключ зажигания, надавил внизу подошвой, и она как миленькая понеслась по дороге.

Теперь все молчали. Кокбай хмурился, сердито покусывая губы. Кулшара поглядывала на Бокена и морщилась, словно у нее болели зубы, а Бокен страдал от новой обиды, нанесенной на этот раз Кулшарой. «А еще красивая», – с горечью думал он.

Вскоре разбитая грейдерная дорога, по которой они скакали, тряслись, переваливались с боку на бок, влилась в широкое асфальтированное шоссе, и машина полетела плавно, точно по стеклу.

Здесь машины бежали сплошным потоком. И кажущиеся хрупкими легковые, и ЗИЛы-великаны, тащившие прицепы с зерном. Эти напоминали целые поезда. Они катили, точно хозяева, чуть ли не во всю ширину дороги. Казалось, не уступи им, и они сомнут, отбросят в кювет. Но «ЗИЛы» проносились мимо стрелой, обдав сильным ветром.

– Хоть бы годок посидеть на такой за рулем...– вдруг размышлялся Кокбай.

– У нас же есть эти машины,– напомнила Кулшара.

– Есть-то есть, да, видно, не про нашу честь. Ходил я к председателю, просил. Не раз! Да только он, как увидит меня, тотчас становится злее волка. «Не для тебя, говорит, эта великая техника». Хотел я уйти в автоколонну, да мать не хочет переезжать в район. Говорит: «Как мы там будем жить без наших родичей?» – «Да как, говорю, живут другие, и ничего». Она все равно ни в какую!

– И правильно делает!– сказала Кулшара. – А ты что? И вправду хочешь уехать?

– Не волнуйся, кое-кого не забуду, нет-нет да приеду, навещу,– сказал Кокбай и посмотрел на Кулшару веселым глазом.

– И все равно не надо!

Кокбай громко засмеялся, обнял свободной рукой Кулшару, притянул к себе.

– Шучу! Никуда не уеду.

– Отпусти!– вырвалась застыдившаяся Кулшара. – Хоть бы постеснялся младшего брата!

– Да пошел бы он куда-нибудь подальше!– сказал в сердцах Кокбай.

«Иди сам!»– мысленно ответил Бокен и, отвернувшись, стал смотреть в окно.

Вдали, в голубоватой дымке, тянулась неровная полоса гор, словно зазубренный край земли. «Хорошо, что учил географию,– подумал Бокен. – А то бы и в самом деле поверил, что Земля наша плоская и у нее есть края. Верят же в это старые темные люди. А до чего похоже на лист железный с рваными краями! Тут невольно поверишь, если неграмотен и ничего не читал. Интересно, Кокбай учил географию? Наверное, учил, да все равно не знает...»

– Не могу по асфальту ездить. Разве это езда для мужчины? Так в сон и тянет,– пожаловался Кокбай, зевая.

«Тебе бы только гонять кур по нашей улице да пересчитывать кочки и рытвины,— съязвил в душе Бокен. — А еще хочешь работать в автоколонне. Очень ты нужен им!»

Раскаленный ветер опалял лица, как пламя. Все трое покраснелись от жары, вспотели. Осоловевший Кокбай тарашил глаза, боясь заснуть за рулем. Кулшара то и дело обмахивалась надушенным платком. Запах духов, еще недавно приятно щекотавший ноздри, теперь раздражал Бокена. Он демонстративно морщил свой короткий нос.

— Все казахи такие,— сказал Кокбай, стараясь себя взбодрить и будто бы продолжая прерванный разговор.

— Вот именно,— поддакнула Кулшара.

«Уж кому бы других судить, да только не вам»,— мысленно возразил Бокен.

Вдали показался город. На горизонте выросли зеленые купы деревьев и между ними белые стены многоэтажных зданий. Потом сверкнула лента воды, лежащая перед городом.

Кокбай оживился и вдруг предложил:

— А что, если нам искупаться в Коктале? Почистимся! Освежимся! Как новенькие въедем в город.

Кулшара и Бокен не возражали: Кокбай свернул с дороги, вывел машину на берег реки и, остановившись перед густым ивняком, подступавшим прямо к воде, первым выпрыгнул на песок, потянулся, помахал, разминаясь, руками, подрыгал ногами и начал раздеваться.

— Бокен, мы с тобой будем купаться здесь!— крикнул он задорно, весело, словно Бокен был для него закадычным другом.

Бокен побежал на его зов, снимая на ходу рубаху. А Кулшара молча отделилась от них, ушла в заросли ивняка.

Раздевшись, Кокбай и Бокен подошли к обрывистой кромке берега, стали рядышком, плечом к плечу.

– Раз! Два! По-ошли!– скомандовал Кокбай, и они дружно прыгнули в прозрачную, медленно текущую воду.

Вода оказалась холодной. На коже тотчас выступили гусиные пупырышки. Кокбай и Бокен окунулись раз-другой и, лязгая от холода зубами, вышли на берег и улеглись на горячий песок.

– Хорошо, а?– сказал Кокбай, еле шевеля посиневшими губами.

Бокен только кивнул, соглашаясь.

– Лежи, сейчас мигом согреешься,– пообещал Кокбай и, загребая руками песок, насыпал целую кучу на спину Бокена.

Бокен блаженно засмеялся.

– Уже лучше, да?

– Ой, щекотно! А теперь я согрею тебя!

Кокбай перевернулся на живот, и Бокен начал сыпать на него горстями жаркий песок.

– Ой, горячо... ой, жжет!– притворно застонал Кокбай.

Они баловались, играли, забыв про недавнюю ссору.

– А ты сможешь переплыть Коктал? До того берега?– спросил Бокен.

– Для меня все равно, что плюнуть. Разве это река?– сказал Кокбай, поднимаясь и стряхивая песок.– В армии я Дон переплывал. Слышал о такой реке? Географию знаешь? Так вот там ширина, наверное, метров четыреста, не меньше.

– И ты переплывал четыреста метров? Ну да?– не поверил Бокен.

– Честное слово! Хочешь, покажу? Переплыву этот Коктал без передышки раз десять!

– Покажи!

Кокбай азартно бросился в воду и с тихим плеском, загребая руками воду, поплыл к противоположному берегу. Его смуглая влажная кожа блестела, как у змеи, и голова Кокбая тоже по-змеиному высоко торчала над

водой. Достав до другого берега, пловец резко повернул назад. Плыл он уверенно и красиво. Смотреть на него было одно загляденье. Бокен и завидовал ему, и восхищался им.

Вернувшись к этому берегу, Кокбай выскочил из воды.

– Ух какая холодная! Горная, ледяная! Кости так и ломит, – сказал он, дрожа. – В Дону вода теплая, как парное молоко. Да и течение потише. Но если ты настаиваешь...

– Я верю! Ты здорово плаваешь, Кокбай! – поспешно сказал Бокен.

Кокбай повалился на живот, и Бокен стал его греть, обсыпать песком. Старший брат нежась кряхтел, а потом о чем-то вспомнил, вскочил резво на ноги и побежал в заросли ивняка, куда ушла Кулшара. И тут же до ушей Бокена долетел его возглас:

– Ай-яй-яй! Какая ты красивая без одежды! Да ты, оказывается, белая совсем!

Кулшара завизжала, и Бокен услышал всплеск, – это она тяжело плюхнулась в воду.

– Бессовестный! – сердито сказала Кулшара. – Чтобы полопались твои глаза! Лезешь туда, где купается женщина!

– Да ты что, Кулшара? Неужто стесняешься меня?

– А почему я не должна тебя стесняться? Или ты думаешь, что я потеряла весь стыд? А ну уходи! Я уже превратилась в ледышку. Уходи, говорю. Дай выйти на берег!

Из зарослей ивняка с треском, словно медведь, вывалился Кокбай. Вид у него был обескураженный. Он молча бухнулся на песок рядом с Бокеном. Бокен тоже молчал. Они еще некоторое время позагорали на солнце. Когда появилась одевшаяся Кулшара и, не глядя в их сторону, прошла к машине, они тоже сполоснулись, смыли песок и начали одеваться.



В город они приехали в полдень. Кокбай высадил своих пассажиров у первой же автобусной остановки и, назначив место встречи, покатыл на другой конец города по колхозным делам.

Оставшись наедине с Бокеном, Кулшара моментально превратилась в ласковую кошечку, замурлыкала: «Бокентай, Бокентай...»

– Бокентай, миленький, не бросай меня одну, – умоляюще говорила она. – Ты здесь знаешь каждую улицу, а я одна заблужусь.

«Ишь как запела! Может, для кого я и Бокентай, но только не для тебя», – мстительно подумал Бокен. Еще недавно он был бы счастлив сопровождать такую красавицу, оберегая ее от всяких напастей. Но сейчас предательство Кулшары еще было свежо в памяти. И кроме того, Бокен имел свои собственные планы на сегодняшний день, наверняка несхожие с намерениями Кулшары.

К остановке подошел автобус, и Бокен, ни слова не говоря, шагнул в открывшиеся двери.

– Бокентай! – пискнула Кулшара и бросилась за ним, едва не сбив его с ног.

Они стояли на задней площадке, и Кулшара говорила громко, словно кроме них в автобусе никого больше не было:

– Ой, как я испугалась! Думала, отстала от тебя! Бокентай, сначала мы пойдем в магазин, в котором продают золотые кольца. А потом...

Пассажиры посматривали на нее – одни удивленно, другие с усмешкой. А две симпатичные девчонки – сверстницы Бокена – откровенно хихикали, перешептывались, подталкивали друг друга, посматривая на Кулшару. Да и одета была их первая аульская красавица как-то нелепо. Платье мешком. Платок сбился набок.. Бокен только теперь обратил на это внимание, сравнив Кулшару с городскими женщинами.

– А потом мы пойдём в магазин для одежды, – продолжала Кулшара, ничуть не смущаясь, на весь автобус.

А Бокен не знал, куда деться от стыда и за Кулшару, и за себя, из-за того что у него такая спутница. И когда автобус подошел к остановке, он, не задумываясь, выскочил из машины.

«Уф, избавился наконец!» – подумал он с облегчением. Теперь можно и в магазин канцелярских товаров. Но рано радовался Бокен. Автобус прошел несколько метров и остановился. Задние двери со скрежетом распахнулись, и на тротуар ступила Кулшара со своими хозяйственными сумками.

– Бокентай, почему ты не сказал, что мы выходим? – спросила женщина плаксиво.

Бокен невольно взглянул на автобус. Девчонки прилипли носами к заднему стеклу и строили рожи.

– Бокентай, мы уже приехали на базар, да? – сказала Кулшара, озираясь.

– До базара еще две остановки. Но я на базар не поеду. Мне надо в книжный магазин, – сказал Бокен, опустив глаза, глядя в землю.

– Как жаль! Значит, я зря сошла, билеты напрасно пропали, – посетовала Кулшара.

Но, к счастью, подошел другой автобус, женщина села в него и отправилась дальше, на базар. А Бокен, облегченно вздохнув, повеселев, повернул на главную улицу.

Город он и вправду знал хорошо, не раз приезжал сюда с мамой, ходил с ней на базар, по магазинам. Вот и сейчас Бокен легко нашел центральный универмаг, где продавали книги и всякие другие нужные ему товары. Постояв в очереди с полчаса, он купил учебники себе и геометрию Гуле. Потом приобрел краски, блокноты в глянцевой обложке. Вот только плотную бумагу не нашел. Но зато съел порцию восхитительного мороженого и выпил два стакана

шипящей газированной воды. Этим ему и нравился город: если у тебя есть деньги, можешь купить все, что угодно душе.

Выйдя из универмага, Бокен пересек улицу и зашел в магазин тканей, и тут у него от ярких и всевозможных красок зарябило в глазах. Эх, были бы у него деньги, купил бы он маме на платье отрез! Но ничего, это время не за горами. Скоро он станет взрослым, начнет зарабатывать сам и тогда купит матери двадцать разных отрезов!

Так, переходя из магазина в магазин, Бокен продвигался в сторону базара. По дороге он любовался товарами, выставленными в витринах. Много их, не виданных им ранее, появилось после его последней поездки в город. Особенно ему нравились товары в хозяйственном магазине. Он потолкался у прилавка, потрогал хитрые замки разных конструкций, подержал в руках новенькие топоры, грабли, лопаты. Одна лопата показалась ему особенно удобной и при этом недорогой, и он решил купить ее перед самым отъездом.

Когда Бокен вышел из магазина, в нос ему ударил запах крепкого мясного бульона. Он почувствовал сильный голод и поспешил в столовую, примостившуюся у входа на базар.

У стойки тянулась длинная очередь. Бокен встал в ее конец и собрался терпеливо ждать, но тут же послышался голос Кулшары:

– Бокентай! Бокентай!

Она стояла в голове очереди и уже получила первое блюдо – тарелку с аппетитно дымящимся супом.

– Бокентай, иди же сюда скорей. Я беру и тебе, – звала Кулшара.

Но Бокен сделал вид, будто не заметил ее, не услышал. Но зато Кулшару слышали другие, заговорили вокруг Бокена:

– Мальчик, тебя зовут! Это ведь ты Бокентай, правда?

– Не стесняйся, мальчик, проходи вперед!

– Товарищи, пропустите мальчика к сестре. Он, видно, стесняется.

– Сельские дети такие застенчивые. Не то что наши городские.

– Вот и хорошо, что застенчивые. Наши уже на голову нам сели.

Его легонько подгалкивали, и вскоре против своей воли он оказался рядом с Кулшарой.

– Бокентай, что ты хочешь на второе? Я себе взяла жаркое. Говорят, оно из говядины, – сообщила Кулшара.

– Ну и я буду жаркое, – пробурчал Бокен, все еще пытаюсь сохранить свою независимость.

Кроме жаркого, Кулшара купила ему суп, два стакана чая и сладкие пышки. Они взяли подносы с едой и устроились за свободным столиком у самого окна.

Бокен достал из кармана деньги и протянул Кулшаре за обед. Но та не только не взяла, но даже отчитала его:

– Спрячь деньги! Пусть эти городские люди считают каждой копейкой. Они тут друг другу чужие. А мы с тобой, слава богу, приехали из одного аула, – рассердилась Кулшара.

Бокен навернул и первое, и второе, но вот чай пить отказался.

– Выйдем на улицу, попью газводы, – пояснил он Кулшаре.

Зато его спутница, поковыряв вилкой жаркое, выпила свой чай и третий стакан взяла у Бокена. С нее ручьями струился пот, она вытирала лицо платком и продолжала пить горячий чай. Словно сидела дома, у себя в ауле.

– Боюсь, что от брезгливости заболēju. Все-таки готовят они из свинины, – сказала Кулшара, когда они вышли на улицу.

Бокен подошел к стеклянной будке и выпил два стакана газировки. Потом они посидели в тени возле

столовой, отдыхая да посматривая на прохожих. При виде женщин в коротких платьях Кулшара хихикала, щипала себя за щеку, говорила:

– Какой ужас! Они бы еще разделись совсем!

А Бокен стыдливо отворачивался, боясь, что Кулшара подумает, будто он специально смотрит на открытые женские ноги.

В три часа, как и наказал Кокбай, они подошли к главным воротам базара. Брат, к удивлению Бокена, сдержал слово – подошел вовремя. Увидев книги Бокена, Кокбай его похвалил, сказал: «Молодес!» Кулшара тоже показала свои покупки и пожаловалась на то, что не смогла купить себе повое платье.

– Они говорят: примерьте. А как я примерю? Не могу же я раздеться прямо на людях? – пояснила Кулшара.

Кокбай весело подмигнул Бокену и сказал:

– Для этого есть закрытые кабины. Ладно, сходим с тобой в магазин женской одежды. Что-нибудь подберем получше. А ты, Бокен, пока погуляй. Незачем тебе париться в магазине. А в пять встретимся на этом же месте.

Бокен не спеша прошелся по базару, купил матери гостинец – изюма и урюку. Себе взял два мороженых и сел на скамью у базарных ворот. Одно мороженое он положил рядом с собой и принялся за второе. Его приходилось есть второпях, большими кусками, чтобы не успела растаять та, другая порция. И от этой спешки страшно ломило зубы и горло замерзло, словно одеревенело, стало бесчувственным. Но зато другое он медленно лизал языком, наслаждаясь каждым кусочком.

Кокбай и Кулшара опоздали на целый час. Бокен уже начал нервничать, считая, что Кокбай опять решил посмеяться над ним. Но он сразу забыл обо всем, когда к нему подкатило такси и они вылезли из машины. Он в первый миг не узнал Кулшару. Перед ним стояло само чудо – городская красивая молодуха в потрясающем

платье, с замысловато уложенной прической. Она смотрела лично на него, Бокена, и улыбалась так, будто они давно были знакомы.

– Бокентай, как тебе мое платье?– спросило чудо голосом Кулшары и покраснело, смущаясь.

– О, как здорово!– только и молвил остолбеневший Бокен.

– Но прежде я ходила в баню,– поведала Кулшара.– Чтобы платье одеть на чистое тело. Потому мы и задержались так долго.

Видно, сегодня они занялись своей внешностью всерьез. Рассчитавшись за такси, Кокбай ушел в парикмахерскую. А Кулшара села рядом с Бокеном. Все еще благоговей перед красотой, Бокен сбегал, купил Кулшаре мороженое. Ну и, конечно, не забыл про себя.

– Бокентай, какой он джигит, твой брат Кокбай?– спросила Кулшара, осторожно вылизывая мороженое, держа его на отлете, чтобы не испачкать платье.

– Что значит «какой»?– не понял Бокен.

– Ну, плохой или хороший?

– По-моему, он не серьезный, какой-то чокнутый,– буркнул Бокен.

– Ну тогда ты не видел по-настоящему чокнутых,– сказала Кулшара, тяжело вздохнув.– Посмотрел бы на моего мужа Машена. Вроде бы как человек, а выпьет каплю...

– Я видел это на днях. Он пил около магазина. Прямо из горлышка пил. Потом залез на коня и начал носиться по улицам. Сам, того и гляди, упадет. Страшно было смотреть на вашего мужа.

– Вот Машен и есть чокнутый,– с тоской повторила Кулшара.

И Бокен подумал, что зря дулся на Кулшару. Что-то он не понял, ничего у нее не могло быть с Кокбаем, если она так спрашивала про него.

Тут их окликнул Кокбай, помахал рукой: ну, мол, поехали! С ним тоже произошла разительная

перемена. Еще утром человек посторонний вряд ли мог угадать цвет волос Кокбая, до того они были грязны и спутаны. Теперь же его рыжая шевелюра была аккуратно расчесана на пробор и блестела, а там, где волосы были разложены по сторонам, белела чистая кожа.

Пока ехали по городу, Бокен сидел в кузове, чтобы не придиралась ГАИ, а потом снова перебрался в кабину.

К вечеру жара спала. В открытые окна кабины врвался приятный освежающий ветерок. Бегущая рядом тень машины вытянулась в глубину степи, к холмам, касалась их своей макушкой.

Проехав километра три, Кокбай свернул с шоссе на серую от пыли степную дорогу. Когда-то она соединяла напрямик город с аулом. Но после того, как были построены удобные объездные пути, дорога опустела. Разве что покажется иногда редкий путник на телеге с меланхоличным быком в упряжке.

– По асфальту до нашего аула восемьдесят километров, а по этой дороге всего шестьдесят, – пояснил Кокбай Кулшаре. – Да и проходит она рядом с твоим домом. У самых дверей тебя ссажу!

– А если и не ссадишь, я не обижусь. С тобой могу и на край света поехать, – сказала Кулшара и звонко рассмеялась, довольная шуткой.

И снова машина прыгала с кочки на кочку, ныряла в ямы, переваливалась с боку на бок. В кабине трясло. Кулшара и Бокен то и дело сталкивались плечами, стучались теменем о потолок. Зато Кокбай чувствовал себя в этой тряске как рыба в воде, небрежно откинулся на спинку сиденья, держась за руль одной рукой. Его глаза хитро блестели, словно он задумал очередное баловство.

Перед машиной неожиданно появился старый полузасыпанный арык. Кокбай невольно сбавил скорость, и машину догнало, накрыло густое облако пыли,

которую она же сама и подняла. Все трое стали чихать и кашлять, и всем троим было очень смешно.

Потом Бокен высунулся из кабины и начал смотреть на степь. Отсюда, из движущейся машины, она казалась совсем другой. Она будто тоже двигалась, не стояла на месте. Особенно это было заметно по холмам. Вот те, дальние, округлые, подобно тибетейке, бежали вперед, словно хотели обогнать машину и встать у нее на пути. А те, что были поближе, похожие на горбы верблюдов, уходили назад. И от этого, от пестроты движений, слегка кружилась голова, точно на карусели, точно степь вращалась вокруг своей оси.

А позади, вдогонку за машиной, летел красноватый луч заходящего солнца. Словно машина и луч играли в догонялки. Но постепенно луч отстал. Теперь его было видно только после того, как машина взобралась на высокий холм. Он лежал на вершинах соседних холмов. Машина покатила вперед, под уклон, будто падающая звезда, и в этот миг погас последний солнечный луч.

Бокен втянул голову в кабину и сел прямо, глядя перед собой. Кокбай и Кулшара, говорившие о чем-то, сразу умолкли, но Бокен не придал этому значения.

– Ну вот и проехали половину, – бодро сказал Кокбай.

– Всего половину? – расстроилась Кулшара. – А я воды хочу. Пить хочу. Умираю, – произнесла она слабеющим голосом.

– Чутьочку потерпи. Вон за тем подъемом есть родник. Там мы остановимся, и ты попьешь, – сказал Кокбай.

На степь легли плотные сумерки, но было и вправду видно, как впереди дорога круто уходит вверх.

– Да, Кокбай, я еще вчера хотела спросить и забыла. Люди говорят, будто ты хочешь жениться. Это верно? – живо спросила Кулшара, забыв о жажде.

– Кто тебе сказал? – удивился Кокбай.

– Слышала, хоть ты и скрываешь.



– Нечего мне скрывать. Ну и люди! Услышат краем уха, а потом болтают бог знает что. Как испорченное радио. На самом деле что было? Сидим на днях, пьем чай. Мама и говорит: «А что, если посватаем дочь старика Жумагула?» Ну и я сказал: «Как хочешь». А люди, выходит, уже меня женили!

Кокбай одолел крутой подъем и остановил машину.

– Пойдем. Покажу, где родник, – сказал он Кулшаре.

Они вылезли из машины и пошли прочь от дороги, в темноту. Когда они скрылись из виду, Бокен тоже почувствовал жажду и направился следом за ними.

Он едва не наткнулся на них. Они стояли, прижавшись друг к другу, и Бокен вначале не сообразил, что перед ним два обнявшихся человека. Понял лишь тогда, когда они, заметив его, отпрянули в разные стороны.

– Тебе что надо?! – растерянно крикнул Кокбай.

– Я тоже хочу воды, – пробормотал Бокен, растерявшись не меньше этих двоих.

– Ну что ты за нами следишь? Тебя что кто-то приставил? – обозлился Кокбай.

– Я тоже пить хочу, – бестолково повторил Бокен.

– Дурак! Здесь нет воды, – сказал Кокбай и яростно рассмеялся. – Кулшара, ты только взгляни на него! Он поверил, что здесь родник! – И заорал на Бокена: – Иди сейчас же к машине. Иначе я тебе шею сверну!

– Ладно. Пусть смотрит, если ему не стыдно, – вмешалась Кулшара. – Ну что же ты стоишь, Бокентай? Подойди еще поближе!

– Вы оба... плохие люди. А вы еще и обманщица, красивое платье надели, – выпалил Бокен, едва не плача.

– А ну повтори, что ты сказал?

Кокбай шагнул к нему и ударил тяжелой ладонью по щеке. Бокен повернулся и побежал к машине. На панели в кабине висел ключ. Когда-то один колхозный шофер, возивший с фермы молоко, учил его, как заводить машину. Бокен повернул ключ, и сразу засветились циферблаты, качнулись язычки стрелок.

Он зажег фары, нажал на стартер. Машина послушно заурчала и тронулась с места. «Не люди они... не люди», – шептал Бокен.

– Бокен! Сукин сын! Сейчас же остановись! Убью! – закричал позади разъяренный Кокбай.

Но Бокен прибавил газу. Машина, гремя и сотрясаясь, виляла из стороны в сторону, ударяясь о крутые края дороги, грозя перевернуться. А вдогонку летели душераздирающие копии Кокбая:

– Бо-кен!.. Бо-кен!.. Остановись!.. Разобьешься!..

В лучах света запоздало разверзся старый арык. Бокен не успел даже подумать, да и успеи, все равно бы не знал, что нужно делать. Машину бросило вниз, потом она взмыла вверх. Бокен больно ударился о потолок кабины, прикусил язык. Ход машины как бы выправился, но дорога почему-то казалась все уже и уже. Полынь и волоснец, стоявшие вдоль обочины, выросли в свете фар до размеров деревьев, наступали на машину с обеих сторон.

– Бо-оке-ен!

Голос Кокбая, казалось, догонял машину. Она медленно одолевала подъем, ход ее стал тяжелым, вязким. Бокен неистово давил на газ. Мотор выл, ревел, словно хотел разорвать пополам землю. Наконец на последнем дыхании, нервно дрожа, грузовик взобрался на холм. И тут будто кто-то державший его сзади за борт бросил руки, и грузовик покатился вниз, словно полетел в пропасть...

## НЕКИЙ

Он поднял было ружье, но кеклики, словно угадав его намерение, шумно снялись с места, полетели на другую сторону оврага. Отяжелевшие от жира, они неуклюже, как-то боком, будто преодолевая встречный ветер, летели сквозь сетку падающего снега. Добравшись до той стороны оврага, они плюхались в

снег и разбегались между камнями. Головки их так и мелькали среди темных каменных проплешин.

Он тоже побежал туда, нелепо размахивая руками, по колени увязая в сугробах. Колючие крупинки снега хлестали по лицу, но он, не чуя ног под собой, не замечая ни снега, ни острых когтей шиповника, цепляющегося за полы полушубка, бежал, помышляя только об одном, не сводя глаз с той стороны оврага, где в панике мелькали меж камней головки кекликов. Теперь наступал самый важный момент охоты. «Не меньше двух, – твердил он себе. – Двух кекликов обязательно. Не меньше... Ничего не скажешь, мне все-таки повезло!» Да, наконец, ему повезло: с утра он бродил, искал эту проклятую дичь, и вот она – перед его глазами. Теперь он сделает то, что задумал, теперь-то он заставит Алибека Дастановича сказать свое «орригинально» и удивленно поцокать языком. «Самое меньшее двух...»

Вдруг где-то под левым ухом оглушительно грянул выстрел. Кто-то резко толкнул его в плечо, он потерял равновесие и сел в снег. И тотчас прогрохотал второй выстрел, и опять где-то рядом, прямо под боком. У него кругом пошла голова: не понимая, что же случилось, он хотел рывком подняться на ноги, но снова повалился в глубокий рыхлый сугроб. Кто же его толкал? Кто стрелял в этакой близости, прямо под ухом? В левом плече нестерпимо запекло; словно отзываясь на эту боль, заныло и левое бедро. Ах, вот оно что! Стреляли в кекликов, а попали в него! Но кто же этот болван? Он осторожно перевалился на правый бок, слегка приподнялся на руке и посмотрел по сторонам. Никого. Только несильный, но настойчивый ветер. Да низко свисающая серая мгла, из которой сыпал крупитчатый снег. Увлеченный азартом охоты, он заметил все это только сейчас. А кеклики? Он невольно бросил взгляд на камни, туда, где только что суетливо металась кеклики. Теперь там никого не было.

«Улетели! Они услышали выстрелы и снялись. Все до одного! Какая жалость! А такие жирные были кеклики... Парочку хотя бы. Уж Алибек Дастинович точно бы зацокал языком», – подумал он с досадой. Но пора было заняться собой. Никого, разумеется, поблизости не было. Стреляло его собственное ружье. Еще качалась ветка шиповника, зацепившая спусковой крючок. Из стволов еще тянуло запахом жженого пороха. От мысли, что он чуть не убил самого себя, ему стало дурно. «Но смотри-ка, оберегла меня судьба, не захотела смерти моей», – пробормотал он с радостным удивлением. И надо же: чуть не почувствовал себя счастливым. Жив! Жив!

Он осторожно поднялся, преодолевая ноющую боль в левом плече и бедре. По телу волнами пробежала противная дрожь. Кружилась голова. Он перевел дух, расстегнул верхние пуговицы полушубка и правой рукой осторожно потрогал раненое плечо. Пальцы наткнулись на теплое, влажное. Он вытащил руку и увидел кровь. А с левой ногой и без осмотра все было яснее ясного: кровь просочилась сквозь дырку, оставленную пулей на внешней стороне штанины, а лела пятнышками на белом снегу... И все же осмотр его удовлетворил. Внутренние органы были не тронуты, кости целы, значит, раны были сущим пустяком. Теперь он не знал – плакать или смеяться. Охотничек, называется... Но плакать уже вроде бы ни к чему. Да и смеяться тоже. Все-таки раны, что ни говори.

Он подумал, что надо бы их перевязать, но тут же понял, что из этой затеи ничего не выйдет. На таком морозе, пока снимешь и снова наденешь толстый полушубок да ватные стеганые брюки, наверняка околеешь от холода. Ну, допустим, он все-таки разделется и разорвет нижнюю рубаху, но как перевязать плечо и бедро, если и палец-то забинтовать не умеет? Такая повязка сползет через каких-нибудь пять минут. Нет, уж лучше оставить как есть. Да и раны, в общем,

терпимые. Он с ними еще кекликов пойдет искать. К пропасти они улетели. Больше им некуда деться.

Даже сама мысль, что он может вернуться в город с пустыми руками, казалась нестерпимой. Но первые же шаги вниз по склону оврага его отрезвили: здесь с каждым шагом снег становился все глубже, все коварней. И хватит ли ему сил потом подняться наверх? Да и на той стороне придется прыгать с камня на камень. Словом, пока не поздно, лучше вернуться в аул да напрямик в амбулаторию! Даже с легкой раной опасно шутить. Вон в прошлом году один джигит сколупнул на лице маленький прыщик и умер – началось заражение крови, а от этой штуки уже никого не спасешь.

Он заковылял назад, по своему следу, опираясь на ружье, точно на палку. По его телу вновь побежала нервная дрожь. Видно, еще не вышел испуг, таился еще в глубинах души. Он остановился, подождал, давая себе возможность успокоиться. Если плечо по-прежнему сильно саднило, то боль в ноге притупилась, и это подбодрило его. Он снова двинулся в путь.

Наверху, на открытом месте, снега тоже намело по колено. Белая крупа продолжала падать, засыпая его следы. И те становились все мельче, их очертания все неясней, а вскоре следы и вовсе исчезли под слоем свежего снега.

«Пустяки, – сказал он себе, – вот сейчас перевалим через два холма, а там и выйдем на санную дорогу, по которой возят сено на фермы».

На всякий случай он огляделся, определяя свое местонахождение. Ну, конечно, вон там лощина Куркулдек, куда он частенько бегал в детстве, а под ногами его, под снегом, клеверное поле. До аула отсюда шесть, самое большее семь километров, и домой он теперь даже с закрытыми глазами дойдет. Вот только бы хватило сил, не потерять бы много крови. А она продолжала сочиться, левый валенок внутри стал влажным. Рубашка и пиджак на плече тоже

разбухли. Появился озноб, значит, поднялась температура. «Только не паникуй, ничего страшного не случилось, – сказал он себе. – Скоро ты будешь среди людей, в тепле. Тебя перевяжут, и ты будешь жалеть только об одном: что вернулся без кекликов». Да, вот кекликов он так и не взял, досадно. Ради них он и приехал в свой родной аул. Хотел удивить Алибека Дастиновича, чтобы тот процокал языком и сказал: «Ор-ри-гинально!» Ну ничего, зато он узнал, где они водятся, кеклики, завтра, если погода наладится, он вернется сюда. Он еще удивит Алибека Дастиновича, заставит поцокать языком.

Глубокий снег словно хватал его за ноги, замедляя движение. Раненое плечо отяжелело, его приходилось нести, точно груз. И ружье – вот уж он никогда раньше не замечал, что его ружье весит так много, будто из цельного куска железа. Он расстегнул ремень и поволок ружье за собой по снегу. Прикинул: если идти с такой скоростью, до аула можно добраться за два часа. Но возможно, его подберут на санной дороге. Должен ведь кто-то отправиться за сеном, черт побери! Главное – не думать о ранах, думать о чем-нибудь другом. О чем угодно, только не об этом.

Он начал думать о двоюродной сестре Батиш и ее сыновьях. Утром, когда он собирался на охоту, проверяя напоследок патроны, Батиш попросила денег взаймы. В магазин завезли детскую одежду, и у нее не хватало пятнадцати рублей на пальто старшему сыну. Собравшись, повесив на плечо ружье, он вышел на улицу и встретил сестру и своих малых племянников, уже возвращавшихся из магазина с покупкой. Пальто, предназначенное старшему брату, надел на себя младший сын Батиш; его полы и длинные рукава волочились по снегу. Законный владелец покупки брел сзади, чуть не плача, пытаясь временами овладеть своим новеньким пальто. Но каждый раз, когда он приближался, малыш поднимал истошный крик. «Не

трогай его, – говорила старшему Батиш, – скоро ему надоест, и он сам отдаст пальто». Наконец малыш запутался в полах, упал и, решив, что его толкнули, устроил неопиcуемый рев. «Вот так и мы с Айташем в детстве», – вспомнил он растроганно тогда. Айташ, старший брат, всегда терпеливо сносил его баловство и капризы. Бывало, ничем не выдаст своего недовольства. Но нет уже старшего брата Айташа в живых...

На глаза его навернулись слезы, захотелось лечь и поплакать. И по брату, и... вообще. Наверное, от усталости, оттого, что позволил себе расслабиться. Но вот этого-то и нельзя было делать. «Держи себя в руках, не распускайся. Собери все свое внимание в кулак. Снег идет и идет, это уже настоящая метель. Поторопись! Нужно дойти, пока не стемнеет, иначе будет еще трудней». Но пора бы и на санную дорогу выйти. Куда же делась она? И верно ли он идет? В какой стороне осталась лощина? Он снова осмотрелся. Открытая степь и сплошной снег. Не за что зацепиться глазу. Но еще ветер. Ветер дул в правую щеку, когда он выбирался из лощины Куркилдек. Значит, нужно повернуться вот так. Теперь все верно. Аул вон в той стороне...

А что же было дальше? Он помахал рукой Батиш и пошагал в степь. И там, уже вдали от аула, наткнулся на черного кобеля. Как тот угодил в капкан, поставленный в глубинах степи, об этом оставалось только гадать. Но гадать было некогда. Бедняга мучился, наверное, уже дня два. Отощал, выбился из сил, пытаюсь вырваться на волю. Но и освободить его не так-то было просто. Кобель впал в крайнюю ярость, видно, принял его за хозяина капкана. Он полчаса кружил вокруг пса, пробовал подойти и с той, и с другой стороны. И успокаивал, и говорил ласковые слова. Но кобель рычал, скалил клыки, на подпускал к себе ни на шаг. В какой-то момент он хотел бросить эту затею и уйти и даже в сердцах сказал: «Ну и пеняй на себя, подыхай, если хочешь». Потом представил, в каких

мучениях подохнет собака, и решил ее пристрелить. Однако руки отказывались поднять ружье. Собака не дичь, живет среди людей. И выстрелить в нее – почти что выстрелить в человека. В конце концов его осенило: он снял с себя тяжелый, толстый полушубок, накрыл им пса и с великим трудом открыл замок капкана. Кобель не стал искушать судьбу, припустил во весь дух, и его отрывистый лай еще долго отдавался эхом в заснеженных холмах.

«Интересно, что за глупец поставил капкан? Кого собирался поймать в это время? Не собаку же, поди?.. Ээ, да, кажется, и я не умнее. Ветер дует справа, как и положено. Но почему здесь оказались кусты? И спуск в лощину? Но по дороге в аул нет ни одной лощины». И как назло, невыносимо заболело плечо, левая рука стала тяжелее ружья, а кровь уже будто бы пропитала всю одежду, уже и в валенке, и за пазухой полушубка. Слабость тянула его к земле за подол, хотелось лечь в мягкий снег, отдохнуть. А по тому, как бил его озноб, он понял, что температура поднялась еще выше.

«Не стой, иди, иди!» Но куда идти, в каком направлении, этого он теперь не знал. Вокруг был только снег, словно кто-то наверху просеивал его сквозь гигантское сито. Да проглядывали сквозь мутную сетку снега неизвестно откуда взявшиеся кусты шиповника, чужие, нахотлившиеся под снежным малахаем.

«Бог мой, неужели я заблудился? Да ну, не может быть». На всякий случай он покричал, и крик его унесло ветром неизвестно куда. К тому же орать в полный голос было неловко – сразу отдалось в больном плече. Тогда он зарядил ружье и, подняв его с трудом правой рукой, выстрелил вверх. Но и этот звук увяз в снежной каше. «Ничего себе ситуация. Нелепей не придумаешь». Но надо было двигаться, хоть куда-то идти. День уже клонился к вечеру. Он по-детски мечтательно подумал: пусть бы на секунды две-три исчезла метель, дала бы ему оглядеться, а там смешай небо с землей, он бы все равно вышел к аулу.



Он обнаружил, что снова остановился, и снова погнал себя вперед. Нужно было двигаться, двигаться... Это ничего, что кружится голова и, наверное, потеряно много крови. У него организм крепкий, он не из слабых людей. И терпеть бедствие для него не впервой. Вот прошлым летом, когда он повез студенческую строительную бригаду на одну из дальних кошар, машина сломалась, и они просидели в песках трое суток. Зной был адским, воды четыре бутылки на всех, и до ближайшего жилья сто пятьдесят километров. Так вот на второй день свалились все, кроме него, он же, взяв ведро, отправился искать воду и на третьи сутки нашел старый колодец, тащил оттуда ведро с водой, спас, можно сказать, от гибели бригаду. Не-е, что-что, а здоровье у него железное...

Впереди сквозь сумеречную пелену возникло приземистое дерево. Он узнал его. Это был боярышник, а за ним начинался глубокий овраг. Овраг так и называли: Одиноким деревом. Вот он куда попал!.. Тут было в пору сесть на снег и завывать. Одинокое дерево находилось совсем в другой стороне. От него до аула было километров десять, не менее. Он заворожено смотрел на дерево, будто на знак, предвещавший беду. А редкие искривленные ветви боярышника шевелились под ударами ветра, словно патлы старухи. И бусинки ягод, свисавшие кое-где на манер скудных украшений, как бы дополняли такое впечатление. Ему стало жалко и себя, и это дерево одинокое. А кому хорошо в одиночестве? Он и сам казался сейчас себе тоже одиноким, заброшенным. Доберется ли он теперь до аула? И аул, и дом двоюродной сестры Батиш стали вдруг недостижимы, точно отодвинулись на край света. А ведь этот кусочек степи был ему знаком не меньше его теперешней городской квартиры, – ну не ирония ли судьбы? Еще в детстве он бегал сюда, носил матери воду на сенокос. Лазил на боярышник и рвал его ягоды. Бывало, завяжет рубаху у пояса узлом и давай набирать за пазуху ягоды.

Много набирал, рубашка на животе так и отдувалась. Под этим же боярышником они и плакали с матерью, когда пришла похоронка на отца. Малым был, а значит, и глупым, не осознавал до конца, что означало слово «погиб», и плакал, и ел ягоды одновременно. Стоило матери отвести глаза или закрыть их от горя руками, как он тотчас совал ягоды в рот и торопливо ел, сплевывая косточки так же тайком. Старший брат Айташ, ходивший за конем, впряженным в борону, заметил эти уловки, подошел и дал ему подзатыльник... Да, сколько событий было связано с этим деревом и оврагом, которому оно дало свое имя. Одних только игр не перечесть. Но все это происходило летом. И летом у боярышника вид не был этаким сиротливым и жалким. С весны он пышно распускал свои листья, стоял богатырем, вобравшим в себя силу и мощь всей округи. К нему слетались стаи птиц и строили гнезда на его широких ветвях, а колхозные косари искали в его тени спасение от палящего зноя. Все это было летом. А зимой дерево уже и в самом деле становилось одиноким. Как только увозили последний стог, люди здесь не появлялись до самой весны. Значит, на случайную встречу ему рассчитывать нечего. Разве что будут его искать. Но пройдут сутки, а то и более, пока спохватится Батиш. Он уже не раз ночевал в степи, уходя на охоту, и сестра к его задержкам привыкла. Когда это случилось впервые, она подняла на ноги аул, всех переполошила. А он тогда, увлекшись охотой, зашел далеко, не заметил, как стемнело...

Так и сейчас: уже начинало темнеть, день кончался, а метель по-прежнему не унималась. Слава богу, сестра Батиш убедила его одеться потеплее, а то бы совсем было худо.

Он повернулся лицом к аулу и пошел вперед. Ветер теперь давил в его левое, больное плечо. Боль перекачивала в голову, начало поташнивать. А ружье превратилось в такую обузу, в такой тяжеленный груз,

что хоть бросай его и иди налегке. Но этого-то делать не следовало. А ну как встретится зверь?

«У-уу» – выл ветер и швырял горсти снега в лицо, ослепляя. То и дело приходилось закрывать глаза. Да, впрочем, и от них уже не было проку. На степь опустилась тьма, стало черным-черно. Пока прямо своим носом не уткнешься, все равно не увидишь ничего. Он почувствовал себя совершенно беспомощным, как в далекие детские годы? Но тогда рядом с ним был старший брат – Айташ – его надежная опора. Айташ бы и теперь что-нибудь сделал и спас. Но нет старшего брата. «В чем я провинился? За что меня так?.. Если останусь жив, всех уничтожу! Всех!.. Всех!..» В его душу хлынула обида и злость. Ему плохо, а всем остальным сейчас хорошо. Он шел, плача и ругаясь, обвиняя в своей беде весь мир, и вдруг с ходу ударился о что-то, упал на спину. Задыхаясь, замирая от боли, он выбрался из глубокого снега. Перед ним чернело нечто похожее на маленький домик, утонувший в сугробе. Он пошел вдоль стены и, дойдя до подветренной стороны, где снега было меньше, обнаружил, что это не домик, а стог сена. Стог, конечно, не бог весть какой подарок, но и за него можно сказать спасибо судьбе. Пусть хоть это, чем ничего!

Спрятавшись за стогом от ветра, он немножко пришел в себя. «Эх, еще бы коробок спичек, и можно было развести огонь и погреться. Да ведь не подумал, не взял с собой, болван», – сказал он себе с упреком. Айташ уж обязательно сунул бы ему в карман коробок. Мало ли что может случиться в зимней степи?

Он присел на корточки и начал здоровой рукой выдергивать сено, строя подобие норы. Слежавшееся сено не поддавалось, к тому же при каждом усилии боль разрывала плечо. То и дело переводя дух, он, наконец, соорудил себе крошечную пещеру в основании стога, влез в нее задом и, заложив вход охапкой сена, прилег. Ноздри ему щекотал кислотовато-терпкий запах. Он

крепился-крепился и все же чихнул и охнул от боли. Этого только и не хватало – загнуться от собственного чиха. Нет, скорее носом в воротник, – пока не привык к острому запаху сена. Тепло, покой его разморили, тело размякло, стало точно ватным, он впал в блаженное состояние, как бы отделившись от окружающего мира. Казалось, степь, заверченная бураном, была сама по себе, а он здесь тоже сам по себе. Каждый из них обособился на своем кусочке огромной вселенной. И даже его собственное сознание как бы жило отдельно от тела.

Он лениво подумал: «Отсюда сено вывозят еще к началу зимы. Почему же этот стог остался под снегом? Может, кто-то косил себе? Ну тогда бы тем более, уж свое-то, личное, увезли бы раньше колхозного, позаботились о своем. А впрочем, не вывезли – и ладно, тем лучше для меня». Он пребывал на границе между сном и явью, погрузившись в дремоту, и сколько времени это длилось, трудно было сказать. Его разбудил страх. Кто-то рылся в сене, которым был заложен вход. Он прислушался, и ему почудилось чужое дыхание. Казалось, чья-то рука проникла в его убежище и тянет за полушубок.

– Эй! Кто тут?!– закричал он истошно.

И кто-то невидимый и в самом деле отбежал назад.

– Я спрашиваю: ты кто? Эй, отвечай!– потребовал они со страхом, и с надеждой. Может, вспомнили, приехали за сеном.

Но ему никто не ответил. Сон его как рукой сняло. Он взял лежавшее под ним ружье, на ощупь, в темноте, зарядил. «Пусть сунется еще, спущу оба курка, – подумал он и усомнился в своем решении. – А вдруг все же человек? Только боится. А может, заблудилась чья-то скотина?»

– Эй, не бойся! Подойди!– крикнул он на всякий случай.

Голос совсем ослабел. Писк, а не голос мужчины. И все же будто шилом кольнуло в плечо. Но все-таки

что там снаружи? Нет, никто не отозвался. В степи было тихо. «Может, мне померещилось?» Но в его нору задувал ветер, занося крупицы снега, значит, кто-то и впрямь разворошил сено, закрывавшее вход.

Он подождал, настороженно всматриваясь в темноту, прислушиваясь к звукам, и потом заложил сеном вход поплотнее. «Наверное, это ветер разворошил, вроде завихрения». Такое предположение его несколько успокоило, и все же каждую минуту надо быть начеку, не спать, держаться.

А кровь хоть и не сильно, но продолжала сочиться из ран. Ею уже пропиталось все белье на левом боку, она уже похлопывала в валенке. И сколько еще вытечет до утра? Не будет ли эта потеря губельной для него? Но он ничем не мог себе помочь. Оставалось терпеть, ждать рассвета. «Не думай об этом, о чем-нибудь другом», – напомнил снова он себе и направил свое воображение в город, туда, к Алибеку Дастеновичу.

«Ор-ри-гинально!» – говорил Алибек Дастенович, произнося это слово каким-то особым образом, раскатисто, сверкая золотым зубом. Интересный он человек, не простой. Умница! Но, если признаться, есть в нем и неприятное что-то. Любит повластвовать над людьми...

«Стоп! Не имеешь ты права осуждать Алибека Дастеновича, учителя своего. Кто, как не Алибек Дастенович, вывел в люди меня? Я все-таки подстрелю двух кекликов и позову его в гости, заставлю поцокать языком... А как же все так получилось? Ну да, в тот раз, когда мы сидели в гостях у Капара, учитель мечтательно сказал: «Но лучше всего мясо кекликов. У него, помимо всего, есть и целебные свойства». Ну, и ты сунулся со своим обещанием. Да и как было не сунуться, если этот нищий Капар закатил такое угощение, выставил икру и осетрину на стол. Мол, из родного аула прислали. А сам небось всю свою паршивую зарплату на это потратил. Обошел меня, сукин сын. И это когда место

заведующего отделом еще свободно. Знает, как любит Алибек Дастанович поест. И тот действительно ел так, словно ничего лучшего в жизни не видел. И тост за Капара поднимал. И кое-кто истолковал это так, что не я, а Капар ныне первый кандидат на заведование отделом. Эх, был бы жив Айташ, уж он бы что-нибудь придумал, нашел, как одолеть эту хитрую лису Капара... Айташ, мой дорогой брат!..»

Нервы его сдали, к горлу подступил горький комок.

Он не сразу уловил шуршание сена. Кто-то опять нахально лез в его убежище, раскапывал вход.

Он испуганно вздрогнул, закричал:

– Эй, буду стрелять!

А палец его уже сам по себе нажал на спусковой крючок. Непрошенный гость отпрянул назад вместе с грохотом выстрела. И на этот раз через открывшуюся дыру он увидел черный силуэт волка.

Он наспех прицелился и выстрелил из второго ствола, но промахнулся, и волк исчез где-то во тьме.

Он достал из патронташа два патрона и трясушимися руками зарядил ружье, возбужденно говоря вслух, подбадривая себя:

– Ишь, пришел, думал, я так легко достанусь! Как бы не так!

Собственные же слова придали ему смелости. И вовремя! По ночной заснеженной степи пронесся тоскливый волчий вой. Зверь выл, словно причитал по умершему, умолкал и снова принимался выть, заходя то справа, то слева. Будто рыдая, звал к себе всех волков мира. Этот жуткий вой наводил ужас, от него морозило душу.

Он передвинул на животе патронташ, ощупью пересчитал оставшиеся патроны. Их оставалось шесть штук. Не так-то много для такого случая. «И все мое бездумье, – собрался на охоту, называется! Впрочем, поздно сетовать. Теперь думай, как лучше распорядиться жалким своим боезапасом. Будешь стрелять наверняка, когда волк подойдет прямо к входу».

Зверь недолго ждал подкрепления. Вскоре на голос его отозвались другие волки. Вначале так же тоскливо завыл еще один, за ним второй, третий...

Ему казалось, что он даже слышит, как они в паузах между воем жадно щелкают клыками. Вот щелкнули слева, вот справа. А третий будто и вовсе взобрался на стог.

У него у самого лязгали зубы. Да только от страха. «Бог мой, откуда они взялись?» – сказал он, дрожа.

Собравшись вместе, волки начали действовать. Один из них темным пятном прыгнул к входу в убежище. Ружье выстрелило, и волк, взвизгнув совсем по-щенячьи, отлетел в сторону. Вой на время умолк. И будто бы послышалось рычание, какая-то возня. Еще в детстве ему говорили, что волки поедают своих раненых собратьев, стоит им только почувствовать теплый запах крови. Может, на самом деле было не так. Но, во всяком случае, волки на время оставили его в покое, как бы забыли о нем.

К нему в нору залетали снежинки. Он открыл пересохший от жара рот, половил снежинки языком. Потом, спохватившись, заменил использованный патрон целым. Если их только трое, этого запаса ему, пожалуй, хватит, он справится с ними. По патрону на волка, и даже останется еще. Только бы они не тянули со своим нападением, пока он окончательно не ослаб, а то и вовсе не лишился сознания. «И откуда взялись эти волки? А еще говорили, будто их извели в наших краях, будто их осталось совсем немного».

Он слышал не раз о кампаниях в защиту волка: мол, без этого санитаря природы и вся остальная живность от болезней пропадет. Вот волки, наверное, и развелись оттого, что запретили отстрел... Интересные существа эти люди! Забыли, как в годы войны волки наводили трепет на степные аулы, ходили вокруг да около большими стаями по десять-пятнадцать голов, и эти же люди боялись выйти в одиночку за крайний

дом. Он был мал тогда, а и то помнит, как однажды Айташ, забравшись на крышу сарая за сеном для коровы, сверху крикнул: «Волки! Да как их много!» Он тотчас залез на крышу и увидел вереницу волков. Одинаковой серой масти, они спокойно бежали мимо окраинных домов. Он насчитал девятнадцать штук. Люди закричали, подняли шум, осатанело залаяли собаки, но волки, не обращая внимания, так же неторопливо переваляли через холм и спустились в лощипу. В те годы, если человек или какая-либо скотина пропадали, не возвращались из степи, про них так и говорили: «Ну, значит, разорвали волки». И какие ужасы не говорили про этих свирепых зверей! И что им сожрать человека до последней косточки ничего не стоит, разве что не трогают ладони и подошвы людей, дескать, эти части для волка ядовиты. И что волк, повалив человека на землю, первым делом разрывает ему бок и начинает грызть печенку... Когда он слышал такие страсти, волосы у него на голове от страха вставали дыбом. Потом вернулись с войны мужчины и принялись очищать степь, бить волков. За каждого хищника платили деньги, и для иных эта охота стала профессией. И вот теперь люди забыли о том, что когда-то натерпелись от этого зверя, стали кричать: «Не трогайте волка, он приносит пользу!» И докричались. Нельзя человеку ныне выйти в степь!..

Его тело отяжелело, словно разбухло, заняло всю нору. Он лизнул горящие сухие губы, но язык еле повернулся, стал похож на толстый брусок. Но худшее происходило с головой. Она кружилась, клонилась к подстилке, совсем не держалась на ослабевшей шее. «Сейчас бы поспать. Хоть... минуту». Но он знал, что не имеет права заснуть даже на мгновение.

И точно: вой возобновился. Сколько же их теперь? Два... три... четыре... Никак, прибежали новые. И вой становился все ближе и ближе. Они обкладывали стог.



У него перехватило дыхание. Сдерживая дрожь в руках, он поправил патронташ, так, чтобы тот был совсем под рукой, крепче сжал ружье. «Спокойней, стреляй, лишь когда появятся у входа». Но они, словно разгадав его нехитрую тактику, под выстрел не лезли, а подошли к стогу с другого бока и, сбившись в кучу, хором завывали. Господи, до чего же у них были противные, но и разные голоса. Уж казалось, ему-то сейчас не до этих тонкостей было. А и то заметил, что одни воют тягуче, будто стиснув челюсти, будто у них зубы болят. Другие отрывисто, словно с кашлем. Третьи – тонко, четвертые – почти баритоном. Если он останется жив-здоров и вернется в город, ему будет что рассказать и друзьям, и особенно Алибеку Дастановичу. Уж он «заставит капать жир», то есть распишет свой рассказ, не пожалеет фантазии и красок. Хотя страшнее того, что он испытывает сейчас, потом уже не придумаешь. «Вот что случилось со мной во время охоты на этих самых кекликов», – скажет он Алибеку Дастановичу, закончив рассказ. И тот скажет: «Бедняга, вот что, оказывается, он вытерпел, стараясь сделать приятное мне!» Да, и все это из-за Алибека Дастановича. И ради него он вчера попросил прокоптить тушу барана и пошел стрелять злосчастных кекликов. Зато, глядишь, если повезет, Алибек Дастанович еще раз поддержит его, поможет получить отдел, потом, чем черт не шутит, и тем более диссертацию защитить. Тогда эти муки забудутся в один момент. А как же: такой молодой, нет и сорока, а уже заведует отделом и кандидатская степень на плечах. Конечно, будь жив Айташ, ему бы не пришлось добиваться этого такой жуткой ценой. Мудрый брат еще бы год назад привез Алибеку Дастановичу целого копченого коня, забитого на зиму, и тем самым загнал его «обеими ногами в один сапог», – отрезал ему все пути к отступлению, заставил помочь. «Мы с тобой, Алике, ровесники. Не вертись как юла и слушай. Если мало, я привезу еще. Я все привезу, что ты хочешь и не хочешь.

Но тебе придется брату помочь», – сказал бы Айташ своим басом – и как отрубил. Железная была у старшего брата хватка. Недаром Алибек Дастанович побаивался его. Отводил глаза, слушая Айташа, и хотя говорил: «Ну и грубиян ты, оригинальный казах», – но делал, делал все, что хотел Айташ... «Айташ, дорогой, тебя нет, и теперь мне приходится трудно...» Его сознание снова захлестнуло горькой обидой и злостью. Он в ярости нажал на спуск. Приклад ударил его в плечо, да так, что от боли из глаз брызнули слезы. Но теперь его злость обрела точный адрес. Волки! «Ну, ну, идите ко мне! Что же вы медлите?» – позвал он, меняя патрон. – А-а, выходит, и вам жизнь дорога! Ух, как бы я сейчас вас всех перестрелял! Всех до одного!..»

...Благодаря Айташу он и после смерти матери не знал, что такое сиротство и нужда, баловнем рос. Старший брат себя не жалел, сам учиться не пошел, работал, дал учиться ему. А после средней школы повез его в город, устроил в институт, потом сделал все, чтобы его оставили в аспирантуре. Уж каким образом ему это удалось, неизвестно, но только уже в первые дни Айташ добрался до Алибека Дастановича и подавил его своей волей. «Учись хорошо и сколько понадобится, – говорил старший брат, – ни в чем себе не отказывай. Пока я жив, в обиду тебя не дам, проложу тебе дорогу. А твой Алибек у меня в кулаке. Разожму кулак, дам побегать по ладони. Сожму – даже не пикнет». И держал Айташ слово свое, помогал, расчищал ему путь, устилал ковровой дорожкой. И была бы сейчас ученая степень в кармане, да он заартачился сам, стреножил себя, словно лошадь. Не хотелось, видите ли, ему формально диссертацию писать, уникальную тему искал, думал внести свой вклад в науку. Наивный щенок! А когда спохватился, все не просто стало. И не было уже верного опекуна Айташа. Два года прошло, как внезапно скончался старший брат – остановилось, не выдержало сердце. И только тогда

он понял, кого потерял, в полную меру оценил его заботу. А ведь до этого даже посмеиваться себе позволял над неученостью Айташа. Сколько классов было у того за спиной? Пять? Шесть? Он даже этого не помнил. «Неблагодарная скотина!..»

Он вздрогнул. Прямо над ним, над макушкой завыл волк, забравшийся на вершину стога. «Ишь, воет, так, словно, беднягу, обидели! Не зная, еще и пожалеешь эту тварь... А она на тебя сверху». Рядом с этим вторым, низким голосом завыл еще один волк, тоже забрался наверх.

«Не теряй голову. Держи себя в руках... И за что на меня так обрушилась жизнь? Как только умер Айташ, тотчас посыпались неприятности всякие. Одна за одной, одна за одной». Он вздохнул, пошевелил окаменевшими ногами... И жену словно кто подменил. Вначале, когда они только поженились, она была стройной, подвижной. Не могла спокойно посидеть на месте. Напоминала веселого ребенка, всеобщего любимца. Бывало, вскинет смеющиеся блестящие глаза, стрельнет взглядом и снова опустит ресницы. А в последние годы вдруг стала полнеть, превратилась в степенную даму. Теперь она улыбалась только при людях, а стоило им остаться вдвоем, как тут же начинала, насупясь, молчать или предъявляла свои претензии. И то он сделал не так, и то не этак. А чаще она говорила о том, что он, по ее мнению, не сделал, упустил. Особенно пилила за то, что он до сих пор диссертацию не защитил, ходит без степени. «И этот уже давно кандидат, и тот, а ты только кандидат в кандидаты», – цедила она сквозь зубы. Если на то пошло, именно жена тогда, в гостях у Капара, подкатила к Алибеку Дастановичу: «Что-то, агай, давно у нас не был дома. Может, мы обидели его?» И тот, разумеется, начал ее уверять в совершенно обратном, в том, что обязательно придет, как только его позовут

в гости. И когда они вернулись домой, жена сердито сказала: «Видно, пока я не возьмусь сама, ты будешь раскачиваться до самой пенсии. Поезжай в аул, к родне, заставь прокоптить тушу барана. И не забудь, что Дастинов мясо кекликов любит». И вот эта ее затея привела к тому, что он теперь лежит, скрючившись, под стогом сена, обложенный со всех сторон волками. Теперь охотники другие, а сам он – дичь.

«А если я умру, что будет делать жена?» – подумал он вдруг. И с удивлением обнаружил, что не может ответить на этот вопрос даже приблизительно. Словно шла речь о совершенно чужом человеке. То есть она поплачет. По себе. Привыкла жить на всем готовом. Но ему почему-то тоже не было ее жалко. А вот детей он очень пожалел. Сердце сжалось, едва о них подумал. Малы они еще. Сын учится в третьем классе, а дочь и вовсе только в первый пошла. И трудно им будет без отца. Он их очень любил, потому что у самого отца, в сущности, не было. А дети чувствовали его любовь и ластились к нему больше, чем к матери.

«Э, да я, никак, о смерти заговорил?» – озадаченно подумал он и удивился, что смерть уже не пугает его. Сейчас куда было важнее раздобыть хоть глоток воды, залить жар, обжигающий все внутри. И к тому же она бежит где-то рядом, вон даже слышен ее чистый звон. «Померещилось, – сказал он себе. – Откуда здесь взяться воде зимой? В этакую стужу?». Он протянул затекшую руку вперед, собрал в горсть скопившийся у входа снег, сунул в рот. Какое блаженство! Он взял еще одну горсть. Как вкусен снег, кто бы мог раньше подумать?! «Если останусь жив, наймусь в дворники. Зимой у меня будет много снега. Да к тому же это чудесная работа. Не нужно никому угождать, притворяться... Встанешь утречком рано, оденешься потеплей и маши лопатой или метлой на чистом воздухе! Ты здоров, сыт, беззаботен, и одежда на тебе крепкая и простая. А на улице, кроме тебя, нет никого, пустынно, никто не отвлекает, ты со

своими мыслями наедине, думай сколько угодно и о чем угодно. Ты один! А впрочем, вот появился первый прохожий... Бог мой, это Айташ идет и улыбается во весь рот. «Что с тобой? А как же твоя учеба?» – спрашивает он, глядя на метлу. «Устал я от всего... И бросил, – отвечает он брату. – Не сердись на меня, Айташ, не ругай. Не мог я больше». – «Не бойся, я не буду ругать. Идем-ка лучше да выпьем холодненького пивка», – говорит Айташ и ласково берет его под руку. «Идем, идем. Мне как раз очень хочется пить», – говорит он, собираясь последовать за братом. Но что такое? Не пускает метла, зацепилась за что-то. Он дернул метлу и... проснулся от громкого выстрела.

Но на этот раз ему повезло. Ружье лежало стволом вперед, даже чуточку высунулось наружу. Он потерял снегом лицо, изгоняя остатки сна.

А в степи ничто не менялось – стояла та же глухая, темная ночь и сыпал снег. «Этот сон для меня мог кончиться плохо. Мне ни в коем случае нельзя спать. Можно не проснуться», – сказал он себе и, сменив патрон, пристально всмотрелся в темноту. Где же волки? Почему они молчат? Неужели ушли, потеряв надежду пожить? Но нет, вон блеснули два огонька, и еще пара, и еще... третья... четвертая... Выстроились в ряд. Ждут! А если это не волки? Ведь рассказывала покойная бабушка... «А ну прочь отсюда! Сгиньте, черти!» – гаркнул он изо всех сил, однако не услышал собственного голоса. Куда же делся голос? А может, что-то с ушами?

Он помотал головой, в нос попала травинка. Ап-чхи! В тело будто вонзились иглы, но зато прочистились уши, и в них тотчас ворвались и гул ветра, и волчий вой. Казалось, теперь они все были заодно, все объединились против него: и степь, и буран, и волки.

А он слабел с каждой минутой. «Видно, счастливы те, кто умирает, как положено человеку, чье тело близкие бережно передают земле. А что будет со мной, если я умру? Они ничего не оставят от меня. Кости и

те растащат по степи. Какая унижительная смерть! А долго мне не протянуть, это уж точно. Теперь важно лишь одно. Коль умирать, то только среди людей. Спасти свое тело от волчьих клыков. Нужно во что бы то ни стало дожить до рассвета, а потом хоть ползком туда, где люди. Вот отныне моя самая главная мечта! Ну не смешно ли?.. Ну почему так долго тянется ночь? Скорей бы рассвело!..»

Прямо в отверстие ударило снегом, завихрилось, засыпало глаза. На всякий случай он лихорадочно выстрелил перед собой. Послышался отчаянный визг, и снежная круговерть улеглась. Там, где еще недавно горели огоньки, катался клубок из темных тел, доносилось угрожающее рычание и лязг клыков, не доставших до жертвы. Клубок распадался на части, воссоединялся вновь и вскоре пропал в недрах бурана.

Но в нем уже не было ни страха, ни отчаяния. Он ощущал только свинцовую тяжесть, заломившую тело, окаменелость суставов. А потом его сознание и вовсе распалось, рассредоточилось, в нем возникли картины, смешавшие последовательность событий и время. Вот появился Айташ, каким он был за год до смерти, суровый, могучий, как богатырь. Его сменила совсем молодая мать, собирающая колосья в подол ветхого платья, состоящего из одних пестрых заплат. Потом к нему подбежали дочь и сын: «Папа, папа, ты уже пришел с работы?» – «Ах, мои дорогие, птенчики мои...»

Он не заметил, как затих буран и постепенно прояснилось небо. Не шелохнулся и тогда, когда солнце метнуло на снег свои первые холодные стрелы и степь заиграла тысячами искр. Наконец солнечный луч скользнул по стогу и заглянул в его мрачное убежище. Вот тогда он открыл глаза и увидел солнечный свет. Но у него уже не было сил, чтобы радоваться приходу дня. Едва шевеля непослушными руками и ногами, он выполз наружу, волоча за собой ружье, и с великим трудом встал, хватаясь за стог,

зашарил взглядом по степи. Вдали плыло нечто похожее на трактор, волокущий сани. Или это было что-то другое? Зрение почти не подчинялось ему, все так и плыло перед глазами. Невероятным усилием он заставил себя поднять ружье, выстрелил в воздух и шагнул, держась за стог, но его ноги подломились, и он начал валиться на бок.

## БЕРКУТ МУХТАРА

Медленно и неотвратно – так казалось – вошла мелодия в юрту и протянула тонкие смуглые руки к огню. В маленький кобыз вселился добрый волшебник: струны, подобно голосу, приглушенному расстоянием, звали нас за собой вдаль. И вдруг дыхание мелодии оборвалось, наступила пауза, и за ней – за паузой, которая ощущалась, как боль, глухо прокатились раскаты тяжелого предчувствия. Но вот беда миновала, струны глубоко, облегченно вздохнули, и кобыз запел, перебивая мелодию песни ритмами неровного шага: кто-то, смертельно раненный, поднимался по крутизне все выше и выше – туда, где кочуют весенние облака и кружатся беркуты... Музыка умолкла. Старик сидел поникший, прижав к груди кобыз, словно шит.

– Зейнеп, повесь на место, – устало проговорил он. Джигит с пиалой в руках спросил:

– Не та ли это песня, аксакал, что мы слышали тогда... вместе с Мухтаром-ага?

Старик наклонил голову:

– Та самая. Ровно два года назад, вот в эту же пору, ты был здесь. Ты слушал...

Аксакал забыл о нас, он разговаривал сам с собой: он думал. Размышлял вслух о человеке, который оставил на память людям добрые и правдивые книги.

– Тогда он сидел вот здесь, на этом месте, – потупясь подсказала хозяйка.

...В первых числах апреля старый Урмис спозаранку выехал на охоту. Он объехал заветные места, но к полудню приторочил к седлу лишь одного зайца.

Прямо над головой плавилось солнце. Почуввав жару, звери заранее ушли к северу в Бетпакадалинскую степь. Ни сайги, ни джейрана не встретил охотник. Взмыленный конь тяжело поводил запавшими боками. И вдруг резко поднял голову: почти рядом из неглубокой промоины выскочил и испуганно шарахнулся в сторону сайгак. Урмис, по привычке помянув аллаха, прицелился, но не выстрелил: сайга хромала. Она припала на правую переднюю ногу, и рядом прикрытый телом матери, бежал детеныш – маленький, с ушами, похожими на рукавички.

– Ой-бай-ау! – выдохнул облегченно Урмис. – Не будь слепым, как жадность, и рука твоя не сделает зла.

Он проводил взглядом сайгаков, невольно прислушиваясь к тому беспокойному чувству, вслед за которым в душе его рождалась песня. Всю жизнь это чувство не покидало Урмиса. Правда, к старости оно захватывало его значительно реже, чем в те далекие времена, когда Урмис умел заставить струны петь так, как пело его молодое сердце.

Вдвоем с Жаппасом они не знали себе равных среди кобызистов. Их встречи на кюях в летние вечера заставляли земляков, да и не только земляков, охать от изумления! Жаппас был достойным соперником. Потом он ушел туда, где живет большая музыка, и вот теперь кобыз Жаппаса Каламбаева звучит в концертах по радио, его слушает вся республика. Хорошо! Человек нашел свое счастье. А Урмис свое. Он занялся охотой, хозяйством. Но мудрость права: душа не знакома с морщинами старости. И порой – чаще в одиночестве, на вершине какого-нибудь холма, омываемого горьковатым воздухом родной степи, – душа начинает петь по-прежнему.

...Урмис опустил ружье. Сайгак теперь далеко! Однако по охотничьему поверью: зарядил – стреляй.



Высоко, у самого солнца, он заметил черную точку.  
– Кажется, беркут, – пробормотал старик. – Да, беркут...

Он знал, что беркуты давно покинули здешние места, и удивился неожиданному появлению. Опытный следопыт тут же отметил ориентир, над которым кружилась птица. Туда он и направил коня.

«Беркутовы холмы, – думал он, – раньше там были гнездовья. Там старый саксаул, густой, почти непроходимый. А что, если...» Старик оживился и послал коня рысью.

Жара становилась нестерпимой. Было больно смотреть на волны раскаленного песка. Вконец умаяв лошадь, Урмис отыскал нужный холм. «Скорее всего здесь!» Слез с седла. Стал взбираться на вершину. Мелкий горячий песок утекал из-под ног. Каждый шаг давался с трудом. Несколько раз песчаный поток сносил его вниз. Песочная пыль обжигала горло и легкие, скрипела на зубах. Мучимый жаждой, старик полз к вершине. Полз упрямо, не сетуя на старость. Зачем? Думы о старости не придают мужества. Рубашка на спине покрылась солью от высыхающего пота. Но он продвигался вперед, осторожно припадая всем телом к едва заметным неровностям крутого склона. «Еще немного, – подбадривал он сам себя, – я не так уж и стар. Аллах ворует годы, но волю у джигита украсть не может».

Поискал глазами беркута. Теперь птица была видна отчетливо: распластав широкие тупые крылья, она снижалась по спирали, словно ввинчиваясь в синеву. «Правильно, – пробормотал старик, – заметила меня и волнуется. Значит, гнездо здесь».

Урмис взобрался наконец на вершину, посидел, отдыхая. Протер от пыли ружье. «Все идет как надо. – Урмис довольно прищурил глаза. – Сайгачонок станет большим сайгаком. Если я найду гнездо, удача еще не покинула меня».

Продираясь сквозь заросли, он смотрел под ноги. «Вот оно!» Под толстым узловатым стволом саксаула

валялись, белея, выветренные кости животных – остатки пиршеств хищника. Даже панцири черепах были здесь. «Опытный хищник». Старик забыл об усталости. Снять с вершины ломкого саксаула птенцов – задача нелегкая. Однако Урмис знал толк в этом деле. Он подобрался под гнездо, напомилавшее широкую площадку из сучьев и веток, и снизу разобрал его. Два желтых головастых птенца с непомерно огромными когтистыми лапами и нежной, еще не затвердевшей роговицей предклювий, прижавшись друг к другу, смотрели на охотника круглыми, как картечины, немигающими глазами. Старик прищелкнул языком: «Ай, здорово! Ханы да и только!»

– А ну, ханы, полезай за пазуху.

Домой Урмис вернулся поздно вечером, утомленный, но довольный: такие дни выпадают не часто! В передней комнате пустующего «штаба» совхоза немало выходил он пернатых помощников. Знал цену ловчим беркутам. Садясь за стол, предупредил жену:

– Зейнеп, зайца не трогай, оставь новоселам.

Птенец, что был поменьше, особенно пришелся по душе Урмису. Едва освоившись на новом месте, он заголосил, требуя пищи. И вообще вел себя дерзко, был шустрый, злой и бесстрашный. «Незаменимым ловчим станет со временем», – радовался старик.

– Хватка-то, хватка какая – мертвая!

Дня через три рано утром Зейнеп поставила самовар, Урмис напоил и задал корма коню. И в этот момент со стороны центральной усадьбы совхоза показались две легковые автомашины. «Начальство едет, – подумал старик и удивился, – рановато!»

Приезжие остановились у «штаба». Кроме двух человек, все были местные, знакомые Урмису люди: руководители района и директор совхоза. «Кажется, веселые – стало быть, с хорошими вестями». Приносящий радость – самый почетный гость в ауле, и старик с нетерпением ждал, что будет дальше. Человек

с широким лбом стоял около машины: смотрел вокруг, как показалось Урмису, с доброй и в то же время грустной, не трогающей губ улыбкой; лучились одни глаза – ясно-карие за чуть раскосыми красивыми веками. «Кто это?» – старик видел, с каким уважением ожидают его другие. И еще казалось, что он встречался где-то с этим задумчивым человеком, хоть и знал, что нигде не мог его видеть. Не мог! Иначе память – светлая степная память – сразу бы подсказала.

Урмис сделал шаг навстречу подходившему гостю. Поклонился. Гость, протянул руку. Обменявшись приветствием со всеми, аксакал пригласил приезжих в юрту. И снова подумалось ему, что он не только встречался с приезжим, но и знает его. Неясность волновала старика. Такого еще с ним не случилось.

– Балли<sup>1</sup>, – тихо произнес гость, войдя в юрту, – видать, веселые люди живут здесь. – И показал потеплевшим взглядом на домбру и кобыз. Зейнеп предложила чаю.

– Женгей, если есть, угостите, пожалуйста айраном, – попросил гость.

Отхлебывая из деревянной чашки густой, как сметана, козий айран, похвалил хозяйку. И к Урмису:

– Я вас попрошу, пожалуйста, сыграйте на кобызе...

Старик взял инструмент, отошел в сторону, сел. Прикрыл глаза. Мысленно он видел гостя, его смугловатые, слегка порозовевшие после айрана скулы. Видел его идущим по гребню бархана туда, к беркутовым высотам, и за ним – холмистую бесконечность весенней степи. И вдруг отчетливо услышал неровный стук копыт по жесткой земле и тут же представил легкий радостный бег молодого сайгачонка... Дрогнул смычок, коснувшись струн, и полилась мелодия.

Гость сидел неподвижно с такой тихой сосредоточенностью, что казалось, он был не здесь, рядом, а где-то там, куда уводила мелодия. Урмис играл. Как

---

<sup>1</sup>Балли – казахское междометие, выражающее восхищение.

никогда, ему хотелось передать песней то, что чувствовал. Перелить звонкую силу своих чувств в звуки и одарить ими того, кто был его гостем.

Урмис вздрогнул и прервал игру: его остановил пристальный взгляд гостя. В этом взгляде метались тоска, боль. «Он все понял, он все знает. Я причинил ему страдание. Я не так, не так играл». Старик стиснул похолодевшие руки. Ни один из гостей не проронил ни слова. И этот – знакомый и незнакомый – тоже молчал. Молчал и смотрел на Урмиса, но теперь в глазах его не было боли: в ясной глубине их отражалось удивление и восхищение.

– Я слышал, – наконец с трудом выговорил он, – древний голос струн. – Гость посмотрел в глаза Урмиса. – И он сказал мне, этот голос, что даже в самой смерти... – на мгновение гость умолк, черты лица напряглись, застыли в изломе широкие брови, – да, в самой смерти заключено торжество жизни, ее обновление, ее неистребимая жажда созидания.

Гость говорил тихо, с настораживающей медлительностью произнося каждое слово. Будто спрашивал и себя, и собеседника: «Прав ли я?» Он искал самое верное по смыслу выражение и когда находил – радовался, и радость эта отражалась в его светло-карих глазах.

Урмис слушал, дивясь той правде, которую он давно нес в себе, не подозревая, что он есть в нем, есть всюду, в каждом. Он догадывался о ней, а вот объяснить не умел. А гость умел.

Урмис не сомневался больше, что знает этого удивительного человека. «Только надо вспомнить...»

Гость стал прощаться. Поблагодарил хозяйку. Долго держал руку Урмиса в своих сухих теплых руках.

– Спасибо. Мы непременно встретимся, – и, уже направляясь к выходу, полушутя, полусерьезно прибавил: – Если не упадем с коня.

Урмис хотел было спросить имя «большого гостя», но постеснялся.

Не покормленные вовремя птенцы пищали. Севший в машину гость живо обернулся к Урмису.

– Птенцы беркута! Неужели?

Он вышел из машины, просиявший, до неузнаваемости помолодевший:

– Покажите...

Увидев птенцов, гость обрадованно ахнул, склонился над ними и рассмеялся задорно, по-мальчишески:

– Просто чудо! Барекельды! Редчайшее сокровище! Вы любите птиц, аксакал... Я тоже, они же летают!.. И эти вот со временем унесутся в небо. Можно, я покормлю их?..

«Кто же это такой?» – снова задал себе все тот же вопрос Урмис. – Узнает по пisku беркутов и так умело кормит».

– Который из этих двух будет с мертвой хваткой?

– Тот, что поменьше...

– Как вы узнали?

– По когтям и взгляду.

– Взгляду?

Урмис кивнул:

– Твердый взгляд и острый. Не взгляд – шило!

– О-о! А еще?

– Когда я их брал, видел у гнезда панцири больших черепах. Не всякий беркут берет их, а мать этих брала...

– Взгляд, когти... Да еще крыло с мощным суставом! Так, аксакал?

Урмис улыбнулся:

– Так.

– И клюв...

– И крутой резцовый клюв?

Теперь они рассмеялись и обнялись.

– Спасибо за радость! – сказал гость. – За большую радость. До встречи в Алма-Ате.

И только тут Урмис вспомнил его... Вспомнил неожиданно, как это нередко бывает, когда забываешь, что надо вспомнить.

«Ой-бай! Как же это я?» А гость уходил. И какой гость... Старик рванулся за ним, растерянный, смущенный:

– Я точно ослеп, – проговорил он, задыхаясь, – не обижайтесь...

Гость удивился: «Обида за доставленную радость? Разве такое бывает в степи?!»

И впервые за утро улыбнулся такой приветливой улыбкой, что у старика перехватило дыхание.

– Обычай-то народный, желанному гостю надо же что-то преподнести. Уж вы не обижайте меня, старика, Мухтар, дорогой. Дарю вам птенца. Примите... – только и выговорил он.

Гость поклонился.

– Это бесценный подарок, аксакал. И я... – Он помолчал.

– Не откажите, примите!

– Но как же мне быть... Ведь мы в дороге...

Один из гостей подсказал выход: птенца пока не брать, оставить до осени и уже окрепшим привезти к Мухтару Омархановичу.

– Да, да, так ведь надежнее, – согласился он. – А главное, вы будете моим гостем, аксакал. А потом на охоту: испытаем беркута на деле, ну и наговоримся вволю обо всем!..

Гости уехали. Воспрянувший духом Урмис не знал покоя. Он не расставался с книгой «Абай», читанной им не раз. Но теперь, открывая ее, он подолгу смотрел на портрет своего необыкновенного гостя, знающего язык музыки и птиц.

Прибыли рабочие из совхоза. Забот прибавилось. Надо было везде успеть, и Урмис успевал! Впереди ждала встреча. «Если не упадем с коня, – вспоминал он, – э-э, нет. Старый Урмис еще поскачет».

Дни сменялись днями, птенцы росли и крепли.

Но однажды Зейнеп, вошедшая зачем-то в дом, выбежала оттуда с криком:

– Ой, аксакал, быстрее! Не знаю, который... Один из беркутов мертв!

Отдыхавший в юрте старик похолодел. «Аллах, пусть это будет моя, а не его птица». Не одеваясь, побежал к «штабу»... «Нет, не Мухтара».

В тот же день Урмис сплел из тальника надежную клетку.

Двадцать восьмого июня, как всегда, за утренним чаем Зейнеп включила приемник. Кто-то пел веселую песню. Затем так же весело заговорил диктор и вдруг на полуслове умолк. Наступила пауза, долгая пауза, и тот же диктор, но уже другим, напряженным, прерывающимся голосом, как будто сдвигая тяжелые камни, прочитал: «Сегодня в Москве скончался Мухтар Ауэзов...»

Зейнеп посмотрела на Урмиса. Тот сидел ссутулясь, не замечая, что из пиалы льется чай. За открытым пологом входа виднелась пустыня. Урмис смотрел туда... В его сознании медленно, набирая силу беспощадной правды, всплывали Мухтаровы слова: «Если не упадем с коня». «И это он знал. Он знал все...» – думал Урмис. Тоскующий взгляд остановился на холмах, и старику показалось, что и они горбятся, что их давит, как и его, черная весть, прозвучавшая над степью. Глазок забытого приемника потемнел. Кому-то жаловался кобыз. Но Урмис уже ничего не слышал...

В один из солнечных осенних дней Урмис выехал в степь со своим питомцем. На том холме, где он увидел раненого сайгака, старик открыл клетку.

Беркут переступил с ноги на ногу, втянул шею и одним прыжком вылетел на волю. Бронзовея оперением, стал подниматься все выше и выше.

Аксакал следил за ним, пока он не скрылся в холодной голубизне осеннего неба, там, где стояло солнце.

## ПЕРВЫЙ СНЕГ

Трактор вышел с фермы поздно. Рванул, заскрежетав. Дорога катилась вниз. В кабине было душно. Перегар солярки подступал к горлу.

Кулипа опустила стекло, высунула голову. Теперь лучше.

Ветер бьет по лицу, рвет волосы. Все равно хорошо. Солнечные лучи, как арканы, тянутся к земле, пробивают облака. Тучи темнеют, сердятся, их все больше и больше. И вот золотом меч уже в плотном мешке. Мгла спускается на землю. Разутюженная гусеницами дорога становится серой, неприветливой. Мутные лужицы, блеклая, забрызганная грязью трава.

На потухшем небе Кулипа замечает две точки. Это утки. «Наверное, последние, – думает она, провожая их взглядом. – Торопятся».

Ей становится холодно.

Сегодня был трудный день. Встала раньше петухов, но все равно спешила, причесывалась на ходу. Еще белели звезды, а она уже успела обежать всех доярок. Сердилась, когда долго стучала в окно.

Потом – на ферму. Когда все были уже на местах, Кулипа оседлала покорную рыжую лошаденку и – в контору, к председателю. Не застав в конторе, поехала к нему домой. Не дала даже умыться.

– Пожар у тебя на ферме, да?

– Никакой не пожар, сено надо привезти на ферму. Зима уже на пороге. Сегодня не управимся – завтра поздно будет.

Председатель и сам понимал, что надо дать трактор. Но у него же не сотня машин. И все работают. Но Кулипа не отставала от председателя, пока не выпросила трактор. А затем, собрав всех доярок, целый день возила сено с дальних участков. К вечеру остался самый последний стог. Теперь уж доярок отрывать от дойки нельзя. Поехала сама, одна.



В кабине на мягко пружинящем сиденье Кулипа почувствовала, как устала. Гудело в голове, ныли плечи, глаза слипались; Голова опускалась все ниже.

Тракторист Султан, как всегда, молчит. Станный характер у Султана. Что бы ни говорила Кулипа, он сидит молча и усмехается. Это сердило девушку.

Когда выезжали с фермы, Султан долго копошился возле трактора.

– Поехали, что ли, бугай!– в сердцах крикнула Кулипа и сама устыдилась грубости. А он покраснел и молча улыбнулся. Будто похвалили.

Кулипа стала наблюдать за ним. Она любила примечать все в людях. В огромных ручищах тракториста рычаги казались игрушечными, но он легко и ловко управлялся с ними.

Тоже нашел работку. Впору деревья валить... Ишь, лапы, как у медведя, пальцы кривые, толстые. Бывает же у человека такая фигура!

Взгляд Кулипы скользнул по его лицу. Голова – дыня-дыней, как-то нелепо торчит на лице мясистый нос. Сапоги гармошкой, и, конечно, голенища завернул, а комбинезон от мазута лоснится – ну и типчик!

Молчание надоело.

– От твоего горячего голова трещит,– громко проговорила она.

Султан глянул исподлобья, ничего не ответил и потрогал зачем-то толстым пальцем свой противный нос. Кулипу это разозлило.

– От со-ляр-ки голова болит! Ты что, немой, глухой?

Улыбка появилась на лице тракториста. От еще помолчал, потом сказал негромко:

– Я не глухой и не немой. Это с непривычки. У всех так бывает в первый раз.

На этот раз промолчала Кулипа.

Его голос, самые слова действовали ей на нервы. Вот урод!..

Жених! Вот уж... Ее курносый носик презрительно сморщился, девушка отвернулась. Раньше Кулипа знала

Султана только понаслышке. Он был посмешищем всех аульных девушек. О незадачливой невесте обычно говорили: «Да кто на ней женится, кроме Султана?» Последние годы родители Султана изъездили всю округу, чтобы сосватать сыну невесту. Когда в прошлом году Кулипа приехала с курсов домой на каникулы, они и ее не обошли. Что ж стариков она встретила приветливо, вежливо проводила, обещала подумать. А когда увидела!.. Поняла – потому и родителей посылает что показаться боится.. И теперь с этим посмешищем она сидит рядом. Бедняга, взглянул бы на себя со стороны. Хорош, ничего не скажешь!

Тяжелые черные тучи надвинулись со всех сторон. Ни одного проблеска. Ветер все злее и злее. На западе небо, как черная бездна. Но что это? Белое пятнышко, маленькое, пушистое облачко. Оно мечется среди серых громад, превращаясь то в утку, то в барашка, то в куст можжевельника. Пробирается, словно через камни ощупью. Султан не сводит с него глаз.

«Здорово! Красота... Даже здесь природа удивительно хороша. А она не замечает. То охает, то губы поджимает».

Султан многое слышал о Кулипе. Все хвалили ее наперебой. И хороша-де и скромна, и трудолюбива.

А чего хорошего? Ну, смуглая коротышка – и всего. Только и красоты, что румянец на щеках. С утра хмурится, всем недовольна. Подумаешь, трудяга... Будто вся ферма на ее плечах. Правда, на вид ничего, но характер, характер...

Тракторист закашлялся, наверное, от солярки.

«Подумать только, а я ей записку утром написал. Хотел отдать, когда поедem... Записку... Скорей бы сено привезти и забыть обо всем».

– Ты что все смеешься?

– А что, плакать, что ли?

– Без причины не смеются...

– Почему же, если смешно?

– Знаешь, помолчал бы лучше. Жми быстрее.

«Грубиянка. Такая осчастливит! Не завидую ее будущему мужу».

Он затормозил, выскочил с ведром из кабины, налил в радиатор воду. Потом лег на живот у арыка и сам стал пить ледяную воду.

«У, пьет, как животное...»

– Ты что, соленого объелся, что ли?

Султан обтер рот рукавом и не торопясь сел в кабину. Дорога поползла вверх, стала каменистее. Колеса жалобно скребли по граниту, ковыль жался к земле от сильного ветра.

«Ну и прогулка... Скорей бы доехать, – думала Кулипа. – От того бугра останется километра два. Свяжем железным арканом стог и – обратно».

Кулипа вздрогнула от неожиданности. Пошел мелкий частый дождь.

– Э! Быстрее давай! – закричала Кулипа.

Султан точно ждал ее приказания, с силой дернул рычаги. Мотор взревел так, что заложило уши. Султан поднял стекло. Стало совсем душно.

«А девушки, наверное, уже отдыхают... Сегодня на ферме танцы, парни приедут из города...»

Дождь еще приналег. Султан включил фары. Они с трудом прорубали дорогу в плотной полосе тумана. Косые струи блестели от света, точно стеклянные. Шум дождя и грохот мотора слились в единый гул.

«Не повернуть ли обратно?»

Девушка взглянула на тракториста. Он сидел спокойно. Испортившаяся внезапно погода будто и не трогала его.

– Султан, а мы не заблудимся?

– Не знаю, – ответил тракторист и улыбнулся. Как будто все это ему даже нравилось. – Если заблудимся, остановим трактор и ляжем спать. Если поспишь рядом со мной, ничего не случится. Я не кусаюсь.

Это окончательно взбесило Кулипу. Она с трудом сдерживалась, чтобы не накричать на него.

– Болтаешь много! Давай быстрее!

Кулипа решила молчать, пока не доедут. Сидела и смотрела в густую темень. Мокрые воробьи выскакивали откуда-то прямо из-под трактора, как будто купаясь в свете, и исчезали. Разрезав густой туман, фары осветили стог сена.

Приехали!

Кулипа толкнула дверцу кабины, нетерпеливо выпрыгнула на ходу. Султан только головой покачал и, остановив трактор, полез за тросом.

– Ты бери за один конец, я за другой. Теперь тяни! Да не так, не так! Вот сюда!

Наконец сено было погружено. Кулипа вскарабкалась на него. Бр-р... мокрое. Попыталась немного разгрести, чтобы удобнее устроиться, но сил не хватило. Съежилась. «Ладно, не растаю. Скоро приедем».

Она легла на спину, поправила слипшиеся волосы. Раскрыла рот, совсем как в детстве, чтобы ловить дождинки. Когда трактор попадал в канаву, Кулипу мягко подбрасывало вверх, и она в сердцах поругивала тракториста, хотя и знала, что зря. Обжигал злой ветер. Потом ветер стих, и девушка почувствовала на лбу, на щеках что-то мягкое и мокрое. Снег! Она тревожно подняла голову. Крупные мягкие хлопья медленно опускались на землю. Стало светлее, побелел ковыль, сено точно вымазали известкой. Кулипа опять попыталась разгрести ямку, но одеревеневшие пальцы не слушались.

– Что остановился?

Трактор остановился. Вышел Султан, заглянул на стог.

– Ты же замерзла совсем.

– Нет, нет. Поезжай!

– Простудишься. Садись в кабину.

– Не твоя забота. Поехали.

Султан постоял немного, хотел еще что-то сказать, но раздумал, сиял фуфайку и бросил наверх. Взревел мотор.

В фуфайке могли поместиться три Кулипы, и она пахла мазутом. Девушка посмотрела на нее и еще больше съежилась. Потом надела.

– Фу, как отвратительно пахнет, – она сморщила нос. Тракторист только глянул на нее и промолчал...

Опять остановились.

– Что такое?

– По-моему, мы заблудились, – тихо проговорил Султан. – Если не веришь, спустись. Посмотри.

Кулипа стала спускаться и не удержалась. Руки скользнули по заснеженному селу, она упала.

Подбежал Султан, хотел помочь. Она оттолкнула его и, прихрамывая, глотая слезы боли и обиды, обошла трактор, всматриваясь в белую дрожащую рябь. Дороги не было, кругом все замело. А снег все валит и валит. Забирается за ворот, щекоча, тает на тонких чулках, лезет в резиновые сапоги...

Раньше Кулипа читала только или слышала истории, как люди попадали в метель, теряли дорогу в знакомых местах. Это казалось смешным, выдумкой. А теперь?.. Совсем как в кино.

– В какую сторону поедет? – спросил Султан.

– А в какую хочешь! Тоже мне водитель!..

– Кулипа, ведь я...

Он не договорил. Снова обошел вокруг трактора, пригибаясь, высматривая дорогу.

– По-моему, надо еще немного проехать вперед.

Кулипа молча стала карабкаться наверх.

– Садись в кабину.

Резиновые сапоги скользили по мокрому снегу, рукам не за что было ухватиться. Мешала, била по коленям намокшая тяжелая фуфайка.

– Кулипа, зачем ты упрямись? Сядь в кабину. Там же теплее.

Он взял девушку под руки и легко, как ребенка, опустил на сиденье. Плотно закрыл дверь.

Кулипу бил озноб. Она долго не могла согреться. Казалось, даже сквозь гул мотора было слышно, как стучат у нее зубы.

– Ты ведешь себя так, будто я заклятый враг. Что я тебе сделал плохого?

Кулипа вместо ответа съежилась, стала еще меньше, рядом с нею фигура Султана казалось еще огромней. Она изредка поглядывала на него, но он не замечал ее взгляда, внимательно всматривался в белую мглу за стеклом кабины. Видно было, он очень устал.

А снег шел не переставая. Трактор двигался в непроницаемой мгле.

– Где мы едем?

– Не знаю.

Опять рывки, ухабы. Снег. Кулипа почувствовала, что они заехали в какое-то гиблое место.

– Давай поедem назад и свернем направо, – предложила Кулипа.

Поехали, свернули. Никакой дороги. Кулипа перестала вглядываться вперед. Смотрела на тракториста. Он будто даже осунулся.

Кулипе стало страшно, что-то дрогнуло внутри. Трактор дернулся и пополз вниз боком, будто неживой.

Кулипа вскрикнула.

– Прыгай, прыгай скорее! – закричал Султан.

Он с силой тянул рычаг тормоза. Трактор замер, Султан закрыл глаза и провел рукавом по лбу.

– Не бойся, – стараясь улыбнуться, проговорил он. Султан вылез и вскоре вернулся очень расстроенный. – Трактор водить умеешь?

– Нет, – ничего не понимая, ответила девушка.

– Будешь делать так: сначала нажмешь на эту педаль посильнее. А потом налево и резко вперед... Только спокойно, не волноваться. А то загремим в овраг!

– Слушай, Султан! Я не буду, боюсь... Давай пойдem пешком. Оставим трактор до завтра.

– Что? Ты хочешь, чтобы надо мной все смеялись?

Он еще раз объяснил ей, что надо делать, и выпрыгнул из кабины.

Кулипу обуял ужас. Одна... Надо делать то, что сказал Султан, иначе – беда. Она повторяла вслух слова

Султана, чтобы не забыть, не спутаться... Нажала на педаль, перевела рычаг... Трактор тихо пополз вниз и остановился. «Что же дальше. Где Султан?»

– Султа-а-ан! Где ты?

– Здесь я, – ответил голос снизу. Кулипа выбралась из кабины, пошла прихрамывая. Что это? Стог сена наполовину сполз с трактора, еще немного – и совсем упадет. Султан, широко расставив ноги, подпирал его головой и руками.

– Что делать, Султан? – плача, спросила девушка.

– Камни, камни скорей ищи... Подложишь. А потом не бойся, гони вперед.

Кулипа, забыв про боль в ноге, побежала собирать камни, носила к трактору, подкладывала.

Затем снова в кабину. Куда тянуть рычаг? Что нажимать? Ага, есть... Вперед! Заскрежетали, зацокали камни... Сколько же она проехала?.. Хватит? Нажала на тормоз. Выключила мотор, и сразу – тишина. Только ветер выл.

– Султа-а-ан!

Кулипа побежала вниз, к обрыву.

– Ты жив, Султан?

– Жив еще, – раздался тихий голос.

Совсем обессиленный, он встал и, еле переставляя ноги, направился к трактору. Они поднялись в кабину, сели. Отдышались. Впервые за всю поездку они посмотрели друг на друга. Внимательно, дружески. И рассмеялись.

Лицо Султана было исцарапано сеном. Кулипа достала платочек и осторожно вытерла выступившую кровь.

«А что если обнять ее и поцеловать?..»

«Какая добрая... Руки, точно пух». Он осторожно взял ее за запястье.

– Ой, руку ломаешь, Султан!

Она сказала это с улыбкой, не сердясь...

«Какие глаза у нее красивые...»

– Султан, не надо.

Осторожно выпустил руку девушки и отвернулся. Привычно взялся за рычаги.

«Неужели обиделся?»

Трактор зафыркал, зачихал и остановился. Мотор заглох.

– Горючее кончилось, – сказал Султан. – Что же делать? Кулипу бил озноб.

– Ищи аул... Ты заблудился, ты ищи.

Султан медленно стал снимать пиджак.

– Можешь не снимать, все равно не надену.

– Знаешь, Кулипа, я сейчас выйду, а тыними мокрую кофту и надень пиджак.

– Ну, бери пиджак... Так и будем спорить на холоде?

– Ты же сам замерзнешь.

– Нет, не замерзну. У меня сухая гимнастерка.

Кулипа переоделась. Стала согреваться. Султан сел в кабину и плотно прикрыл дверцу.

– А теперь спать. Ты не стесняйся, ложись. До утра еще далеко.

Кулипа запрокинула голову на спинку сиденья. «Вот и ночь настала, какая тихая... Танцы давно уж, наверное, кончились. Разошлись девчата по домам, спят. А я?»

– Расскажи что-нибудь, Султан.

– Что рассказывать? Не умею.

– Ну расскажи, как в девушек влюблялся.

– Я не влюблялся раньше...

Кулипа не видела, но почувствовала, как он краснеет, и ей захотелось еще подразнить его.

– Ну, будто... Кто поверит? Скажи правду. – Она уселась поудобнее, улыбнулась... – Если не любишь никого, зачем родителей посылаешь?

– Я их просил не ходить... Не слушают. А обижать стариков не хотел... пусть. Я же знаю, что за меня никто не пойдет.

«Это правда, – со вздохом подумала Кулипа. – Зря я начала...»

Оба замолчали. Зато заговорил ветер, злой и холодный. Он находил малейшие щели в кабине и тщательно выдувал оставшееся тепло.



Ноги в резиновых сапогах окоченели. Кулипа хотела пошевелить пальцами – не двигаются.

«Отморозила!»

– Ноги, наверное, замерзли?– услышала она заботливый голос.

– Не-нет... В общем, не очень... Немного.

Султан наклонился, постучал пальцем по резине сапога.

– Сними. Ноги подожди под себя, теплее будет.

– Хорошо,– сразу согласилась девушка и стала стягивать сапоги. Точно прилипли, Султан с трудом стянул их.

«Конечно... Ноги, как ледышки. Чулки промокли...»

Кулипа хотела поджать ноги под себя, но Султан начал их растирать. В огромной ладони тракториста легко поместились обе ступни. Теплота разлилась по телу. Стало клонить ко сну. Задремала. А когда проснулась, долго не могла понять, где она, что с ней?

За стеклом чернела ночь, выл ветер. Султана не было.

«Где же Султан? Неужели пошел пешком, бросил меня?.. В одной гимнастерке. Нет, он не мог уйти».

– Кулипа! Кулипа! Ты совсем там замерзнешь. Иди сюда.

«Откуда это? Где он?»

Она стала натягивать заледеневшие сапоги. Поежилась от холода. Дверца кабины распахнулась.

– Не надо, не надевай.

Могучими руками Султан подхватил девушку, поднял и мягко опустил в заранее приготовленную ямку в сене.

«О, как здесь хорошо! И не дует... Сено совсем сухое. Когда же это он успел разгрести?»

Пыль зачекотала ноздри, Кулипа чихнула. Покалывали сухие травинки, но все равно здесь было гораздо лучше, чем в кабине.

Он осторожно сел рядом, стараясь не потревожить девушку.

«Какой он добрый!.. Сильный... Если бы он захотел меня сейчас поцеловать...– Кулипа закрыла глаза.– Я бы не противилась».

Но Султану и в голову не приходило ничего подобного. Он устал и замерз. К тому же знал: его ни одна девушка не поцелует.

«Нет, он ничуть не хуже других. Даже лучше. Смелый, заботливый, спокойный. Таким и должен быть настоящий джигит.– Она вспомнила его лицо, будто впервые видела.– И почему это считают его уродом? Он совсем не урод...»

Кулипа заснула. Ей приснилось, что идут они с Султаном, взявшись за руки. Кругом белым-бело от снега. Идут долго. И – заблудились. Теперь Султан идет впереди, прокладывая дорогу. Шаги у него огромные. Кулипа не поспевает, вязнет в снегу. И почему-то в одних чулках. Кричит. Султан останавливается, смеется. Терпеливо ждет ее, поднимает на руки и целует. Долго-долго. Кулипа хохочет, смеется Султан. Небритые щеки его щекочут, колют... А-ах! Яркое солнце бьет в глаза. Колют лицо сухие травинки. Утро. Кулипа смотрит на Султана. Он еще спит. К груди он прижимает ноги Кулипы, обернутые чем-то. Кулипа стала тихонько высвобождать ноги. Султан проснулся и смутился. Достал набитые сухим сеном сапоги.

– Вот. Наверное, немного просохли.

– Спасибо, Султан.

Небо совсем прояснилось. Искрился белый снег – первый снег.

Кулипа вспомнила свой сон, и краска залила щеки.

– Смех, да и только!.. Взгляни-ка, Кулипа, где мы заблудились.

Девушка оглянулась. Километрах в полутора виднелась ферма. Оба весело рассмеялись.

– Пошли, Кулипа, кончились наши мучения. Я принесу горячего, а ты уже останешься там.

Ну какой же он чистый, белый, этот первый снег! Кулипа нагнулась, набрала полную пригоршню снега – и в рот.

– Ты, как ребенок, Кулипа!– Султан обогнал ее и тоже отправил в рот целый ком снега.

У него огромные шаги. Кулипе приходится прыгать, чтоб попасть в след. Не рассчитала, поскользнулась.

– Осторожнее.

Султан замедляет шаги. Кулипа, как кошка, подкрадывается сзади и кладет ему снег за шиворот.

– Холодный,– спокойно говорит тракторист и продолжает шагать.

Девушка подпрыгивает и сыплет ему снег больше и больше.

– Вот я тебя сейчас вываляю всю,– добродушно грозит Султан.

Кулипа бежит, хохочет, путается в огромной фуфайке, падает.

– Не больно? Ты ушиблась?

Он помогает ей подняться. Всматривается в лицо.

– Очень больно!

Она морщится, потом, звонко рассмеявшись, бросает горсть снега в лицо и мчится вперед.

Вот и ферма. Можно отряхнуться, перевести дух.

– Кулипа, – вдруг говорит джигит, а сам смотрит вниз на снег,– хочешь, я тебе письмо дам?

– Какое еще письмо? Вот новости. Не надо!

Рука с запиской медленно опускается, лезет обратно в карман пиджака. Продолжая стряхивать снег с воротника и не оглядываясь, Султан идет вперед.

«Дура я, дура... что наделала!»

– Султан! Султан!

Он не останавливается. Может, не слышит? Нет, остановился.

Кулипа подбегает к нему, засовывает руку в карман пиджака, достает записку.

– А теперь иди.

Кулипа провожает его взглядом, в руках у нее записка. Листок из ученической тетрадки в клетку, пропахший соляжкой.

## СОДЕРЖАНИЕ

Ж. Нурманова. «Дерево чуткой прозы» С. Муратбекова  
в «плодоносящем саду» казахской литературы.....5

### ПОВЕСТИ

<b>Горький запах полыни.</b> Перевод Г. Садовникова.....7
<b>Дикая яблоня.</b> Перевод Г. Садовникова .....46
<b>На вершине Ушкара</b> Перевод Г. Садовникова .....240

### РАССКАЗЫ

<b>Причуды старого Бекена.</b> Перевод Г. Садовникова.....286
<b>Зимний вечер.</b> Перевод Г. Садовникова.....312
<b>Моя сестренка.</b> Перевод Н. Силиной .....323
<b>Ночной дождь.</b> Перевод Б. Рябикина.....330
<b>Гость.</b> Перевод А. Самойленко.....337
<b>На перевале.</b> Перевод Г. Садовникова.....347
<b>Бабушка.</b> Перевод Г. Садовникова.....359
<b>Дом молодых.</b> Перевод Г. Садовникова.....375
<b>У Теплового родника.</b> Перевод Г. Садовникова.....403
<b>Осенние извилистые дороги.</b> Перевод Г. Садовникова.....429
<b>Пороша.</b> Перевод Г. Садовникова.....440
<b>Стужа.</b> Перевод Г. Садовникова .....456
<b>Кусен-Кусеке.</b> Перевод Г. Садовникова.....476
<b>Ултуган.</b> Перевод Г. Садовникова.....499
<b>В гостях у свата.</b> Перевод Г. Садовникова.....536
<b>Дорога туда и обратно.</b> Перевод Г. Садовникова.....554
<b>Некий.</b> Перевод Г. Садовникова.....581
<b>Беркут Мухтара.</b> Перевод В. Бернадского.....602
<b>Первый снег.</b> Перевод Б. Рябикина.....611

Литературно-художественное издание

Серия

“БИБЛИОТЕКА КАЗАХСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ”

**Саин МУРАТБЕКОВ**  
**ЗАПАХ ПОЛЫНИ**

Редактор *А.Кадикенова*

Технический редактор *С. Бейсенова*

Компьютерная верстка *А. Кадикеновой*

Корректор *Г. Мухамадиева*

Разработка суперобложки

дизайнцентра издательства «Аударма»

ISBN 9965-18-316-3



ИБ № 319

Подписано в печать 11.10. 2010 г. Формат 84x108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.

Гарнитура . “NewBaskervilleСТТ”. Печать офсетная. Усл.печ. л. - 32,76

Уч.-изд. л. - 30,00 Тираж 3000 экз. Заказ №

---

Издательство “Аударма”

010009, г. Астана, ул. Г. Мусрепова, 5/1, ВП-2